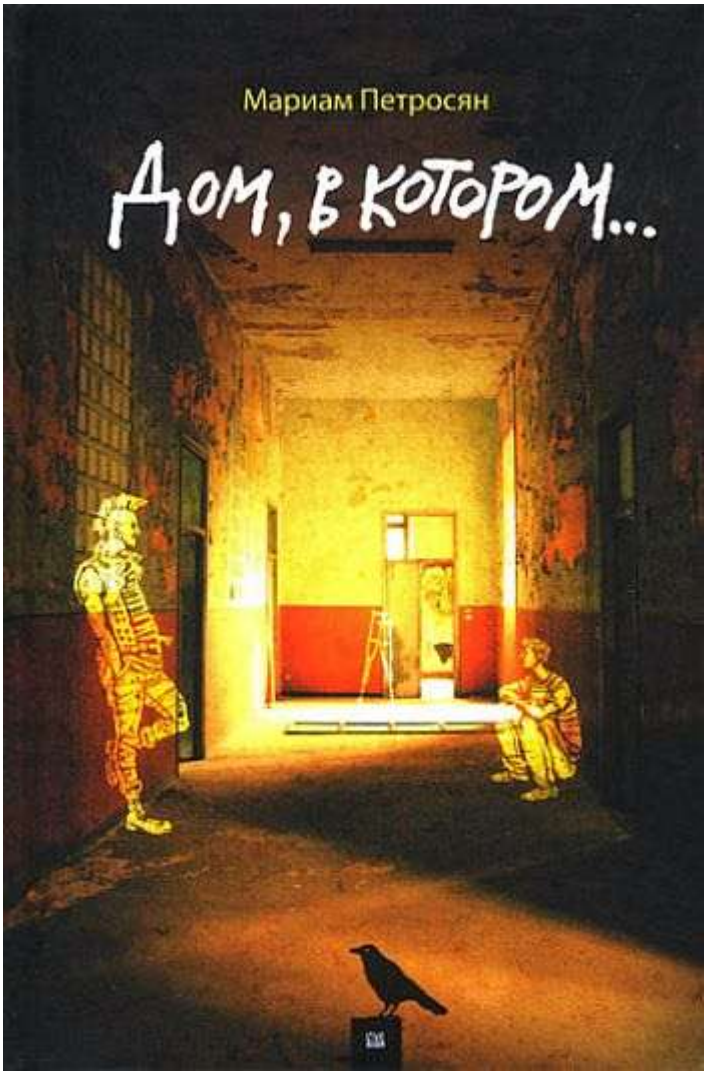
Мариам Петросян
Дом, в котором…



Scan: Ronja_Rovardotter; OCR&SpellCheck: golma1

«Дом, в котором...»:
Гаятри/Livebook; Москва; 2009; ISBN 978-5-9689-0174-3

Аннотация

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс – мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные «скелеты в шкафах» – лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени.

Дом – это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом – это их отдельная вселенная.

Мариам Петросян
Дом, в котором…

КНИГА ПЕРВАЯ
Курильщик

Дом стоит на окраине города. В месте, называемом Расческами. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов – предполагаемыми местами игр молодых «расчесочников». Зубья белы, многоглазы и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли, – обнесенные заборами пустыри. Труха снесенных домов, гнездилища крыс и бродячих собак гораздо более интересны молодым «расчесочникам», чем их собственные дворы – интервалы между зубьями.

На нейтральной территории между двумя мирами – зубцов и пустырей – стоит Дом. Его называют Серым. Он стар и по возрасту ближе к пустырям – захоронениям его ровесников. Он одинок – другие дома сторонятся его – и не похож на зубец, потому что не тянется вверх. В нем три этажа, фасад смотрит на трассу, у него тоже есть двор – длинный прямоугольник, обнесенный сеткой. Когда-то он был белым. Теперь он серый спереди и желтый с внутренней, дворовой стороны. Он щетинится антеннами и проводами, осыпается мелом и плачет трещинами. К нему жмутся гаражи и пристройки, мусорные баки и собачьи будки. Все это со двора. Фасад гол и мрачен, каким ему и полагается быть.

Серый Дом не любят. Никто не скажет об этом вслух, но жители Расчесок предпочли бы не иметь его рядом. Они предпочли бы, чтобы его не было вообще.

КУРИЛЬЩИК
Некоторые преимущества спортивной обуви

Все началось с красных кроссовок. Я нашел их на дне сумки. Сумка для хранения личных вещей – так это называется. Только никаких личных вещей там не бывает. Пара вафельных полотенец, стопка носовых платков и грязное белье. Все как у всех. Все сумки, полотенца, носки и трусы одинаковые, чтобы никому не было обидно.

Кроссовки я нашел случайно, я давно забыл о них. Старый подарок, уж и не вспомнить чей, из прошлой жизни. Ярко-красные, запакованные в блестящий пакет, с полосатой, как леденец, подошвой. Я разорвал упаковку, погладил огненные шнурки и быстро переобулся. Ноги приобрели странный вид. Какой-то непривычно ходячий. Я и забыл, что они могут быть такими.

В тот же день после уроков Джин отозвал меня в сторонку и сказал, что ему не нравится, как я себя веду. Показал на кроссовки и велел снять их. Не стоило спрашивать, зачем это нужно, но я все же спросил.

– Они привлекают внимание, – сказал он.

Для Джина это нормально – такое объяснение.

– Ну и что? – спросил я. – Пусть себе привлекают.

Он ничего не ответил. Поправил шнурок на очках, улыбнулся и уехал. А вечером я получил записку. Только два слова: «Обсуждение обуви». И понял, что попался.

Сбривая пух со щек, я порезался и разбил стакан из-под зубных щеток. Отражение, смотревшее из зеркала, выглядело до смерти напуганным, но на самом деле я почти не боялся. То есть боялся, конечно, но вместе с тем мне было все равно. Я даже не стал снимать кроссовки.

Собрание проводилось в классе. На доске написали: «Обсуждение обуви». Цирк и ма-

разм, только мне было не до смеха, потому что я устал от этих игр, от умниц-игроков и самого этого места. Устал так сильно, что почти уже разучился смеяться.

Меня посадили у доски, чтобы все могли видеть предмет обсуждения. Слева за столом сидел Джин и сосал ручку. Справа Длинный Кит с треском гонял шарик по коридорчикам пластмассового лабиринта, пока на него не посмотрели осуждающе.

– Кто хочет высказаться? – спросил Джин.

Высказаться хотели многие. Почти все. Для начала слово предоставили Сипу. Наверное, чтобы побыстрее отделаться.

Выяснилось, что всякий человек, пытающийся привлечь к себе внимание, есть человек самовлюбленный и нехороший, способный на что угодно и воображающий о себе невесть что, в то время как на самом деле он просто-напросто пустышка. Ворона в павлиньих перьях. Или что-то в этом роде. Сип прочел басню о вороне. Потом стихи об осле, угодившем в озеро и потонувшем из-за собственной глупости. Потом он хотел еще спеть что-то на ту же тему, но его уже никто не слушал. Сип надул щеки, расплакался и замолчал. Ему сказали спасибо, передали платок, заслонили учебником и предоставили слово Гулю.

Гуль говорил еле слышно, не поднимая головы, как будто считывал текст с поверхности стола, хотя ничего, кроме поцарапанного пластика, там не было. Белая челка лезла в глаз, он поправлял ее кончиком пальца, смоченным слюной. Палец фиксировал бесцветную прядь на лбу, но как только отпускал, она тут же сползала обратно в глаз. Чтобы смотреть на Гуля долго, нужно иметь стальные нервы. Поэтому я на него не смотрел. От моих нервов и так остались одни ошметки, незачем было лишний раз их терзать.

– К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый? К своей обуви, казалось бы. На самом деле это не так. Посредством обуви он привлекает внимание к своим ногам. То есть афиширует свой недостаток, тычет им в глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду, не считаясь с нами и нашим мнением. В каком-то смысле он по-своему издевается над нами…

Он еще долго размазывал эту кашу. Палец сновал вверх и вниз по переносице, белки наливались кровью. Я знал наизусть все, что он может сказать – все, что вообще принято говорить в таких случаях. Все слова, вылезавшие из Гуля, были такими же бесцветными и пересушенными, как он сам, его палец и ноготь на пальце.

Потом говорил Топ. Примерно то же самое и так же нудно. Потом Ниф, Нуф и Наф. Тройняшки с поросячьими кличками. Они говорили одновременно, перебивая друг друга, и на них я как раз смотрел с большим интересом, потому что не ожидал, что они станут участвовать в обсуждении. Им, должно быть, не понравилось, как я на них смотрю, или они застеснялись, а от этого получилось только хуже, но от них мне досталось больше всех. Они припомнили мою привычку загибать страницы книг (а ведь книги читаю не я один), то, что я не сдал свои носовые платки в фонд общего пользования (хотя нос растет не у меня одного), что сижу в ванне дольше положенного (двадцать восемь минут вместо двадцати), толкаюсь колесами при езде (а ведь колеса надо беречь!), и наконец добрались до главного – до того, что я курю. Если, конечно, можно назвать курящим человека, выкуривающего в течение трех дней одну сигарету.

Меня спрашивали, знаю ли я, какой вред наносит никотин здоровью окружающих. Конечно, я знал. Я не только знал, я сам уже вполне мог бы читать лекции на эту тему, потому что за полгода мне скормили столько брошюр, статей и высказываний о вреде курения, что хватило бы человек на двадцать и еще осталось бы про запас. Мне рассказали о раке легких. Потом отдельно о раке. Потом о сердечнососудистых заболеваниях. Потом еще о каких-то кошмарных болезнях, но про это я уже слушать не стал. О таких вещах они могли говорить часами. Ужасаясь, содрогаясь, с горящими от возбуждения глазами, как дряхлые сплетницы, обсуждающие убийства и несчастные случаи и пускающие при этом слюни от восторга. Аккуратные мальчики в чистых рубашках, серьезные и положительные. Под их лицами прятались старушечьи физиономии, изъеденные ядом. Я угадывал их не в первый раз и уже не удивлялся. Они надоели мне до того, что хотелось отравить никотином всех сразу и каждого в отдельности. К сожалению, это было невозможно. Свою несчастную сигарету-трехдневку я выкуривал тайком в учительском туалете. Даже не в нашем, боже упаси! И если кого и травил, так только тараканов, потому что никто, кроме тараканов, туда не

наведывался.

Полчаса меня забрасывали камнями, потом Джин постучал по столу ручкой и объявил, что обсуждение моей обуви закончено. К тому времени все успели забыть, что обсуждают, так что напоминание пришлось очень кстати. Народ уставился на несчастные кроссовки. Они порицали их молча, с достоинством, презирая мою инфантильность и отсутствие вкуса. Пятнадцать пар мягких коричневых мокасин, против одной ярко-красной пары кроссовок. Чем дольше на них смотрели, тем ярче они разгорались. Под конец в классе посерело все, кроме них.

Я как раз любовался ими, когда мне предоставили слово.

И… сам не знаю, как так получилось, но я впервые в жизни сказал Фазанам все, что о них думал. Сказал, что весь этот класс со всеми в нем находящимися, не стоит одной пары таких шикарных кроссовок. Так и сказал им всем. Даже бедному запуганному Топу, даже Братьям Поросятам. Я и в самом деле в тот момент так чувствовал, потому что не терплю предателей и трусов, а они были именно предателями и трусами.

Они, должно быть, решили, что я сошел с ума с перепугу. Только Джин не удивился.

– Вот ты и сказал нам то, что думал, – он протер очки и ткнул пальцем в кроссовки. – Дело было вовсе не в них. Дело было в тебе.

Кит ждал у доски с мелом в руке. Но обсуждение закончилось. Я сидел, закрыв глаза, пока они не разъехались. И просидел так еще долго, оставшись один. Усталость потихоньку вытекала из меня. Я сделал что-то выходящее за рамки. Повел себя, как нормальный человек. Перестал подлаживаться под других. И чем бы все это ни кончилось, знал, что никогда об этом не пожалею.

Я поднял голову и посмотрел на доску. «Обсуждение обуви. Пункт первый: самомнение. Пункт второй: привлечение внимания к общему недостатку. Пункт третий: наплевательское отношение к коллективу. Пункт четвертый: курение».

Кит умудрился сделать в каждом слове не меньше двух ошибок. Он почти не умел писать, зато единственный из всех мог ходить, поэтому во время собраний к доске всегда ставили его.

Следующие два дня никто со мной не разговаривал. Делали вид, что меня не существует. Я стал чем-то вроде привидения. На третий день такой жизни Гомер сообщил, что меня вызывают к директору.

Воспитатель первой выглядел примерно так, как выглядела бы вся группа, не маскируйся они зачем-то под мальчишек. Как старуха, сидевшая у каждого из них внутри, в ожидании очередных похорон. Гниль, золотые зубы и подслеповатые глазки. Хотя у него по крайней мере все было на виду.

– Уже и до дирекции дошло, – сказал он с видом врача, сообщающего пациенту, что он неизлечим. Потом еще какое-то время вздыхал и качал головой, глядя на меня с жалостью, пока я не начал чувствовать себя не очень свежим покойником. Достигнув нужного эффекта, Гомер, сопя и охая, удалился.

В директорском кабинете я был два раза. Когда только приехал и когда надо было вручить рисунок для выставки с дурацким названием «Моя любовь к миру». Результат своего трехдневного труда я окрестил «Древом жизни». Только отойдя от рисунка на пару шагов, можно было разглядеть, что «древо» усеяно черепами и полчищами червей. На близком расстоянии они казались чем-то вроде груш среди изогнутых веток. Как я и думал, в Доме ничего не заметили. Оценили мой мрачный юмор, должно быть, уже только на выставке, но как к этому отнеслись, я не узнал. Вообще, это даже не было шуткой. Все, что я мог сказать о своей любви к миру, примерно так и выглядело, как я там изобразил.

В мой первый визит к директору мелкие червячки в мировой любви уже копошились, хотя до черепов дело еще не дошло. Кабинет был чистый, но какой-то неухоженный. Видно было, что это не центр Дома, не то место, куда все стягивается и откуда вытекает, а так – сторожевая будка. В углу на диване сидела тряпичная кукла в полосатом платье с рюшами. Размером с трехлетнего ребенка. И всюду торчали пришпиленные булавками записки. На стенах, на шторах, на спинке дивана. Но больше всего меня потряс огромный огнетушитель над директорским столом. Он до того приковывал внимание, что приглядеться к самому ди-

ректору уже не получалось. Сидящий под антикварным огненным дирижаблем, наверное, на что-то такое и рассчитывает. Думать можно только о том, как бы эта штука не свалилась и не убила его прямо у тебя на глазах. Ни на что другое не остается сил. Неплохой способ спрятаться, оставаясь на виду.

Директор говорил о политике школы. О ее пути. «Мы предпочитаем лепить из готового материала». Что-то в этом роде. Я не очень внимательно слушал. Из-за огнетушителя. Он ужасно нервировал. И все остальное тоже. И кукла, и записки. «Может, у него амнезия? – думал я. – И он сам себе постоянно обо всем напоминает. Вот сейчас я уеду, а он напишет про меня и пришпилит эту информацию где-нибудь на видном месте».

Потом я все же послушал его немного. Он как раз дошел до выпускников. Тех, «кто многого достиг». Это были люди на застекленных фотографиях по обе стороны от огнетушителя. Обыденные и обиженные личности, при наградах и каких-то грамотах, которые они уныло демонстрировали камере. Если честно, фотографии кладбищ было бы веселее рассматривать. Учитывая специфику школы, хотя бы одну такую следовало повесить рядом с остальными.

В этот раз все было иначе. Огнетушитель остался, и записки белели на всех доступных и недоступных поверхностях, но в обстановке кабинета что-то изменилось. Что-то, не связанное с мебелью и с исчезнувшей куклой. Акула сидел под огнетушителем и копался в бумагах. Сухой, пятнистый и мохнатый, как поросший лишайником пень. Брови, тоже пятнистые, серые и мохнатые, свисали на глаза грязными сосульками. Перед ним была папка. Между листами я разглядел свою фотографию и понял, что папка набита мной. Моими оценками, характеристиками, снимками разных лет – всей той частью человека, которую можно перевести на бумагу. Я частично лежал перед ним, между корешками картонной папки, частично сидел напротив. Если и была какая-то разница между плоским мной, который лежал, и объемным мной, который сидел, то она заключалась в красных кроссовках. Это была уже не обувь. Это был я сам. Моя смелость и мое безумие, немножко потускневшее за три дня, но все еще яркое и красивое, как огонь.

– Должно было случиться что-то очень серьезное, если ребята больше не хотят тебя терпеть, – Акула продемонстрировал мне какой-то листок. – Вот здесь у меня письмо. Под ним пятнадцать подписей. Как это понимать?

Я пожал плечами. Пусть понимает, как хочет. Не хватало еще объяснять ему про кроссовки. Это было бы просто смешно.

– Ваша группа – образцовая группа…

Пятнистые сосульки обвисли, прикрыв глаза.

– Я очень люблю эту группу. И не могу отказать ребятам в просьбе, к тому же о таком они просят впервые. Что ты на это скажешь?

Я хотел сказать, что тоже буду счастлив от них избавиться, но промолчал. Что значило мое мнение против мнения пятнадцати образцовых акульих любимцев? Вместо протестов и объяснений я незаметно рассматривал обстановку.

Фотографии «многого достигших» оказались даже противнее, чем помнилось. Я представил среди них свою постаревшую и обрюзгшую физиономию, а на заднем плане – картины, одна кошмарнее другой. «Его называли юным Гигером, когда ему было тринадцать». Стало совсем тошно.

– Ну? – Акула помахал у меня перед глазами растопыренной пятерней. – Ты заснул? Я спрашиваю, ты понимаешь, что я обязан принять определенные меры?

– Да, конечно. Мне очень жаль.

Это было единственное, что пришло в голову.

– Мне тоже очень жаль, – проворчал Акула, захлопывая папку. – Очень жаль, что ты такой тупица и умудрился испортить отношения со всей группой одновременно. А теперь можешь катиться обратно и собирать вещи.

У меня внутри что-то подпрыгнуло вверх и вниз, как игрушечный шарик на резинке:

– А куда меня отправят?

Мой испуг доставил ему массу удовольствия. Он немного понаслаждался им, перекладывая разные предметы с места на место, вдумчиво изучая ногти, закуривая…

– А как ты думаешь? В другую группу, конечно.

Я улыбнулся:

– Вы шутите?

Легче было подселить в любую группу Дома живую лошадь, чем кого-то из первой. У лошади было больше шансов прижиться. Несмотря на размеры и навоз. Мне следовало промолчать, но я не сдержался:

– Никто меня не примет. Я же Фазан.

Акула по-настоящему разозлился. Выплюнул сигарету и ударил кулаком по столу.

– Хватит с меня этих фокусов! Довольно! Что это еще за Фазан? Кто выдумал всю эту чушь?

Бумаги расползлись под его кулаком, окурок упал мимо пепельницы.

Я так перепугался, что в ответ заорал еще громче:

– Не знаю я, почему нас так называют! Спросите тех, кто это придумал! Думаете, легко произносить эти дурацкие клички? Думаете, кто-то объяснил мне, что они означают?

– Не смей повышать голос в моем кабинете! – завопил он, свешиваясь ко мне через стол.

Я мельком глянул на огнетушитель и тут же отвел глаза.

Он держался.

Акула проследил мой взгляд и вдруг шепнул доверительно:

– Не свалится. Там вот такие штыри, – и он показал мне свой мерзкий палец.

Это было так неожиданно, что я оторопел. Сидел и таращился на него, как дурак. А Акула ухмылялся. И я вдруг понял, что он просто издевается. Я не так давно жил в Доме и все еще с трудом называл некоторых людей по кличкам. Надо быть совсем лишенным комплексов, чтобы в лицо обзывать человека Хлюпом или Писуном, не чувствуя себя при этом полной сволочью. Теперь мне объяснили, что все это не приветствуется дирекцией. Но зачем? Просто чтобы покричать и посмотреть, как я среагирую? И я догадался, что изменилось в кабинете с моего первого визита. Сам Акула. Из неприметного дядьки, прятавшегося под огнетушителем, он превратился в Акулу. В то самое, чем его называли. Значит, клички давались не просто так.

Пока я думал обо всем этом, Акула снова закурил.

– Чтобы я больше не слышал в своем кабинете этих глупостей, – предупредил он, вылавливая из моей папки предыдущий окурок. – Этих попыток унизить лучшую группу. Лишить ее полагающегося статуса. Ты понял?

– То есть вы тоже считаете это слово ругательным? – уточнил я. – Но почему? Чем оно хуже просто Птиц? Или Крыс? Крысы. По-моему, это звучит намного противнее, чем Фазаны.

Акула заморгал.

– Вам, наверное, известно значение, которое все в него вкладывают, да?

– Так, – сказал он мрачно. – Хватит. Заткнись. Теперь я понял, почему первая тебя не выносит.

Я посмотрел на кроссовки. Акула был слишком высокого мнения о фазаньих мотивах, но этого я говорить не стал. Спросил только, куда меня переводят.

– Пока не знаю, – не моргнув глазом соврал он. – Надо подумать.

Не зря его прозвали Акулой. Он ею и был. Пятнистой, косоротой рыбиной, с глазами, глядящими в разные стороны. Она состарилась и, наверное, была не очень удачлива на охоте, если ее веселила такая мелкая добыча, как я. Конечно, он знал, куда меня отправят. И даже собирался об этом сообщить. Но передумал. Решил помучить. Только слегка перестарался, потому что группа не имела значения, Фазанов ненавидели все. Я вдруг сообразил, что дела мои не так уж плохи. Появился реальный шанс выбраться из Дома. Первая меня вышвырнула, то же самое сделают другие. Может, сразу, а может, нет, но если как следует постараться, процесс ускорится. В конце концов какую уйму времени я потратил, пытаясь стать настоящим Фазаном! Убедить любую другую группу в том, что я им не гожусь, будет намного легче. Тем более, они и так в этом уверены. Возможно, и сам Акула так считает. Меня просто исключили сложным способом. Позже можно будет сказать, что я не прижился нигде, куда меня ни пристраивали. А то ведь могут плохо подумать о Фазанах…

Я успокоился. Внимательно следивший за мной Акула почуял момент просветления, и

ему это не понравилось.

– Езжай, – сказал он с отвращением. – Собери вещи. Завтра в половине девятого я лично за тобой зайду.

Закрывая за собой дверь директорского кабинета, я уже знал, что завтра он опоздает. На час или даже на два. Я теперь видел его насквозь со всеми его мелкими акульими радостями.

«Учащиеся называют его просто Домом, объединяя в этом емком слове все, что символизирует для них наша школа – семью, уют, взаимопонимание и заботу». Так было сказано в буклете, который я, выбравшись из Дома, собирался повесить на стену в траурной рамке. Может, даже с позолотой. Он был уникален – этот буклет. Ни слова правды и ни слова лжи. Не знаю, кто его составлял, но этот человек был своего рода гением. Дом действительно называли Домом. Объединяя в этом треклятом слове уйму всего. Возможно, здесь было уютно настоящему Фазану. Очень может быть, что другие Фазаны заменяли ему семью. В наружности Фазаны не встречаются, поэтому мне трудно судить, но если бы они там водились, Дом был бы тем самым местом, куда они стремились бы изо всех сил. Другое дело, что в наружности их нет, и, мне кажется, что создает их именно Дом. Значит, какое-то время до того, как попасть сюда, все они были нормальными людьми. Очень неприятная мысль.

Но я отвлекся от буклета. «Более чем вековая история и бережно хранимые традиции», упоминающиеся на третьей странице, тоже имеют место. Достаточно увидеть Дом, чтобы понять: он начал разваливаться еще в прошлом веке. Об этом же свидетельствуют замурованные камины и сложная система дымоходов. В ветреную погоду в стенах завывает не хуже, чем в каком-нибудь средневековом замке. Сплошное погружение в историю. О традициях тоже все правильно. Царящий в Доме маразм явно придумывался несколькими поколениями не совсем здоровых людей. Следующим поколениям оставалось только все это «бережно хранить и преумножать».

«Обширная библиотека». Имеется. Бильярдная, бассейн, кинозал… все в наличии, но к каждому «есть» добавляется маленькое «вот только», после которого оказывается, что пользоваться этими благами невозможно, неприятно или опасно. В бильярдную ходят Бандерлоги. Значит, Фазанам туда дороги нет. В библиотеке занимаются девушки. Опять нельзя. В выходные там собираются картежники. Совсем плохо. Заехать можно, можно даже взять что-нибудь почитать, но вернуться туда вряд ли захочется. Бассейн? Ремонтируют уже пару лет. «И еще столько же еще будут ремонтировать, там крыша течет», – любезно просветили меня Братья Поросята. Они какое-то время были очень милыми. Отвечали на вопросы, все показывали и объясняли. Они были уверены, что живут в удивительном, необычном месте интересной и полноценной жизнью. Эта их уверенность меня просто убивала. Наверное, не стоило пытаться ее искоренить. Тогда мы бы дружили до сих пор. А так – любезности пришел конец, не успевшей толком начаться дружбе – тоже, и три их почти одинаковые подписи появились под прошением о моем переводе. Хотя рассказать они успели многое. Почти все, что я знал о Доме, я знал с их слов. Фазанья жизнь не располагала к тому, чтобы узнавать что-то новое. Она вообще мало к чему располагала. В первой все было расписано по минутам.

В столовой – мысли о еде, в классе – об уроках, на медосмотре – о здоровье. Коллективные страхи – не простудиться бы, коллективные мечты – баранья котлетка на завтрак. Все как у всех, ничего лишнего. Каждое движение доведено до автоматизма. День разделен на четыре части. Завтраком, обедом и ужином. Раз в неделю по субботам – кино. По понедельникам – собрания.

Не пора ли нам?..

Я вот обратил внимание…

Да, несомненно, класс плохо проветривается. Это на нас влияет.

Знаете, такие странные шорохи… Боюсь, что это все-таки крысы.

Заявить протест в связи с антисанитарными условиями в помещениях, способствующими распространению грызунов…

И плакаты. Бесконечные плакаты.

В классе: «На уроках думай об уроках. Прочь посторонние мысли!» В спальне: «Со-

блюдай тишину, не мешай соседу», «Шум – рассадник нервных заболеваний».

Стройные ряды железных кроватей. Белые салфетки на подушках. «Следи за чистотой! Хочешь жить в чистоте – начни со своей наволочки!» Белые тумбочки, одна на две кровати. «Запомни, куда ставишь свой стакан. Обозначь его номером». На спинках кроватей – сложенные полотенца. Тоже с номерами. С шести до восьми включают радио. «Нечего делать – слушай музыку». Желающие поиграть в лото или в шахматы переходят в классную комнату. С тех пор, как в классе поставили телевизор, число отдыхающих после уроков в спальне сильно сократилось. Тогда телевизор перенесли. Теперь он горит в спальне голубым окном до самой ночи, а ночь у Фазанов начинается с девяти часов, и к этому времени все должны лежать в постелях, облаченные в пижамы и готовые отойти ко сну. «Страдаешь бессонницей – обратись к врачу».

Утром – все сначала. Сидячая гимнастика. Застилка кроватей. «Помоги одеться соседу – и сосед поможет тебе». Умывание. Шесть раковин с рыжими ободками вокруг стоков. «Жди своей очереди и не задерживай других». Искривленные рожи в трещинах кафеля и лужи на полу. Столовая. Уроки. Обеденный перерыв. Уроки. Время для отдыха. И так до бесконечности.

Я въехал в спальню и обнаружил, что перестал быть призраком. Первая знает о переводе, это было видно по тому, как они на меня уставились. В их любопытстве было даже что-то неприличное. Как будто они собирались меня съесть. Я еле сдержался, чтобы прямо тут же, от двери, не повернуть обратно. Вместо этого проехал к своей кровати и уставился в телевизор. Женщина в клетчатом переднике рассказывала, как готовить медовые лепешки. «Берем три яйца, отделяем белки…» Очень полезно смотреть такие передачи перед ужином. Они возбуждают аппетит. К тому времени, как прозвенел звонок, я уже знал, как делать медовые лепешки, с чем их подавать к столу и как при этом улыбаться. Обогатился знаниями я один. Остальные глазели на меня и участвовали в приготовлении совсем другого блюда.

Выезжали из спальни, как всегда, по трое, чтобы без толкотни разместиться перед раковинами и вымыть перед едой руки. Я не стал ни к кому пристраиваться. Это отметили и понимающе переглянулись.

В столовой меня начало трясти. Я ловил взгляды Фазанов. Куда они повернутся, насмотревшись на меня? Но они никак не могли насмотреться. Или действительно не знали, куда меня переводят.

Время растянулось в вечность.

Пюре и морковные котлеты. Вилка с гнутым зубцом. Разносчица в белом переднике, звякает посудой, толкая тележку. Белые стены, глубокие окна-арки. Я люблю столовую. Это самое старое место в Доме. Вернее, меньше других подвергшееся изменениям. Стены, окна и потрескавшиеся плитки пола, наверное, были такими же и семьдесят лет назад. И голландская печь во всю стену, облицованная кафелем, с чугунной дверцей на замке. Здесь красиво. Единственное место, где никто не лезет с наставлениями, где можно отключиться, рассматривая другие группы, воображая себя не Фазаном. Когда-то это было моей любимой игрой. Сразу после поступления. Потом наскучило. Сейчас я вдруг понял, что впервые могу сыграть в нее по-настоящему, и что это уже вовсе не будет игрой.

Пюре и морковные котлеты. Чай и бутерброды с маслом. Наш стол весь черно-белый. Белые рубашки, черные брюки. Белые тарелки на черных подносах. Черные подносы на белой скатерти. Разнятся по цвету только лица и волосы.

Рядом – стол второй. Самый яркий и шумный. Крашеные ирокезы, очки и бусы. В ушах – гремящие затычки наушников. Крысы – помесь панков с клоунами. Скатерть им не стелят, ножи не выдают, вилки прикованы к столешнице цепочками, и если хоть один из них в течение дня не закатится в истерике, пытаясь оторвать свою вилку и воткнуть в соседа, Крысы сочтут, что день прожит зря. Все это чистой воды цирк. Во второй каждый носит при себе нож или бритву, так что их возня с вилками – просто дань традициям. Маленькое шоу специально для столовой. Во главе стола – Рыжий. Огромные зеленые очки, бритая голова, роза на щеке и идиотская ухмылка. Крысиный вожак. На моей памяти уже второй. Вожаки у них долго не держатся.

У третьей свое шоу. Они повязывают огромные слюнявчики с детскими рисунками и

таскают с собой горшочки с любимыми растениями. При их трауре и гнусных физиономиях смотрится это опять же цирком. Только каким-то зловещим. Может, только самих Птиц все это и веселит. Они выращивают у себя в комнатах цветы, вышивают гладью и крестиком, они – самые тихие и воспитанные после нас, но страшно даже думать, что можно очутиться среди них. Даже играя когда-то в свою любимую игру, я обычно пропускал третью.

На меня вдруг накатило видение. Осязаемое просто до жути.

Я сижу в темной, сырой птичьей спальне. Окна заросли плющом и почти не пропускают свет. Всюду растения в горшках и в кадках. В центре комнаты – полуобвалившийся камин.

Птицы расположились в ряд на низких скамеечках и орудуют иголками, а на каминной полке сидит похожий на мумию Стервятник в побитой молью горностаевой мантии и курит кальян, пуская в нашу сторону клубы дыма.

Время от времени кто-то из Птиц встает и подносит ему свою работу на рассмотрение. Мне плохо. Жарко и стыдно, потому что на моих пяльцах творится что-то невообразимое. Какие-то жуткие переплетения ниток, пучки и обрывки, я никак не могу выудить из этого безобразия иглу, знаю, что рано или поздно наступит мой черед нести показывать свою работу, и ужасно этого боюсь. Сделав неловкое движение, я задеваю локтем стоящий рядом горшок, он опрокидывается и разбивается вдребезги. Падает гигантская герань, размером с хороший куст сирени, осыпается земля, разлетаются глиняные черепки.

Среди разгрома на полу – белый и чистенький человеческий череп без нижней челюсти. Все вокруг замирают, смотрят на меня и на череп. Потом раздается мерзкое хрюканье.

– Да-да, Курильщик, ты не ошибся, – говорит Стервятник, соскакивая с каминной полки и ковыляя в моем направлении. – Это наш предыдущий новичок, мир его праху!

Он смеется, показывая невозможно острые, акульи зубы…

В этом месте я прервался, обнаружив, что на самом деле нахожусь в центре внимания, только не Птиц, а родных Фазанов. Они наблюдали за мной с большим интересом. Острозубый оскал Стервятника увял до кривенькой усмешки Джина, при виде которой внутри у меня все перевернулось. Я склонился к своей котлете, и меня чуть не стошнило от ненависти. То, что я представлял, было лишь страшной сказкой, настоящие падальщики сидели рядом. Высматривали капельки пота у меня на лице и облизывались. И я вдруг понял, что хоть сейчас готов стать Птицей. Надеть траур, научиться вышивать крестиком, выкопать сотню черепов, спрятанных в цветочных горшках. Что угодно, только не жить больше в первой. Сильнее всего меня расстраивало, что и эти переживания со стороны наверняка смотрятся, как приступ трусости. «Все, – сказал я себе, – больше не играю ни в какие игры. Осталось дотерпеть до завтра. Каких-то тринадцать часов».

Однажды, когда я, вздрагивая от каждого шороха, курил в учительском туалете, туда забрел Сфинкс из четвертой. Перепугавшись, я выбросил окурок, и на сыром кафеле он сразу погас.

– Ого, курящий Фазан! – сказал Сфинкс, рассматривая окурок у себя под ногами. – Ведь не поверит никто, если рассказать.

Он посмотрел на меня и засмеялся.

Лысый безрукий верзила. Глаза зеленые, как трава. Сломанный нос и ехидный рот с приподнятыми уголками. И протезы в черных перчатках.

– У тебя есть еще курево?

Я кивнул, удивленный, что он заговорил со мной. С Фазанами не принято заговаривать. Мне даже показалось, что он сейчас попросит закурить, но до этого все же не дошло.

Он сказал только:

– Вот и славно.

И ушел.

Я ни минуты не верил, что он и вправду вздумает кому-то об этом рассказывать. И зря не верил.

Когда через пару дней после нашей встречи меня начали звать Курильщиком, я не связал это с ним. Не только Сфинкс знал, что я курю. Что к чему объяснили Братья Поросята. Оказалось, Сфинкс дал мне новую кличку. Стал моим крестным. И Дом чуть не пере-

вернулся, потому что никогда еще не случалось, чтобы кто-то окрестил Фазана. Тем более, такой, как Сфинкс, выше которого только Слепой, выше которого только крыша Дома и ласточки.

Из-за всего этого я сделался известной личностью среди нефазанов, а Фазаны дружно меня возненавидели. Новая кличка звучала для них хуже, чем «Джек-Потрошитель». Она нервировала их и портила им имидж, но поменять ее они уже не могли. Не имели права.

Я не стал представлять себя в четвертой. Там был мой ябеда-крестный, там был ненормальный Лорд, выбивший мне зуб за то, что я случайно сцепился с ним колесами. Там были Шакал Табаки, опрыскавший меня какой-то вонючей дрянью из баллончика с надписью «Опасно для жизни», и Бандерлог Лэри, руководивший всеми нападениями Логов на Фазанов. Незачем было представлять себя среди них. Настроение и без того никуда не годилось.

Я доел свою размазанную по тарелке котлету. Выпил чай. Съел бутерброд. Придумал два плана бегства из Дома, и, хотя оба были невыполнимы, это меня развлекло. Потом ужин закончился.

Я не вернулся в спальню. Покурил в учительском туалете и поехал обратно к столовой. Площадка перед ней обычно пустовала. Таких мест в Доме было немного. Я поставил коляску у окна, и, пока не включили коридорный свет, сидел, и смотрел на черневшие верхушки деревьев, с которых еще не облетели листья. Когда включили свет, за окном сразу стало темно. Я отъехал и стал раскатывать по площадке вдоль застекленных щитов с объявлениями. Кроме них смотреть было не на что. Я перечитал их, наверное, в сотый раз, и в сотый раз убедился, что они не меняются. Менялись только те, что были на стенах за щитами. Их писали маркерами, краской и цветными мелками, и менялись они так часто, что многим, кто хотел тут отметиться, приходилось сначала замазывать белилами предыдущие сообщения, ждать, пока они высохнут, и только потом писать новые. В некоторых вопросах люди Дома не ленились. Их объявлений я обычно не читал. Слишком много их было, и слишком они были дурацкие. Но сегодня от нечего делать я решил прочесть и их тоже. Поставил коляску боком и прислонился к щели между щитами.

Охотничий сезон открыт.
Лицензии на отстрел по прейскуранту.
С четверга. Фитиль

Я попробовал представить, что или кого можно отстреливать на территории Дома. Мышей? Бродячих кошек? И из чего в них стрелять? Из рогаток? Вздохнув, стал читать дальше.

Услуги опытного астролога.
Коф. Ежедн. С 18 до 19 Ч.

ОСОЗНАЛ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ПОДЕЛЮСЬ С ЖЕЛАЮЩИМИ БЕСЦЕННЫМ ОПЫТОМ.
ПРОСВЕТЛЕННЫЙ.

Счет вчерашний. Ут.
Под тр. бизоном слева от вх.

Триста гр. сыра «Рокфор». Недорого.
Белобрюк.

«Раздвинь рамки вселенной!» Коф. по чет.
Спрос, деж. бар. «Лунную дорогу» № 64.
Только лицам в нестандартной обуви.

Дальше этого объявления я не продвинулся. Перечитал его. Потом поднялся строчкой

выше. Опять спустился. Поглядел на свои кроссовки. Совпадение?

Наверняка. Но жуть как не хотелось возвращаться в спальню. Я знал, что такое этот «Коф.» и где его искать. Знал, что мне там вряд ли обрадуются, и что ни один Фазан в здравом уме туда не сунется. С другой стороны, терять было нечего. Почему бы не раздвинуть рамки Вселенной? Я протер кроссовки платком, чтобы придать им яркости, и отправился на поиски Кофейника.

Коридор второго этажа длинный, как кишка, и окон здесь нет. Окна только перед столовой и в вестибюле. Коридор начинается от лестницы, прерывается зальчиком, не въехав в который, не попадешь в столовую, и продолжается дальше до второй лестницы. В одном конце – столовая. Напротив нее – учительская и кабинет директора. Дальше – наши две комнаты, один пустующий класс, кабинет биологии, заброшенный туалет, который называют учительским – я использовал его как курилку, – и комната отдыха, в которой еще до моего поступления начался бесконечный ремонт. Все это обжитая, знакомая территория. Заканчивается она вестибюлем – унылым залом с окнами на двор, диваном в центре и сломанным телевизором в левом углу. Дальше я никогда не заезжал. Где-то здесь проходила невидимая граница, которую Фазаны старались не пересекать.

Я храбро пересек ее, въехал в коридор за вестибюлем, и оказался совсем в другом мире.

Здесь как будто взорвалась цистерна с красками. И не одна. Надписи и рисунки встречались и на нашей стороне, но здесь они не встречались, здесь они и были коридором. Огромные, в человеческий рост и выше, режущие глаз, они змеились и струились, налезали друг на друга, разбрызгивались и подпрыгивали, вытягивались до потолка и стекали обратно. По обе стороны от меня стены будто вспухли от росписей, а сам коридор стал казаться уже. Я ехал по нему разинув рот, как сквозь бред сумасшедшего.

Двери второй оскалились синими черепами, малиновыми зигзагами молний и предупреждающими надписями. Я сразу понял, чья это территория, и благоразумно отъехал к противоположной стене. Из этих дверей могло вылететь что угодно, начиная с бритвенных лезвий и бутылок и заканчивая самими Крысами. Их участок был густо усеян осколками и обломками того, что они уже успели выкинуть, и мусор этот хрустел под колесами, как обглоданные кости.

Нужная дверь была приоткрыта, а то я бы, наверное, пропустил ее. «Только кофе и чай» – предупреждала скромная белая табличка. Вся остальная часть двери была расписана под бамбук, совершенно теряясь на фоне стен. Заглянув в нее, я убедился, что это действительно Кофейник. Темное помещение, заставленное круглыми столиками. Под потолком – китайские фонарики и разлапистые оригами, на стенах – маски устрашающего вида и черно-белые фотографии в рамках. Прямо перед дверью – барная стойка, собранная из кафедр, выкрашенных в синий цвет.

Я приоткрыл дверь пошире. Над ней звякнул колокольчик, и сидевшие за столиками повернулись в мою сторону. Ближе всех оказались двое Псов в ошейниках. В глубине комнаты я разглядел разноцветные крысиные ирокезы, но не стал всматриваться, а сразу поехал к стойке.

– Шестьдесят четвертый, пожалуйста! – выпалил я, следуя инструкции, и только после этого поднял глаза.

Из-за стойки на меня таращился толстенький Кролик в ошейнике, с торчащими передними зубами.

– Чего-чего? – ошеломленно переспросил он.

– Шестьдесят четвертый номер, – повторил я, чувствуя себя полным идиотом. – «Лунную дорогу».

За столами засмеялись:

– Дает Фазан! – крикнул кто-то. – Видали?

– Фазан-самоубийца!

– Нет, это новая порода. Улетный Фазан!

– Это Фазаний император.

– Да никакой он не Фазан. Это оборотень!

– Причем больной. А то не стал бы перекидываться в Фазана.

Пока посетители Кофейника валяли дурака, Кролик с очень серьезным видом обошел стойку, встал рядом, и уставился на мои ноги. Целую вечность изучал их и наконец сказал:

– Не годится.

– Почему? – шепотом спросил я. – В объявлении сказано – в нестандартной обуви.

– Не знаю никаких объявлений, – отрезал Кролик, возвращаясь в свой загончик. – Давай, выметайся отсюда.

Я посмотрел на кроссовки.

Они уже не казались огненными. В Кофейнике было мало света и совсем не было Фазанов. Я понял, что поступил глупо. Не стоило приезжать и выставлять себя на посмешище. Для всех, кроме Фазанов, мои кроссовки самые обыкновенные. Я как-то умудрился об этом забыть.

– Они не стандартные, – сказал я. Больше для себя самого, чем пытаясь кого-то в этом убедить. И поехал к двери.

– Эй, Фазан! – окликнули меня из-за самого дальнего столика.

Я развернулся.

Там, над расписными кофейными чашками, сидели колясники четвертой. Лорд – медововолосый и сероглазый, красивый, как эльфийский король, и Шакал Табаки – мелкий, кудлатый и ушастый, похожий на лемура в парике.

– Знаешь, Кролик, – сказал Лорд, глядя на меня холодными глазами, – я впервые вижу Фазана, чья обувь не соответствует определенным стандартам. Удивляюсь, что ты этого не заметил.

– Вот-вот, – радостно подхватил Табаки. – Я тоже обратил внимание. Еще подумал – не жилец он, бедняжка. Заклюют. Ты дай ему шестьдесят четвертый, Кролик. Может ему одна эта радость в жизни и осталась. Рули сюда, детка! Сейчас тебя обслужат.

Я медлил, не зная, стоит ли принимать это приглашение, но Псы подтянули ноги и стулья, освобождая мне проезд, как будто я был по меньшей мере слоном, и пришлось ехать.

Обозвавший меня деткой Шакал Табаки сам выглядел от силы на четырнадцать. Правда, только издали. Вблизи ему можно было дать и тридцать. Одет он был в три разноцветные жилетки, из-под которых свисали майки разной длины – зеленая, розовая и голубая, – и при этом все равно видно было, какой он тощий. На всех жилетках имелись карманы и все эти карманы оттопыривались. А сверху он был увешан бусами, значками, амулетами, нашейными сумочками, булавками и колокольчиками, и все было то ли не очень чистое, то ли ужасно потрепанное. Рядом с ним Лорд в своей белой рубашке и синих джинсах выглядел почти голым. И чересчур чистым.

– Зачем тебе «Лунная дорога»? – спросил он.

– Не знаю, – честно признался я. – Захотелось попробовать.

– Ты хоть знаешь, что это такое?

Я покачал головой:

– Какой-нибудь коктейль?

Лорд смотрел на меня с жалостью. Он был до того белокожий, что как будто светился. Брови и ресницы темнее волос, глаза то ли серые, то ли синие. Даже кислая гримаса его не портила. Даже прыщи на подбородке.

В жизни не встречал людей, на которых было бы больно смотреть из-за красоты. Кроме Лорда. Где-то с месяц назад он выбил мне зуб за то, что я сцепился с ним колесами в дверях столовой. До того я видел его только издали. Я и понять ничего не успел. Так загляделся на него, что не расслышал, что он сказал. Потом прекрасный эльф высадил мне зуб, и стало не до восторгов. Следующую неделю я ездил впритирку к стенам, шарахался от каждого встречного, не вылезал из кабинета стоматолога и не спал по ночам.

Лорд был последним, с кем я представил бы себя за одним столиком в Кофейнике, и последним, с кем стал бы вступать в разговоры, если бы от меня что-то зависело. Но так вышло. Он спрашивал, я отвечал, а его проклятая внешность опять незаметно меня околдовывала. Трудно было, находясь рядом, все время помнить, что он такое на самом деле. К тому же у меня возникло тревожное ощущение, что «Лунная дорога» вовсе не безобидный напиток, а что-то, чего на самом деле пить не стоит.

Пока я переживал, ее принесли. Кролик поставил на стол крошечную чашечку и придвинул ее ко мне.

– Под вашу ответственность, – предупредил он колясников.

Заглянув в чашечку, я увидел только маслянистый отблеск на самом донышке. Там не хватило бы наполнить и наперсток.

– Вот это да! – удивился я. – Как мало.

Кролик шумно вздохнул. Он не уходил. Стоял и чего-то ждал.

– Деньги, – сказал он наконец. – Платить будешь?

Я растерялся. Денег у меня при себе не было.

– А сколько это стоит? – спросил я.

Кролик повернулся к Табаки.

– Слушай, это вы все затеяли. Я бы ничего ему не дал. Он же совсем без понятия, этот Фазан.

– Заткнись, – сказал Лорд, – протягивая ему сотенную купюру. – И вали отсюда.

Кролик взял деньги и отошел, бросив на Лорда хмурый взгляд.

– Пей, – предложил мне Лорд. – Если действительно хочешь.

Я опять заглянул в чашечку.

– Вообще-то уже не хочу.

– И правильно, – обрадовался Табаки. – Зачем тебе? Вовсе не обязательно, и вообще с чего это ты вдруг? Выпей лучше кофе. И булочку съешь.

– Нет. Спасибо.

Мне было стыдно. Хотелось побыстрее уехать.

– Извините, – сказал я. – Не знал, что это так дорого.

– Брось, – пискнул Табаки. – Не знал и хорошо. Меньше знаешь – дольше проживешь.

– Три кофе! – заорал он вдруг, крутанув коляску. И завертелся волчком. Я не понял, как он это сделал, от чего оттолкнулся, но вращался он как бешеный. Во все стороны полетели крошки еды, бисер и всякий мелкий мусор. Как от мусорной корзины на карусели. Мне на рукав спикировало маленькое перышко.

– Спасибо, не надо! – крикнул я.

Карусель остановилась.

– Почему не надо? Ты куда-то спешишь?

– У меня нет денег.

Табаки моргнул совиными глазами. От верчения волосы его встали торчком, и вид сделался совсем безумным.

– А зачем деньги? Лорд угощает. Это же мы тебя пригласили. Кстати, цена чисто символическая.

Кролик поставил на стол поднос с тремя чашками кофе, молочником и расчлененными булками. Моих протестов никто не слушал.

– Не надо меня угощать, – попробовал я еще раз. – Я не хочу.

– Ну ясно, – Табаки разочарованно откинулся на спинку коляски. – Какой человек станет пить с тобой кофе, Лорд, после того как ты дал ему по морде? Никакой.

Я почувствовал, как заполыхали щеки. Лорд барабанил пальцами по столу и не смотрел на нас.

– Ты бы извинился, – предложил ему Табаки. – Он же сейчас уедет. И получится как всегда. То есть не получится.

Лорд покраснел. Быстро и очень заметно, как будто ему надавали пощечин.

– Не указывай мне, что делать!

Хотелось уже не уехать, а провалиться сквозь землю. Так было бы гораздо быстрее. Я развернул коляску.

– Извини, – буркнул Лорд, не поднимая глаз.

Я застрял.

Коляска полуразвернута, голова вжата в плечи.

Я уже ничего не понимал. Даже в самых моих мстительных мечтах Лорд передо мной не извинялся. Как-то не удавалось это представить. Я выбивал ему зубы и сворачивал челюсть, он делался не таким уж красивым, обзывался и плевался кровью, но до извинений у

нас не доходило.

– Я был тогда не в себе, – сказал Лорд. – Повел себя, как последняя скотина. Настучи ты Паукам, у меня были бы неприятности. Ты даже представить не можешь, какие. Я две ночи не спал, ждал, когда за мной придут. Пока не понял, что ты ничего не сказал. Хотел извиниться и не смог. Не получилось. И сегодня не получилось бы, если б не Шакал.

Лорд замолчал и наконец посмотрел на меня. Глаза у него были злые.

Я тоже молчал. А что было говорить? «Я тебя прощаю» прозвучало бы по идиотски. «Не прощу ни за что» – и того хуже.

– Ничего не понимаю, – сказал я.

– Чего ты не понимаешь? – живо откликнулся Шакал.

– Ничего.

– Теперь ты выпьешь с нами кофе? – спросил он вкрадчиво.

Настырный оказался тип.

Я подъехал к столу. Взял с подноса чашку.

– Все не так, – сказал я. – Не так, как должно быть. Вы ведете себя не по правилам. Никто не станет извиняться перед Фазаном. Никогда. Даже если полголовы ему снесет.

– Где оно записано – это правило? – возмутился Табаки. – Что-то я о нем не слыхал.

Я пожал плечами:

– Не знаю. Там же, где остальные правила, наверное. Записано или не записано, но оно есть.

– Фу ты! – Табаки смотрел на меня почти с восторгом. – Какой наглый! Учит меня правилам Дома. Ни хрена себе!

Лорд вертел чашечку с «Лунной дорогой», пристально в нее всматриваясь.

– Из чего ее смешивают? – спросил он. – Что там?

Табаки фыркнул:

– Не знаю. Одни говорят – вытяжка из мухоморов, другие – слезы Стервятника. Может, птичий папа и плачет зеленой горечью, но разве кто станет проверять? В любом случае, она ядовита. Романтически настроенные личности утверждают, что это ночная роса, собранная в полнолуние. Хотя росой вряд ли перетравилось бы столько народу. Если, конечно, не собирать ее носками Логов.

– Дай какой-нибудь пузырек, – попросил его Лорд, протягивая руку.

Табаки поморщился.

– Решил отравиться? Тогда лучше крысиного яду достань. Он надежнее. И более предсказуем.

Лорд ждал, не убирая протянутой руки.

– Ладно, ладно, – проворчал Табаки, роясь в карманах. – Травись, чем хочешь, мне-то что. Я за свободу выбора.

Он передал Лорду крохотную мензурку, и мы понаблюдали, как тот осторожно переливает в нее содержимое чашечки.

– А ты? – повернулся ко мне Шакал. – Чего молчишь? Расскажи что-нибудь интересное. Говорят, на последних Фазаньих собраниях обсуждают только тебя.

Я поперхнулся и пролил немного кофе на рукав.

– Откуда ты знаешь? Я думал, вы нами не интересуетесь.

– А ты о нас вообще странного мнения, – хихикнул Табаки. – Ходим, как надутые индюки, ничего вокруг не замечаем. Иногда сносим кому-нибудь полголовы, не замечаем и этого, бредем себе дальше. На плечах у нас – «бремя белого человека», а под мышкой – толстенный свод Домовых законов и правил, где записано: «Лупи лежачего, топчи упавшего, плюй в колодец, из которого пьешь», и прочие полезные советы.

Это было довольно близко к тому, что я думал о них на самом деле, и я не сдержал улыбки.

– Ага, – вздохнул Табаки, – так и есть. Я не преувеличил. Но будь у тебя хоть капля такта, ты не демонстрировал бы это так откровенно.

– Что еще за собрания? – спросил Лорд, перебрасывая мне через стол пачку «Кэмела». – Я, например, не знаю, что это такое.

Табаки остолбенел от возмущения, а я засмеялся.

– Вот такие, как ты и портят нам весь имидж! – завопил Шакал, выхватывая у меня из-под носа сигареты. – Из-за вас нас считают самодовольными индюками! Только полный неуч не знает о Фазаньих собраниях. Не суди по Лорду, – повернулся он ко мне. – Без году неделя в Доме и почти ничем не интересуется.

– Два года и девяносто дней, – поправил Лорд. – А он все еще считает меня новичком.

Табаки потянулся через стол и похлопал его по руке.

– Извини, старина. Знаю, тебя это задевает. Но ты сравни свои два года с моими двенадцатью, и поймешь, что я вполне могу звать тебя новичком.

Лорд скривился, как будто у него заболели все зубы одновременно. Табаки это понравилось. Он даже порозовел от удовольствия. Закурил и кивнул мне со снисходительной улыбкой старожила.

– Итак… мы ничего не узнали, кроме того, как много всего не знает Лорд. А ты все молчишь.

Я пожал плечами. Кофе был вкусный. Табаки был смешной, Лорд держался дружески. Я расслабился, уже не ожидая от них гадостей, и решил, что ничего страшного не случится, если сказать правду.

– Меня исключили, – признался я. – Общим голосованием. Послали прошение Акуле, и он дал согласие. Теперь переведут в другую группу.

Колясники четвертой дружно отставили чашки и переглянулись.

– Куда? – замерев от любопытства, спросил Шакал.

– Не знаю. Акула не сказал. Говорит, это еще не решено.

– Скотина, – процедил Лорд. – Скотом живет и умрет по-скотски!

– Эй-эй, погоди! – Табаки наморщил лоб, быстро прикинул что-то в уме и уставился на нас округлившимися глазами. – Либо к нам, либо в третью, – заявил он. – По-другому не получается. – Они с Лордом опять переглянулись.

– Я тоже так думаю, – сказал я.

Некоторое время мы молчали. Кролик, должно быть, обожал саксофоны. Из магнитофона за стойкой без перерыва доносились их жалобные вопли. На сквозняке покачивались китайские фонарики.

– Вот зачем тебе понадобилась «Лунная дорога» – пробормотал Табаки. – Теперь понятно.

– Кури, – сказал Лорд сочувственно. – Почему ты не куришь? Табаки, отдай ему сигареты.

Шакал рассеянно протянул мне пачку. Пальцы у него были тонкие, как паучьи лапки, и ужасно грязные.

– Да, – сказал он мечтательно. – Либо так, либо эдак. Либо ты узнаешь, какого цвета слезы у Стервятника, либо все мы увидим, как рыдает Лэри.

– По-твоему, Стервятник заплачет? – удивился Лорд.

– Конечно. Еще как! В голос! Как Морж, поедающий устриц.

– То есть он меня съест, – уточнил я.

– С сожалением, – заверил Табаки. – У него в принципе нежная и ранимая душа.

– Спасибо, – сказал я. – Это очень утешает.

Шакал не был глухим. Он покраснел, виновато шмыгнув носом.

– Ну, вообще-то я так… слегка преувеличил. Люблю пугать людей. Он действительно неплохой парень. Совсем чуть-чуть сдвинутый.

– Еще раз спасибо.

– А знаешь, можно пригласить его за наш столик! – осенило вдруг Табаки. – А что? Неплохая мысль. Познакомитесь поближе, пообщаетесь… ему понравится.

Я беспокойно огляделся. Стервятника в Кофейнике не было. Я это точно знал, но в какой-то момент испугался, что ошибся, что он появился, пока я не смотрел по сторонам, и сейчас Шакал пригласит его со мной знакомиться.

– Ну что ты так дергаешься? – укорил меня Табаки. – Я же сказал, он славный. К нему быстро привыкаешь. И вообще его здесь нет. Я имел в виду, позвать через Птиц, – он кивнул на соседний столик, где двое кислолицых в трауре играли в карты.

– Хватит, Табаки, – вмешался Лорд. – Оставь в покое Стервятника. Наши шансы на

новичка намного выше, чем у третьей, так что если уж тебе так приспичило, зови Слепого.

Табаки почесался, повертелся, схватил с подноса булку, и, роняя куски, мигом проглотил ее.

– Черт, – сказал он с набитым ртом. – Я так волнуюсь… – он подобрал все, что упало, и затолкал следом. – Ужасно волнуюсь! Неизвестно, как среагирует на все это Слепой…

– Известно, – оборвал его Лорд. – Никак. Когда это он на что-то реагировал?

– Верно, – нехотя согласился Табаки. – Практически никогда. Видишь ли, – подмигнул он мне, – наш вожак – долгих ему лет вожачества – слеп как крот, и с реакциями у него проблемы. Обычно он предоставляет все Сфинксу. «Среагируй, будь добр, вместо меня», – говорит он. Так что бедняга Сфинкс уже много лет реагирует на все за двоих. Может, оттого и облысел. Это ведь очень утомительно.

– Так он не всегда был лысым? – удивился Лорд.

Табаки бросил на него уничтожающий взгляд:

– Что значит «всегда»? С рождения? Может, он и родился лысым, но уж поверь, к моменту нашего знакомства Сфинкс был вполне волосат!

Лорд сказал, что не может себе этого представить. Табаки ответил, что у Лорда всегда были проблемы с воображением.

Я наконец закурил. От чудачеств Табаки тянуло расхохотаться, но я боялся, что смех прозвучит истерично, и сдерживался.

– Да! – вспомнил вдруг Табаки. – Ты же крестник Сфинкса, я и забыл! Видишь, как все славно складывается! Раз ты его крестник, он среагирует на тебя, как родная мать. Что еще нужно для счастья?

Я сомневался, что для счастья мне требуется лысый ябеда Сфинкс в роли матери, и так об этом и сказал.

– Зря. Очень зря, – обиделся Табаки. – Из Сфинкса получается неплохая мать. Уж поверь.

– Да. Особенно для Черного, – изобразил улыбку Лорд. – Вон он, кстати, идет. Можешь позвать его. Расскажет Курильщику, какая нежная из Сфинкса мать.

– Не передергивай, – возмутился Шакал. – Я не сказал – для всех и каждого. Ясное дело, для Черного Сфинкс, скорее, мачеха.

– Злая, – уточнил Лорд сладким голосом. – Из немецких сказок, после которых дети громко кричат по ночам.

Табаки сделал вид, что не расслышал.

– Сюда, сюда, старина! – крикнул он, замахав руками. – Вот они мы! Смотри сюда. Ау!.. Совсем у него плохо стало со зрением, – поделился он с нами озабоченно и схватил последнюю булку. – Из-за штанги. Поднятие тяжестей не оздоровляет на самом-то деле. А главное, – он заглотнул булку в два приема, – ему нельзя переедать. Так что лучше, если вокруг будет поменьше мучного. Верно, Черный?

Черный – мрачный детина с белесым ежиком волос – подошел со стулом, который прихватил по пути, поставил его рядом с Лордом, сел и уставился на меня:

– Верно что?

– Что тебе нельзя переедать. Ты и так тяжелый.

Черный промолчал. Он и в самом деле был тяжелым, но уж точно не от переедания. Наверное, таким и родился. Потом накачал себе мускулатуру всякими тренажерами и сделался еще внушительнее. Майка-безрукавка оставляла на виду его бицепсы, которые я уважительно рассматривал, пока он рассматривал меня. Табаки сообщил, что меня переводят и, скорее всего, к ним, в четвертую. «Если только не в третью, но в третью вряд ли, потому как, ясное дело, когда есть из чего выбирать, выбирают, где попросторнее».

– Ну? – только и сказал на это Черный. Руки его были как два окорока, голубые глаза, казалось, вообще не моргали.

Табаки расстроился:

– Что ну? Я тебе первому сообщаю сенсационную новость!

– И что я должен сделать?

– Удивиться! Ты должен хоть немного удивиться!

– Я удивлен.

Черный встал, задев головой китайский фонарик, и пересел за свободный столик через один от нас. Там он достал из кармана жилета книжку в мягкой обложке и, близоруко щурясь, уткнулся в нее.

– Пожалуйста! – возмутился Табаки. – Кто-то тут рассуждал о реакциях Слепого! Да по сравнению с Черным Слепой – просто живчик!

Насчет живчика он преувеличил. Я лежал как-то в лазарете в одной палате со Слепым. За три дня он не произнес ни слова. Даже почти не шевелился, так что я постепенно стал воспринимать его как деталь интерьера. Он был щуплый и невысокий, в его джинсы влез бы тринадцатилетний, два его запястья были как одно мое. Рядом с ним я ощущал себя крепким парнем. Тогда я еще не знал, кто это, и решил, что он просто совсем забитый. Сейчас, глядя на Черного, я подумал, что если кто в четвертой и выглядит как вожак, то, конечно, он, а вовсе не Слепой.

– Странно все устроено, – сказал я. – Непонятно.

– Ага, и этот поражается, – кивнул Табаки. – Конечно, странно. Такая башня, как Черный, ходит под Слепым. Ты ведь это имел в виду, признайся! Он такой внушительный. Такой царственный, да? Мы вот тоже удивляемся. Живем рядом с ним, и каждый день удивляемся, как это он – и не вожак. А больше всех удивляется сам Черный. Встает рано утром, смотрит вокруг и вопрошает: «Почто?» И так день за днем.

– Угомонись, Табаки, – поморщился Лорд. – Хватит.

– Зол я, – объяснил Табаки, допивая кофе. – Не люблю флегматиков.

Я тоже допил свой кофе и докурил вторую сигарету. Наверное, пора было уезжать. Но не хотелось. Приятно сидеть в Кофейнике в открытую, не прячась, курить… пить кофе, который в первой считали чем-то вроде слабой разновидности мышьяка. Я только боялся, что Табаки еще кому-нибудь начнет рассказывать о моем переводе. Лучше было распрощаться, пока этого не случилось. Табаки достал блокнот и черкал в нем что-то ручкой, выуженной из-за уха.

– Так-так, – бормотал он. – Несомненно… и это тоже не забудем. Еще бы. А вот это вообще недопустимо…

Лорд крутил на краю стола зажигалку.

– Пожалуй, мне пора, – сказал я.

– Минуточку, – Табаки писал еще некоторое время, потом вырвал листок из блокнота и протянул его мне. – Тут все отмечено. Основное. Просмотри и запомни.

Я уставился на невразумительные каракули:

– Что это?

– Инструкция, – Табаки вздохнул. – Ну что здесь непонятного? Правила поведения для переселенца. Сверху – на случай переселения к нам, ниже – в третью.

Я всмотрелся внимательнее.

– Какие-то цветы… часы. А при чем здесь постельное белье? У вас его что, не выдают?

– Выдают. Но лучше не оставлять у себя за спиной ничего такого, что носит твой отпечаток.

– Какой отпечаток? Я что, мажусь перед сном ваксой?

Табаки опять посмотрел взглядом старожила. Утомленного многими знаниями.

– Слушай, это элементарно. Берешь с собой все свое и уносишь. Что не можешь унести – уничтожаешь. Но чтобы ничего твоего там не осталось. Вдруг ты завтра помрешь? Хочешь, чтобы твою чашку обвязали траурной ленточкой и выставили на всеобщее обозрение с гнусной надписью: «Мы помним тебя, о, заблудший брат наш»?

Меня передернуло:

– Ладно. Понял. А часы?

«Переселяемому в четвертую группу настоятельно рекомендуется избавиться от любого вида измерителей времени: будильников, хронометров, секундомеров, наручных часов и т. д. Попытка сокрытия подобного рода предметов будет немедленно выявлена экспертом, и, в целях пресечения дальнейших провокаций подобного рода, нарушитель понесет наказание, определенное и утвержденное экспертом.

Переселяемому на территорию 3-й группы, иначе именуемой „Гнездовищем“, реко-

мендуется иметь при себе следующие предметы: набор ключей (неважно от чего), два цветочных горшка в хорошем состоянии, не менее четырех пар черных носков, охранный амулет-противоаллерген, беруши для ушей, книгу Дж. Уиндема „День Триффидов“, свой старый гербарий.

Переселенцу вне зависимости от места переселения рекомендуется не оставлять на покидаемом участке одежду, постельное белье, предметы домашнего обихода, предметы, созданные лично переселяемым, а также органику – волосы, ногти, слюну, сперму, использованные бинты, пластыри и носовые платки».

Ночью я не спал. Слушал дыхание спавших и смотрел в черноту потолка, пока он не побелел и на нем не проступили знакомые трещинки. Тогда я подумал, что вижу их в последний раз, и в последний раз пересчитал. Циферблат больших настенных часов тоже сделался виден, но на него я специально не смотрел. Это была самая невыносимая ночь из всех, что я провел в Доме. К подъемному звонку я был уже наполовину одет. Сборы заняли десять минут. Я упаковал в сумку смену белья, пижаму и учебники, постаравшись оставить все, на чем красовались номера. Акула, как я и думал, не пришел в назначенное время. Группа уехала завтракать без меня. Они вернулись и уехали на уроки, а его все не было. Ни в десять, ни в одиннадцать, ни в двенадцать.

К половине первого я изгрыз все ногти, изъездил спальню вдоль и поперек раз двести и понял, что вот-вот сойду с ума. Достал «инструкцию переселенца», перечитал ее и содрал с кровати постельное белье. Упаковав его, собрал все салфетки, находившиеся поблизости от моей кровати и тумбочки. Остановил часы и спрятал их на дно сумки. Вытащил из тайника сигареты, закурил и уже начал прикидывать, как бы соорудить из подручных средств гербарий, когда наконец объявился Акула. С угрюмым Ящиком в качестве грузчика и с Гомером в качестве провожающего. Но Гомер проводить меня с достоинством не сумел. Его слишком потрясла зажженная сигарета. Увидев ее, он сбежал почти сразу. Даже не попрощался. Акула сигарету проигнорировал, зато спросил, какого черта я ободрал постель.

– Белье совсем свежее, – сказал я. – Только вчера сменили. Зачем пачкать лишний комплект?

Он посмотрел на меня, как на слабоумного, и пробурчал что-то насчет Фазаньих замашек, хотя сам вчера чуть не прибил меня за это слово. Я предложил оставить белье, если его это так напрягает, он велел мне заткнуться.

Ящик развернул мою коляску, потолкался между кроватями и вывез в коридор, где передал меня Акуле, а сам вернулся за сумкой. Акула катил коляску, Ящик тащил сумку. Гомера нигде не было видно. Знакомую территорию мы проскочили быстро, а дальше я как ни вертел головой, не узнал ничего, как будто за ночь изменились все рисунки и ориентиры. Я пропустил и вторую, и Кофейник, но понял это, только когда мы остановились перед дверью с огромной меловой четверкой посередине.

ДОМ
Интермедия

Дом стоит на окраине города. В месте, называемом Расческами. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов – предполагаемыми местами игр молодых «расчесочников». Зубья белы, многоглазы и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли, – обнесенные заборами пустыри. Труха снесенных домов, гнездилища крыс и бродячих собак гораздо более интересны молодым «расчесочникам», чем их собственные дворы – интервалы между зубьями.

На нейтральной территории между двумя мирами – зубцов и пустырей – стоит Дом. Его называют Серым. Он стар и по возрасту ближе к пустырям – захоронениям его ровесников. Он одинок – другие дома сторонятся его – и не похож на зубец, потому что не тянется вверх. В нем три этажа, фасад смотрит на

трассу, у него тоже есть двор – длинный прямоугольник, обнесенный сеткой. Дом серый спереди и расписан яркими красками с внутренней, дворовой стороны. Здесь его стены украшают рисунки-бабочки, размером с небольшие самолеты, слоны со стрекозиными крыльями, глазастые цветы, мандалы и солнечные диски. Все это со двора. Фасад гол и мрачен, каким ему и полагается быть.

Серый Дом не любят. Никто не скажет об этом вслух, но жители Расчесок предпочли бы, чтобы его не было рядом. Они предпочли бы, чтобы его не было вообще.

Они появились перед Домом жарким августовским днем, в час, не дающий теней. Женщина и мальчик. Улица была пустынна, солнце выжгло ее. Чахлые деревья вдоль мостовой от него не спасали, не спасали и стены домов, плавившихся в ярко-синем небе раскаленными зубьями. Асфальт проминался под ногами. Каблуки женщины выдавливали в нем маленькие дырочки, которые тянулись за ней аккуратной цепочкой, как следы очень странного зверя.

Они шли медленно. Мальчик – от усталости, женщина – скованная тяжестью чемодана. Оба в белом, светлоголовые, оба чуть выше, чем им полагалось: мальчику по возрасту, женщине – чтобы казаться женственной. Женщина была красива и привыкла привлекать внимание, но сейчас на нее некому было глазеть, чему она была только рада. Плавность ее походки изуродовал чемодан, белый костюм измялся от долгой поездки в автобусе, косметику размыло жарой. Несмотря ни на что, она шла гордо вскинув голову, стараясь не сутулиться и не выказывать признаков усталости.

Мальчик был похож на нее, как только маленький образец человеческой породы может походить на большой. Светлоголовый в рыжину, худенький и голенастый, он смотрел на мир точно такими же зелеными глазами, какие были у его матери, и держался так же прямо, как и она. На его плечи была накинута белая жакетка. В изнуряюще жаркий день это казалось странным. Он шел нехотя, цепляя кедой о кеду, прикрыв глаза так, что видел только серый, пупырчатый асфальт и следы, оставленные на нем каблуками матери. Он думал, что даже если бы мать скрылась бы из виду, ее можно было бы найти по этим смешным, дырчатым следам.

Женщина остановилась.

Над ними возвышалось здание Дома, окруженное с двух сторон пустотой, как уродливая серая брешь в белоснежных рядах Расчесок.

– Это, наверное, здесь.

Женщина поставила чемодан на землю и, приподняв солнечные очки, вгляделась в табличку над дверью.

– Видишь, как мы быстро дошли? Разве стоило брать такси?

Мальчик равнодушно кивнул. Он мог бы возразить, что идти пришлось довольно долго, но вместо этого сказал:

– Смотри мам, он прохладный. Солнце его не трогает. Странно, правда?

– Глупости, милый, – отмахнулась мать. – Солнце трогает все, что может достать. Просто он темнее соседних домов и от этого кажется более холодным. Сейчас я войду туда, а ты подождешь меня здесь. Хорошо?

Она подняла чемодан на четвертую ступеньку крыльца и прислонила его к перилам. Позвонив, замерла в ожидании, а мальчик сел в самом низу лестницы и уставился в другую сторону. Когда замок щелкнул, он обернулся и успел увидеть белый подол, тут же исчезнувший за дверью. Потом дверь захлопнулась, и он остался один.

Встав со ступеньки, мальчик подошел к стене и прислонился к ней щекой.

– Холодный, – сказал он. – Солнце не может достать его.

Он отбежал от Дома и посмотрел на него издали. Виновато покосился на дверь, передернул плечами и зашагал вдоль стены. Дойдя до угла, еще раз оглянулся, помедлил и повернул.

Еще одна стена. Мальчик добежал до ее конца и остановился.

За следующим поворотом оказался двор, отгороженный сеткой. Пустой и унылый, такой же раскаленный, как все вокруг. Зато Дом с этой стороны был совсем другим. Разноцветный и веселый, он как будто решил показать мальчику свое другое лицо. Улыбающееся. Лицо не для всех.

Мальчик подошел вплотную к сетке, чтобы рассмотреть это другое лицо Дома получше и, может быть, даже угадать, кто нарисован на его стенах, и увидел покосившееся сооружение из картонных коробок. Самодельный домик, прикрытый ветками. На крыше его торчал обвисший от безветрия флажок, картонные стены были увешаны самодельным оружием и колокольчиками. Шалаш был обитаем. Изнутри доносились голоса и шорохи. Перед входом чернела кучка золы, обложенная кирпичами.

Им разрешают разводить костры…

Он прижался к сетке, не замечая, что на майке и жакетке отпечатался ржавый, сетчатый узор. Он не знал, кому – «им», но понимал, что много лет этим «им» быть не могло. Он смотрел, пока его самого не заметили через неровно вырезанное окошко.

– Ты кто? – спросил хрипловатый детский голос, и в дверном проеме домика появилась повязанная цветастым платком голова. – Лучше уходи. Здесь чужим нельзя.

– Почему? – с интересом спросил мальчик.

Пошатнувшись, шалаш выпустил еще двоих обитателей. Третий остался выглядывать из окошка. Трое загорелых мальчишек с разрисованными лицами, уставились на него через сетку.

– Он не из этих, – сказал один другому, кивая на зубцы многоэтажек. – Он вообще нездешний. Вон как глядит…

– Мы на автобусе приехали, – объяснил мальчик в жакетке. – А потом еще пешком.

– Вот и иди отсюда пешком, – посоветовали ему из-за сетки.

Он отошел на несколько шагов. Он не обиделся. Просто это были странные мальчишки. Что-то с ними было не так. И ему хотелось понять, что именно.

Те, со своей стороны, разглядывали его и обсуждали без всякого смущения.

– С Северного полюса, наверное, – сказал маленький, с очень круглой головой. – В кофточке. Совсем дурачок.

– Сам ты дурачок, – сказал другой. – Рук нету, вот он и в кофте. К нам привезли. Не видишь?

Они переглянулись и захихикали. Тот, что сидел в домике, тоже засмеялся, раскачивая его своим смехом.

Мальчик в жакетке попятился.

Они продолжали смеяться:

– К нам, к нам!

Он повернулся к ним спиной и побежал. Неуклюже сутулясь, чтобы не слетела жакетка.

Выскочив за угол, врезался в кого-то, и тот схватил его за плечи.

– Эй, потише! Что такое?

Мальчик затряс головой.

– Ничего. Извините. Меня ждут вон там. Пожалуйста, отпустите.

Но человек его не отпустил.

– Пойдем, – сказал он. – Твоя мать сидит у меня в кабинете. Я уже начал гадать, что говорить, если не найду тебя.

Человек был из прохладного дома. У него были синие глаза и серые волосы, он был горбоносый и щурился, как щурятся люди, которые носят очки.

Они поднялись по ступенькам, и человек из прохладного дома взял чемодан. Дверь была приоткрыта. Он посторонился, пропуская мальчика.

– А те, из шалаша… Они здесь живут? – спросил мальчик.

– Да, – обрадовался синеглазый. – А вы уже познакомились?

Мальчик промолчал.

Он переступил порог, человек из Дома вошел следом, и дверь за ними захлопнулась.

Они жили в комнате, уставленной полками с игрушками. Мальчик и мужчина. Мальчик спал на диване с плюшевым крокодилом, мужчина ставил рядом раскладушку. Оставаясь один, мальчик выходил на балкон, ложился там на надувной матрас и смотрел сквозь перила на игравших внизу ребят. Иногда вставал, чтобы его было видно. Ребята задирали головы и улыбались. Но никогда не звали спуститься. Втайне он ждал этого приглашения, но его не звали. Разочарованный, он ложился обратно на матрас, смотрел вниз из-под полей соломенной шляпы и слушал их тонкие, похожие на птичьи, голоса. Иногда он закрывал глаза и представлял себя на пляже, дремлющим под тихий шелест волн. Крики мальчишек делались чаячьими. Ноги облезали и покрывались коричневым загаром. Он уставал от безделья.

Вечерами они сидели на ковре, мальчик и синеглазый, носивший странное имя Лось, которое не было именем, слушали музыку и разговаривали. У них был скрипучий проигрыватель и пластинки в ветхих конвертах, которые мальчик разглядывал, как картины, очень внимательно, ища в них сходство с музыкой и не находя его.

Летние ночи входили в балконную дверь. Они не включали свет, чтобы не приманивать комаров. Однажды мальчик увидел мелькнувшую по синему бархату неба тряпку. Это была летучая мышь, похожая на крысиное привидение в рваном плаще. С тех пор он садился так, чтобы видеть небо.

– Почему ты называешь себя Лосем? – спросил однажды мальчик.

Он думал о бродящих по лесам лосях, с рогами кружевными, как дубовые листья. О них и об оленях, которые доводились им родственниками. Хотя у оленей рога были совсем другие. Он долго думал обо всем этом, прежде чем спросить.

– Это кличка, – объяснил Лось. – Прозвище. У всех в Доме есть прозвища, так уж здесь повелось.

– И у меня тоже, раз я здесь живу?

– У тебя пока нет. Но будет. Когда вернутся остальные ребята, и ты переберешься в общую спальню, тогда и у тебя тоже появится кличка.

– Какая?

– Не знаю. Надеюсь, что симпатичная. Если повезет.

Мальчик задумался, как его можно назвать, но ничего не придумал. Это зависело от тех, которые должны были вернуться. И ему захотелось, чтобы они вернулись поскорее.

– Почему они не зовут меня? – спросил мальчик Лося. – Думают, что я не могу играть? Или они меня не любят?

– Нет, – сказал Лось. – Просто ты в Доме новый человек. Должно пройти какое-то время, прежде чем они к тебе привыкнут. Поначалу так бывает со всеми. Потерпи.

– Сколько времени должно пройти? – спросил мальчик.

– Тебе очень скучно? – спросил его Лось.

На следующий день Лось пришел не один. С ним был мальчик, который никогда не играл во дворе и которого никогда не было видно из окон.

– Я привел тебе друга, – сказал Лось. – Он будет жить с тобой, и ты не будешь скучать в одиночестве. Это Слепой. Делайте, что хотите – играйте, беситесь, ломайте мебель, только постарайтесь не ссориться и не жаловаться друг на

друга. Комната теперь ваша.

Слепой не играл с ним, потому что не умел играть. Он послушно сидел с мальчиком, будил его по утрам, умывал и причесывал. Слушал его рассказы, почти не отвечая, и ходил по пятам, как приклеенный. Не потому, что ему так хотелось. Просто ему казалось, что именно этого хотел от него Лось. Желание Лося было для него законом. Если бы Лось попросил, он прыгнул бы с балкона или с крыши. Или даже сбросил оттуда кого-нибудь другого. Безрукого мальчика это пугало. Лося это пугало намного сильнее. В душе Слепой был взрослым – взрослым отшельником. У него были длинные волосы и лягушачий, в красных болячках рот, он был бледный, как привидение, и ужасно худой. Ему было девять лет. Лось был его богом.

Память Слепого пахла, звенела и шуршала. Она несла запахи и ощущения. Она не простиралась так далеко, как у других – раннего детства Слепой не помнил. Почти. Например, из самых дальних ее глубин он извлекал только бесконечное сидение на горшке. Их там было много очень маленьких мальчиков, и все сидели в ряд на одинаковых жестяных горшках. Воспоминание было грустным и плохо пахло. Позже он вычислил, что их выдерживали в этой позиции не меньше получаса. Многие успевали сделать все, что полагалось, но оставались сидеть, дожидаясь остальных, потому что таков был порядок, а к соблюдению порядка их приучали с пеленок.

Еще он помнил двор. Где они гуляли, держась друг за друга, но все равно спотыкаясь и падая. Гулять следовало осторожно, цепью, держась за одежду впереди идущего. Возглавляли и замыкали эту колонну взрослые. Если кто-то останавливался или отклонялся от общего маршрута, сверху раздавались их громкие, наводящие порядок голоса. Весь его мир делился тогда на два вида голосов. Одни руководили сверху, другие были ближе и понятнее, они принадлежали таким же, как он. Но их он тоже не любил. Иногда громкие голоса исчезали. Если они пропадали надолго, то он и другие – такие же, как он – начинали бегать, прыгать, падать и разбивать себе носы, и сразу оказывалось, что двор вовсе не так велик, как кажется, если ходить по нему гуськом, а наоборот, тесен и мал, и поверхность его покрыта чем-то твердым, царапавшим коленки.

Позже он помнил драки. Частые драки, возникавшие без особых причин. Достаточно было кого-нибудь толкнуть, а там, где он жил, толкались постоянно. Его толкали, и он толкал – не нарочно, просто так получалось – и с какого-то времени за первым случайным толчком следовал другой, более сильный, после которого трудно было устоять на ногах, или удар, после которого что-нибудь начинало болеть. Тогда он начал бить сам, не дожидаясь, пока его ударят. Иногда после этого сверху раздавались рассерженные взрослые голоса, и его уводили в другую комнату. В место для наказанных. Там не было ни столов, ни стульев, ни кроватей. Были только стены и потолок, но про потолок он тогда не знал. Комнаты он не боялся. Другие, когда их запирали, плакали, он не плакал никогда. Он любил одиночество. Ему было все равно, есть рядом люди или нет. Если хотелось спать, он ложился на пол и засыпал, если хотелось есть, доставал из карманов припрятанные куски хлеба. Если оставляли взаперти надолго, отколупывал от стен штукатурку и грыз ее. Штукатурку он любил даже больше чем хлеб, но взрослые сердились, заставая его за этим занятием, и он сдерживался, давая себе волю, только когда оставался один.

Он рано понял, что его не любят. Его отличали от других детей, чаще других наказывали и приписывали чужие проступки. Он не понимал почему, но не удивлялся и не обижался. Он никогда ничему не удивлялся. Никогда не ждал от взрослых ничего хорошего. Он решил, что взрослые несправедливы, и смирился с этим. Научившись делить их на мужчин и женщин, отметил, что женщины относятся к нему хуже, чем мужчины, но и этому факту не стал искать объяснений,

а просто принял к сведению, как принимал к сведению все окружавшее его.

Со временем он понял, что мал ростом и слаб. Он понял это, когда голоса других детей начали доноситься немного сверху, а их удары причинять ему больше вреда. Примерно в это же время он узнал, что некоторые из детей видят. Что это такое, он долго не мог понять. Он знал, что взрослые обладают каким-то большим преимуществом, позволявшим им свободно передвигаться за пределами его мира, но связывал это с их ростом и силой. Что такое «видеть», Слепой не понимал. А поняв умом, не мог представить. Долгое время понятие «зрячий» ассоциировалось для него только с меткостью. Зрячие били больнее.

Осознав преимущество более сильных и что-то видящих, он начал прилагать усилия, чтобы стать не хуже. Для него это было важно. Он очень старался – и его начали бояться. Слепой быстро понял, что именно вызывает страх. Дети боялись не силы, которой у него не было, а того, как он себя держал. Его спокойствия и безразличия, того, что он ничего не боится. Когда его били, он не плакал, а просто вставал и уходил. Когда он бил кого-то, этот кто-то обычно плакал, пугаясь его спокойствия. Он научился находить больные места, этого тоже боялись.

Чем старше он становился, тем острее ощущал общую неприязнь. Она проявлялась по-разному у детей и у взрослых, но в какой-то момент окружила его плотной стеной одиночества.

Так продолжалось, пока не появился Лось. Человек, говоривший с ним не как с одним из многих. Слепой не мог знать, что Лося вызвали специально для него. Он думал, что Лось выделил его среди остальных, полюбив сильнее. Он вошел в его жизнь, как к себе в комнату, перевернул все вверх дном, переставил и заполнил собой. Своими словами, своим смехом, ласковыми руками и теплым голосом. Он принес с собой много такого, о чем Слепой не знал и мог бы никогда не узнать, потому что никого всерьез не волновало, что знает и чего не знает Слепой. Мир его состоял из нескольких комнат и двора. Другие дети в сопровождении взрослых с удовольствием выходили за пределы этого мира, он всегда оставался. В этот куцый, четырехугольный мирок и ворвался Лось, заполнил его целиком, сделал бескрайним и бесконечным, а Слепой отдал ему свои душу и сердце – всего себя – на вечные времена.

Другой бы не понял и не принял, другой на месте Лося мог бы даже не заметить этого, но Лось все понял, и когда настало время уходить, он знал, что Слепого ему придется взять с собой.

Слепой на это не рассчитывал. Он догадывался, что Лось рано или поздно уйдет, что он снова останется один и что это будет очень страшно. Но не представлял, что может быть и по-другому. А потом случилось чудо. Память сохранила тот день во всех подробностях, со всеми звуками и запахами, с теплом солнечных лучей на лице. Они куда-то шли, и Слепой цепко, очень цепко держал Лося за руку, и сердце его трепыхалось, как раненая птица. Ему было больно от слишком большого счастья. Они шли долго. Солнце грело, камешки хрустели под ногами, где-то вдали с ревом проносились машины. Так долго и так далеко ему никогда еще не приходилось ходить. Потом они ехали в машине, где ему пришлось отпустить руку Лося, и он уцепился за полу его пиджака.

Так они приехали в Дом, где тоже было много детей, но в отличие от тех, прежних, все они были зрячие. Он уже знал, что это значит – что у каждого из них есть что-то, чего нет у него. Но его это больше не беспокоило. Главное, рядом был Лось – человек, которого он любил и который любил его.

Потом оказалось, что Дом живой и что он тоже умеет любить. Любовь Дома была не похожа ни на что. Временами она пугала, но всерьез – никогда. Лось был богом, и место, где он жил, не могло быть простым местом. Но и причинить вреда оно не могло. Лось не показывал, что знает о настоящем Доме, прикидывался непонимающим, и Слепой догадался, что это Великая Тайна, о которой не следует говорить вслух. Даже с Лосем. Поэтому он молчал и просто любил Дом,

как никто прежде. Ему нравился запах Дома, нравилось, что в нем много отсыревшей штукатурки, которую можно отколупывать от стен и поедать, нравился большой двор и длинные коридоры, по которым интересно бродить. Ему нравились щели в стенах Дома, его закутки и заброшенные комнаты, то, как долго в нем держатся следы проходящих, нравились дружелюбные призраки и все без исключения дороги, которые Дом перед ним открывал. Здесь он мог делать все, что хотел. Раньше за каждым шагом наблюдали вездесущие взрослые. На новом месте этого не было, и с непривычки это было странно, даже неудобно, хотя привык он быстро, гораздо быстрее, чем ожидал.

Синеглазый Лось – ловец детских душ – вышел на крыльцо и посмотрел на небо. Раскаленное, оно затухало красным на горизонте. Вечер не нес прохлады.

Сидевший на крыльце мальчик с подбитым глазом тоже смотрел в небо.

– Что случилось? – спросил его Лось.

Мальчик скривился.

– Он сказал – я должен уметь драться. А зачем, спрашивается? Он всегда молчит и молчит, как глухой – вот и молчал бы дальше. Когда он говорит, с ним вообще невозможно. Я раньше думал: «Как плохо, что он молчит!» А теперь думаю, что было лучше. И драки его мне не нужны. Шарахнул зачем-то по глазу. Завидует моему зрению наверное…

Лось спрятал руки в карманы брюк и покачался на пятках:

– Болит?

– Нет.

Мальчик поднялся и лег животом на перила, свесившись во двор.

– Просто он мне надоел. Иногда кажется, что у него с головой не все в порядке. Странный он какой-то.

– Он говорит о тебе то же самое, – Лось прятал улыбку, рассматривая понурую фигуру на перилах. – Но ты ведь помнишь наш уговор?

Мальчик покачался, оттолкнувшись ногами от дощатого настила крыльца.

– Помню. Не жаловаться, не обижаться и не дуться. А я и не дуюсь, и не жалуюсь. Я просто гуляю, – он задрал голову и перестал раскачиваться. – Смотри, Лось, как красиво! Красное небо. А деревья – черные. Как будто небо их сожгло.

– Пошли, – Лось повернулся к двери. – С балкона вид еще красивее. Здесь ты кормишь комаров.

Мальчик нехотя слез с перил и пошел следом.

– Бедняга Слепой ничего этого не видит, – сказал он с тихим злорадством. – Понятно, почему он такой нервный.

– А ты расскажи ему, – ответил Лось, открывая дверь. – Ему будет приятно послушать о том, чего он не видит.

– Ага, – кивнул мальчик. – Конечно. И он подобьет мне второй глаз, чтобы мы с ним сравнялись во всем. Это ему тоже будет приятно.

Двое мальчишек лежали на балконе на надувном матрасе, голова к голове. Мальчик в соломенной шляпе с пустыми рукавами рубашки, подмятыми под живот, монотонно бормотал, не поднимая глаз от цветастого матраса:

– Они белые и движутся, а по краям как будто рваные или немного покусанные. Снизу розоватые. Розовое – это вроде красного, только светлее. А движутся они очень медленно, надо долго смотреть, только тогда увидишь. Сейчас их мало. А когда бывает много, то уже не так солнечно, а если еще и тучи, то совсем темно, и тогда даже дождь может пойти…

Длинноволосый мальчик поднял голову и нахмурился:

– Не надо про то, чего нет. Рассказывай про то, что сейчас.

– Ладно, – согласился мальчик в шляпе и перевернулся на спину. С матраса посыпались завалившиеся в углубления кукурузные зерна и крошки печенья. – Значит, они белые, а снизу розоватые и тихо плывут, а вокруг все голубое.

Он прищурился, глядя сквозь выгоревшие ресницы в ровную, без единого облачка, синеву неба и, улыбаясь, продолжил:

– Под ними все голубое и над ними тоже. А сами они, как белые барашки. Жаль, что ты не видишь эту красоту…

Дом был пуст или казался пустым. По утрам уборщицы-невидимки пересекали коридоры, оставляя за собой блестящие мастикой следы. В пустых спальнях в оконные стекла бились мухи. Во дворе, в шалаше из картонных коробок, жили трое загорелых до черноты мальчишек. Ночами выходили на охоту кошки. Днем они спали, свернувшись в пушистые клубки. Дом был пуст, но кто-то прибирал его, кто-то готовил еду и складывал ее на подносы. Чьи-то руки выметали мусор и проветривали душные комнаты. Жившие в картонном домике прибегая в Дом за бутербродами и водой, оставляли на чистых полах фантики от конфет, комки жевательной резинки и пыльные следы. Они старались изо всех сил, но их было слишком мало, а Дом был слишком велик. Грохот их ботинок замирал, поглощенный тишиной, крики глохли меж пустых стен, и после каждой вылазки они торопились вернуться в свой маленький дворовый лагерь, подальше от мертвых, безликих комнат, пропахших мастикой, одинаковых, как близнецы. Невидимые руки сметали их следы. Только одна комната была жилой. Ее жильцов не пугала необитаемость Дома.

Мальчик и сам не знал, чего так испугался в тот первый день, когда они вернулись. Его разбудил шум их присутствия. Проснувшись, он с удивлением понял, что Дом заполнен людьми, что тишины – знойной, летней тишины, к которой он успел привыкнуть за месяц – больше нет. Дом скрипел, охал и посвистывал, хлопал дверьми и звенел стеклами, перекликался сам с собой музыкальными отрывками через стены, кипел и бурлил жизнью.

Он сбросил простыню и выбежал на балкон.

Двор был заполнен людьми. Они толпились вокруг двух красно-синих автобусов, смеялись, курили и перетаскивали толстые рюкзаки и сумки с места на место. Цветастые, загорелые, шумные, пахнущие морем. Горячее небо жарило двор. Он смотрел на них, присев на корточки, вжавшись лбом в прутья перил. Он хотел быть среди них, невидимой частью взрослой, прекрасной жизни, изнывал от желания спуститься – и не двигался с места. Кто-то должен был его одеть. Насмотревшись, он вернулся в комнату.

– Слышишь? – спросил Слепой, сидевший на полу возле двери. – Слышишь, сколько от них шума?

Слепой держал его шорты. Мальчик подбежал и поочередно просунул ноги в штанины. Слепой застегнул молнию.

– Ты их не любишь? – спросил мальчик, наблюдая, как тот шнурует его кеды.

– А за что? – Слепой скинул его ногу с колена и поставил другую. – За что я их должен любить?

Он едва дождался жакетки и не дотерпел до расчески. Отросшие за лето светлые волосы остались взъерошенными.

– Все, пусти! Я пойду! – крикнул он и побежал, оскальзываясь от нетерпения. Коридор, лестница, первый этаж. Распахнутую дверь во двор подпирал полосатый чемодан. Он выбежал на крыльцо и замер в растерянности.

Кругом были лица. Чужие и острые, как лезвия ножей. Пугающие пронзительные голоса. И он испугался. Эти были совсем не те люди, к которым он спешил. Они были черны от солнца, они смеялись и пестрели цветастыми рубашками, но были совсем другими.

Он сел на ступеньку, не сводя с них бирюзово-кошачьих глаз. Дрожь пробежала по позвоночнику. «Вот они какие, – подумал он горько. – Склеенные из кусочков. И я один из них. Такой же. Или стану таким. Это как зоопарк. И ограда

– сетка со всех сторон».

Там был один в коляске – белый, как мраморная статуя, седой и изможденный, а был и другой – почти фиолетовый, распухший, как утопленник, и такой же страшный. Тоже неходячий, окруженный девушками, которые толкали его коляску. Девушки смеялись и шутили. В каждой из них был изъян – и они были склеенные. Он смотрел на них, и ему хотелось плакать.

Высокая, черноволосая девушка в розовой рубашке остановилась рядом.

– Новенький, – сказала она, глядя на него колдовскими глазами, в которых радужка сливалась чернотой со зрачком.

– Да, – согласился он грустно.

– У тебя уже есть кличка?

Он помотал головой.

– Тогда будешь Кузнечиком, – она тронула его за плечо. – У тебя в ногах будто по пружинке запрятано.

«Видела, как я несся по лестнице», – подумал он, краснея.

– Вон тот, кого ты ищешь, – она показала в сторону одного из автобусов.

Мальчик посмотрел и увидел, что там, рядом с человеком в черной футболке и в черных брюках, стоит Лось. Он обрадовался и улыбнулся девушке.

– Спасибо, – сказал он. – Вы угадали, я именно его искал.

Она пожала плечами:

– Нетрудно догадаться. Все мальки его ищут. А ты еще совсем свежий малек. Не забудь свою кличку и свою «крестную». Я Ведьма.

Она поднялась на крыльцо и вошла в Дом. Кузнечик смотрел ей вслед очень внимательно, но не увидел склеенных кусочков.

«Теперь у меня есть кличка!» – подумал он и побежал к Лосю.

Ласковая рука опустилась ему на плечо, он прижался к Лосю и замурлыкал от удовольствия. Человек в черном насмешливо смотрел на них из-под густых бровей.

– Еще одно преданное сердце, Лось? Когда ты только успеваешь?

Лось нахмурился, но промолчал.

– Шутка, – сказал черный человек. – Просто шутка, старина, не сердись, – и отошел от них.

– Кто это? – тихо спросил Кузнечик.

– Один из воспитателей. Ездил с ребятами в санаторий, – рассеянно ответил Лось. – Черный Ральф. Или Р Первый.

– А что, есть другие, такие же, как он? Вторые, третьи и четвертые?

– Нет. Других таких нет. Просто его почему-то так прозвали.

– Дурацкое лицо, – сказал Кузнечик. – Я бы на его месте отрастил бороду, чтобы его не было видно.

Лось рассмеялся.

– А знаешь, – мальчик потерся щекой о его ладонь, – у меня теперь тоже есть кличка. Угадай, какая? Ни за что не угадаешь.

– Не стану и пытаться. Наверное, что-то летучее.

– Почти так. Кузнечик, – он вскинул голову, внимательно вглядываясь в лицо Лося. Понравилось ли ему? – Это хорошо?

– Да, – Лось взъерошил ему волосы. – Считай, тебе повезло.

Кузнечик сморщил облупленный нос.

– Я тоже так подумал.

Он посмотрел на склеенных. Их стало меньше. Многие ушли в Дом.

– Ты рад, что ребята вернулись? Теперь тебе будет веселее.

В голосе Лося не было уверенности, и он это расслышал.

– Они мне не нравятся, – признался он. – Они старые, переломанные и некрасивые. Сверху все было по-другому, а отсюда все плохо.

– Никому из них нет и восемнадцати, – обиделся Лось. – И с чего ты взял, что они некрасивые? Ты несправедлив.

– Нет. Они уроды. Особенно вот этот, – мальчик кивнул на фиолетового. – Он как будто давным-давно утонул. Разве нет?

– Это Мавр. Запомни его кличку.

Лось выбрал один чемодан из чемоданной кучи и пошел к Дому. Кузнечик шагал рядом, бесшумный, как тень, и такой же липучий. Они прошли мимо фиолетового, в мягком, оплывшем лице которого тонули недобрые глаза. Кузнечик спиной ощутил на себе их взгляд и зашагал быстрее, вдруг испугавшись чего-то.

«Неужели услышал, что я сказал про него? Как глупо! Теперь он запомнит меня и мои слова».

У входа курили трое ходячих. Один, высокий, хищнолицый, с короткой стрижкой кивнул Лосю. Лось остановился. Кузнечик тоже.

На шее хищнолицего, перекрученный на цепочке, висел обезьяний черепок. Хрупкий, пожелтевший, с остро торчавшими клыками. Мальчик завороженно смотрел на взрослую игрушку. Какой-то в ней был секрет. Что-то было в нее вделано такое, что придавало пустым глазницам таинственный влажный блеск. Черепок казался живым. Чтобы разгадать секрет, надо взять его в руки, рассмотреть, поковырять пальцем в дырках, но смотреть, ничего не понимая, даже интереснее. Он пропустил, что сказали друг другу Лось и хозяин игрушки, но, входя в Дом, услышал от Лося:

– Это Череп. Запомни и его тоже.

«Мавр, Череп и Ведьма – моя крестная, – думал Кузнечик, взбегая по ступенькам. – Надо запомнить этих троих, и еще неприятного воспитателя, которому не хватает бороды, и белого в коляске, про которого никто ничего не сказал, и этот день, когда я получил кличку».

Комнаты менялись на глазах. Бежевые стены оклеились плакатами, полосатые матрасы исчезли под ворохом одежды. Каждая кровать стала чьей-то и почти каждая превратилась в свалку. Шишки с шершавыми боками, разноцветные плавки, ракушки и коралловые ветки, чашки, носки, амулеты, яблоки и огрызки яблок… Каждая комната сделалась особенной, не похожей на другие. Он ходил, принюхиваясь, спотыкаясь о выпотрошенные сумки и рюкзаки, прятался по углам, жадно впитывал перемены. Никто не обращал на него внимания. Все были заняты своими взрослыми делами.

В одной из спален из тонких сухих деревяшек складывали что-то, похожее на шалаш. Он просидел там долго, дожидаясь результатов, потом ему надоело, и он перешел в другую комнату, где тоже что-то сооружали и устанавливали. Чтобы не путаться под ногами, Кузнечик сел на низкую скамейку возле двери. Старшеклассники смеялись, переругивались, бросали друг другу сумки и пакеты, пили из бумажных стаканчиков, комкали их и бросали на пол. Весь пол был усеян картонными гармошками. Они сплющивались под ногами и пахли лимонадом. Кузнечик незаметно загонял их ногами под свою скамейку. Потом в спальне появился тощий, патлатый воспитатель в очках без оправы, похожий на Джона Леннона, и вытащил его из укрытия.

– Ты новенький, – произнес он невнятно, пережевывая зубочистку. – Почему не в своей спальне?

Близорукие глаза за толстыми стеклами бегали, как черные букашки.

– У меня еще нет своей спальни, – сказал Кузнечик и попробовал вывернуться из-под костлявых пальцев, сжавших его плечо.

Пальцы сжались сильнее.

– В таком случае следовало бы для начала узнать, где тебе нужно находиться, – сказал очкастый и выплюнул зубочистку. – Я думаю, твоя спальня будет шестая. Там есть свободное место. Пойдем.

Воспитатель вытащил его в коридор. Кузнечик почти бежал, стараясь попасть в такт его размашистому шагу. Воспитатель нетерпеливо подергивал его за ворот.

Шестая спальня оказалась в самом конце коридора. Она была меньше, чем комнаты старшеклассников, и темнее из-за матерчатых козырьков над окнами. Здесь тоже шла распаковка. Но здесь были его ровесники. Может, чуть постарше или помладше. Они сидели на кроватях, сосредоточенно ковыряясь в сумках. Как только вошел воспитатель, все оставили сумки и встали.

– Новенький, – сказал воспитатель. – В вашу комнату. Покажите ему все и объясните.

Он достал свежую зубочистку и сунул ее в рот.

– Все понятно?

Мальчишки закивали.

Воспитатель тоже кивнул и ушел, даже не оглянувшись.

Они молча обступили его и уставились на болтавшиеся рукава жакетки. Кузнечик понял, что они уже все знают. Смотрели они странно. Равнодушно и насмешливо, как будто его увечье их забавляло.

– Ты новичок, – сообщил один – тощий, с выпученными голубыми глазами. – Сейчас мы тебя поколотим. Ты захнычешь и станешь звать свою мамочку. Так всегда бывает.

Он попятился.

Они засмеялись. Он прижался спиной к двери. Они подошли ближе, улыбаясь и перемигиваясь. Они тоже были склеенные.

В ДОМЕ

Бандерлог Лэри, стуча подкованными сапогами, поднимался на второй этаж. Следом, отставая на две ступеньки, шел Конь. Цокот его каблуков сливался с цокотом каблуков Лэри, и этот привычный звук – Лэри любил его в грохочуще-наступательной версии: десять пар копыт, скрип кожи и позвякивание пряжек – сегодня раздражал, вызывая головную боль. Потому что это не было правдой. Звон, стук и напор, но помимо этого ничего, чем можно защититься от настоящей беды. Таковы Логи. Картонные Ангелы Ада. Без мотоциклов, без мускулов, без подлинного запаха самцов. Не вселяющие страх ни в кого, кроме жалких Фазанов. Берущие количеством и шумом. Разверни черную кожу широкоплечей куртки – и найдешь хилое, прыщавое тело. Заверни обратно, спрячь торчащие ребра и тонкую шею, завесь испуганные глаза волосами – получишь Бандерлога. Собери десять штук таких же – получишь грозную стаю. Лавину стучащих сапог и запах спиртового лосьона. Может, испугаешь пару Фазанов.

Лэри понял, что говорит вслух, только когда Конь сзади уважительно охнул: «Ну и мощный депрессняк тебя пробил, старина!» – понял и расстроился еще сильнее.

– Эй, ты не прав, – Конь нагнал его и пошел рядом. – Не такая уж мы мелкая шушера. Нет здоровенных кулаков, зато все про всех знаем. «Владей информацией» – помнишь?

Лэри, конечно, помнил. Этими самыми словами он – вожак Логов – утешал своих соратников во все времена. До того, как все начало разваливаться. До того, как ему самому понадобились утешения. Сейчас выяснилось, что они вовсе не настолько утешительны, как ему казалось. Конь старался. Но в затертых словах больше не было силы.

Лэри пнул урну, попавшуюся на пути, и с ее крышки со звоном слетела оставленная там кем-то пепельница – банка из-под сардин. Он наступил в кучку окурков и побрел дальше, чиркая каблуком о паркет, чтобы избавиться от налипшей жвачки.

– Не стоило вот так вот уходить, – бормотал Конь. – Теперь все разбегутся по спальням. Захотим чего узнать – замучаемся их выковыривать.

– А зачем? – рассеянно спросил Лэри. – И так все ясно. С самыми важными новостями. Не надо быть Логом, чтобы тебя держали в курсе.

Они прошли мимо первой, по привычке замедлив шаг, но тут на Лэри снова накатило, и он перешел в галоп. Конь, встрепенувшись, поскакал следом.

– Эй, притормози! Ты чего?..

Лэри остановился так резко, что Конь налетел на него, и оба чуть не упали.

– У меня теперь свой личный Фазан, – объяснил Лэри с отвращением. – Чего мне их у первой высматривать? Как ни войдешь в спальню – он уже там. Разъезжает, как хозяин. От этого чокнуться можно.

Конь сделал скорбное лицо:

– Ясное дело, можно.

На Перекрестке Лэри плюхнулся на диван и сковырнул с каблука жвачку. Конь пристроился рядом, вытянув тонкие, паучьи ноги. Лэри покосился на него, мимолетно ужаснувшись: «И я такой же тощий? Похожий на метлу?»

Не подозревая о нехороших мыслях друга, Конь с комфортом развалился, откинувшись на спинку дивана.

– Он ползает, как кусок дерьма, – пожаловался Лэри. – То есть вообще никак. Смотреть противно. Вот спрашивается, почему я должен все время смотреть на такое и мучиться?

– Балованный ты, – вздохнул Конь. – Ваши колясники – не колясники, а черти какие-то. Пожил бы у нас в Гнезде…

Проблемы Гнезда Лэри не трогали. Его расстраивало нежелание Коня понять простые вещи. И посочувствовать.

– Конь, – сказал он. – Ты все понимаешь. Только не хочешь. Добыча Лога не должна разъезжать по его логову.

Сказав это, он тут же усомнился. Логово Лога? По идее, у Логов его не бывает. Потому что в своем логове Лог уже не Лог.

Запутавшись, Лэри мотнул головой.

– У меня из-за него какие-то особенные прыщи. Звери, а не прыщи. Это нервное.

Конь сочувственно крякнул. У Лэри все прыщи были особенные. Взрывы и воронки от взрывов, извергающиеся вулканы и кратеры вулканов. Что угодно, только не простые прыщи. Конь в прыщах разбирался, у него самого их было немало. Слегка помогали спиртовые примочки и совершенно не помогали мази, а Лэри не помогало ничего и никогда, потому что от взрывов на лице спасения не бывает. Конь осмотрел близлежащие кратеры, не заметил никаких перемен к худшему, но говорить об этом не стал.

– Я сегодня дал ему по морде, – сообщил Лэри безрадостно. – Утром.

Конь заерзал:

– И чего?

– Ничего, – передернулся Лэри. – Утерся.

– А остальные? – с интересом спросил Конь.

– Тоже ничего, – совсем с другой интонацией произнес Лэри.

– А повод?

– Он весь – один сплошной повод.

Они замолчали. Две длинные, тощие фигуры в черной коже сидели нога на ногу. Каждый покачивал в воздухе остроносым сапогом. Сзади их можно было бы перепутать, если бы не белая грива Коня, стянутая в хвост.

– Помпей сказал… – начал Конь осторожно.

– Пожалуйста, не надо, – скривился Лэри. – Знать не желаю, что он там сказал. Успеем еще наслушаться.

– Ты что имеешь в виду? – удивился Конь. – Что он сумеет? Не факт.

Лэри только вздохнул.

– Не надо меня утешать. Я уже смирился.

Конь подергал губу.

– Черт, Лэри, – сказал он возмущенно, – ты просто не имеешь права так думать! Нельзя быть таким… непатриотом. Я бы на твоем месте себе такого не позволял.

Лэри уставился на Коня:

– Ты это серьезно? – спросил он. – При чем тут патриотизм? Нас десять, а их двадцать с лишним. Ты считать умеешь?

– Иногда один воин стоит десяти, – высокопарно заметил Конь.

Лэри посмотрел на него с жалостью.

– Ты считать умеешь? – еще раз спросил он.

Конь промолчал. Порывшись в карманах, достал карамельку и протянул ее Лэри. В открытое окно порывом ветра швырнуло горсть сухих листьев. Конь подобрал один упавший и, почесывая переносицу, принялся его рассматривать.

– Осень, – сказал он, поднеся скрученный лист к носу Лэри. – До следующего лета еще уйма времени. Помпей не из старых, но мы-то с тобой знаем…

– Что ничего по-настоящему страшного не случается до последнего лета, – со слабой улыбкой закончил за него Лэри. – Эх, Конь, только это меня и держит. Не то я бы, наверное, уже спятил.

Конь раскрошил жухлый лист и отряхнул ладонь.

– Ну так не забывай, – попросил он.

КУРИЛЬЩИК
О цементе и непостижимых свойствах зеркал

В четвертой нет телевизора, накрахмаленных салфеток, белых полотенец, стаканов с номерами, часов, календарей, плакатов с воззваниями и чистых стен. Стены от пола до потолка расписаны и забиты полками и шкафчиками, рюкзаками и сумками, увешаны картинами, коллажами, плакатами, одеждой, сковородками, лампами, связками чеснока, перца, сушеных грибов и ягод. Со стороны это больше всего похоже на огромную свалку, карабкающуюся к потолку. Кое-какие ее фрагменты туда уже добрались и закрепились, и теперь раскачиваются на сквозняке, шелестя и позвякивая, или просто висят неподвижно.

Внизу свалку продолжает центральная кровать, составленная из четырех обычных и застеленная общим гигантским пледом. Это и спальное место, и гостиная, и просто пол, если кому-то вздумается срезать путь напрямую. На ней мне выделили участок. Кроме меня здесь ночуют Лорд, Табаки и Сфинкс, так что участок совсем маленький. Чтобы на нем заснуть, требуются специальные навыки, которые у меня еще не выработались. Через спящих в четвертой перешагивают и переползают, ставят на них тарелки и пепельницы, прислоняют к ним журналы… Магнитофон и три настенные лампы из двенадцати не выключаются никогда, и в любое время ночи кто-нибудь курит, читает, пьет кофе или чай, принимает душ или ищет чистые трусы, слушает музыку или просто шастает по комнате. После Фазаньего отбоя ровно в девять такой режим переносится с трудом, но я очень стараюсь приспособиться. Жизнь в четвертой стоит любых мучений. Здесь каждый делает, что хочет и когда захочет, и тратит на это столько времени, сколько считает нужным. Здесь даже воспитателя нет. Люди четвертой живут в сказке. Только чтобы понять это, надо попасть сюда из первой.

За три дня я научился:

– играть в покер;

– играть в шашки;

– спать сидя;

– есть по ночам;

– запекать картошку на электроплитке;

– курить чужие сигареты;

– не спрашивать который час.

Я так и не научился:

– варить черный кофе, не обливая плитку;

– играть на губной гармошке;

– ползать так, чтобы все, глядя на меня, не кривились;

– не задавать лишних вопросов.

Сказку портил Бандерлог Лэри. Он никак не мог смириться с моим присутствием в четвертой. Его раздражало все. Как я сижу, лежу, говорю, молчу, ем и особенно как передвигаюсь. При одном взгляде на меня его перекашивало.

Пару дней он ограничивался тем, что обзывал меня придурком и обгаженной курицей, потом чуть не сломал мне нос якобы за то, что я сидел на его носках. Никаких носков подо мной не оказалось, зато потом все утро пришлось расписывать учителям, как я неудачно упал, пересаживаясь в коляску, и ни один из них мне не поверил.

За завтраком первая ликовала, разглядывая мою физиономию. Подозрительная таблетка от Шакала боль не сняла, зато усыпила так основательно, что с последнего урока пришлось отпроситься. Чтобы прийти в себя, я залез под душ и уснул прямо в кабинке. Оттуда меня каким-то образом перетащили в спальню.

Во сне я увидел Гомера. С выражением глубокого отвращения на лице он бил меня тапком. Потом мне приснилось, что я лиса, которую выкуривают из норы злые охотники. Они как раз вытаскивали меня за хвост, когда я проснулся.

Открыл глаза и увидел сомкнувшиеся над головой углы подушек. Между ними оставался маленький просвет, в который заглядывал желтый воздушный змей, пришпиленный к потолку. Заглядывал, потому что на нем было нарисовано лицо. Еще ко мне просачивались клубы пахнущего ванилью дыма. Так что лисьи кошмары возникли не на пустом месте.

Я примял подушку, заслонявшую обзор, и увидел Сфинкса. Он сидел рядом, хмуро рассматривая шахматную доску, на которой почти не было фигур. Большая часть их валялась вокруг доски россыпью, а несколько штук, наверняка подо мной – что-то твердое и маленькое втыкалось в меня в самых разных местах.

– Смирись, Сфинкс, – раздался голос Шакала. – Это ничья в чистом виде. Надо смотреть фактам в лицо. Уметь, не роняя достоинства, склоняться перед обстоятельствами.

– Когда мне понадобится твой совет, я предупрежу заранее, – сказал Сфинкс.

Я пощупал нос. Он болел уже не так сильно. Должно быть, таблетка все же подействовала.

– Ой, Курильщик проснулся! Глазами шмыгает! – грязная лапка с обкусанными ногтями похлопала меня по щеке. – Есть еще порох в пороховницах фазаньего племени. А вы говорили, помер!

– По-моему, кроме тебя, никто этого не говорил, – Сфинкс склонился надо мной, рассматривая повреждения. – От такого не умирают.

– Не скажи, не скажи, – отозвался невидимый Табаки. – Фазаны, даже бывшие, на все способны. Как живут? Отчего помирают? Только им самим ведомо.

Мне надоело лежать как больному, которого все обсуждают, и я сел. Не очень прямо, но обзор существенно расширился.

Табаки в оранжевой чалме, скрепленной английской булавкой и зеленом халате, в два раза длиннее его самого, сидел на груде подушек и курил трубку. Ванильный дым, которым в моем сне терзали лисицу, расползался от него. Сфинкс, прямой и отрешенный, медитировал над шахматами. Из дыр в джинсах выглядывали острые колени. На нем был только один протез и облезлая майка, оставлявшая на виду все крепления, так что он смахивал на недособранный манекен. На подоконнике за занавеской просматривался чей-то силуэт.

– Мне снилось, что я лиса, – сказал я, отмахиваясь от сладкого дыма. – Меня как раз выкурили из норы, когда я проснулся.

Табаки переложил трубку в левую руку и поднял указательный палец:

– В любом сне, детка, главное – вовремя проснуться. Я рад, что тебе это удалось.

И он запел одну из своих жутких, заунывных песен, от которых у меня мурашки бегали по коже. С повторяющимся до одурения припевом. Обычно в них воспевались либо дождь, либо ветер, но на этот раз, в порядке исключения, это был дым, струящийся над пепелищем какого-то сгоревшего дотла здания.

Силуэт на подоконнике закопошился, плотнее задергивая занавеску, чтобы отгородиться от шакальих завываний, и по нервозности движений я угадал в нем Лорда.

Эгей, эгей… только серый дым, да воронье… Эгей, эгей, не осталось ничего…

Сфинкс неожиданно ткнулся лицом в одеяло, как будто клюнул его, потом выпрямился, мотнул головой, и в меня полетела пачка сигарет.

– Кури, – сказал он. – Успокаивай нервы.

– Спасибо, – ответил я, рассматривая пачку. Следов от зубов на ней не было. Слюны вроде бы тоже. Я выскреб из нее сигарету, поймал зажигалку, брошенную Шакалом, и опять сказал спасибо.

– Вежливый! – восхитился Табаки. – Как приятно!

Он закопошился. Долго перетряхивал полы халата, роняя на глаза чалму, и наконец выудил откуда-то из его складок стеклянную пепельницу, полную окурков.

– Вот. Нашел. Держи! – и запустил ею в меня, хотя сидел так близко, что вполне мог передать из рук в руки.

В полете пепельница растеряла свое содержимое, и по пледу запестрела дорожка из окурков. Я отряхнулся и закурил.

– А спасибо? – обиделся Шакал.

– Спасибо, – сказал я. – Спасибо, что промахнулся!

– Не за что, – с удовольствием ответил он. – Не стоит благодарности!

И он с удвоенной энергией затянул свое жуткое «эгей».

Сфинкс сказал, что согласен на ничью.

– Давно пора, – отозвался мягкий голос из-за спинки кровати. Раздвинув висевшие на ней сумки и пакеты, к нам взобралась белая, длиннопалая рука, перевернула доску и начала собирать в нее шахматные фигурки.

Эгей, эгей… почерневшие кастрюльки! Эгей, эгей, каркас медвежьего чучела… при жизни оно было вешалкой…

– Заткните кто-нибудь этого извращенца! – взмолился Лорд с подоконника.

Я, как завороженный, следил за рукой Слепого. Кроме того, что пальцы ее были невозможно длинными и гнулись, как нормальные пальцы не сгибаются, если их не сломать, она была еще какой-то неприятно одушевленной. Странствовала по пледу, скользила, перебирала пальцами-щупальцами, только что не принюхивалась. Я вытащил из-под себя белую туру, буравившую мне зад, и осторожно положил перед ней. Рука остановилась, пошевелила средним усиком и, поразмыслив, стремительно ее сцапала. Я вздрогнул и поспешно принялся нашаривать остальные завалившиеся под меня фигурки, потому что вдруг возникло нехорошее ощущение, что не сделай я этого, хищная рука проберется туда и достанет их сама. Сфинкс наблюдал за мной с усмешкой.

Эгей, эгей… почерневший кулон! Ворона унесет его своим воронятам… славную игрушку, своим воронятам…

Лорд отдернул занавеску и стек с подоконника. С большим шумом, чем обычно, но я, глядя на него, и так чуть не заплакал от зависти.

– Не таращься зря, – посоветовал мне Табаки. – Все равно у тебя так не получится.

– Знаю. Мне просто интересно.

Шакал закашлялся и посмотрел на меня со значением. Как будто о чем-то предупреждая.

– Пусть тебе лучше не будет интересно.

Я не успел спросить почему, а Лорд уже влез на общую кровать. Я залюбовался его отточенными движениями. Табаки ползал, Лорд швырял себя вперед. Сначала забрасывал ноги, потом прыгал за ними на руках. На самом деле не очень приятное зрелище, а если замедлить, так и вовсе жутковатое. Но не для колясника. Кроме того, Лорд делал все так быстро, что и отследить не всегда удавалось. Я восхищался и смертельно завидовал, понимая, что мне такое не светит. Я не был акробатом. Табаки передвигался так же стремительно, но он был в два раза легче и ноги его слушались, так что от вида ползавшего Табаки я не впадал в депрессию.

Очутившись на кровати, Лорд уставился на Шакала с кровожадным ожиданием. Ясно было, что еще одно «эгей», и Табаки придется худо. Он и сам это понял и сказал примирительно:

– Ну что ты, Лорд, так нервничаешь? Песня уже закончилась.

– Слава богу! – фыркнул Лорд. – А то мог бы закончиться ты!

Табаки изобразил испуг:

– Какие страшные слова, по такому ничтожному поводу! Опомнись, дорогуша! – Чалма съехала, прикрыв ему глаз. Он поправил ее и начал раскуривать погасшую трубку.

На полу зашумела кофеварка. Я отодвинул рюкзак и плетеную сумку, висевшие на спинке кровати.

По ту сторону прутьев на полу сидел Слепой. Черные волосы на белом лице, как занавеска. Серебряные глаза мертво сквозь них просвечивали. Он курил и выглядел совершенно расслабленным. Шарившая по кровати рука, уже заканчивавшая уборку шахмат, будто и не имела к нему отношения. Пока я смотрел на него, она как раз вернулась, и Слепой, зажав

сигарету в зубах, быстро погладил ее. Все так и было, мне не померещилось.

Хлопнула дверь.

Застучали каблуки.

Настроение сразу упало. С таким грохотом и стуком в спальню входил только Лэри. Я уронил обратно рюкзак и сумку-плетенку, потеряв из виду Слепого, и затаился. Не спрятался, конечно, скорее замер, и не потому что испугался. Просто в присутствии Лэри на меня нападал ступор. Слишком уж злобно он реагировал на любые признаки жизни с моей стороны.

Тощий, косоватый и какой-то всклокоченный, он встал возле кровати, уставившись на Шакала. Сказал: «Вот так вот», – и сел, будто сломался. Вид у него был до того потерянный, что Табаки поперхнулся дымом.

– Господи, Лэри! – пискнул он встревоженно. – Что стряслось?

Лэри посмотрел с иронией.

– Все то же самое. Мне хватает.

– А-а, – Табаки поправил чалму, мгновенно успокоившись. – А я было подумал, что-то новое.

Лэри хрюкнул. Это был очень выразительный звук. Демонстративный. Лорд, нервно реагировавший на любого рода звуки, попросил его вести себя потише.

– Потише? – Лэри как будто не поверил своим ушам. – Еще тише? Тише, чем мы, ведут себя только покойники! Мы здесь самые тихони, самые смирные ребята! На нас на всех скоро трава вырастет, такие мы тихие…

– Не заводись, – поморщился Лорд. – Я имел в виду конкретно тебя. Конкретно в данный момент.

– А-а, ну да! – вскинулся Лэри. – Мы живем данным моментом, а то как же! Только данный момент, ни туда, ни сюда. Ни о чем, кроме данного момента и говорить не стоит. Нам даже часов носить нельзя, вдруг подумаем на пару минут вперед!

– Он хочет драки, – перевел Табаки Лорду. – Хочет кровавого избиения. Упасть между кроватями бездыханным и ни о чем больше не беспокоиться.

Лорд оторвался от шлифовки ногтей пилкой:

– Это мы ему запросто организуем.

Лэри уставился на пилку в руках Лорда, и чем-то она ему очень не понравилась, потому что он передумал насчет драки.

– Я не завожусь, – сказал он. – Походите с мое в коридорах, вам тоже худо станет. Знаете, какая в Доме обстановка?

– Хватит, Лэри, – сказал Сфинкс. – Ты уже плешь всем проел своей обстановкой. Уймись.

Лэри так трясло, что его дрожь передавалась мне через матрас. Я не понимал, почему ему не дают высказаться. Мне казалось, его бы это немного успокоило. Неприятно сидеть рядом с человеком, которого трясет от каких-то непонятных переживаний. Особенно если это Бандерлог.

Возле кровати возник Македонский – услужливая тень в сером свитере. Раздал всем кофе с подноса и исчез. То ли присел за спинкой, то ли слился со стеной. Чашка обожгла ладони, и я ненадолго отвлекся от Лэри, поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда он переключился на меня.

– Вот, – дрожащий палец с отрощенным ногтем уперся мне в лоб. – Из-за этой вот сущности мы и сидим в дерьме! Кофе в постель подаем вместо того, чтобы в цемент его закатать!

Табаки захлебнулся от восторга.

– Лэри, что ты мелешь, Лэри? – взвизгнул он. – Что ты несешь, дорогуша? Как бы ты проделал эту операцию? Где брать цемент? В чем его разводить? Как макать туда Курильщика и что с ним делать потом? Топить цементную статую в унитазе?

– Заткнись, козявка! – заорал Лэри. – Ты-то хоть помолчал бы раз в жизни!

– А то что? – изумился Шакал. – Свистнешь братьям-Логам, и они втащат сюда чан с жидким цементом и формочку для ног? Ответь мне только на один вопрос, дружище. Почему ты с такими наклонностями никак не научишься варить макароны?

– Потому что катись в задницу, придурок хренов!

Воплем Лэри со шкафа смело ворону.

Смело и зашвырнуло на стол у окна. И не ее одну. В свободное время Нанетта любила раздирать в клочки старые газеты. Эта мозаика из кусочков взлетела вместе с ней и засыпала все вокруг безобразным бурым снегом. Два клочка очутились в моем кофе.

Потом очень близко очутилось лицо Лэри с дико косящим левым глазом, а потом произошло сразу много всего.

Мне ошпарило руку. Ворот рубашки скрутился и сдавил мне горло. Потолок завертелся. Он вертелся вместе с желтым змеем, пустой птичьей клеткой, деревянным колесом и последними газетными снежинками. Это было совершенно тошнотворное зрелище, и я закрыл глаза, чтобы его не видеть. Каким-то чудом меня все же не стошнило. Я лежал на спине, глотая слюну с кровью и сдерживаясь изо всех сил.

Табаки усадил меня, заботливо поинтересовавшись, как я себя чувствую.

Я не ответил. Кое-как свел в фокус окружающие лица. Лэри среди них не было. Я не сомневался, что на этот раз он уж точно сломал мне челюсть. Слезы катились градом, но больше всего мучила не боль, а милая заботливость окружающих. Они вели себя так, как будто на меня рухнуло что-то тяжелое.

Табаки предложил еще одну чудо-таблетку. Сфинкс попросил Македонского принести мокрую тряпку. Слепой возник из-за спинки кровати и спросил, сильно ли у меня кружится голова. Ни один из них не вступился за меня вовремя. Никто даже не сказал Лэри, что он скотина. От такого отношения пропало всякое желание общаться с ними и отвечать на вопросы. Я старался ни на кого не смотреть. Кое-как добрался до края кровати и попросил коляску. Совершенно невнятно, но Македонский тут же ее пригнал. Потом помог мне пересесть.

В туалете я умылся, стараясь не дотрагиваться до больных мест, и остался сидеть перед раковиной. Возвращаться не хотелось. Знакомое чувство. В первой со мной это часто случалось, но там никому не давали уединиться надолго. Здесь на такие вещи не обращали внимания, можно было торчать где угодно до глубокой ночи.

Туалет был точно такой же, как у первой. Только более обшарпанный. Трещин здесь было больше, и в паре мест кафель осыпался, обнажив трубы. Дверцы кабинок украшали облупившиеся наклейки. И почти каждая плитка кафеля была исписана фломастером. Надписи не держались, размазывались и тускнели, и из-за этой их текучести туалет четвертой оставлял странное впечатление. Исчезающего места. Места, которое отчаянно пытается что-то сообщить, тая при этом и растекаясь. Надписи, кстати невозможно было читать. Я пробовал. Они были вполне разборчивые, но абсолютно бессмысленные. От них падало настроение. Я обычно читал все время одну и ту же, аркой расположившуюся над низкой раковиной. «Не надо выходить за дверь, чтоб знать событий суть. Не надо из окна…» Дальше надпись плыла, и разобрать можно было только самый конец – «цзы». Меня жутко раздражало, что я ее то и дело невольно перечитываю, и хотелось потихоньку стереть ее губкой, но я никак не мог решиться. Ведь тогда пришлось бы писать на пустом месте что-то новое.

Я подъехал к раковине с надписью. Край ее был покрыт коркой зубной пасты, а сток забили ошметки пены с мелкими противными волосками. Волоски были черные. Налюбовавшись ими, я отъехал к соседней раковине, тоже низкой. Среди колясников четвертой брюнетов не было. Напрашивался вывод, что кто-то из ходячих не поленился бриться, согнувшись в три погибели, лишь бы порадовать нас своим свинством. Нас – это, скорее всего, меня.

Пришел Македонский.

Принес еще одну чашку с кофе и пепельницу. Поставил их на край раковины рядом с мыльницей. Положил в пепельницу сигарету и зажигалку. Из рукавов свитера на секунду высунулись жутко, в кровь обкусанные пальцы – и тут же спрятались. Рукава у него свисали, как у Пьеро, он еще прихватывал их изнутри, чтобы не соскальзывали.

– Спасибо, – сказал я.

– Не за что, – ответил он уже в дверях. И исчез.

Так я выяснил про него сразу две вещи. Что он умеет разговаривать и ест сам себя.

Услужливость Македонского больше пугала, чем радовала. Вспоминались мерзкие фазаньи байки о том, как в других группах обращаются с новичками, делая из них рабов. Я никогда в это не верил, но Македонский как будто вылез из этих историй – живой человек из дурацких страшилок. Он вел себя так, что не верить становилось намного труднее.

Что я, в сущности, знал о четвертой? Что со мной они, не считая Лэри, вели себя нормально. И казались слишком симпатичными для тех безобразий, что им приписывались. Но может, дело было во мне? Кому нужен слуга-колясник? Что с него взять? Он себя еле успевает обслужить. Другое дело – ходячий. Например, Македонский. Добравшись до этой мысли, я понял, что отравлен Фазанами насмерть. На всю оставшуюся жизнь.

Стало совсем тошно. Я посмотрел в зеркало. На свой опухший нос и посиневшую челюсть. Пощупал синяк, надавив на него посильнее, и, глядя в глаза своему отражению, неожиданно разрыдался.

Меня потрясла легкость, с какой потекли слезы. Как будто я был всегда готовым разреветься плаксой. Я сидел с чашкой кофе в руке, пялился на себя в зеркале, плакал и не мог остановиться. Чтобы собрать все сопли, которые из меня вытекли, пришлось отмотать полметра бумажного полотенца. Высморкавшись, я увидел в зеркале Сфинкса.

Не лицо, он был слишком высок для рассчитанного на колясника зеркала. Но и без выражения его лица было понятно, что сопли он застал.

Оборачиваться не хотелось, и я решил сделать вид, что не заметил его. Отставил чашку и долго умывался. Целую вечность. Когда я наконец вытер лицо, то увидел, что он стоит, где стоял, и понял, что зря понадеялся на его тактичность. Пришлось делать вид, что обнаружил его только сейчас.

Сфинкс был в том же полуразобранном виде, только набросил на плечи рубашку. У рубашки был такой вид, как будто ее стирали в отбеливателе, джинсы выглядели не лучше, а в целом все смотрелось замечательно. Сфинкс был из тех типов, на которых любая рвань выглядит прилично и кажется жутко дорогой, уж не знаю как у них это получается.

– Больно? – спросил он.

– Немного.

Чтобы не смотреть в его безбровое лицо, я сосредоточился на кроссовках. Стоптанных. С обмотанными вокруг щиколоток шнурками. Мои были намного круче.

– До слез? – уточнил он.

Да. Тактичным он был в самую распоследнюю очередь.

– Нет, конечно, – выдавил я, понимая, до чего наивно было рассчитывать, что он промолчит. Так же наивно, как думать, что он уберется, чтобы не смущать меня. Сейчас начнет расспрашивать, что меня так расстроило.

– Твой кофе остыл, – сказал он.

Я пощупал чашку. Она была еще теплая.

Сфинкс стоял у меня за спиной, и в зеркале его видно не было. Оттого, что я его не видел, оттого, что он так ни о чем и не спросил, оттого, что я не знал, что отвечать, если спросит, а он не спрашивал, от всего этого меня вдруг прорвало. Слова потекли неудержимым потоком, как раньше слезы.

– Я Фазан, – сказал я своему опухшему отражению. – Долбаный Фазан. Не могу спокойно пить кофе, получив по морде. А самое интересное, знаешь, что? Что Лэри меня им не считает. Обзывает Фазаном, а сам в это не верит. Иначе не стал бы бить. Ни один Фазан такого не стерпит. Тут же настучит. Получается, с одной стороны, он ненавидит меня за то, что я Фазан, а с другой, полагается на то, что я не Фазан. Здорово, правда? А вдруг я сейчас возьму и поеду к Акуле?

Я потрогал лицо. Кровоподтек распухал на глазах. К ужину превратится в здоровенный блин на пол-лица. На радость первой.

– Можно замазать тональным кремом, – предложил Сфинкс. – Он в левом шкафчике.

Я разозлился. Он так уверен, что мне хочется спрятать этот синяк. И Лэри тоже. А может, я, наоборот, хочу выставить его напоказ. Рассказать всем, откуда он взялся, и посмотреть, что из этого выйдет. Это были до того фазаньи мысли, что я даже слегка испугался.

– Я действительно, наверное, поеду к Акуле, – сказал я из чистого упрямства.

Сфинкс подошел к соседней раковине и сел на нее, нога на ногу, как на стул. Сразу подумалось, что сейчас он измажется зубной пастой, и еще – можно ли выглядеть стильно с пятнами на заду?

– Прямо сейчас? – спросил он.

– Что?

– Прямо сейчас поедешь?

Я промолчал. Никуда я не собирался ехать, но он мог хотя бы сделать вид, что поверил. И поотговаривать.

– Я пошутил, – сказал я мрачно.

– Зачем? – спросил Сфинкс.

Не дождавшись от меня ответа, он ответил себе сам:

– Ясное дело, ты хотел, чтобы вначале тебя отговорили. А дальше? Может, ты хотел меня припугнуть? Но почему меня, а не Лэри? А может, ты надеешься заручиться моей поддержкой на будущее? Что-нибудь вроде обещания оберегать тебя от Лэри. Извини, но такого обещания я дать не могу. Я тебе не нянька.

Я почувствовал, что горю от пяток до кончиков ушей. В пересказе Сфинкса то, как я себя вел, выглядело невозможно жалко. И слишком похоже на правду. Только я не думал об этом такими словами.

– Хватит, – попросил я. – Довольно.

Сфинкс заморгал.

– Погоди, – сказал он. – Я не могу ничего обещать, но могу найти сейчас Лэри и рассказать, какого труда стоило отговорить тебя от поездки к Акуле. Он мне поверит и больше тебя не тронет. Это все, что я могу сделать. Если такой вариант тебя устраивает.

– Устраивает, – поспешно согласился я. – Он меня устраивает.

Я чуть не признался, что на самом деле просто хотел его позлить, но вовремя прикусил язык. Цапнул сигарету, оставленную Македонским, щелкнул зажигалкой и так затянулся, что чуть глаза не выскочили. Побитое существо в зеркале отразило мой жадный жест и стало неловко за него и за себя.

– Скажи, пожалуйста, Курильщик, почему ты не сопротивляешься, когда тебя бьют?

Я поперхнулся дымом:

– Кто, я?

– Ну да.

Кран за спиной у Сфинкса подтекал, и подол рубашки промок. Светло-бирюзовая рубашка сделала его глаза еще зеленее. Обычно очень прямой, он сидел сгорбившись и смотрел этими своими глазами водяного так, будто хотел вытащить из меня всю душу. Выскрести ее и досконально обследовать.

– Почему ты позволяешь себя бить?

Вроде бы он не издевался. Хотя сказанное звучало издевкой. Я представил, как я сопротивляюсь. Как визжу и отмахиваюсь от Лэри. Да он просто умрет от счастья. Неужели Сфинкс этого не понимает? Или он куда лучшего мнения обо мне, чем я сам.

– По-твоему, это что-то даст?

– Больше, чем ты думаешь.

– Ага. Лэри так развеселится, что ослабеет и не сможет махать кулаками.

– Или так удивится, что перестанет считать тебя Фазаном.

Кажется, он верил тому, что говорил. Я даже не смог рассердиться по-настоящему.

– Брось, Сфинкс, – сказал я. – Это просто смешно. Что я, по-твоему, должен успеть сделать? Оцарапать ему колено?

– Да что угодно. Даже Толстый может укусить, когда его обижают. А у тебя в руках была чашка с горячим кофе. Ты, кажется, даже обжегся им, когда падал.

– Я должен был облить его своим кофе?

Сфинкс прикрыл глаза.

– Лучше так, чем обжигаться самому.

– Ясно, – сказал я, с силой вдавив окурок в пепельницу. Она перевернулась, и я едва успел ее подхватить. – Вам не хватает развлечений. Вы бы с удовольствием понаблюдали, как я молочу Лэри кулаками, кусаю его за палец и расплескиваю кофе по всей кровати. Мо-

жет, Табаки даже сложил бы об этом песню. Спасибо за совет, Сфинкс! Прямо не знаю, как тебя за него благодарить!

Сфинкс вдруг соскочил со своего насеста, быстро подошел и уставился на меня в зеркало. Для этого ему пришлось нагнуться, как будто он заглядывал к кому-то в низкое окошко.

– Пожалуйста, – сказал он этому кому-то. – Не стоит благодарности. Этот же совет мог бы дать тебе сам Лэри.

Я так перетрусил, когда он вдруг сорвался с места, что проглотил все ругательства, вертевшиеся на языке.

– Точно, – согласился я. – Ему бы это ничем не угрожало.

Сфинкс кивнул.

– И дало бы наконец возможность оставить тебя в покое. Знаешь, почему Логи так цепляются к Фазанам? Потому что они никогда не сопротивляются. Ни по-крупному, ни в мелочах. Покорно зажмуриваются и переворачиваются кверху колесами. И пока ты будешь вести себя так же, Лэри не перестанет видеть в тебе Фазана.

– Ты же сказал, что припугнешь его.

Сфинкс продолжал гипнотизировать мое отражение. Которое выглядело чем дальше, тем хуже.

– Сказал. И припугну. Мне не трудно.

У меня голова шла кругом от его повадок. Казалось, что нас тут трое.

– Хватит разговаривать с зеркалом, Сфинкс! – не выдержал я. – Я там какой-то неправильный!

– Ага, ты тоже заметил?

Он наконец обернулся, рассеянно, как будто действительно говорил не со мной, а я его отвлек. Потом поймал меня в фокус, и это оказалось еще неприятнее. Даже голова разболелась.

– Ладно, – сказал он. – Забудем того тебя, который живет в зеркале.

– По-твоему, это не я?

– Ты. Но не совсем. Это ты, искаженный собственным восприятием. В зеркалах мы все хуже, чем на самом деле, не замечал?

– Нет. Мне и в голову не приходило.

Я вдруг сообразил, какую мы порем чушь:

– Хватит валять дурака, Сфинкс. Это не смешно.

Сфинкс засмеялся.

– Смешно, – сказал он. – Честное слово, смешно. Как только ты начинаешь что-то понимать, первая твоя реакция – вытряхнуть из себя это понимание.

– Я ничего никуда не вытряхивал.

– Посмотри туда, – Сфинкс кивнул на зеркало. – Что ты видишь?

– Жалкого урода в синяках, – отозвался я мрачно. – Что еще я могу там увидеть?

– Тебе пока лучше избегать зеркал, Курильщик. По крайней мере, пока не перестанешь себя жалеть. Поговори-ка об этом с Лордом. Он вообще никогда не смотрится в зеркало.

– Почему? – изумился я. – Если бы я видел в зеркале то, что видит он…

– Откуда ты знаешь, что он там видит?

Я попробовал представить себя Лордом. Смотрящимся в зеркало. Это угрожало мощнейшим приступом нарциссизма.

– Он видит что-то вроде молодого Боуи. Только красивее. Будь я похож на Боуи, я бы…

–…стонал, что похож на престарелую Марлен Дитрих и мечтал походить на Тайсона, – подсказал Сфинкс. – Цитирую дословно, так что не считай это преувеличением. То, что видит в зеркале Лорд, вовсе не похоже на то, что, глядя на него, видишь ты. И это лишь один пример того, как странно иногда ведут себя отражения.

– Ага, – вяло кивнул я. – Понятно.

– Да? – удивился Сфинкс. – А вот мне не очень. Хотя я всегда этим интересовался.

Мне вдруг захотелось кое о чем его спросить. Этот вопрос давно меня мучил.

– Скажи, Сфинкс, а Македонский… почему он такой? Вы отдали его на съеденье Лэ-

ри? Или он таким и был с самого начала?

– Каким – таким? – поморщился Сфинкс.

– Ну таким. Услужливым.

– А-а, и ты туда же, – протянул он. – Что мы с ним такого ужасного сотворили? Ничего. Но ты мне не веришь, так что я зря тебе это сказал.

Я и не поверил. Абсолютно.

– Почему он всегда за всеми убирает? Все всем подает? Ему это нравится?

– Не знаю, почему. Догадываюсь, но не знаю точно. Одно могу сказать – это не наша заслуга.

Должно быть, выражение моего лица было очень красноречиво.

Сфинкс вздохнул.

– Он видит в этом свое предназначение. Так мне кажется. Его предыдущая работа была намного тяжелее. Он работал ангелом, и это его достало. Так что теперь он изо всех сил старается доказать свою полезность в любом другом качестве.

– Кем-кем он работал?

Меньше всего я ожидал таких дурачеств от Сфинкса. Как-то само собой разумелось, что это область Табаки. Но у Сфинкса был свой стиль. Он не стал развивать тему.

– Ты расслышал, – сказал он. – Я не буду повторять.

– Ага, – пробормотал я. – Ладно.

– Приглядись. И увидишь, что он всегда старается опередить наши просьбы. Сделать что-то раньше, чем его попросят. Он вообще не любит, когда с ним заговаривают. Это его овеществляет.

– Как-как? – не понял я.

– Не лю-бит, – повторил Сфинкс по слогам. – Когда его замечают. Заговаривают. О чем-то спрашивают, обращают на него внимание. Его от этого коробит.

– Откуда ты знаешь? Он сам сказал?

– Нет. Просто я живу рядом.

Сфинкс нагнулся и почесал лодыжку протезом, как палкой.

– Он любит мед и грецкие орехи. Газировку, бродячих собак, полосатые тенты, круглые камни, поношенную одежду, кофе без сахара, телескопы и подушку на лице, когда спит. Не любит, когда ему смотрят в глаза или на руки, когда дует сильный ветер и облетает тополиный пух, не выносит одежду белого цвета, лимоны и запах ромашек. И все это видно любому, кто даст себе труд приглядеться.

Я не стал говорить, что живу в четвертой слишком недолго, чтобы высмотреть в самом скрытном человеке в Доме такие подробности. Вместо этого я сказал:

– Знаешь, Сфинкс, не надо про меня ничего говорить Лэри. Я передумал.

Он вдруг опять нагнулся к зеркалу:

– Почему?

– Это ведь ты предложил. А я не хочу, чтобы он считал меня стукачом.

– Да?

Сфинкс как будто не доверял моему отражению. Вид у которого был действительно неприятный. Затаенно стукаческий. Растерзанный и подленький. При этом сам я ничего такого не ощущал.

– Да, – сказал я, все сильнее нервничая. – Не хочу быть стукачом ни в шутку, ни всерьез. И ты обещал забыть про мое отражение!

Сфинкс посмотрел через плечо. Словно сравнивая.

– Да. Но меня притягивают метаморфозы. Извини. Больше не буду. Значит, Лэри ничего не говорить? От твоих гарантий останется пшик.

– Ну и черт с ними!

Я вздохнул с облегчением. Я был почти уверен, что сделал все правильно. Причем в самый последний момент, когда еще чуть-чуть – и было бы поздно. Это было как-то связано с зазеркальным Курильщиком – очень неприятным человеком. Может, даже давним и заслуженным стукачом. Вообще наше со Сфинксом общение в туалетах потихоньку становилось традицией. Я и он в окружении раковин и писсуаров. Разговор – а потом все меняется, переворачивается с ног на голову. Почему-то мне казалось, что в этот раз такого переворота

не будет. Что мне удалось его избежать.

Сфинкс рассматривал свои джинсы, наконец-то озаботившись их состоянием.

– Лэри все же не мешало бы попугать. Всю раковину вымазал…

– Откуда ты знаешь, что это он?

– Кто же еще? Кнопка в постели, жвачка в ботинке, паста на раковине – его масштаб. Табаки так не работает. После шуток Шакала пол-Дома лежит в руинах. Он по мелочам не разменивается. Так что это Лэри. В сущности, как видишь, он еще дитя.

Я рассмеялся:

– Дитя, которое бреется.

– Что тебя удивляет? Довольно распространенное явление.

Он нагнулся и опять, морщась, почесал ногу.

– Да что ты все чешешься? – не выдержал я.

– Блохи. Явно они. До тебя еще не добрались? Странно.

– Блохи? – растерялся я. – От Нанетты?

– Если бы от Нанетты. Была бы надежда их вывести. А то Слепой притаскивает. Не травить же вожака морилкой. И блохи – еще не самое страшное. Иногда он приносит на себе клещей. Посреди зимы. И не одного, а нескольких видов. Ты когда-нибудь снимал с себя клеща? Главное – не дергать, чтобы не оставить головку.

– Сфинкс, ты шутишь? – не выдержал я.

– Шучу, – сказал он серьезно. – Я вообще шутник, ты не заметил?

– Почему бы просто не сказать человеку, чтобы он заткнулся, если его вопросы раздражают? Зачем изощряться?

Сфинкс не ответил. Вздохнул, еще раз почесался и ушел. В мокрой по пояс рубашке, с пятнами зубной пасты на заду. Паста не просматривалась, а мокрая рубашка только придала ему крутизны. Так что дело было не в одежде, а в Сфинксе. В его самоощущении.

Я уставился на свое отражение.

Зазеркальный Курильщик выглядел чуть получше, но все равно казался подловатым. Я приосанился, и он стал похож на придурка. С самоощущением дела у меня обстояли хреново.

– Ладно, – сказал я. – В конце концов Лорд себе в зеркале тоже не нравится.

Я допил окончательно остывший кофе и поехал в спальню.

ДОМ
Интермедия

Дом – это стены и стены осыпающейся штукатурки… Узкие переходы лестничных маршей. Мошкара, танцующая под балконными фонарями. Розовые рассветы сквозь марлевые занавески. Мел и замусоренные парты. Солнце, тающее в красной пыли дворового прямоугольника. Блохастые собаки, дремлющие под скамейками. Ржавые трубы, перекрещивающиеся и свивающиеся в спирали под треснувшей кожей стен. Неровные ряды детских ботинок со скошенными носами, выстроенные вдоль кроватей. Дом – это мальчик, убегающий в пустоту коридоров. Засыпающий на уроках, пятнистый от синяков, состоящий из множества кличек. Головоног и Скакун. Кузнечик и Хвост. Хвост Слепого, не отстающий от него ни на шаг, наступающий на его тень. К входящему Дом поворачивается острым углом. Это угол, об который разбиваешься до крови. Потом можно войти.

Их было тринадцать. Их называли «безобразием», «сворой» и «молокососами». Они были категорически не согласны с последним прозвищем. Сами они называли себя стаей. Как у всякой стаи, у них был вожак.

Вожаку уже исполнилось десять. Он носил кличку Спортсмен, был белокур, розовощек, голубоглаз, на голову выше остальных, если не считать Слона.

Он спал на взрослой кровати, и у него не было ни видимых увечий, ни тайных болезней, ни прыщей, ни комплексов, ни страсти к коллекционированию – ничего из того, что было у каждого из них. Для Дома он был слишком хорош.

Хромых близнецов Рекса и Макса называли Сиамцами, отдельных кличек у них не было. Длиннолицые, костлявые и желтоглазые, с тремя ногами на двоих, одинаковые, как две половинки лимона, неразлучные и неразличимые – две вороватые тени с карманами, набитыми ключами и отмычками. Проникающие в любую дверь. Уносящие все, что лежит без присмотра.

Лохматый Горбач любил военные марши и мечтал стать пиратом. Летом он чернел, превращаясь в сутулого вороненка, и находил на себе насекомых. Собаки чуяли его нежность издалека и сбегались принять ее. От его рук пахло псиной, а в карманах он прятал хлеб и колбасу для четвероногих друзей.

Зануда и Плакса были неразлучны, как Сиамцы, но внешне отличались. Плакса с бледными глазами навыкате смахивал на нервного богомола. Глубоко посаженные глазки Зануды делали его похожим на крысенка. Оба страдали дислексией и увлекались коллекционированием. Они собирали гайки, болты и шурупы, перочинные ножи и этикетки от бутылок, а вершиной их достижений была уникальная коллекция отпечатков пальцев.

Кролик был альбиносом, носил привязанные к ушам темные очки и тяжелые ортопедические ботинки. Он всегда знал, какая река где течет и куда впадает. Он знал множество городов с непроизносимыми названиями, мог перечислить их главные улицы и сообщить, как попасть с одной на другую. Он знал, где что производят и как это отражается на бюджете страны-производителя. Знания Кролика ценили многие, но мало кто его за них уважал. Передние зубы выдавались вперед, делая его похожим на грызуна. Им он и был обязан своей кличкой.

Красавица – невозможно красивый черноглазый мальчик – стыдился своих рук и ног и всегда молчал. Руки и ноги его не слушались. Ноги несли не туда, куда он хотел идти, руки роняли то, что он хотел удержать. Он часто падал и был покрыт синяками, которых тоже стыдился.

Круглоголовый Пылесос был помешан на сокровищах. Он находил их повсюду. То, что было сокровищем для Пылесоса, другие назвали бы мусором. За девять лет жизни Пылесос скопил много всего, заполнив двенадцать тайников и один чемодан, и теперь, помимо поисков сокровищ, занимался их ежедневным переучетом.

Кудрявый Пышка был толст и нахален, любил наряжаться и придумывать себе красивые одеяния. Гардероб его занимал много места и нервировал окружающих. Нос Пышки терялся в щеках, а щеки – в плечах. Воспитательницы его обожали и называли Купидончиком.

Крючок был согнут зловредной болезнью и ходил боком. Голову его поддерживал гипсовый ворот. Это не мешало Крючку быстро бегать. Крючок коллекционировал бабочек и летом, в разгар охотничьего сезона, не расставался с сачком и банкой с марлевой крышкой.

Слон был огромен, застенчив и робок. Он носил резиновые игрушки в карманах комбинезона и плакал, если его оставляли одного. На голове Слона рос белый пух. Он считался в стае самым маленьким, хотя мало кто доставал макушкой до его подбородка.

Пузырь, по общему мнению, был не совсем нормален. Всегда и всюду на роликах. Уши его ловили ветер, полнота спасала при столкновениях. Сам он называл себя Вольным Вихрем и боялся только одного – порчи роликов. Он пережил уже семь пар и всякий раз горько плакал, расставаясь с очередной. Под кроватью у него хранилась коробка с разбитыми колесиками старых друзей.

Стая Спортсмена занимала две спальни в самом конце коридора. Ту, что была побольше, называли Хламовником. Хламовник редко посещался воспитателями и редко прибирался. Сокровища Пылесоса хранились в неподходящих

местах и вываливались, стоило неудачно к чему-нибудь прислониться. Игрушки Слона, замусоленные его зубами, собирали пыль под кроватями. Колюще-режущие коллекции Зануды и Плаксы гнездились на подоконнике. Коллекции этикеток украшали стены, чередуясь с засушенными бабочками Крючка. Одежда Пышки не умещалась в общем шкафу, расползаясь по стульям и спинкам кроватей. Под кроватью Горбача жил дурно пахнущий хомяк. Над кроватью Сиамца Макса росло непонятное растение в подвесном горшке. В шкафу хранилось самодельное оружие, иногда выпадавшее оттуда с деревянным стуком.

Хомяка выпускали погулять. Растение протекало коричневой водой. Этикетки падали со стен и исчезали в тайниках Пылесоса. Никакие уборки не могли спасти Хламовник от захламления.

Стая была стаей, пока напоминала о себе окружающим. Разбитыми стеклами, надписями на стенах, мышами в учительских столах, курением в туалетах. Дурная слава делала их счастливыми и обособляла от главных врагов – колясников. Но самым любимым развлечением стаи были новички. Мамины детки, пахнущие наружностью, плаксы и нытики, недостойные кличек. С новичками можно было развлекаться множеством способов. Можно было пугать их пауками и гусеницами. Можно было давить их подушками и засовывать в шкафы. Выскакивать на них из-за углов и кричать в уши. Подсыпать им в обед перец и соду. Приклеивать их одежду к стульям и отрезать от нее пуговицы. Можно было их просто лупить.

Ничуть не хуже можно было развлечься с незрячими, заступающимися за новичков. Натянутые на дороге веревки, переставленные тумбочки и кровати, надписи на одежде. Двери, заблокированные стульями; кнопки, рассыпанные под ногами, и надежно спрятанные кеды; пропадающие вещи, и другие, появляющиеся взамен пропавших. Много чего можно придумать, если умеешь думать о таких вещах. Стая умела.

– Вот они! Бей! Ату их! – визжали мальчишки, проносясь по коридору пестрой лавиной. Глаза их сверкали охотничьим азартом, потные ладони сжимались в кулаки.

– Ура! – завопили они, загоняя свои жертвы в угол.

Жертвы – Кузнечик и Слепой – приготовились к бою. С равным успехом они могли к нему не готовиться. Визжащая лавина молотящих рук и пинающих ног нахлынула на них, смела, протащила по полу и, потрепав, откатилась. Охотники убегали, размахивая трофейными клочьями одежды и оглашая воздух пронзительным свистом. Хромой Сиамец не поспевал за остальными. Когда топот стих в глубине коридора, Слепой встал и отряхнулся.

– Мда, – сказал он. – Численное преимущество по-прежнему на их стороне.

Уткнувшийся лицом в колени Кузнечик промолчал. Слепой присел рядом с ним.

– Перестань, – попросил он. – Сегодня их было уже меньше, ты не заметил? Удалось кому-нибудь врезать?

– Удалось, – мрачно ответил Кузнечик, не поднимая головы. – Но толку от этого все равно никакого.

– Это тебе так кажется, – Слепой пощупал опухшую щеку и поморщился. – Толк есть, – сказал он уверенно. – Сегодня с ними не было Макса, а это кое о чем говорит.

Кузнечик с любопытством взглянул на него:

– Откуда ты знаешь, которого из них не было? Они же одинаковые.

– Они одинаковые – голоса разные, – объяснил Слепой. – Макс, наверное, струсил из-за своей ноги. Теперь их на одного человека меньше, разве этого мало?

Кузнечик вздохнул:

– Все равно их слишком много на нас двоих. Мы их никогда не одолеем.

Слепой пренебрежительно фыркнул:

– Никогда – это слишком долгое слово. Ты их любишь, такие дурацкие слова. Лучше думай о том, что мы сильнее. Просто их больше. Когда-нибудь мы вырастем, и они пожалеют, что нас доставали.

– Если мы доживем до этого времени, – мрачно добавил Кузнечик. – А если и дальше все будет, как сейчас, мы до него не доживем.

– Ты пессимист, – грустно сказал Слепой.

Они сидели спина к спине и молчали. Зажглась лампочка под потолком. Одна, потом вторая. Ухо Кузнечика горело.

– Потрогай, пожалуйста, мое ухо, – попросил он. – Оно жжется.

Слепой нащупал его плечи, шею и прижал ладонь к уху. Ладонь была холодная, уху стало приятно.

– Придумай что-нибудь, Слепой, – сказал Кузнечик. – Пока мы еще живы.

– Я постараюсь.

Слепой держал его ухо и думал. О своем обещании Лосю. *«Обещай мне за ним присматривать».*

Все лампочки, сколько их было, зажглись разом. Коридор осветился.

В спальне под руководством Спортсмена мальчишки устанавливали на приоткрытую дверь таз с водой.

– Свалится, – предупредил Пышка. – Вам же на головы и свалится. Или еще кто-нибудь зайдет до них. Так всегда бывает.

Пышка сидел на кровати и нянчил ушибленный в драке палец. Палец был зашиблен об кого-то из своих, поэтому настроение у Пышки было вдвойне плохим.

– Не свалится, – отвечал Спортсмен. – Все сделано на совесть.

Зануда соскочил со стула, опасливо покосившись на таз.

– Классная идея, люди! Они входят – Слепому – бамс! – по макушке! Пока он в отключке, мы мамину детку хвать – и в унитаз башкой! – Зануда захихикал.

Плакса, оторвавшись от чистки ножей, визгливо поддержал его с подоконника.

Они легли, каждый на свою кровать, и приготовились к долгому ожиданию. Таз угрожающе блестел синим боком, нависая над пустым пространством. Всем было весело.

Всем, кроме Горбача. Он был против таза, как до того был против дохлой крысы в постели новичка и собачьей какашки в ботинке Слепого. Горбач был гуманистом. Но его никто не слушал.

– Пойдем, – сказал Слепой, поднимаясь с пола. – А то заснешь прямо здесь. Я кое-что придумал, но не знаю, получится ли.

Кузнечик нехотя встал, прижимая плечом больное ухо. Придумки Слепого – он это точно знал – мало для кого годились.

– Если ты придумал, что-то вроде того, что мы сейчас пойдем и всех их измордуем, то я лучше здесь посплю.

Слепой не ответил. Он шел в сторону их спальни. Ворча и негодуя, Кузнечик поплелся за ним.

– Сигарету бы мне сейчас.

– Рано тебе еще курить, – не поворачивая головы, отозвался Слепой.

– А как долго колотят новичков? – Кузнечик догнал его и зашагал рядом. – Десять раз или сто? Месяц или два?

– Один или два раза.

Кузнечик споткнулся от возмущения.

– Один или два? Тогда почему меня достают уже целую вечность? Я что – особенный?

Слепой остановился:

– Конечно. Ты ведь не один. С тобой я, а это уже война. Мы против них, они против нас. Разве ты еще не понял?

– То есть если бы не было тебя…

– Ты бы давно стал для них своим.

Слепой не шутил, потому что он не шутил никогда. Кузнечик поискал на его лице следы улыбки, но Слепой был серьезен.

– Так это все из-за тебя? – упавшим голосом спросил Кузнечик.

– Ага. А ты еще не понял? – Слепой отвернулся и пошел дальше.

Кузнечик медленно брел за ним, чувствуя себя самым несчастным человеком в Доме. Виноват в этом был Лось. Добрейший и мудрейший Лось, который подарил ему друга и защитника, а заодно кучу врагов и нескончаемую войну. Никогда не стать ему своим среди младших, пока рядом Слепой, а Слепой всегда будет рядом, потому что так захотел Лось. И их всегда будут бить и ненавидеть. Хотелось плакать и ругаться, но он молчал, стараясь не отставать от Слепого. Потому что если сказать, что виноват Лось, Слепой озвереет, и все станет еще хуже.

Слепой остановился перед дверью десятой спальни. Спальни старших. Дверь была выкрашена в черный, с белыми и красными надписями, с каплями краски и брызгами, сделанными специально для красоты.

Слепой стоял прислушиваясь. Кузнечик перечитывал надписи, которые и так знал наизусть:

«Каждый поет свою песню».
«Весна – страшное время перемен».
«Логово Сиреневого Крысуна».
«Будь осторожен. Я есмь Кусливая Собака».
«Не стучать. Не входить».

В Доме дверь в чужую спальню – не всегда дверь. Для некоторых это глухая стена. Эта дверь была стеной, поэтому, когда Слепой постучал в нее, Кузнечик испуганно ахнул.

– Ты что? Нам сюда нельзя!

Слепой, не дожидаясь приглашения, вошел.

Кузнечик сел перед закрытой дверью на корточки. Он догадывался, зачем Слепому понадобился Седой, и боялся об этом думать.

Через некоторое время дверь отворилась. Надписи уехали и появились опять. Кузнечик встал. Слепой прислонился к двери, таинственно улыбаясь. Под полуприкрытыми веками влажно плавали невидящие зрачки.

– У тебя будет амулет, – сказал он. – Только надо немножко подождать.

Сердце Кузнечика подпрыгнуло и провалилось куда-то в глубину живота. Коленки задрожали.

– Спасибо, – прошептал он еле слышно. – Спасибо тебе.

В темной спальне горел ночник, повернутый колпачком к стене. Седой склонился над жестяной коробкой с откинутой крышкой. Талисманы от сглаза таращились на него стеклянными зрачками. Камешки с дырками, пуговицы с монограммами, потемневшие монеты и медали, собачьи и кошачьи клыки, иероглифы на крошечных, с ноготь, осколках, семена неведомых растений, нанизанные на нитки. Сокровища, при виде которых малолетний Пылесос потерял бы рассудок. Там было много всего, но Седой не мог выбрать. Он закрыл глаза и нащупал наугад.

Крошечный котенок из пористого камня. С человеческим лицом. Исцарапанный от долгого хранения в коробке, от частого соприкосновения с другими сокровищами. Седой повертел его в руках и, хитро улыбнувшись, положил на кусочек замши.

Добавил корешок, похожий на крысиный хвостик, и крошку бирюзы. Полюбовался своим произведением, сильно затянулся, и аккуратно стряхнул в середину композиции пепел. Потом сложил замшу в маленький мешочек, стянул его края и зашил их нитками.

– Надеюсь, ты принесешь своему желторотому хозяину счастье, – с сомнением сказал он, взвесив на ладони новенький амулет, и, отложив его, занялся поисками шнурка.

Кузнечик застенчиво мялся в дверях, не решаясь войти. Старшеклассник сидел на полосатом матрасе, лежавшим на полу рядом с большим аквариумом, и курил. Его волосы были белыми, лицо почти не отличалось цветом от волос, а пальцы – от сигареты. Только губы и глаза на этом лице были живыми и имели цвет. Розово-винные глаза в белых ресницах.

– Так это ты хочешь получить амулет? – спросил Седой. – Подойди.

Кузнечик подошел настороженный, одеревеневший от страха, хотя и знал, что Седой не вскочит и не набросится на него (даже если такая мысль придет ему в голову), потому что не может этого сделать.

Аквариум светился зеленым, в нем плавали только две рыбки, похожие на черные треугольники. На циновке перед матрасом стояли стаканы с липким осадком на донышках.

– Нагнись, – сказал Седой.

Кузнечик присел рядом, и Седой надел ему на шею амулет. Маленький мешочек из серой замши, расшитый белыми нитками.

– У тебя очень упрямый друг, – сказал Седой. – Упрямый и настырный. Оба эти качества похвальны, но действуют на нервы окружающим. Я не делаю амулеты для малолеток. Тебе повезло. Ты будешь исключением.

Скосив глаза, Кузнечик рассматривал амулет.

– А что здесь? – спросил он шепотом.

– Твоя сила.

Седой спрятал мешочек ему под майку.

– Так лучше, – объяснил он. – Не бросается в глаза. Это сила и удача, – повторил он. – Почти столько же, сколько я дал в свое время Черепу. Будь осторожен теперь. Постарайся, чтобы его никто не видел.

Кузнечик заморгал, оглушенный словами Седого:

– Ой! – опустив голову, он с благоговейным страхом посмотрел на то, что выглядело, как безобидный бугорок под майкой. – Это слишком много, – прошептал он.

Седой засмеялся.

– Много не бывает. И потом, она проявится не сразу. Не думай, пожалуйста, что выйдешь отсюда вторым Черепом. Всему свое время.

– Спасибо, – сказал Кузнечик.

Следовало сказать еще что-нибудь, но он не знал что. Он плохо разбирался в таких вещах. Губы сами растягивались в улыбку. Глупую и счастливую. Он смотрел в пол, улыбаясь от уха до уха, и тихо повторял:

– Спасибо, спасибо…

Мысленно, пальцами Слепого, он уже вспарывал амулет. Что там? Неужели еще один обезьяний черепок? Или что-то еще более удивительное?

Седой как будто прочел его мысли.

– Амулет нельзя открывать. Он потеряет всю свою силу. Не раньше, чем через два года ты можешь это сделать. Но не раньше. Не говори потом, что я тебя не предупреждал.

Кузнечик перестал улыбаться:

– Я ни за что этого не сделаю.

– Тогда беги, – Седой бросил окурок в стакан с лимонадом и посмотрел на часы. – Я и так потратил на тебя уйму времени.

Кузнечик выбежал, с удовольствием продемонстрировав Седому свое умение открывать дверь ногой.

Слепой сидел у стены на корточках, но как только он вышел, сразу встал.

– Ну?

– Он у меня, – шепотом доложил Кузнечик, выпятив грудь. – Можешь потрогать. Под майкой.

Пальцы Слепого нырнули под майку и нащупали мешочек. Кузнечик ежился от щекотки и хихикал.

– Стой смирно! – прикрикнул на него Слепой и продолжил изучение амулета.

– Там что-то твердое из камня, – сказал он, отпуская мешочек. – И еще что-то засохшее, вроде травы. Замша слишком плотная. Ничего не разберешь.

Кузнечик приплясывал на месте от нетерпения. Ему ужасно хотелось рассказать о том, что прячется у него под майкой, но он не решался. Не стоит хвастать такими непроверяемыми вещами. Но *Великая Сила на шнурке* не давала покоя. Надо было куда-то бежать и что-то делать, чтобы прогнать этот зуд в ногах, эту прыгучесть и желание взлететь.

– Давай поднимемся на дальний гараж? – предложил он. – На крышу, под луну, на то наше место! Ведь сегодня великая ночь! Сегодня нельзя спать!

Слепой пожал плечами. Ночь была самая обыкновенная, и ему больше хотелось спать, чем лезть на гараж, но он понимал, что Кузнечик слишком взбудоражен, и сейчас ему не до сна. То, что сказал Седой, надо было переварить до встречи со стаей. Седой – молодец. Слепой от всего сердца восхитился, подслушивая их разговор под дверью. Никто из старших бы так не сумел.

– Хорошо, – сказал он. – Пошли на крышу.

Кузнечик свистнул и скачками понесся по коридору.

Великая Сила стучала под майкой, как второе сердце, подбрасывая его над землей. Паркет ловил его и отталкивал, как будто был сделан из резины. Кузнечик вопил и визжал от счастья, приплясывая на ходу. На всем протяжении его пути распахивались двери спален, и оттуда доносилось возмущенное шиканье.

Слепой догнал его уже в конце коридора, и они пошли рядом – двое очень разных мальчишек в рваных зеленых майках.

В шестой спальне их проклинали, зевали и боролись со сном.

– Не м-могу больше, – скулил Плакса, стягивая носки. – Уп-п-пущу т-такое зрелище!

Носок полетел через всю комнату и повис на настольной лампе.

– Сколько можно? Уже ночь!

– Терпи, – процедил Спортсмен со своей кровати. – Столько терпел, потерпи еще чуток.

Сиамец Рекс двумя пальцами придерживал веки в раскрытом виде. Его брат сладко спал, обняв подушку.

Спортсмен оглядел изнемогшую стаю:

– Слабаки, – прошептал он. – Какие же вы все слабаки…

Пышка зевнул, захлопнул тетрадь с наклейками спортивных автомобилей и спрятал ее под матрас.

– Вы как хотите, а я буду спать, – заявил он, отворачиваясь к стене. – Все равно эта штука на них свалится, даже если я этого не увижу.

– Предатель, – проворчал Сиамец Рекс.

– Сам, – ответил Пышка, не оборачиваясь.

Спортсмен вздохнул и пересчитал оставшихся на посту.

Четыре понурые фигуры в зеленых майках, болтали ногами каждая на своей кровати. Толстый Слон в углу сосал палец.

Поймав на себе взгляд Спортсмена, он вытащил палец изо рта и застенчиво улыбнулся:

– Еще нельзя пойти сделать пи-пи? – спросил он.

– Черт бы вас всех подрал! – не выдержал Спортсмен. – Не можете и часу вытерпеть без туалета! Одному – писать, другому – ноги мыть, третьему – цветок поливать. Какая вы стая? Вы – сборище древних сонь! Вам бы только жрать, дрыхнуть и писать вовремя!

Слон налился красным, завздыхал и заплакал. Сиамец Макс тут же проснулся. Слон рыдал. Макс посмотрел на брата. Рекс соскочил с кровати, прохромал к Слону и обнял его пухлые плечи:

– Ну-ну, малыш… не реви. Все будет хорошо.

– Я хочу пи-пи, – прорыдал Слон. – А он не пускает.

– Сейчас пустит, – пообещал Сиамец, грозно кося на Спортсмена желтым глазом, – сейчас он так пустит, как ему и не снилось!

Горбач, тихо лежавший на верхней полке, вдруг вскочил.

– Надоело! – закричал он, запуская в стоявший на двери таз ботинком.

С потоками воды и жестяным грохотом, таз обрушился на пол. От испуга Слон замолчал. Плакса истерично хихикнул и поджал босые ноги. По паркету растекалось озеро.

ВО ДВОРЕ

Горбач играл на флейте, двор слушал. Он играл совсем тихо, для себя. Ветер кругами носил листья, они останавливались попадая в лужи, там кончался их танец, и кончалось все. Размокнут и превратятся в грязь. Как и люди.

Тише, еще тише… Тонкие пальцы бегают по дыркам, и ветер швыряет листья в лицо, а монетки в заднем кармане врезаются в тело, и мерзнут голые лодыжки, покрываясь гусиной кожей. Хорошо, когда есть кусок поющего дерева. Успокаивающий, убаюкивающий, но только когда ты сам этого захочешь.

Лист застрял у его ноги. Потом еще один. Если много часов сидеть неподвижно, природа включит тебя в свой круговорот, как если бы ты был деревом. Листья будут прилипать к твоим корням, птицы – садиться на ветки и пачкать за ворот, дождь вымоет в тебе бороздки, ветер закидает песком. Он представил себя деревочеловеком и засмеялся. Половинкой лица. Красный свитер с заплатками на локтях пропускал холод сквозь облысевшую шерсть. И кололся. Под ним не было майки – это наказание Горбач придумал себе сам. За все свои проступки, настоящие и вымышленные, он наказывал себя сам. И очень редко отменял наказания. Он был суров к своей коже, к своим рукам и ногам, к своим страхам и фантазиям. Колючий свитер искупал позор страха перед ночью. Страха, который заставлял его укутываться в одеяло с головой, не оставляя ни малейшей лазейки для *кого-то, кто приходит в темноте.* Страха, который не давал ему пить перед сном, чтобы потом не мучиться, борясь с желанием пойти в туалет. Страха, о котором не знал никто, потому что его носитель спал на верхней койке, и снизу его не было видно.

И все равно он стыдился его. Боролся с ним каждую ночь, проигрывал и наказывал себя за проигрыш. Так он поступал всегда, сколько себя помнил. Это была игра, в которую он играл сам с собой, завоевывая каждую ступень взросления долгими истязаниями, которым подвергал свое тело. Простаивая на коленях в холодных уборных, отсчитывая себе щелчки, приседая по сто раз, отказываясь от десерта. И все его победы пахли поражением. Побеждая, он побеждал лишь часть себя, внутри оставаясь прежним.

Он боролся с застенчивостью – грубыми шутками, с нелюбовью к дракам – тем, что первым в них ввязывался, со страхом перед смертью – мыслями о ней. Но все это – забитое, загнанное внутрь – жило в нем и дышало его воздухом. Он был застенчив и груб, тих и шумен, он скрывал свои достоинства и выставлял недостатки, он прятался под одеяло и молился перед сном: «Боже, не дай мне умереть!» – и рисковал, бросаясь на заведомо сильного.

У него были стихи, зашифрованные на обоях рядом с подушкой, он соскребал их, когда надоедали. У него была флейта – подарок хорошего человека – он прятал ее в щель

между матрасом и стеной. У него была ворона, он воровал для нее еду на кухне. У него были мотки шерсти, он вязал из них красивые свитера.

Он родился шестипалым и горбатым, уродливым, как обезьяний детеныш. В десять лет он был угрюмым и большеротым, с вечно расквашенными губами, с огромными лапами, которые рушили все вокруг. В семнадцать стал тоньше, тише и спокойнее. Лицо его было лицом взрослого, брови срастались над переносицей, густая грива цвета вороньих перьев росла вширь, как колючий куст. Он был равнодушен к еде и неряшлив в одежде, носил под ногтями траур и подолгу не менял носков. Он стеснялся своего горба и угрей на носу, стеснялся, что еще не бреется, и курил трубку, чтобы выглядеть старше. Втайне он читал душещипательные романы и сочинял стихи, в которых герой умирал долгой и мучительной смертью. Диккенса он прятал под подушкой.

Он любил Дом, никогда не знал другого дома и родителей, он вырос одним из многих и умел уходить в себя, когда хотел быть один. На флейте он лучше всего играл, когда его никто не слышал. Все получалась сразу – любая мелодия – словно их вдувал во флейту ветер. В лучших местах он жалел, что его никто не слышит, но знал, что будь рядом слушатель, так хорошо бы не получилось. В Доме горбатых называли Ангелами, подразумевая сложенные крылья, и это была одна из немногих ласковых кличек, которые Дом давал своим детям.

Горбач играл, притоптывая косолапыми ступнями по мокрым листьям. Он впитывал в себя спокойствие и доброту, он заключал себя в круг чистоты, сквозь который не пролезут бледные руки *тех, что путают душу.* По ту сторону сетки мелькали люди, это его не тревожило. Наружность отсутствовала в его сознании. Только он сам, ветер, песни и те, кого он любил. Все это было в Доме, а снаружи – никого и ничего, только пустой, враждебный город, живший своей жизнью.

Двор заносило листьями… Два тополя, дуб и четыре непонятных куста. Кусты росли под окнами, прижимаясь к стенам, тополя отмечали два наружных угла сетки, выходя корнями за пределы Дома. Дуб, росший у пристройки, пожирал ее могучими лапами и затенял свою часть двора почти целиком. Он вырос здесь задолго до того, как появился Дом, и помнил те времена, когда вокруг были сады, а на деревьях гнездились аисты. Как далеко простирались его корни? Пустая волейбольная площадка с ящиками зрительских мест по краям. Пустая собачья будка с дырявой крышей и ржавыми мисками с дождевой водой. Скамейка под дубом, обклеенная пивными этикетками. Мусорные баки. Из кухонных окон валил белый пар. Из окон второго этажа доносилась музыка всех цветов.

Облезлые кошки обегали двор по периметру. Вороны расхаживали по голым газонам, расшвыривая жухлые листья. Большеносый мальчишка в красном свитере сидел на перевернутом ящике и играл на флейте, замыкая себя в круг одиночества и пустоты. Дом дышал на него окнами.

КУРИЛЬЩИК
О летучих мышах, драконах и скорлупе василисков

В спальне было весело. Мы с Горбачом сидели на кровати. Лорд, Табаки и Слепой – на полу, передавая друг другу какие-то банки и бутылки, внюхиваясь, дегустируя и переливая таинственные смеси из одних емкостей в другие. Рядом с ними стоял складной манежик. Толстый в розовой пижаме наблюдал за их действиями изнутри, через сетку.

Я смотрел с кровати через прутья спинки.

Горбач выстругивал что-то перочинным ножом из черного, узловатого корня. На нем была дворовая куртка со следами Нанеттиного помета, в волосах застряла стружка.

– А я говорю, что хвоя перестояла, – гудел Табаки, ныряя в банку с чем-то мутно-коричневым. – Запах совсем не тот.

– Возьми другую.

Лорд отобрал у него банку, понюхал и отставил:

– Эта прошлогодняя. И хватит трясти, осадок взболтаешь.

Слепой облизал ладонь, подставленную под бутылку, и скривился:

– Откуда здесь масло? Это что, заправка для салатов?

– Ай! – взвизгнул Табаки. – Где ты ее взял? Там скорпион, утопленный в подсолнечном масле! Средство от укусов! Я его совсем отдельно припрятал!

Лорд поднес бутылку к лицу и всмотрелся:

– Кажется, так и есть. Вон он плавает. Придурок, зачем было брать матовую? Его же совсем не видно.

– Что оказалось под рукой, то и взял, – обиделся Табаки. – Не очень-то повыбираешь, когда у тебя в руке скорпион. И вообще, я наклеил на нее предупреждающую надпись. Наверное, она оторвалась.

– Что Слепому твоя надпись? Вот помрет сейчас, и останемся без вожака накануне военного переворота.

Лорд улыбнулся. Мечтательно и нежно.

Сразу вспомнилась присказка Табаки: «Лорд улыбается раз в году, когда кто-нибудь умудрится сломать себе ногу». «Или хлебнуть из бутыли с дохлым скорпионом», – дополнил я про себя это наблюдение.

– Слепой, у тебя есть заговор от ядов? – заботливо выспрашивал Табаки. – А охранный амулет?

Слепой уже занимался другой бутылкой. Откупорил, бросив пробку в манежик Толстому и капнул оттуда себе на палец. Умирать он в ближайшее время явно не собирался.

– Да что ему какой-то скорпион? – сам себе ответил Табаки. – Он и не такое жрал. Накануне и не накануне.

Осчастливленный Толстый игрался пробкой. Подбрасывал ее двупалыми клешнями и пробовал поймать. Пробка не ловилась, но Толстый не отчаивался. Потом он сунул ее в рот и принялся мусолить, как соску.

Я еще немного поглядел на них и лег на спину. От строгавшего Горбача веером разлеталась стружка.

– Извини, – говорил он всякий раз, когда она долетала до меня.

– Ничего, – всякий раз отвечал я.

Глаза у Горбача были как мокрый чернослив, ресницы казались приклеенными.

– Между прочим, – сказал он, прервав наш однообразный обмен любезностями, – Валет сказал, что Помпей тренируется в метании ножей, представляете? Вроде бы попадает в центр мишени с десяти шагов, три раза из пяти.

– Ты это кому рассказываешь? – спросил с пола Табаки.

– Всем.

Я опять перевернулся на живот и раздвинул пакеты и сумки, висевшие на спинке кровати.

– Ну и зря. Нам в принципе с такими разговорами и Лэри хватает.

Табаки достал из банки полуразложившийся чилийский перчик, потряс его и сунул в рот.

– Вот эта настойка хороша, – сказал он, зажмурившись. – Одно, знаете ли, удручает. Пока Помпей достигнет совершенства в метании ножей, Лэри нас затрахает до смерти. Он уже не в себе. На людей бросается. Правда, теперь еще не скоро бросится, но все равно. Плохо парню. Надо с этим что-то делать.

– Почему он теперь не скоро бросится? – спросил я.

Лорд послал мне еще одну лучезарную улыбку:

– Вчера мы убедили Лэри, что он тебя убил.

Следующим вопросом я подавился.

– Он долго рыдал где-то в недрах Дома, – продолжил Лорд, – навек прощаясь с верными Логами. Этого потрясения ему надолго хватит.

– А тебе, конечно, приятно, что человек помучился! – возмутился Табаки. – Что он, может, чуть не повесился? С каким удовольствием ты об этом рассказываешь!

– Я думаю, Сфинкс успел бы вынуть его из петли, – безмятежно сказал Лорд. – Он такой заботливый… иногда. Кроме того, Табаки, ты, кажется, забыл, что это была твоя инициатива?

Я смотрел на Лорда и думал о том, что, доводя меня в туалете до истерики, Сфинкс

уже знал, что сотворили с Лэри его состайники. И что лучшей гарантии для моей безопасности просто быть не может. Но ничего не сказал. Проверил, способен ли я на стукачество, а потом согласен ли я считаться стукачом в глазах Лэри, которого не особенно уважаю. А может, попутно еще много чего проверил, о чем я даже не догадываюсь. Не случайно меня тогда посетило чувство, что я на экзамене. Это и был экзамен. Я понял, что не скоро ему это забуду. И еще – что никогда никому об этом не расскажу.

Внизу Табаки увлеченно рассуждал о психическом состоянии Лэри, уверяя, что ему наверняка поможет настойка валерианового корня. Лорд возражал, что Лэри поможет только скоропостижная смерть Помпея. Слушая их, я вспомнил, что давно уже ходят разговоры о каком-то перевороте, и что в связи с этим неоднократно упоминалась кличка Помпея, вожака шестой. Будучи Фазаном, я не вникал в эти разговоры, а теперь вдруг забеспокоился, что не знаю чего-то, о чем наверняка знают все, и спросил:

– Так это Помпей затевает переворот? А зачем ему это нужно?

Табаки, Лорд и Слепой подняли головы и уставились на меня. Вернее, уставились Табаки и Лорд. Слепой только поднял голову. С банками и ложками в руках, в цветастых банданах, чтобы не мешали волосы, они до смешного смахивали на трех ведьм, занятых приготовлением колдовских зелий. Толстый в манежике сошел бы за гомункулуса. Скорпион в бутылке тоже был вполне на своем месте. Я невольно хихикнул.

– Зачем ему это? – самая мелкая и волосатая ведьмочка окуталась сигаретным дымом и впала в транс. – Зачем…

– В одном предложении! – вскинулась вторая. – Это приказ.

– Как-так? – возмутился Шакал, выходя из образа. – Опомнись, Слепой! Курильщик останется непросвещен!

На Слепого эта угроза не подействовала.

– Ладно, – угрожающе протянул Табаки. – Раз вы так, то мы эдак… – Он расчистил вокруг себя место, как будто собираясь взлететь, сел прямо, откашлялся…

– Слушай, Курильщик, и мотай на ус правду о Помпее, которого, ты, конечно, немного знаешь, и который в последнее время ведет себя не лучшим образом, позволяя себе многое, чего не позволял раньше, хотя раньше – понятие растяжимое, для многих из нас раньше его вообще здесь не было, и мы знать не знаем, как он вел себя там, где он был, когда его не было здесь, так что не совсем понятно, как можно быть уверенным, что он вел себя приличнo, он – человек настолько далекий от Дао, насквозь пропитанный миазмами наружности, всерьез полагающий, что способен заменить Слепого на его ответственном посту, хотя, возможно, его просто достала перенаселенность подведомственного участка, и он жаждет покоя и тишины, но в таком случае проще было бы решить эту проблему перемещением своего тела в пределы Клетки сроком от трех до пяти дней, что, несомненно, способствовало бы самопознанию и очищению духа, а также погружению в более высокие материи, да и просто развитию философского склада ума, но нет, ему нужно совершить нечто громогласное и сокрушительное, разбить наголову, потешить множество застарелых комплексов, а в том, что он личность глубоко закомплексованная, не возникает сомнений, достаточно взглянуть на его шейные платки или бакенбарды, на манеру передвигаться и жестикуляцию, а в особенности на морды летучих мышей, которыми он себя увешивает – обреченные морды существ, страдающих всеми мыслимыми и немыслимыми среди рукокрылых заболеваниями, тоже мне Оззи Осборн, тот по крайней мере сразу откусывал им головы, а на Помпеевом загривке они дохнут месяцами, вот, несчастная Поппи отдала концы только в прошлую среду, а сегодня ее место уже заняла Сюзи, но чего можно требовать от полного профана в биологии, который даже не в курсе, что Сюзи – самец, хотя яйца у него с грецкий орех, хотя, конечно, это не имеет значения, ведь долго ему не протянуть – этому Сюзи – Помпей похоронил уже полдюжины его собратьев, так что это вопрос времени, к тому же летучему мышу наверняка все равно под чьим именем его отправляют на тот свет, хотя общество защиты животных могло бы и заинтересоваться тем, кто скупает этих бедолаг пачками, чтобы выглядеть круче, хотя видит бог, полудохлая тушка летучей мыши еще никому не придавала крутизны, вот был бы это коралловый аспид, имело бы смысл о чем-то говорить, но тот, кто не живет с мыслью о собственной смерти, вряд ли повесит на себя аспида, ведь это потребовало бы уймы усилий по завоеванию его доверия, но ведь можно выстлать

свой путь костями безвредных рукокрылых, не давая себе труда даже определить их пол, и вполне вероятно, что не что иное, как полная безнаказанность в данном вопросе, позволяет Помпею думать, что он не поперхнувшись пройдет по значительно более крупным костям значительно менее безвредной личности, я, конечно, имею в виду Слепого, но вы меня поняли, состайники, последнее я мог бы и не разъяснять.

Табаки умолк и с достоинством кивнул Слепому:

– Я почти уложился, хотя это было гнусно с твоей стороны так меня ограничивать.

В комнате стояла мертвая тишина. Даже магнитофон молчал. Даже Нанетта не подавала признаков жизни. Могло показаться, что все это время Шакал читал мощнейшее заклинание по усыплению окружающих. Лорд сидел в обнимку с банкой без крышки и раскачивался, прикрыв глаза. Слепой привалился к манежику Толстого. Горбач уставился на свой перекрученный корень, явно забыв, что собирался из него вырезать. Лица у всех были сонные и какие-то переевшие. На грани отравления. Только Толстый не поддался чарам. Дергал Слепого за волосы и тихо гудел.

Когда я окончательно уверился, что всех вокруг заколдовали, Горбач очнулся и, сонно моргая, перевел:

– Табаки имел в виду, что Помпей метит на место Слепого. Не знаю, разобрал ли ты это за летучими мышами и прочей дребеденью.

– Протестую! – возмутился Табаки. – Я выражался доступно, а главное – очень образно. Резюмировать такую речь, по-моему, преступление.

– Да, – согласился Горбач. – Но, может, Курильщика с непривычки слегка оглушило, и он не смог ее оценить.

Лорд открыл глаза и удивленно заглянул в банку, которую все это время обнимал.

– А нельзя ли, – спросил он, – в следующий раз ограничить это чудовище количеством слов, а не предложений?

– Нельзя! – Слепой выпрямился, выдрав свои волосы из клешней Толстого. – Сам подумай, сколько раз и в скольких вариантах можно повторить одно и то же слово.

Мы все об этом подумали и дружно застонали. Табаки посмотрел на нас с видом великого актера, принимающего аплодисменты.

За ужином я почти не ел. Меня встревожила информация о Помпее. О здоровье его летучих мышей я беспокоился в последнюю очередь. А вот слово «переворот» мне не понравилось. Я ощущал себя в центре событий, о которых имел очень смутное представление, а вернее – никакого, и это мне тоже не нравилось.

Как происходит смена вожаков в Доме? Они дерутся друг с другом? Или сразу группами? А если группами, то почему четвертая так безмятежна перед предстоящим побоищем? Ведь драку между ними и шестой иначе не назовешь.

«Кажется, спокойная жизнь заканчивается», – подумал я. Как будто моя жизнь в четвертой была спокойной, или как будто она успела толком начаться.

Зеленый горошек в тарелке высыхал, котлета покрылась пленкой жира. Есть хотелось, но не получалось. Динамики под потолком поливали зал бравурными маршами. Из-за них все, кто находился в столовой, были вынуждены орать, чтобы расслышать друг друга.

Черно-белый Фазаний стол. Тихий кошмар изучающих чужие тарелки взглядов. Половина Фазанов на диете – у каждого своя – так что за содержимым чужих тарелок следят очень пристально. Подсчитывают калории.

По соседству – Крысы. Буйство красок и всплески безумия.

Дальше – черные Птицы в кошмарных слюнявчиках…

Шестая изображает душевность. Если им верить, то в группе собрались сплошь весельчаки и любители розыгрышей. Правда, большую часть их шуток я не хотел бы испытать на собственной шкуре, и громкому смеху тоже не доверял, но все это были мелочи. В целом они старались как могли.

Третьей, четвертой и шестой нелегко. Фазаны – хорошие, Крысы – плохие. И те и другие до того перестарались с имиджем, что остальным приходится выкручиваться, чтобы хоть как-то вклиниться между ними. У третьей это получается лучше, у шестой – хуже, а четвертая слишком малочисленна для… для, скажем так, полноценной игры.

«Сказав так», я вдруг подумал, что игра включает в себя больше, чем просто имидж.

Это было очень правильное слово, поймав его, я понял, что давно искал что-то в этом роде. Слово, в котором пряталась бы разгадка происходящего в Доме. Просто надо было осознать что игра – это все, что меня окружает.

Не бывает такого, чтобы в одной группе собрались все послушные зануды, а в другой – все неуправляемые психи. Это невозможно. Значит, когда-то и кем-то так было задумано. Зачем? Это уже другой вопрос.

Я даже вспотел от собственной проницательности. Аппетит окончательно пропал.

Однажды – фантазировал я, – они, вконец озверев от скуки, придумали сценарий Игры и поклялись следовать ему при любых обстоятельствах. Каждому своя роль, каждому – свое место в игре. Так с тех пор и живут. Притворяясь и придерживаясь сценария. Иногда с охотой, иногда кое-как, но всегда и везде, особенно в столовой, где больше зрителей. Некоторые – как Фазаны – заигрались до потери человеческого облика.

Как легко и красиво все укладывалось в эту схему. Взглядом внезапно прозревшего я посмотрел вокруг.

Крысы. Почти сплошь малолетки не старше семнадцати. Под их ядовитыми ирокезами – подростки еще не выбравшиеся из переходного возраста. Может, поэтому им так легко дается роль психов?

Птицы. На Птицах я споткнулся. Ну хорошо. Траур – всего лишь одежда. Лица неприятные, но при желании можно изобразить такое же лицо. Стервятник… монстр Дома. Я посмотрел на него своим обновленным взглядом и попробовал сорвать внешнюю шелуху. Траур… кольца… черный лак на отрощенных ногтях… длинные волосы и подкрашенные глаза. Убрать все это, забыть о том, что он спит в гробу, стереть вообще все сведения о его гнусных привычках – и что останется? Тощий, крючконосый тип. С острым подбородком. Личность неприятная, но далеко не чудовище.

Тут меня застопорило, потому что неприятная личность вдруг обернулась и уставилась на меня. Должно быть, почуяв процесс своего разоблачения. Посмотрела сонными желтыми глазами – и я потерял способность думать, замороженный этим взглядом.

Убедившись, что я нейтрализован и готов к употреблению, Стервятник улыбнулся, показав очень длинные, кривые зубы. Ощущение было таким, словно кто-то с силой провел бритвой по стеклу.

Через пару минут я оправился, но остался неприятный осадок. Как после старого черно-белого фильма, где такой вот урод под тонной грима все полирует свои когти и смотрит не моргая, а тебе вдруг становится жутко и одновременно стыдно за то, что поймался на такую дешевку.

Ладно, сказал я себе. Это говорит только о том, что он хороший актер. Вжился в свою роль. В конце концов вожаки Дома должны быть мастерами Игры. Ведь наверняка они же ее и придумали.

Для подтверждения теории я проверил Рыжего.

Крысиный вожак не особенно поддавался разоблачению. Если убрать зеленые очки на пол-лица и кровавый ежик якобы натуральных волос, то что останется? Ничего. С равным успехом это мог быть переодетый под Крысу манекен.

Я даже немного расстроился. И чтобы утешиться, переключился на Помпея.

Чем-то он отдаленно напоминал Сфинкса. Наверное, ростом. И лысиной. Только у Сфинкса она была натуральная. А Помпей на своей оставил небольшой гребень. Черный и залаченный до стеклянности. И еще он был толще. То есть глаже.

Я убрал косуху, как у Логов, панковский гребень с макушки и пудру с лица. Убрал с ворота летучую мышь, мельком припомнив, что ее, точнее его, зовут Сюзи и что ему недолго осталось. То, что получилось, выглядело обычно. Красивый парень, ничего особенного.

Раньше я не понимал, зачем такому, как Помпей, изображать восставшего мертвеца. А теперь сообразил, что это входит в правила игры. Вожак должен быть бледен и зловещ. Помпей смуглый, наверное, ему приходится изводить уйму пудры, чтобы соответствовать стандартам.

Упоенный образом Помпея, наводящего смертельную бледность с пуховкой в руках, я громко фыркнул.

В сценарии все отмечено. Любые мелочи. На какую сторону раскрывается Фазаний

пробор. Насколько черно белье уважающей себя Птицы. Какие книги разрешается читать Псам. Может, даже Крысам иногда бывает лень перекрашивать волосы, но они себя заставляют, потому что таковы правила Игры. А Птицы, вполне вероятно, втайне ненавидят любую растительность, в горшках и без горшков.

Следующая догадка была совсем простой. Я шел к ней через все предыдущие, намеренно не торопясь, оставляя ее про запас, чтобы в конце эффектно водрузить поверх всего остального и закрыть тему.

Свержение Помпеем Слепого – вернее, его разрекламированное намерение – тоже часть игры. Невозможно постоянно обыгрывать одни и те же сюжеты. Время от времени сценарий требует изменений. Объявленная Помпеем война – именно такое изменение. Вожак Псов запугивает Логов, тренируется в метании ножей, ведет себя, по выражению Шакала, «не лучшим образом», зрители ужасаются, шпионы бегают из лагеря в лагерь с донесениями – людям есть о чем поболтать вечерами. Всем интересно и никому не страшно. Кроме Лэри. Лэри глуповат, он все принимает за чистую монету.

Я еще раз оглядел столовую. Как все просто и глупо!

Хотелось расхохотаться и прокричать всем вокруг, что я их раскусил. С их метательными ножами и летучими мышами. С переворотами, пудрой на щеках и скорпионами в бутылках.

Должно быть, это как-то проступило у меня на лице, потому что Табаки вдруг отшвырнул вилку и спросил, какого черта я выгляжу таким самовлюбленным придурком.

– А вот так вот, – ответил я, показав ему кончик языка. Тут же спохватился, что Шакал не выносит, когда его дразнят, но было уже поздно.

Он с такой быстротой сделался малиновым, как будто его ошпарили. Выкашлял на тарелку непрожеванный кусок и попросил Лорда схватить его и держать, как можно крепче.

– Все видели, как этот уродец в перьях плюнул на мои седины? Все? Сейчас я выпущу ему кишки!

Сказанное перебивалось кашлем, но прозвучало убийственно серьезно.

Лорд отнял у Табаки десертный нож, заметив, что вид моих кишок на полу столовой испортит всем аппетит.

Табаки кашлял, пока не посинел.

– Он думает, что прозрел! – донеслось до меня в перерыве между приступами кашля. – Что что-то такое важное понял! Есть ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь после смерти или почему Земля круглая! Глядите, как его раздуло!

– Он еще с твоего монолога опух, – предположил Горбач. – Просто не привык еще.

– Ничего меня не раздуло! – возмутился я. – Я не опух, не раздулся, и вообще оставьте меня в покое!

– А и правда, – сказал Черный с другого конца стола. – Что ты на него налетел, Табаки? Уж и подумать ни о чем нельзя спокойно.

– Спокойно! – заорал Табаки. – Это теперь называется «спокойно»? Когда на моих глазах состайник наливается самомнением, оскотинивается и жирно прищуривается, я, по-вашему, должен молчать? А потом жить рядом с этой паскудной рожей? Если собирается так выглядеть, пусть завесит себя чадрой. Лично я этого терпеть не намерен!

– Он уже просто злой, – заверил его Сфинкс. – Сам посмотри. Убедись и успокойся, пожалуйста.

Но Шакал еще долго не мог успокоиться. Жевал, отвернувшись, потом вдруг вскидывался, пронзал меня гневным взглядом и опять отворачивался. И было это вовсе не так смешно, как казалось Лорду.

Выезжал я из столовой с каменным лицом. Я не сердился на Табаки. Даже не был обижен. Я восхищался его проницательностью.

Никому не нравится, когда посторонние разгадывают их любимые игры. Реакция Табаки подсказывала, что я на верном пути. Надо только лучше маскироваться.

Черный, проходя мимо, похлопал меня по плечу.

– Плюнь, – сказал он. – Здесь все психи, один другого хуже.

– Да нет, почему же психи? – опять не сдержался я. – Просто игроки.

Черный посмотрел удивленно.

Я так и не понял, что его удивило. Слова, которых он не понял, или моя проницательность.

Они сидели в грязных клетках и высасывали сырые яйца, через дырку в скорлупе, уши у них были жесткие и острые, а когти – как кривые ятаганы. А умирали они от насморка и от чесотки, все остальные болезни им были нипочем…

…она посветила на меня сиреневым глазом, и я понял, что это Большая Волосатая, та, что живет под кроватями, где скапливается много пыли, а по ночам выворачивает половицы в поисках плесени. Я попросил ее предсказать мне судьбу, но она не стала этого делать. «Нет страшнее участи, чем знать о том, что будет завтра», – сказала она, и подарила мне в утешение свой клык…

А в замке том обитал рыцарь, славный своими подвигами. Люди звали его Драконоборцем, потому что он убил последнего дракона, которого и отыскать-то было нелегко. Злые языки, правда, утверждали, что дракон на самом деле был просто крупной ящерицей, привезенной из Южных Земель…

Оно похоже на черный цилиндр. Его не видно при солнечном свете, и тем более не видно в темноте. Его можно только нащупать случайно. А по ночам оно тихо гудит, воруя время…

Я лежал в темноте и слушал. Было жарко. Голова кружилась от коктейля, в котором смутно угадывались водка, лимонный сок и что-то вроде шампуня с запахом хвои. Из похороненного в одеялах магнитофона доносилась органная музыка. Вокруг теснились чужие ноги и руки, подушки и бутылки. Впервые на моей памяти свет был полностью выключен. Историям не было конца. Они обрывались, не успев толком начаться, и сменялись другими, возобновляясь, когда я уже успевал забыть их содержание, и из этих чередующихся отрывков складывались причудливые узоры, уследить за которыми было нелегко, хотя я очень старался.

…это час, когда криворогие выходят на влажные тропы, ведущие к воде, и ревут. Деревья гнутся от их рева. А потом настает час, когда всех дураков сажают в лодки и отправляют по лунным дорожкам вверх по реке. Считается, что их забирает к себе луна. Вода у берегов становится сладкой, и остается такой до рассвета. Тот, кто успеет ее выпить, станет дурачком…

Я рассмеялся и пролил на майку немного вина.

– Зачем же тогда пить? – спросил я шепотом. – Если это так опасно?

– Нет человека счастливее, чем настоящий дурак, – ответил невидимый рассказчик. Судя по голосу, Сфинкс. Хотя я уже путал голоса. Слишком много выпил, наверное. Стакан все время наполнялся сам собой, а под правым боком, упираясь горлышком в ребра, торчала пустая бутылка. Отодвинуть ее мне было лень.

В черном лесу василисков немного. Они почти выродились, не у всех взгляд смертелен. Но если забрести подальше вглубь, туда, где кора деревьев покрыта светящимся фиолетовым мхом, оттого, что они не видят света, там уже можно встретить настоящего. Поэтому туда никто не ходит, а из тех, кто пошел, мало кто вернулся, а из вернувшихся никто не встречал василиска. Так откуда же мы знаем, что они там есть?..

Меня толкнули.

– Эй, твоя очередь. Давай, расскажи что-нибудь.

Я потер лицо. Липкими пальцами. И облизал их. Сонный дурман уносил меня по лунной реке. Прямо в объятия криворогих.

– Не могу, – честно признался я. – Не знаю ничего похожего на эти истории. Я вам все

испорчу.

– Тогда давай стакан.

Я протянул стакан в направлении голоса:

– «Хвойного», пожалуйста. Но поменьше. В ушах шумит, – я настаивал на «Хвойном», потому что три другие бутылки Табаки при мне со зловещей ухмылкой доливал из банки с чилийскими перчиками, и я не был уверен, что выживу, попробовав то, что в результате получилось.

– А тут и так почти не осталось. Но ты смотри не засни. В Ночь Сказок нельзя спать. Это невежливо.

– И часто у вас бывают такие ночи?

– Четыре раза в году. Посезонно. А еще Ночь Монологов, Ночь Снов и Самая Длинная Ночь. Эти по одному разу. Две из них ты уже пропустил.

Мне вернули стакан.

– Ночь Большого Грохота – когда Горбач падает со своей верхотуры, – продолжал бубнить голос. – Ночь Желтой Воды, когда Лэри вспоминает детские привычки… Кстати, проверьте его. Он уже два круга пропустил.

Где-то в ногах кровати начали проверять Лэри. Судя по долетавшим оттуда охам и стонам, он спал.

– Штрафной рассказ с тебя, соня, – сказали ему.

Лэри зевнул, как тигр, и долго молчал.

– Одна симпатичная девчонка как-то раз попала под поезд, – донеслось наконец сипло и безнадежно.

– Все, заткнись. Можешь спать дальше.

С блаженным всхлипом Лэри рухнул куда-то, откуда его чуть раньше выкопали, и тут же захрапел. Я рассмеялся. Там, где я облился, рубашка липла к телу. Магнитофон горел красным глазом.

…если Волосатой надо что-то услышать, она делает дырку в стене, а если ей надо что-то увидеть, она посылает крыс. Рождается она в фундаменте дома, и живет, пока дом не рухнет. Чем дом старше, тем Волосатая крупнее и умнее. У нее бывают свои любимчики. Тем, кого она любит, на ее территории хорошо и спокойно, а другим – наоборот. Древние называли ее духом очага и делали ей подарки. Считалось, что она защищает от нечистой силы и дурного глаза…

Интересно, чья это история? Я не узнавал голос рассказчика. Мне даже показалось, что свет выключили специально, чтобы меня запутать. И сказки рассказывают измененными певучими голосами с той же целью.

…потому что с тех самых пор, как рыцарь прибил на стену парадной залы двуглавый череп, на него пало проклятье дракона. Старший сын в роду стал рождаться на свет с двумя головами. Говорили, правда, и иное. Что вовсе не рыцарь победил дракона в том давнем бою, а дракон рыцаря, и что в замке с тех пор поселился сам ящер в человеческом облике, оттого и не давал он в обиду своих двухголовых сыновей и любил их более одноглавых…

Крик жабы-повитухи страшен и слышен издалека. Если не знать, нипочем не поверишь, что кричит всего лишь жаба. Яйца она зарывает во влажные листья и присыпает землей. Искать их следует там, где сыро, у самых старых деревьев. Когда вылупляется маленький василиск, скорлупа яйца начинает дымиться. Но обливать ее водой и тушить нельзя, это к беде. Надо дождаться, пока она сама дотлеет. Оставшиеся черные пластинки приносят удачу, если зашить их в кожу или замшу и носить не снимая…

– Я бы не отказался от такой скорлупы, – пробормотал я, борясь со сном. – Ни у кого не завалялась? Водятся тут охотники за скорлупой василисков?

Вокруг засмеялись.

– А череп двухголового дракона тебе не нужен? – возмутился Табаки. – Ишь, какой прыткий мальчонка!

– Нет. Череп не нужен. Не хочу пасть жертвой проклятия.

– Но немного бесплатной удачи тебе не помешает? – уточнил невидимый спец по василискам.

– Кому может помешать удача?

– Тогда возьми. Но помни: теперь на тебе частичка Темного Леса. Будь безупречен в своих желаниях.

Чьи-то руки скользнули по моим волосам. Я приподнял голову, вытянул шею и по ней съехал мешочек на шнурке.

Вокруг возмущенно загалдели, не одобряя выпавшее на мою долю везение.

– Черт знает что! – крикнул Табаки.

О мой затылок стукнулось что-то маленькое, но метко запущенное. Четвертинка яблока, как оказалось.

– Сто лет тут живу, развлекаю всех как проклятый с утра до ночи, весь обтрепался и высох, и ни одна собака еще не предлагала мне поносить скорлупу василиска! Вот она, благодарность за все старания, за все годы мучений!

– Ты же и не просил? – мягко возразил даритель амулета.

По легкому ознобу, вдруг охватившему меня, я угадал в нем Слепого. Хотя голос был как будто не совсем его.

– Дерьмо собачье! – взвился Табаки. – Неужели, чтобы тебя уважали, надо клянчить и выпрашивать? Где справедливость, я вас спрашиваю?

То ли он на самом деле был до глубины души расстроен, то ли здорово прикидывался. В любом случае, мне стало неловко.

– Хочешь, дам поносить? – я уже взялся за шнурок.

– Еще чего! – взвизгнул он. – Чужой амулет! Да ты сдурел, дорогуша! Лучше уж сразу подари мне проклятый драконий копчик!

– Кстати о драконах, – вмешался Сфинкс. – Мы прервались. Как там насчет двухголовых?

– Да никак, – щелкнула зажигалка, Лорд закурил, осветив подбородок. – Я последний сын в этом дурацком роду. Как видите, у меня всего одна голова. Так что мы выродились к чертям, о чем я вовсе не жалею.

Немного ошарашенный таким окончанием сказки, я засмеялся.

– Круто. Так это было проклятие или сам дракон?

Кончик сигареты прочертил в воздухе тлеющий зигзаг.

– Понятия не имею. Знаю только легенду и что на гербе у нас двухголовая ящерица с идиотским выражением обеих морд.

– У тебя есть герб?

– На каждом платке и на каждом носке, – с отвращением признался Лорд. – Я их теряю-теряю, а они все находятся. Могу подарить на память того и другого в десяти экземплярах, плюс зажигалку. А теперь давайте о чем-нибудь другом. Что там с этими бедными придурками, плывущими по реке?

– Кто знает? – ответил Сфинкс. – Плывут себе. Может, где-то причаливают, а может, и правда их луна забирает. Дело не в них, а в речной воде…

– «Лунная дорога»! – ахнул Табаки. – Так я и знал, что это о ней, родимой!

Я мысленно вернулся к началу сказки: «тот, кто успеет напиться, станет дурачком», и уже собирался спросить, почему же в таком случае Лорд им не стал, когда его рука предупреждающе стиснула мой локоть. Почти невозможный фокус – так быстро переместиться по забитой людьми кровати. Стало интересно, сумел ли он заодно заткнуть и Шакала, или Табаки смолчал сам, но я, понятно, не стал об этом спрашивать.

– Откроем окна? – предложил кто-то. – Душно…

На другом конце кровати закопошились, зевая и прикуривая.

– Воды бы еще. Кончилась.

– Пусть Курильщик едет. Он не рассказывает.

– Курильщик не доедет.

– Я схожу, – предложил кто-то, соскакивая на пол. – Давайте бутылки.

Зазвенели бутылки. Я нашарил ту, что лежала под боком, втыкаясь мне в ребра, передал – и сразу стало легче дышать. Оказывается, она мне здорово мешала.

– Спой про сиреневый призрак, Горбач. Это красивая песня.

– Не то настроение. Я лучше спою про пойманную на месте преступления.

Меня опять толкнули и залили вином.

Не бейте меня, люди, я старая крыса,
  клянусь вам, не более того!
Один лишь кусок желтого сыра.
  И нет других грехов на мне,
Клянусь я вам, клянусь…

– Страшное дело! – прошептал чей-то голос с приглушенным смешком.

Один лишь ход и два коридора в нем,
  в конце моя спальня,
Мы в ней вчетвером.
  Я самая старая, я скоро умру,
Не бейте меня сегодня,
  дайте вернуться в нору!

Впотьмах горестно завздыхали.

Я ощупал мешочек на шнурке. Он был мягкий, заношенный и наглухо зашитый, без отверстий. Внутри лежало что-то острое, хрустнувшее под пальцами. Может, и вправду скорлупа. Или чипсы. Собственные движения казались мне замедленными, мысли мешались и путались. Я попробовал собрать их во что-нибудь связное, но получались только невнятные обрывки. «Распороть этот мешочек… посмотреть… проверить носовые платки Лорда. Спросить, почему он не хочет, чтобы знали про Дорогу». В то же время, я понимал, что завтра вряд ли вспомню, о чем думал сегодня. Я вообще, наверное, мало что вспомню.

Проснулся Лэри – его голос я отличал даже спьяну – и начал рассказывать историю об ужасном снеговике. Его опять прервали. Оказалось, про снеговика Лэри рассказывает уже не первый год, и все, кроме меня, знают эту историю наизусть. Лэри сказал, что они боятся. Что это самая жуткая на свете история и не всякий в состоянии ее выслушать.

Потом принесли воду. Стакан пропал, так что я стал ждать пущенной по кругу бутылки, но кто-то перевернул ее, пролив воду на кровать, и все заорали и повскакивали. На меня уронили пару книг и подушку. Выбравшись из-под них, я тут же зарылся обратно, потому что яркий свет ослепил меня.

Проморгавшись и придя в себя, я снова вынырнул и сразу нашел потерявшийся стакан. Он валялся в складках пледа, тихо истекая остатками «Хвойного». На выключателе лежала рука Слепого. Он один не жмурился, злорадно выжидая пока стихнут общие стоны. В другой руке он держал три влажные бутылки, каким-то чудом перевив их горлышки невозможно длинными пальцами. Сообразив, что это он ходил за водой, я удивился. Странно как-то в четвертой обстояли дела с субординацией.

Половина стаи уже перекочевала на пол. Горбач с Македонским открыли окна и побросали на пол матрасы. Я попробовал спуститься с кровати без посторонней помощи, хотя у меня это и в трезвом виде не всегда получалось. Черный поймал меня, перевернул и оттащил на матрас. Я долго благодарил его, путаясь в словах. Магнитофон включили, свет выключили. Македонский набросил на нас с Лордом одеяло, потом еще одно на лежавших рядом. Слепой раздал последние бутылки с водой.

Я лежал, кутаясь в свой краешек одеяла, и мне было хорошо. Я стал частью чего-то большого, многоногого и многорукого, теплого и болтливого. Я стал хвостом или рукой, а может быть, даже костью. При каждом движении кружилась голова, и все равно давно уже мне не было так уютно. Если бы утром кто-то сказал, что я проведу эту ночь вот так, разомлевший и счастливый, напиваясь и слушая сказки, смог бы я в это поверить? Пожалуй, нет.

Сказки. При выключенном свете, с нестрашными драконами и василисками, с дурацкими снеговиками…

Я чуть не заплакал от наплыва нежности к своим состайникам, но вовремя спохватился, что это будут пошлые, пьяные слезы.

– Я красивый, – сказал урод и заплакал…
– А я урод, – сказал другой урод и засмеялся…

Ночь продолжалась.

ДОМ
Интермедия

Дом принадлежал старшим. Дом был их домом, воспитатели присутствовали, чтобы поддерживать в нем порядок, учителя – чтобы старшим не было скучно, директор – чтобы не разбежались учителя. Старшие могли жечь в спальнях костры и выращивать в ваннах грибы-галлюциногены, никто им ничего не мог запретить.

Они говорили: «спица колес моих», «застойный крен в костях», «деятельно присутствующие части тела», «косящий под литургию». Они были лохматы и пестры. Они выставляли острые локти и смотрели замораживающе. От их злой энергии дрожали стекла в оконных рамах, а кошки нежились в ней, обрастая искристой аурой. Они заключали между собой браки и усыновляли друг друга. Не было надежды проникнуть в их мир. Они его придумали сами. Свой мир, свою войну и свои роли.

Из-за чего началась их война, не помнил никто. Но они были людьми Мавра и людьми Черепа, делились на черных и красных, как шахматные фигурки. Перед их драками Дом замирал и, затаив дыхание, ждал. Перед драками они запирали младших в спальнях, поэтому для младших их драки были жгучей, щекочущей тайной за двойным поворотом ключа. Чем-то прекрасным, до чего еще предстояло дорасти. Они ждали исхода этих сражений, отчаянно царапая замки и прислушиваясь. Кончалось это всегда одинаково. Старшие забывали отпереть дверь, и младшие оставались пленниками своих спален до утра, до прихода воспитателей. Как только их выпускали, они бежали обнюхивать поле боя и искать следы, которых уже не было. Позже из подслушанных разговоров они узнавали подробности. Тогда большая игра старших переходила в их маленькие дворовые игры и терзалась до тех пор, пока не надоедала.

Мимо дверей пятнадцатой спальни Кузнечик крадется на цыпочках, как вражеский лазутчик. Из комнаты доносятся голоса. Вдруг все они смолкают, как по команде, и в тишине слышен только тихий сип. Кузнечик заглядывает в приоткрытую дверь.

Фиолетовый Мавр сидит спиной к двери, совсем близко. Как зачарованный, Кузнечик рассматривает его шею. Если бы кого-то покрыли миллиардом татуировок, так чтобы они смешались и налезли друг на друга, получилась бы именно такая странная шея. Розовые уши на ней – как приклеенные. Мавр сипит, выбулькивая слова-колючки, и голова его вздрагивает, а уши движутся отдельно, сами по себе, маленькие и розовые, как у крысы. Кузнечик смотрит на Мавра, на спинку его коляски, где есть держалка для зонтика и крючок, и еще много всего непонятного, чего не бывает на других колясках. Он вслушивается в сип, но ничего не может разобрать. Очкастый колясник в пижаме отвечает Мавру, почтительно прикрыв рот ладонью. Он замечает Кузнечика – глаза его делаются круглыми – и одними губами произносит:

– Брысь!

Кудрявая голова Мавра начинает поворачиваться. Кузнечик отлетает от двери и бежит по коридору быстрее ветра. Он – единственный из младших ходячих, кому запрещен вход в комнаты Мавра. 15, 14, 13. Другие могут входить туда, но не он. В комнатах Мавра можно стать подносчиком того и этого, кипятильщиком воды, чистильщиком обуви или мойщиком посуды. Можно стать резчиком колбасы для бутербродов, которые Фиолетовый поглощает в огромном количестве, один за другим. Это плата за общение со старшеклассниками. Для тех, кто плохо справляется с поручениями, Мавр держит в коляске ремень. Этот ремень снится младшим в кошмарных снах. Ремень Мавра, сам Мавр и его голос – скрипучий голос Лилового Чудовища. Возвращаясь из его комнат, мальчишки проклинают Фиолетового и показывают друг другу рубцы от ремня на ладонях.

Кузнечик им втайне завидует. Их ранениям, рассказам и жалобам – всему, что объединяет их в ненависти к Мавру. Это их приключения, их переживания. Он в стороне от этого.

Кузнечик замедляет шаг. Дальше – территория Черепа. Три комнаты, уравнивающие его с другими мальчишками, потому что им туда нет хода, как и ему. Это комнаты, мимо которых они тоже крадутся на цыпочках. Они не бывали там, но знают про эти комнаты все. Знают, что в одной из них нет кроватей, а есть только матрасы, которые по утрам складывают друг на друга в две огромные матрасные горы. На вершинах этих гор режутся в шашки колясники. Полы там липкие, на подоконниках шеренги пустых бутылок. Сидят на тонких циновках из красной соломки. В этой комнате обитает Череп. Узкоглазый хищник с леденящей душу кличкой, воин, вожак, живая легенда Дома. Идол всех младших, герой их игр, недосягаемый идеал.

Еще есть одиннадцатая комната. Та, где настоящий шалаш из бамбука. Где главное украшение – кальян Хромого, где живет попугай Детка – старый какаду, который умеет ругаться на трех языках. Мальчишки знают, в какие часы, проходя мимо раскрытой двери, увидишь горбуна Хромого, булькающего пузырями в прозрачно-пузатом кувшине.

Третья комната – та, что с наддверными надписями. Там Седой с коробкой амулетов и рыбками в аквариумах. Седой, не любящий яркого света. Комната таинственнее первых двух, потому что ее дверь всегда закрыта. Проходя мимо, Кузнечик представляет Седого и комнату, ему это легко, он там был и видел все сам. Он прижимает подбородком амулет под майкой и жалеет, что никому не может рассказать о том, что с ним было. Дар Седого приближает его к старшим. Сила, равная силе Черепа, – он несет ее тайно, спрятав от всех. День ото дня верится в нее все труднее. Он идет дальше, унося на себе свой секрет, свою гордость и затаенные сомнения.

В Доме есть еще две стаи младших ходячих. У них свои комнаты, мимо которых Кузнечик старается не ходить. Стая Певчих находится в состоянии «холодной войны» с Хламовными. Настоящие драки между ними случаются редко, но и те и другие пристально следят, чтобы враги не задерживались на их стороне коридора.

Обитателей Проклятой комнаты такие мелочи не волнуют. Их комната считается самой плохой из-за того, что она – единственная на всем этаже выходит окнами на улицу. В ней живут изгои. Те, кого выставили из других стай. Всего четверо. Иногда Кузнечику кажется, что именно этого Спортсмен от него и добивается. Перехода в разряд «проклятых». Поэтому к их комнате он никогда не приближается. Даже лучший в мире амулет не сделает его Черепом, если он станет одним из них.

Дом кажется Кузнечику огромным ульем. В каждой ячейке – спальня, в каждой спальне – отдельный мир. Есть пустые ячейки классных и игровых комнат, столовых и раздевалок, но они не светятся по ночам янтарно-медовыми окнами, а значит, их нельзя считать настоящими.

Иногда он специально остается во дворе допоздна, чтобы пересчитать с

наступившей темнотой живые ячейки окон и подумать о них. Это всегда оставляет странный осадок на душе. Потому что из всего огромного, горящего окнами здания-улья, для него существуют всего четыре ячейки. Четыре мирка, куда он имеет доступ. Комната Лося. Комната Седого. И две комнаты Хламовника. При мысли об этом на него нападает тоска. Он слишком хорошо понимает, что Хламовник – не дом ему и не может быть домом. Туда не хочется возвращаться из темноты, там не хочется отдыхать после уроков, никто не будет тебя там ждать, если ты припозднился. Хламовник сам по себе. Для многих он – дом. Они отгораживают свои кровати, помечая их знаками своего присутствия, как собаки метят территорию запахом мочи. Они пришпиливают в изголовьях картинки, сооружают полки из старых ящиков и раскладывают на них вещи. Для каждого кровать – это его личная крепость, носящая все следы хозяина. Его кровать голая и безликая, и он не чувствует себя в безопасности ни лежа, ни сидя на ней.

За каждым окном – своя комната, и в ней живут люди. И для них комната – это дом. Для всех, кроме меня. Моя комната для меня не дом, потому что в ней живет слишком много чужих. Людей, которые меня не любят. Которым все равно, вернулся я к ним или нет. Но ведь Дом большой. Неужели в нем не найдется места для человека, который не любит драк? Для двоих…

Он обрадовался этой мысли, как будто понял что-то важное. Угадал выход. Ему всего лишь нужна своя комната, где не будет Спортсмена, Зануды с Плаксой, Сиамцев и всех остальных. Конечно, кроме него и Слепого там будет жить кто-то еще. И их должно быть много. Ведь все жилые помещения давно распределены. Каждый закуток, где можно уединиться, захвачен старшими. Значит, нужна просто спальня. А в спальнях живет не меньше десяти человек. Вот если бы их было не двое, а больше… хотя бы четверо! Можно было бы занять ту спальню, где спят Кролик, Крючок и Пузырь. Они там только ночуют. Поменяться с ними местами и никого туда не пускать. Вот было бы здорово!

Кузнечик вздыхает. Все это несбыточные мечты. Даже если они со Слепым переберутся в полупустую спальню, она все равно останется частью Хламовника. А если кто-то захочет к ним присоединиться (например, Горбач), Спортсмен этого не допустит. Место, где спят трое из его стаи, так же принадлежит Хламовнику, как спящие принадлежат стае. Он, пожалуй, даже им со Слепым не разрешит переселиться. Что же делать?

Спустя тридцать четыре дня после своего первого визита Кузнечик снова стоит перед дверью десятой комнаты. Поверх майки на нем зеленый свитер, вместо летних кед – ботинки, вместо жакетки – вельветовая куртка на молнии. Губы его шевелятся. Он читает надписи. Так он пытается успокоиться. Кузнечик подходит в двери вплотную и тихо стучит носком ботинка. Не дожидаясь ответа, как когда-то Слепой, он отступает на шаг, ударяет пяткой о ручку и, отворив дверь, входит. Полумрак и прокуренность комнаты накрывают его душным шатром.

Таинственный, сверкающий мир старшеклассников плохо пахнет. Комната такая же, как месяц назад. Время остановилось, запутавшись в невидимой паутине, в бликах на боках бутылок, спрятанных под кроватями, оно осело на донышках ночных сосудов и на крыльях насекомых, пришпиленных к стенам булавками. Бабочки, красивые при свете, в полумраке одинаково черны и похожи на крылатых тараканов. Мальчик затаенно дышит, приручая страх. Светится зеленым аквариум, в воздухе плавает дым. Полосатый матрас – на прежнем месте.

Закутанный в плед Седой поворачивает к нему сухое лицо. Он в черных очках, и от этого кажется еще белее.

– Ты что? – спрашивает он. – Кто тебе разрешил?

– Я пришел спросить про Великую Силу. Можно?

Седой морщит лоб, вспоминая, а вспомнив, улыбается:

– Садись. Спрашивай. Только покороче.

Кузнечик подходит к матрасу, на котором сидит Седой, и опускается перед ним на пол. С их предыдущей встречи он сделался старше на месяц, в возрасте, когда быстро растут. Лицо его печально и серьезно, на носу золотятся пылинки веснушек – следы пролетевшего лета.

Седой курит, роняя пепел в складки одеяла. Матрас в винных пятнах. Пепельницы в кружеве апельсиновой кожуры. Тарелка с подсохшим бутербродом. Все это успокаивает Кузнечика. В вещах ему чудится что-то домашнее. Он откашливается.

– Эта Великая Сила, – говорит он робко, – я ее больше не чувствую. Почему-то. Может, он испортился? Но я его не открывал, честное слово. Когда я его только надел, что-то было. А сейчас – нет. Поэтому я пришел.

В полумраке насмешливо поблескивают черные стекла очков.

– Надеялся, что сможешь горы свернуть? Тогда ты просто дурачок.

Мальчик смотрит исподлобья, закусив губу.

– Я не думал про горы. Я не дурачок. Просто тогда что-то было, и я думал, это и есть Великая Сила. А сейчас ничего нет.

Слезы щиплют ему глаза. Он задерживает дыхание, чтобы справиться с ними. Седой, невольно заинтересованный, снимает очки:

– Что ты чувствовал? Я ведь не могу знать. Расскажи и поговорим.

– Это было как… руки. Не так, как будто они вдруг взяли и появились, а по-другому. Как будто их могло и не быть. Как будто руки – это необязательно, – Кузнечик мотает головой, раскачиваясь на корточках. – Я не могу объяснить. Как будто я был целый. Я думал, это и есть Великая Сила.

– Ты был целым? Когда вышел отсюда?

– Да, – Кузнечик поднимает голову и с надеждой смотрит в вишневые глаза альбиноса.

– А когда это прошло? Когда ты вернулся в спальню к своим?

– Нет. Так было и ночью, и утром, и еще долго. А потом исчезло. Я думал, вернется, но не вернулось.

Бесцветные брови Седого вздрагивают:

– И когда тебе нужно было делать что-то, чего ты не можешь сам, ты и тогда чувствовал себя целым? Я тебя правильно понял?

Кузнечик кивает. Щеки его горят.

– Я был, как птица, – шепчет он. – Как птица, которая может летать. Она ходит по земле, потому что ей и так хорошо, но если захочет… как только захочет, – поправляется он. – Тогда взлетит.

Седой нагибается к нему через циновку, тарелку и пепельницы. Лицо его уже не кажется совсем белым.

– Ты чувствовал, что можешь сделать все, что захочешь, когда захочешь, как только захочешь?

– Да.

– Мальчик, ты уникум!

– Это не я, это амулет! – почти кричит Кузнечик.

– Ах да, действительно, – поправляется Седой. – Я и забыл про него. Пожалуй, он получился сильнее, чем я думал. Я был бы не прочь сделать такой для себя. Жаль, что это невозможно.

– Почему? – Кузнечик полон сочувствия.

– Такие вещи получаются один раз, – Седой давит окурок в пепельнице. – Говоришь, он перестал работать?

Кузнечик нетерпеливо ерзает, облизывая пересохшие губы.

– Я потому и пришел. То есть сначала я ждал. Думал, вдруг это вернется. Долго ждал, а потом решил прийти. Ты ведь поможешь мне, Седой? Только ты можешь его починить.

Седой спохватывается, что попался в ловушку. Скорчив недовольную гримасу, он смотрит на часы:

– Я бы рад помочь, но боюсь, нет времени. Скоро вернутся наши. При свидетелях о таком не говорят. Отложим до другого раза. Может, к тому времени сила сама вернется.

– Сегодня две серии, – напоминает Кузнечик. Подозрение, что Седой хочет от него избавиться, делает его голос тусклым. – Фильм двухсерийный, – повторяет он тихо.

– Да? Я не знал.

Кузнечик встает.

– Ты не можешь мне помочь, – он передергивает плечами, не отрывая взгляда от пола. – Я бы подумал, что все это вранье, если бы не помнил, как было вначале. И таз с водой упал, – добавляет он с отчаянием. – Они вытирали пол, когда мы вернулись. Разве так бывает, чтобы все вместе? Случайно? Ведь не бывает?

– Да. Случайно ничего не бывает. Сядь.

Кузнечик поспешно садится, поджав ноги. Мрачный вид Седого вселяет в него надежду. Старшеклассники могущественны и загадочны. Когда-нибудь и он станет таким.

– Тебя обижают? Я помню, Слепой говорил мне об этом.

– Теперь меньше, чем раньше, – с готовностью отвечает Кузнечик. – Им надоело. Так… иногда пристают немножко.

– Ладно, – Седой размышляет, опустив снежные ресницы. – Расскажи еще раз, как ты чувствовал в себе Великую Силу. Должен быть какой-то способ оживить ее. Может, мы его найдем. Я должен послушать тебя еще раз.

Кузнечик встряхивается, чтобы откинуть за спину рукава куртки, садится, скрестив ноги, и пробует объяснить все сначала еще раз. Седой похож на спящего, но он не спит. Свет лампы, повернутой к стене окрашивает ее в золотисто-бежевый цвет, рыбки тычутся пухлогубыми мордами в аквариумное стекло.

– Ладно, – говорит Седой, когда Кузнечик замолкает. – Я понял. Иногда такое случается. Я думал, что даю тебе силу, а дал кое-что другое. Еще лучше. Ты это другое потерял. Такое тоже случается.

Губы Кузнечика начинают дрожать. Седой делает вид, что ничего не видит. Дым прозрачными спиралями струится над его пальцами.

– Это потому, – мягко говорит он, – что ты еще мал для амулета. Я предупреждал, что не делаю их для детей. Но все еще можно исправить. Даже если сейчас не получится, когда ты вырастешь, получится обязательно. Ведь он на взрослого.

Кузнечик даже не пытается скрыть разочарование.

– А сейчас? Я не могу ждать так долго.

Уловив раздражение Седого, он спешит оправдаться:

– Не потому, что мне не терпится! Правда! Но они все знают и говорят между собой, что я никуда не гожусь. А если не говорят, то думают. Все сильнее меня, потому что у них есть руки. Все, – с ужасом повторяет он. – И если я буду такой, пока не вырасту, то потом уже ничего не поделаешь. Ведь они всегда будут помнить, что я был слабее. И как я тогда стану Черепом?

Седой откашливается, разгоняя ладонью дым.

– Интересный вопрос. А тебе не кажется, что ты можешь стать кем-то другим? Два Черепа – многовато для одного Дома.

– Ну пусть не Черепом, – покладисто соглашается Кузнечик. – Пусть кем-то другим. Но этот другой пусть будет как Череп.

Седой отводит взгляд, чтобы не видеть пустые рукава куртки и блестящие глаза.

– Да, – говорит он. – Обязательно. – Лицо его делается злым, пугая Кузнечика, но злость адресована не ему.

– Так, – говорит Седой, – скажи-ка мне, кто самый сильный человек в Доме?

– Череп, – не раздумывая, отвечает Кузнечик.

– А самый умный?

– Ну… вообще-то, говорят, что ты.

– Тогда слушай, что тебе говорит самый умный человек в этом Сером Ящике. Есть только один способ вернуть амулету силу. Очень трудный. Ничего труднее не бывает. Ты должен будешь делать то, что я скажу. Не один день и не два, а много-много дней подряд. И если ты хоть раз не выполнишь что-то до конца, даже самую мелкую мелочь…

Кузнечик яростно мотает головой.

– Если ты что-то пропустишь, забудешь или поленишься сделать, – Седой выдерживает зловещую паузу, – амулет потеряет свою силу навсегда. Можно будет его выбросить на помойку.

Кузнечик замирает в оцепенении.

– Так что думай, – заканчивает Седой. – Время у тебя есть.

– Да, – шепчет Кузнечик. – Я согласен. Я все сделаю. Не пропущу и не забуду.

– Ты даже не спрашиваешь, что придется делать.

– Я не успел, – объясняет Кузнечик. – А что придется делать?

– Много чего, – загадочно говорит Седой. – Это может быть даже скучно и неинтересно. Например, – потухшая сигарета прочерчивает в воздухе зигзаг, – я могу велеть тебе думать магические слова. Каждое утро, просыпаясь, и каждую ночь перед сном. Или повторять их очень тихо. Они могут быть совсем простыми. Но их надо думать всерьез. Вдумываясь. Или, например, я тебе вот что скажу, – Седой улыбается своим мыслям. – Я скажу – молчи один день. И ты должен будешь молчать.

– А уроки? – уточняет Кузнечик. – Я ведь не могу молчать на уроках?

– В выходные нет уроков.

– А если воспитатели…

– Вот видишь, – Седой разводит руками. – Ты уже споришь. Ищешь лазейку. Так нельзя. Либо ты согласен, либо нет.

Кузнечик моргает.

– Делай что хочешь. Можешь прятаться на чердаке. Но в этот день ты все должен делать молча. И это еще легкое задание. Дальше будет труднее. Например, несколько дней себя не жалеть. Или не сердиться. Это очень трудно. Этого не умеет даже Череп.

Замечание о Черепе поднимает настроение приунывшего Кузнечика.

– И только такие задания будут? Такие… – он подыскивает слова, – для мозгов?

– Дух важнее тела, – сообщает Седой. – Но если тебя интересует физическая сторона, не беспокойся. Все это тоже будет. Тебе придется помучиться.

– И драться придется? – спрашивает Кузнечик.

– Это не скоро. Это не главное. Для начала поцелуешь обе свои пятки, – говорит Седой.

Кузнечик улыбается:

– Как это?

– Очень просто, – Седой расправляет одеяло, стряхивает с него крошки и опять закутывается. – Я тебе скажу: в такой-то день встанешь здесь, передо мной, и поцелуешь сначала одну свою пятку, потом другую. Стоя, естественно. Сидя – это любой может. И ты либо делаешь, либо задание считается невыполненным.

– А когда ты это скажешь?

– Не сегодня и не завтра. Сначала будут другие задания.

По затуманившемуся взгляду Кузнечика Седой понимает, что попытки целования пяток начнутся в самое ближайшее время. Он прячет улыбку в стакан с лимонадом и долго пьет. А когда отставляет пустой стакан, снова серьезен.

– Хватит, – говорит он. – Не нужно мне все это рассказывать тебе раньше времени. Уже поздно. Иди и подумай еще раз хорошенько. Я бы на твоем месте отказался.

Кузнечик нехотя встает.

– Я уже решил. Я не передумаю, Седой. Я буду молчать, и вообще что угодно. Дай мне задание прямо сейчас.

Седой смотрит на часы.

– На сегодня все, – говорит он. – Задание будет завтра. Я должен вспомнить магические слова и много всего другого. А ты пока думай. Доброй ночи.

– Доброй ночи.

Кузнечик, кивая, пятится до двери, а оказавшись в коридоре, некоторое время стоит в растерянности, как будто не знает куда идти. После полумрака комнаты яркий свет режет глаза. Постояв в раздумьях, он поворачивается и медленно бредет по коридору. Ботинки вяло шаркают о паркет. Он идет, унося сокровенную тайну и странные видения. Магические слова, безжалостные и безгневные недели, маленького Черепа и большого Черепа, Брюса Ли, целующего свои пятки, Слепого, говорящего: «Почему же ты молчишь?» – и другие голоса: «Почему-то он стал очень странным». И вся эта неожиданная тяжесть наполняет его гордостью.

– Даже Череп этого не умеет, – бормочет он. – Это для него слишком трудно.

Горбач сидит на корточках, возле собачьей будки, гладит дворовую собаку и чешет ее за ушами. К нему подходит Кузнечик. Горбач встает, и они вместе идут к сетке. Туда, где скрыт кустами тайный ход в наружность.

Майка Горбача в пятнах и подтеках. На нем солнечные очки кого-то из старших с треснувшим стеклом. Они сползают с носа, открывая два сросшихся полумесяца бровей. Как в круглых зеркалах в них отражается двор. Фуражка обклеена значками и медальками. Он снимает очки и фуражку медленно, как пловец, готовящийся зайти в воду. По ту сторону сетки, в наружном мире, пять ободранных уличных собак реагируют на его жест одинаково: скулят, нетерпеливо подметая землю хвостами.

– Тихо! – приказывает Горбач. – Сидеть!

Ход в наружность проделали старшие. Осенью кусты вокруг сетки редеют, и он становится виден издалека. Поэтому его забрасывают сухими листьями. Но собаки знают, где он, и когда Горбач подходит к известному им месту, их волнение усиливается.

– Можно? – спрашивает Горбач и лезет в карман куртки Кузнечика. Они понимающе улыбаются друг другу.

Горбач достает сверток в жирных пятнах, прячет его под майку и, присев, заползает в кусты. Маскировочные листья обрушиваются на него шелестящим потоком. Дыра в сетке обнажается, собаки, толкаясь и повизгивая, бросаются обнюхивать появившуюся с их стороны черную лохматую голову.

– Сидеть! – кричит Горбач, отбиваясь от них.

Как ни странно, они послушно садятся в круг, постукивая хвостами. Получив каждая свою порцию, они углубляются в процесс поедания, и некоторое время слышен только чавк и хруст. Длится это недолго. Когда все съедено, Горбач дает им понюхать себя, свои руки и карманы, чтобы они убедились в том, что от них ничего не прячут. Возвращается он той же дорогой, облепленный комьями грязи. Листья сваливаются обратно на куст. Собаки грызутся, обнюхивают друг другу пасти, и бегают вдоль сетки.

– Совсем дикие, – задумчиво говорит Горбач, наблюдая за ними. – Никому не нужны. Сами по себе…

– Новичок! – сообщают мальчишки друг другу на бегу.

Слово передается по цепи, стены заглатывают его и вибрируют. Везде, где член стаи мирно ковырял в носу, разглядывая свои ботинки, где он подбрасывал мяч или подманивал кошку в надежде привязать к ее хвосту бутылку, заманчивая вибрация стен и зуд в ногах заставляют его, бросив все дела, бежать, обгоняя бегущих впереди, подхватывая на лету: «Новичок!» И затормозив у дверей шестой спальни, нетерпеливо расталкивать локтями добежавших первыми, чтобы взглянуть, чтобы вдохнуть домашний запах, который приносят на себе новички. Этот запах различают только дети Дома. Неуловимый запах материнского тепла, утреннего какао, школьных завтраков, может, даже собаки или велосипеда. Запах своего дома. Чем дальше в прошлом у жителя Хламовника этот запах, тем лучше он его чует.

И они спешат, бегут, торопятся, чтобы, добежав, замереть, принюхиваясь, и увидеть всего-навсего щуплого мальчика на костылях, который улыбается жалобно, так что видны зубные шины, мальчика с неровной стрижкой и странным ботинком, в котором не может быть обычной ноги. Кузнечик бежит вместе со всеми и вместе со всеми смотрит. Жадно распахнув глаза, оттирая впереди стоящих. Запахи его не интересуют, он еще не научился их различать. Новичок для него не просто мальчишка, который странно выглядит и пахнет наружностью. Для него новичок – это конец войны, конец унижений, пропуск в стаю, спокойная жизнь. Но когда вокруг, перешептываясь, произносят: «Новичок!» – он вздрагивает, как будто речь идет о нем.

Новичка окружают.

– Ну ты, новичок! – смеются они.

Один из Сиамцев задирает на нем штанину, и стая со знанием дела разглядывает ногу. Новичок испуганно покачивается на костылях.

– Отрежут напрочь, – заявляет Сиамец.

– Ясное дело, – поддакивают зрители.

– Мамашина детка, – с наслаждением добавляет Пылесос. – Будет одноногая! – и он со свистом внюхивается в сладкий домашний запах.

Кузнечик невольно ждет знакомых реплик: «Любимчик Лося» и «Хвост Слепого». Такого не говорят, хотя, кажется, что вот-вот скажут. Мальчишкам действительно трудно удержаться. Они привыкли выкрикивать оскорбления в определенной последовательности и теперь растеряны из-за обеднения своего ругательного запаса.

Кузнечик отступает в задние ряды. Ему не по себе. Чувство радости заслоняет тоска. Он отступает все дальше и дальше, пока не оказывается вне круга и вне комнаты, откуда видно только спины, но и так не может избавиться от образа поникшего мальчика на костылях, который занял его место и принял страшное прозвище. Кузнечик стоит позади всех. Намного дальше, чем нужно, чтобы подчеркнуть свою непричастность. Когда, покончив с ритуалом знакомства, мальчишки расходятся, он не двигается с места. Он стоит, пока не скроется из виду последний, а после, выждав еще чуть-чуть, входит в опустевшую спальню.

В ЛЕСУ

Слепой шел, по пояс утопая в жесткой траве. Кеды хлюпали. Где-то он успел набрать в них воды. Ступни липли к влажной резине, и он подумал, может, снять их вообще и дальше идти босиком? Но снимать не стал. Трава была острой, в ней попадались колючки и мерзкие слизни, на которых если наступишь, то уж потом не отмоешься. Там было что-то, похожее на мокрую вату, и еще что-то, напоминавшее комья спутанных волос, – и все это обитало в дурманной траве, ело ее, ползало в ней, хмелело от ее запаха, рождалось и умирало, превращаясь в грязь, и все это была трава, если вдуматься, трава и ничего больше.

Слепой снял хрупкий домик улитки с высокого побега, хлестнувшего его по руке.

Улитки липли к самым верхушкам трав и стучали друг о друга, как пустые орехи. Он положил домик в карман. Он знал, что когда вернется, в кармане будет пусто – так бывало всегда – и все же он всегда брал с собой что-нибудь просто по привычке.

Он запрокинул голову. Луна выбелила лицо. Лес был совсем близко. Слепой ускорил шаги, хотя знал, что торопиться не стоит – нетерпеливых Лес не любил и мог отодвинуться. Так бывало уже не раз: он искал его и не находил, ощущал рядом с собой и не мог войти в него. Лес был капризен и пуглив, к нему вело множество дорог, и все они были долгими. Можно пройти по болоту, можно – по полю дурманной травы. Однажды он попал в Лес с замусоренного пустыря, где валялись горы дырявых шин, груды железа и битой посуды, где земля терялась под окурками и осколками, где он порезал ладонь об острый угол чего-то железного и потерял любимый браслет-веревку. В тот раз Лес схватил его сам, подцепил косматыми лапами-ветками и затянул в глубь себя, в душную чащу своего сырого нутра.

Лес был прекрасен. Он был таинственен и лохмат, он прятал глубокие норы и странных обитателей нор, он не знал солнца и не пропускал ветер, в нем водились собакоголовые и свистуны, росли гигантские грибы-черношляпники и цветы-кровососы. Где-то – Слепой никогда не мог точно вспомнить, где именно – было озеро, и была река, впадавшая в него. А может даже, рек было несколько. Путь к Лесу начинался с коридора, от дверей спален, за которыми сопели, храпели и шушукались, со стонущего, разбитого паркета, с возмущенных крыс, с писком разбегавшихся из-под ног.

Сейчас Слепой был готов войти в него. Дурманное поле кончилось. Он медлил, вдыхая запах мокрых листьев, когда услышал шаги. Лес мгновенно исчез. Вместе с запахами. Кто-то шуршал травой далеко впереди. Шаги приблизились, стала различима хромота идущего. От него пахло ацетоном и мятной жвачкой. Слепой улыбнулся и шагнул навстречу.

– Эй, кто здесь? – прошептал Стервятник, отшатываясь.

Чиркнула спичка.

– А-а, это ты…

– Ты спугнул мне Лес, Хромоногий, – Слепой шутил, но голос выдавал огорчение.

– О, приношу извинения, – Стервятник не на шутку расстроился. – Там за мной кто-то тащится. В тяжелом весе. Может, лучше отойти с дороги?

– Отойдем.

Они шагнули к стене. Стервятник осторожно облокотился, стараясь не испачкаться. Слепой прислонился всем телом. В глубине Перекрестка хлопнула дверь. В коридор проник лунный свет. Звук шагов и дыхание. По тропинке шел кто-то тяжелый. Продирался, стонал и сопел, обрушивая себе на спину мусор с верхушек деревьев. Горячий пар из его ноздрей ударил им в лица, и они крепче вжались в стену. Зверь остановился, тревожно втянул воздух, задрожал, и, с треском ломая сучья, понесся прочь, оставив черную полосу вывернутой комьями земли. Слепой повернулся к Стервятнику.

– Это твой Слон.

– Что ты, Слепой! Слон – трусишка! Разве он выйдет ночью один? Он и днем-то боится ходить в одиночку.

– И все же это был он. Можешь проверить, если хочешь.

– Не хочу. Раз ты говоришь, значит, он. И все-таки очень странно. И нехорошо. Пойдем покурим?

Стервятник отворил дверь одного из пустовавших классов. Они вошли и, прикрыв ее за собой, сели на пол. Закурили и устроились поудобнее. Потом легли, опираясь на локти. Запахло дурманной травой. Время летело. Серый Дом затаился, онемев стенами.

– Помнишь, Слепой… Как-то ты говорил про колесо. Про большое и старое колесо, на которое столько всего налипло, что уже и не поймешь, что это колесо, но оно вертится. Медленно, но вертится. Кого-то задавит, кого-то подбросит вверх. Ты помнишь? Ты еще сказал тогда, что его движение можно угадать по скрипу задолго до того, как оно повернется. Услышать скрип и угадать…

– Я помню. Смешной был разговор.

– Может, и смешной. Но ты слышишь скрип?

– Нет. Если оно и поворачивается, то не в мою сторону.

Стервятник кашлянул. Или засмеялся:

– Так я и знал. Странный он парень. Чего ему не хватало?

– Уже в прошедшем времени?

– Да. Он не из старых. Все дело в этом. Мы, например, кое-что знаем, пусть и не знаем, что именно. А он – нет.

– По-моему, ты запутался в словах.

– Я во всем запутался. Мир вообще странно устроен. Вот ты говоришь, что это Слон прочесал сейчас мимо, как сломанный носорог, – и что же мне с этим делать? Я ведь боюсь таких вещей. Безобидный Слон зачем-то бродит ночами и сопит… Что делать? Я расстроен, понимаешь? Надо пойти проверить его.

– Да, конечно. Иди.

Скрипнула дверь. Слепой проводил Стервятника поворотом головы, как если бы мог видеть, закрыл глаза и погрузился в теплую дрему. И сразу вернулся Лес. Навалился, задышал в уши, закопал в мох и в сухие листья, спрятал и убаюкал тихими песнями свистунов. Слепой был его любимцем. Лес даже улыбался ему. Слепой это знал. Улыбки он чуял на расстоянии. Обжигающие, липкие и острозубые, мягкие и пушистые. Они мучили его своей мимолетностью, недосягаемостью пальцам и ушам. Улыбку нельзя поймать, зажать в ладонях, обследовать миллиметр за миллиметром, запомнить… Они ускользают, их можно только угадывать. Однажды, когда он был еще маленьким, Лось попросил его улыбнуться. Он тогда не понял, чего от него хотят.

– Улыбка, малыш, улыбка, – сказал Лось. – Лучшее, что есть в человеке. Ты не совсем человек, пока не умеешь улыбаться.

– Покажи, – попросил Слепой. Лось нагнулся, подставляя лицо его пальцам. Наткнувшись на влажные зубы, Слепой отдернул руку. – Страшно, – сказал он. – Можно я так не буду?

Лось только вздохнул.

С тех пор прошло много времени, и Слепой научился улыбаться, но знал, что улыбка не украшает его, как других. Он натыкался на растянутые рты в выпуклых картинках своих детских книг, находил их на лицах игрушек, но все это не было тем, что можно поймать в голосе. Слушая улыбающиеся голоса, он наконец понял. Улыбка – это свет. Не у всех, но у многих. И теперь он знал, что чувствовала Алиса, когда улыбка Чеширского Кота парила над ней в воздухе, ехидная и зубастая. Так улыбался и Лес. Сверху, бескрайней, насмешливой улыбкой.

Слепой встал и побрел, спотыкаясь о корни. Нога провалилась в нору. Испуганно замолчал свистун. Он нагнулся, пошарил в траве и нашел его – совсем еще крошечного, нежно-бархатного, пахнущего щенком. Прижал к лицу. Свистун тихо дышал, сердце тикало в пальцы. В десяти шагах впереди раздался тревожный свист. Малыш на руках ответил писком. Слепой засмеялся и посадил его на землю. Шорох травы. Попискивая, свистун побежал к матери, и скоро их дружный свист затерялся вдали. Слепой понюхал ладонь, чтобы запомнить запах детеныша – взрослый свистун пахнет иначе – и пошел дальше.

Он не чувствовал под собой ног, они стали чужими и гнулись во все стороны, как резиновые. Это раздражало. Скоро он устал выковыривать их из ям, вытаскивать из луж и грязи и сел. Ноги опять согнулись не в ту сторону. Их как будто даже стало больше, чем две. Возможно, он превращался во что-то, но еще не превратился до конца. До него донесся смех собакоголовых. Они были далеко, бежали хихикая, соприкасаясь боками. Слепой вскочил и заковылял прочь, перебирая шестью лапками. К ним, тонким и суставчатым, липли листья, но идти было легко. Он забился в ближайшую яму и затих, выжидая. Собакоголовые пронеслись мимо. Стих омерзительный хохот. Слепой осторожно высунул голову. Кто-то ухнул сверху и обсыпал его трухой. Он отряхнулся и пересчитал ноги. Их снова было две. Духота ночи… Слепой стянул свитер и бросил его. Потом снял промокшие кеды, связал вместе шнурки и закинул их в яму.

Он шел, легонько касаясь корявых стволов пальцами, навострив уши, тонкий, бесшумный, сливающийся с деревьями; шел, как часть Леса, как его отросток, как оборотень, и Лес шел вместе с ним, качая далекими верхушками ветвей, вздрагивая и роняя росу на покоробившийся паркет.

Слепой остановился на опушке. Огромная луна окатила его серебром. Он присел, чув-

ствуя, как его заливает светом, как поднимается шерсть, наэлектризованная белым волшебством. Прижал уши, зажмурился и завыл.

Протяжный, тоскливый звук поплыл над Лесом. Он был печален, но в нем было счастье Слепого, близость луны и жизнь ночи. Это длилось недолго, а потом Слепой убежал в чащу обнюхивать мшистые стволы, скакать по влажным листьям и кататься по земле. Он делал это ликуя, распугивая мелкую живность, собирая на шкуру мусор, оставляя в лужах волчьи следы… Погнался за глупой мышью и загнал ее в чужую нору. Сунул голову в дупло, оттуда на него зашипели. Разрыл чей-то подземный ход и съел обитателя – толстого и вкусного – выплюнул шкурку и побежал дальше. Луна скрылась за деревьями, но он чуял ее, как будто она стояла за дверью, как будто пряталась в кустах – она была рядом и деревья ей не мешали. Он перескочил ручей, не замочив лап, покружил по прибрежной кромке, нашел лужу и вылакал ее с головастиками.

Чудом уцелевшая лягушка послала ему звонкое лягушиное проклятие и ускакала искать другое убежище. Он вытянулся на мокром песке, положил остроухую голову на лапы, прислушиваясь к лесным шорохам и к журчанию в своем животе – потом вскочил и понесся по тропе дальше и дальше, потому что не любил подолгу оставаться у воды.

Скоро он опять услышал собакоголовых, но на этот раз не стал прятаться. Вместо этого он завыл, посылая им вызов, который они не приняли и поспешили скрыться, тихо переругиваясь. Некоторое время он бежал по их следам. Он догнал бы их, если бы хотел, но это была не охота, а игра, и ему больше нравилось преследовать, чем ловить. Неожиданно он резко поменял направление, как будто вспомнив о чем-то важном, и дальше бежал, не отвлекаясь, уткнувшись носом в тропу, быстро перебирая лапами. Набитый колючками хвост сигнализировал миру о его занятости.

Лес кончился. Пропал так же внезапно, как появился. Слепой не огорчился и не стал искать его. Он остановился. Точно на границе света, падавшего на паркет. Из проема двери слышались приглушенные голоса. Учительский туалет был территорией картежников, в субботние и воскресные вечера здесь играли. В его стае картежником был только Лорд.

Слепой стоял неподвижно, в широко раскрытых глазах отражались блики свечей. Он простоял так долго. Потом закурил и двинулся дальше. Не прячась, прошел по освещенному пространству, миновал проем туалета и лунную поляну Перекрестка, двери учительской и столовой. На лестнице пахло окурками, он наступил на один, еще теплый, и пошел медленнее.

Спустился по лестнице. Еще один длинный, пустой коридор, в самом его конце – еще одна лестница и дверь в подвал. Голова закружилась, ноги разъехались на ступеньках, он удержался, схватившись за стену. Куском проволоки открыл замок и вошел.

В подвале было пыльно и душно. Слепой сел лицом к двери на цементный пол, опустил подбородок на колени и замер. Подмышки стекали в джинсы. Окурок прилип к губам. Звон в ушах. Три колокольчика и один сверчок. Он перекатился к стене, встал рядом с ней на колени и пробежал пальцами по шероховатой поверхности кирпичей. За одним из них пряталась пустота. Когда-то, чтобы найти его, приходилось отсчитывать шаги от угла. Теперь он находил нужное место сразу. Слепой осторожно вытащил кирпич из стены. В открывшемся отверстии лежал газетный сверток. Он потер пальцы, стряхивая с них кирпичную пыль, и запустил обе руки в тайник. Зашуршала старая газета. Вытащив сверток, он положил его на пол и развернул.

Внутри лежало два ножа. Слепой любил их трогать. Иногда при этом даже плакал. Когда-то здесь лежал еще маленький обезьяний череп на цепочке, но его он подарил Сфинксу, и остались только ножи.

Один ему подарили. Так давно, что он уже не помнил, когда это было, и помнил только, что всегда его прятал – сначала чтобы не отняли, потом просто подальше от любопытных глаз. Нож был красивый. С тонким, как шило, лезвием, заточенным с обеих сторон. Лезвие пряталось в рукоятке и выскакивало с тихим щелчком. Короткое и смертоносное, как змеиное жало. Никто не говорил Слепому, что нож красив, он и сам это знал. Он не задумывался о странностях старшеклассников своего детства, и то, что один из них подарил ребенку такую игрушку, тоже не казалось ему странным.

Вторым ножом убили Лося. Он не был ни красивым, ни удобным в руке. Обычный

кухонный нож со следами ржавчины. Слепой ненавидел его, но не мог заставить себя с ним расстаться. Дотрагиваясь до него, он всякий раз содрогался, но одновременно испытывал странное, притуплявшее боль чувство невозможности случившегося. Жалкий кусок железа, лежавший на его ладони, не мог убить Лося. Мышь не съест гору, укус комара не убьет льва, полоска стали не могла уничтожить его бога. И он хранил этот нож, навещал его, прикасался к нему, только чтобы вновь и вновь проникаться неверием. Представлять, что Лось не умер, а просто исчез, растворился, отказавшись от Дома, который его предал.

Пора было уходить. Слепой спрятал свой нож в карман, второй завернул обратно в газету и опустил в тайник. Кирпич занял прежнее место. «Свитер, – подумал Слепой, – надо его забрать». Он вышел, защелкнул замок, прижав дужку, и поднялся по лестнице. На второй этаж взбежал бегом. Почти не оставалось времени. Ночь была на исходе. Лес съедал ее быстро. Коридор, двери, тишина… Вот-вот в нее ворвутся первые звуки утра, и он перестанет быть невидимкой. Представлять это было неприятно, и Слепой спешил.

КУРИЛЬЩИК
Посещая Клетку

Весь день после Ночи Сказок я был как труп и только к вечеру начал оживать. Поэтапно. Сначала нашел в себе силы доехать до туалета, где повстречался с жутким красновеким существом, оказавшимся мною. Надо было что-то с ним делать, и я решил его помыть.

Македонский помог мне раздеться. Сам бы я не смог. Руки дрожали, как у пропойцы с тридцатилетним стажем. Просто не верилось, что можно так развалиться после одной-единственной пьянки. Расставшись с пижамой – она так пропахла хвоей и спиртом, что при желании ее до конца жизни можно было использовать как средство от комаров, – я посидел под душем и вернулся в спальню.

Было около шести. Я так и не научился угадывать точное время без часов. Кое-как взобравшись на кровать, я достал из-под подушки блокнот и начал рисовать все подряд. Ряд рюкзаков и сумок на спинке… Голову Табаки, торчавшую из кокона пледа, в который он завернулся. Зевавшего Лорда…

Рюкзаки получились лучше всего. Табаки было почти не видно, а Лорд отвернулся, как только заметил, что я его рисую. Так что я заштриховал рюкзаки, придал им объемности и висючести, зачернил снизу и уже начал покрывать узорчиками, когда Табаки подполз поближе и чуть не лег на блокнот, заслонив от меня все, что можно было заслонить.

– Чего не рисуешь дальше? – удивился он, когда я убрал блокнот.

– Мне мешает твоя голова, – честно ответил я. – И не люблю, когда толкают под локоть.

Табаки решил обидеться. Откатился и сел спиной. Я уже знал, что дуться подолгу он не умеет, и не обратил на это внимания. Но рисовать расхотелось. Захотелось есть.

– Есть что-нибудь съедобное? – спросил я.

Лорд кивнул на тумбочку:

– Бутерброды. Осталась пара штук. Доползешь?

Плед, застилавший кровать, никогда не лежал ровно.

Вечно бугрился и морщинился труднопроходимыми складками. Ползать по нему было мучением. Но я сделал попытку.

Табаки сказал, что я похож на неверную жену султана, которую закатали в ковер перед утоплением.

Лорд помог мне размотаться – протянутая рука – вручил сверток с бутербродами – бросок до тумбочки – и вернулся в свой угол – еще один бросок. Для ходячего – около двух шагов. При этом он ничего не опрокинул, не своротил и уж, конечно, ни в чем не запутался. Если вспомнить, что вчера Лорд выделывал примерно то же самое в темноте, а на кровати при этом валялась уйма народу, удивляться было нечему. Но учитывая, что на этот раз он не соизволил расстаться с журналом и даже продолжал его читать, *то есть одна рука все время была занята!* – я все-таки удивился. Я смотрел на него, не просто комплексуя. Я был готов

расплакаться.

Мало, что человек красив до неприличия и вытворяет невероятные вещи, так он этого еще и не замечает! Задирай он нос, подчеркивай свое превосходство, честное слово, было бы легче его переносить.

Лорд грыз заусенец и листал журнал, а с лица не сходило брезгливое выражение, означавшее, что читает он полную чушь. Он витал где-то, где ему не особенно нравилось находиться, но вернуться в осточертевшую реальность был не в силах. Даже чтобы посмотреть, куда ползет, и удостовериться, что взял с тумбочки именно то, что собирался.

– Лорд, – сказал я. – Иногда мне кажется, что ты просто прикидываешься.

Он поднял на меня рассеянный взгляд.

– В смысле?

– Ну что никакой ты не колясник на самом деле.

Он передернул плечами и опять уткнулся в журнал. «Мало ли кому чего кажется». Он этого не сказал, но иногда вовсе не обязательно говорить что-то вслух, чтобы тебя поняли.

– Может, ты и впрямь потомок драконов? – сказал я. – Может, на самом деле ты летаешь, а мы не видим?

– Хочешь, объясню? – спросил вдруг кто-то.

Я оглянулся.

Это был Черный. Он лежал на своей кровати, с тетрадью под подбородком, прикусив карандаш. Похожий на крупную овчарку с тонкой косточкой в зубах.

За время проживания в четвертой я успел привыкнуть к тому, что двое здесь всегда молчат. Македонский и Черный. Правда, молчали они по-разному. Македонский молчал, как глухонемой, а Черный – со значением. «Мне лучше рта не раскрывать». Что-то в этом духе. И я так привык к этому их молчанию, что когда Черный заговорил, совершенно растерялся. Даже уронил бутерброд. Упал он, естественно, маслом вниз. И яйцом вниз.

– Чего? – переспросил я.

– Говорю, могу объяснить, – повторил Черный. – Если хочешь.

Я сказал, что хочу. И попытался вспомнить, о чем спрашивал.

Черный сел и снял очки.

Никто, кроме самого Черного, не садился на его кровать. А также не ложился, не падал, не клал на нее ноги и не зашвыривал грязные носки. Никто вообще ничего туда не клал. Эта всегда аккуратно застеленная, чистая кровать казалась здесь чем-то совершенно инородным. Как и сам Черный. Как будто он в любой момент мог отчалить на ней, как на плоту, куда-то к далеким берегам. Туда, где водятся Черные.

– Все очень просто. Видишь эту кровать?

Черный указал на полку Горбача у себя над головой. Которая не поплыла бы вместе с нижним ярусом к далеким берегам.

Я сказал, что, конечно, вижу.

– А как ты думаешь, что случится, если подвесить тебя на ее спинке? Так, чтобы ты держался только руками, как на турнике.

– Я свалюсь, – сказал я.

– А до того, как свалишься?

Трудно было понять, какого он ждет ответа. Я честно представил последовательность событий.

– Буду висеть. Потом упаду. Чуток повишу, и вниз…

– А если тебя каждый день подвешивать?

Я наконец начал понимать.

– Хочешь сказать, что с каждым днем я буду висеть немного дольше?

– Молодец. Умный мальчик.

Черный снова прикусил карандаш и уткнулся в тетрадь.

– Но ведь достаточно свалиться один раз, и некого будет подвешивать. Я же не кошка.

– Вот и Лорд в свое время так думал.

Лорд отшвырнул журнал и уставился на Черного. Очень нехорошим взглядом.

– Может, хватит? – спросил он.

Я с ужасом понял, что описанная Черным ситуация, как пишут в титрах самых гнус-

ных фильмов, основана на реальных событиях.

– Но это невозможно, – сказал я. – Это же садизм!

– Вот и Лорд в свое время так считал. До сих пор, как видишь, не любит вспоминать.

– Я спрашиваю, не заткнешься ли ты?

Лорд выглядел так, что на месте Черного я бы заткнулся как можно скорее. Но Черный был Черным.

– Остынь, – сказал он Лорду. – Красоту попортишь.

И тут началось такое, что я поверил чуть ли не в половину историй, рассказанных прошлой ночью.

Лорда швырнуло на край кровати. Оттуда, наверное, на пол, но в этом я не был уверен. Черный успел сесть. Успел даже снять очки. Вставал он уже с повисшим на шее Лордом. Дальше он пытался его от себя оторвать, а Лорд пытался придушить своего противника, и выглядело это чудовищно.

Рычащая фигура из двух человек неуклюже покружила в проходе, понатыкалась на мебель, своротила тумбочку и рухнула на кровать, придавив Шакала. Шакал завопил.

Потом они перекатились в мою сторону. Я завороженно вжался в прутья спинки. Два искаженных лица… тяжелое дыхание… слюни… очень близко. Слишком близко. Табаки не умолкал. Сейчас они еще разок перекатятся, обреченно думал я, и привет Курильщику. Переломают мне все кости.

Они не перекатились. Черному удалось стряхнуть с себя Лорда и вскочить. Его ботинки потоптались перед моим носом, потом он спрыгнул на пол, и я наконец перевел дух.

Кого считать победителем, осталось неясным. Лорд, корчившийся у спинки кровати, выглядел хреново. Черный, вытиравший подолом майки кровь с лица и шеи, выглядел не лучше. Если судить по последнему броску – победил он. Но, судя по тому, как быстро он ретировался с кровати, сам Черный не был в этом так уж уверен.

Лучше всех выглядел недораздавленный Табаки. Сидя на двух подушках, он так цветисто ругался, что на его счет я сразу успокоился.

– Таких, как ты, отстреливать надо, – сказал Черный Лорду, когда Табаки ненадолго заткнулся. – Как бешеных собак.

– Ублюдок! – ответил Лорд. – Свинячья морда!

Черный выплюнул в кулак выбитый зуб. Посмотрел на него, стряхнул на пол и направился к двери.

На полу перед перевернутой тумбочкой валялось неимоверное количество выкатившихся из нее пузырьков с лекарствами. Уходя, Черный поскользнулся на одном и чуть не упал. Лорду это слегка подняло настроение. Совсем слегка.

Когда вернулись Сфинкс, Македонский и Горбач, им тоже пришлось покататься на пузырьках. Лавируя между ними, Горбач донес Толстого до его ящика, усадил там и сказал, что мы здесь, как видно, неплохо развлекались.

– Неплохо? – возмутился Табаки. – Вы ребята, можно сказать, пропустили все! Это была поэма! Бой Ахиллеса с Гектором! Лопни мои глаза!

Сфинкс оглядел разоренную кровать в осколках и Лорда и сказал, что видит поле боя и труп Гектора, но нигде не видит Ахиллеса.

– И не скоро увидишь, – предупредил Табаки. – Он где-то там, не знаю где, умывается кровью.

– Понятно, – вздохнул Сфинкс. – Будем иметь в виду. – Он ссадил Нанетту на подоконник. – Хорошо хоть птицу с вами не оставили.

Следующий час я проползал под кроватями, собирая бесчисленные пузырьки и склянки. Табаки мне якобы помогал. Его восторги по поводу драки жутко нервировали. По-моему, Лорд с Черным вели себя скорее как животные, чем как герои древности, и выглядело это омерзительно.

– Уверяю тебя, дорогуша, герои древности вели себя не лучше, – возразил мне Шакал. – А может, даже и хуже, – добавил он задумчиво, явно освежая в памяти Гомера. Я поскорее отполз от него, пока он не начал цитировать избранные куски из Илиады. Я уже догадывался, какие именно отрывки могут у него быть любимыми.

После уборки Слепой, ощупав Лорда, сказал, что у него сломано ребро.

О Могильнике никто и не заикался. Лорд разрешил перетянуть себя эластичным бинтом и уселся в обнимку с подушкой, злой как черт. По его заверениям, бинт не давал ему дышать, а ребро – лечь, и теперь он был обречен на бессонные ночи и недостаток кислорода.

Табаки пообещал, что не оставит его в беде. И не оставил. Он пел Лорду. Он играл ему на губной гармошке. Он поддерживал его силы мерзкими настойками, в которых плавали чилийские перчики. Заодно подкреплялся сам. Так что Лорд был не одинок. Ни одна живая душа не уснула бы там, где Табаки кого-то так рьяно утешал.

Потом у Черного поднялась температура. Табаки заволновался. Сказал, что это явный признак занесенной в кровь инфекции и что дни Черного, надо думать, сочтены.

Черного тоже утешили настойкой и песнями.

В три часа ночи они запели хором.

Под это жуткое пение мне все-таки удалось ненадолго заснуть. Проснувшись, я обнаружил на кровати голого Горбача, вооруженного шваброй. Он держал ее как штык, направленный на невидимого противника и выглядел законченным психом. Я бы, наверное, до смерти перепугался, будь мы с ним в комнате одни. Но рядом был Шакал, а в проходе между кроватями Лэри с Македонским, шепотом переругиваясь, зачем-то отодвигали от стены тумбочку. Выглядели они не лучше Горбача. Оба в трусах и в сапогах на голые ноги. Особенно хороши были сапоги Лэри с загнутыми носками.

Раскрытые настежь окна чернели ночью, дверь в прихожую тоже была распахнута и даже подперта стопкой книг. По комнате гулял сквозняк.

– Вот она! – прошептал Лэри. – Теперь не уйдет! Горбач, готовь швабру!

Горбач перестал метаться, встал по стойке смирно и ответил – тоже очень громким шепотом – что, по его мнению, ей этим можно навредить.

– Чистоплюй! – прокряхтел Лэри.

Тумбочку своротили. Лэри акробатически прыгнул куда-то между нею и стеной и, должно быть, больно ударился. Горбач выронил швабру. Македонский вскочил на кровать.

Я окончательно убедился, что все они не в себе. Табаки снял с меня швабру и, передавая ее Горбачу, любезно поделился:

– Крысу ловим. Тебя не очень зашибло?

Меня не зашибло, но смотреть, как истребляют крысу, не хотелось. С детства не переношу таких вещей. Будь это хоть крысы, хоть пауки. Окружающих такое отношение почему-то очень веселит.

– Трусы хреновы, – сказал Лэри, вылезая из-за тумбочки. – Помощи от вас…

Горбач с Македонским заморгали. Горбач опять пробубнил что-то о том, что боялся навредить.

Я начал потихоньку одеваться.

– Куда? – изумился Табаки.

– Съезжу прогуляюсь.

– Куда ты прогуляешься? В коридорах темно!

Я про это совсем забыл, но сказал, что возьму фонарик.

– Нельзя. Там сейчас активизировались маньяки и лица, страдающие раздвоением личности. Фонарик привлечет к тебе их внимание.

Я огляделся.

– А где Лорд?

– Он-то как раз где-то там, – кивнул Табаки. – Но он среди своих, а тебе там делать нечего.

Я не стал уточнять, что он имеет в виду под «своими».

– А Сфинкс?

– Сфинкс пасет Толстого. В туалете. Чтобы ребенок не нервничал.

Горбач и Лэри, посовещавшись, начали швырять под кровать пустые бутылки. Потный, нездорового вида Черный, спросил со своей кровати, дадут ли ему умереть спокойно.

– Со двора припераются, – чирикал Табаки. – Как дело к зиме – так и лезут в Дом. А кошки – те позже приходят. Гуляют до последнего. Вот и получается несостыковка.

Несчастная крыса, не вынеся бутылочной атаки, выбежала на середину комнаты и присела столбиком перед распахнутой дверью. Она явно потеряла всякое соображение, потому что даже не попыталась выскочить.

Лэри набросил на нее половую тряпку. Горбач с ревом ринулся на образовавшийся холмик, схватил его и вышвырнул в коридор. Потом пинком захлопнул дверь, рассыпав подпиравшие ее книги.

– Класс! – заорал Лэри и бросился его обнимать.

– Ну вот, – сказал Табаки удовлетворенно. – Видишь, как все быстро закончилось?

Про себя я порадовался, что не мне собирать с пола пустые бутылки. И что крыса осталась в живых.

– Как вы думаете, она не пострадала из-за того, что я ее вот так швырнул? – спросил Горбач.

– Да ладно, в тряпке летела, что ей сделается? – отозвался Лэри, которого самочувствие крысы мало беспокоило.

Табаки заверил Горбача, что крыса была абсолютно счастлива и в полете, и по приземлении. Черный опять поинтересовался, дадут ли ему упокоиться с миром.

И тут вошел Слепой с тряпкой из-под крысы в руках.

– Совсем спятили? – спросил он.

– В тебя попало? – замирая от восторга, уточнил Табаки.

– Попало.

– И ты удивился?

– Мы оба удивились.

Слепой отшвырнул тряпку и плюхнулся на кровать. Он был босой и взъерошенный, свитер повязан на шее узлом, на ногах – налипшие опилки, пальцы вымазаны сажей, и еще от него странно пахло. Сыростью и, как будто, травой. А вокруг губ чернела полоска грязи. Я подумал, что он пришел из очень необычного места. Похожего на то, где добываются скорлупки от яиц василисков. Еще я попробовал угадать к какой из категорий Шакала его можно причислить – к маньякам или к страдающим раздвоением личности? В этом вопросе я так и не определился.

Потом вернулся Сфинкс с повисшим на спине Толстым. Сел рядом со Слепым и уставился на него. Сказал:

– Вытри пасть. Ты что, землю ел?

– Не землю, – безмятежно отозвался Слепой, утираясь рукавом.

Я решил, что он, наверное, все же маньяк.

Толстый, съехав со Сфинкса, подкатился ко мне и начал дергать за пуговицы пижамы, пытаясь их оторвать. Македонский заваривал чай.

– Светает, – сказал Горбач. – Может, поспим немного?

Поспать не удалось. Через полчаса после Слепого вернулся Лорд. Рассветный эльф, обмотанный эластичным бинтом. В чужом берете, с какой-то побрякушкой на шее и еще более пьяный, чем пару часов назад. Выгрузил из карманов мятые купюры и поругался со мной, потому что моя нога каким-то образом оказалась под его подушкой. Он наговорил много обидного про мои ноги, демонстративно сменил наволочку и опять смотался.

Когда он уехал, я наконец сообразил, что за новое украшение болталось у него на шее. Это был зуб Черного на серебряной цепочке.

А следующую ночь я провел в изоляторе. В маленькой комнате, сплошь обитой губкой. Сверху губку обтягивал веселенький желтый ситец в цветочек. Еще здесь имелся наполовину утопленный в стене унитаз, замаскированный под мусорное ведро с откидывающейся крышкой. Тоже обитый губкой и веселеньким ситцем. И матовый плафон на потолке. Больше не было ничего. Идеальное помещение для размышлений и сна. Мне не мешало бы отсиживаться здесь раз в неделю все первые полгода пребывания в Доме. Только тогда я не знал, что это так приятно. Жители Дома давно прибрали к рукам этот курорт, и попасть сюда можно было только двумя способами. В наказание за какой-нибудь проступок или выклянчив такую возможность в Могильнике. О втором варианте я не знал. Тем более не представлял, что пребывание в Клетке можно кому-то передарить, как это сделал Табаки.

Медицинский осмотр для одной половины обитателей Дома был еженедельным, для другой – ежемесячным. Когда я жил с Фазанами, была еще категория «А» – те, кого осматривали каждый день. У Фазанов таких было шестеро, а остальные мечтали к ним присоединиться. Категория «А» давала поблажки в режиме, право на дневной сон и особое меню с диетическими салатами и витаминизированными напитками. К медицинским осмотрам готовились очень тщательно, записывая свои жалобы в специальные блокноты. В своем разграфленном на дни и часы блокноте я рисовал карикатуры, так что его у меня отобрали.

Сегодня я впервые поехал на осмотр в составе четвертой. Пока мы ждали своей очереди, Лэри соорудил на стене лазаретного коридора композицию из жеваных жвачек с окурком посередине, а Табаки изрисовал себе физиономию жуткими полосами и ромбами.

– Надо же чем-то и Пауков развлекать, – объяснил он мне. – Работа у них тяжелая, жизнь неинтересная, на оригинальный грим в стиле «КИСС» им всегда будет приятно посмотреть.

Грим в стиле «КИСС» никого не обрадовал. Скорее, вызвал подозрения. Табаки долго отмывали в процедурной, чтобы проверить, не скрывает ли он под ним следы каких-нибудь болячек. Наконец, отмытый до блеска, розовый, с мокрыми ушами Шакал, выехал из процедурной, размахивая белой бумажкой, похожей на чек.

– Видали? – хвастливо поинтересовался он, демонстрируя нам этот клочок. – Любят меня здесь, чего греха таить! Я в Могильнике привилегированное лицо!

– Ну и зачем тебе это понадобилось? – спросил его Лорд. – С прошлого раза недели не прошло.

– А я подарю его Курильщику, – объяснил Шакал. – Надо же иногда делать людям приятное.

– Ты уверен, что он будет рад? – усомнился Лорд.

– Пусть только попробует не обрадоваться!

Я слушал их, абсолютно не понимая, о чем идет речь. Понял только, что обязательно должен обрадоваться чему-то, что преподнесет мне Табаки. Поэтому, когда он подъехал и всучил мне свою скомканную бумажку, я постарался изобразить радость. Наверное, мне это удалось. Табаки, во всяком случае, остался доволен.

– Курильщик просто счастлив, – сообщил он Лорду. – А ты думал, он не оценит. Плохо же ты разбираешься в людях.

И он рванул на своем Мустанге к выходу, а я спрятал подарок в кулаке и поехал следом.

На площадке, которую называли Предмогильной, я задержался, пытаясь разобрать, что написано в бумажке. Остальные ушли и уехали вперед. То, что я так и не смог прочесть, больше всего смахивало на неряшливо выписанный рецепт. Отчаявшись понять, что в нем написано, я решил, что стоит, наверное, вернуться в Могильник и расспросить Пауков. Может, это что-то вроде Фазаньих привилегий, зачем-то подтвержденных письменно. Но тут рядом воздвигся Черный. Он не стал спрашивать рад я или не рад. Должно быть, по мне было видно, что я никак не разберусь со своим подарком. Он просто отобрал бумажку и сказал:

– Это направление в изолятор.

Первая мысль была – Черный шутит. Вторая – Табаки устроил мне страшную пакость.

– Так я и знал. Ты не в курсе, – вздохнул Черный. – Слушай, это, конечно, не мое дело, но ты всегда вот так хватаешь, что дают?

Он возвышался надо мной как башня. Большой. Взрослый. Флегматичный. Будь на его месте любой другой, я решил бы, что это розыгрыш.

– Вообще-то не хватаю, – сказал я. – Табаки уверял, что это подарок.

– Подарки Табаки надо на свет рассматривать, прежде чем берешь их в руки, – посоветовал Черный. – Ладно, в другой раз будь осторожнее. – Он вернул мне бумажку и пошел к лестнице.

– Эй! – окликнул я его в панике. – Погоди, Черный!

– Ну? – он остановился, немного недовольный, как будто разговорами я отвлекал его от важных дел.

– Почему Табаки так со мной? Что я ему сделал?

Черный смотрел хмуро, жевал резинку, и думал.

– Почему? Ну, вообще-то он считает, что это здорово – попасть в Клетку. Что это приятно.

– Что в этом приятного? – возмутился я.

Если верить Фазанам, Клетка была чем-то вроде тюремной одиночки для особо опасных преступников. А в некоторых вопросах я их мнению доверял.

– Что приятного? – манера Черного медленно повторять заданный ему вопрос, человека нетерпеливого могла бы свести с ума. – Ну, понимаешь, там тихо. Никого нет и очень тихо. Звукоизоляция. На самом деле совсем неплохо. Я, например, люблю там бывать.

– Слушай, – заторопился я, – если ты это любишь… Может, я отдам тебе эту бумажку, и ты отправишься в изолятор вместо меня?

Черный покачал головой:

– Не выйдет. Там значится отправка колясника. Можешь поменяться с Лордом. Или с самим Табаки.

Он ушел, оставив меня в растерянности. Всю дорогу до спальни я думал, что делать: смертельно обидеть Шакала или посидеть в изоляторе? По всему выходило, что лучше второе. Перетерпеть немного и забыть об этой истории. Про Табаки я отчего-то твердо знал, что он ничего не забывает и не прощает. Откуда у меня взялась эта уверенность, я не понимал, но подъезжая к четвертой, твердо решил не отделываться от подарка. Если Табаки уверен, что сделал мне приятное, не стоит его разубеждать.

А он был в этом уверен. Сияющий и деловитый, он штопал рукав джинсовой куртки, о которой тут же сообщил, что это специальная «клеточная» куртка, для «отправляемых туда», и что мне следует немедленно ее надеть, а то вдруг я не успею этого сделать, и вообще «мало ли что».

Куртка оказалась тяжелой, как будто ее подбили жестью. Табаки дал мне ее подержать, но тут же отнял и, расстелив на кровати, начал демонстрацию «тайн для посвященных». Македонский, Лэри и Горбач столпились вокруг, с интересом наблюдая. Я почувствовал себя ребенком, которого всей семьей готовятся отправить на карнавал.

Куртка состояла из двух. Подкладка была такой толстой, что вполне тянула на отдельную куртку. Она крепилась при помощи потайных змеек и пуговиц и снималась целиком. Шакал дважды продемонстрировал механизм ее извлечения. В куртке без подкладки располагались основные тайники. В подбитых плечах – две жестянки с сигаретами. В локтях – коробочки с таблетками. «От головной боли, от бессонницы, от поноса, – скороговоркой перечислял Шакал. – Инструкции здесь же. Все различаются по цветам». В полах куртки прятались две зажигалки и две пепельницы. «А то многие, знаешь ли, гасят сигареты прямо об пол, а там легко воспламеняющийся интерьер».

– Вообще ты там поменьше кури, – вмешался Горбач. – Задохнешься. Никакой вентиляции.

– Ну какая-то дырка под потолком там все-таки имеется, – возразил Лорд, свесившись с края кровати. – К тому же Курильщик не трубку собирается курить.

– Дым от трубки не так токсичен, – немедленно завелся Горбач. – Его больше, но он не воняет.

– Смотря на чей вкус.

– Тихо! – оборвал их Табаки. – Я даю важные инструкции, попрошу не встревать с дурацкими замечаниями.

Подкладка вернулась на место, тайники скрылись.

– Далее… – Табаки назидательно поднял палец. – Слой второй – неконтрабандный. Смотри внимательно, лишнее сейчас уберем. Хотя, честное слово, там нет ничего лишнего.

Неконтрабандный слой состоял из плеера, десяти кассет, плитки шоколада, блокнота со стихами Шакала, мешочка с орехами, трех амулетов, шахматного набора, запасных батареек, колоды карт, гармошки и четырех книжек карманного формата, затрепанных до невозможности. Неудивительно, что надев эту куртку, я едва мог дышать. И хотя Табаки сам предложил вытащить все лишнее, он очень неодобрительно отнесся к тому, что я решил оставить гармошку и карты.

– Я не умею играть на гармошке, – втолковывал я ему.

– Самое время научиться!

– Я не раскладываю пасьянсы!

– Я дам тебе самоучитель!

С подоконника соскочил Сфинкс и присоединился к нам. Горбач вытащил из левого кармана куртки две зачерствевшие булочки. Табаки посмотрел на них с грустью.

– Не так уж давно они там лежат. Вполне можно было бы погрызть.

– Хватит, Табаки, – сказал Лорд. – Кому сидеть в изоляторе, тебе или Курильщику?

– Ему! – вскинулся Шакал. – Но он в этом деле новичок, пусть прислушается к мнению более опытных состайников!

Я выковырял из нагрудного кармана пачку листов с кроссвордами, еще один блокнот и ручку.

– Это мое, – протянул за ними руку Лорд. – Можешь оставить, я не обижусь.

Обрадованный, я передал ему ворох бумажек и взялся за книжки.

– Стихи скандинавских поэтов, – прочел я.

– Если ты не любитель, я их заберу, – с готовностью предложил Горбач.

Я вдруг сообразил, что в клеточную куртку внес свой вклад каждый, кому доводилось сидеть в изоляторе. Поэтому она и стала такой неподъемной. Здесь было собрано все то, что каждый из них считал для себя полезным. И тут меня потряс Лэри. Он безразлично качался на каблуках своих жутких сапог, наблюдая потрошение куртки, и вдруг сообщил:

– А я вот ни разу ТАМ не был. У меня это, знаешь… клаустрофобия. Мне даже в лифт нельзя…

Я так удивился, что не нашелся с ответом. В первый раз Лэри со мной заговорил. Вернее, не в первый, но в первый раз по-человечески. Как со своим.

– Ага, – только и сказал я. – Понятно.

– Да и вообще я ЕГО боюсь, – шепнул он, придвинувшись поближе. – Всякое рассказывают. Ты – молодец. Не струсил.

– Эй! – возмутился Табаки. – Что еще за упаднические разговоры перед отправкой? Человека, можно сказать, на отдых снаряжаем! Отойди от него Лэри, не стой с похоронным видом!

Лэри послушно отошел. Табаки начал объяснять, что изоляторов два. Синий и желтый. Что синий не для слабонервных личностей, зато закаляет дух, а желтый и вовсе радует душу.

– В синем начинается депрессия, а в желтом воняет мочой, потому что там слив заедает, – перебил его Сфинкс. – Это удовольствие только для того, кто мечтает побыть один. Ты мечтал о таком, Курильщик?

– Уже мечтаю, – пропыхтел я, изнемогая под тяжестью чудо-куртки. Я не мог в ней даже руки согнуть. Мешали тайники в локтях. – А скоро… за мной придут?

Пришли довольно скоро.

Напоследок, когда меня уже вывозили, как неподвижную куклу, удивил Македонский. Подбежал и протянул мне фонарик:

– Говорят, там гасят свет по ночам. Возьми, вдруг захочешь что-нибудь найти в темноте.

Это было больше, чем я слышал от него за все шесть дней в группе.

Руки не сгибались, но пальцы работали, и я схватил фонарик. При этом успел увидеть глаза Македонского. Они были цвета чая. В крапинку.

Еще я успел сказать «пока!» всем остальным. Умиленно махавшему мне Шакалу. Топтавшемуся у двери Лэри. Лорду, кивнувшему с кровати. Сфинксу, сидевшему на ее спинке. Горбачу. Всем…

Ящики, как их называли, дежурили на первом по двое на смену. Перетаскивали всякие тяжести, если было чего таскать, перевозили колясников, если считалось, что колясник может оказаться против перемещения, подметали двор, чинили то и это, а иногда зачем-то с мрачным видом пробегали по коридорам с пустыми носилками. Еще они стерегли входную дверь вместо сторожа, который стерег дверь на третий этаж. Но в основном они спивались. Ящики были любимыми персонажами местных анекдотов, которые пересказывали даже

Фазаны.

Тот, которому пришлось сопровождать меня, не годился уже и для анекдотов. Старый пьяница с трясущимися руками и шаркающей походкой. Его дыхание ужасно меня беспокоило. Все время казалось, что он вот-вот скончается, не доставив меня куда надо, и я останусь на третьем в неподъемной куртке до выяснения обстоятельств его смерти. К счастью, он дотянул.

Мы пересекли весь коридор третьего, и в узкой комнатушке между двумя одинаковыми дверями он велел мне вывернуть карманы.

– Не могу, – честно признался я. – Руки не сгибаются. Вы уж как-нибудь сами.

Ящик счел это провокацией.

– Я не вчера родился, мальчик, – сказал он укоризненно. – Года мои не те уже, чтобы играть в ваши игры. Давай, проезжай…

Так я остался необысканным. Как только он запер за мной дверь, я выбрался из куртки. И растянулся на губчатом полу, наслаждаясь свободой. Просто лежал, глядя в потолок.

Примерно через полчаса до меня дошло. Я совсем один. И так будет еще долго. Табаки сделал мне хороший подарок. Просто я не сумел его сразу оценить.

Я уже было задремал, но вспомнил, что говорил Македонский про свет, и заставил себя встряхнуться. Надо было подготовиться. Я не был уверен, что справлюсь с тайниками куртки в темноте, даже с фонариком. Я сел и, подтащив ее к себе, начал потрошить. Вытаскивал все подряд и раскладывал по кучкам. Не успел распределить и половину вытащенного, как захотелось курить. Пришлось вытряхнуть все, что осталось, и заняться подкладкой. Которая держалась не меньше, чем на ста кнопках. Наконец я добрался до сигарет. Свернув куртку валиком, подложил ее под спину и закурил.

«Стихи скандинавских поэтов», «Стеклянный ключ» Дэшила Хеммета, «Книга Экклезиаста с комментариями», «Моби Дик». Все четыре книжки зачитаны до дыр, из всех выпадают страницы. Из «Стеклянного ключа», кроме того, вывалились заметки Шакала и ссохшийся кружок колбасы. «Моби Дик» был библиотечный. Из карточки выяснилось, что выдали его Черному два года назад. За краем клеенчатой обложки торчали две фотографии и куча записок. Я спрятал записки обратно и принялся рассматривать фотографии.

На одной был Волк. Парень, который умер в начале лета. Я к тому времени прожил в Доме всего месяц, поэтому плохо его помнил. Худой, с взъерошенными волосами, он смотрел исподлобья. В одной руке – незажженная сигарета, другая – на струнах гитары. Лицо серьезное, как будто он знает, что с ним случится, хотя на самом деле у каждого есть такая фотография, о которой в случае чего можно сказать: «Он знал», – просто потому, что человек не соизволил вовремя улыбнуться. Конкретно эта фотография задумывалась смешной. На голове у Волка сидела какая-то пичуга, и, судя по всему, снимавшему это показалось забавным. Правда, птицу была видно не очень хорошо. Сверху свешивался край одеяла в полоску. Я догадался, что Волк сидит на общей кровати, что Лэри свою, как всегда, не заправил, и что снаружи, скорее всего, лето. Приглядевшись получше, опознал в незнакомой птице Нанетту. Совсем еще птенца. И поежился.

Нанетту подобрали в начале июня, значит, до смерти при невыясненных обстоятельствах парню с фотографии оставалось совсем немного. Но дело было не в этом. Не в том, что он умер, и не в том, как это произошло, а в том, как он выглядел. Он был дома. У себя дома. Я в четвертой никогда таким не стану. Для этого нужно прожить в ней несколько лет.

Волк был частью четвертой, но при мне никто в группе о нем не упоминал. Ни об одной вещи не говорилось, что она принадлежала ему. Честно говоря, я совсем о нем позабыл. Фазаны страшно носились со своими покойниками, и я успел привыкнуть к такому их отношению. Две фотографии в траурных рамках в классе. Две неприкосновенные чашки в застекленном шкафчике в спальне. В туалете – два никем не используемых крючка для полотенец. Покойники первой проживали в ее комнатах наравне с живыми. Их цитировали, о них вздыхали, их родителям посылали поздравительные открытки к праздникам. Я никогда их не видел, но знал об их вкусах и привычках все. Волка же как будто никогда и не было в четвертой. Эта фотография оказалась первым и единственным его следом, который мне попался.

Я достал вторую сигарету и закурил. Чтобы отделаться от грустных мыслей, начал пе-

релистывать «Стеклянный ключ» и незаметно втянулся. На четвертой сигарете спохватился, что слишком много курю. Пересчитал свои запасы. Сигарет осталось шестнадцать. Подумалось, что если сейчас кто-нибудь войдет, например, с обедом, он сразу почует, как здесь накурено. И все унесет. Поэтому я оставил три сигареты на случай обыска, а остальные спрятал обратно в куртку, кое-как замаскировав подкладкой. Потом немного прибрался, снова лег на куртку и взял вторую фотографию.

Группа детей на ступеньках дворового крыльца. Стоят, сидят и висят на перилах. День, должно быть, жаркий, лица запятнаны солнечными бликами.

Приглядевшись, я узнал многих. Первым – Черного. Тяжелый взгляд, белобрысая челка, квадратный подбородок – все на месте. Конечно, щуплее и щекастее, чем теперь, но мне он показался даже более мрачным.

Потом я нашел Горбача, Слона из третьей и Кролика из шестой. Кролик почти не изменился. Горбач прятался за мотоциклетными очками и прижимал к груди арбалет. Слон возвышался над всеми улыбчивой глыбой, как многократно увеличенный пупс. Из кармана его комбинезона высовывался резиновый жираф.

Я решил, что нашел ужасно увлекательное занятие.

Следующим я опознал Слепого. Босой, он сидел на корточках в самом углу снимка, так что край срезал ему полголовы. Верхняя пуговица рубашки приходилась чуть ли не на пупок, волосы свисали до ноздрей. Встань он, и его клетчатая рубашка, наверное, свесилась бы ниже колен. Странно, что воспитатели позволяли кому-то разгуливать по Дому в таком виде.

Я поискал Сфинкса, но не нашел.

Зато нашел нежного, как ангела, Красавицу, с дохлым видом болтавшегося на перилах. И Соломона из второй. Еще не ту жирную Крысу, каким он стал сейчас, но уже вполне припухшего крысенка.

Потом я узнал Лэри и расхохотался, поперхнувшись дымом. Нелепый, лопоухий, худющий Лэри. Он стоял, гордо отставив ногу с неимоверным количеством ссадин на коленке, и, глядя на него, ни один оптимист не стал бы нудить на тему «счастливого детства», потому что у таких носатиков его не бывает. Рядом с Лэри в точно такой же позе стоял второй носатик с глазами навыкате. Несомненно, Конь из третьей. Никто из тех, кого я узнал, не вызвал у меня такого восторга, как Лэри. Я к нему теперь испытывал почти что нежность. Нелегко живется на свете маленьким Логам. От этого они вырастают агрессивными. Страдают клаустрофобией. И заиканием. От того, что их никто не любит. Они не умные, и не обаятельные, и не симпатичные. Лэри и Конь стали моей последней находкой. Сфинкса я так и не обнаружил.

Два совершенно одинаковых блондина в полосатых безрукавках кого-то мучительно напоминали. Мальчуган с идеально круглой головой на переднем плане тоже был на кого-то похож. Я вертел фотографию так и эдак, примеривая лица детей на разных жителей Дома, но пятерых так и не опознал. Наконец мне это надоело, и я начал разглядывать ее просто так.

Компания в целом была одичалая. Грязноватая. Обросшая. Наверняка с глистами. Таких не заставишь выглядеть прилично. По крайней мере никто никому не делал рожки и не строил гримас. Они старались выглядеть посолиднее. Хотя, кажется, понимали, что у них это не особо получается.

Амулеты, защитные талисманы и всякая нашейная дребедень уже тогда были в моде. Всего я насчитал шестнадцать мешочков, плюс когти, зубы и кости, связками и по одному экземпляру, гайки, болты, гвозди, кроличьи лапки и разнообразнейшие хвосты. У Лэри с Конем преобладал металлолом. Слон был увешан колокольчиками, блондинистые близнецы – ключами. Наткнувшись на эти ключи, я вдруг сообразил.

Зажмурился и посмотрел еще раз…

Ну конечно! Круглые, стылые глаза, крючковатые носы… это маленькие Стервятники! До того похожие, что я даже не попытался угадать, который из них настоящий.

Интересно, куда подевался второй? Мелькнула мысль что вообще-то и одного Стервятника в Доме вполне достаточно, но тут же, вспомнив вечный траур третьей, я устыдился этой мысли.

Может, Птицы носили траур не по близнецу Стервятника. Может, им просто нравился

черный цвет. Если честно, я и не хотел знать, в чем там дело. В любом случае, никакого брата у Стервятника в Доме не имелось, и думать, что это хорошо, мерзкое дело.

Я отложил фотографию и взял первую, с Волком. Порассматривал. Лег и уставился в потолок.

В каждой комнате Дома обитали свои покойники. В каждом шкафу догнивал свой неупоминаемый скелет. Когда привидениям не хватало комнат, они начинали слоняться по коридорам. Против нежеланных гостей на дверях рисовали охранные знаки, а на шеи вешали амулеты. Своих любили и задабривали, с ними советовались, пели им песни и рассказывали сказки. А они отвечали. Надписями на зеркалах мылом и зубной пастой. Рисунками на стенах фиолетовой краской. Шепотом в уши – отдельным избранным, когда те принимают душ или имеют смелость заночевать на Перекресточном диване…

Эта мешанина из Фазаньих баек, суеверий, дурацких пословиц и поговорок крутилась у меня в голове, приобретая все более дикие очертания. А когда я наконец справился с ней, то к своему удивлению понял, что теперь чуть лучше знаю Дом. На крупинку. Во всяком случае, понял многое, чего не понимал раньше. Страсть жителей Дома ко всяким небылицам родилась не на пустом месте. Так они превращали горе в суеверия. Суеверия в свою очередь превращались в традиции, а к традициям быстро привыкаешь. Особенно в детстве. Попади я сюда лет семь назад, может, и для меня общение с призраками было бы в порядке вещей. Я бы сидел на старой фотографии Черного с самодельным луком или рогаткой, торчавшей из кармана, гордился амулетом от полтергейста, выменянным на серию марок, боялся бы каких-нибудь определенных мест в определенное время суток и ходил бы туда на спор. Может, в результате я довел бы себя до заикания, но жизнь моя была бы довольно интересной, чего не скажешь о настоящей, прожитой не здесь. Мне даже стало обидно, что это дикое, не мое детство прошло мимо. В нем не было ни рек, ни лесов, ни заброшенных кладбищ, но ведь и в настоящем моем детстве их не было. Зато я знал бы все законы и правила Дома, умел рассказывать дурацкие сказки, играть на гитаре, расшифровывать настенные надписи, гадать по куриным костям, помнил бы все предыдущие клички старожилов и, может быть, даже любил бы это ветхое здание, как никогда не смогу его полюбить. Чем дольше я обо всем этом думал, тем становилось грустнее. Я достал последнюю неспрятанную сигарету, закурил и стал смотреть, как дым уплывает к плафону, рассеиваясь в его свете.

ДОМ
Интермедия

Могильник – это Дом в Доме. Место, живущее своей жизнью. Он на много лет моложе – когда его строили, Дом успел обветшать. О нем рассказывают самые страшные истории. Его ненавидят. У Могильника свои правила, и он заставляет им подчиняться. Он опасен и непредсказуем, он ссорит друзей и мирит врагов. Он ставит каждого на отдельную тропу: пройдя по ней, обретешь себя или потеряешь. Для некоторых это последний путь, для других – начало пути. Время здесь течет медленно.

Кузнечик смотрел в окно на снежные завалы и черные фигурки людей, которые брели по голубому. Утро в лазарете начинались с обходов, затемно. Гудки машин, пробиравшихся по обледенелым дорогам, топот ног в коридоре, свет в окнах домов – все указывало на утро. А если верить небу, была еще ночь. Уроки отменили из-за снегопада, и население Дома второй день праздновало неожиданные каникулы. Окна лазарета выходили на двор. Каждое утро и каждый вечер Кузнечик взбирался на подоконник и смотрел, как мальчишки играют в снежки и строят белые крепости из сугробов. Он узнавал их по курткам и по шапкам. Голоса не проникали сквозь двойные стекла.

Прошло уже две недели с тех пор, как его отправили на протезирование. Кузнечику казалось, это займет несколько часов. Ему дадут руки – не настоящие,

но на что-то годные – и отпустят. Только попав в лазарет, он понял, как мало знал о таких вещах.

Лазарет ему понравился. Размеренной жизнью, чистотой и покоем. Здесь его не донимали мальчишки Хламовника, сестры были приветливы, сам Могильник, светлый и тихий, казался лучшим местом в мире. Лось приносил ему книги и делал с ним уроки, как в первые дни в Доме. Кузнечик не понимал, чем это место заслужило дурную славу. Почему его называли по-страшному – Могильником? До того, как он сюда попал, это слово пугало и его.

Все было хорошо. Потом он начал скучать. Особенно когда выпал снег. Ему не хватало Слепого. И еще чего-то. Заскучав, Кузнечик бросил книги и перебрался на подоконник. Сестры его сгоняли, он залезал обратно. Он послушно делал с протезами все, что полагалось, зная, что эти навыки ему вряд ли пригодятся. Его предупредили – с протезами надо обращаться бережно, и он понял, что не станет их носить. Их поломают в первой же драке. Нарочно или случайно. Его пребывание в Могильнике не имело смысла. Поэтому он скучал и смотрел в окно.

– Как лесной зверек на привязи, – сказала сестра, входя в палату. – Скоро уже вернешься к своим дружкам, не беспокойся. И играть с ними будет удобнее, чем раньше.

Он ждал, что его опять сгонят с подоконника, но сестра устала делать замечания.

– Соскучился? – спросила она жалостливо.

– Нет, – ответил он, не оборачиваясь.

Было уже совсем светло, и сестра выключила свет. До него доносилось постукивание тарелок и скрип передвигаемых тумбочек. Двор был пуст, пусты были наружные улицы и развалины снежных крепостей. Сестра ушла – стукнула дверь – и все затихло. Потом кто-то вошел, встал у него за спиной и спросил:

– Как, интересно, кошки ходят по снегу, если снег выше кошек?

Голос был незнакомый, но Кузнечик не обернулся.

– Прыгают, – сказал он, глядя во двор.

– Каждый раз проваливаясь с головой и выскакивая обратно? А может, они роют тоннели? – рассмеялся неизвестный. – Как кроты?

Кузнечик обернулся. Рядом стоял незнакомый мальчишка и смотрел мимо него в окно. Губы его дрожали от смеха, глаза были серьезны. Больше всего Кузнечика удивил его наряд. Верх – от белой лазаретной пижамы, низ – обтрепанные синие джинсы. И почти черные от грязи кеды на босу ногу. Шнурки не завязаны. Волосы на лбу вымазаны чем-то белым. Он не был похож на больного. И ни на кого из знакомых Кузнечику мальчишек. Больным полагалось лежать в чистых кроватях, а ходячим и здоровым – не бегать по Могильнику и не заходить в чужие палаты. Но самым странным было не это. Где в Могильнике (вылизанном до блеска) можно найти столько грязи, чтобы перепачкать ноги?

– Снежные кроты, – задумчиво сказал мальчишка. – Зимой роют тоннели, летом превращаются в кошек. Весной, только превратившись, вылезают из-под земли и громко орут. Мартовские кроты. У них очень мерзкие голоса…

Кузнечик соскочил с подоконника.

– Ты кто? – спросил он.

– Узник Могильника, – ответил гость. – Вырвал из стены кольцо, к которому был прикован, скинул ржавые цепи и поспешил сюда.

– Почему сюда?

– А я вампир, – признался гость. – Пришел попить свежей крови. Ты ведь не откажешь больному человеку, дитя?

– А если откажу?

Мальчишка вздохнул:

– Тогда я умру на твоих глазах. В муках.

Кузнечику стало еще интереснее.

– Ладно. Пей. Только немного. Не до смерти. Если ты так умеешь.

– Благородное дитя, – сказал мальчишка. – Сегодня я сыт, и я отвергаю твой дар. Тела покусанных сестер выстлали мне путь от темницы до самых твоих дверей.

Кузнечик живо представил, как это выглядит. Одна сестра, вторая, третья… и все лежат укушенные, закатив глаза.

– Весело, – сказал он.

– До безумия, – согласился гость. – Слушай, ты меня не спрячешь? За мной погоня. С осиновыми кольями.

– Спрячу, конечно, – обрадовался Кузнечик. – Только, – он оглядел палату, – только здесь негде. В тумбочке ты не поместишься. А под кроватью будет видно…

Гость усмехнулся:

– Не бойся, великодушный отрок. Старый кровопийца знает, что делает. Ты не против, если твоя кровать станет чуть повыше?

Кузнечик замотал головой. Мальчишка подошел к кровати и завертел какую-то ручку. Кровать приподнялась. Гость заглянул под нее и остался доволен.

– Там резинки, – объяснил он. – Удобная штука, если не очень тугие, – он подошел к Кузнечику и внимательно оглядел его. – Ты мне нравишься, отрок, – сказал он серьезно. – А теперь, простимся.

– Уходишь, – грустно протянул Кузнечик.

Мальчишка подмигнул. Глаза у него были карие – такие светлые, что казались оранжевыми.

– Всего лишь под кровать.

Он помахал рукой и, встав на четвереньки, скрылся под матрасом. Покопошился, чертыхаясь, и исчез.

Кузнечик подбежал к кровати и прислушался. Было очень тихо. Только нагнувшись к полу, можно было различить еле слышное дыхание гостя. Съедаемый любопытством, Кузнечик вернулся на подоконник. Если сестрам вздумается проверить палату, они должны увидеть его в привычной позе. Он положил подбородок на колено и уставился в стекло, не видя ни двора, ни высыпавших играть мальчишек. Он боялся, что если кто-то войдет, его выдадут горящие щеки и стук сердца.

В положенное время за ним пришли и отвели его в игровую комнату, где ждали протезы и задания, которые нужно было с их помощью выполнять. Кузнечик не выполнил ни одного. Когда он вернулся, его ждала сестра с обедом, и проверить, остался ли «вампир» на прежнем месте, не удалось. А после обеда пришел Лось.

– Как поживает мой ученик? – спросил он, входя. В руках у него была стопка книг. В белом халате он казался еще выше.

– Болтает, как попугай, – пожаловалась сестра Агата, вытирая Кузнечику рот. – Почти ничего не съел, – она подняла поднос, демонстрируя Лосю тарелку с развороченным пюре и растерзанной котлетой.

Кузнечик действительно говорил без передышки. Он боялся пауз и тишины. Боялся, что сестра услышит что-нибудь и заглянет под кровать. Он не был уверен, что гость все еще там, но не хотел рисковать.

– Странно, – сказал Лось, заглядывая Кузнечику в лицо. – Он не болтун. Хотя и плохо ест.

– Сегодня он болтун, – возразила сестра, переставив поднос на тумбочку и накрыв его салфеткой. – Попробуйте сами. У меня голова разболелась от этого ребенка и его историй. В жизни не слышала столько чепухи.

– Попробую.

Лось сел на кровать и сложил книги на стул. Кузнечик в белоснежной пижаме болтал ногами, глядя в потолок.

– Ангелочек, – умилилась сестра. – Я уж думала, он у нас заскучал. Но се-

годня он просто расцвел. Говорит и говорит, прямо не может остановиться.

– С чего бы это? – усмехнулся Лось.

Кузнечик покосился на него и пожал плечами.

Лось вдруг посерьезнел:

– Новости о беглеце есть? – спросил он сестру.

Сестра нахмурилась и перешла на шепот:

– Никаких. Вероятно, он уже за пределами Дома. Доктор просто с ума сходит. Просил вас обязательно зайти.

Кузнечик навострил уши, с деланным интересом рассматривая корешки принесенных Лосем книг.

– Обязательно зайду, – сказал Лось. – Это серьезная проблема.

– Да, – вздохнула сестра, вставая. – Уж куда серьезнее. Попробуйте покормить его. Может, вас он не заговорит до смерти.

Она вышла, оставив поднос с обедом.

Лось повернулся к Кузнечику:

– Скажи малыш, к тебе случайно не заходил мальчик с седой челкой и в синих джинсах? Примерно твоего роста?

– Нет, – сказал Кузнечик, честно глядя Лосю в глаза. – Не заходил. А что?

– Ничего, – Лось рассеянно улыбнулся потолку. – Если вдруг увидишь его, передай, что он доставляет всем очень много хлопот. Мне в том числе.

Кузнечик кивнул.

– Обязательно передам, если увижу. А что он сделал?

Лось зачем-то приподнял салфетку, разглядывая содержимое обеденного подноса.

– Много всего. Хватило бы на десятерых. Ты будешь есть?

– Нет, – сказал Кузнечик. – Может быть, позже. Сейчас не хочу.

– Хорошо, – Лось встал. – Пойдем, одену тебя. Прогуляемся. Надо дышать свежим воздухом время от времени.

Кузнечик нехотя сполз с кровати. Лось вытащил из кармана клочок бумаги, расправил его и положил на подушку.

– Письмо тебе, – сказал он. – Читай и пошли.

Кузнечик посмотрел на мятый листок, где красовалось одно единственное слово: «Скучно». Зная Слепого, можно было сообразить, что это означает «мне скучно без тебя». Слепой без него скучает!

Кузнечик тихо вздохнул от удовольствия, и листок взлетел с одеяла, как бабочка.

– Спасибо, – сказал он Лосю. – Его там не обижают без меня?

– Не знаю, – Лось выглядел усталым. – Я ведь почти ничего про вас не знаю.

Они гуляли по лазаретному балкону, защищенному от ветра покатой крышей. Лось пересказывал новости Хламовника, Кузнечик слушал вполуха. С прогулки Лось отвел его на второй сеанс тренировки с протезами. Потом в холле лазарета была вечерняя программа по телевизору, которую разрешалось смотреть через день. Потом – ужин с сестрой Марией (потолще и помладше сестры Агаты), и на этот раз Кузнечик ел молча, уверенный, что гость давно ушел. Ни у какого вампира не хватило бы терпения столько времени провисеть под кроватью.

– В девять зайду выключить свет, – предупредила сестра. – И не сиди на подоконнике. Все равно уже темно.

Как только за сестрой закрылась дверь, Кузнечик скатился на пол и заглянул под кровать. «Вампир» лежал на полу и смотрел ему в глаза.

– Ой, – сказал Кузнечик. – Ты не висишь? Она же запросто могла тебя увидеть!

Гость выполз медленно, как черепаха, и сел, кривясь от боли.

– А ты повиси на этих резинках часа четыре, – буркнул он. – Конечно, я

делал передышки, когда никого не было. И даже поел. Но по-моему, – сказал он с беспокойством, – Лось меня вычислил. Он зашел и проверил поднос. А я почти всю котлету съел.

Кузнечик засмеялся. Очень смешно было представлять вампира, тайно поедающего его котлету. И Лося, который эту котлету проверяет, обнюхивая тарелку. Но почему он не заглянул под кровать? Наверное, не знал, что там можно спрятаться.

– Смейся, смейся, – сказал «вампир». – Веселись. Тебе, конечно, трудно представить, каково это – висеть на резинках, ощущая дыхание осинового кола у самого сердца. Из-за одной несчастной скукоженной котлеты. Чего ты заходишься, интересно?

– Колья не дышат, – заикаясь от смеха, прошептал Кузнечик.

«Вампир» поморщился:

– Это оборот речи, мальчуган. В прошлый вторник мне стукнуло триста тридцать лет – имею я право заговариваться, как ты думаешь?

– Имеешь, – признал Кузнечик. – Мне нравится, как ты заговариваешься.

– Посмотрим, как тебе понравится сегодняшняя ночь. Я намерен вернуть свой истинно дряхлый облик и послушать твои мольбы о пощаде, прежде чем мои зубы вопьются в твою плоть!

«Вампир» вдруг устало вздохнул.

– Слушай, а можно, я немного полежу на твоей кровати? Я весь одеревенел. Ничего, что я грязный? – он скинул кеды и вытянулся на кровати. Ноги его были грязнее обуви. Кузнечик сел рядом. Вампир скривился.

– Что-то спина болит, – сказал он грустно.

– Это потому, что ты старый, – предположил Кузнечик.

– Ты думаешь? – «вампир» лежал очень бледный, и Кузнечик испугался.

– Может, позвать сестру? – спросил он робко.

«Вампир» открыл один глаз:

– Полакомиться?

– Нет. На помощь, – расхохотался Кузнечик.

«Вампир» улыбнулся:

– Не надо. Я настроился проболтать с тобой всю ночь и приятно провести время, а не получать помощь от сестры. Давай начнем прямо сейчас. Расскажи, что там делается в Доме? Я так соскучился по немогильной жизни.

– Нет, – Кузнечик влез на кровать с ногами. – Сначала ты расскажи. А потом я расскажу все, что захочешь. Я весь день про тебя думал. Больше не могу терпеть.

– И что ты думал? Наверное, какой он симпатичный – этот вампир?

– Я думал… – Кузнечик смутился. – Что ты такого натворил, о чем говорил Лось? И почему сбежал и прячешься?

«Вампир» помрачнел.

– Я просто так сбежал. Все равно бестолку. Уже четыре раза сбегал. Думал, если всех здесь как следует достать, может, они меня отпустят. Даже пожар устроить пробовал. Но на них ничего не действует. То есть я их все-таки довел, в последнее время меня запирали. В этот раз я сбежал только из-за этого. Пусть не думают, что они умнее. Пока я здесь, спокойной жизни у них не будет.

– Как же ты сбежал? – благоговейно спросил Кузнечик. Гость на глазах обретал героический ореол мученика.

– Друг помог, – нехотя ответил «вампир». – Верный человек. Кличку не спрашивай, все равно не скажу. Я думал, здесь пусто, вот и зашел. Я эту палату знаю, здесь редко кто бывает. Смотрю – ты сидишь. Ты мне сразу понравился. Я так и подумал, что ты не станешь никого звать. Хотя у тебя был такой вид, как будто ты поверил во все, что я наплел.

– Я не поверил, – признался Кузнечик. – Но это было бы и правда здорово – прятать под кроватью вампира.

– Вот видишь… я же говорю, ты странный, – гость приподнялся на локте, разглядывая Кузнечика. – Люблю странных. Как тебя называют?

– Кузнечик.

– А меня – Волк. Кличка у тебя – что-то не то. Я бы придумал лучше. Давно тебя привезли?

– Летом. Здесь никого не было. Только Лось. Он меня принял. Но после меня уже был другой новичок, – поспешно добавил Кузнечик.

– Спорим, Спортсмен терпеть тебя не может, – предположил Волк.

Кузнечик нахмурился.

– Да, – сказал он коротко. – Не может.

– А все остальные гоняют, чтобы ему угодить.

– Гоняли, – поправил Кузнечик. – А ты откуда про меня знаешь?

– Про тебя я ничего не знаю, я знаю про них. Какие с ними уживаются, а какие – нет. И еще я слышал, о чем ты говорил с Лосем, когда получил письмо от друга. Которого, может быть, без тебя обижают. Кстати, кто он?

Волк раскраснелся от любопытства. Видно было, что ему приятно говорить о жизни за пределами лазарета.

– Слепой, – ответил Кузнечик.

Он знал, что Волк удивится, и Волк удивился.

– Не может быть, – сказал он.

Кузнечик гордо молчал.

– Снимаю шляпу, – сказал ему Волк уважительно. – Никогда не думал, что Слепой годится на роль друга.

Кузнечик обиделся:

– Годится не хуже любого другого!

– И что его могут обижать, – продолжил Волк, будто не услышав.

Кузнечик отвернулся.

Волк похлопал по его плечу:

– Не злись, ладно? Я иногда бываю вредный. Особенно когда спина болит. Расскажи с самого начала, как тебя привели. И дальше. А потом я тебе про всех кучу всего расскажу.

Кузнечик рассказал. Рассказ его прервался сестрой, которая пришла умыть Кузнечика и уложить спать. После ее ухода Волк вылез из-под кровати и забрался к Кузнечику под одеяло.

– Рассказывай дальше, – попросил он.

Кузнечик рассказывал еще долго. Потом они лежали молча. Кузнечик знал, что Волк не спит.

– Выбраться бы отсюда, – тоскливо сказал Волк в темноте. – Я тут уже полгода. Ты не представляешь…

Кузнечику показалось, что он заплакал.

– Выберешься обязательно. Не беспокойся. Не бывает такого, чтобы кто-то хотел откуда-нибудь выбраться – и не выбрался.

– Ты очень славный.

Волк обнял его и прижался щекой. Щека была мокрой.

– Если я когда-нибудь отсюда выйду, буду драться за тебя насмерть, вот увидишь. А ты будешь меня помнить, если я не выйду?

– Клянусь! – сказал Кузнечик. – Что всегда буду тебя помнить.

Утром сестра Агата обнаружила Волка, спящего в кровати Кузнечика. Ее крик разбудил обоих. Протаранив сестру в живот, Волк выскочил в коридор. Кузнечик выбежал следом и, онемев от ужаса, наблюдал, как Волк, лавируя между визжащими сестрами, опрокидывает на бегу тележки с завтраками и лекарствами. Путь его был усеян битым стеклом, клочьями ваты и перевернутыми омлетами. Его поймали в ответвлении коридора, где, к несчастью для Волка, оказалось сразу двое мужчин и под гневные восклицания сестер унесли в палату,

куда вскоре с мрачным видом проследовал Паук Ян.

Второй доктор и уборщик, поймавшие Волка, смазывали йодом укусы и, задрав штанины, рассматривали синяки на ногах. Некоторые из сестер, обступив их, обсуждали происшедшее, остальные собирали осколки.

Ошалевший Кузнечик, красный и дикоглазый со сна, молча стоял у двери своей палаты.

– Я считала тебя хорошим мальчиком, – сказала сестра Агата, проходя мимо. – А ты, оказывается, лгун. Для тебя стараются, протезы прилаживают, а ты вот как платишь людям за их заботы.

– Подавитесь вы своими протезами, – с ненавистью ответил Кузнечик. – И своими заботами тоже! – не глядя на застывшую на месте сестру, он вернулся к себе.

В пустой палате он долго смотрел на незастеленную кровать и упавшее на пол одеяло. Потом подцепил ногой стул и швырнул его о стену. Грохот, звон разбитого стакана, упавшего с тумбочки, перевернутый стул – все это его немного успокоило. Из коридора донеслось встревоженное квохтанье сестры Агаты.

– Вот, – сказал Кузнечик в потолок, – теперь меня посадят на цепь рядом с Волком. И ему не будет одиноко.

На цепь его не посадили – ни рядом с Волком, ни отдельно. Доктор Ян отчитал его в своем кабинете. Лось извинился и пообещал, что заберет его из лазарета. Обиженная сестра Агата сказала, что он хороший мальчик, попавший под дурное влияние. Директор Дома погладил его по голове и сказал:

– Ничего страшного не случилось. Ребенок слегка расстроился.

– Отпустите Волка, – сказал им Кузнечик.

Только Лось услышал его.

Вечером к нему пришла девчонка в голубой пижаме, с волосами огненными, как цветок мака. Таких ярко-красных волос он никогда раньше не видел и вообще не думал, что они встречаются на самом деле. Разве что у клоунов. Девочка подошла к окну, гордо зажав в руках букет непонятных лохматых цветов. Голова ее осветила белую палату, как маленький пожар.

– Привет, – сказала она.

Кузнечик тоже поздоровался и слез с подоконника.

Девочка положила букет на тумбочку.

– Я – Рыжая.

Уши у нее торчали, кожа вокруг носа была красноватая, а глаза неожиданно черные, в красных ресницах. Чтобы разглядеть это, Кузнечику понадобилось немало времени. От ее волос было трудно отвлечься. Он удивился, что ему сообщают очевидное.

– Я вижу, – сказал он. – Трудно не увидеть.

Девчонка замотала головой.

– Нет. Я знакомлюсь, – объяснила она терпеливо. – Рыжая. Теперь понял?

Он понял.

– Кузнечик, – представился он.

Девочка кивнула, разглядывая пустую палату.

– Скучно у тебя тут, – сказала она. – И чисто.

Кузнечик промолчал.

– Пойдем со мной? Я приглашаю.

– А разве можно? – Кузнечик сомневался, что его пустят дальше порога после всего, что произошло.

– Нельзя. Но никто ничего не скажет, вот увидишь. Пойдем.

Они вышли в белоснежный, заглушавший шаги коридор Могильника.

Матовые двери открывались и закрывались. Старшеклассники в пижамах сидели в креслах и листали журналы. Сестры сновали из одной двери в другую,

как снежные шары. Кузнечик шел за Рыжей, ожидая окриков, но никто не окликал их и ни о чем не спрашивал. Они шли, отражаясь в стеклянных шкафах, как в зеркалах, в одном за другим. Голубая пижама и белая пижама. И везде зажигался огонь ее волос.

Мы как будто исчезли, думал Кузнечик удивленно. Мы идем, но нас нет. Никто нас не видит и не слышит. Как будто рыжая девчонка заколдовала весь Могильник…

За окнами падал снег. Они свернули в другой коридор, с блестящим линолеумом, и прошли по нему до последней двери.

– Это здесь, – Рыжая толкнула дверь.

Палата была совсем маленькая. Три кровати, заваленные грудами вещей. С полноценными свалками журналов, тетрадей, бумаги, кисточек и банок с краской. На стенах висели рисунки, в плетеной клетке прыгал зеленый попугайчик. Комната напоминала Хламовник и даже пахла, как Хламовник. Кузнечик наступил на апельсиновую кожуру и остановился, смущенный. С разбегу прыгнув на одну из кроватей, Рыжая сбросила тапочки, смела на пол мусор, и представила своего соседа:

– Смерть.

Красивый мальчик с битловской прической, улыбнулся и кивнул.

– Привет, – сказал он.

Кузнечик вздрогнул, услышав кличку.

– Так ты тот самый…

Смерть опять кивнул, улыбаясь.

– Да садись же, – позвала Кузнечика Рыжая, спихивая с кровати очередную груду вещей. – Успеешь насмотреться.

Кузнечик сел рядом с ней. О соседе Рыжей он кое-что знал. Смерть был мальчиком, который никогда не покидал Могильника, и о котором воспитатели между собой говорили, что он не жилец. Смерть был лежачий. Он не ходил и не ездил в коляске. Он жил в Могильнике с незапамятных времен, и как Могильного жителя Кузнечик представлял его зеленоватым, похожим на покойника. Другим нельзя было представить человека, который «не жилец» уже много лет подряд. Но Смерть оказался маленьким и нежным, с глазами в пол-лица и длинными, как будто покрытыми лаком, темно-красными волосами. Пока Кузнечик его разглядывал, Рыжая собирала с одеяла карты.

– Поиграем? – спросила она. Они с Кузнечиком подсели к Смерти.

На час они стали гадалками. Предсказали друг другу осуществление всех желаний и счастливое будущее, потом карты полетели на пол, а Рыжая, задрав пижаму, показала Кузнечику татуировку у себя на животе. «Татуировка» была нарисована шариковой ручкой и успела размазаться, но можно было разобрать, что-то похожее на орла с человеческой головой.

– Кто это? – спросил Кузнечик.

– Не знаю, – сказала Рыжая. – Смерть считает, что гарпия. А вообще-то имелся в виду грифон. Как тебе?

– Могло быть хуже, – уклончиво ответил Кузнечик.

Рыжая вздохнула, подчищая размазанные чернила пальцем.

– Бывало и хуже, – призналась она. – В прошлые разы. Художник из меня, по правде говоря, никакой.

Они посидели молча. Смерть крутил на одеяле апельсин. Кузнечик подыскивал тему для разговора.

– А правда, что в Могильнике водятся привидения? – спросил он наконец.

Рыжая закатила глаза.

– Если ты про Белого, то никакое он не привидение. Обычный придурок. А вообще-то, конечно, водятся. Только они не шляются по палатам и не бубнят всякую муть, как, небось, у вас в Хламовнике рассказывают.

– А что же они делают? – улыбнулся Кузнечик.

Рыжая требовательно уставилась на Смерть:

– Что они делают, Смерть?

Тот пожал плечами.

– Ничего, – сказал он смущенно. – Просто иногда проходят по коридорам. Повезет, если вообще их увидишь. Они тихие и красивые. А Белый – совсем наоборот. Вбежал в темноте, споткнулся, нашумел, а потом еще завыл, как собака. Я чуть не умер со страху.

– Белый – из старших, – объяснила Рыжая. – Вставлял в ноздри зажженные сигареты, заворачивался в простыню и шастал по палатам – пугал малышей и девчонок. Потом его поймали и куда-то отправили. Он был совсем чокнутый.

Кузнечик представил себе жуткого, чокнутого старшеклассника в простыне и посмотрел на Смерть с уважением.

– Я бы в живых не остался, если б такое увидел, – признался он. – Или штаны бы намочил.

– А я и намочил, – улыбнулся Смерть. – Не все же рассказывать.

Чем дальше, тем Смерть Кузнечику больше нравился.

– А те, другие? – спросил он. – Которые настоящие. Ты их видел?

– Они нестрашные, – ответил Смерть. – Я их видел, но не боялся. Они никому не вредят. Сами когда-то натерпелись.

Кузнечик понял, что Смерть не врет, и ощутил неприятный холодок в желудке. Смерть или сам сумасшедший, или действительно видел привидений.

– Он не врет, – подтвердила Рыжая. – Он ходок, между прочим.

– Кто-кто? – переспросил растерявшийся Кузнечик.

– Хо-док, – по слогам повторила Рыжая. Во взгляде ее отразилось разочарование. – Ты что, не знаешь кто они такие?

Кузнечику очень захотелось соврать, что знает. А потом он вдруг он вспомнил, что действительно слышал это слово. Однажды воспитатель Щепка поймал его в коридоре. Они шли втроем – Щепка, Лось и Черный Ральф – и на ходу горячо о чем-то спорили. Кузнечик поздоровался и хотел пройти мимо, но Щепка схватил его за воротник.

– Постой, ребенок! – закричал он. – Ну-ка, скажи мне быстро, существуют ли прыгуны и ходоки?

– А кто это? – вежливо спросил Кузнечик.

Лицо воспитателя приблизилось к его лицу. Глаза за толстыми стеклами очков метались, как будто он был чем-то напуган.

– Правда, не знаешь? – спросил он.

Кузнечик помотал головой.

Щепка тут же его отпустил:

– Вот! – вскричал он. – Слышите? Дитя не имеет о них ни малейшего понятия!

– Это не довод, – кисло сказал Р Первый, и они, все трое, пошли дальше, продолжая спорить.

Кузнечик тут же забыл об этом происшествии. Воспитатели в чем-то были не менее странными, чем старшие. Иногда до такой степени, что трудно было понять, о чем они говорят.

– Ходоки – это то же самое, что прыгуны? – осторожно спросил он Рыжую, боясь попасть впросак.

Она возмутилась:

– Нет, конечно! Так ты все-таки знаешь?

– Только названия, – признался Кузнечик.

Рыжая посмотрела на Смерть. Тот кивнул.

– Прыгуны и ходоки, – сказала она учительским тоном. – Это те, кто бывал на изнанке Дома. Только прыгунов туда как бы забрасывает, а ходоки добираются сами. Ходоки и обратно возвращаются, когда захотят, а прыгуны не могут. Должны ждать, пока их вышвырнет. Ясно тебе?

– Ясно.

Кузнечику ничего не было ясно, но он решил ни за что в этом не признаваться.

– А ты? – спросил он Рыжую. – Ты ходок или прыгун?

Рыжая помрачнела.

– Ни то ни другое. Но когда-нибудь стану обязательно, – она начала перелистывать лежавший на подушке журнал, словно ей вдруг надоело говорить на эту тему.

Смерть улыбался.

– Как тебе Волк? – спросил он. – Правда, чумовой?

– Вы знаете про Волка? – изумился Кузнечик.

Рыжая отложила журнал:

– Мы все про всех знаем. Даже про тех, кого здесь нет. А уж про тех, кто здесь, знаем больше всех. Ты молодец, что его спрятал. Те цветы я стащила у одной старшей, потому что они ей даром не нужны, у нее их чуть не сто букетов. А тебе будет веселее, и в палате не так пусто. Только мы забыли их в воду поставить. Теперь они завянут, пока ты вернешься.

– Я думал, вы меня просто так позвали.

– Просто так никого никуда не зовут, – широко улыбнулась Рыжая. И, помолчав, добавила:

– Вообще-то не только поэтому. Потому что ты тоже немножко рыжий, как мы со Смертью. А рыжие должны держаться одним косяком, ясно тебе? Мы ведь не такие, как все, вечно на нас все шишки валят и не любят нас. Ну в основном не любят, бывают, конечно, исключения. Это оттого, что мы от неандертальцев произошли, то есть мы их потомки, а те, которые не рыжие, те от кроманьонцев. Это в одном научном журнале было написано, могу одолжить, если хочешь, я его сперла из библиотеки.

Насчет «косяка» Кузнечик немного усомнился. Что это правильное слово. Но согласен был происходить от кого угодно, если для Рыжей это так важно. Ее мысли и слова скакали слишком быстро, темы менялись чаще, чем Кузнечик успевал на них среагировать, но он отметил, что Рыжая что-то уж очень часто ворует и совершенно этого не стыдится. Потом он ненадолго отвлекся, перестав ее слушать, и тут же оказалось, что зря, потому что речь зашла о Волке.

– Это я его выпустила. И еще выпущу, если понадобится, потому что терпеть не могу, когда людей запирают, особенно детей, это просто садизм, иначе не скажешь…

– Так это ты – верный человек? – обрадовался Кузнечик.

– Ясное дело, я. Кстати, если тебя тоже запрут, можешь на меня рассчитывать. Я многим помогаю по-всякому. Записки передаю, даже неразрешенных посетителей иногда по ночам провожу. Ну и всякие другие мелочи.

– Как это сестры тебя еще не убили? – удивился Кузнечик.

Рыжая махнула рукой:

– Они меня не трогают. Боятся.

Смерть хихикнул, глядя на девочку с привычным восхищением.

– Если ее наказывают, я сразу заболеваю. А мне болеть нельзя, я от этого и умереть могу. Меня нельзя расстраивать. Вообще.

– Ничего не могут мне сделать, – подтвердила Рыжая. – Смерть – ихний любимчик, они с ним носятся прямо как не знаю с чем. А я – его лучший друг. Поэтому меня не трогают.

Только теперь Кузнечик понял, почему в палате такой бедлам, почему Рыжая спокойно приглашает сюда гостей и почему никто не заходит проверить, чем они занимаются. Замечания и запреты сестер не имели здесь власти. Оказывается, быть «не жильцом» очень даже выгодно, подумал Кузнечик.

Он просидел в гостях весь вечер. На ужин они ели апельсины. Переиграли

во все игры, которые хранились в коробках под кроватью у Смерти, а перед тем, как разойтись по палатам, затеяли бой на подушках и перевернули клетку с попугаем. Перья покалеченной подушки, покружившись в воздухе, опустились на пол, уже усеянный фишками, карточками и нарисованными деньгами.

Кузнечику было хорошо. Ему понравились и Рыжая, и Смерть, хотя Рыжая чересчур любила командовать, а Смерть слишком уж во всем ее слушался. Вернувшись в свою пустую и темную палату, Кузнечик сразу лег спать. Этот вечер стал вторым счастливым вечером в Могильнике. Одно было плохо. Где-то взаперти сидел одинокий Волк.

Утром сестра была подчеркнуто холодна.

– Весь вечер бесился, как дикарь. В чужой палате, – выговаривала она, заталкивая Кузнечику в рот ложку с кашей. – Ни режима, ни ужина. Видела я, что вы там сотворили. Настоящий свинарник. Фу!

Кузнечик жевал и думал, что Рыжую никто не кормит с рук и что Смерть, конечно, тоже ест сам, но, может быть, с ними делают что-то другое, еще более противное. Сестра ворчала и хмурилась, а потом вдруг застыла с ложкой в руке:

– Кто же тебя водил в туалет? Или ты не ходил? Так и терпел весь вечер?

– Я ходил, – удивился Кузнечик. – Мне Рыжая помогла.

Ложка упала на одеяло, а сестра Агата воздела руки к потолку и издала очень странный звук. Кузнечик с интересом наблюдал за ней.

– Тебе! Большому мальчику! Девочка помогала в таком деле! Какой позор! И ты так спокойно об этом говоришь?

Лось вошел очень вовремя, чтобы услышать про ужас и позор.

– Что случилось? – спросил он.

Сестра сделалась еще злее:

– Ни капли стыда у этих детей нет. Хуже животных!

Кузнечик хмуро смотрел на размазавшуюся по одеялу кашу.

– Чего вы кричите? Как будто вы мне не помогаете.

Сестра булькнула горлом.

– Я – женщина! – сказала она. – И медицинская сестра!

– Еще хуже, – заметил Кузнечик.

Сестра Агата встала.

– Ну хватит. Я иду к доктору. Пора уже кончать с этими безобразиями. Вы – воспитатель! Вам должно быть стыдно за своих воспитанников!

Дверь за ней захлопнулась, но Кузнечик успел услышать начало монолога о том, что полагается делать с такими воспитателями, как Лось. Окончания он не услышал. Лось салфеткой счистил с одеяла кашу и грустно посмотрел на Кузнечика.

– Малыш, по-моему, сестра Агата в тебе разочаровалась. Ты слишком откровенен.

Кузнечик вздохнул.

– Мы погасили свет, чтобы я не стеснялся. И она и не смотрела вовсе. Что тут такого плохого?

Лось потер лоб.

– Вот что, – сказал он, – давай договоримся, про свет ты упоминать не будешь. Хорошо?

– Хорошо, – послушно согласился Кузнечик. – Не буду.

Он задумался.

– Я испорченный, да?

– Нет, – сердито сказал Лось. – Ты нормальный. Будешь доедать?

Кузнечик скривился.

– Понятно, – вздохнул Лось. – Я не настаиваю.

– Волку тоже такую дают? – начал Кузнечик издалека.

– Всем дают одно и то же. Если они не на специальной диете.

– Можно мне к нему сходить?

– Это вопрос не ко мне, а к главному врачу.

– Ему сейчас рассказывают, какой я испорченный, – сказал Кузнечик. – Что у меня нет стыда. Всем об этом рассказывают, и все возмущаются.

Лось менял местами приборы на подносе.

– Скажи, Лось, – Кузнечик попытался поймать его взгляд. – Волк – он тоже «не жилец»?

Лицо Лося пошло пятнами, глаза сердито вспыхнули:

– Кто тебе сказал такую ерунду?

– Тогда почему его не выпускают?

– Он проходит курс лечения.

– Ему здесь плохо, – сказал Кузнечик. – Он не может тут больше быть.

Лось смотрел в окно. Он был ужасно усталый. Вокруг рта глубокие складки. Кузнечик впервые задумался о том, сколько Лосю лет. Что он, наверное, намного старше его – Кузнечика – мамы, и что седых волос у него больше, чем неседых, а когда он чем-то расстроен, то лицо кажется еще старше. Раньше такие мысли Кузнечику в голову не приходили.

– Я говорил с главным врачом. Волка скоро выпишут. Они не для своего удовольствия его здесь держат. Ты уже взрослый, должен понимать такие вещи.

– Я понимаю, – сказал Кузнечик. – Так мне к нему можно?

Лось посмотрел на него как-то странно.

– Можно, – сказал он. – Но с одним условием…

Кузнечик радостно взвизгнул, но Лось поднял руку.

– Подожди. Я сказал: с одним условием. Тебя переведут к нему, и вы останетесь вместе до выписки, если ты сможешь заставить его делать все, что велит доктор. Никакой беготни, никаких подушечных боев и никаких игр, кроме тех, которые разрешат. Сможешь?

Кузнечик нахмурился.

– Не знаю, – сказал он уклончиво.

– Тогда не о чем говорить.

Кузнечик думал. Сможет ли он заставить Волка делать то, чего Волк не захочет? Или наоборот, не делать чего-то? Это было трудно представить. Волк никого не слушал, не станет слушать и его. Но ночью он плакал, как маленький, из-за того, что хотел выйти из лазарета. Волк бы и сам делал все, что надо, если бы верил, что его отпустят. Просто он больше не верил.

– Я согласен, – сказал он, завозившись под одеялом. – Только если ты дашь мне слово, Лось. Поклянешься, что его отпустят.

– Клянусь! – сказал Лось.

– Тогда пошли! – Кузнечик вскочил на постели и запрыгал от нетерпения. – Пошли скорее, пока он не умер от тоски!

– Погоди, – Лось дернул его за ногу, и Кузнечик шлепнулся на подушку. – Подождем доктора и сестру.

– Скажи Лось, а Смерть когда-нибудь выпишут? А Рыжая – такая девочка – она «жилец»? А старшеклассника Белого ты знал?

Его провожали втроем. Доктор Ян нес его вещи. Сестра – сверток с бельем. Лось – книги. Доктор и Лось переговаривались на ходу, сестра Агата шла молча, поджав губы, всем своим видом давая понять, что ничего хорошего не ждет от Кузнечика, куда бы его ни переводили. Кузнечик заставлял себя идти медленно.

– Ну вот, – сказал доктор, останавливаясь, и нагнулся к нему. Он был высокий, еще выше, чем Лось. – Не передумал?

Кузнечик замотал головой.

– Тогда пошли.

Первое, что он увидел, когда вошел – решетки. Белые, они вдавались вовнутрь комнаты – окна были как будто в клетчатых коробках. Решетки, через

которые не достать стекло рукой. По стенам прыгали разноцветные Винни-Пухи и Микки-Маусы. Волк лежал на полу, лицом в стену, натянув пижаму на голову. Он не обернулся на стук двери и голоса, а Кузнечик не решился его окликнуть. Сестра, раскладывая белье, качала головой и что-то ворчала себе под нос. Доктор и Лось отошли к окну. Вещи Кузнечика положили на тумбочку, книги – на пол. Сестра возилась гораздо дольше, чем было нужно. Волк не шевелился, доктор и Лось тихо переговаривались о посторонних вещах. Уходя, доктор Ян ласково дернул Кузнечика за ухо и сказал:

– Не робей.

Как будто его оставляли в клетке с настоящим волком. Наконец они ушли. Щелкнул замок, и стало тихо.

Кузнечик посмотрел на Волка. Ему стало не по себе. *Я его совсем не знаю. На самом деле совсем не знаю. Может, он мне вовсе и не обрадуется. Может, лучше было остаться в своей палате и каждый вечер ходить с Рыжей в гости к Смерти?*

Он посмотрел на скачущих Микки-Маусов, которым какой-то шутник пририсовал торчащие зубы. Подошел к Волку, сел рядом с ним на корточки и тихо позвал:

– Эй, вампир…

СФИНКС
Посещая Могильник

Я смотрю в глаза своему отражению. Пристально, не моргая, пока глаза не начинают слезится. Иногда удается добиться ощущения полной отстраненности, иногда нет, это неплохое лекарство для нервов или пустая трата времени – все зависит от того, каким ты приблизился к зеркалу и что унесешь, отойдя от него.

Зеркала – насмешники. Любители злых розыгрышей, трудно постижимых нами, чье время течет быстрее. Намного быстрее, чем требуется для того, чтобы по достоинству оценить их юмор. Но я помню. Я, несчетное число раз смотревший в глаза забитого мальчугана, шепча: «хочу быть как Череп»… встречаю теперь взгляд человека, намного больше похожего на череп, чем носивший когда-то эту кличку. И, словно этого мало, я – единственный владелец безделушки, благодаря которой его так прозвали. Я могу оценить зазеркальный юмор, потому что помню то, что я помню, но многие ли тратили такую уйму времени на общение с зеркалами?

Я знаю красивейшего человека, который шарахается от зеркал, как от чумы.

Я знаю девушку, которая носит на шее целую коллекцию маленьких зеркал. Она чаще глядит в них, чем вокруг, и видит все фрагментами, в перевернутом виде.

Я знаю незрячего, иногда настороженно замирающего перед собственным отражением.

И помню хомяка, бросавшегося на свое отражение с яростью берсеркера.

Так что пусть мне не говорят, что в зеркалах не прячется магия. Она там есть, даже когда ты устал и ни на что не способен.

Перестав отчуждаться, я встречаюсь взглядом со своим отражением.

– Бог ты мой, – говорю я. – Ну и чудище… Ты бы хоть оделся, братец.

Чудище – голое, ободранное, с сумасшедшими от бессонницы глазами, смотрит укоризненно. На правой брови у него пластырь, левое ухо оттопыривается, багрово полыхая, разбитая губа покрыта коркой подсохшей крови.

Пристыженный его молчаливым укором, я отворачиваюсь.

– Ладно, извини. Ты красавец. Просто немного не в форме.

Поднырнув под висящее на крюке банное полотенце, я стягиваю его себе на спину и зубами расправляю на плечах. Задрапированный в мохнатую белую тогу, выхожу из ванной.

«Некоторые живут как будто в порядке эксперимента», – сказал незрячий по поводу

последних событий. Вот только непонятно, почему желание поэкспериментировать возникает у многих одновременно? Почти без пауз. Лорд, потом Черный и, наконец, я сам. Прослеживается определенная закономерность. Может, это похоже на эпидемию гриппа? Вирус агрессии и недовольства летает от человека к человеку, стремительно размножаясь. Черная полоса в жизни стаи, из которой довольно трудно вынырнуть.

Я замираю, закрыв глаза, и пробую поймать ее – дрянь, просочившуюся неведомо откуда. Почувствовать, чем она пахнет, поймать и вернуть обратно, туда, откуда она пришла. Но ничего не чувствую, кроме усталости и двух бессонных ночей, давящих на веки. Хотя, пожалуй, еще запах чьих-то погребенных в куче ботинок и кед носков. Кладбище обуви под вешалкой давно пора разобрать, пока там не завелись мыши-токсикоманы.

Отворяю дверь. В спальне пусто и тихо.

От этого она кажется меньше, хотя должно бы быть наоборот. Но у нас все не как у людей. Если Горбач, где бы ни находился, окружен деревьями, а Македонского сопровождает невидимый хор, выводящий «Лакримозу»; если Лорд всегда в своем замке с замшелыми стенами и лишь изредка опускает подъемный мост, а Шакал в любой миг способен размножиться до полудюжины особей, и слава богу еще, что Лэри не затаскивает сюда коридоры, а Толстый колдует только в глубине своей коробки… если учитывать все это, нет ничего удивительного, что, опустев, наша загроможденная мирами спальня кажется меньше, чем когда все мы тут.

Я сажусь на кровать. Я голоден, но спать мне хочется гораздо сильнее. Прислоняюсь лбом к прутьям спинки и ненадолго задремываю. До тихого дверного стука и шороха шин в прихожей.

Это Курильщик.

Светящийся и обновленный после Клетки. Славный человек, не загромождающий помещение ничем, кроме себя и своих кошмарных вопросов.

Гляжу на него по-птичьи, одним глазом. Второму мешает свешивающийся с брови пластырь.

– Привет! – восклицает он, и тут же мрачнеет. – Что случилось?

Мне становиться совестно. Возвращающихся из Клеток встречают ликуя. Так принято еще с тех пор, когда никто не отправлялся в них по собственному желанию. А я слишком устал и слишком похож на огородное пугало, чтобы проделать все необходимые телодвижения.

– Не поладил с Черным. А ты как? Все в порядке?

Пухлощекий, румяный Курильщик, с блестящей челкой до самых бровей. Прошедший испытание Клеткой. Конечно, с ним все в порядке – это сразу видно, но на всякий я случай уточняю. Клетки – плохое место. Не самое плохое в Доме, но одно из плохих. И я рад, что Курильщик этого не понял. Хотя вообще-то радоваться по такому поводу не принято.

– Замечательно, – его тон подтверждает мою догадку. – Как будто заново родился, честное слово! Спасибо Шакалу.

– Рад, что ты так к этому относишься.

Он подъезжает вплотную к кровати и настороженно глядит на меня:

– Из-за чего вы подрались?

Подразумевается: как вы с Черным умудрились подраться? Мои возможности на этом поприще для него – тайна за семью печатями, но ему все же легче вообразить в драке меня, чем солидного флегматика, каким, наверное, Курильщику кажется Черный. Еще он ужасно боится услышать что-нибудь вроде: «Видишь ли, у нас возникли определенные разногласия, малыш», – и ничего более. Боится, потому что довольно часто слышит именно такого рода объяснения, и они его удручают. Мешают ощущать себя взрослым. Вообще-то у него есть основания опасаться. Искушение отделаться парой бессмысленных фраз велико. Объяснения повлекут за собой только новые вопросы, ответить на которые я уже не смогу. Но Курильщика трудно отшивать. Он протягивает себя на раскрытой ладони – всего целиком – и вручает тебе, а голую душу не отбросишь прочь, сделав вид что не понял, что тебе дали и зачем. Его сила в этой страшной открытости. Таких я еще не встречал. И я вздыхаю, прощаясь с надеждой отдохнуть до возвращения стаи.

– Видишь ли… Лорд решил попробовать одну штуку, «Лунную дорогу». А влияние

этой жидкости на человеческий организм отличается удивительной непредсказуемостью. Одним становится плохо. Другие начинают вести себя странно. Есть и такие, что чувствуют себя совершенно счастливыми. Со стороны это выглядит неприятно. Один мой знакомый после «Дороги» начал объясняться стихами. Другой вообще разучился говорить…

Курильщик слушает с таким напряженным вниманием, что я с трудом удерживаюсь от искушения пересказать последствия всех известных мне случаев употребления «Дороги».

– В общем, ты понял. Пить ее – стать подопытным кроликом.

Он кивает:

– Я понял, Сфинкс. Это наркотик. Так что случилось с Лордом?

Мельком гляжу на смятый плед в углу кровати, где сидел застывший дракон. Больше похожий на чучело.

– Он оцепенел. Превратился в камешек. Не реагировал ни на что. Кстати, не худшая из реакций. Главное в таких случаях – не трогать и не мешать. Но кто-то должен быть рядом. На всякий случай.

Курильщик вздыхает с облегчением. Он не любовался пять часов кряду живой скульптурой с широко распахнутыми глазами, не слышал причитаний Лэри и пророчеств Шакала. Для него в моем рассказе нет ничего пугающего.

Я пытаюсь прилепить на место чертов пластырь, потирая его о прутья спинки, но безуспешно. Завтрак скоро закончится. Пора закругляться с этой историей.

– Черный вызвался остаться с Лордом на время обеда. Когда мы вернулись, Лорда уже не было. Этот кретин отправил его в Могильник. Уж не знаю, вызвал Пауков или сам дотащил. Да это и неважно. Вот, собственно, все.

Как я и предполагал, для Курильщика это явно не все. Он смотрит с таким изумлением, что я догадываюсь: что-то нехорошее от меня к нему просочилось. Мне кажется, я говорил почти без эмоций и, уж конечно, далек от того, что творилось со мной вчера, но некоторые чувства трудно держать при себе, они так или иначе прорываются наружу. Моя нелюбовь к Черному как раз из таких. Как, впрочем, и его нелюбовь ко мне. Курильщику этого знать необязательно, хотя в своем случае я, кажется, опоздал. Он уже что-то почуял.

– Я думаю, – взгляд Курильщика убегает, прячась под ресницами, – может, он хотел как лучше? Может, он испугался за Лорда и решил, что так будет надежнее. В лазарете ведь знают, как приводить людей в чувство после… после всяких таких вещей.

– Конечно. Там много чего знают. А Черный хотел как лучше. На его взгляд, лучше нам обойтись без Лорда. Слишком он неспокойный.

– Ты как-то странно говоришь, Сфинкс… Как будто Лорда там съедят.

Самое невыносимое в новичках то, что им постоянно приходится объяснять очевидные вещи. При этом чувствуешь себя дураком. Особенно если ты голый и замотан в сырое полотенце. Можно, конечно, ничего не объяснять. Но я не сторонник подобного поведения, ведь рано или поздно все мы сталкиваемся с проблемами, выросшими из недоговоренностей. Из того, что кто-то из нас не так понят.

– В историях болезней, хранящихся в Могильнике, – мужественно начинаю я, – имеются специальные наклейки. Желтые, синие и красные. Их же вклеивают в личные дела. Не буду сейчас рассказывать о желтых и синих, но одна красная полоска означает, что ты асоциален и неуравновешен. Две – что склонен к суициду и нуждаешься в усиленном контроле психотерапевта. Три – что страдаешь неизлечимым психическим расстройством и нуждаешься в стационарном лечении, которого Дом тебе предоставить не в состоянии.

Курильщик хмурится, пытаясь припомнить, видел ли он в своих бумагах какие-нибудь полоски. Мне смешно, хотя, видит бог, в этом нет ничего смешного.

– Одна, – говорю я ему. – Раз тебя выставили из группы – почти наверняка. Но одна есть практически у каждого, так что не переживай. У нас без нее обошелся только Толстый.

– А у Лорда их?..

– Три. И боюсь, на этот раз, если не случится чуда, кто-нибудь обратит на это внимание.

– Так он шизофреник, да?

Я набираю в грудь побольше воздуха, но тут до меня доносится нарастающий гул и грохот катящейся по коридору лавины, и все нехорошие слова остаются при мне. Куриль-

щик тоже слышит приближение отобедавших.

– Ох, я съезжу кое-куда, – испуганно говорит он. – Пока там свободно.

Он как раз успевает скрыться, когда лавина достигает спальни. Скрип, лязг, голоса, хлопанье двери. Первым влетает Шакал на Мустанге. Сметанные усы под носом и пакет с бутербродами в охапке.

– Алло, Сфинкс! Ты затеял одиночный стриптиз? Мог бы дождаться товарищей!

Горбач его отпихивает, ставит на тумбочку бутылку с соком и лезет доставать Нанетту на предмет кормления.

– Дивные бутерброды, – соблазняет меня Табаки. – Могу даже полить их соусом.

Ко мне протискивается Македонский с ворохом одежды в руках.

– Один с сыром, один с творогом. Сам над ними трудился, – не унимается Шакал.

– Курильщик вернулся. Может, он голодный. Спроси его.

С радостным воплем Табаки выкатывается задом в дверной проем и, судя по грохоту, бросается штурмовать дверь туалета.

– Курильщик! Солнце мое! Ты здесь? Отзовись!

Македонский застегивает на мне рубашку.

– Пойдешь к Лорду? – спрашивает он.

Ну конечно. Сейчас мне только к Лорду. С объяснениями, как и почему он очутился в Могильнике.

– Оставь меня в покое, – огрызаюсь. – Я не в том состоянии, чтобы туда таскаться.

Он молча держит передо мной джинсы. Не возражает и не спорит, отчего на душе только муторнее.

Шакал – солнечный живчик в сметанных усах, восторженный визгун – возвращается. С Курильщиком, жующим бутерброд из пакета, и с Горбачом, который возбужденно лупит Курильщика по плечам, мешая ему насыщаться расспросами о том, как он провел время в изоляторе.

– Ну как там Клетка, стоит, проклятая?

Курильщик кивает:

– Да. Стоит. Ничуть не изменилась. А что ей сделается?

Сглатывая слюну, наблюдаю стремительное исчезновение бутербродов.

– Похудел ты, – горестно отмечает Лэри. – Тяжело было?

Курильщик опять кивает, жуя. Бурчит сквозь бутерброд:

– Ненавижу эти желтые цветочки!

Чем немедленно вызывает у Горбача с Шакалом взрыв воспоминаний о часах, проведенных ими в изоляторе:

– А я вот, помню, в прошлый раз…

– Чего там сутки, я как-то просидел четыре…

– Желтый – ерунда, а вот Синий…

Пока они делятся впечатлениями, я обнаруживаю у себя на плече руку Слепого.

– По-моему, – задумчиво изрекает Великий-и-Ужасный, – тебе имеет смысл прогуляться в Могильник. Поговори с Янусом, вы ведь друзья.

И этот туда же. Маршрут остался неизменным, задание усложнилось, а Слепого, в отличие от Македонского, не пошлешь к черту. То есть, можно, конечно, но нежелательно.

– Это приказ? – сварливо уточняю я.

Слепец удивлен.

– Нет, конечно. Просто предложение.

Он отпускает мое плечо и удаляется, даже не дав мне возможности поворчать. Пора бежать в Могильник. Прямо сейчас, пока Табаки не вздумалось присоединиться к советчикам, пока Горбач не высказал все, что он думает по этому поводу, пока Лэри не предложил меня проводить. Слишком долго живем бок о бок. Бока почти срослись, и повадки у всех стали одинаковыми. Скоро не будет нужды открывать рот, чтобы сообщить свое мнение по любому вопросу, и так все всё будут знать.

Уроки проходят бесшумно, ничем меня не задевая. Дождь стучит в окна. Капли сползают по стеклам серыми лентами. Хочется спать. Ловлю себя на том, что засыпаю с откры-

тыми глазами и даже вижу сон.

Тусклый переход по подземным коридорам. В конце – окно. Подслеповатое окошко, засиженное мухами, с замазанными мелом стеклами. На подоконнике – Волк. Спиной ко мне. В своем старом узорчатом свитере с дырками на локтях.

– Волк! – окликаю я.

Он оборачивается и смотрит на меня. Белый шрам на губе. Губы не шевелятся, но слышен голос.

– У меня в норе под подушкой, – говорит он шепотом, – повесилась мышь.

Просыпаюсь от взвизга Мымры и вижу перед собой ее круглые глазки-пуговки. Совсем очумелые.

– Где мышь? – с дрожью в голосе она нацеливает мне на нос указку. – Где она?

Дальше меня выставляют за дверь, и я волен делать, что захочу. Вернее, не волен. Надо идти в Могильник. Захожу в спальню в поисках остатков трапезы Курильщика, не нахожу ничего, кроме крошек, и, опечаленный, удаляюсь. Коридор проплывает мимо, не сообщая ничего нового. Возможно, он и сообщает, но я передвигаюсь словно в вакууме, глухой и слепой к его сообщениям, и даже приятно удивленный тем, что, оказывается это возможно. До самого Могильника, на пороге которого все же встряхиваюсь. За этой дверью не та территория, по которой стоит брести из последних сил. В Могильнике следует демонстрировать бодрость и жизнерадостность. Даже если ты труп.

Коридор безупречно стерилен. Все сверкает белизной. И пропитано жутким лекарственным духом. Навстречу по надраенному паркету катятся два круглых и грозных Паука женского пола.

– Что такое? Кто разрешил? Вон отсюда!

Мой неузнаваемо жалкий голос:

– Я только на минутку. Передать поручение учителя. Это очень срочно.

– К заведующему! – пухлый, указующий перст в конец коридора.

Подметаю пол хвостом, льстиво скалюсь и бегу дальше.

Паучихи неприязненно таращатся. Их человек вроде меня устраивает только в одном состоянии: спеленутый, подвешенный и опутанный трубками-проводочками. Чтобы удобнее было сосать кровь. А безрукий, бегающий на свободе – безобразие и преступление. Мысленно показываю им фигу. Грабли на это, увы, не способны. Дальше бегу галопом.

Кабинет Януса. Ян – самый симпатичный и порядочный Паук на свете, и я его нежно люблю, но в последнее время наши отношения немного испортились, поэтому мне тревожно. Стучусь граблей и приоткрываю застекленную дверь.

– Можно войти?

– А, это ты, – Паук поворачивается на стуле-вертушке. Лошадинолицый, серо-рыжий и лопоухий, с удивительной улыбкой, которую он редко демонстрирует. Из-за нее его и прозвали Янусом. Когда он улыбается, то делается совсем другим.

– Входи. Не стой в дверях.

Я вхожу. Кабинет не такой белый, как остальной Могильник. Если постараться, можно даже представить, что находишься в каком-то другом месте. На стенах – рисунки Леопарда в тонких деревянных рамках. Кабинет Януса – единственное место в Доме, где можно в цивилизованном оформлении увидеть то, что рисовал Леопард. Сохранившееся на стенах ближе, понятнее и веселее, но стена есть стена, на ней трудно сохранить что-либо таким, каким оно когда-то рисовалось. А если вдруг затеют ремонт с перекрашиванием всего и вся, рисунки исчезнут навсегда. Останутся только эти. И те, что спрятаны у меня. Здесь – сплошные паутины и деревья, на самом большом листе – белый, длинноногий паук с легко узнаваемым янусовским лицом. Понуро висящий в центре надорванной паутины. Не всякий повесил бы у себя такой портрет. Ян повесил. И этот, и остальные, хотя от них так и пахнет ненавистью Леопарда к Могильнику. Подхожу к белому столу, покрытому стеклом.

– Можно мне повидаться с Лордом?

Янус молчит. Видно, что пускать не настроен. Но он никогда не скажет просто – убирайся. Это не в его духе.

– С кем ты поцапался? Подойди, я на тебя посмотрю. – Ян выдвигает ящик стола и начинает в нем копаться. – Подойди, я сказал. Тебе это нравится?

– Что именно?

– Драться. Бить кому-то морду ногами.

Он подцепляет что-то и выволакивает на стол. Бело-бирюзовые пакетики липучки.

– Этот грязный пластырь, который свешивается тебе в глаз, надо сменить.

Ян встает, сажает меня на стул-вертушку и отколупывает со лба клок пластыря. Я вижу, что он действительно грязноват. Это не смертельно, но Янусу надо угодить, и я сижу тихо, пока он делает все, что считает нужным.

– Видишь ли, – бормочет он, мучая мои раны. – Ему надо побыть одному. Иногда человеку это необходимо. Ты ведь понимаешь?

Я понимаю. Это действительно так. Но пусть объясняет это Македонскому, Слепому и всем остальным.

– Я понимаю, – говорю я.

– Вот и хорошо. Возвращайся в группу и скажи ребятам, чтобы никто больше не приходил. Может, позже, не сейчас. Это распоряжение директора.

Я вздрагиваю:

– Почему? Кажется, он обычно не вмешивается в ваши дела?

Взгляд Януса прочно приковывается к заоконному пейзажу.

– Иногда вмешивается. В исключительных случаях.

Мне становится плохо. Это приговор. Смотрю на Януса, и он вдруг отъезжает от меня вместе со столом, со всей комнатой, уменьшаясь и расплываясь. Стены скользят мимо, унося его все дальше, а картины, наоборот, увеличиваются, надвигаясь, и паутины на них раскидываются от пола до потолка жуткими искореженными ромбами. Закрываю глаза, но так еще страшнее, потому что слышны голоса. Еле слышный шепот тех, кто запутался в паутине и не вышел отсюда. Леопард. Тень. Это страшное место. Самое страшное в Доме. Как бы его ни мыли и ни надраивали, от него несет мертвечиной. Меня встряхивает так, что лязгают зубы. Передо мной лицо Януса, паутина исчезла.

– Что с тобой? – спрашивает он. – Ты в порядке?

– Не делайте этого, – говорю я.

Он отпускает меня и выпрямляется.

– Этого делать нельзя…

Янус качает головой:

– Уже не я решаю. Мне очень жаль. Да что с тобой творится?

Что творится? Со мной творится Могильник. Сущая ерунда по сравнению с тем, что предстоит Лорду.

– Извините, – говорю я. – Мне слишком плохо здесь.

Он наливает воды в стакан, дает мне выпить. Забыв про грабли, пью из его рук.

– Здесь? – переспрашивает он. – Только здесь?

– Вы знаете, о чем я говорю.

– Догадываюсь. Эти ваши странные суеверия. Ты уверен, что совершенно здоров?

Я молчу. Совершенно здоровых людей не бывает. Пауку ли об этом не знать. Янус опустил веки и кусает губу. Сгорает от любопытства. Долго ждать его вопросов не придется. Он достает из ящика сигареты, и я понимаю, что вопросов будет даже больше, чем я думал. Ян садится на край стола.

– Откуда берется этот страх? – спрашивает он. – Почему? Я сталкиваюсь с этим слишком часто, чтобы просто отмахнуться. Когда в моем собственном кабинете, – он оглядывает стены, словно желая убедиться, что это именно его кабинет, – кого-то прошибает холодным потом… Я хочу знать, чем это вызвано. Если бы такое происходило только с тобой, все было бы понятно. Я отправил бы тебя к специалисту и проблема была бы решена, – он затягивается, внимательно глядя мне в глаза. – Можешь не отвечать, если не хочешь…

– Я отвечу. Только мой ответ вас вряд ли удовлетворит. Это плохое место для любого из нас. Есть хорошие места, и есть места плохие. Это плохое. А объяснять почему – долгая история.

Янус молча ждет продолжения.

– И раз вы все равно, не собираетесь пускать меня к Лорду…

Его плавно переходящий в лысину лоб собирается гармошкой морщин.

– Ты что, торгуешься? – спрашивает он удивленно. – Со мной?

– Торгуюсь. Между прочим, я когда-то написал на интересующую вас тему статью, так что вполне компетентен в данном вопросе. Обширная статья с цитатами из классиков и с интригующим названием: «Могильник – вне и внутри нас». Как вы, наверное, уже догадались, сейчас я набиваю себе цену. Так принято, когда люди торгуются.

Янус смотрит с таким изумлением, что становиться смешно.

– Ничего не понимаю, – признается он. – Какая статья? Где?

– Всего-навсего в журнале, выходящем в десяти экземплярах.

Он облегченно вздыхает:

– Теперь понял. Это ваш журнал. О чем он?

– Обо всем. Выходит дважды в год, так что тем хватает. Авторы подписываются неопознаваемыми кличками, и каждый пишет, о чем вздумается. Я написал о Могильнике, а в следующем номере было много откликов. Они бы вас заинтересовали не меньше, чем сама статья.

Янус кивает:

– Торг идет на два номера, то есть на годовую подписку. Кот в мешке. Даже два кота.

– На визит к одному дракону. По-моему, честно.

– Не пойдет, – с явным сожалением отвечает Янус. – Это значило бы поступиться принципами. Пойти на поводу собственного любопытства. Потом я бы сам себя стыдился.

– Как хотите.

Несмотря на отказ, вздыхаю с облегчением. Хорошо, что он не согласился. Мне бы не хотелось, чтобы он прочел тот мой опус. Там было слишком много сказано. Как в картинах Леопарда. Мельком смотрю на них – и тут же отвожу взгляд. Только не хватало еще раз «поплыть». Приковываюсь к Янусу. Стараюсь смотреть только на него. Он нарочито демонстративно оглядывается в поисках того, чего ему все равно не увидеть, и гасит сигарету в пепельнице.

– Ты отвратительно выглядишь, – говорит он. – Ступай выспись, поешь, приведи нервы в порядок и возвращайся.

В голосе раздражение – я и мои страхи его достали. Должно быть, они видны невооруженным глазом.

– Иди, – повторяет Янус. – Все устали. Завтра выходной. Я разрешу тебе зайти к нему.

– Не выйдет, – терпеливо объясняю я. – Был бы рад послушаться, но не могу. Пока не увижусь с Лордом, я не могу ни спать, ни есть, ни смотреть в глаза нашим. Не могу вернуться ни с чем и завалиться в кровать. Я не сделал того, что должен был сделать – неужели вы не понимаете?

– Я должен потакать тебе в твоих капризах?

– Это не каприз. Вы это прекрасно знаете.

– Он должен от вас отдохнуть. Ему нужен покой. Ты в своем истеричном состоянии только навредишь ему.

– Покой у него будет там, куда вы его отправите. И навредят ему там намного больше. Знаете, как здесь говорят о тех, кто ушел из Дома? Как о покойниках. А вы не даете мне побыть с человеком, который скоро для нас умрет.

Янус слезает со стола. Трет лицо, длинный и сутулый, больше, чем когда-либо, похожий на того себя, каким его изобразил Леопард.

– Знаешь… – говорит он, – если ты просидишь в моем кабинете еще немного, я, пожалуй, не смогу больше оставаться тут один. Мне станет мерещиться бог знает что, пока я окончательно не уверюсь, что это и впрямь страшное место. Не знаю, как ты этого добиваешься, но с этим трудно бороться.

– Я не добиваюсь, – говорю я. – Я так чувствую.

– Пойдем, – он открывает дверь и придерживает ее для меня. – Мне дороги мой кабинет и мое душевное спокойствие. Поэтому чем быстрее ты отсюда уберешься, тем лучше для нас обоих.

Я встаю.

– Так вы меня к нему пустите?

– Мы идем туда. Как, по-твоему, должен я спросить, хочет ли он тебя видеть?

Идем по Могильному коридору. Он шагает – длинный, как белая башня, я еле волочу ноги, поспевая за ним. Меня можно свернуть в жгут и использовать вместо половой тряпки. Конечно, я добился своего, но для самого главного, ради чего все затевалось, уже не осталось сил. Сворачиваем в боковой коридор. Задержавшись у длинного непрозрачного шкафа, Янус вытаскивает из него халат и бросает мне:

– Подожди здесь. Сейчас вернусь.

Я жду, рассматривая композицию из кактусов в розовых горшочках, подвешенных на проволочной конструкции, чем-то напоминающей паутину. Еще одну. Этот коридорный аппендикс, выстланный белым линолеумом, сверкает под лампами, гордо демонстрируя главное качество Могильника – стерильность. При желании с него можно есть. Но я всего лишь сажусь на пол и прислоняюсь к стене. И привожу в порядок расшатанные нервы простым внушением. «Ты не пациент, ты здесь проездом. Пробегом. Ты уйдешь, когда вздумается. Помни об этом и терпи».

Когда-то давно в статье о Могильнике я расковырял слово «пациент». Препарировал его, разложил на микрочастицы. И пришел к выводу, что пациент не может быть человеком. Что это два совершенно разных понятия. Делаясь пациентом, человек утрачивает свое «я». Стирается личность, остается животная оболочка, смесь страха и надежды, боли и сна. Человеком там и не пахнет. Человек где-то за пределами пациента дожидается возможного воскрешения. А для духа нет страшнее, чем стать просто телом. Поэтому Могильник. Место, где отмирает дух. Страх, которым пропитаны здешние стены, неистребим. В детстве я не понимал, откуда взялось это название. Старшие оставили его нам в наследство вместе со своим ужасом перед этим местом. Чтобы до него дорасти, потребовалось время. Много времени и страшных потерь. Подрастая, мы как будто заполняли нишу, вырубленную до нас, но по нашей мерке. Пока не заняли ее целиком. Пока не поняли смысл всех названий, придуманных когда-то, и не повторили почти все действия, уже проделанные. Даже безобидный «Блюм» был чьим-то праправнуком, целиком наше детище – и повторение старого. Я не сомневался: если найти номера его предшественников и покопаться в них, всплывет не один крик ненависти к Могильнику, аналогичный моему.

Янус выходит и кивает на дверь:

– Можешь войти. Через четверть часа зайду и проверю, как на него действует твое присутствие. Если он будет расстроен, ты здесь больше не появишься.

– Спасибо, – говорю я и вхожу.

Белизна кафельных стен слепит. Палата крошечная, одноместная. Окон нет. Лорд сидит, укрытый до колен, в уродливой серой пижаме с завязками у горла. На тумбочке рядом с кроватью – поднос с тарелкой овсянки и стаканом молока. Нелепая пижама Лорду к лицу, как, впрочем, все, в чем мне доводилось его видеть. По теории Табаки, Золотоголовый останется красив, даже если его вывалять в дерьме, а уж какие-нибудь живописные смола и перья сделают его просто неотразимым. Человек, непривычный к Злому Эльфу, в его присутствии теряется, погребенный под кучей комплексов. Привычный и очень голодный может отвлечься тарелкой овсянки. Как это происходит со мной.

Она прекрасна! В тарелке с каемкой из мелких розовых цветочков, с золотистой лужицей масла по центру, нежно-бежевая, уже подернувшаяся застывшей корочкой, но явно еще теплая… как раз в меру. Гляжу как загипнотизированный, умирая от желания наброситься, с чавканьем и урчанием вылизать тарелку начисто, с хлюпом втянуть молоко, упасть и уснуть. Смешно, но чем отчетливее я себе это представляю, тем мне голоднее. Даже ноги начинают подкашиваться. Еще немного – и я свалюсь замертво. Лорд удивленно таращится.

– Привет, – бросаю ему, не отрывая взгляда от овсянки. – Как дела?

Да. Явно, что-то не то несу. Какие у него могут быть дела? Дурацкий вопрос. Но надо же было что-то сказать.

Лорд кривит губы.

– Какие дела? О чем ты?

Молчу. Тупо и безнадежно. Овсянка остывает. Лорд смотрит хмуро.

– Ты случайно не голоден?

Вежливый вопрос. Как это мило с его стороны!

– Случайно – очень да!

– Тогда, может…

Дальше не слушаю. Коршуном падаю на овсянку и истребляю ее. Кажется, все-таки ложкой, потому что по окончании трапезы обнаруживаю ее торчащей в зажиме правой грабли. Правда, черенком наружу, так что не совсем понятно, как я умудрился с ее помощью есть. Но это уже мелочи. Все еще трясясь от жадности, чудом не задохнувшийся, обессилено опускаюсь на край кровати.

– Спасибо, Лорд. Это звучит банально, но ты спас мне жизнь.

Подбородок Лорда вздрагивает.

– Я заметил. Извини, это бросается в глаза.

До меня потихоньку начинает доходить юмор ситуации. Предполагаемый утешитель и ободритель явился измордованный, безумными глазами уставился на овсянку и слопал ее, едва дождавшись приглашения. Сожрал обед больного.

– Да. Нехорошо получилось, – признаю я.

Лорд начинает хохотать. Я тоже. Смеемся до слез, истерично, как пара психов. Я даже начинаю опасаться за овсянку, но до этого дело не доходит. Веселье обрывается так же внезапно, как началось. Лорд мрачнеет.

Неприятная пауза. То, чего я опасался с самого начала. Между нами вырастает щит. Обитый железными бляшками, с фамильным гербом – двухголовым вараном-переростком, на фоне трех ярко-красных полос.

– Какая сука?.. – начинает Лорд тоном, от которого на гербе появляется четвертая красная полоса: «Склонен к насилию, опасен, нуждается в строгой изоляции».

– Черный, – поспешно перебиваю я, пока красных полос не стало пять или даже, не приведи господь, шесть. – И не смотри на меня так. Я тоже виноват. Надо было получше к нему принюхаться, когда он вдруг вызвался посидеть с тобой. Если тебя это хоть немного утешит, я его чуть не отправил на тот свет.

– А он – тебя, – усмехается Лорд.

– Куда ему.

Еще одна пауза. Лучше бы он ругался. Молчать этот тип умеет до жути выразительно. И долго. Так что мы сидим и молчим, а тишина сгущается вокруг душным облаком. Нечто странное присутствует в ней. Лорд скорее растерян, чем зол. Возможно, это результат лечения, а может, и что-то другое.

– Что теперь со мной будет? – спрашивает он, когда я уже расстался с надеждой продолжить разговор.

– Не знаю. Как повезет.

Не слишком честно, но не говорить же, что шансов практически нет. Я бы и не смог. Лорд, тем не менее, сникает, как будто я сказал все как есть.

– Дерьмо, – шепчет он. – Надо же было так вляпаться…

Я молчу. Собственное бессилие пожирает меня. Скоро останутся одни кости. После смерти Волка довольно знакомое чувство. В свое время оказалось, что я вполне могу с ним жить. Теперь мне придется пройти через это вновь, утешаясь тем, что бывало и хуже. По крайней мере Лорд останется жив.

– Слушай, – говорит он. – Ты пил когда-нибудь «Дорогу»?

– Нет. Даже не пробовал. Ни «Дорогу», ни «Белую радугу», ни «Четыре ступеньки».

Лорд глядит странно. Его распирает от желания что-то рассказать, и вместе с тем он боится это делать.

– А ты поверишь, если я скажу, что попал черт знает куда и прожил там не меньше четырех месяцев?

Спрашивает – и отводит взгляд. Пальцы терзают край одеяла, губы кривятся в усмешке, как будто я уже разразился протестующим квохтаньем, перекрестился граблями и упал в обморок.

Верю ли я? Смотрю внимательнее – и замечаю то, что должно было броситься мне в глаза сразу, не отвлекись я овсянкой. Он выглядит старше. Исчезли последние следы юношеской пухлости, нежный овал лица как будто сточили. Лицо стало жестче. Теперь уже не скажешь, что ему нет двадцати. Неопределимость возраста – основная примета прыгуна – проступает в нем так отчетливо, что остается только выругаться. Не разглядеть такое может

разве что Черный.

Мое возмущение, должно быть, заметно невооруженным глазом, потому что Лорд усмехается еще презрительнее:

– Ну да, конечно. Теперь ты тоже думаешь, что я спятил.

– Я думаю, что спятил сам. Что мне давно пора на свалку! Господи, не разглядеть прыгуна с двух шагов! Каким же надо быть идиотом!

Он недоуменно моргает:

– Что случилось, Сфинкс?

Беру себя в руки. Какого черта я сюда приперся? Уничтожать чужой ужин? Страдать от сонливости, ничего вокруг не замечая, а заметив, после того как ткнули носом, ругаться? Человек поделился со мной самым сокровенным, и как я на это реагирую?

Закрываю глаза. О некоторых вещах не принято говорить прямо, но когда уже испортил все, что мог, надо за это расплачиваться.

– Это была заброшенная местность, – говорю скороговоркой, не открывая глаз, – раздолбанная трасса, вокруг – поля, изредка попадаются домики. Большая часть заколочена. Из основных примет… ну разве что закусочная. Она торчит где-то там на обочине. По-моему, на нее выходит каждый второй прыгун. Некоторые натыкаются и на заправку, но реже…

Кружится голова. Совсем чуть-чуть, но это тревожный признак.

– Извини, Лорд. Об этом нельзя долго говорить. Я не знаю, что было с тобой потом, и куда ты попал, но дорога на «ту сторону Дома» для всех начинается одинаково. Почти для всех. Я угадал?

Перестаю жмуриться. Глаза Лорда заняли поллица. Как у лунатика, которого внезапно разбудили. Самое время явиться Яну и встретить его безумный взор. Беспокойно озираюсь на дверь.

– Все, Лорд. Соберись. Ты ничего не слышал. Оставь в покое одеяло, сосчитай до ста, выпей молока. Ян обещал зайти. Будешь так дико таращиться, тебя нашпигуют таблетками и запакуют в смирительную рубашку.

Лорд судорожно кивает, изо всех сил пытаясь последовать моему совету. Кажется, даже считает до ста. Выражение лица, во всяком случае, соответствующее. Дойдя, по моим прикидкам, до восьмидесяти шести, он не выдерживает:

– Ты же никогда не пил ничего такого! Откуда ты знаешь?

– Дом – странное место, Лорд, – говорю я. – Здесь у людей похожие глюки. По крайней мере начинаются они похоже. И вовсе не обязательно что-то пить или жевать. Я даже думаю, что если какую-нибудь из смесей, над которыми у нас колдуют так называемые «знатоки», вынести в наружность и кого-нибудь там угостить, ничего особенного не случиться. Ну, может, живот поболит. Ни в чем нельзя быть уверенным, конечно, но мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь.

– Так это не я спятил? – уже спокойнее уточняет Лорд. – То есть не я один.

– Последнее утверждение ближе к истине, – соглашаюсь я.

Тут наконец появляется Янус. Лорд старательно изображает безмятежность. Я выпрямляюсь, сердобольный и участливый, как бабушка, дорвавшаяся до любимого внучка.

– Как вы тут? – интересуется Ян. – Еще не деретесь?

Мы дружно протестуем. Посмотрев на поднос с опустевшей тарелкой, Ян удовлетворенно кивает.

– Можешь остаться еще ненадолго, – говорит он мне. – Полчаса, не больше.

Ян исчезает.

Теперь можно торчать в палате Лорда хоть до завтрашнего утра, никакие Паучихи не явятся, чтобы меня отсюда вытолкать.

– Дай сигарету! – клянчит Лорд, как только за Янусом хлопнула дверь.

Лезу граблей в карман. Она там благополучно застревает и копошится как глупое насекомое, безо всякого толку. Лорд притягивает меня к себе, освобождает бедную конечность и достает сигареты. Зажигалку мы находим в другом кармане. Я слезаю с кровати и сажусь на пол спиной к тумбочке. Дружно затягиваемся. Лорд – жадно. Я – обреченно.

– Расскажешь?

Должно быть, сверху мои покачивания лысиной выглядят особенно удручающе.

– Прости. Не могу. Об этом не говорят.

– Я почему-то так и думал. Законы Дома, чтоб их все перезабыли, так?

– Никаких законов. Все получается само собой. Я, например, не суеверен, но вполне может статься, что если я сейчас начну делиться с тобой впечатлениями, мой следующий визит «на ту сторону» закончится не очень хорошо. Правда, я в те края не собираюсь, но кто может знать? О таких вещах никто ничего толком не знает. А болтать о том, чего не понимаешь, не стоит.

Некоторое время мы молча курим. Линолеум подо мной испещрен следами кроватных колесиков, стены, на метр облицованные белым кафелем, слепят, отражая свет ламп. Я чувствую, что я в неподходящей обстановке, в неподходящем месте и беседую на неподходящие темы. Без сомнения, тема еще не закрыта. Лорд слишком взбудоражен, чтобы притормозить только потому, что я его об этом попросил. Я не сомневаюсь и в том, что так или иначе, рано или поздно мне это выйдет боком. Поясница мерзнет, в позвоночник врезается ручка от ящика на тумбочке, но моя усталость перешла в оцепенение, я просто не в состоянии сдвинуться с места.

– Откуда ты знаешь о других? – спрашивает Лорд. – Все-таки кто-то что-то рассказывает?

Это называется «подкрасться исподволь». Вроде бы, совсем не о том говорим и в то же время о чем же еще? Задираю голову, но вижу только его локоть и сизые струйки дыма. Пепел он стряхивает в тарелку из-под овсянки. Варварство, но все лучше, чем пачкать простыни. Завистливо думаю, что мне в свое время никто ничего объяснять не удосуживался. В какой бы форме я ни задавал свои вопросы. С какого бы конца ни заходил и как бы искусно ни подкрадывался к теме. В моем случае это было бессмысленно.

– Слушай, Лорд, – говорю миролюбиво. – Попробуй ответить на свой вопрос сам. Ты же не Курильщик. Подумай хорошенько.

Метод Слепого. Хотя он бы умер от изумления, услышав, как я его применяю. Он в таких ситуациях выразительно молчал. Мне полагалось расслышать сакраментальное «думай сам» в его молчании, подумать и, придя к каким-либо выводам, держать их при себе. Очень удобно. Доведись Бледному учить кого-нибудь плавать, он просто зашвырнул бы объект обучения подальше в воду и уселся ждать. Единственный продукт такой радикальной системы образования – я сам, и можно только восхищаться моей живучестью.

Пока я мысленно поминаю годы своего ученичества недобрым словом, Лорда осеняет:

– Ночь Сказок?

– Молодец!

И похвалы в системе обучения Слепого не приветствовались, но я все же не он.

– Знаешь, как она раньше называлась? «Ночь, когда можно говорить». Слишком прозрачно, да?

– Стихи, песни… – бормочет Лорд. – Кто-то мог проговариваться спьяну. Песни нетрезвого Табаки иногда звучат очень странно…

Я поворачиваюсь к нему и кладу подбородок на край постели. Удобная и рискованная поза. Можно невзначай задремать. Лорд никогда мне этого не простит.

– Ну? – спрашиваю сонно. – Еще? У тебя хорошо получается. Про пьяных ты угадал. Про песни тоже. Можно еще в какой-нибудь четверг посетить сборище поэтов в старой прачечной. Вытерпеть полтора часа унылых завываний и узнать что-нибудь интересное. Но это на любителя.

Лорд еще какое-то время размышляет.

– Иссяк, – признается он наконец. – Больше ничего не могу угадать. Разве что кто-нибудь не очень суеверен и говорит на эти темы вслух.

Я понимаю, что он действительно иссяк. Лицо у него усталое.

– Стены, – говорю я, сжалившись. – Ты читаешь все, что на них написано? И никто не читает. Кроме тех, кто знает, что ищет и где смотреть. Вот ты картежник. Ты знаешь, где проставляются результаты игр – правильно? Некартежники их и за год не найдут.

Лорд хватается за голову:

– Конечно! Какой я идиот! Я сам сто раз…

Все. Ближайшие пару дней мы будем лицезреть прилипшего к коридорным стенам со-

стайника. И отскребать его в обеденный перерыв. Я вдруг спохватываюсь, что, скорее всего, никакой лишней пары дней у него не будет, и эта мысль меня замораживает. Ни стен, ни тем более поэтических сборищ. Я просто забыл об этом, стараясь держаться безмятежно. Перестарался. В груди ноет щемящее чувство утраты. Неуместное в присутствии Лорда, который пока еще здесь.

– Знаешь, – говорю я, – что означает случившееся с тобой? Что Дом взял тебя. Пустил в себя. Где бы ты ни был, ты теперь – его часть. А он не любит, когда его части разбросаны, где попало. Он притягивает их обратно. Так что не все потеряно.

Лорд морщится, вдавливая в многострадальную тарелку окурок.

– Ты сам-то в это веришь? Или просто пытаешься меня утешить?

– Вообще-то я себя пытаюсь утешить. Но еще Седой говорил: слова, которые сказаны, что-то означают, даже если ты ничего не имел в виду.

Он смеется, выуживая из пачки новую сигарету:

– Не знаю, кто такой этот Седой, но раз он что-то такое говорил, я, пожалуй, утешусь. Если вдуматься, «Седой» звучит не хуже, чем «Аристотель». А ты ложись, поспи здесь, если хочешь. Вид у тебя такой, словно ты не доберешься до спальни.

Поспать в Могильнике? Почему бы и нет. Если Лорду не хочется оставаться в одиночестве. Встаю и пересаживаюсь на соседнюю кровать. Их тут две, как нарочно. И вторая тоже застелена.

– Ты прав. Собеседник из меня сейчас никудышный, а до спальни я действительно могу не дойти.

Вытянувшись на койке, заправленной одеялом асфальтового цвета, я испытываю непередаваемое блаженство.

– Спасибо, – шепчу, уже закрыв глаза. – Ты второй раз за день спасаешь мне жизнь.

Он опять смеется.

– Сфинкс, – я так и не понял, сразу он меня окликнул, или мне все же удалось немного поспать, – скажи, а я смогу уходить на «ту сторону» из других мест? Из наружности?

Выкарабкиваюсь из сна, одновременно пытаюсь удержать его, как теплое одеяло, которое с меня стаскивают.

– Что? Не знаю, – собственный голос кажется чужим, он заглушён одеялом, которого нет, – никто не проверял, некому было. И знаешь что… те места не так безобидны, как тебе могло показаться. Среди них попадаются довольно жуткие. Я просто вычислил, что там ты не продержался и двух месяцев…

Я бормочу что-то еще, ведь то, что он спросил – важно, и надо бы объяснить… но наваливается сон, облепляет лицо липкими комьями ваты, которые мешают говорить, и я, незаметно для себя, проваливаюсь в него. В тяжелый, нехороший сон, где человек со стальными передними зубами и лицом, покрытым мелкими шрамами, называет меня «маленьким ублюдком», бьет за каждую провинность и обещает скормить своим доберманам, которых у него пять. Пять тощих, остромордых, невменяемых псов в переносных клетках. В мои обязанности входит их кормежка и уборка за ними, я ненавижу их почти так же сильно, как нашего общего хозяина, а они отвечают мне тем же. Мне тринадцать лет, я беспомощен, одинок и знаю, что никто меня не спасет. *Это он приучил меня к пиву. Просто в его чертовом пикапе никогда не было воды…*

Просыпаюсь резко, как от пощечины, кажется, даже с криком, и вскакиваю, мокрый от старого кошмара, с отдающимся в ушах хохотом. Утробным «хо-хо-хо», причиняющим почти физическую боль.

В палате полумрак, горит только ночник над кроватью Лорда. Золотоголовый добивает мою пачку, сидя все в той же позе, очень прямой и задумчивый. Запах табака полностью забил лекарственный дух Могильника, теперь его не истребит никакое проветривание.

– С пробуждением, – без особого энтузиазма приветствует меня Лорд.

Я нагибаюсь к постели, еще сохранившей отпечаток моего тела, к влажному пятну там, где покоился мой затылок, и вытираю лоб о шершавое одеяло. Потом иду к Лорду. Кости ноют, словно, пока я спал, кто-то на мне попрыгал, что вообще-то недалеко от истины. Лорд протягивает коротенький окурок:

– Извини, больше не осталось. Делать было нечего. Тут, ужин принесли…

И ничего не сказали про дым и мою дрыхнущую в неположенном месте персону. Красота – страшная сила. Действует даже на Паучих. А на них почти ничего не действует.

Лорд вставляет окурок мне в зажим, избегая смотреть в глаза:

– Ты кричал во сне. И говорил. Жуткие вещи.

Я затягиваюсь, почесывая граблезубцем зудящую бровь под пластырем.

– Могильник на меня плохо действует. Почти всегда. Не стоило здесь засыпать.

– Кто этот человек? Он существует?

Кафельная облицовка стен еле уловимым эхо отражает наши голоса.

– Может быть. На «той стороне». Если его никто еще не прикончил. Давай не будем о нем говорить.

– Давай, – Лорд отбрасывает волосы с лица и наконец смотрит мне в глаза. Как будто видит впервые. – Уже поздно. Тебе, наверное, пора. Если не заперли вход.

Мне действительно пора уходить, но ужасно не хочется оставлять его в месте, где ко мне приходил «стальнозубый». Пусть даже во сне. Лорд напуган, а значит, открыт для любого рода нечисти, которой вздумается его посетить. Хотя не мешало бы запастись едой, сигаретами, прочими полезными вещами и предупредить народ, что я ночую в Могильнике.

– Проверю дверь, – говорю я Лорду – Если заперто, сразу вернусь. Если нет, схожу к нашим. Может, даже принесу чего-нибудь пожевать.

Лорд кивает:

– Давай. Там, снаружи – свет, будь осторожнее.

Машу ему граблей и открываю дверь в белоснежно-голубой коридор.

Ночной Могильник – как замок с привидениями. Ненавижу его синеватый свет, превращающий лица в посмертные маски. Дойдя до поворота, сворачиваю за угол. По обе стороны мое скользящее отражения ловят стеклянные дверцы шкафов. Иду быстро. Здесь негде спрятаться, но я отчего-то уверен, что это не понадобится. И оказываюсь прав. Пост дежурной сестры освещен, как огромный аквариум, в центре которого плавает стылый лик Медузы Горгоны. Открой она глаза, мне придется окаменеть, положившись на неспособность некоторых хищников обнаружить неподвижный объект. Но Паучиха спит. Глаза закрыты, только зловеще поблескивают круглые очки. Прокрадываюсь мимо.

Входная дверь не только не заперта, она слегка приоткрыта. Меня это удивляет, но выйдя в темноту площадки перед Могильником, я вижу равномерно вспыхивающие оранжевые точки и перестаю удивляться. Они здесь. И ждут уже давно. У них еда в рюкзаках, бутылки с водой, пледы, кофеварка и даже, наверное, посуда. Кто-то встает мне навстречу. Они успели привыкнуть к темноте, один я ничего не вижу, но, судя по тому, как уверенно передвигается этот кто-то, он, скорее всего, Слепой.

– Янус сказал, что все плохо? – то ли вопрос, то ли утверждение, у Бледного вечно не разберешь.

– Вроде того.

– Тогда пошли, – он оборачивается к сидящим у стены. – Вставайте. Сфинкс нас проводит.

И я их провожаю. Причудливой вереницей мы проплываем мимо аквариума с подсвеченной Горгоной, мимо стеклянных шкафов и непрозрачных дверей – странные длинные тени. Самая гротескная – та, что состоит из двух – Табаки на плечах Лэри – она выше всех и самая лохматая. Здесь нет Черного и Курильщика, зато Македонский тащит спящего Толстого, отражение которого в дверцах шкафов больше напоминает пухлый рюкзак. Я пропускаю их вперед и иду следом, любуясь и восхищаясь. Это моя стая. Читающая мысли, ловящая все на лету. Нелепая и замечательная. Запасливая и драчливая. Я могу полностью раствориться в нежных чувствах к ним – Черного нет, и некому сбить с меня сентиментальный настрой. Но боже мой, до чего же нас мало! Спохватившись, что отстал, тогда как следовало бы идти впереди, показывая дорогу, я убыстряю шаг и краем глаза ловлю последнее отражение в последнем шкафу – Македонского, утаскивающего за поворот свою сопящую ношу, почти слившегося с ним Сфинкса и еще кого-то, мелькающего белыми кроссовками сразу за нами, но исчезающего, стоит мне обернуться. Мне становится совсем хорошо. Специально для этого – последнего, невидимого – я начинаю вслух читать стихи. Совершенно дурацкие, такие, какие любил когда-то Волк:

Зеленый день падучей саранчи…
Предместных гор седые очертанья,
А от полей до дома – две сумы.
Две полновесных сумки стрекотанья…

ДОМ
Интермедия

Хламовник встретил их насмешками и хихиканьем.

– Хвост Слепого вернулся! – крикнул Пышка.

Зануда и Плакса выбили барабанную дробь на днищах дырявых кастрюль.

– Хвост Слепого! Хвост Слепого! – пропели они.

В голосах не было враждебности. Скорее удивление. Как будто месяц в лазарете вычеркнул Кузнечика из их жизни.

Волк жадно озирался по сторонам.

– И… и Сероголовый с ним, – неуверенно добавил Пышка.

Почти вся группа была в фуфайках с яркими, кричащими надписями. Кузнечик понял, что эта мода появилась в его отсутствие. Фуфайки сообщали: «Объятый пламенем!», «Моя жизнь – сплошное разочарование», «Держись подальше!». Лица над яркими надписями казались взрослее.

Спортсмен лежал на своей кровати, свесив ноги, и листал журнал. «Обстоятельствам не поддаюсь» – прочитал Кузнечик его надпись. На них с Волком он даже не взглянул. Волк опустил на пол сумки.

– Привет, Белобрысый! – сказал он Спортсмену.

Зануда и Плакса сразу перестали стучать. Спортсмен мимолетно глянул поверх журнала.

– Пышка, объясни этим, что я давно Спортсмен, – сказал он.

– Он уже давно Спортсмен, а не Белобрысый, – покорно повторил Пышка.

Волк сделал удивленное лицо:

– А волосы не потемнели.

Пышка обернулся за подсказкой, но погруженный в журнал Спортсмен его проигнорировал.

– Волосы Спорта тебя не касаются, – важно сообщил Пышка. – И тебя тоже! – рявкнул он на Кузнечика, хотя Кузнечик о волосах ничего не спрашивал. С Кузнечиком Пышка чувствовал себя увереннее.

Румяный и щекастый, похожий на откормленного поросенка, он прохаживался перед ними, не давая войти, а они ждали на пороге, пока ему это надоест.

– Вот что, – остановился Пышка и подтянул штаны. – Твою кровать, машина детка, мы отдали новичку. Фокуснику. Так что будешь спать в той комнате. И скажи спасибо, что вообще не отправляем к колясникам.

Кузнечик, давно заметивший на своей кровати чужие вещи, промолчал.

– Нам тут всякие дохляки, вроде тебя, не нужны, – закончил Пышка. – И вроде его! – палец Пышки переместился на Волка. – Такие, как он, и вовсе не нужны.

– Это Спортсмен придумал? – спросил Волк.

Спортсмен не снизошел до ответа. Только вытянулся во весь рост, зевнул и перелистнул страницу.

– Хвостик у нас теперь с ручками, – пробормотал он, не отрываясь от журнала. – Чудеса…

Кузнечик посмотрел на свои протезы и покраснел. Глаза Волка зловеще сузились.

Пышка вертелся вокруг, ничего не замечая.

– Давайте, катитесь. Здесь комната стаи. Не для всяких дохлых, по Могильникам шастающих.

Волк оттолкнул его.

– Ладно, я дохлый, – сказал он брезгливо. – А вы все здоровяки. Особенно ты и Чемпион. Или как там его теперь называют… Белобрысый. Значит так. Раз уж вы нас отсюда выперли, мы будем жить в той комнате по своим дохляцким законам, и пускай всякие здоровяки, вроде вас, к нам не суются. Ясно?

Кузнечику не терпелось уйти. Он незаметно наступил Волку на ногу.

– Хватит, Волк. Пошли отсюда.

Волк поднял сумки.

– Мы уходим, – предупредил он. – В свою комнату. Кто не считает себя здоровяком, может перебираться к нам. Места навалом.

Зануда и Плакса растерянно постучали в кастрюли.

– Эй! – возмутился Пузырь, подъезжая к Волку на роликах. – Что значит «ваша комната»? Я тоже там сплю, между прочим.

– Больше не спишь, – отрезал Волк. – Ты ведь здоровяк, так?

Пузырь оглядел себя.

– Не знаю. Не уверен.

– Ну хватит здесь распоряжаться, – Спортсмен привстал на кровати, отложив журнал. – Обнаглели! Катитесь на все четыре стороны, а Пузырь, где захочет, там и будет спать, не вам ему указывать!

Стая молчала. Новичок на костылях, умевший показывать фокусы, грустно смотрел на Кузнечика. Ему тоже хочется уйти с нами, догадался Кузнечик. Но ему досталась моя кровать. Его теперь не отпустят.

Они вышли в коридор, и кто-то запоздало засвистел им вслед.

Кузнечик засмеялся:

– Я этого и хотел.

– Знаю, – сказал Волк.

Они вошли в соседнюю дверь, и Волк включил свет. Комната была голая и уродливая. Два ряда железных кроватей со скатанными матрасами, только три из них застелены. Слепой, сидевший на полу у стены, поднял голову. Он совсем не подрос, хотя, может, по нему просто не было видно. Только волосы стали длиннее. Мода на фуфайки с надписями до него не дошла. Он был в клетчатой рубашке со взрослого плеча. В рубашке Лося, которая была для него слишком длинной.

– Привет, Слепой! – радостно сказал Кузнечик. – Это я. И Волк. Нас выгнали сюда. А ты уже здесь!

– Привет, – поздоровался Волк, опуская на пол сумки.

– Привет, – прошуршал Слепой.

Волк оглядел комнату.

– Грустно, – сказал он. – Но мы сотворим здесь райские кущи.

Кузнечик встрепенулся.

– И я смогу сотворять?

Ему не терпелось испробовать протезы.

– Я же сказал: «Мы», – кивнул Волк. – Живущие здесь. Слепой, ты не против?

Слепой внимательно слушал, чуть склонив голову.

– Нет. Сотворяйте, что хотите.

Волк подошел к застеленным кроватям.

– Которая тут кровать Пузыря?

– Вторая от окна.

Волк сгреб лежавшие на кровати вещи и потащил их к двери. Потом вернулся за бельем.

– Крючка тоже будем выселять? – с надеждой спросил Кузнечик.

Волк остановился.

– Не знаю. Как он сам захочет.

Перетащив вещи Пузыря в коридор, Волк вернулся. Хламовник за стеной шумел топотом и голосами. Волк подбежал к подоконнику и лег на него животом, не обращая внимания на пыль.

Кузнечик пристроился рядом. Волк пожирал двор глазами. У него был вид собственника. Кузнечик часто видел таким Слепого, а Волка еще никогда. «Как они уживутся?» – с тревогой подумал он, оглядываясь на Слепого.

Слепой сидел у стены и слушал. Не шум Хламовника. Он слушал Волка. Настороженно и незаметно.

Не будь здесь Волка, он поговорил бы со мной. Рассказал бы, что было, пока меня не было, обрадовался бы моему приходу по-настоящему, а не так, как сейчас – все про себя и ничего на виду.

Кузнечику стало грустно.

– Слепой, – спросил он, – а знаешь, что написано на одежках Зануды и Плаксы? «Не беспокой одиночку». У обоих.

Слепой улыбнулся. Волк весело фыркнул с подоконника:

– Одиночка плюс одиночка – двое одиночек. А еще десять – это уже целое море одиночества.

– Они обозвали нас дохляками, – сообщил Кузнечик. – Сказали, что нам среди них не место.

– Я слышал, – отозвался Слепой.

Кузнечик сел рядом с ним. Рубашка Лося доходила Слепому до колен. Подвернутые рукава валиками закручивались вокруг запястий. Краешки губ вымазаны белым. Опять ел штукатурку. Кузнечик придвинулся к Слепому и ощутил знакомый запах мела и грязных волос. Он соскучился по нему, но не знал, как выразить свою радость и что сделать, чтобы Слепой ее почувствовал. Можно было только сидеть рядом и молчать. Слепой сидел тихо. Но слушал уже Кузнечика. Не поворачиваясь к нему, он втянул ноздрями воздух и слизнул с губы белый налет.

«У меня тоже есть свой запах», – догадался Кузнечик. Наверное, он у всех есть. У людей, у комнат, у домов. У Хламовника он точно есть, а эта комната пока что не пахнет ничем. Но скоро все изменится.

Он вытянул ноги и закрыл глаза. «Вот мой дом, – подумал он. – Это здесь. Где Волк со Слепым будут ждать меня и беспокоиться, если я где-то задержусь надолго. Это и называется „райские кущи“».

С утра Волк взялся за комнату. Он бегал к Лосю и к старшим, спускался во двор и на первый этаж, притаскивал отовсюду груды того и этого и раскладывал их вдоль стен. Кузнечик не выходил. Они со Слепым стерегли комнату. Волк раздобыл краски в банках и баллончиках, старый этюдник, стремянку и облезлые кисти. Пустые банки он расставил на полу и разложил рядом стопки пожелтевших газет. Кузнечик уже начал уставать от его суеты и мельтешения с разными предметами в руках, но тут Волк объявил, что все готово и можно приступать.

Кузнечик помог расстелить газеты. Волк влез на стремянку и принялся закрашивать стену белым. Дряхлый транзистор распевал тягучие блюзы, хрипел и плоско острил. Кузнечик разгуливал по газетам и, предвкушая разноцветье «райских кущ», тихо подпевал знакомым мелодиям. Слепой отмывал подоконник, разбрызгивая серую воду.

Звонок к обеду застал их врасплох. Волк остался, а Кузнечик и Слепой пошли в столовую. Спортсмен бросал на них уничтожающие взгляды, Пышка строил рожи, синеглазый Фокусник смотрел жалобно и тоскливо. Кузнечик впервые пользовался протезами у всех на виду и от смущения ел очень медленно.

– Спортсмен как-то странно на нас глядит, – шепнул он Слепому.

– Пусть лучше глядит за своими.

– Почему?

– Потому что Волк хитрее него, – туманно ответил Слепой и, сдавив котлету двумя кусками хлеба, сунул бутерброд Кузнечику в карман. Второй такой же бутерброд оттянул другой карман. На обратном пути они украсили куртку Кузнечика двумя жирными пятнами.

Кроме сидевшего на стремянке Волка в комнате оказались Красавица с Горбачом. Хомяк Горбача метался в тазу на одной из кроватей. На подоконнике сушился отмытый до блеска хомячий аквариум. Красавица, высунув язык, неумело, но старательно тер пластмассовый абажур мокрой тряпкой. Горбач, присев на корточки, рисовал на стене непонятного зверя на столбоподобных ногах. Увидев их, он смущенно выпрямился и спрятал карандаш.

Все это было внизу. А выше по белой стене плыли зеленые и синие треугольники, красные спиральки и оранжевые брызги.

«Слепой не видит», – грустно подумал Кузнечик.

– Ну как? – спросил Волк с высоты стремянки.

– Да! – сказал Кузнечик. – Это оно! То самое!

– А это, – Волк ткнул кистью в Красавицу и Горбача, – свежие Чумные Дохляки. Теперь нас пятеро плюс хомяк.

«Вот почему Спортсмен так злился», – понял Кузнечик.

– Можно, я дорисую? – ни к кому не обращаясь, спросил Горбач.

Он вернулся к своему зверю и начал покрывать его полосками. На его голове, как продолжение настенных, блестели оранжевые брызги.

– Мы принесли вам еду, – сказал Кузнечик. – Текучие котлеты.

Ужинать не пошел никто. К вечеру стена была разрисована. Верхняя часть пестрела летающими спиралями и треугольниками, на нижней паслись странные звери. Полосатый зверь Горбача. Тонконогий волк с зубами как у пилы – произведение Волка. Улыбающийся хомяк. Красавица намалевал красное пятно, размазал его и заплакал. Общими усилиями пятно превратили в сову.

Кузнечик не смог удержать кисть. Волк обмотал палец протеза тряпкой и окунул его в краску, после чего, в шеренге зверей появился гигантский дикобраз с кривыми иголками. Слепой нарисовал жирафа, похожего на подъемный кран и пустого внутри. Горбач его раскрасил. Когда они закончили, краска была повсюду. Газеты, одежда, руки, лица, волосы, хомяк – все было разноцветным. Лось, заглянувший проверить, почему их не было на ужине, застыл на пороге.

– Боже, – сказал он. – Что делается!

– Правда, красиво? – шепнул Красавица. – Это мы все сами придумали.

– Я вижу, – сказал Лось. – Ночевать сегодня будете у меня.

– Нет, – заволновался Кузнечик, – нельзя. Если мы уйдем, Спортсмен и другие тут все попортят. Мы откроем окна и проветрим. Пахнуть совсем не будет. Пожалуйста!

Лось осторожно переступил порог и прилип подошвами к газетам.

– Оппозиция? – спросил он Волка.

Волк кивнул.

– Они сами нас выперли.

Лось разглядывал чумазые лица, пол и банки с краской, потом перевел взгляд на стену. Мальчишки затаили дыхание.

– Вот тут у вас, вроде, пустое место, – сказал Лось.

Пустое место занял зеленый динозавр с фигурой кенгуру, а костюм Лося украсился изумрудными пятнами.

– Да, – заявил Лось, поднимаясь с колен. – Это заразительно. А теперь будем мыться, – он засунул кисть в банку с краской. – Другие стены ждет та же участь?

– Придумаем что-нибудь, – пообещал Волк.

– Не сомневаюсь, – сказал Лось. – Открывайте окна.

Они открыли окна и убрали испачканные газеты. Лось увел Кузнечика и Красавицу отмываться. Он мыл их по очереди. Как только грубая щетка отрывалась от Кузнечика и набрасывалась на Красавицу, Кузнечик засыпал. Среди белого кафеля, под грохочущим горячим водопадом, покачиваясь и впиваясь пальцами ног в решетку стока, чтобы не упасть. Визги Красавицы, заглушенные душем, удалялись, руки Лося встряхивали его, появлялась мыльная щетка – и он просыпался. Потом его, завернутого в полотенце, несли куда-то, и он уже не спал, но притворялся, что спит, чтобы не идти самому. В комнате он высунулся из мохнатого кокона.

Горбач, Слепой и Волк сидели рядышком на кровати. Стена сияла перед ними подсыхающим великолепием, и Кузнечику опять стало грустно от того, что Слепому ее не увидеть. Лось укрыл его одеялом, и Кузнечик притаился под ним, как в теплой норе. Голоса журчали, перекатываясь через него, он не различал слов и, уже засыпая, позвал:

– Слепой…

К нему подкрался кто-то, пахнущий краской.

– Знаешь, – шепнул Кузнечик. – Этот динозавр – он немного выпуклый. Когда высохнет, ты сможешь его увидеть… если потрогаешь…

Пахнущий краской что-то ответил, но Кузнечик уже не услышал. Он спал.

Утром Волк ввинтил новые лампочки, чтобы было светлее. Для двух склеили колпаки из цветного картона, и Волк разрисовал их иероглифами. Третью продели в абажур, отмытый Красавицей. После Красавицы его еще раз мыл Горбач, но Красавица об этом не знал и, проходя под абажуром, всякий раз задирал голову и озарялся счастливой улыбкой, сам как лампочка под черной челкой. Весь день они по очереди стерегли комнату. Стена совсем высохла. Стая Хламовника вела себя подозрительно тихо. Иногда кто-нибудь из них прокрадывался к двери и копошился там, пытаясь заглянуть в замочную скважину. Иногда они стучались и удирали прежде, чем дверь успевали открыть.

Волк и Кузнечик остались сторожить на время обеда. Волк сидел на подоконнике и смотрел в окно. Кузнечик лежал на кровати. В аквариуме шуршал хомяк. За стеной было непривычно тихо. В дверь постучали. Волк, открывавший ее все утро, чтобы обнаружить за порогом пустоту и услышать топот убегающих ног, не двинулся с места.

– И во время обеда не успокаиваются, – сказал он. – Как маленькие.

Стук повторился. Кузнечик встал.

– Можно? – спросил писклявый голос, и в приоткрывшуюся щель просунулась ушастая голова.

Кузнечик зажмурился. Потом открыл глаза.

– Это что – колясник?

– Да, – сказал гость. – Странно, правда? – и въехал в комнату.

Колясник Вонючка был выдающейся личностью. Кузнечик много чего о нем слышал, хотя никогда не видел вблизи. Знающие люди говорили, что Вонючка – самый вредный колясник в Доме. Младшие ходячие всех колясников считали вредными и капризными, но Вонючку таким считали даже сами колясники. Он таким и был. Глядя на него, воспитатели с тоской подсчитывали оставшиеся до пенсии годы. Соседи по комнате мечтали задушить. Вонючке было девять лет, но за свою короткую жизнь он успел очень многое. Дурная слава бежала впереди него.

– Я приехал посмотреть, – сказал Вонючка. – Будете выгонять?

– Смотри, – разрешил Волк. – Если тебе и правда интересно.

Вонючка уставился на стену. Кузнечик с Волком – на Вонючку. Вонючка был маленький, некрасивый, с огромными нелепыми ушами и огромными круглыми глазами. На розовой рубашке темнели жирные пятна, а таких грязных рук,

как у него, Кузнечик ни у кого еще не видел. И все же было приятно, что колясник приехал специально, чтобы посмотреть на их стену.

– Нравится? – спросил он.

Вонючка отвернулся от стены.

– Не знаю. Может, и нравится. А может, и нет. Вы теперь что – отдельная стая? Со своей отдельной комнатой, да?

«Все знает», – удивился Кузнечик.

– Мы не стая, – сказал Волк. – Мы – Чумные Дохляки. Распространители заразы. Так и передай всем, кто спросит.

– О-о! – большие глаза Вонючки загорелись, и он стал похож на охотящуюся сову. – Хорошее название. Я это запомню, – он огляделся. – У вас только пять кроватей застелено. Мало вас одних для целой комнаты.

– Ну и что? Чтобы распространять заразу, вполне достаточно.

– Верно, – Вонючка смущенно поковырял грязную ладонь. – Я просто подумал… может, вам еще один Чумной Дохляк нужен? Я бы не отказался. Я бы тоже заразу распространял. Это я умею.

Кузнечик посмотрел на Волка. Волк посмотрел на Кузнечика.

«Сейчас Волк согласится, – с ужасом подумал Кузнечик. – Он может и не знать, что такое Вонючка. Его слишком долго продержали в Могильнике».

Но Волк, наверное, знал.

– Никто нам не нужен, – сказал он.

Вонючка, похоже, другого ответа и не ждал. Но продолжал смотреть на Кузнечика. Его круглые совиные глаза были слишком большими, почти бездонными, если смотреть в них долго. Они сияли странным, манящим светом, как небо, ощетинившееся звездами. Кузнечик смотрел дольше, чем следовало. Сияние притянуло его.

– Приезжай, – произнес он непослушными губами. – Если хочешь…

Вонючка заморгал, и сияние далеких звезд погасло. Он вытер грязной ладонью нос. Засопел и показал заборчик острых зубов.

– Я только съезжу за вещами. Я мигом, – он развернул коляску и поехал к двери. На удивление резво. Из коридора донеслась его победная песнь. Дверь хлопнула.

Кузнечик попятился и сел на кровать.

– Что я наделал? – спросил он.

Волк смотрел на дверь.

– Ничего особенного, – сказал он, – всего лишь пригласил к нам жить самого известного пакостника в Доме.

Кузнечик чуть не расплакался:

– Волк, честное слово, я не хотел. Не знаю, как это получилось. Он смотрел, смотрел, и я сказал…

– Ладно, не переживай, – Волк сел рядом. – Когда приедет, скажем, что передумали. Большинством голосов. Я ведь не согласился.

Кузнечик лег лицом в подушку. Он чувствовал себя ужасно. В свой дом, в свою родную комнату, он позвал самого противного человека, какого только можно было найти. Как будто нарочно, чтобы все испортить.

Шум возвращавшихся из столовой прокатился по коридору, стихая и рассеиваясь по комнатам. С ревом и топотом промчалась стая Хламовника, постукивая на бегу в их дверь. Вошел Горбач с большим пакетом бутербродов. Следом – Слепой с двумя бутылками молока. Красавица скромно плелся позади всех, и в руках у него ничего не было.

– Мы принесли сосиски, – весело начал Горбач и запнулся. – Что-то случилось? – спросил он шепотом. – Чего вы такие несчастные сидите?

– У нас был колясник Вонючка, – объяснил Волк. – Кузнечик разрешил ему переселиться к нам. Так вышло. Он не хотел.

– Вонючке? – в один голос ужаснулись Горбач и Слепой.

У Кузнечика защекотало в носу. Он молча смотрел в пол.

– Скажем, что это была шутка, – предложил Горбач. – Скажем – Кузнечик пошутил. Ты ведь и правда пошутил, Кузнечик?

Кузнечик смотрел в пол, изо всех сил стараясь не расплакаться.

– Что-нибудь придумаем, – неуверенно сказал Волк. – Может, он сам пошутил и не приедет. Когда это бывало, чтобы колясник просился к ходячим. Скажем – случайно вырвалось. Мало ли что можно сказать. Главное, чтобы он убрался.

Красавица отрешенно смотрел в потолок. На свою лампочку. Вернее, на абажур. Они долго сидели в тишине. На полу засыхали бутерброды. Закрыв глаза, Кузнечик представлял Вонючку. Как он собирает свои вещи. При всех открывает свои тайники. И объясняет колясникам, что перебирается в расписную комнату. А они смеются и не верят. «Кому ты там нужен? – говорят они. – Эти ходячие просто пошутили». А Вонючка продолжает собирать вещи.

Кузнечик представил все это так ясно, что чуть не задохнулся. И сразу открыл глаза.

– Нет, – сказал он. – Я так не могу. Я сказал – приходи. Он знает, что это не шутка. Он примчится со всем своим добром… – Кузнечик замолчал. Что-то в горле мешало ему. Он зарылся лицом в колени, и они сразу стали мокрыми.

– Эй, перестань, – попросил Волк. – Мы сами с ним поговорим. Ты чего?

Горбач громко засопел в кулак. Кузнечик поднял заплаканное лицо и посмотрел на Волка:

– Ты с ним поговоришь, и ты его выгонишь. А я буду молчать и делать вид, что я ни при чем? Он мне поверил, а не тебе. А я, получается, не держу свое слово. Кто я тогда?

Волк отвернулся.

– Пусть будет, как он хочет, – сказал Слепой. – Пусть он держит свое слово. Только пусть не ревет. А этот Вонючка – он что, тяжелый, как танк?

Кузнечик не успел удивиться словам Слепого. Они услышали странный скрежещущий звук и одновременно вскочили. Дверь распахнулась, и на пороге появился шкаф. Потом они увидели, что это не шкаф, а большой ящик на колесах.

– Эй, помогите! – донесся из-за ящика задыхающийся голос. – Мне его не протолкнуть!

Волк и Горбач втащили ящик. В дверь он прошел только боком. За ящиком обнаружился Вонючка, прижимавший к груди распухший рюкзак и одетый в зимнюю куртку. На его голове красовалась полосатая шапочка.

– Вот я сколько всего привез, – сказал он гордо. – Глядите… – Вонючка увидел заплаканное лицо Кузнечика и замолчал. Потом покраснел. Очень медленно, начиная с огромных ушей.

– Ага, – сказал он. – Ага, – и стащил с головы разноцветную шапочку. – Понятно.

– Что тебе понятно? – грубо спросил Волк. – Протискивайся и закрывай дверь, не то сюда весь Хламовник сбежится.

Вонючка заморгал.

Горбач обошел ящик и постучал по нему.

– У тебя тут что, мебельный гарнитур?

Красавица заглянул в него сверху.

– Ой, там трактор, – удивился он.

– Не трактор, а соковыжималка, – обиделся Вонючка. – Я ее сам сделал. Очень полезная в хозяйстве вещь.

Кузнечик вытер мокрый нос о колено и улыбнулся.

– А это что? – Горбач выудил устрашающую на вид железную конструкцию.

– Капкан, – скромно ответил Вонючка. – Его я тоже сам сконструировал.

– Тоже очень полезная в хозяйстве вещь, – съязвил Слепой. Он подошел к ящику. Волк и Горбач ныряли в него, доставая все новые и новые вещи. Красавица ничего не трогал, боясь сломать. Слепой ощупывал то, что клали на пол.

– Чайник, – пояснял Вонючка. – Ванночки для фотографий. Набор инструментов. Чучело рогатой гадюки. Складная вешалка. Гитара…

– Эй, – перебил его Волк. – Ты умеешь играть на гитаре?

Вонючка почесался и посмотрел в потолок.

– Вообще-то нет.

– Тогда откуда она у тебя?

– Прощальный подарок соседей по комнате.

– Понятно. Унес все, что смог. Там хоть что-нибудь осталось?

Вонючка вздохнул:

– Тумбочки и кровати.

Он виновато уставился в пол. Кузнечик и Горбач засмеялись.

– Ясно, – сказал Волк. – Утром придут за этим ящиком.

– Не придут, – твердо сказал Вонючка. – Пусть только попробуют. Я предупредил, что в таком случае немедленно к ним вернусь.

Горбач поскользнулся на капкане и сел в салатницу. Кузнечик скорчился на кровати. Волк предупредил:

– Эй, мне нельзя много смеяться, слышите?

А потом был только смех и стон, и даже Слепой смеялся, а пронзительнее всех заходился Вонючка.

– Он вернется! Шантажист! Сосед по комнате!

– Вы не досмотрели! – кричал Вонючка. – Там еще много всего!

Они завизжали, сотрясая кровати.

Вдруг Волк выпрямился и сказал:

– Шшш… слышите?

Они умолкли – и услышали тишину. Тишину Хламовника, напряженно прислушивавшегося к их веселью.

На гитаре Вонючка играть не умел, зато умел на губной гармошке и знал девятнадцать песен, веселых и грустных. Он сыграл их все. В ящике оказалось еще много интересного. Например, паутина проводов, в которой запутался Горбач.

– Сигнализация, – объяснил Вонючка, распутывая его. – С сиреной.

– Интересно, – сказал Волк. – Полезная в хозяйстве вещь. Для нас – так просто незаменимая. Надо ее установить.

Они принялись устанавливать. После того, как всю дверь опутали проводами, и на нее стало страшно смотреть, оказалось, что сирена не работает.

– Ничего, – безмятежно заметил Вонючка. – Где-нибудь обрыв, наверное. Я потом посмотрю.

Провалы Вонючки Кузнечик переживал болезненно. Но сигнализация оказалась единственным провалом. Капкан работал. Это выяснилось, когда Слепой на него наступил. Соковыжималка тоже работала. Вешалку установили в углу, и она выдержала две куртки и один рюкзак. Вонючка очень старался произвести хорошее впечатление. При каждом удобном случае он повторял, что все может делать сам, и бросался это доказывать, вываливаясь из коляски и резво ползая по комнате. Он показал, как умеет сам влезать на кровать и в коляску, и даже попытался покорить подоконник, но сорвался. Потирая синяк на подбородке, он выразительно уставился на Кузнечика. «Видишь, как я стараюсь?» – говорил его взгляд.

Волк удалился на свою кровать с гитарой и пытался играть – без особого, впрочем, успеха. Красавица сидел перед соковыжималкой и рассматривал свое отражение в ее блестящем боку. Слепой у стены подслушивал Хламовник, держа на весу ушибленную капканом ногу. Когда Вонючка уехал в туалет, после долгих заверений, что «в этих делах ему помощь ну совершенно не нужна», Горбач

сказал Волку:

– Этот Вонючка – неплохой парень. И чего все на него ополчились? Говорят, никого подлее него в Доме нет. А он славный.

– Да, – сказал Волк, поглаживая гитару. – Он ничего. Симпатичный ребенок, немного увлекающийся шантажом. Поймал Слепого в капкан, свалился с подоконника, совершенно случайно сожрал четыре чужих бутерброда с сосисками…

– Он был голодный, – заступился за Вонючку Кузнечик. – Он на обеде не был.

– Я тоже не был, – вздохнул Волк. – Хотя если завтра никто не явится за этой гитарой, я готов скормить ему еще два обеда.

Кузнечик успокоился. «Хорошо, что Вонючка догадался прихватить гитару – подумал он. – И хорошо будет, если завтра за ней не придут».

– Где бы достать апельсин? – жалобно спросил Красавица. – Или лимон? Или еще что-нибудь выжимающееся? – он осторожно потрогал кнопку пуска соковыжималки – и быстро отдернул руку. Он очень боялся ее сломать. Все, что он трогал, ломалось как будто само собой.

– Спортсмен ссорится с Сиамцами, – сообщил Слепой. – Они сперли у него журнал с голыми тетками.

– Да, – сказал Волк. – Моральный облик мальчика удручает. А ты прямо как подслушивающее устройство, Слепой. Про Вонючку они еще не знают?

Слепой потряс волосами:

– Нет. Но гармошку уже расслышали.

Вонючка вернулся. Пристроился у двери и, тихо насвистывая, ковырялся в проводах сигнализации.

– Где бы достать апельсин? – спросил Красавица. – Или хотя бы мандарин. Не знаете?

– Где бы достать самоучитель игры на гитаре? – спросил Волк. – Как вы думаете, может, у Лося найдется?

Пронзительный вой сирены подбросил всех в воздух. Красавица зажал уши. Сирена надрывалась две минуты, потом стало тихо.

– Работает! – радостно сообщил Вонючка, тараща на всех огромные и наглые глаза.

Уходя на завтрак, они оставили сигнализацию включенной, а у двери поставили замаскированный капкан.

– Может, когда мы вернемся, в нем уже кто-то будет, – сказал Горбач.

В столовой присутствие Вонючки за их столом вызвало скандал. Спортсмен демонстративно отсел подальше, стая последовала его примеру. Длинный стол младших ходячих разделился посередине безлюдной полосой. Даже старшеклассники это заметили.

– Гляньте, у малявок раскол, – сказал старшеклассник Кабан.

– Подрастают, – пренебрежительно отметил Хромой. – Становятся таким же дерьмом, как мы.

Младшие, расслышавшие этот обмен мнениями, гордо выпрямились и покраснели. Старшие сравнили их с собой!

Колясники сумрачно разглядывали Вонючку.

Вонючка сиял и свинячил вокруг своей тарелки.

Возвращаясь из столовой, Кузнечик остановился у щита с объявлениями. «Разлученные». Вечерний сеанс. 2 серии. Значит, в десятой вечером никого, кроме Седого, не будет. Кузнечик побежал догонять своих.

Вонючка попросил разрешения нарисовать что-нибудь на стене. Волк вытащил банки с краской и выделил ему угол. Вонючка рисовал долго. Карандашом, потом гуашью – до самого обеда его не было слышно, только из рисовального угла доносились вздохи и шуршание, свидетельствовавшие о муках творчества.

Волк раздобыл у кого-то самоучитель игры на гитаре. Он читал его очень внимательно, но Кузнечику показалось, что у него не выходит сосредоточиться. Красавица разжился апельсином и сидел с ним перед соковыжималкой, не решаясь ее включить. Кузнечик и Горбач установили на тумбочке печатную машинку – еще один дар ящика, которым никто, кроме Кузнечика, не заинтересовался. Кузнечик сразу понял, что машинка нужна ему. Попасть пальцем протеза по клавише с буквой намного легче, чем эту же букву нарисовать так, чтобы кто-то смог догадаться, что именно за буква имелась в виду. Ручки выскальзывали из искусственных пальцев, буквы получались корявыми и рваными. Поэтому, увидев машинку, Кузнечик обрадовался и попросил поставить ее на свою тумбочку. Пока Горбач заправлял в нее листы бумаги и печатал на них все подряд, он представлял, какое письмо напишет Рыжей и Смерти и как опустит его в лазаретный ящик – специальный ящик для писем, висевший возле лазаретной двери. В Хламовнике шумели намного громче обычного.

– Может, готовятся на нас напасть? – сказал Горбач.

– А может, нападают друг на друга? – предположил Кузнечик.

Горбач отстукал слово *нападение.*

– А может, это рушится империя Спортсмена, – сказал Волк. – И сейчас в нас полетят ее осколки.

В дверь кто-то тихо поскребся.

– Ну вот, – сказал Волк. – Что я говорил? Уже летят.

Красавица испуганно спрятал апельсин за спину.

– Или все же за ящиком пришли, – сказал Слепой.

Но это был Фокусник. Грустный Фокусник в полосатой рубашке, с костылем под мышкой и бельевым мешком.

– Здравствуйте, – сказал он. – Можно войти?

Он был похож на человека, сбежавшего от беды.

– Там что, и правда что-то рухнуло? – испугался Горбач.

– Тебя отпустили? – удивился Кузнечик. – Я думал, не отпустят.

– Там два новичка сразу прибыло, – застенчиво объяснил Фокусник. – Я собрался – и сразу сюда. Им теперь не до меня, а я давно хотел к вам. Можно мне остаться? – он покосился на стену и быстро отвел глаза.

– А что-нибудь полезное ты принес? – поинтересовался Вонючка.

– Он умеет фокусы показывать, – быстро сказал Кузнечик, краснея за Вонючку. – С платком и с картами. И с чем угодно.

– Проходи, – сказал Волк. – Выбирай кровать. А что за новички?

Фокусник, постукивая костылем, прошел к свободной кровати и положил на нее вещи.

– Один нормальный, – сказал он. – А второй страшный. С родинкой. Как будто шоколадом облили. Почти все лицо, – Фокусник прикрыл ладонью лицо. – Ой, гитара! – ахнул он, опуская руку и впиваясь взглядом в гитару на подушке Волка. – Откуда?

– Умеешь? – живо спросил Волк.

Фокусник кивнул. Он смотрел только на гитару.

– Повезло, – обрадовался Волк. – Я уж боялся, что свихнусь над этим самоучителем. Давай, сыграй что-нибудь.

Фокусник простучал к кровати. Волк уступил ему место.

Устраиваясь с гитарой, Фокусник деловито откашлялся, как будто собирался петь.

– Вкус меда, – объявил он.

Кузнечику сразу вспомнилось, что и фокусы свои он объявлял специальным, не своим голосом. Фокусник заиграл и, действительно, запел, хотя петь его никто не просил, но ему должно быть хотелось показать все свои таланты сразу. Голос у него был тонкий и пронзительный, играл он уверенно и пел тоже. Видно было, что он по-настоящему умеет играть и петь и не стесняется своего голоса.

Вокруг него собрались все, кроме Вонючки, который продолжал рисовать.

– И я вернусь к меду и к тебе, – выводил Фокусник трагичным фальцетом, раскачиваясь над гитарой и сам себе подпевал, – турум-турум, – встряхивал волосами и отрешенно смотрел в стену. В конце песни голос его совсем охрип, а глаза увлажнились. Следующую песню он только играл и даже объявлять ее не стал. Третью песню он назвал «Танго смерти» и на ней в первый раз сбился. Кузнечику от песен Фокусника стало грустно, остальным, как ему показалось, тоже.

– Еще я на скрипке умею, – сказал Фокусник, разделавшись с «Танго смерти». – И на трубе. И на аккордеоне. Немножко.

– Когда только успел? – удивился Волк.

Фокусник скромно потренькал струной.

– Да вот так. Успел.

Самодовольство вдруг исчезло с его лисьего личика, оно жалобно скривилось, и Фокусник отвернулся.

«Вспомнил, что-то наружное, – подумал Кузнечик. – Что-то хорошее». Ему стало жалко Фокусника и он попросил:

– Покажи фокус с платком. Тот твой, самый лучший.

Фокусник зашарил по карманам.

– Не всегда получается, – предупредил он. – Мало тренируюсь.

Вонючка отъехал от стены и с интересом уставился на Фокусника. За его спиной, в отведенном ему углу, открылось что-то страшное с вывороченными ноздрями, пупырчатое и пучеглазое. Все сразу увидели это «что-то» и забыли про фокусы.

Фокусник перестал искать платок.

– Это кто? – спросил Волк в ужасе. – Ты кого нарисовал?

– Гоблина, – радостно сообщил Вонючка. – В натуральную величину. – Правда, хорошенький?

– Да, – сказал Горбач. – Прямо хоть завешивай.

Вонючка счел это комплиментом.

– Нет, правда? – спросил он. – Кровь стынет?

– Точно, стынет, – согласился Горбач. – А еще сильнее остынет, если забрести в тот угол ночью с фонариком.

Вонючка захихикал.

– Покажи, как делать сок, – попросил его Красавица, протягивая апельсин.

Вонючка схватил его и быстро очистил. Разделил на дольки и, давясь ими, объяснил оторопевшему Красавице:

– Маловато тут для сока. Лучше просто так съесть.

Он великодушно протянул Красавице одну мокрую, раздавленную дольку:

– Ешь, это полезно. Куча витамина С.

КУРИЛЬЩИК
Взаимопонимание белых ворон

Тишина. Запах пыли и сырости. Вот что такое Перекресток ночью. Я сидел возле кадки, в которой росло что-то обглоданное и пересохшее, трогал этот скелет растения и читал надписи покрывавшие кадку сверху донизу. Кабан, Тополь, Гвоздь… Все клички незнакомые. Буквы почернели и выглядели, как полустертый орнамент. Но кое-что можно было разобрать.

Перекресток освещался двумя настенными лампами. Одна – с бордовым абажуром – освещала угол с телевизором. Вторая – с треснувшим синим плафоном – низенькое продавленное кресло у противоположной стены. А вся центральная часть – с диваном, полузасохшими растениями и мной – тонула в полумраке. Поэтому читал я почти на ощупь, вообра-

жая себя Слепым. Иногда с помощью зажигалки. Довольно бессмысленное занятие. Но лучше, чем ничего.

«Кистеперые рыбы вымерли не совсем», – озадачила меня очередная надпись. Сразу после нее некий Завр сообщал: «Ухожу тропой койотов». Куда не уточнил. Наверное, тоже вымирать. Ниже было стихотворение. Посвященное девушке. «Твоим рукам, твоим ногам, тарам-парам-тарам-парам…» Стихотворение удивило меня сильнее, чем незнакомые клички. Жутко корявое, оно было посвящено какой-то конкретной девушке. Иначе автор не упоминал бы «дивные пегие косы». Я не совсем понял, что значит «пегие», но это явно был не тот цвет, которым принято восхищаться.

Мы с девушками общались мало. Вернее, вообще не общались. Хотя их корпус соединялся с нашим общей лестницей, насколько я знал, к ним никто никогда не поднимался. В своем корпусе они жили на третьем этаже, который в нашем занимали воспитатели. На втором располагался лазарет, а что было на первом, я не знал. Наверное, таинственный бассейн на вечном ремонте. Мы с девушками сталкивались только в кинозале на субботних сеансах. Они сидели отдельно и в разговоры не вступали. Во дворе гуляли только по территории, примыкавшей к их крыльцу. Я не знал, кто установил такие строгие правила, но догадывался, что не дирекция. Иначе они бы нарушались. А они не нарушались.

В стихотворении говорилось о каких-то переданных пластинках. О книге: «…что ты уронила на голову мне, чуть поведя плечом…» Уронить книгу кому-нибудь на голову можно только в библиотеке, стоя на стремянке. А девушки общей библиотекой не пользовались.

Чем дольше я думал, тем становилось интереснее. Вспомнилась сценка, которую я наблюдал однажды во дворе в первый месяц после поступления.

Красавица из третьей и девушка-колясница, чьей клички я не знал, играли в мяч. Это была самая странная игра на свете. Черноволосая, маленькая девушка с белым, будто фарфоровым личиком, бросала с крыльца теннисный мячик. Чуть погодя каким-то чудом (в роли неумелого чуда выступал Красавица) мячик залетал обратно на крыльцо. Правда, чаще Красавица его не добрасывал. Тогда девчонка съезжала вниз и отыскивала свою игрушку где-нибудь в кустах. За полчаса Красавица попал ей под ноги всего четыре раза, и то, по-моему, случайно, а она всякий раз улыбалась. Похоже было, что улыбается девушка собственным радостным мыслям, потому что ни она, ни Красавица друг на друга не смотрели. Только на мячик. Как будто он раз за разом возникал перед ними из потустороннего мира. Особенно хорошо это получалось у девушки. Красавица нет-нет, да сбивался, и начинал отслеживать мячик еще на чужой территории, но она… можно было бы снять потрясающую короткометражку с ее участием: «Девочка и мяч. Игра с невидимкой». Меня заворожило это зрелище. Тогда я еще не знал, что наблюдаю за влюбленными и что эта игра – максимум того, что они могут себе позволить. Мне просто показалось, что они не очень хорошо знакомы и стесняются друг друга.

Я вспоминал тот случай, когда появился Черный. Заспанный, хмурый, в пижамной рубашке на голое тело и незашнурованых кедах, которые он надел, как тапочки, примяв задники. Он подошел, сильно прихрамывая, и поинтересовался, знаю ли я который час.

Я не знал. Часов у меня, как и у любого в четвертой, не было. То есть, у меня-то они как раз имелись, глубоко спрятанные на дне сумки.

– Без четверти двенадцать, – сказал Черный. – Скоро выключат коридорный свет, а у тебя, небось, нет фонарика. Все стены перецелуешь, пока доберешься до спальни.

– Я читаю стихи, – указал я на кадку. – Очень необычные. Про девушку. Не могу понять, кто их сочинил. Представь, здесь говорится, что она роняла на него, который все это пишет, книгу и передавала ему какие-то диски. Кто бы это мог быть, как ты думаешь?

Черный мельком взглянул на кадку.

– Это было семь лет назад, – сказал он равнодушно. – Прошлый выпуск. Видишь, почернело уже все.

– Ах вот оно что! Кабан, Тополь, Завр – все они из прошлого выпуска, – догадался я, немного разочарованный таким простым объяснением. – То-то я думаю, ни одной знакомой клички.

– Ты, по-моему, нашел единственное место, где сохранились их писульки. Это еще умудриться надо было, – проворчал Черный, опускаясь на диван. При этом он поморщился и

осторожно вытянул ногу перед собой.

– В спальне так тихо. Какая-то она как не своя. Ты спал, а я, что ни трогал, почему-то получалось ужасно шумно, – попробовал я объяснить свое бегство.

– Ладно, – отмахнулся Черный. – Что я, не понимаю? Проснулся как в гробу. Тишина, темень… слышно даже, как сердце стучит. Чуть не заорал с перепугу.

Представить, что такой тип, как Черный, может орать с перепугу было трудновато. Я засмеялся.

– Ага, – сказал Черный. – Не веришь.

Он достал из кармана пачку «Бонда» и закурил, а я ужасно удивился, потому что был уверен, что он некурящий.

– Вообще-то не курю, – подтвердил Черный. – Только когда совсем хреново. Как сегодня.

Курил он молча и сосредоточенно, как делал любое дело. Ел, пил, читал… В каждом действии Черного была основательность, каждое его действие как будто говорило: «Это делается вот так». Может, поэтому никто никогда не отрывал его ни от каких дел. Когда назрела необходимость в пепельнице, Черный так же сосредоточенно пошарил под диваном и извлек оттуда плоское медное блюдце в форме кленового листа. Старожилы иногда проделывали такие фокусы, вытаскивая разные предметы из самых неожиданных мест.

– Слушай, – сказал он, устанавливая листик на подлокотнике дивана, – все хочу спросить. Ты почему остался? Почему не поехал с ними?

Я задумался. Это было нелегко объяснить. Если честно, мне не хотелось оставлять Черного. После утреннего разговора со Сфинксом, когда я увидел, как на него смотрят, вернее, стараются не смотреть… что-то ужасно знакомое было во всем этом. Знакомое и неприятное.

– Не знаю, – ответил я. – Наверное, я еще слишком Фазан. Мне даже представить трудно, как это – явиться ночью в лазарет без разрешения. С припасами. Для меня это все равно, что взломать кабинет Акулы и вынести, например, его огнетушитель. Думаю, я был бы там совсем некстати. И не потому что боюсь. Просто не понимаю зачем.

Черный кивнул:

– Можешь не продолжать. Со мной то же самое. Я бы не пошел, не будь даже этой истории с Лордом. В таких случаях обычно остаешься за сторожа.

Мне показалось, что несмотря на предстоящее выключение света, Черный не торопится уходить. Он, как будто, был не прочь побеседовать. Хотя, может, у него просто болела нога, и он давал себе передышку. Я решился рискнуть и спросить кое о чем, что мучило меня после разговора со Сфинксом.

– Черный, – сказал я, – о таком немного неудобно спрашивать, но отчего Сфинкс так тебя не любит?

Черный закашлялся.

– Извини, – быстро сказал я. – Просто мне показалось…

– Тебе не показалось, – перебил он. – И ты слабенько обозначил. Он меня не просто не любит. Он меня ненавидит. Но в принципе это тебя не касается, согласен?

– Извини, – опять пробормотал я. – Конечно, не касается.

Черный с отвращением смял окурок в пепельнице.

– Когда Сфинкс только попал в Дом, ему от меня доставалось. Девять лет прошло, но он не забыл. Злопамятный. Это сейчас он крутой, а тогда был балованный маменькин сыночек. Каждую ночь ревел в подушку и от Слепого ни на шаг. Бывают такие общие любимчики. Все с ними носятся, сопли утирают…

Я вспомнил фотографию из «Моби Дика». Без Сфинкса. Может, его тогда еще не было в Доме. А может, он где-то в другом месте, по выражению Черного, «ревел в подушку».

– Вот, – Черный убрал пепельницу обратно под диван, наткнулся там на что-то, вытащил розового резинового зайца и удивленно на него уставился. – О чем это я? Ах, да. Долгая история. Пока он не появился, все было нормально. А потом пошло наперекосяк. Сначала ему потребовалась отдельная комната. Потом отдельная компания. И чего бы ему ни хотелось, он это получал. У меня в его чертову комнату полстаи перебежало. Все, кого он приворожил своими улыбочками.

Черный вертел резинового зайца и смотрел на него задумчиво, как будто видел перед собой что-то совсем другое.

– С тех пор мы с ним друг друга не переваривaем. Глупо, конечно. Ты сейчас, небось, думаешь, какая чушь… взрослые дядьки носятся с детскими обидами. Только к тем обидам еще много чего прибавилось и все время прибавляется. Вот как сейчас с Лордом. Сфинкс ведет себя, как будто я его угробил. А ведь на самом-то деле я его спас. И ты думаешь, кто-то в этом признается? Как можно! Верно только то, что говорит Сфинкс. Он у нас самый умный, все остальные рядом не стояли.

– Он обаятельный, – осторожно высказался я.

– Видел бы ты его в девять лет, – фыркнул Черный. – Прямо светоч Дома. Улыбнется – все лежат в обмороке. Сейчас он уже не тот. Сварливый стал. Но кое-что осталось. Я вот удивился, что ты не помчался за ним в Могильник, высунув язык. Обычно он именно так на людей действует.

Мне было неприятно слушать то, что говорил Черный, но, с другой стороны, я сам напросился. И, может быть, кое в чем он был прав.

– Теперь Лорда увезут? – неловко сменил я тему.

Черный обтирал с зайца пыль и на меня не смотрел.

– Наверное. Я бы не поднимал вокруг этого столько шуму, но для здешних ничего хуже быть не может. Для них там, в наружности, не жизнь. А я жду не дождусь выпуска. Я в этом смысле белая ворона.

Как заслуженная и измученная преследованиями белая ворона, я понимающе кивнул. Теперь я знал, чем Черный отличается от всех остальных.

– Понимаю, – сказал я. – Сам полгода был таким.

– Поэтому мне с тобой легко, – произнес Черный.

Я опять кивнул. Некоторое время мы сидели молча. Взаимопонимание между нами росло, и мы помалкивали, боясь его спугнуть. Не то чтобы я думал, будто Черный во всем прав. Но говорить с ним оказалось не в пример легче, чем со Сфинксом или Горбачом.

– Лорд нездоровый человек, – сказал вдруг Черный, видимо, решив высказать все, что у него наболело. – Пару лет назад пытался покончить с собой. Один раз, другой… Это Сфинкс его довел. Муштровал, как солдата на плацу. Ты вот удивляешься, как он здорово ползает, а видел бы, как Сфинкс его гонял. Шел сзади и наступал на ноги, как только он останавливался. Лорд так и ползал, визжа от злости. Плакал и полз, смотреть было тошно. А Сфинкс шел сзади и наступал на него.

Я даже зажмурился, представив то, о чем он говорил.

– Перестань, Черный, – попросил я. – Как-то это уже слишком!

– Конечно, – согласился Черный. – Лучше не знать. Лучше думать, что он душка. Очень удобно, если не хочешь выделяться.

Я промолчал. Я пытался смириться с образом садиста Сфинкса, со светлой улыбкой на лице топчущего чьи-то ноги. Даже представить такое было сложно. В то же время я понимал, что Черный не врет. И переварить это противоречие был просто не в состоянии.

– Извини, Черный, – сказал я наконец. – Не хотел тебя обрывать. Наверное, мне действительно надо знать такие вещи, чтобы лучше… разбираться что к чему. Только нужно время, чтобы привыкнуть. К такой информации.

– Я не обиделся, – ответил Черный. – И не для того тебе все это рассказал, чтоб ты от Сфинкса шарахался. Я о другом. Лорд – псих. Больной псих. Отчасти всегда им был. Отчасти Сфинкс постарался. Его надо лечить. И когда Сфинкс закатывает мне истерику из-за того, что я, видите ли, повел себя с Лордом подло, меня просто смех разбирает. Но когда шесть человек, на глазах у которых происходило то, о чем я тебе рассказал – когда эти шестеро с ним соглашаются, мне уже не смешно. Понимаешь?

– Да.

Черный достал еще сигарету:

– Хочется, чтобы хоть кто-то в этом зоопарке меня понял. Хоть кто-то.

Он закурил. Руки с ободранными костяшками пальцев дрожали, и сигарета никак не попадала на пламя зажигалки.

Я сидел, оглушенный, разрываясь между жалостью и злостью. Я его понимал. Даже

слишком хорошо. Но не хотел понимать. Это означало опять стать белой вороной. На сей раз в паре с Черным. А мне так хотелось быть полноценным членом стаи. Быть с ними, одним из них…

– Я понял тебя, Черный. Правда. Извини, если по мне этого не видно.

– Это ты меня извини. Не стоило, наверное, вот так сразу все на тебя вываливать.

Но он обрадовался, я это видел. И понял, что пропал. Хода назад больше не было. Я выбрал Черного.

Пока я пытался уговорить себя, что не так все страшно, Черный докурил, бросил окурок за диван и поднялся, стараясь не опираться на больную ногу.

– Поехали, – сказал он. – Теперь точно до темноты не успеем. – Розового зайца он спрятал в карман.

Мы не успели добраться даже до второй, когда свет погас. Два раза мигнул, и стало темно. Даже предупрежденный, я вздрогнул. Черный был прав: окажись я один в этой чернильной тьме, я просто застрял бы там, где она меня застала. Но у Черного был фонарик. Он отдал его мне, а сам толкал коляску.

Я ехал под впечатлением от нашего разговора и дорогу, должно быть, освещал не очень хорошо, потому что Черный в какой-то момент остановился и велел мне светить прямо, а не болтать фонариком во все стороны. Извинившись, я поднял фонарик выше.

Настенные росписи при его свете выглядели непривычно. Выплывали из темноты фрагментами, большая часть которых казалась незнакомой, хотя я проезжал мимо по несколько раз в день. Наткнувшись на белого быка, я даже ахнул от неожиданности. Черный понял и остановился, дав мне возможность осветить рисунок целиком.

Бык качался на тонких ногах-палочках, смотрел на нас человеческими глазами и грустил. Это был самый удивительный бык на свете. Написанный примитивно, в нарочито детском стиле, он просто убивал своей выразительностью.

– Какой… – прошептал я.

Черный шагнул вперед и поскреб стену там, где она облупилась, лишив быка половинки рога.

– Да, – сказал он. – Осыпается. Стервятник подмазал тут все эмульсией, поэтому он такой тусклый.

Сраженный образом Стервятника – хранителя настенных рисунков, я только промычал что-то в ответ. Все-таки Дом был очень странным местом, каждый день я в этом заново убеждался.

– Кто его написал?

Черный посмотрел озадаченно:

– Леопард, само собой. Все забываю, что ты здесь недавно. Его рисунки легко отличить. – Подумав, добавил:

– Леопард был вожаком второй. Года три тому назад. За два вожака до Рыжего.

Это он произнес нехотя, но я понял, что если начну расспрашивать, узнаю и подробности. Непривычно знать, что на любой вопрос последует четкий, вразумительный ответ. Без увиливания, шуточек, упоминаний Фазанов и экскурсов в историю Дома. Про себя я решил этим не злоупотреблять. И начал с того, что в тему исчезновения Леопарда углубляться не стал, тем более, ответ на этот вопрос крылся в тоне Черного и в том, что он уже сказал.

– Есть и другие, – рассказывал Черный на ходу. – Другие его рисунки. Почти все вокруг третьей. У второй было больше, но их зарисовали поверху. А «Бык» все равно самый лучший. Я его сфотографировал пару раз со вспышкой, но получилось не очень хорошо. Надо еще попробовать. Стены уже который год грозятся перекрасить. Тогда его уже не спасешь.

Возле нашей двери Черный повозился в карманах и достал ключ. Впервые увидев спальню запертой, я вдруг остро осознал, что мы с Черным действительно остались одни. Черный мучился с заедавшим ключом, я светил на дверь. По стене вдоль двери тянулись многократно повторяющиеся буквы «Р». Почти орнамент, но если приглядеться, то все-таки буква. Вспомнилось, что буква «Р» вообще попадается на стенах очень часто.

– А что означает это «Р»? – спросил я.

– Это наш воспитатель, – ответил Черный. – Ральф. Наш и третьей.

Такого воспитателя я не знал, и предположил, что его тоже нет в живых, как и Леопарда, рисовавшего на стенах. Численность покойников Дома росла с угрожающей быстротой, стоило только о чем-нибудь спросить. О чем-то, на первый взгляд, совершенно невинном.

– Он умер? – все же уточнил я.

– Нет, – Черный протолкнул меня в дверь и щелкнул выключателем, но свет в прихожей не загорелся. Чертыхнувшись, он подошел к выключателю и включил свет в спальне. Возвращаясь, споткнулся обо что-то и опять выругался.

– Дрянь какая! – выругался он, когда я въехал в спальню, щурясь от яркого света. – Проскочила, сволочь!

– Кто?

– Крыса! Еще одна! – Черный заглядывал под общую кровать без особой, как мне показалось, надежды там что-либо обнаружить. – Обо что я, по-твоему, споткнулся?

– Мало ли…

– Там, где вожак слепой, никаких «мало ли» не бывает, – Черный выпрямился, со стоном потирая ногу. – Ты хоть когда-нибудь видел здесь на полу что-нибудь лишнее? Последнее, обо что Слепой в своей жизни споткнулся, были сапоги Лэри. С тех пор эти сапоги ночуют с Лэри в одной постели.

Я хихикнул.

Черный посмотрел неодобрительно.

– Странный ты парень, – сказал он. – Это совсем не смешно.

Он помог мне перебраться на кровать и включил чайник. Я разгреб залежи, оставшиеся от Табаки – он собирался в Могильник, как на вечеринку, и вся забракованная одежда осталась валяться на кровати неряшливой грудой, – сел поудобнее и спросил у Черного, куда подевался воспитатель Ральф и почему его инициалы так часто фигурируют в качестве настенных росписей. На самом деле все это не особенно меня интересовало, просто хотелось заглушить оставивший неприятный осадок разговор о Сфинксе. Я боялся, что Черный может к нему вернуться. Но Черный не был расположен обсуждать воспитателей.

– Уехал, – только и сказал он. – Полгода назад. Собрал в один прекрасный день свои вещички и смотался. А почему его кличку пишут и рисуют, я не знаю. Может, кто-то соскучился.

По лицу Черного было ясно, что если кто и соскучился по таинственному Р Первому, то уж никак не он.

– Ага, – глубокомысленно пробормотал я.

Черный сел напротив и расставил на подносе чашки, заварочный чайник и сухари в пачке. Я подполз ближе. Передав мне чашку, он включил магнитофон. И хорошо сделал. Без музыки наше чаепитие стало бы совсем унылым. Оно и с музыкой получилось довольно грустным.

Ночью мне приснился странный сон. Я был в коридоре второго этажа. Таком же, как всегда, только посередине его надвое разделяло толстое стекло от пола до потолка. За этим стеклом были люди. Какие-то фигуры плавали там, как в бассейне, натыкаясь на стекло и прижимая к нему лица. Мне запомнились бледный парень с белоснежными волосами и в черных очках, длиннокосая девушка и уродливое темнолицее существо, летавшее вместе с коляской. Их было много, и все хотели войти. У некоторых были прозрачные крылья. С их стороны тоже горели настенные лампы, но как-то по-другому: светились изумрудно-зеленым, как громадные светлячки. Я смотрел на них с порога спальни.

Отодвинув мою коляску, из спальни вышел Лорд, засмеялся и бросил в стекло хрустальный шар. Шар ударился и отлетел, оставив трещину, которая расколола стекло до пола. Лорд вошел через нее, как за прозрачный театральный занавес, и стекло сомкнулось за его спиной, сделавшись целым. Помахав нам рукой, он пошел по зелено-светлячковому коридору. Как ходячий. Он не летел и не плыл, просто шел, а странные крылатые тени носились вокруг него и возвращались к стеклу, чтобы взглянуть на нас и сказать нам что-то, что мы не могли расслышать.

За моей спиной бегали и шептались. Потом Табаки и Слепой выволокли огромный чан с бурлящей, пузырящейся жидкостью, плеснули на стекло – и по нему расползлось уродливое пятно. Оно поползло, расширяясь во все стороны, с шипением, как что-то ядовитое, и превратилось в оплывающую букву «Р». Стекло под ней затрещало, все летавшие по ту сторону существа сгрудились с обратной стороны и начали по нему стучать, а с нашей стороны все попятились, оттаскивая и меня с коляской, треск и шипение становились все громче…

Я открыл глаза. И сразу понял, что меня разбудило. На ветру стучала незакрытая форточка, и стекло в ней звенело при каждом ударе. Черный, проснувшийся одновременно со мной, влез на подоконник, захлопнул ее и прикрутил ручку. Ветер был такой сильный, что стекла все равно продолжали тихо дребезжать. Черный вернулся на свою кровать, и я пересказал ему свой сон, пока он не забылся. Хотя, рассказывая, с удивлением понял, что мог бы и не спешить – все стояло перед глазами так же ярко, как в момент пробуждения. Черный обозвал мой сон маразмом. Голос у него был злой, и я пожалел, что мешаю ему спать.

Нас разбудил Сфинкс. Наверное, в половине шестого. Отворил дверь пинком и закричал:

– Едет всадник бледный на бледном коне! Грядет туча саранчиная, гремят костями покойники! Смотрите, что делается! – он подбежал к окну. – Туман, серый, как мышиная спинка! Сотни мышиных спин подбираются ближе и ближе! Скоро совсем не останется земли – один туман в серых одежках. Он начал подползать к нам еще ночью. Смотрите, пока есть возможность что-то увидеть!

«Как пьяный», – подумал я, зарываясь в подушку. Сфинкс оставил туман в покое, влез на спинку кровати и, обернув ноги вокруг прутьев, уставился на меня. Совершенно психованными глазами в черных кругах. Я довольно бодро спросил, как поживает Лорд.

– Как любимый бурундук святого Франциска, – ответил Сфинкс, хихикнув.

– Сфинкс. Мы, между прочим, спим, – прошелестел Черный.

– Конечно, а туман тем временем подползает!

– Ну и пусть себе ползет на здоровье.

– Ты думаешь? Ну ладно. Я предупредил.

Табаки выгрузился на кровать, переполз через меня и приступил к строительству ночного гнезда. Горбач с Нанеттой в охапке взобрался к себе. Македонский включил кофеварку. Лэри запихал Толстого в его ящик, уронив при этом какую-то бутыль и споткнувшись о тумбочку.

– Боже мой! – простонал Черный, водружая на голову подушку.

– Не упоминай имя божье всуе, ты, мерзкий человек.

Сфинкс еще какое-то время глазел на меня, качая головой, потом сполз на кровать и отключился, как перегоревшая лампочка. Табаки не поленился – вылез, укрыл его, обнюхал и довольный вернулся в свое подушечное гнездо.

Когда через два часа началась утренняя церемония одевания, Сфинкса добудиться не смогли. На похлопывания и призывы он не реагировал, на встряхивание зарычал, что сейчас откусит кому-нибудь голову, и Горбач оставил его в покое.

Утро было мерзкое. Серое, насквозь промозглое, как скользкая шляпка какого-нибудь гриба. Дверные ручки в такие дни кажутся слишком твердыми, любая пища царапает нёбо, жаворонки безобразно активны и не дают спокойно понежиться в постели, а совы всем недовольны и огрызаются на каждое слово. Сфинкс, первый среди безобразно активных жаворонков, в это утро заглох, и его место по части террора занял Горбач. Он носился как настоящий псих, кукарекал, звенел колокольчиком, свистел флейтой, тыкал в спящих ножками стульев и забрасывал их одеждой.

Лэри, ахая и постанывая, свесил со своей полки ноги в дырявых носках. Табаки что-то жевал, капая на одеяло. Слепой в ядовито-зеленой майке курил в форточку. Я зарывался под одеяло все глубже, понимая, что заснуть все равно не дадут.

«О-о, дорогаааяя… Пожалуйста, доверься мне», – надрывался магнитофон. Табаки подпевал петушиным голосом прямо мне в ухо. Чтобы не промахнуться, он приподнял одеяло. Пришлось вылезать.

Разворачивая коляску возле окна, я посмотрел наружу. Сетки забора не было видно. Исчезли дома и улицы. Стало совсем тихо. Даже родичи Нанетты попрятались. Слепой повернул ко мне острое лицо. Муть в его серых глазах была очень похожа на ту, что стояла за окном.

– Мышиные спинки? – спросил он.

– Скорее, огромные комья ваты, – сказал я. – Или облака.

Он кивнул и отвернулся.

За завтраком мы пили кипяченую воду, якобы спасающую от простуд. Очередная причуда дирекции. После завтрака не было ни музыки, ни карт – все легли досыпать. Теперь уже и двор исчез, а серые облака (или мышиные спинки?) подползли к самым окнам.

Лорда привезли после обеда.

– Везут, – сообщил Лэри, врываясь с топотом, как дикий мустанг. – Эти все… Акула и прочие…

Прочими оказались два краснолицых Ящика и, почему-то, Гомер.

Они вкатили Лорда, усадили на кровать и столпились вокруг. Лорд был сонный и хмурый, в лазаретной пижаме из тех, что стирают лица и фигуры, делая всех одинаково жалкими. Македонский достал из шкафа его одежду. Пока Лорд переодевался, директорская свита стояла вокруг, глазея.

– Товарищи все же, могли бы помочь, – сказал Гомер.

– Я в этом не нуждаюсь, – отрезал Лорд, ввинчиваясь в джинсы.

– Какой нервный мальчик! – поразился Гомер. – Нервный и грубый.

– Если бы только нервный, – откликнулся Акула. Он рыскал глазами по комнате, высматривая, как мне показалось, что-нибудь криминальное, но на виду каким-то чудом не было даже пепельниц, так что он зря напрягался.

– Полчаса на сборы, – сказал он. – И чтобы без фокусов. Ничего не оставляй, больше ты сюда не вернешься.

– А идите вы в жопу, – ответил Лорд.

Гомер закатил глаза и, вроде бы, даже перестал дышать. Табаки хихикнул. Акула развернулся в нашу сторону так яростно, что я отшатнулся.

– Еще один звук, и кое-кто из вас пожалеет, что родился на свет! – прошипел он.

Больше никаких звуков никто не издавал. Гомер ушел, так и не придя в себя от потрясения, а Акула остался наблюдать, как Горбач с Македонским пакуют вещи Лорда. Вещи уместились в двух сумках. Их унес один из Ящиков. Лорд перебрался в коляску и посмотрел на нас. За все время он не произнес ни слова, если не считать сказанного Акуле. Сдержись он, может, Акула и дал бы нам попрощаться без свидетелей. Второй Ящик ухватился за ручки коляски, и Македонский зачем-то положил Лорду на колени куртку Горбача. Тяжелую, кожаную куртку, когда-то черную, а теперь черно-белую, потому что сначала она истерлась до белизны, а потом снова почернела от грязи. Это разрисованное, увешанное значками чудовище называли шкурой динозавра, и Табаки уверял, что она пуленепробиваема, как бронежилет. Но Лорд шкуре обрадовался.

– Спасибо, – сказал он, глядя на Горбача. И тут все будто с цепи сорвались. Ящику пришлось отойти.

Уехал Лорд похожим на пугало. В свитере Македонского – участнике многих уборок, в самой безумной из жилеток Табаки, с ремнем Лэри, украшенным пряжкой в виде обезьяньей головы, в черной беспалой перчатке Сфинкса на левой руке, с ракушкой Слепого на шее, с пером Нанетты за ухом и слюнявчиком Толстого в кармане. Мне нечего было ему дать, кроме сигарет, и я отдал пачку, а потом вспомнил про амулет, якобы со скорлупой василиска, и отдал его тоже.

Провожать Лорда никто не вышел.

ДОМ
Интермедия

Жара обрушилась на Дом, а вместе с жарой – волейбольная лихорадка и каникулы. Обитатели Дома переселились во двор, бросив его, как надоевшую скорлупу. Из Дома вылупились все, кто мог ходить и ездить, кричать и смотреть, не говоря уже о тех, кто мог бегать и бить по мячу. В Доме обедали, завтракали, ужинали и спали, но центром общественной жизни стал двор, гордо отпраздновавший открытие волейбольного сезона.

Площадку перегородили сеткой, окружили стульями и скамейками. С раннего утра их отмечали предупреждающими знаками, а после завтрака во дворе уже негде было ни сесть, ни укрыться от солнца. Над почетными зрительскими местами натянули тент, над менее почетными повтыкали зонтики.

Сразу после завтрака ходячие мальчишки бросались занимать места на ящиках. Свора Хламовника, певчие Птичника, бедняги из Проклятой комнаты. Иногда они даже дрались за лучшие места. Младшие колясники приезжали позже, со старшими, зная, что воспитатели позаботятся, чтобы им было где разместиться. У ходячих таких привилегий не было, поэтому они сражались за каждый ящик. Хотя, как только начиналась игра, их прогоняли за водой, лимонадом или сигаретами, и, вернувшись, они обнаруживали, что их места заняты. Приходилось устраиваться на земле, откуда их тоже скоро сгоняли, потому что у кого-то от криков пересыхало горло, кто-то слеп без солнечных очков, и почти все умирали от жажды. В течение игры младшие ходячие только и делали, что носились взад и вперед с поручениями. Как ни странно, им это даже нравилось. Им нравилось все, что имело отношение к развлечениям старших. Солнце, мяч, взмывающий к небесам, черные очки на каждом лице и атмосфера крикливого безумия.

Чумные Дохляки появлялись во дворе позже всех. Им доставались самые плохие, дальние места, но это их не огорчало. Меньше всего Дохляков интересовала игра и те старшие, которые в компании самых бодрых воспитателей носились по площадке. У них были свои развлечения. Слепой тренировался угадывать ход игры по крикам окружающих. Красавица грыз ногти и мечтал поймать мяч, если он залетит в их края. Фокусник слушал аплодисменты и свист зрителей и представлял себя на сцене. Кузнечик разглядывал старших.

Маврийцы и Череписты поделили двор пополам. Водоразделом между ними стали места воспитателей под почетным тентом. Там сидел и Лось.

– Я слишком стар для таких вещей, – ответил Лось Кузнечику на вопрос, почему он не играет, как Щепка и Черный Ральф.

Место Мавра было неприкосновенно. Его можно было узнать по большому цветастому зонту. Мавр появлялся во дворе в сопровождении свиты из пяти человек. Толкальщик-телохранитель. Девушка с мухобойкой. Девушка с вязаной накидкой. Девушка с двумя термосами. Резчик колбасы. Мавр помещался под зонт. Девушки – на стулья вокруг зонта. Толкальщик-телохранитель Гвоздь застывал позади коляски. Резчик колбасы (сменная должность) садился на коврик у ног Мавра. Больше всего это напоминало выезд туземного царька за пределы родной деревни. Кузнечику всегда хотелось, чтобы кто-нибудь еще сел рядом и постучал в барабан, а девушки погремели трещотками. Тогда иллюзия была бы полной.

В противоположном углу двора располагались люди Черепа. Прислуги у них не водилось. Череп сидел на простой скамейке, пренебрегая тентом, и никто бы и не угадал, что он здесь главный, если бы об этом и так не знали все.

Смотревшему на него Кузнечику казалось, что Черепа окружает невидимое сияние. Оно было неразличимо глазу, но выделяло Черепа, делая ярче. Как в кино. И то, что он сидел, затерянный среди простых смертных, только усиливало это впечатление. Солнце жгло его, и с каждым днем он становился бронзовее и краше. Потом, правда, начал облезать. Но издали этого не было заметно.

Рядом с Черепом, но под зонтом, сидел Хромой в зеленом пиджаке, с попугаем Деткой на плече. Он почти не смотрел игру, похоже, она его не интере-

совала. Зато попугай смотрел за двоих, нервничал и выдергивал перья из собственной груди. На третий день голое место было с монетку, а через неделю – с ладонь, и Кузнечику очень хотелось знать, чем это закончится. Оголится попугай целиком или что-то на нем все же останется? Детка остановился, выщипав все перья на брюхе.

Седой во двор не спускался. Он не мог находиться под ярким солнцем. Зато здесь бывала Ведьма – крестная Кузнечика, та, чей взгляд мог сглазить любого до конца жизни. Взгляд этот было непросто поймать. Ведьма носила черную шляпу с широкими полями, из-под которых виднелся только рот. Но ее все равно сторонились. К таинственным способностям Ведьмы относились с опаской.

Кузнечик смотрел на старших, пока от солнца и криков на него не нападала сонливость. Тогда он закрывал глаза и вместе с ящиком и сидевшим рядом Слепым уплывал в синее море. Двор превращался в пляж, болельщики – в крикливых чаек, а среди песчаных обрывов и сказочных пальм, вырастал призрак «того Дома», который становился все ближе с каждым проходящим днем.

За две недели волейбольной лихорадки население Дома почернело, обгорело на солнце и приобрело дикарский вид. Воспитатели слонялись по коридорам в майках с легкомысленными надписями. Директор в порыве свободолюбия отгородился от мира, перерезав в своем кабинете телефонные провода. В воздухе – Кузнечик ощущал это как общую нервозность – повисло ожидание скорого отъезда.

Потом наступил день, когда в холле на доске объявлений появилась скромная бумажка с датой отъезда, назначенной через неделю, и предупреждение: «Не более одной сумки на человека». С волейболом тут же покончили. Объявление об одной сумке делалось каждый год. По традиции жители Дома воспринимали это как личное оскорбление и ущемление исконных прав. С ущемлением полагалось бороться. И с ним боролись. Старшие – приобретая сумки размером с чемодан. Младшие – нашивая на свои дополнительные карманы и резинки-держалки. Дополнительные карманы держались кое-как, выглядели уродливо и почти ничего в себя не вмещали. Поэтому и в Хламовнике, и в Чумной комнатах с утра до ночи паковались и распаковывались, проверяя, сколько всего можно запихнуть в сумки до того, как они треснут по швам.

Это было нервное и волнующее занятие. Одежду укорачивали ножницами, ботинкам выламывали носы; прятали и перепрятывали то, что невозможно было взять с собой; сидели на сумках, сплющивая все, что туда уже влезло, потому что нужно было, чтобы влезло что-то еще. Слон хотел взять горшок с бегонией, Красавица – соковыжималку, Волк – гитару, Горбач – хомяка, а для полезных вещей, которые, как считал Вонючка, могли пригодиться ему в дороге, не хватило бы и десяти чемоданов. Кузнечик слонялся среди разбросанных вещей и сочувствовал всем по очереди. Иногда пытался помогать, но быстро понял, что его способы укладки сумок не годятся никому, кроме него самого. Его майки, шорты и носки составили жалкую кучку белья, которая не заняла и полсумки, а дальше ее набивали Горбач и Вонючка, которым не хватило своих.

Слепой не укладывал вещи. Он, как всегда, никуда не собирался, потому что в Доме оставался Лось, и слушал причитания мальчишек с холодной усмешкой. Стесняясь своего безделья, утомленный суматохой, царившей в спальне, Кузнечик убегал в коридор, но и коридор был заражен общим безумием. Там испытывались роликовые коньки и прогулочные коляски, проводились пробные надувания резиновых лодок и матрасов и даже разбивались палатки, непонятно зачем нужные там, где заведомо будет крыша над головой.

В настенном календаре жирными штрихами перечеркивались дни. Жители Хламовника щеголяли в ластах и подводных масках.

Кузнечик убегал к Лосю, но и у Лося висел календарь, а воспитатели тоже собирались и укладывались, ограниченные одной сумкой, и суета их сборов вы-

плескивалась в коридор. Кузнечик спускался во двор. Там, спиной к Дому, можно было посидеть спокойно, и послушать море – шуршание набегающих волн и шелест далеких мандариновых деревьев. Груды покинутых ящиков и перевернутых стульев – следы волейбольной эпопеи – действовали на него угнетающе, и на них он старался не смотреть.

За сутки до отъезда Дом успокоился. Сумки, каждая с инициалами своего хозяина, были уложены и спрятаны под кровати. Горбач достроил дорожный дом для хомяка. Волк выпросил разрешение на гитару. Вонючка спрятал все, что не мог взять с собой, в недоступных местах. Слон согласился расстаться с бегонией. Теперь все только ждали.

Ночью у Волка заболела спина. Утром она разболелась сильнее. В Чумной появились Пауки. Над Волком замаячил призрак Могильника, страх перед которым пересилил желание увидеть море, так что весь предотъездный день Волк послушно пролежал в кровати, как ему было велено.

Лось приходил с утешениями и подарками, лазаретные сестры – с проверками и туманными угрозами. Разрешение на гитару Волк передал Фокуснику вместе с гитарой. Красавице пообещал заботиться о соковыжималке, Слону – поливать бегонию. Черный карандаш вычеркнул в календаре еще один день. Ночью не спал никто. Из окна доносились крики и смех старших. Из-за стены – рев Хламовника, репетировавшего походную песню. Дохляки сидели у выдуманного костра и рассказывали истории об утопленниках и медузьих ожогах. Предполагалось, что Волка это хоть как-то утешит. Волк делал вид, что его это утешает.

Кузнечик спустился в уже очищенный от стульев и ящиков двор, в последний раз сел спиной к Дому и прислушался к шуршанию волн и шелесту мандариновых деревьев, к скрипу «того Дома». Только теперь все эти звуки не приближались, а удалялись, делаясь все более тихими. Он прислушивался, пока они не исчезли в необозримой дали, затем встал и бегом вернулся в Дом, потому что вдруг испугался темноты.

Ранним утром, в час, когда двор обычно пустовал и только начинали хлопать оконные ставни, Кузнечик стоял вместе со всеми у крыльца в ожидании автобусов. Он ежился от утренней прохлады, моргал заспанными глазами и не садился, чтобы не заснуть. Колясники кутались в куртки и демонстративно покашливали. Ходячие курили, нетерпеливо поглядывая на часы. Сумки аккуратной горкой возвышались под стеной. Младшим девочкам разрешили на них садиться, и две из них даже успели заснуть, привалившись кудрявыми головами к раздутым сумчатым бокам. Воспитательницы возились с младшими колясниками, раздавая таблетки тем, кого мутит от езды, и бумажные пакеты тем, кому таблетки не помогают. Было очень тихо. Почти все жители Дома находились во дворе, и тишина казалась неестественной и неприятной.

«Это потому что накануне ночью почти никто не спал, – подумал Кузнечик. – И еще потому, что мы наконец дождались этого дня».

У старших были часы, а у младших не было, поэтому они то и дело спрашивали время у старших. Старшие вяло огрызались. Нахохлившийся в коляске Вонючка не сводил глаз со своей сумки. Горбач зевал и высматривал в наружности знакомых собак. Собаки, в этот час перекапывавшие мусорные баки, не появлялись.

Спортсмен со связкой удочек на плече бродил по двору. Зануда и Плакса, раздирая рты зевотой, таскались за ним по пятам. Кузнечик вздыхал и боролся со сном.

Дружный вопль заставил его вздрогнуть. Сидевшие на ступеньках вскочили и замахали руками. В распахнутые ворота въехал первый автобус. Бело-синий, похожий на большую конфету. Горбач и Кузнечик вместе со всеми закричали:

– Ура! – и ринулись на приступ.

Их немедленно оттеснили обратно к крыльцу.

– Это для колясников, – шепнул Горбач Кузнечику. – Первый всегда бывает для них.

– Чего же ты побежал? – возмутился Кузнечик.

– Не знаю, – радостно признался Горбач. – Как-то побежалось.

Директор влез на подножку автобуса.

– Объявляется посадка для женщин и детей! – прокричал он в толпу, грозно распушив бороду. – Прошу пропустить дам и малолетних в колясках!

Вонючка захихикал. В автобус начали сажать девушек-колясниц и младших колясников. Их вкатывали по подножке и рассаживали внутри, потом заносили их сумки, а коляски складывали и грузили в багажное отделение.

Длилось это так долго, что Кузнечику надоело смотреть. Горбач отошел попрощаться с Вонючкой, до которого дошла очередь. Сиамцы тайком подбирали за старшими окурки. Приехал второй автобус, а сразу за ним – третий, и началось столпотворение. Младшие метались со своими сумками под ногами у старших и лезли во все щели. Люди Мавра и Черепа разделились на два автобуса. Четвертый, застрявший в воротах, оказался смешанным и в него никто не хотел садиться. Воспитатели кричали и убеждали. Директор бегал между автобусами, уговаривая старших не валять дурака. Кузнечик влез в автобус Маврийцев, потолкался там и спустился, чтобы тут же забраться в смешанный автобус. Из смешанного автобуса он перешел в автобус людей Черепа, где оставил свою сумку. Он вертелся среди Хламовных, Певчих и Проклятых, громко окликал Чумных Дохляков, переходил с одного сиденья на другое и наконец, убедившись, что никто не сможет с уверенностью сказать, в какой из автобусов он сел, обошел тот, что стоял ближе всех к деревьям и спрятался за ним, присев на корточки.

Дрожа от волнения, он ждал, что его вот-вот кто-нибудь позовет. Кто-нибудь, кто заметил его маневр. Но шум и погрузка продолжались, и никто не заглядывал за автобус в поисках одного из Чумных Дохляков. Пригнувшись, Кузнечик перебежал от автобуса к ближайшему дереву. Дерево оказалось плохим укрытием. Он не стал за ним задерживаться и перебрался за собачью будку. А вот это было самое надежное укрытие во дворе. Там он сел на корточки, прижался к шершавым доскам и затаился. Собака, занятая облаиванием уезжающих, рванулась его понюхать, но тут же отвлеклась обратно на автобусы. Кузнечик вздохнул с облегчением. Сидя на земле, ему от собачьих восторгов отбиваться не приходилось. Не удержавшись, он выглянул посмотреть.

Кучи сумок, сваленные под стеной, исчезли. Никого из младших не было видно. Воспитатели толпились у дверей смешанного автобуса. Кузнечик убрал голову и больше не высовывался, боясь, что его заметят из окон. Он слышал, как за воспитателями захлопнулась дверь, как первый автобус заурчал и поехал – а за ним и остальные три – как грохнули ворота, как гудение автобусов удалилось и, наконец, смолкло совсем. Все это сопровождалось собачьим лаем.

Когда все стихло, Кузнечик еще немного посидел в укрытии, успокаиваясь. Задуманное осуществилось. Теперь уже ничего нельзя было изменить. Последний автобус увез с собой Чумных Дохляков, море и миллион интересных игр, придуманных еще весной. Отказаться от всего этого было трудно, но до самой последней минуты он и не надеялся остаться. Просто знал, что должен попробовать.

Собачий нос зарылся ему в волосы, когти заскребли по плечам. Отпихнув собаку, он вскочил и выбежал из-за будки. После царившей в нем суматохи двор казался особенно пустым. Места, где стояли автобусы, можно было с точностью вычислить по окуркам, обгорелым спичкам, конфетным оберткам и прочему мусору, очертившему на земле три больших прямоугольника. Зачем-то обойдя их, Кузнечик взбежал по ступенькам и вошел в Дом. Там он услышал тишину.

Бархатную, жаркую тишину, о которой он с прошлого лета успел позабыть, словно ее и не было. Тишина давила и обволакивала. За считанные минуты она затопила Дом целиком, от подвалов до крыши и он как будто сделался больше, заполненный ею.

Кузнечик шел быстро, вдруг испугавшись, что остался совсем один. Он знал, что это не так, но не мог подавить глупый детский страх перед пустотой и безмолвием. Коридор пах старшими, их сборами и спешкой.

Скоро этот запах исчезнет, уборщицы выметут его вместе с мусором и вытравят мастикой, комнаты станут голыми и безликими, какими он увидел их в первый раз. Ускорив шаг, он почти вбежал в Чумную комнату. Она была пуста. Кровать Волка стояла застеленная. Кузнечик присел на нее, стряхнул с кед песок и постарался не пугаться. То, что Волка не было в спальне, еще не означало, что его нет нигде. Слепой тоже должен был где-то быть. Тут Кузнечик вспомнил прошлое лето и сразу понял, где его искать. Там, где Лось. А Лось прошлый летом жил в кабинете директора…

Кузнечик побежал обратно в коридор и бросился к директорскому кабинету. Пнул дверь – и сразу их увидел. Волка, Лося и Слепого. Они сидели в ряд на подоконнике, и совсем не удивились его появлению. Как будто знали, что он придет. Волк улыбнулся, а Лось еле заметно кивнул, одобряя его выбор. Подвинувшись, они освободили ему место. Кузнечик втиснулся между ними и почувствовал себя счастливым. И еще он вдруг понял, что это лето будет замечательным.

Оно и было замечательным. И розово-золотые утра, и теплые дожди и запахи, витавшие в зашторенных комнатах. И птица.

Они увидели ее однажды на спинке скамейки под дубом. Красивую и яркую, как игрушка, полосатую, с оранжевым хохолком и кривым клювом. Все лето было как та птица.

Лось вывозил их за город на Жуке. Жук был машиной, как будто собранной из десятка других машин, причем таких, которым место на свалке. Он пропускал дождь и ветер, уставал от долгих прогулок, а на крутых поворотах терял детали своего таинственного организма. Жук любил выбирать маршрут сам, и ему подчинялись. В противном случае мотор глох, а Жук застревал в самых неподходящих местах. И оставался недвижим до тех пор, пока ему не предоставляли свободу действий.

Но где бы ни застрял Жук, их это не расстраивало. Они грелись на солнце, исследовали придорожные лужи, завтракали бутербродами и никогда не возвращались в Дом с пустыми руками. В русле одного обмелевшего ручья Слепой откопал длинный подсвечник, позеленевший от старости. Кузнечик нашел на свалке колоду карт с голыми женщинами, которую Лось сразу выбросил. Волк то и дело притаскивал откуда-то насекомых устрашающего вида. Лось однажды нашел лупу в кожаном футляре. Вечерами они пили чай на балконе директорского кабинета и рассказывали друг другу страшные истории. А с одной прогулки они не вернулись к ужину. Жук закапризничал, и пришлось заночевать в нем с остатками бутербродов и бутылкой воды. В эту ночь рассказы были о жертвах кораблекрушений и о заблудившихся в пустынях. Воду выдавали маленькими порциями. Слепой слышал хохот гиен, а Волк уверял всех, что видит мираж с тремя пальмами и колодцем.

С другой прогулки они вернулись впятером. Толстый белый щенок плебейских кровей стал их лучшей находкой. Находка – щенок оказался девочкой – была безнадежно беспородна и безнадежно невоспитанна. Брюки мальчишек покрылись жирными пятнами и белыми волосками. Ножки директорского стола приобрели покусанный и замусоленный вид. Лось выстругал для Находки жевальные палочки. Они валялись повсюду и собака грызла их с упоением, не забывая при этом о ножках директорского стола, ботинках Лося и щиколотках мальчишек.

Несколько раз они ночевали на крыше в спальных мешках. Лось рассказывал о созвездиях. Они брали с собой фонарики, термос и одеяла, а один раз взяли и Находку, которая скучала без них и жалобно выла в пустом кабинете. На крыше Находку привязали к каминной трубе, но это понравилось ей еще меньше, чем одиночество внизу.

Еще был запуск воздушного змея – желто-лилового с раскосыми глазами. Он повис над двором, таинственно улыбаясь и трепеща хвостом, а они по очереди держали его за нитку, наблюдая, как от порывов ветра меняется выражение китайского лица. Был обед по рецептам австралийских аборигенов. Огонь для него пытались добыть трением палочек, но получили с помощью зажигалки. Еда получилась ужасной, как следовало ожидать, но аборигены были невзыскательны и остались довольны. Тогда же прилетела та странная птица и принесла с собой трехдневный дождь и запахи осени. Жука пришлось спрятать в гараж, а лапы Находки мыть после каждой прогулки.

Когда наконец вернулся серодомный народ – взбудораженный, загорелый, переполненный впечатлениями и рассказами, – они встретили их с сожалением. Потому что лето кончилось, и все они, кроме взрослого, знали, что второго такого лета уже не будет.

Старшие и младшие, воспитатели и няньки заполнили Дом так быстро и привычно, будто и не уезжали. Директорский кабинет перестал быть самым интересным местом в мире и превратился в… директорский кабинет – место паломничества учителей и воспитателей, телефонных звонков и ответов на них. В то, чем и полагалось быть директорскому кабинету. Находка отправилась во двор. Раскосого змея несколько раз запустили, потом забросили на чердак и забыли. Чудесная птица и трехдневный дождь никого не заинтересовали. Стены Чумной комнаты украсились связками ракушек и лесных орехов.

КУРИЛЬЩИК
Последний бой Помпея

В Серодомном Лесу сегодня вода протекает на нас с небес,
Выбирайся из мха и соседа буди. Дождь идет и танцует Лес!
Не видно глаз и нету лица,
    и вымокла шерсть, и так без конца,
И нету правды в письме моем, том,
    что лежит под черным дуплом.
Просунь же руку, достань и прочти
    черных зверей на белой бумаге,
Они тебе скажут, и ты не молчи, расскажи другим правду.
Ту правду, которой там вовсе нет, придумай сам и беги,
В колючей траве оставляя след
    шестипалой когтистой ноги.
Беги и пой, кричи и танцуй, ты урод,
    пусть знает весь мир –
Ты родился от дерева и от струй лесного ручья под ним.

Припев:

Ура, Ура! Куснем муравья!
Закинем уши на горб!
И дружно спляшем и дружно споем!
Мы – гордый лесной народ!

(Дождевая песня)

Тишина, съевшая мир с перемещением стаи в Могильник, продолжалась, как будто они все еще не вернулись. Шумное утро растворилось в ней без следа. После уроков Сфинкс и Слепой влезли на подоконник и молча курили там, каждый со своей пепельницей. Горбач увез гулять Толстого. Македонский спрятался на кровати Горбача. Табаки сидел столбиком, горестный и тихий, демонстрируя свою скорбь. Магнитофон шипел вхолостую. Самая неприятная тишина там, где много людей молчат. Мы варились в ней до обеда, и в столовой я понял, что больше не в состоянии ее выносить. Она давила, как что-то живое, что-то, что может задушить. Потом я сообразил, что тихо не только за нашим столом. Во всей столовой царила тишина. Даже музыка, включавшаяся обычно очень громко, казалась приглушенной. Можно было расслышать, как в кухонном блоке за стеной переговариваются и стучат посудой. И я по-настоящему испугался. Даже руки задрожали.

Звонок к окончанию обеда тренькнул и захлебнулся, как заколдованный. Обычно сразу после него поднимался грохот, и вторая наперегонки кидалась к выходу в такой спешке, словно воздух столовой вдруг делался непригодным для дыхания. В этот раз они почему-то не побежали. Только от Фазаньего стола отъехала пара колясок, но, покружив у двери, вернулась.

– Повanивает безобразиями, – прокомментировал Шакал. – Чуете?

Не почуять было трудно. Как только мы начали подниматься, от стола шестой к нам подошла делегация из трех Псов, и Лавр торжественно вручил Сфинксу какую-то записку.

– Помпей просит вожаков всех стай собраться в Кофейнике для обсуждения важного вопроса, – зачитал Сфинкс. Пожал плечами и передал записку Слепому.

Кажется, после этих слов заговорили все одновременно. Тишину разнесло вдребезги. Между столами забегали Логи. Фазаны сбились в кучку с таким видом, как будто ожидали нападения.

– Это подлость! – крикнул Стервятник, перекрывая возбужденный гул голосов. – У людей траур!

Помпей извиняющимся жестом поднял руки.

– Я сочувствую, – сказал он. – Но это не меняет дела.

Стервятник презрительно скривил рот, и Птицы дюжиной кривых зеркал отобразили его гримасу.

Выезжали мы в окружении подпрыгивавших, тараторивших Крыс. В дверях образовался затор, и в нем застряла половина тех, кто желал идти рядом и заглядывать нам в лица. Большая игра Дома резко перешла в активную фазу.

Небо за окнами было белесым. Туман, казалось, накрыл Дом огромным комом ваты. И еще стало очень холодно. Как будто температура упала сразу на несколько градусов. А может, меня просто знобило от волнения.

Возле Кофейника толпа немного поредела. Фазаны отпали, остальные разбились по группам. Вожаки гуськом прошли в Кофейник. После их ухода стало гораздо тише. Все ждали.

Со стороны Крыс доносились приглушенные звуки музыки.

– А ведь я говорил, – бормотал Лэри, изжевывая незажженную сигарету, – я предупреждал… Вот, дожили…

– И что теперь? Драка? – спросил я с наигранной бодростью, от которой самому тут же стало тошно.

– Нет, ужин при свечах, мой солдат! – огрызнулся Табаки.

Горбач сказал, что вовсе не обязательно всем здесь торчать. При этом сам не сдвинулся с места.

– Ты прав, – сказал Сфинкс. – Узнаем все от Слепого.

И тоже никуда не ушел.

Македонский дал Толстому булку. Горбач закурил.

Даже понимая, что все это игра, я ужасно нервничал. Слишком хорошо все исполняли

свои роли.

Наконец дверь Кофейника отворилась. Первым показался Помпей. Повернувшись к Псам, он показал им большой палец. Псы радостно взвыли. Потом вышли Слепой со Стервятником и, тихо переговариваясь на ходу, убрели в сторону спален. Рыжий так и не появился. Как будто во время совещания его съели.

– Господи! – простонал Лэри, заметив, что Помпей направляется к нам.

Начавшие было расходиться стаи поспешно вернулись на зрительские места.

Высокий, смуглый, с пижонским гребешком, Помпей остановился рядом. Летучей мыши при нем не было. Может, она уже издохла.

– Поговорим? – спросил он Сфинкса.

– Ты говорил со Слепым, что тебе еще?

– Ну… со Слепым разве поговоришь по-человечески?

Помпей закурил. Он стоял среди нас, как у себя в спальне. Ни капельки не нервничая. Даже немного красуясь. Нервничали почему-то мы.

– Не так давно узнал об одном старом Законе, – сообщил Помпей, между затяжками. – Он меня жутко расстроил. Такая, знаешь, первобытная хрень… Из-за нее я с этим и затянул. Конечно, не верилось, да и ребята говорили, что он больше не действует. Но все же…

Псы подтянулись ближе, чтобы ничего не упустить.

– Мне кажется, – продолжал Помпей, рассеянно поглядев на них поверх наших голов, – его придумали трусоватые вожаки. Вот я и опасался, понимаешь?

Невидимый лед со Сфинкса можно было сбивать молоточком.

– Больше не опасаешься? – спросил он.

– Я в себе это подавил, – гордо сказал Помпей.

– Поздравляю.

– Но все-таки хотелось уточнить. У вас он действует?

– Нет, – отрезал Сфинкс. – Это все?

– Ты как-то грубо разговариваешь, – нахмурился Помпей. – А ведь я, по большому счету, о вас беспокоюсь.

Табаки за спиной Помпея очень натурально изобразил приступ рвоты.

– Не надо беспокоиться, – сказал Сфинкс. – Мы все свободны.

– Ну и слава богу, – с облегчением вздохнул Помпей.

– Не слава богу.

– Ты что, сторонник этого дерьма?

Сфинкс покачал головой. Он смотрел на Помпея оценивающе, как будто что-то прикидывал. Решал для себя какой-то вопрос.

– Нет, – сказал он наконец, отворачиваясь. – Бесполезно.

Помпей принял деловой вид. Даже сигарету отбросил.

– Эй, договаривай. Ты о чем?

– Ни о чем. А где твоя летучая мышь?

Меньше всего Помпей ожидал такого вопроса. Сначала он удивился. Потом обиделся.

– Ты что, издеваешься?

– Ничуть.

Лицо Помпея потемнело.

– Завтра закончим этот разговор. О мышках. Может, к тому времени у тебя в мозгу немного прояснится.

– Может быть, – согласился Сфинкс. И засмеялся. По-настоящему, без притворства.

Я вздохнул с облегчением. Наконец-то кто-то не выдержал. Выпал из образа, испортив игру себе и другим. Меня это обрадовало, хотя я не мог понять почему. Ну играились себе люди, что в этом плохого? Я не сомневался, что сейчас все закончится, что смех Сфинкса подхватят остальные, наплевав на свои роли. Но этого не случилось.

Помпей изобразил, что разозлен, сказал:

– Ладно. Встретимся, – и утопал к Псам. Шестая окружила его, заслонив от нас.

Чуть погодя, медленно, каждый в своем музыкальном облачке, разбрелись Крысы.

Ничего интересного перед Кофейником больше не намечалось. Табаки кружил на своем Мустанге, свесившись к полу и напряженно что-то на нем высматривая. Македонский выдирал из свитера нитки.

– Чего мы ждем? – спросил Горбач. – У нас тут что теперь, полевой лагерь?

– У нас здесь слюни Великого Пса! – радостно отозвался Табаки, всматриваясь во что-то неразличимое на паркете. – Так я и знал, что он где-то тут плюнул – очень уж был злой. Ненавидящими слюнями. Их, конечно, немного затоптали, не без того, но теперь можно за милую душу навести на него порчу.

– Не смей трогать всякую дрянь! – прикрикнул на него Сфинкс.

Табаки захихикал еще восторженнее.

Горбач провез мимо усеянного крошками булки Толстого, и я увязался за ними. Очень хотелось кофе. И кое о чем расспросить Черного.

Когда мы добрались до спальни, Слепого там не оказалось. Черный сидел на своей кровати. Табаки вывалил из шкафа груды каких-то мешков и коробок, и начал рыться в них, то и дело что-то примеряя и спрашивая, идет ли ему. Толстый ушиб голову о край своего ящика и заревел. Македонский перетащил на общую кровать и его.

К тому времени, как стало немного тише, Черный успел смотаться, и поговорить с ним я не успел. Я подполз к Сфинксу, который лежал с неприступным видом, закинув ноги на спинку, и поинтересовался, о каком-таком первобытном законе говорил Помпей.

До того, как я об этом спросил, все занимались своими делами, но тут сразу их побросали, подошли ближе и уставились на нас.

– Обожаю Курильщика, – бормотал Табаки, подтаскивая ко мне очередной мешок, набитый всяким хламом. – Вы только прислушайтесь, как он формулирует свои вопросы!

Горбач, сочувственно глядя на Сфинкса, передал мне кофе. Македонский повис на спинке кровати, не выпуская из рук сахарницу. Удивительно здорово эти люди умели превращать все в цирк. Должно быть, годами тренировались. Я пожалел, что не поехал за Черным сразу, как только он вышел.

Сфинкс даже не соизволил подняться. Лежал, глядя в потолок, с протезами в перчатках на брюхе. Но объяснил. Что закон, так не понравившийся Помпею, называется «Законом выбора». И закон этот такой старый, что в Доме уже никто не помнит, когда и кто его придумал. Он обязывает любого следующего ему идиота – Сфинкс так и сказал, «идиота» – умереть за своего вожака. Скажем, если намечается переворот, следующий этому закону обязан защищать вожака ценой собственной жизни. Сфинкс как будто цитировал какой-нибудь занюханный учебник. Таким тяжеловесным слогом, что до меня не сразу дошел смысл сказанного. А когда дошел, я чуть не пролил весь свой кофе. Сидевший рядом Горбач бережно придержал мою чашку. Табаки давился смехом и хрюкал как сумасшедший.

– А при чем здесь выбор? – спросил я.

– Выбор при том, что этот Закон можно было и не соблюдать. Теоретически.

– Действительно, первобытная хрень, – согласился я с Помпеем.

Табаки объяснил, что предки были люди суровые, и нехороших законов у них водилось в избытке. «Темные были времена, Курильщик, уж поверь». Он опять захихикал.

Я поинтересовался, чьих предков он имеет в виду.

– Наших, – возмутился Шакал. – Здешних.

– Наверное, когда-то думали, что такой закон избавит вожаков от слишком частых покушений, – предположил Сфинкс. – Должно быть, поначалу он даже работал. Считалось, что чем лучше вожак, тем больше народу сделает свой выбор в его пользу, а значит, тем меньше будет шансов у претендентов. Хотя могли бы и сообразить, во что это со временем выродится.

Голова Лэри вынырнула из межкроватного прохода, и водрузила подбородок на край матраса.

– Старшие на этом и погорели, – сообщил он. – У Угробища Мавра сорок человек сидело «на выборе». Ясное дело, мало кто уцелел.

Я спросил, кто такой Угробище Мавр.

– Мал ты еще знать такие вещи, – мрачно ответил Лэри и убрал голову.

Я не сказал, что в таком случае, наверное, не следовало об этом заговаривать. Я решил быть вежливым и принять в их дурацких играх посильное участие. Поэтому спросил Сфинкса, что он имел в виду, когда сказал Помпею, что «это бесполезно».

– Бесполезно было отговаривать его от драки, – объяснил Сфинкс. – Он бы меня не понял.

– А ты собирался? – ахнул Табаки. – С ума сошел? Как бы это, по-твоему, выглядело, ты только подумай!

Сфинкс сел.

– Как бы ни выглядело, – сказал он. – Надо было попытаться. Он тоже человек.

– Он придурок! – заорал Табаки. – Полный кретин!

– За это не убивают.

– Еще как убивают!

Они орали друг на друга, сблизив лица, едва не соприкасаясь носами. Как будто были одни. Как будто никого рядом не было.

– Очень даже убивают, – повторил Табаки уже тише.

Сфинкс смотрел ему в глаза на него еще некоторое время, потом отвернулся.

Я перевел дух. Большая игра достигла небывалого накала. Им почти удалось убедить меня, что все это взаправду, что они не играют, что речь действительно о жизни и смерти. Судя по лицам присутствовавших, впечатлились все.

– И что? – спросил я. – Помпея уже не спасти?

На меня посмотрели как на больного. Сочувственно и с сожалением. Таким образом заканчивались все мои попытки внести вклад в игру. Я понял, что на сегодня с меня хватит. Что я больше не в силах изображать дурачка, которого требуется просвещать.

Я сказал им спасибо. Сказал, что они помогли мне разобраться во всем, и что теперь я просто счастлив. Они вытаращились, как на совсем слабоумного.

Я пил свой кофе и больше никого ни о чем не спрашивал.

Мы ехали и шли в кромешной тьме. Медленно, как черепахи. Фонарики мало помогали. Два бледных кружочка света под колесами и куча народу наступающего друг другу на пятки, спереди и сзади. Три спотыкающиеся в потемках стаи, и нам еще повезло, что Псы на первый уже спустились. Когда мы проезжали мимо дверей спален, за ними поднималась возня, они приоткрывались, и до нас долетал шепот оставленных – таких, как наш Толстый, или чуть более вменяемых. Бедняги очень старались не привлекать к себе внимания, но все же это действовало на нервы.

Впереди у лестницы стоял кто-то, чуть ли не прожектором освещавший спуск. Я вспотел, захотелось курить. Перекресточный телевизор показался скорченной человеческой фигурой. Казалось, что наши шаги отдаются на всех этажах, и вот-вот сбегутся встревоженные воспитатели с Ящиками выяснять, в чем дело.

Лестница пахла дезинфекцией и мышиным пометом. Осветитель очень старался. Он группировал всех по шестеро, освещал дорогу до самых нижних ступенек, а затем поднимался за следующей группой.

Коридор первого этажа был намного просторнее нашего, тут запросто можно было проехать в четыре коляски, и еще осталось бы место для пары ходячих. Так что здесь мы двигались быстрее. Проехали мимо запертых дверей приемной, актового зала и кинотеатра, мимо кабинок игровых автоматов, стендов с фотографиями, шеренги огнетушителей, окошка прачечной… Спортзал оказался открыт, там уже горел свет. Дальше можно было двигаться без фонариков.

Народу в зале набилось уже битком и все прибывало, но при этом, как ни странно, было довольно тихо. Все разговаривали шепотом. Псы успели развалиться на матах, повытаскивать термосы и бумажные стаканчики и принять вид хозяев помещения, к которым все остальные явились в гости.

Сфинкс, Черный и Горбач направились прямо к ним. Слепой остался у двери. Я, как привязанный, мотался за Табаки, а он, видно, решил пообщаться со всеми присутствовавшими, так что мы раз за разом кружили по залу, здороваясь и обмениваясь всякими дурац-

кими фразами то с тем, то с этим, пока мне это не надоело, и я не отстал.

Помпей сидел на мате в стороне от остальных Псов и курил, стряхивая пепел на пол. На шее у него болтался пестрый жгут скрученного в колбаску шейного платка. Кожаные штаны, казалось, вот-вот лопнут под напором мускулистых ляжек. В переговорах со Сфинксом он не участвовал, и я понял, что детали Великой битвы обсуждаются без ее главных героев. Потом я сообразил, что понятия не имею, что входит в план Битвы – победа Помпея, или его поражение. А ведь это тоже наверняка заранее обговорено.

Сфинкс и Горбач с Черным вернулись. Сфинкс подошел к двери и зашептался со Слепым. Колясники шестой остались сидеть, где сидели, ходячие встали, но тоже остались возле матов. В середине зала собрались ходячие второй и третьей. Взявшись за руки, они образовали большой круг. Потом в него вклинились колясники, а самыми последними, Черный, Горбач, Лэри и Псы из шестой. Каждого из наших и Псов ставили между Птицами и Крысами так, чтобы по обе стороны стояли чужие. С включением в круг ребят из шестой он сделался похож на небольшую арену. Со стороны это выглядело довольно забавно. Как будто в Доме часто тренировались в создании такого вот круга. Как минимум раз в неделю. Я дивился на необычное зрелище, и тут меня окликнули. Оказалось, я тоже должен был занять свое место.

– Сонная тетеря! – прошипел Табаки, когда я проехал мимо него.

– Македонский-то не встал, – оправдывался я.

Табаки бросил на меня негодующий взгляд и, поджав губы, отвернулся. Меня поставили между Ангелом из третьей и Мартышкой из второй. Первый пялился в потолок и зевал. Второй ерзал, гримасничал и причмокивал губами. Рука Ангела держала мою еле-еле, а Мартышка то стискивал изо всех сил, то дергал и тряс, то чуть не отпускал. При этом создавалось впечатление, что ни тот, ни другой совершенно не воспринимают меня как человека. Я стал фрагментом общей цепочки. Не более того.

Когда перемещения прекратились, Помпей поднялся с мата, потянулся и вошел в круг, поднырнув под чьи-то сцепленные руки.

– Это всегда так? Как детская игра? – шепотом спросил я Мартышку.

Он посмотрел на меня рассеянно, скорчил гримасу и сказал, что не понимает, о чем я толкую.

Сфинкс подвел к кругу Слепого. Слепой тоже вошел.

– Зачем этот хоровод? – опять спросил я Мартышку.

– Зачем? Чтобы всем было как следует видно, дурак! И чтоб руки у всех были…

Мартышка не успел договорить. Дружный крик заставил нас вздрогнуть и вытянуть шеи. Круг распался. Помпей лежал на полу, дрыгал ногами и издавал странные звуки. Похожие на голубиное курлыканье.

«И это все?» – растерянно подумал я.

От того, что я увидел потом, мне стало худо. Помпей держался за горло, а между его красными пальцами торчала рукоятка ножа. Я сразу зажмурился и уже так, с закрытыми глазами, услышал общий выдох. Он мог означать только одно. Но я все же медлил, не решаясь взглянуть, а когда открыл глаза, Помпей уже не дергался. Лежал жалкий и мешковатый в быстро растекавшейся луже крови, и никто из нас, стоявших и сидевших вокруг, не сомневался в том, что он мертв.

Круг сохранился, хотя никто уже не держался за руки. Было очень тихо. Все смотрели на Помпея и молчали.

Я понял, что запомню это на всю жизнь. Труп на сверкающем зеленой краской полу, свет ламп, отражавшихся в оконных стеклах, и общее молчание. Тишину места, где молчит слишком много людей.

Слепой присел над Помпеем, нащупал нож и выдернул. Нож вышел с хлюпаньем, от которого меня чуть не стошнило. Дождавшись, когда то, что поднялось из желудка, уляжется обратно, я развернул коляску и рванул к дверям, думая только о том, как бы побыстрее убраться из этого места.

Я мчался в темноте, не разбирая дороги, и наверняка убился бы еще на первом этаже, не догони меня Табаки.

– Эй, куда ты без света? Стой!

Он догнал меня, загарпунил своей клюкой и заставил остановиться. Уж не знаю, как ему это удалось в кромешной темноте.

– Успокойся, Курильщик! Главное, успокойся! – твердил он.

Я сказал, что абсолютно спокоен. Он достал из рюкзака фонарик, и дальше мы ехали со светом. Очень медленно.

Табаки дрожал и бормотал какую-то чушь:

– Чур не в меня, прочь от меня, ищи себе другую шкуру, гуляй по реке, слейся с луной, только ни за что не свяжись со мной…

Я рассмеялся, и он сказал:

– Не психуй, пожалуйста. А то придется лупить тебя по щекам и отпаивать валерьянкой, а кому, по-твоему, сейчас охота этим заниматься?

– А чем у вас есть охота заниматься? – спросил я. – Много других дел?

Он не ответил.

– За это не убивают! – прокричал Сфинкс в лицо Шакалу.

– Еще как убивают! – ответил Шакал.

– Мал ты еще знать такие вещи, – сказал Лэри.

– И что теперь? – спросил я. – Помпея уже не спасти?

Все уставились на меня. Как на полного идиота.

Я им и был.

– Боже мой! – сказал я. И засмеялся. Невозможно было удержаться. Табаки остановился и молча переждал мой приступ веселья.

– Та крыса… – сказал я ему. – Помнишь крысу? Я думал, вы ее убьете. Пристукнете шваброй. Но вы и не собирались, верно?

Свет фонарика отражался в круглых глазах Шакала двумя желтыми точками.

– Вы не собирались причинять ей вред. Крысе – ни в коем случае, да? Но только Лэри по-настоящему боялся Помпея. А вы все знали, что Слепой его убьет…

Табаки молча смотрел на меня.

– Вы знали, – повторил я. – Жалея его летучих мышей. Рассказывая сказки. Распевая под гитару. Сфинкс был уверен в этом, когда говорил с ним сегодня… Теперь-то я понимаю…

– Ну? – спросил Табаки. – Допустим, мы знали. Что из того?

Ему не было ни противно, ни стыдно. Ни капли. Я это даже в темноте понял. И если бы не Сфинкс… если бы он не крикнул тогда: «За это не убивают!» – я сейчас подумал бы, что они все такие. «Еще как убивают!» – ответил Шакал. Да. В Доме убивают. А я еще уточнил: «Значит, Помпея уже не спасти?» С иронией. С издевкой. Они удивились. Еще бы… По части цинизма я переплюнул их всех.

Я опять засмеялся. Смеялся и ничего не мог с этим поделать. Смех перешел в спазм. Я буквально подавился им. И меня стошнило. На собственные колени. Я не успел ни свеситься, ни отвернуться.

Табаки ойкнул, но промолчал.

У лестницы нас догнал Македонский с фонариком. Посветил на меня, взялся за ручки коляски и повез чуть ли не бегом. Шакал мчался следом. Я сидел, зажмурившись, и старался ни о чем не думать. Меньше всего – о Большой игре. Такой дурацкой и забавной игре, придуманной от скуки…

В ванной Македонский высадил меня на пол и раздел до трусов. Я сидел на мокром полу и дрожал. Он унес мою одежду и вернулся отмывать коляску, а я так и сидел голый. Потом они с Горбачом запихнули меня в душевую кабинку, включили воду и задвинули дверцу. Я растянулся в кафельном углублении под струями, бившими в спину, и слушал их, заглушенных душем и прозрачной дверью, слушал, как они разговаривают, отмывая мою коляску.

– Собрал все ножи и бритвы и куда-то уволок, – сказал Горбач. – Даже пилки унес. Где-то у него свои тайники.

Македонский пробормотал что-то невнятное.

– Завернул все в наволочку. Почему-то в мою. Интересно почему.

Поскрипывание коляски и тишина.

– Курильщику можно дать мои брюки, он в них не утонет, наверное. А чистых рубашек у меня у самого нет.

Я зажмурился, подставив лицо под душевую струю. Под водой ничего не было слышно и так было намного лучше. Если бы меня оставили в покое, я пролежал бы здесь, оглушаясь душем всю ночь, и, может, к утру мне бы полегчало. Но меня вытащили. Отодвинули дверцу и выволокли на расстеленное полотенце.

Пока я вытирался, подоспел Лэри, занял мое место в кабинке и заплескался там, как сумасшедший тюлень, даже не задвинув дверцу.

Вошел Сфинкс и застыл посреди ванной с рассеянным видом, как будто забыл, что ему здесь надо.

Я вынырнул из-под полотенца. Рядом на табуретке лежала стопка одежды. Сверху – рубашка в светло-серую клетку.

– Я это не надену, – сказал я. – Заберите ее.

Горбач посмотрел на меня удивленно, как будто было что-то странное в том, что я отказывался надеть эту рубашку. Рубашку Слепого, которую видел на нем не раз и не два. Как будто непонятно, что после того, что случилось, у меня не было никакого желания носить его одежду.

Лэри запел под душем, фальшиво и громко, с треском похлопывая себя по выпирающим ребрам.

– Эксгибиционист чертов, – проворчал Сфинкс. И вдруг заорал так громко, что я вздрогнул:

– Дверь закрой!

– Ладно, – сказал Горбач и убрал у меня из-под носа одежду, – завтра что-нибудь тебе подберем. Сегодня все равно уже только спать.

Он набросил на меня полотенце, подсадил в коляску и повез. Коляска была еще влажной после мойки. Я заскользил по обивке и крепко вцепился в ручки, чтобы не вывалиться.

– А ты – брезгливый человек, – сказал Сфинкс.

Я обернулся.

Он смотрел холодными, как лед, глазами.

– Я не брезгливый, – ответил я. – Я нормальный. А ты?

Он прищурился:

– Я – нет.

Никогда в жизни никто не смотрел на меня так, как он. С таким невыносимым презрением. Потом он прикрыл глаза. Как будто вообще не хотел видеть.

– Господи, – сказал он, – да ты мизинца его не стоишь! Ты…

Горбач быстро развернул коляску и вывез меня в прихожую, захлопнув дверь. Из-за нее донеслись какие-то шипение и возня, как будто и Македонский, и Лэри вцепились в Сфинкса, не давая ему за мной броситься. Горбач укрепил меня в этом подозрении, галопом домчав до спальни, вывернув на кровать и тут же убежав обратно.

Я сразу лег. Прямо в полотенце. Укрылся с головой и лежал, зажмурившись, изо всех сил стараясь не заплакать. Я продержался до тех пор, пока не стихли все звуки. Пока вокруг не перестали ходить и переговариваться, стучать и укладываться. Только тогда я заплакал. Я очень надеялся, что меня не слышно. Что-то закончилось в ту ночь, и это оказалось больнее, чем могла бы стать целая жизнь, прожитая среди Фазанов.

Следующий день стал днем допросов и обысков. В коридорах появились сумрачные люди в форме. Они ходили по классам, расспрашивали о Помпее и искали нож. У нас они пробыли недолго. Порылись в ящиках столов и тумбочек, постучали по стенам и ушли.

Лэри то и дело отправлялся на разведку и сообщал последние новости, которые никого не интересовали. Выйдя в коридор, можно было посмотреть, как Псов по очереди таскают в

учительскую сравнивать показания. Этим Лэри и занимался. Ошивался в коридоре. Только у него это называлось разведкой.

После семи вечера посторонние разъехались, а Акула собрал всех учителей и воспитателей на экстренное совещание. В десять, с опозданием на два часа, зазвонили к ужину, и мы поехали в столовую. На дверях кабинетов уже висели траурные ленты. В столовой нас ждал Акула. Он говорил долго и прочувственно. Смысл речи сводился к тому, что всем, кто знал что-либо о смерти Помпея, предлагалось прогуляться в директорский кабинет и побеседовать там с ним с глазу на глаз.

Спать мы легли раньше обычного. Во всех четырех углах спальни были нацарапаны заклинания от визитов мстительных покойников. Табаки развесил над собой кучу охранных амулетов. Горбач каждые полчаса вскакивал, светил фонариком на дверь и со вздохом облегчения валился обратно в кровать.

КНИГА ВТОРАЯ
ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК

РАЛЬФ
Мимолетный взгляд на граффити

Вы дому не нужны – чего ради вы так низко опускаетесь и нуждаетесь в нем – уходите – уезжайте далеко-далеко от дома.
Б. Дилан. Тарантул

Он поднялся по лестнице и вошел в коридор, зная, что никого не встретит. В столовой гудели голоса, тихие, как жужжание пчелиного роя в дупле. *Когда оно в дупле, а ты снаружи, и еще не понял, что это за звук, там, в дереве, и что за точки мелькают вокруг, а когда понял, ты уже бежишь…* Он шел медленно, сумка оттягивала плечо. Двери классов открыты, пустые комнаты будто отдыхают перед последними уроками. Двери классов и спален иногда распахивались внезапно, можно было заполучить синяк на лбу. Он давно привык ходить по той стороне, где когда-то были окна, подальше от дверей. Когда он задумался об этом, ему стало смешно.

Пятнадцать лет. За это время, можно было бы протоптать тропу, имея под ногами землю вместо паркета. Широкую, заметную тропу. Свою собственную. Как у оленя. Или…

Здесь когда-то были окна. И коридор был намного светлее. Никому и в голову бы не пришло их замуровывать, если бы не надписи. На стеклах не оставалось просветов. «Они» покрывали их надписями и уродливыми рисунками сверху до низу, а как только стекла отмывали или вставляли новые, все начиналось с начала. Ни дня эти окна не выглядели по-божески. Такое происходило только в этом коридоре. На первом этаже не было окон, выходящих на улицу, а на третьем обитало слишком много воспитателей. Он хорошо помнил, как после очередной замены стекол (всякий раз надеялись, что в них заговорит совесть, но этого так и не произошло) они просто закрасили новенькие, сверкающие стекла черной краской. Он помнил, что почувствовал утром, увидев эти безобразные черные прямоугольники в рамах: он почувствовал ужас, впервые осознав, чем были для них эти окна, с которыми они так варварски обошлись, и проголосовал на общем собрании за то, чтобы их замуровали.

Это не было детской шалостью, как можно было подумать вначале, хотя уже тогда можно было кое о чем догадаться, ведь в спальнях и классах такого не делали. Но только увидев черные стекла он понял, насколько его подопечные боятся этих окон, как они их ненавидят. *Окна в Наружность…*

Теперь он шел по той стороне, где окна когда-то были, и где их больше не было, от чего коридор стал слишком темным, но вряд ли кто-то в Доме помнил, что раньше он был другим.

После истории с окнами он многое понял. Он был молод, ему хотелось поделиться

своими опасениями с кем-нибудь. С кем-то старше и опытнее себя. Теперь он не стал бы этого делать, но тогда это казалось нормальным. Тот раз стал единственным, первым и последним. Больше он не пытался говорить с кем-либо о том, что чувствовал.

Они закрылись от стороны, выходившей на улицу. Другая, со стороны двора, их не беспокоила, хотя двор открывал наружность не хуже улицы. Но двор, дома, видимые со двора, пустырь и все, что к нему прилегало, они приняли и включили в свой мир. Для этого не требовалось обносить двор бетонным забором, забором стали сами дома. С другой стороны этого не было. *«Они пробуют вычеркнуть все».* Он помнил свои слова, хотя произнес их давно. *«Все, кроме себя и своей территории. Они не желают знать ничего, кроме того, что есть Дом. Это опасно».* Лось засмеялся и сказал, что он преувеличивает.

«Они прекрасно знают, что такое наружность, и как она выглядит. Они выезжают в летние санатории каждый год. Они с удовольствием смотрят фильмы».

Он понял, что не сможет объяснить никогда. Опасность была не в незнании. Она была в самом этом слове «наружность», придуманном ими. Они решили – Дом это Дом, а наружность – не то, в чем он находится, а нечто совсем иное. Никто ничего не понимал. Никто ничего не почувствовал, глядя на черные стекла. Лишь он один испугался, когда его захлопнули в ловушке, лишив возможности видеть то, чего не желали видеть они. Лось был самым умным, но и он не понимал их. *Бедные дети, судьба жестоко обошлась с ними…* Лось верил в это. И тот выпуск мучителей оконных стекол ничему не научил его, хотя перед их уходом Дом пропах влажным ужасом, и Ральф задыхался в его испарениях. Уже тогда ему захотелось сбежать, но он надеялся, что как только этих не станет, все изменится, а с другими все будет иначе, и на какое-то время, совсем ненадолго, это сработало, потому что следующие были еще слишком малы, чтобы всерьез бороться с реальностью. Позже оказалось, что они умеют это не хуже предыдущих, даже лучше, и ему оставалось только следить за ними и ждать. Он считал, что им дают слишком много воли, но на такого рода замечания ему отвечали: «Больные дети!» – и его передергивало от этих слов так же, как их самих, когда они слышали такое. Он наблюдал за ними и ждал.

Пока они не выросли, видоизменяя себя и свою территорию, достигнув возраста, когда полагалось уходить. Те, что были до них – двенадцать попыток самоубийств, пять из них удачные – попробовали притормозить время по-своему. Эти, уходя, вытянули за собой, как в воронку, все, что их окружало; в этот водоворот попал и Лось, считавший их безобидными детьми. Быть может, он все-таки что-то понял, когда было уже слишком поздно.

Ральфу всегда хотелось знать, о чем Лось думал в те последние минуты, если ему хватило времени о чем-то подумать. Они смели его, как песчинку, как обрывок мусора, приставший к ним на бегу. Не нарочно, они любили его, насколько вообще могли кого-то любить, просто им было уже все равно. Когда наступил их Конец Света, один воспитатель ничего не значил. Ни один, ни двое, ни трое не сумели бы их остановить.

Если бы он остался жив после той ночи, он понял бы то, что понял я намного раньше. Мира, куда их выбрасывают, когда им исполняется восемнадцать, для них не существует. Уходя, они уничтожают его и для других.

Тот выпуск оставил после себя кровавую дыру, ужаснувшую всех, даже тех, кто не имел отношения к Дому, и после смены руководства все учителя и воспитатели покинули его. Все, кроме Ральфа. Он остался. Знакомство с новым директором, далеким от гуманизма, сыграло при этом решающую роль. Остальные – те, кто еще не разбежался после июньских событий, поспешили уйти после встречи с новым директором. Ральф верил, что в этот раз все будет по-другому, что он сам сделает все, чтобы остановить их, когда придет время. Теперь у него была такая возможность, он знал, что нет никого, кто своим мягким отношением к «детям» станет мешать ему.

Он следил за ними с самого начала и видел, как они меняются, замечая это даже прежде, чем они начинали меняться. Он взял себе третью и четвертую, самых странных и самых опасных – хотя тогда было просто смешно думать о них так. Долгое время он ждал неизвестно чего, пока не заметил: что-то стронулось с места в их комнатах, чем-то эти комнаты стали отличаться от других. А вместе с ними и их обитатели. Это было неуловимое для несведущего изменение, его нужно было чувствовать кожей или вдыхать с воздухом, и ча-

сто, неделями, он не мог войти к ним по-настоящему, в место, которое они создали для себя, незаметно изменив существующее на самом деле. Со временем у него это стало получаться все лучше, а потом он с ужасом обнаружил, что в зону их невидимого мира проникают и другие, случайные люди. Это могло означать только одно: их мир существовал на самом деле или почти существовал. И он сбежал. Сбежал, уже зная, что вернется, чтобы увидеть, досмотреть до конца, узнать, ЧЕМ ЭТО КОНЧИТСЯ У НИХ? Теперь он сознавал, что не сможет помешать, чем бы это ни было, ему просто нужно было знать, каким оно будет. Потому что пока он учился у тех, что были до них, они учились тоже, и намного быстрее. Им не нужно было бы закрашивать стекла – он был в этом уверен – им достаточно было бы убедить себя, что окон не существует, и, может даже, они перестали бы существовать.

На Перекрестке блестело боками расчехленное пианино. Он наступил на ленту, красной змейкой свернувшуюся под ногами. Теперь он шел по центру коридора – *все еще его тропа*… Три буквы «Р» прыгнули ему навстречу со стены. Как собственная подпись, как знак его присутствия.

Он замер. Его вовсе не звали Ральфом. Он с первого часа возненавидел эту кличку-имя. Именно за то, что она была именем, он предпочел бы называться Барбосом или Мимозой, чем угодно, что звучало бы прозвищем, а не именем, которое могли счесть его собственным. И может быть, именно поэтому, благодаря ненависти к «Ральфу», он остался им так надолго, пережив все прочие клички. Окрестившие его Ральфом успели уйти, успели уйти те, что были малышней, когда его так назвали, и подросли те, кого вообще при этом не было, а он оставался Ральфом, или просто буквой, заглавной буквой с номером. Буква – это было даже хуже. На стенах они писали только так, и между собой чаще употребляли этот вариант, уродуя ненавистную кличку еще более ненавистным сокращением.

Он остановился перед дверью без номера с застекленным окошком вверху. Здесь его поприветствовало еще одно «Р» – мылом на стекле. Он захлопнул дверь и избавился от собственной клички до следующего выхода в коридор. Это был его кабинет и его спальня. Единственный из воспитателей он ночевал на втором этаже. Акула считал это огромной жертвой с его стороны, и Ральф его не разубеждал. Достаточно было напомнить: «Я нахожусь на круглосуточном дежурстве», – и он получал все, чего хотел, без особых усилий.

Ральф старался соответствовать образу приносящего себя в жертву, хотя страх воспитателей и самого Акулы перед вторым этажом смешил его. Надо было знать их очень плохо или вообще не знать, чтобы подумать, что они полезут громить комнату и резать находящегося в ней воспитателя просто так, потому что плохие, или от нечего делать. Он догадывался о существовании Закона. Ему об этом никто не рассказывал, но по некоторым особенностям их поведения он вычислил не только существование Закона, но и отдельные его пункты. Такой, например, как неприкосновенность учителей и воспитателей, надежно защищал его. За редкими исключениями, они держались в рамках Закона. Исключения могли посыпаться дождем в роковой период – за две недели до выпуска.

Сейчас думать об этом было еще рано, бояться тем более, и он не собирался менять комнату только потому, что что-то могло случиться через полгода. Самую большую глупость он совершил, вернувшись. На ее фоне забота о собственной безопасности выглядела бы нелепо. И уж, конечно, он не собирался проводить последние месяцы в Доме в беседах с Шерифом или подвыпившим Ящером, вваливавшимися в любую комнату на третьем, как к себе домой. Пара бутылок пива, считали они, лучший повод зайти, и, оснащенные ими, даже не трудились стучать. По традиции, воспитатели выпивали. Не напивались, как Ящики, а выпивали. Различие было тонким и зачастую мало заметным, хотя они оскорбились бы, отметь это кто-либо вслух. Ящиков оскорбить было труднее. Хотя и они иногда обижались. Например, им не нравилось, когда их называли Ящиками.

Мало кто в Доме знал, что прозвище Ящикам придумал Ральф. Подразумевались не формы и не скудоумие, как считали все, а именно ящики с бутылками. Дать прозвище кому-либо в Доме было легко. Ночью пройти по коридору, выбрать подходящее место на стене и, подсвечивая фонариком или вслепую, написать то, что нужно, так, чтобы надпись не очень бросалась в глаза. Все равно прочтут. Стены были их газетой, журналом, дорожными знаками, рекламным бюро, телеграфным центром и картинной галереей. Это было

просто – вставить туда свое слово и ждать, пока оно подействует. Дальнейшее от него не зависело. Прозвище могли забыть и закрасить чем угодно, могли принять и начать им пользоваться. Ральф редко когда ощущал себя таким молодым, как в ночи вылазок с баллончиком краски. Баллончик и фонарик, больше для этого занятия ничего не требовалось. Это стало намного легче делать, когда он переселился на второй этаж, но тогда же его дважды чуть не застали врасплох, и он перестал вносить свою лепту в прозвища Дома, опасаясь, что рано или поздно его разоблачат. Ему не хотелось подрывать их доверие к стенам, он сам получал оттуда много полезной информации, надо было только не лениться читать и расшифровывать их каракули. Стена была его входом в их жизнь, членским билетом, без которого нельзя было бы войти даже тайно. Он научился выхватывать свежие надписи из переплетения старых, с первого взгляда, настолько хорошо изучил общую схему. Не вглядываясь, не вчитываясь – это могли заметить – один рассеянный взгляд, и он уносил с собой ребус, который расшифровывал вечером, за чашкой чая, не торопясь, как другие проводят вечера над кроссвордами.

Иногда это получалось, иногда нет, но он не расстраивался, зная, что завтра будет новый урожай сообщений, над которыми можно будет поразмышлять. Единственное, что его раздражало – обилие ругательств, в которые тоже надо было вчитываться, чтобы не пропустить что-нибудь важное. В период полового созревания жителей Дома он начал сожалеть о своей привычке читать то, чем они украшали стены. Позже ругательства пошли на спад, хотя в районе второй в них по-прежнему можно было захлебнуться.

Сейчас, проходя по коридору, Ральф не смотрел на стены. За полгода они изменились почти до неузнаваемости; он не хотел засорять мозги в первый день возвращения, угадывая все, что прибавилось за шесть месяцев там, где много чего прибавлялось и за день. Только от многочисленных Р ему не удалось убежать, слишком уж они бросались в глаза, выделенные и оторванные от групповых надписей, наползавших друг на друга в местах наибольшей скученности текстов и рисунков.

Может, это делалось с умыслом. Только кому они адресовали эту надпись, ему или самим себе? И чем это было? Напоминанием или приветствием? Чем-то, о чем они боялись забыть, или чем-то, чего забыть не могли? Он уехал, и в то же время он был здесь. Никогда не встречал Ральф на стенах клички умерших, о них не говорили, их вещи уничтожали или делили между собой. Закрывали дыру – так это называлось. Ночь поминального плача, и за человеком стирались все следы, на стенах в первую очередь. То же происходило с покинувшими пределы Дома. Они были убеждены в неотвратимости конца, ожидавшего их в наружности. С уходящими они поступали, как с покойниками. А он уехал, и в то же время остался, впечатанный в стены их руками. Значит, они знали, что он вернется. Только как они могли это знать? Как могли быть уверены в том, в чем сам он не был уверен до последней минуты?

Ральф опустил сумку на пол и сел на диван. Конечно, они знали. *А теперь, и я знаю, что они это знали. Уже знаю, хотя специально не смотрел на стены. Они написали так, чтобы бросалось в глаза, чтобы я понял, вернувшись, что меня ждали…*

Еще немного, и я решу, что меня приманили, околдовали заклятием букв. Еще немного, и я представлю, как они танцуют ночью вокруг этих букв, шепча заклинания и рисуя магические круги. Еще немного, и я подумаю, что приехал только потому, что они этого захотели. Я здесь всего несколько минут, и уже начал сходить с ума. Может, это так и нужно здесь, быть слегка помешанным? Может, без этого здесь просто нельзя быть?

Он знал, что отчасти прав. Нельзя уйти и вернуться, когда пожелаешь. Дом мог не принять его. Такое бывало с другими, он видел это не один и не два раза, и знал, что не ошибается. Его могло не принять НЕЧТО. Неописуемое словами, не поддающееся логике, НЕЧТО, бывшее самим Домом, или его духом, или сутью, он не искал слов и не думал об этом словами. Просто возвращаясь, он знал, что окончательное решение будет зависеть не от него. Не от него, не от «них» и меньше всего от Акулы. Дом примет его или не примет. И может, именно Дом они пытались задобрить, помечая его стены буквой Р. Приучая к мысли о его возвращении.

– Ладно, – сказал Ральф устало. – Считайте, что я вас поблагодарил. *Интересно, что*

им от меня нужно? Или это стало традицией приносить в жертву наружности воспитателя перед уходом?

Он встал, отгоняя глупые мысли. *Если им нужен воспитатель, их здесь хватает и без меня… А сумасшедший воспитатель никому не нужен, ни им, ни мне.* Он подошел к окну, дернул шпингалет и отворил одну створку. Холодный ветер ворвался в комнату, изгоняя затхлый запах нежилого места.

Скомканные облака нависали над самыми окнами, по-вечернему затеняя день. Он вытер пыль с подоконника, сел на него и закурил, расслабляясь. Выкинул окурок и прислушался. Коридор гудел голосами.

Песни Дома и его шорохи…

Ноги простучали мимо двери, коляски проехали. Ральф пересел на диван и включил радио. Заиграла музыка. Он поднял громкость.

За дверью остановились. Двое. Потом их стало больше. Он слышал приглушенный шепот, но не различал слов. Они пошептались. Топот тяжелых каблуков Вестников Логов удалился доносить, и Ральф выключил радио. Он подошел к двери, одной из тех, что, распахиваясь, ударяли по лицам. Но они успели отбежать.

– Ооо… Ооо…

У противоположной стены вежливо раскланивались нелепые ушастые Логи.

– Вы вернулись! Вы слушаете радио…

– Да, – сказал он. – Как видите.

Не переставая кивать, они незаметно передвигались вправо. Быстрее добежать, рассказать, первыми сообщить всем! Сенсация дня стояла перед ними во плоти, а вежливость не позволяла рвануть наперегонки, громкими воплями оповещая Дом о случившемся. Они мучились, полыхая ушами и покусывая губы, взглядами жадно ощупывая Ральфа. Кто первым заметит что-то интересное, станет героем дня! Те, что ушли, узнали первыми и первыми расскажут, но те, кто остался, первыми увидели, и они старались выжать из этого жалкого преимущества все, что возможно, раз уж первенство сообщения у них было отнято. Рассказы очевидцев должны быть красочными и волнующими, и Ральф почти физически ощущал, как из него добывают эти краски и волнительные подробности, проникая под кожу жадными щупальцами глаз.

– Свободны, – сказал он им.

Логи не шелохнулись, только уставились еще более страстно.

– Я иду в третью, – сжалился он. Ахнув, Логи умчались прочь, наступая друг другу на ноги, сверкая черной кожей жилеток и кнопками застежек.

Ральф шел медленно, давая гонцам возможность осуществить свою миссию. Он смотрел на стены.

Территория второй: безголовые женские фигуры, крутейшие бедра, круглейшие ягодицы, тыквенные груди… Между ними змеились высказывания публики о мастерстве художников, стихи на аналогичные темы и ругательства. «Хвост приложил Кр. Соломон», «Берегись! Ты знаешь, про что я!», «Заплыв отменен вв. нестандарт. одежд.», «Еще раз так сделал. Сделаю еще».

Крысы стояли у распахнутых дверей класса, синхронно хихикая и шаркая ногами, словно управляемые одной нетрезвой рукой.

– Здравствуйте…

Только что из мусорных баков. Серая шерсть в лишаях, прозрачно подрагивающие усы, запах помойки, голые хвосты с налипшим пометом.

– С приездом. Как поживаете?

Ральф прошел мимо.

Рисунки на лбах, на щеках и на подбородках, очки всех форм и размеров. Крысы боялись света и прятали от него глаза.

«С возвращением!» – хихикнула стена, украсив приветствие заборчиком из восьми восклицательных знаков. *Когда только успели?* Он миновал вторую. Зону ягодиц и двусмысленных шуток. По стене поплыли красные треугольники, быки и антилопы. Здесь писали мало и мелко. Рисунки Леопарда охранялись от посягательств. Ральф не стал вгляды-

ваться. Зеленая стрелка указывала прямо: «Тропа друидов. Почву перед собой ощупывай шестом. Ж. Т. по пятницам каждое полнолуние».

Что такое Ж. Т.? Жертвоприношения?

Дверной проем класса третьей был пуст. Ральф вошел – и под ногами зашуршали семена. Семена и жухлые листья. Коробочки, с треском лопавшиеся под каблуками и рассыпавшие белый порошок. В сумраке зеленых кущ за столами сидели Птицы и улыбались. Окна затеняли мясистые листья и стебли всевозможных растений. Пахло влажной землей.

Слон – огромный и краснощекий – качал головой в окружении горшков с фиалками. Фиолетовый спектр. Красавица над пожелтевшей геранью, Бабочка под лимонным деревцем. Стервятник сидел на стремянке – парил над классом, вознесенный почти к самому потолку. Компанию ему составляли два горшка с кактусами. Стол Дракона, украшенный только тарелочкой с проросшей пшеницей, выглядел убого. Птицы улыбались. *Щебет в ветвях…* Не было ни страха, ни враждебности. Они, казалось, были искренне рады его возвращению.

Ральф сел за учительский стол. Толстый белесый стебель шмякнулся перед ним, как сорвавшийся с потолка червяк.

Стервятник слез со стремянки, проковылял к столу и, пробормотав «Прошу прощения», проглотил его.

– Неоднократно повторялось: обрезайте подгнившее!

Он обмахнул стол носовым платком.

– Спасибо, – сказал Ральф.

Стервятник лучезарно улыбнулся.

Перед Ральфом появилась чашка с кофе. Пока он удивленно ее разглядывал, его поверхность подернулась ряской.

– Видите? – грустно спросил Стервятник. – За всем не уследишь. Я огорчен, поверьте.

Ральф попытался собраться с мыслями.

– Пока меня не было…

– Мы все очень скучали, – хором сообщили Птицы.

Стервятник посмотрел на них с гордостью.

– А в четвертую перелетел Фазан, – сообщил Слон, ковыряя в носу. – Почему-то не к нам, а к ним. Почему-то…

– Дела четвертой нас не касаются, – перебил его Дракон. – Ты бы помолчал!

Ангел заломил руки:

– Дом без вас не Дом, уважаемый Ральф. Я это всем твержу, постоянно! Спросите, спросите их…

– Счастлив слышать, – сказал Ральф. – Что еще?

– Песня! – радостно каркнул Ангел. – В вашу честь! Мы только вчера закончили ее разучивать. Разрешите исполнить?

Вчера закончили разучивать? Песню?

– Не разрешаю, – сказал Ральф. – Обойдемся без песен.

Птицы разочарованно вздохнули. Ангел в приступе гнева впился зубами в собственную руку.

– Простите?

В дверях стоял маленький лысый человек в синем костюме и, близоруко щурясь, рассматривал Ральфа.

Он встал.

– Не имею чести, – произнес человечек и шагнул ему навстречу.

– Я воспитатель, – объяснил Ральф. – Вернулся из отпуска, зашел повидать ребят. Но у вас урок. Я не буду мешать.

– Прошу вас, – засуетился учитель. – Общайтесь. Я зайду позже.

– Мы уже пообщались. Не хотелось бы мешать уроку. Извините.

Ральф обошел лысого и выбрался в коридор.

Учитель прошмыгнул следом.

– Вы ведь *их* воспитатель, да? – пухлая ладошка ухватила Ральфа за рукав куртки. – А вам не кажется, – глаза учителя округлились, голос понизился до шепота, – не кажется, что они немножко странные? Этот запах… и это… засилье флоры. Вы не находите? Количество… И запах…

– Нахожу, – любезно сказал Ральф, снимая с рукава пальцы учителя. – Но вам пора.

– Да, – учитель горестно покосился на дверь, – пора. Однако я определенно испытываю дискомфорт. Поймите меня правильно, это тяжело.

Сквозь приоткрытую дверь сладко тянуло болотным духом.

– Привыкнете, – пообещал Ральф. – Со временем.

Понурившись, учитель исчез за дверью, и в нее тут же просочился Стервятник.

– Поехали, – сказал ему Ральф. – Все, что произошло. И покороче.

Стервятник прислонился к стене:

– У *меня* в стае никаких перемен, – отчитался он. – А в чужие дела я не лезу. Не так воспитан.

– Никто тебя и не просит в них лезть.

Стервятник улыбнулся, обнажив красные десны.

– Самая крупная новость: с нами больше нет Помпея. Скоропостижно скончался от колотой раны. Можно назвать это самоубийством, а можно и не называть. Я называю так.

– А остальные?

– Остальные могут со мной не согласиться.

Ральф поразмыслил над сказанным.

– То есть это не самоубийство?

Стервятник задумчиво покачал головой:

– Вопрос терминологии. Когда кто-то долго роет яму, потом тщательно устанавливает на дне острые колья и, наконец, с радостным воплем туда прыгает, я называю это самоубийством. Прочие могут придерживаться иного мнения.

– Ладно, – вздохнул Ральф. – Дальше?

– Дальше в основном мелочи. Не соображу, какая из них может вас заинтересовать. Ну, может, та, что из первой в четвертую перевелся Фазан. Крестник Сфинкса. Он теперь ваш. А Лорда увезли в наружность. Четвертая в трауре, – Стервятник запнулся и поморщился, словно собственный тон его вдруг покоробил.

– Это все?

– Ну, – Стервятник вздохнул, – если говорить о событиях более давних, то умер Волк. Еще летом, вскоре после вашего отъезда.

– Отчего?

– А вот этого никто не знает.

Перед ними вдруг возникла тощая белобрысая фигура с выпученными глазами.

– Извините, – простонала она, протискиваясь к двери.

– Опаздываешь! – сварливо заорал Стервятник. – Нет на вас управы, Логово семя!

Конь замычал, тряся волосами, и скрылся в дверях. Стервятник плюнул ему вслед разжеванным листиком лимона.

– Подлец, – сказал он. – Сорняк!

Лицо его вдруг исказилось, он схватился за колено и зашипел от боли.

Ральф внимательно наблюдал.

– Значит, больше ничего?

Стервятник смотрел на него снизу, равнодушно и бессмысленно. Он ушел в свою боль и закрылся в ней, давая понять, что разговор закончен.

– Ладно, иди. Если плохо себя чувствуешь.

Никто на свете не смог бы сказать с уверенностью, притворяется Стервятник или ему на самом деле плохо. Опустившись на пол, обнимая ногу, сгорбившись над ней, как над больным ребенком, он тихо раскачивался, напевая сквозь зубы. Ральф подождал, раздумывая, не следует ли предложить свою помощь. Потом пожал плечами и пошел дальше по коридору.

Коридор был пуст. За дверями классов монотонно гудели учительские голоса. Где-то журчала вода.

Птицы… Надо было все же послушать песню. Которую они якобы только что закончили разучивать. Теперь не узнать, была она на самом деле или ее придумал Ангел. Хотя, могло статься, что под вдохновенное дирижирование окольцованных рук Стервятника они закрыли бы глаза, открыли рты, беззвучное пение длилось бы и длилось, довело бы их до экстаза… а он бы не знал, как на него реагировать.

Ральф остановился, глядя на стену.

По ней тянулась цепочка неряшливых следов черного цвета. Он шла снизу вверх и переходила на потолок, откуда спускалась по противоположной стене. Кто-то долго трудился, создавая след «человека-мухи». А может, кто-то научился ходить по потолку.

Фазан в четвертой. Крестник Сфинкса. Это Ральфу ничего не говорило. Фазанов он знал плохо. Волк и Помпей. На Волке у Стервятника заболела нога. Помпей… Прыгнул в яму, которую вырыл сам… Допустил ошибку? Быть может, нарушил Закон? Сплошные загадки. Но большего Ральф требовать не мог. Стервятник не был стукачом. Он сообщал лишь то, о чем Ральф узнал бы и так. От того же Акулы. Но сказанное Стервятником было важнее. В отличие от Акулы он знал, о чем говорил, и давал шанс разгадать свои слова.

Это стало их тайной игрой, в которой Стервятник оказался его союзником, единственным на весь Дом. Все, что смогла сделать Большая Птица в благодарность за ночь, проведенную в комнате Ральфа – ночь двухлетней давности, прелюдией к которой стала попытка Стервятника изгрызть лазаретные стены и съесть его обитателей. Она должна была закончиться в сумасшедшем доме, но закончилась в комнате Ральфа. В память о ней Ральфу осталось окровавленное полотенце, которым он порвал Стервятнику рот, затыкая его вой. Он был слишком занят, чтобы думать о чем-то, кроме сохранности своих рук, но когда в отворенные окна Птице ответила третья, сообразил, что это поминальный плач. Полотенце и покусанная обивка дивана. Следы зубов Большой Птицы. Когда он заплакал, Ральф его отпустил, и остаток ночи Стервятник рыдал, уткнувшись горбатым носом в диванную подушку, а Ральф смотрел на него и ждал. Молча, не делая попыток успокоить.

На рассвете Стервятник встал, опухший и почерневший, дохромал до душа и простоял под ним до подъемного звонка. А потом ушел. Утро Ральф провел в лазарете с Птицами, разбирая разгром, учиненный Стервятником накануне. Вожак третьей не показывался три дня, а на четвертый явился в столовую в трауре и с тех пор не снимал его. Немногие его качества могли вызвать восхищение, но он никогда не забывал тех, кому был чем-то обязан. Так началась их игра «Угадай, что я имел в виду, если ты такой умный» – и Ральф знал, что в ней он всегда получит подсказку. Пусть непонятную, чем-то похожую на загадки стен, но все-таки подсказку. Кроме того, Стервятник был краток и в отличие от стен не изъяснялся стихами.

Он назвал Помпея самоубийцей. Помпей вырыл себе яму и прыгнул в нее, получив в результате колотую рану. Не очень похоже на самоубийство. Слишком аллегорично. Еще не стихи, но близко к тому.

С Лордом придется разбираться отдельно. С ним и с его матерью. Которая никогда не взяла бы домой своего слишком взрослого сына. Значит, не домой, а куда-то еще. Интересно, куда?

Самое неприятное, конечно, Волк. Когда речь зашла о его смерти, Птица не дал даже самой туманной подсказки. И именно тогда у него разболелась нога. Случайно? Насколько Ральф знал Стервятника, у того ничего не происходило случайно. А вытерпеть внезапную боль Птица был способен не моргнув глазом. Волк был из тех, кто менял реальность… Одним из самых сильных. Претендентом. Может, в этом разгадка?

Тусклые лампы выжелтили коридор. Навстречу ковылял Шериф – пестун и запугиватель второй. Та же Крыса, только постарше и покрупнее.

– Ух, ты! – Шериф подмигнул из-под козырька бейсболки и расплылся в улыбке. – Привет, братишка! Какого хрена ты вернулся в это болото?

Ральф на ходу изобразил удивление и радость от встречи с коллегой и задел ладонью

его ладонь:

– Соскучился по тебе, наверное.

Шериф разразился всхлипами хохота и исчез в дверях второй, не переставая всхрюкивать. *Толстый, как кабель, хвост втянулся за ним, задевая расступившихся Крыс…* Крысы хихикали, раскачивались и потирали ладони.

На двери своей комнаты Ральф обнаружил записку, пришпиленную кнопкой: «Я обижен. Мог бы и зайти». Подписи не было, но почерк Акулы он узнал сразу. Сковырнув кнопку, Ральф сунул записку в карман и пошел к директору.

Акула ждал его в нерабочей части кабинета, утопая в низеньком кресле с обивкой в сине-желтый цветочек. Колени выше груди, нос уткнулся в экран телевизора. Покосившись на Ральфа пятнистым глазом, он ткнул в соседнее кресло:

– С приездом.

Ральф сел, сразу провалившись по грудь. Вид Акулы красноречиво свидетельствовал о скором окончании рабочего дня.

– Я сейчас отчаливаю, – подтвердил Акула, всосал прозрачную жидкость из стакана, игнорируя соломинку, и уставился на Ральфа. – Незачем здесь сидеть до конца уроков. В этом нет ни малейшего смысла. Вот ты видишь в этом смысл? Я нет. И никто не видит. Но почему-то так принято: я должен тут торчать до полного изнеможения, хотя абсолютно никому не нужен. Никто не постучит, не зайдет, ни о чем не спросит. Никогда. Но ты сиди. В этом и заключаются обязанности директора. Я торчу здесь, как пень, с восьми до четырех и не могу даже снять галстук, потому что мало ли что вдруг приключится! Я должен быть готов. Если кто-то думает, что мне легко, он заблуждается. Мне совсем не легко. С приездом, дорогой коллега. Ты с годами не меняешься. Моложавый.

Ральф удивился:

– Пять месяцев уже считаются годами?

– Считаются, – подтвердил Акула. – В тяжелых боевых условиях месяц идет за год. В общей сложности ты прогулял пять лет и, конечно, можешь считать себя уволенным. Я тебя не упрекаю. Просто подвожу итоги.

– Спасибо, – Ральф смотрел на экран.

Акула не любил, когда его игнорировали. Он потянулся за пультом. Экран погас, и Ральф развернул кресло в сторону директора. Директорский палец качался на уровне переносицы:

– Какой тебе полагался отпуск? Двухмесячный. Двух, а не пяти. Ты уволен. И уже давно. Но, – палец совершил вращательное движение, – я тебя прощаю. Почему? Потому что я хорошо к тебе отношусь. Я понимаю, почему ты слинял. А почему я это понимаю? Потому, что я чуткий, понимающий человек…

Ральф расслабился и вытянул ноги. Слушать безумные речи Акулы входило в обязанности воспитателей, и для каждого давно стало делом привычки. Он думал о Волке. О Помпее. О «яме». Чем же была на самом деле эта «яма», которую, по утверждению Стервятника, Помпей вырыл себе сам? Что имела в виду Большая Птица? О Помпее думалось легче, чем о Волке. О Волке думать не хотелось.

– А кто поймет меня? Никто. Я одинокий, всеми покинутый человек. Мой подчиненный возвращается после полугодового отсутствия – и даже не заходит поздороваться. Я пишу ему записки! «Приходи!» – пишу я. И только тогда он приходит. Каким словом все это обозначить? Только одним. Дерьмо! Все вокруг – это самое дерьмо.

– Извини, – вставил Ральф. – Я бы и без записки зашел.

– Когда? – пятнистые глаза Акулы негодующе вспыхнули. – Завтра? Послезавтра? Я требую уважительного отношения. Или убирайтесь все к чертям. Я здесь хозяин! Так или не так? – Директор замолчал, тяжело вздыхая в стакан.

Ральф украдкой посмотрел на часы. До конца последнего урока оставалось меньше двадцати минут, а ему хотелось успеть в шестую до того, как Псы разбегутся по всему Дому. Значит, сразу после ухода учителя.

– Ты, – Акула поставил стакан на пол и понуро обвис в кресле, – самый стоящий вос-

питатель в этой дыре… Все бросил и сбежал на Большую Землю. Оставил нас на порезание и сбежал.

– Никто никого не собирается резать.

– Это ты так говоришь, – скрипучий голос Акулы будто засыпал уши мягким песком. – Только ты так говоришь. – Он понюхал свою ладонь и нахмурился.

Ральф терпеливо ждал. Директор не был пьян. Он пребывал в состоянии, которое некорректные воспитатели называли «месячными». Сейчас с ним не имело смысла спорить.

– Я очень болен, – сообщил вдруг Акула, пристально глядя Ральфу в глаза. – Никто не верит, но скоро все убедятся.

Ральф изобразил озабоченность:

– Что за болезнь?

– Рак, – мрачно сказал Акула. – Так я полагаю.

– Надо провериться. Это серьезно.

– Не надо. Лучше оставаться в неведении. Если меня убьют, я избегну долгой и мучительной смерти. Это утешает. Но совсем чуть-чуть.

– Убить тоже можно по-разному.

Акула вздрогнул.

– Да уж. А еще можно наговорить больному человеку гадостей, вместо того, чтобы попытаться его утешить.

Акула посидел с видом умирающего, потом взглянул на часы и нервно закопошился.

– Ох… Сегодня ведь футбол. Черт! Совсем из головы вон! – он вскочил и оглядел кабинет. – Все выключено. Остался свет. И дверь.

Пошарил по карманам.

– Пообедаешь со мной?

– Нет. Очень устал с дороги. Пожалуй, лягу спать.

Взяв протянутые ему ключи, Ральф погасил свет. Акула любовался им с порога.

– Хорошо, что ты вернулся. Завтра с утра начнем вводить в курс дел. Этот пятимесячный отпуск тебе еще выйдет боком.

– Не сомневаюсь.

Заперев дверь, Ральф передал связку директору. Тот начал ей побрякивать, выискивая ключ от своей спальни.

– Почему Лорда забрала мать? – спросил Ральф.

– Уже знаешь, – восхитился Акула. – Как всегда. Только приехал – а уже все знаешь. Я всегда говорил, что ты не совсем нормальный. В хорошем смысле, конечно.

– Почему она его забрала?

Акула наконец нашел ключ и тщательно отделил его от связки, чтобы не перепутать с другими.

– Потеряла доверие. Мы плохо приглядывали за ее парнем. Так она выразилась. Что ему вреден здешний климат. Красивая женщина. С ней трудно спорить. Я и не пытался.

– Она его домой взяла?

– Не знаю. Это не мое дело. Я не спрашивал.

– Она могла поменять школу… Если ее не устраивала здешняя.

Возле столовой их оглушил пронзительный звонок. Ральф невольно поморщился. Акула посмотрел на него с презрением, как опытный морской волк на ушедшего на пенсию и потерявшего форму моряка.

– Расслабился, – констатировал он. – Обленился! А я-то ставлю тебя в пример молодым.

Не переставая ворчать, он поднялся по лестнице. Ральф постоял на площадке, глядя ему вслед, и вернулся в коридор.

В шестой никогда не бывало тихо. Даже когда все молчали, ухо улавливало еле слышное гудение, похожее на работу спрятанного в стене мотора. *Тот самый невидимый пчелиный рой…*

Он вошел, и голоса смолкли. Псы загасили плевками сигареты в ладонях, попадали с подоконников, откатились к стульям и попробовали включить тишину. Тогда он услышал застенный гул: шепот их мыслей, не выключавшийся никогда, – их было слишком много. Песню шестой комнаты. Они были ярко одеты – не как Крысы, но близко к тому – цепляли глаз всплесками алых рубашек и изумрудных свитеров, но стены класса сочились тускло-серым пластилином, замыкая их в непроницаемый прямоугольник, не пропускавший воздуха, и окна казались приклеенными к этой серой массе картинками.

Закрыв за собой дверь, он сразу почувствовал, что в этом вакууме трудно дышать и двигаться, что потолок нависает слишком низко, а стены смыкаются, сливаясь с полом и потолком и давят резиновой серостью… *в которой можно увязнуть, как насекомое, и когда войдет кто-нибудь другой, ты уже будешь ее частью, росписью, неразличимой среди других каракулей, мертвым экспонатом шестой.*

– Я хочу поговорить с новым вожаком, – сказал он. Подождал, пока стихнет кашель подавившихся дымом и добавил:

– Или с тем, кто себя им считает.

Они завозились, опуская глаза. Все в ошейниках – настоящих и самодельных, кожаных, усеянных шипами и кнопками, расшитых бисером. Он понял прежде, чем услышал ответ. Вожак отсутствует. Только вожак в шестой был избавлен от необходимости носить знак своей принадлежности к стае, только вожак мог ходить с голой шеей. Конечно, ошейник мог быть маскировкой – прятать вожака, не желавшего себя выставлять. Но никто из Псов даже мимолетно не посмотрел на другого, ни на ком не сконцентрировалось общее внимание. Человека, который занял место покойного Помпея, среди них не было.

Они вжимали головы в плечи и рассматривали свои ладони, словно стыдясь чего-то. *Того, что среди них не нашлось никого, кто мог бы стать главным? Своей обезглавленности? Своей потери?*

– Вожака нет, – сказал кто-то из задних рядов. – Еще не выбрали.

– Когда умер Помпей? – спросил Ральф.

– Месяц назад, – ответил длиннолицый очкарик Лавр. – Чуть меньше месяца.

– И до сих пор никого не выбрали?

Псы пригнулись, демонстрируя затылки, скрывая что-то, чего стыдились, что причиняло им боль. Неслышный гул в стенах усилился. Стены поползли на Ральфа, заслоняя от него шестую, но пока этот скользкий серый занавес смыкался, он успел поймать:

Желтый свет забранных сеткой ламп спортзала, масляная зелень пола, разрисованного кругами, крик… Темная фигура забилась на полу, разбрызгивая кровь… и тут же стены сомкнулись, замазывая осколки видений серым, обесцвечивая их и стирая. Он увидел достаточно, чтобы понять: что бы ни случилось с Помпеем, они при этом присутствовали всей стаей, и воспоминание об увиденном, обсосанное до горечи на языках, не давало им покоя. В нем таились их боль и страх перед кем-то, о ком он пока не имел понятия. Они были слишком закрыты, слишком сопротивлялись его попыткам понять что-то еще.

Стаи строились по принципу лестниц. Каждая ступенька – живая душа. Ломалась самая верхняя – первой становилась предыдущая. На месте обезглавленной пирамиды тут же вырастала новая верхушка. Так было всегда и у всех, кроме Фазанов. В каждой стае был не только свой первый, но и свой второй. Даже у Птиц, хотя Стервятника отделяло от стаи огромное расстояние – не меньше, чем в семнадцать пустых перекладин – имелся Дракон, готовый, если с вожаком что-то случится, занять его место. Порядок нарушался только в случае свержения вожака кем-то из стоявших много ниже. Но тогда этот нижний занимал верхнее место. То, что в шестой не случилось ни того, ни другого, указывало на третий вариант. Явно не имевший ничего общего ни с первыми двумя, ни с чем-либо из того, что могло прийти в голову Ральфу. *Интересно при чем здесь спортзал?*

– Странно, – сказал он. И задумался.

Он понял как надолго, только увидев, что за окнами стемнело, а стая изнемогает от его присутствия. Самые нервные кусали ногти и корчили гримасы, колясники тихо копошились, сблизив землистые лица, гудение в стенах давало сбои. Все вокруг стало серым. Шестая увязла в своей защите, и все они стали похожи на утопающих – или давно утонувших – в

грязном аквариуме, не чищенном миллион лет.

Ральф вышел, ничего не сказав. Облегченный стон шестой слился со стуком двери, которая тут же снова приоткрылась, и в щель просунулось бледное лицо Лога Москита, отслеживавшего его маршрут.

Между классом и спальнями шестой Ральф шел медленно, изучая стены. Сдирая, как шелуху, свежие надписи, обнажая спрятавшиеся под ними старые, полустертые, еле заметные глазу. Собачьи головы в ошейниках. Призывы «членам судейской коллегии» собраться во дворе субботним вечером. Он прищурился. *Вот оно.* Кошка с человеческой головой, перечеркнутая красным. Черный треугольник с пробитой в нем дыркой. Спираль с глазом внутри, испещренная зазубринами. Все старое. Не меньше, чем месячной давности. Он посмотрел еще раз, чтобы убедиться, что не ошибся. Значения этих символов он читал, как собственную кличку. Кошка – Сфинкс. Треугольник – Черный. Спираль с глазом – Слепой. Все три знака использовались как мишени. Случайности тут быть не могло.

Слепой сидел на корточках под его дверью, выводя пальцем на паркете невидимые круги. Длинные черные волосы падали на лицо. Из дырок на джинсах торчали колени. На звук шагов он поднял голову – тощий, с бесцветными глазами, безликий и безвозрастный, как бродяга, не помнящий даты своего рожденья. Вставая, стремительно помолодел, а навстречу Ральфу выпрямился совсем мальчишкой.

В сумраке коридора любой, кроме Ральфа, счел бы это обманом зрения, наваждением, которое рассеялось, стоило к нему приблизиться.

– Здравствуй, – сказал Ральф, открывая дверь.

– Здравствуйте.

Ральф пропустил его вперед и вошел следом.

Слепой замер в дверях. Ральф ощутил невольное желание взять его за руку и подвести к стулу или к дивану. *Слепой, беспомощный на чужой территории, свитер велик, рукава сползают до самых пальцев, и эти дырки на коленях…* Он прикрыл глаза, стряхивая навязанный ему образ. *Идиот! Перед тобой хозяин Дома!* Ральф подошел к окну, бросив через плечо:

– Садись.

В ту же секунду он обернулся, сам не зная, что ожидает увидеть: поиск, беспомощность, нашаривание в пустоте осязаемых предметов или, наоборот, уверенность, стремительность и быстроту, хотя Ральф не удивился бы, если бы Слепой не двинулся с места или, запинаясь, попросил его о помощи. Но Слепой сел там, где стоял – у порога, скрестив ноги и спрятав ладони под мышки.

– Так мне тебя не видно, – сказал Ральф, вороша разложенные на диване вещи в поисках сигарет: – Только пробор. Сколько волос попадает к тебе в тарелку с каждым обедом?

– Я не считал, – отозвался Слепой. – Это важно?

– Это неопрятно, – Ральф нашел сигареты, закурил, и сел на диван.

Курил он молча, давая Слепому время освоиться. Или понервничать. Слепой сидел неподвижно, и видно было, что сидеть он так может до бесконечности. *Давай поиграем в эту игру…* Единственное, что мешало Ральфу – сигарета, в остальном он окаменел настолько же, насколько окаменел Слепой. Только пепел, нараставший на кончике сигареты, мешал ему исчезнуть окончательно. Слепому не мешал никакой пепел. Болотного цвета свитер, сквозь вязку которого просвечивала кожа, обернулся высохшей чешуей, глаза прикрыли синеватые веки, Слепой исчез, и Ральфу почудилось, что он сидит перед застывшей рептилией, которая впрочем вполне могла оказаться сучком причудливой формы, или даже тенью от сучка. Чем бы это ни было, оставаться в неподвижности оно умело очень долго. У Ральфа никогда не хватало терпения выяснить насколько.

– Расскажи, что случилось с Волком. И как это произошло.

Слепой, немедленно восстановил облик мальчишки и с готовностью подался вперед:

– Он не проснулся. Никто не знает почему.

Ральф посмотрел на свою сигарету, вернее, на фильтр, чудом удерживавший столбик пепла.

– И это все? Еще раз, пожалуйста. Подробнее.

Слепой покачал головой.

– Мы спали, – сказал он. – Утром все проснулись, а он – нет. Накануне он вел себя, как обычно, и ни на что не жаловался.

Ральф попробовал представить.

Слепой не врал, но неправильность в его словах была сродни лжи. Ральф достаточно хорошо знал о связи, существовавшей между ними – это было то, что делало их стаями, то, что пригнало третью к дверям лазарета, когда умер Тень. *Почему именно в тот вечер и в тот час они пришли туда все, даже тупоголовые Логи? Было ли это похоже на звон колокола, слышный только им?* Он видел такое не раз: скорчившиеся фигуры у стен Могильника не курили и не разговаривали, просто сидели неподвижно. Это не было прощанием, скорее, участием в том, что происходило там, куда они не могли попасть. Могли ли они, чующие смерть сквозь стены, не услышать ее в своей спальне? Не проснуться, когда умирал один из них?

– В двух шагах от вас умирал человек, и вы ничего не почувствовали? Вас ничто не встревожило?

– Там не было и двух шагов, – возразил Слепой. – И мы бы не спали, если бы что-то почувствовали.

– Понятно, – Ральф встал. – Как ты думаешь, зачем я позвал тебя? Любой из твоей группы мог бы рассказать мне то же самое. Если собираешься продолжать в том же духе, дверь у тебя за спиной.

Слепой сгорбился сильнее:

– Как я должен говорить? В каком духе? Что вы хотите услышать?

– Я хочу услышать, что ты, вожак, можешь сказать о члене твоей стаи, который однажды не проснулся. Если я не ошибаюсь, именно ты отвечаешь за то, чтобы они просыпались по утрам.

– Сильно сказано, – прошептал Слепой. – Я не могу отвечать за все, что с ними может произойти.

– Знать, отчего это произошло, ты тоже не обязан?

Слепой промолчал. Ральф встал с дивана. Стоило ему приблизиться, как в позе Слепого появилась обманчивая расслабленность. *Знакомая реакция. Милые детки Дома… Именно так многие из них реагируют на приближение опасности. И именно тогда с ними надо быть настороже.* Слепой расслабился, но глаза – прозрачные лужицы, удерживаемые ресницами на бледной коже – замерзли, превратившись в лед. Стылый, змеиный взгляд. Слепой не умел его прятать.

– Если хочешь выглядеть безобидно, носи очки, – неожиданно для себя посоветовал Ральф.

– Это нервирует стаю, – с сожалением ответил Слепой. – Особенно Сфинкса. Не могу с ним не считаться.

– А что он думает о смерти Волка?

– Он старается о ней не думать.

– Если я не ошибаюсь, он был очень привязан к нему?

Слепой неприятно засмеялся:

– Как вы странно говорите… Привязан. Чем-то вроде стального троса, толщиной с меня.

– Куда же этот трос делся в ту ночь?

– Не знаю. И не собираюсь об этом спрашивать.

– У тебя крепкий сон? Ты не проснешься, если рядом кто-то застонет?

По лицу Слепого скользнула злость – и тут же исчезла.

– Я проснусь, даже если рядом пискнет мышь. Волк не стонал. Он вообще не издавал никаких звуков. Он сам не успел понять…

– Ах, вот как! – выпрямился Ральф. – Интересно ты заговорил. Откуда тебе знать, что он успел и чего не успел? Ведь, когда это произошло, вы всей стаей дружно спали.

– Я знаю. Он тоже спал. Иначе его лицо не было бы таким спокойным. Его страх разбудил бы нас. Это, наверное, была самая спокойная смерть за всю историю Дома.

– Если бы на месте Волка был Сфинкс, а я рассказал бы тебе о его смерти теми же словами, какими ты рассказал мне сейчас о Волке, ты удовлетворился бы моим объяснением?

Слепой чуть помедлил с ответом.

– Не знаю. Вы слишком многого от меня хотите.

– Ты рад, что он умер?

Этого не следовало говорить – Ральф понял это сразу, но было уже поздно.

– А вам не кажется… – пару секунд Ральфу казалось только, что сейчас в него плюнут ядом. – Вам не кажется, что некоторые мои чувства вас не касаются? Что я чувствую, когда умирает кто-то из моей стаи, – это мое дело. Вам так не кажется?

Слепой вдруг закрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, что было слышно только ему и резко сменил тон:

– Простите. Я не хотел вас обидеть. Если вы спрашиваете, значит вам это нужно. – И заставляя себя – Ральф уловил эту заданность, принуждение, словно Слепой вдруг решил перед ним раздеться – добавил:

– Я не был рад. Но никого другого я бы на него не обменял. Ни одного из них. Если вас *это* интересует. Если, говоря о моей радости, вы это имели в виду. Я непричастен к его смерти, если вы имели в виду *это.* А если вы имели в виду мою к нему нелюбовь – то это правда. Я не любил его. Как и он меня. Иногда мне и в самом деле казалось, что я бы обрадовался, если…

– Хватит! – перебил его Ральф. – Извини. Я был нетактичен.

Слепой обнимал себя за плечи. Глядя на него, Ральф не мог отделаться от ощущения, что видит заживо содранную кожу, распоротую оболочку защитного панциря. Чем бы это ни было на самом деле, Слепой сотворил это с собой сам.

– Ладно, – сказал Ральф. – Твоя откровенность хуже молчания. Если я спрошу тебя о Помпее, ты, конечно, скажешь, что не вправе говорить о делах шестой?

Слепой кивнул:

– Так и есть.

– И отчего умер Помпей, тоже не имеешь понятия.

– Имею. Но сказать не могу.

Ральф вздохнул:

– Хорошо. Как ты думаешь, зачем я вызываю к себе вожаков, когда хочу что-то выяснить? Чтобы послушать, как они отделываются от меня общими фразами? Ты свободен. Можешь идти.

Слепой встал:

– Вы забыли спросить еще об одном человеке.

– Я не забыл. Просто мне не нравится наш разговор. И я не хочу его продолжать. Уходи.

Слепой не ушел. На его лице появилось выражение озабоченности, как будто ему предстояло решить непосильную задачу, с которой он не надеялся справиться.

«Вот, – с облегчением подумал Ральф. – Это будет просьба. Сейчас я узнаю, ради чего Слепой способен вылезти из собственной шкуры».

– О чем ты хочешь попросить?

– О Лорде. Узнайте о нем что-нибудь. Уже месяц, как его забрали, и мы ничего не знаем. Где он и как ему живется.

Ральф молчал, скрывая недоумение. Замазанные клички на стенах, розданные вещи, поминальный плач – это он видел и слышал, об этом он знал. Покинувшие Дом были частью этого знания, одной из тех деталей, в которых он не сомневался. Просьба Слепого – о том, кто должен был перестать для них существовать с той минуты, как его увезли из Дома – отметала это знание.

Слепой терпеливо ждал. Сигарета обожгла Ральфу пальцы.

– Ты свободен, – повторил он. – Можешь идти.

– Как насчет Лорда?

– Я сказал, что ты можешь идти.

Лицо Слепого застыло. Он отворил дверь и исчез. Ральф не услышал ничего. Слепой ходил бесшумно.

Ральф стоял, глядя на застекленное окошко в двери. Буква «Р», перевернутая задом наперед, почти невидимая, просачивалась в комнату, запугивая и предупреждая, напоминая о том, что он всего лишь часть Дома.

Может, для этого я и вернулся. Чтобы узнать об одном из них, оказавшемся там, куда им нет доступа. Чтобы принести им ответ… Они ждали меня…

ТАБАКИ
День первый

И умом не Сократ и лицом не Парис, –
Отзывался о нем Балабон. –
Но зато не боится он Снарков и Крыс,
Крепок волей и духом силен.

Льюис Кэррол. Охота на Снарка

Я не люблю истории. Я люблю мгновения. Люблю ночь больше утра, луну больше солнца, а здесь и сейчас, больше любого где-то потом. Еще люблю птиц, грибы, блюзы, павлиньи перья, черных кошек, синеглазых людей, геральдику, астрологию, кровавые детективы и древние эпосы, где отрубленные головы годами пируют и ведут беседы с друзьями. Люблю вкусно поесть и выпить, люблю посидеть в горячей ванне и поваляться в снегу, люблю носить на себе все, что имею, и иметь под рукой все необходимое. Люблю скорость и боль в животе от испуга, когда разгоняешься так, что уже не можешь остановиться. Люблю пугать и пугаться, смешить и озадачивать. Люблю писать на стенах так, чтобы непонятно было, кто это написал, и рисовать так, чтобы никто не догадался, что нарисовано. Люблю писать на стенах со стремянки и без нее, баллончиком и выжимая краску прямо из тюбика. Люблю пользоваться малярной кистью, губкой и пальцем. Люблю сначала нарисовать контур, а потом целиком его заполнить, не оставив пробелов. Люблю, чтобы буквы были размером с меня, но и совсем мелкие тоже люблю. Люблю направлять читающих стрелками туда и сюда, в другие места, где я тоже что-нибудь написал, люблю путать следы и расставлять фальшивые знаки. Люблю гадать на рунах, на костях, на бобах, на чечевице и по «Книге Перемен». В фильмах и в книгах люблю жаркие страны, а в жизни – дождь и ветер. Дождь я вообще люблю больше всего. И весенний, и летний, и осенний. Любой и всегда. Люблю по сто раз перечитывать прочитанное. Люблю звуки гармошки, когда играю я сам. Люблю, когда много карманов, когда одежда такая заношенная, что кажется собственной кожей, а не чем-то, что можно снять. Люблю защитные обереги, такие, чтобы каждый на что-то отдельное, а не сборники на все случаи жизни. Люблю сушить крапиву и чеснок, а потом пихать их во что попало. Люблю намазать ладони эмульсией, а потом прилюдно ее отдирать. Люблю солнечные очки. Маски, зонтики, старинную мебель в завитушках, медные тазы, клетчатые скатерти, скорлупу от грецких орехов, сами орехи, плетеные стулья, старые открытки, граммофоны, бисерные украшения, морды трицерапторов, желтые одуванчики с оранжевой серединкой, подтаявших снеговиков, уронивших носы-морковки, потайные ходы, схемы эвакуации из здания при пожарной тревоге; люблю, нервничая, сидеть в очереди во врачебный кабинет, люблю иногда завопить так, чтоб всем стало плохо, люблю во сне закинуть на кого-нибудь, лежащего рядом, руку или ногу, люблю расчесывать комариные укусы и предсказывать погоду, хранить мелкие предметы за ушами, получать письма, раскладывать пасьянсы, курить чужие сигареты, копаться в старых бумагах и фотографиях, люблю найти что-то, что потерял так давно, что уже забыл, зачем оно было нужно, люблю

быть горячо любимым и последней надеждой окружающих, люблю свои руки – они красивые – люблю ехать куда-нибудь в темноте с фонариком, люблю превращать одно в другое, что-то к чему-то приклеивать и подсоединять, а потом удивляться, что оно работает. Люблю готовить несъедобное и съедобное, смешивать разные напитки, вкусы и запахи, люблю лечить друзей от икоты испугом. Я слишком много всего люблю, перечислять можно бесконечно.

А не люблю я часы.

Любые.

По причинам, которые утомительно перечислять. Поэтому я этого делать не буду.

Сегодня в Дом вернулся Ральф. Человек-загадка, своего рода реликт. Единственный свидетель былых эпох среди воспитателей. Не сказать, чтобы мы по нему ужасно скучали, но все-таки с ним как-то интереснее, чем без него. Прибывшие в Дом в последние три года трогательно его боятся, что создает неповторимую атмосферу, когда он ходит по коридорам. Атмосферу трепета. Да чего там мелочиться. Это наш Дарт Вейдер. Весь в черном, страшный и непостижимый, только без хрипучего шлема. Не успел он вернуться, как жить стало веселее.

Новость принес, конечно, Лэри. К последнему уроку. Мы не успели ничего обсудить – урок как раз начался – пришлось тихо переваривать ее до звонка. Зато потом началось. Каждые пять минут в класс заскакивал кто-то с очередным донесением о том, куда переместился Р Первый. Я предложил повесить на стену карту Дома и отмечать его маршрут флажками, но никто не вызвался помочь в составлении карты, а чертить ее в одиночку – совсем не просто, уж я-то знаю. Жаль, конечно. Ральфа бы такое внимание к себе приятно поразило. Я был уверен, что в связи со своим возвращением он пребывает в депрессии, так что небольшое подбадривание пошло бы ему на пользу.

Возвращение это было чем-то само собой разумеющимся, но разумелось оно уже так давно, что все успели к этому привыкнуть, и когда Ральф все-таки вернулся, испытали легкое потрясение. Для нас возвращение Ральфа означало, что теперь есть кому навести справки о Лорде. Так что, получалось, он вернулся как нельзя более кстати.

– Ага, – сказал по этому поводу Сфинкс. Это было такое многозначительное «ага», что я страшно пожалел, что не сам его произнес.

Чуть погодя стало ясно, что одним «ага» тут не обойтись. Что надо как-то донести это «ага» до Ральфа.

Горбач предлагает послать делегацию с прошением. Сфинкс не соглашается, потому что это, видите ли, будет выглядеть угрожающе. Я предлагаю послать меня. С этим почему-то не соглашается никто. Сфинкс говорит, что идти должен Слепой, и с этим соглашаются все, кроме Слепого. Слепой предлагает послать Толстого с письмом, мотивируя это тем, что в Толстом больше душевности. Мне эта идея нравится. Я сомневаюсь в Слепом. В его талантах просителя. Он не тот человек, который сумеет в нужном месте дрогнуть голосом, проявить настойчивость и определенное занудство. Я бы сумел. И поражен, что стая, оказывается, не в состоянии этого оценить. На худой конец сгодился бы и Толстый – бескрылый почтовый голубь, сама невинность и полное непонимание происходящего, – но они не хотят и Толстого. А ведь какой был бы тонкий ход! Ральф бы обрыдался в своем пропыленном кабинете.

Большинством голосов мы избираем Слепого.

Между тем возвращается Лэри с последними новостями. О том, что Р Первый посетил шестую. Что он и сейчас там, и в шестой подозрительно тихо. Уж не сожрал ли он всех Псов скопом?

Еду проверить.

В коридоре оживленно. Логи носятся взад и вперед, шушукаются и делают страшные глаза. У дверей шестой пробка из подслушивающих. Облепивших ее ушами и посиневших от попыток не дышать. Ясно, что туда не пробиться. Немного разочарованный, еду обратно. На полпути меня чуть не сшибают с Мустанга галопирующие от шестой Лэри и Конь. Спихнув нас со своего пути и чудом не уронив, уцокивают с заливистым ржанием, даже не

заметив, что споткнулись. Тем более не заметив, обо что.

Возвращаюсь как раз к проводам Слепого. Нехотя, с кислым лицом, он убредает в направлении кабинета Ральфа. Горбач, Сфинкс и Македонский всячески подбадривают его и напутствуют, но любой, кто даст себе труд приглядеться, увидит, что вожак не горит энтузиазмом. И если бы не бодрое сфинксово «ага», еще не стершееся из памяти, я бы совсем упал духом от такого зрелища.

Должно быть, что-то от моих сомнений передается Горбачу. Потому что, глядя вслед Слепому, он говорит:

– Может, стоило все же послать Нанетту?

– Чтобы она засрала Ральфу весь кабинет? – уточняет Сфинкс.

Я говорю, что еще неизвестно, что там вытворит Слепой.

– У Слепого развитое чувство долга, – отвечает мне Сфинкс.

Фраза звучит так официально, что ни у кого не возникает желания спорить.

Дальше мы просто ждем. Я грызу ногти и на душе все поганее. С изъятием Лорда общая кровать сделалась безобразно просторной и пустынной. Курильщик не спасает положение. Ни три, ни четыре Курильщика его бы не спасли. Эмоции Лорда незаменимы. Они удивительно насыщали пространство.

Не заползи на его плед, не дыхни на его подушку, не пукни у него под ухом! И как здорово было все это проделывать, предвкушая, что у него вот-вот кончится терпение, – и полетят во все стороны книги, подушки и перья! И смотреть, как пугается Курильщик. Теперь пугаться нечего. Второго такого, как Лорд, у нас нет.

Я достаю гармошку и исполняю три песни ожидания подряд. Я не люблю ждать, так что песни ожидания – самые унылые из моих песен. Больше трех я и сам не в состоянии вынести. Народ обычно начинает разбегаться уже на первой. В этот раз, правда, все терпят.

Когда становится совсем невмоготу, убираю гармошку и берусь за индийские сказки. Я часто их перечитываю. Очень успокаивающее занятие. Больше всего мне в них импонируют законы Кармы. «Тот, кто в этой жизни обидел осла, в следующей сам станет ослом». Не говоря уже о коровах. Очень справедливая система. Вот только чем глубже вникаешь, тем интереснее: кого же в прошлой жизни обидел ты?

На некоторое время сказки отвлекают, потом я опять начинаю нервничать. Кто Лорд Ральфу? Никто. Особенно теперь. Станет ли Р Первый утруждать себя его поисками, только потому, что нам этого хочется? А если станет, сообщит ли, если Лорду плохо там, где он есть? Я спрашиваю себя об этом снова и снова, по большей части вслух, так что к тому времени, когда Слепой наконец возвращается, все готовы к худшему, и это целиком моя заслуга.

– Бестолку, – говорит Слепой, облокачиваясь о спинку кровати. – Он вообще никак не отреагировал.

И все. Дальше нам предоставляется утешительная возможность рассматривать Слепого, который, выставив локти, таращится в свое слепое никуда, и Курильщика, который, как ему кажется, незаметно, отползает от него подальше. Лаконичность Слепого временами граничит с патологией. Мы ждем, затаив дыхание, а он висит себе на спинке кровати с таким видом, как будто к сказанному совершенно нечего добавить.

Тогда мы переводим взгляды на Сфинкса. Сфинкс нас понимает правильно.

– О чем вы говорили? – спрашивает он.

– Клещами, клещами! – шепчу я ему. – И скальпелем!

Слепой завешивается волосами и уходит в себя.

– О Волке, – глухо звучит из-под волос.

– А еще о чем?

– Только о Волке.

И это, прости господи, человек, который способен передать любой разговор дословно! С имитацией голосов! Сколько бы времени ни прошло!

– А о Лорде?

– О Лорде я сказал в конце, когда он велел мне уходить.

– И?

– И ни хрена, – Слепой свешивается ниже. Теперь мы имеем возможность досконально изучить его затылок.

– Кажется, он меня не расслышал.

– Хороший знак! – радуется Сфинкс.

Мы с Горбачом переглядываемся. Лэри скашивает глаза к переносице, что в его случае означает усиленную работу мысли. Даже Македонский выглядит озадаченным.

Сфинкс вздыхает.

– У Ральфа не бывает, чтобы он чего-то не расслышал, – объясняет он. – Значит, то, что сказал Слепой, ему не понравилось. А почему? Безобидная просьба. Но чтобы узнать, как Лорд себя чувствует, к нему надо попасть. То есть куда-то поехать, что-то кому-то доказывать и добиваться встречи. Ни одного воспитателя такая перспектива не обрадует. С другой стороны, если бы он не собирался ничего делать, так бы и сказал. Ральф не из тех, кто не умеет отказывать. Поэтому то, что он этого не сделал, хороший знак.

Мы с Горбачом переглядываемся по второму кругу, на этот раз самодовольно. Лэри скребет подбородок и говорит:

– Вот только непонятно…

Что ему непонятно, остается тайной. Мы выжидаем минуты три, но Лэри только чешется и вздыхает, так что конце концов мы о нем забываем и возвращаемся к повседневным делам.

По какому-то непонятному поводу, а может, и вовсе без повода именно сегодня Черный решил напиться. В спальне он появляется, уже осуществив это намерение, пьяный в дым, так что протестовать бессмысленно. Разные люди в нетрезвом виде ведут себя по-разному. Черный делается неприятен. Его и в трезвом виде не назовешь душкой, а пьяный он из числа агрессивных. Так что он слоняется по комнате, как испорченный Терминатор, пытаясь затеять с кем-нибудь драку. Пытается и пытается и все не теряет надежды, пока не раздается обеденный звонок. За обедом он продолжает свои попытки, но до того неуклюже, что больно смотреть. Сочувствие своему гнусному состоянию он встречает только у Курильщика, и то непонятно почему.

КУРИЛЬЩИК
Проблемы тлей и необученных бультерьеров

Инструкция по выживанию колясника в быту

Пункт I

Следует избегать любых упоминаний наружности в разговорах, за исключением ситуаций, когда она упоминается:

A) вне связи с говорящим;

B) вне связи с собеседником;

C) вне связи с кем-либо из общих знакомых.

Не приветствуются упоминания наружности в настоящем и будущем времени. Прошедшее время позволительно, хотя, опять же, не рекомендуется. Упоминание наружности в будущем времени в связи с собеседником является тяжким оскорблением последнего. Разговор двоих в этом ключе – легкая форма извращения, допустимая лишь между близким людьми-состайниками.

«Блюм» № 7.

РЕЦЕПТЫ ОТ ШАКАЛА

– Вы ведь живете взаперти. В замкнутом пространстве, понимаешь? Вы повернуты на самих себя и на это место, как невылупившиеся цыплята. Я думаю, от этого все ваши извращения.

– Извращения? – Сфинкс кашляет, дым вырывается у него из ноздрей и между зубами. – Что ты имеешь в виду?

Курильщик колеблется.

– Так… разное…

– Выскажись, – предлагает ему Сфинкс. – Извращения – это неслабо сказано. Хотелось бы понять, что ты имел в виду.

Курильщик с мрачным видом дергает бусину на свитере. Этот серо-зеленый свитер связал для него Горбач. Вокруг ворота и манжет – стеклянные бусины со зрачками, какие носят от сглаза.

– Ты понимаешь, – говорит он, поднимая взгляд на Сфинкса. – Прекрасно понимаешь.

– Допустим, что да. Допустим, мне просто хочется, чтобы ты подтвердил мои догадки.

Курильщик отводит взгляд:

– Я имел в виду ваши игры. Ночи, сказки, драки, войны… извини, но все это не кажется мне настоящим. Я называю это играми. Даже… даже когда они плохо кончаются.

– Ты опять о Помпее? – морщится Сфинкс.

– И о нем тоже. Но не только, – торопливо добавляет Курильщик. – Это мог быть и не Помпей. Ну хорошо, пусть будет он. Тебе не кажется, что это слишком – зарезать кого-то только за то, что он хотел считаться здесь самым крутым? В этом маленьком, затхлом мирке… пожалуйста, Сфинкс, не смотри на меня так! Ведь я прав! Никакое вожачество того не стоит.

Они одни в опустевшей столовой. Стулья отодвинуты от заставленных грязными тарелками столов, скатерти пестрят соусными пятнами и хлебными крошками. Дверь в коридор приоткрыта.

Сфинкс, раскачивается, откинувшись на спинку стула.

– Пойми, Курильщик, – говорит он, стараясь не смотреть в раскрасневшееся лицо собеседника. – То, что для тебя ничего не значит, для кого-то – все. Почему ты не можешь в это поверить?

– Потому что это неправильно! – чуть не кричит Курильщик. – Вы слишком умные, чтобы жить, закрыв глаза! Чтобы верить, что с этого здания все начинается и им же заканчивается!

В проеме кухонной двери появляется пожилая женщина и смотрит на них, поджав губы.

Сфинкс перестает раскачиваться на стуле, придвигается вместе с ним к столу и аккуратно опускает зажатый в зубах окурок на край тарелки.

– Это вопрос свободы, – говорит он. – О которой можно спорить бесконечно с перерывами на чай, сон и празднование юбилеев. Ты к этому готов? Вот скажи, к примеру, кто свободнее – бегущий по саванне слон или тля, сидящая на листе все равно какого растения?

Курильщик не отрывает взгляд от дотлевающего на тарелке окурка.

– Дурацкий пример. Оба не обладают разумом. Мы говорим о людях.

– Это слон-то не обладает? – удивляется Сфинкс. – Ладно. Пусть так. Оставим животный мир. Можешь, кстати, загасить мою сигарету, если она так тебя нервирует. Возьмем заключенного и президента…

Курильщик морщится:

– Не надо! Умоляю, только не доказывай мне, что узник более свободен. Это все слова. Если тебе хочется отождествлять себя с преступником или с тлей…

– Я просто пытаюсь объяснить… – Сфинкс смотрит через плечо Курильщика на кухонную дверь, из которой только что вышла посудомойка, решительно толкающая перед собой столик на колесах. – Но, кажется, я зря сотрясаю воздух. Ты меня не слушаешь. Каждый сам выбирает себе Дом. Мы делаем его интересным или скучным, а потом уже он меняет нас. Ты можешь согласиться со мной, а можешь не соглашаться. Это тоже будет в своем роде выбор.

– Ничего я не выбирал! – возмущается Курильщик. – Все выбрали за меня. Еще до того, как я сюда попал! Выбрали группу, а значит, сделали меня Фазаном. Моего согласия никто не спрашивал! Попади я во вторую, должен был бы приноравливаться к Крысам. К их дурацкому имиджу, который они себе выбрали до меня и без меня. Это ты называешь свободой?

– Ты же так и не сумел стать приличным Фазаном.

– Но я пытался!

– Если бы пытался – стал бы. Ты просто не захотел. И сделал свой выбор.

– Между прочим, это и твоя вина, что я им не стал! – запальчиво восклицает Курильщик. – Это ты испортил мне репутацию.

Сфинкс смеется:

– И ты жалеешь?

– Нет, но… – Курильщик случайно макает локоть в тарелку с остатками обеда и брезгливо от нее отстраняется. – Я не жалею. Но не тебе после всего этого рассуждать о свободе выбора, – невнятно заканчивает он, вытирая рукав салфеткой.

Сфинкс с интересом наблюдает за ним.

– Слушай. Сейчас ты не в первой и не во второй. Что же тебя так мучает? Какую роль вынуждаем играть тебя мы?

– Быть похожим на вас!

– Разве мы так похожи друг на друга?

Курильщик отбрасывает скомканную салфетку.

– Ты даже не замечаешь! Даже не чувствуешь, как вы похожи. От этого просто жуть берет!

Сфинкс смотрит на него с насмешливым удивлением.

– Мы похожи? Ну не скажи. Я вот считаю, что между мной и Черным мало общего. Так мало, что мы практически не в состоянии общаться. Еще я чувствую, что ты почему-то решил перенять его взгляды на все, что нас окружает. Так что теперь мне трудно общаться и с тобой.

Курильщик улыбается:

– Понятно. Выговор за общение с белой вороной, так?

– Кто это белая ворона? – изумляется Сфинкс. – Уж не Черный ли?

– Он самый. Тот, кто не разделяет ваших взглядов. Нежелательный элемент.

Сфинкс весело хохочет.

– Черный? Не смеши меня, Курильщик! Если он в чем-то и расходится с большинством, так только в вопросе своего статуса.

– С ним всегда можно поговорить о наружности, – возражает Курильщик. – А больше ни с кем.

– Ну да, – соглашается Сфинкс. – Нужна же ему какая-нибудь фишка. Желательно такая, чтобы действовала на нервы окружающим. Но ты не обольщайся. Он здесь с шести лет. Наружность для него – такое же абстрактное понятие, как для Слепого. Он знает ее только по книгам и фильмам.

– Но он ее не боится.

– Он сам тебе сказал?

Сфинкс встает.

– Хватит. Закончим этот разговор. Если бы ты так не зацикливался на том, что тебя никто не понимает, может, у тебя хватило бы сил понять других. Если бы ты поменьше общался с Черным, это пошло бы тебе на пользу. Если бы эта суровая женщина не приближалась к нашему столу так неотвратимо, я бы сказал еще что-нибудь умное. Если бы эта дверь вела не в коридор, то вела бы еще куда-нибудь…

Он подходит к двери, толкает створку плечом и, не оглядываясь, выходит.

Расстроенный Курильщик выезжает следом.

Черный сказал: «Попробуй поговорить с ним серьезно, и увидишь, как он начнет вилять. Ты с этим просто не сталкивался. Но я-то знаю». В тяжких сомнениях – можно ли

считать, что Сфинкс вилял? – Курильщик ищет его взглядом. Но Сфинкс уже растворился среди тех, кто шел и ехал ему навстречу.

Можно ли считать, что он вилял? Бессонная ночь щиплет веки, выкуренные сигареты скребут горло.

Сфинкс шагает быстро. На выходе из вестибюля он останавливается и ищет глазами белесое пятно на паркете.

Когда-то оно бросалось в глаза. Теперь стерлось. И не заметишь, если не знать, что оно все еще там. Сфинкс прислоняется к стене.

Видел бы ты, Курильщик, что сотворили они, когда пришло их время. Если бы ты это видел, то на весь остаток жизни здесь заткнулся бы о наружности, о запертых дверях и о скорлупках с цыплятами. Если бы ты только видел…

– Мальчик! – окликает Курильщика угрюмая женщина в переднике. – Пожалуйста, никогда не кури в столовой. И назови свою фамилию. Я сообщу о твоем поведении директору.

Курильщик оборачивается.

Старуха держит двумя пальцами крошечный окурок. Оставленный Сфинксом. Курильщик пристально смотрит на окурок. *Она что, специально выжидала, пока я отъеду подальше, чтобы орать на весь Дом?* Головная боль схватывает клещами.

– Фамилия! – настаивает узкий рот, похожий на щель.

– Раскольников! – кричит ей в ответ Курильщик.

Удовлетворенно кивнув, женщина скрывается в дверях столовой. Курильщик едет дальше, размышляя о том, осмелилась бы она подобным же образом угрожать Сфинксу, и почему ничего не было сказано, пока они сидели там вдвоем.

Проезжая мимо Кофейника, где сидят цепенеющие в клубах дыма Логи, он видит Лэри, машущего ему рукой от стойки, и въезжает внутрь.

– Чего это вы застряли в столовой? О чем секретничали? – Конь ковыряет в ухе заточенным ногтем мизинца.

– Скажи, Лэри, кто, по-твоему, свободнее: бегущий по саванне слон или тля, сидящая на листе все равно какого растения?

Лэри чешет грудь под многочисленными гайками и крестами:

– Откуда я знаю, Курильщик? Наверное, орел, который надо всем этим делом порхает. А зачем тебе?

– Орлы не порхают, – вмешивается Пузырь из третьей. – Они парят. Бороздят небо. Имеют его по-всякому.

– Сам дурак, – огрызается Лэри. – Не знаешь – не говори. Это корабли бороздят моря. И плуги землю.

Логи в черных жилетках дружно вздыхают.

Курильщик едет по коридору. Видит плакат в траурной рамке: «Помянем Ара Гуля, нашего почившего брата. Вечер памяти усопшего. Кл. комната № 1. Стихи, песни, посвящения. Всех, кто его знал и любил, просим явиться в 1-ю 28 числа в 18:00».

Перед Курильщиком возникает мучнисто-белое лицо с лошадиными зубами и занудный голос, тянущий бесконечную фразу о вреде курения и о болезнях, возникающих в связи с этой вредной привычкой. *Всех, кто знал и любил…* А кто знал и ненавидел?

Из-за плаката выглядывает тупорылое личико Фазана Нуфа.

– Ты приходи, – говорит он. – Тебя приглашаем отдельно.

Нуф держит плакат за деревянные ручки. Плакат на картонной основе слишком тяжел для него, но он горд данным ему поручением и сияет от счастья.

– Приглашаем, как человека, который его знал. Хотя ты теперь и из другой группы. Можешь сказать о нем речь. Приходи.

– А может, все-таки, «приезжай»? – не удерживается Курильщик.

Личико Нуфа злобно сморщивается.

– Ну и мерзкий же ты тип. Не зря тебя поперли…

Он вскрикивает и роняет плакат. Нагибается и, подхватив его за край, быстро отъезжает. Плакат стучит по паркету болтающимся древком.

Курильщик задумчиво разглядывает свой кулак. На костяшках розовая ссадина. Он облизывает ее.

К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый? К своей обуви, казалось бы… афиширует свой недостаток, тычет им в глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду… Курильщик начинает смеяться. Очень тихо. *Кругом одни пятнышки, тля покрывает листья, все листья в тле, листья, деревья, леса…* Он смеется. Едет дальше. *Приходи. На чем? Приди на колесах, но не упоминай об этом…*

«Послание», – предупреждает стена. Курильщик останавливается его прочесть.

МАЛЬЧИКИ, НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО В РАЮ НЕТ ДЕРЕВЬЕВ И ШИШЕК. НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО ТАМ ОДНИ ОБЛАКА. ВЕРЬТЕ МНЕ. ВЕДЬ Я СТАРАЯ ПТИЦА. И МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ СМЕНИЛА ДАВНО. ТАК ДАВНО, ЧТО УЖЕ И НЕ ПОМНЮ ИХ ЗАПАХ.

Мысленно с вами всегда. Ваш Папа Стервятник

Деревья, шишки… Старая Птица с зубами – это больше похоже на птеродактиля!

В спальню Курильщик въезжает, истерично хохоча.

– Какой это к черту лист! – кричит он Сфинксу. – Это даже не саванна! Тля, слоны и зубастые птеродактили! В какой такой саванне их вместе встретишь?

Сфинкс смотрит удивленно. Курильщика вытаскивают из коляски и кладут на кровать. Он смеется все тише, потом просто лежит, рассматривая потолок. Ему на лоб плюхается мокрая тряпка. Пахнущая кофейными лужицами. *До меня ей, наверное, вытерли стол.*

– Что с тобой, Курильщик?

Он молчит, нюхая тряпку.

– У него осенняя депрессия. Пройдет.

– Или не пройдет.

– Тоска по дому, – вздыхает Шакал. – По родильным стенам. Хотя я, кажется, неверно выражаюсь.

– Осознал, что он отброс общества, – глубокомысленно изрекает Горбач. – Это было как удар молнии, озаривший всю его жизнь. Бац – и его подкосило.

– Вы нарочно так себя ведете? – спрашивает Курильщик. – Чтобы меня стошнило?

Тряпка сползает ему на нос.

Слепой тренькает на гитаре, свесив волосы на струны.

– Мальчики, не верьте, что в раю… – дружно затягивают Табаки со Сфинксом.

– Нет деревьев и шишек! – хрустально взмывает к потолку голос Горбача.

– Не вееерьтеее!..

Курильщик зажмуривается.

Кровать прогибается под тяжестью опустившегося рядом Черного. Он краснее обычного и тяжело дышит. Он пьян. Курильщика это нервирует.

– Ну, что, я был прав? – спрашивает Черный.

Курильщик садится.

– Не знаю, – говорит он. – Ничего не знаю.

– Прав в чем? – интересуется Табаки. – Кто и в чем был прав?

Черный смотрит на Сфинкса.

– Спорим, вы говорили долго, но он так ничего и не сказал. Он это умеет. Может болтать часами, а потом не вспомнишь о чем, хоть убей.

Курильщик опять ложится. Он надеется, что если лежать неподвижно, голова перестанет болеть. К нему подходит Горбач и трясет гигантским вязаным носком в полоску.

– Эй, Курильщик, здесь будут новогодние подарки. Что бы ты хотел? Надо определиться с этим заранее, может, придется делать заказ Летунам.

– Ходячие ноги, – отвечает за Курильщика Черный. – Влезет в твой праздничный ме-

шок то, что ему по-настоящему нужно?

Горбач хмуро моргает:

– Нет, – говорит он. – Это не влезет, – и отходит.

Курильщик ощущает неловкость. Все смотрят на них с Черным. Не осуждающе, а скорее устало, как будто они до смерти всем надоели. Оба. И хотя Черный только что сделал то же самое, что он сам чуть раньше проделал с Нуфом, Курильщику становится неловко и хочется как-то от этого отмежеваться.

– Не надо, Черный, – просит Курильщик.

– Плевал я на все эти заморочки, – говорит Черный. По тону чувствуется, что он завелся. – На все эти табу. Об этом нельзя, о том нельзя… Я буду говорить, о чем захочу, ясно? Это последний год для страусов с упрятанной в песок башкой. Им осталось держать ее там каких-то шесть месяцев, но ты посмотри, Курильщик, ты только посмотри, как они обсираются, когда кто-то осмеливается об этом заговорить!

Гробовая тишина после слов Черного пугает Курильщика, но и вызывает в нем неожиданное злорадство.

Горбач комкает полосатый носок, и лицо его медленно заливает краска.

Табаки в радужном балахоне застыл столбиком, за щекой – непроглоченный кусок.

Слепой – пальцы на струнах гитары, сами, как струны – лица не видно…

Сфинкс на спинке кровати, как на насесте, с закрытыми глазами…

– Тот о цыплятах, этот о страусах, – бормочет Сфинкс, не открывая глаз. – Даже метафоры одинаковые.

– Заткнись, пожалуйста, – говорит Черный, тяжело дыша. – Не делай вид, что не обоссался. Ты такой же, как они!

– Да уж не как ты, слава богу, – вздыхает Сфинкс. – Знаешь что, если ты закончил давить нам на психику…

– Ну нет, – пьяно ухмыляется Черный. – Я еще и не начинал. Это было так… вступление. Хотел дать Курильщику на вас полюбоваться. А как вы… – приступ беззвучного смеха мешает ему говорить, – а как вы все дружно сделали стойку, а? С ума сойти!..

Он вытирает выступившие на глазах слезы.

– Что ты пил, Черный? – с ужасом спрашивает Горбач. – Ты как себя вообще чувствуешь?

Табаки делает судорожные глотательные движения, пытаясь справиться с застрявшим в горле куском булки.

– Прекрасно! – Черный вскакивает, демонстрируя широкую улыбку. – Я прекрасно себя чувствую!

Курильщик немного отодвигается. Черный хватает его за плечо и, обдавая запахом перегара, громко шепчет в ухо:

– Ты видел? Нет, скажи, ты их видел?

– Видел, видел, – морщится Курильщик. Хватка у Черного железная. – Я все видел, Черный. Успокойся, пожалуйста.

– Видел, да? – встряхивает его Черный. – Ты это запомни! Мы еще ими полюбуемся в день выпуска. Вот когда можно будет сдохнуть со смеху!

Курильщику не до смеха. Он вскрикивает, когда Черный усиливает хватку и, шипя от боли, пытается разжать его пальцы.

– Отпусти, Черный! Пожалуйста!

Черный отпускает его, и Курильщик со вздохом облегчения валится на спину.

– Ладно, что там выпуск! В наружности я бы хотел их встретить, вот где! Хоть пару минут полюбоваться. Потому что я их там себе не представляю, не получается у меня, понимаешь? Пробую представить – и не могу.

Черный стоит зажмурившись.

– Может, я перевел бы кого-нибудь через дорогу, – бормочет он.

Слепой, угадав в мечтах Черного себя, усмехается. Горбач вертит пальцем у виска.

– Придержал бы свою собаку, если бы она на кого-то из них набросилась…

Табаки, справившись наконец с застрявшей в горле булочкой, разражается возмущенным визгом:

– Что еще за собака? Какая-такая собака? Откуда она взялась? Мало того, что ты шляешься где-то в наружности, выискивая бывших состайников, и перетаскиваешь их с тротуара на тротуар, так у тебя при этом еще какая-то собака! Она что, натаскана нас отыскивать? Науськанная, да? Даешь ей понюхать заныканные у нас носки, а потом говоришь: «Фас, моя крошка»? Этой поганой, поганой…

– Бультерьерихе, – шепотом подсказывает ему Сфинкс.

– Да! Этой бультерьерихе, этой охотнице за черепами! Этой мерзкой твари! Дерьмо какое!

– Уймись, Табаки, – смеется Слепой. – Он же сказал, что придержит ее. Меня вот угрожают перетащить через дорогу, не спросив согласия, – я и то не жалуюсь. Хотя, может, у меня все имущество на этой стороне останется. И мисочка для подаяния, и табличка «Подайте бедному слепому».

– Придержит? – с горящими глазами выкрикивает Табаки. – Придержит? Ха! Да этих булей нипочем не удержать, если им что втемяшилось в их тупую башку. Они же невменяемые! А эта еще будет специально натасканная, представляете?

– Но ведь и Черный у нас не слабак, согласись, – качает головой Сфинкс. – К тому же это будет его псина, его радость и сладкая девочка. Они будут вместе охотиться, вместе завтракать…

– Заткнитесь, придурки! – кричит Черный. – Шуты гороховые!

– Так и вижу, как они прогуливаются по утрам. Он – в сером пальто в клеточку и она – отрада холостяка – в серой попонке. У него в кулаке старый носок Слепого… в пакетике, чтобы запах не выветрился… они вышли на ежедневную охоту…

– Заткнись! Да вы уже обоссались на самом-то деле!

– Еще бы не обоссались, – хмурится Сфинкс. – Мы просто в ужасе, ты уж поверь. От одного вида твоей собаки…

– Этой безбожной уродины, – встревает Табаки.

– Особенно, когда ее не видишь, – не отстает Слепой.

– Эти ее кривые ноги…

– И пиратский прищур…

– И ошейник с шипами… Ой-ой-ой!

– И серая попонка!

– Оставьте мою собаку в покое!

Вопль Черного тонет в общем хохоте. Сфинкс сползает со спинки кровати и валится на пол.

– Кретины! Идиоты!

Черный встряхивает общую кровать, с рычанием переворачивает ее и, путаясь в собственных ногах, выбегает из спальни.

– Шизофреники! Жалкие ублюдки! – доносится из прихожей. Что-то с грохотом падает, отмечая траекторию его бегства.

– Швабра и ведро с грязной водой, – шепчет Македонский, бережно выуживая Курильщика из-под матраса.

Сфинкс раскидывает ногой одеяла и переворачивает подушки:

– Если он убил магнитофон, пусть лучше не возвращается. Я его самого прикончу.

– Как он нас из-за этой ублюдочной собаки! – радостно орет Табаки, ползая среди осколков. – Чуть всех не раздавил! Вот это сила! Вот что я называю – гордый хозяин!

Курильщик держится за голову, с удивлением отмечая, что она отчего-то перестала болеть. Он тоже не сдержал смех, и теперь ему не по себе. Как будто этим он предал Черного. Одинокого, взбешенного Черного, которого так мастерски довели. Интересно, заметил ли он, что Курильщик тоже смеялся?

Горбач и Македонский переворачивают кровать на место и принимаются собирать вещи.

– А вообще-то… – задумчиво говорит Горбач, – вообще-то бультерьеры очень мужественные и преданные животные.

– Кто же спорит? – спрашивает Слепой.

Горбач пожимает плечами:

– Не знаю. Мне как-то показалось, что вы их недолюбливаете.

Табаки разражается счастливым кудахтаньем.

Магнитофон орет в полную громкость, и Слепой поспешно приглушает звук.

– Уцелел. Повезло Черному.

Сфинкс передергивает плечами, чтобы пиджак сел правильно. На щеке его налипли чаинки, ворот рубашки стал коричневым.

Курильщик ощупывает шишку на лбу. Должно быть, от нее и прошла головная боль.

– Кстати, а с чего вы взяли, что снаружи у Черного будет обязательно бультерьер? – спрашивает он Сфинкса.

ДОМ
Интермедия

В Доме было несколько мест, где Кузнечик любил прятаться. Одним их них был двор после наступления темноты. В местах, где ему «думалось». Для того они и существовали, особенные места, чтобы в них можно было прятаться – исчезая для других – и думать. Странным образом места влияли на «думанье».

Двор отдалял от Дома, позволяя взглянуть на него со стороны, чужими глазами. Иногда ему казалось, что это улей. Иногда Дом превращался в игрушку. Картонный, раскрашенный ящик со съемной крышей. Все как настоящее – и фигурки внутри, и мебель, и самые мелкие предметы – но всегда можно заглянуть под крышку и узнать, кто куда переместился. Это игра.

Он играл в эту игру – и в другие, для которых существовали свои «думательные» места. За спинкой большого дивана в холле, где пахло пылью и где ее клочья, похожие на серые тряпки, разлетались от дыхания и просто если пошевелиться. Там было сердце Дома. Через него простукивали шаги и проплывали голоса проходивших, там не было отчужденности и мыслей со стороны, только свои мысли и свои игры, как у сидящего в животе Великана, когда слышишь бурчание, стук огромного сердца и сотрясаешься от его кашля. Живот Великана, темный кинозал и – чуть-чуть – Слепой, потому что место заставляло слушать неслышные шорохи, угадывать разговоры по обрывкам, а людей – по шагам, все в полудреме «думанья», а мысли, приходившие здесь, были тягучими, прозрачными мыслями-невидимками – самыми странными из посещавших его. Чтобы выйти из этой игры, он ложился на пол. Надо было лечь, ощутить под собой холодный паркет и холодную кожу диванной спинки; побыв никем, растворенным в пространстве, вновь стать собой, вернуть свое тело и мир вокруг.

Он вытягивал ноги со странным ощущением их длины, силы и спрятанных в них пружин. Сила была везде, но больше всего – в нем самом, и он удивлялся только тому, что она не разрывает его на куски, потому что ей не полагалось умещаться в маленьком теле между стеной и спинкой дивана. Ей полагалось летать ураганным смерчем, закручиваться спиралью, сметать лампочки с потолка и сворачивать в жгуты ковровые дорожки. Кузнечик, прятавшийся в животе Великана, вдруг сам становился Великаном. Потом это уходило, таяло, как в конце концов таяли все игры, но, выбравшись из-под дивана, он еще долго чувствовал себя легким, как пух, маленьким и тонким. Он был Великан, превратившийся в мышь, а великанская сила, уменьшившаяся до размеров ореха, пряталась в жалкий замшевый комок, висевший у него на шее.

Сила была похожа на необъятного джинна, смерчем просочившегося в крошечную бутылку. Эту игру он любил больше всех. Она пахла амулетом, Се-

дым и его комнатой. Все его тайные игры выросли из комнаты Седого, из его заданий, которые кормили амулет Кузнечика, как рука Седого кормила треугольных рыбок в зеленом аквариуме. Он играл в «думальные места», в «гляделки» и в «ловилки» – и все эти игры вышли из комнаты Седого, все они были, как корм-порошок треугольных рыбок, прозрачными и незаметными.

«Гляделки», когда он просто смотрел. Стараясь увидеть больше, чем видят занятые собой и своими делами люди. Оказалось, что люди замечают не так уж много, если не приглядываются специально. Если им это не нужно. Играя в «гляделки», надо было смотреть не только на кого-то, с кем говоришь, но на все, что в это время творится вокруг, сколько увидишь, не поворачивая головы и не бегая глазами по сторонам. Кто где стоит, сидит и что делает. Где что находится. Что на своем месте, а что передвинуто или исчезло. Игра была скучной как задание, и интересной, если играть в нее. Из-за нее болели глаза, а сны заполнялись скачущими вспышками. Но он стал замечать многое, чего не замечал раньше. Войдя в комнату, видел пятна, вмятины на подушках, и передвинутые предметы, следы того, что происходило в его отсутствие. И он знал: если играть в эту игру долго, научишься угадывать каждого, оставившего такой след, как Слепой различал их по дыханию и по запахам, Слепой, с рожденья игравший в «слушалку» и в «запоминалку» – две из четырех доступных ему игр-невидимок.

Кузнечик ждал. Один день из семи принадлежал Седому. Вечерами, в дни фильмов, он творил в полутемной комнате свое волшебство с сигаретным дымом и со словами – усталый, раздражительный старшеклассник в ветхом халате, красноглазый колдун, знавший тайны невидимых игр. Кузнечик подходил к двери, читал, как заклинания, написанные на ней слова: «Не стучать. Не входить». Стучал и входил. И оказывался в душной, прокуренной пещере, где в темноте прятались Сиреневый Грызун и Кусливая Собака, где кто-то бормотал: «Весна – страшное время перемен…», где в свете настольной лампы струился дым, а Седой Колдун говорил: «Ну вот и ты». И опускал амулеты от сглаза в винные лужицы. Амулеты смотрели сквозь вино, рыбьи глаза – сквозь стекло аквариума, спина Кузнечика покрывалась мурашками, и страшнее и прекраснее этого не было ничего на свете.

Спустя несколько часов ему, засыпавшему в постели, чудилось, что внутри него живет что-то острое, что-то с каждым приходом к Седому делающееся острее, как будто Седой затачивал это что-то волшебным точильным камнем.

Кузнечик и Горбач смотрели на собак. Горбач отряхивал куртку от грязи и снега. Собаки обнюхивали землю и друг друга, а самые нетерпеливые уже убежали в другие места, где тоже могло найтись что-то съедобное.

– Им мало, – сказал Горбач. – Конечно, им этого мало.

– Но это их подкрепляет, – заверил его Кузнечик, – так что они могут искать другую еду.

Они отошли от сетки. С капюшонами, надвинутыми на лбы, хлюпая по грязи башмаками, они брели через слякотный двор. Там, где снег стаял, проступали белые полосы колец. Летом они отмечали спортивную площадку. Горбач подошел к машине одного из учителей, которую поленились поставить в гараж, и поскреб пальцем лед на капоте.

– Дешевка, – сказал он. – Эта машина.

Кузнечику нравились старые машины, и он ничего не ответил. Нагнулся посмотреть, есть ли под днищем сосульки, но сосулек не было. Они побрели к крыльцу.

– Знаешь, мне как-то спокойно теперь, когда я их покормил, – сказал Горбач. – Всегда про них думаю – и нехорошо. А как покормлю, проходит.

– А у меня в глазах иногда черные кошки мелькают, – невпопад произнес Кузнечик. – Шмыгают под кровать или под дверь. Мелкие такие. Странно, правда?

– Это потому, что ты «туманно» смотришь. Говорят тебе, не смотри «туманно». А ты смотришь. Так у тебя и носороги побегут. Как у Красавицы бегает его тень.

– Так больше видно, – вступился Кузнечик за «гляделки». Скорее по привычке, чем надеясь переубедить Горбача.

Некоторые задания не удавалось хранить в тайне. «Гляделки» Чумные Дохляки вычислили почти сразу. И невзлюбили. Трудно поддерживать связный разговор, играя в «гляделки». Как Кузнечик ни старался, у него это пока не получалось.

– Ага, – фыркнул Горбач. – Больше. Конечно. Например, больше черных кошек, которых нет!

– А что за тень бегает у Красавицы? – поинтересовался Кузнечик, неловко меняя тему.

– Его собственная. Но как бы живая. Ты его лучше не спрашивай. Он боится.

Они дошли до крыльца и постучали о ступеньки ботинками, отряхивая грязь. На перилах сидела старшеклассница и курила, глядя во двор. Ведьма. Без куртки, в одной водолазке под замшевым жилетом. Кузнечик поздоровался. Горбач тоже поздоровался, на всякий случай скрестив пальцы в кармане куртки.

Ведьма кивнула. С крыши крыльца капало, и капли отскакивали ей на брюки, но она этого не замечала. А может, ей просто нравилось сидеть там, где она сидела.

– Эй, Кузнечик, – позвала она. – Иди сюда.

Горбач, придерживавший дверь, обернулся. Кузнечик послушно подошел к Ведьме. Она бросила сигарету.

– А ты иди, – сказала она Горбачу. – Иди. Он скоро придет.

Горбач топтался около двери, угрюмо глядя на Кузнечика из-под капюшона. Кузнечик кивнул ему:

– Иди. Ты весь мокрый.

Горбач вздохнул. Потянул дверь и вошел в нее, пятясь, не отрывая глаз от Кузнечика, как будто предлагал ему передумать, пока не поздно. Кузнечик подождал, пока он уйдет, и повернулся к Ведьме. Ему не было страшно. Ведьма была самой красивой девушкой в Доме и к тому же – его крестной матерью. Страшно не было, но под ее пристальным взглядом сделалось неуютно.

– Садись, поговорим, – сказала Ведьма.

Он сел рядом на сырые перила, и ее пальцы стянули с него капюшон. Волосы Ведьмы, как блестящий черный шатер, доходили ей до пояса. Она их не собирала и не закалывала. Лицо ее было белым, а глаза такими черными, что радужка сливалась со зрачком. Настоящие ведьминские глаза.

– Помнишь меня? – спросила она.

– Ты назвала меня Кузнечиком. Ты – моя крестная.

– Да. Пора нам с тобой познакомиться поближе.

Она выбрала странное место и время для знакомства. Кузнечику было мокро сидеть на перилах. Мокро и скользко. А Ведьма была одета слишком легко для улицы. Как будто так спешила познакомиться с ним поближе, что не успела даже накинуть куртку. Он свесил одну ногу и уперся носком в доски пола, чтобы не упасть.

– Ты смелый? – спросила Ведьма.

– Нет, – ответил Кузнечик.

– Жаль, – сказала она. – Очень жаль.

– Мне тоже, – признался Кузнечик. – А почему вы спрашиваете?

Черные глаза Ведьмы смотрели таинственно.

– Знакомлюсь. И давай на ты, хорошо?

Он кивнул.

– Любишь собак? – спросила Ведьма.

– Я люблю Горбача. Он любит собак. Любит кормить их. А я – смотреть, как он их кормит. Хотя собак я тоже люблю.

Ведьма подтянула одну ногу на перила и опустила подбородок на колено.

– Ты можешь мне помочь, – сказала она. – Если, конечно, хочешь. Если нет, я не обижусь.

Кузнечику капнуло за ворот, и он поежился.

– Как? – спросил он.

Это имело какое-то отношение к смелости и к собакам. А может, ему так показалось, потому что Ведьма о них заговорила.

– Мне нужен кто-то, кто передавал бы мои письма к одному человеку.

Волосы закрывали ее лицо.

– Ты понимаешь?

Он понял. Ведьма – из людей Мавра. Письма – кому-то из людей Черепа. Это было понятно, и это было плохо. Опасно. Опасно для нее, для того, кому предназначались письма, и для того, кто эти письма стал бы ему носить. О таком никто не должен знать. Поэтому она спросила, смелый ли он, поэтому во дворе и вечером, без куртки и без шапки. Наверное, увидела его из окна и сразу спустилась.

– Я понимаю, – ответил Кузнечик. – Он человек Черепа.

– Да, – сказала Ведьма, – правильно. – Она полезла в карман, достала зажигалку и сигареты. Ее руки покраснели от холода. Из замшевой жилетки, сшитой из кусочков, торчали нитки. – Страшно?

Кузнечик промолчал.

– Мне тоже страшно, – она закурила. Уронила зажигалку, но не стала поднимать. Спрятала ладони под мышки и сгорбилась. В ее волосах блестели серебряные капли. Ведьма качалась на перилах и смотрела на него.

– Тебе не обязательно соглашаться, – продолжала она. – Я не стану напускать на тебя порчу. Если ты веришь в эту ерунду. Просто скажи, да или нет.

– Да, – сказал Кузнечик.

Ведьма кивнула, будто не ждала другого ответа:

– Спасибо.

Кузнечик болтал ногами. Он промок до трусов. Ему уже было все равно, что он мокрый. Двор стал темно-голубым. Где-то выли собаки. Может, те самые, которых кормили они с Горбачом.

– Кто он? – спросил Кузнечик.

Ведьма спрыгнула с перил и подняла зажигалку.

– А как ты думаешь?

Кузнечик никак не думал. Он любил угадывать, но сейчас ему было холодно, а людей Черепа было слишком много, чтобы представлять себе каждого по очереди и думать, в кого из них можно влюбиться.

– Я не знаю, – сдался он. – Ты скажи.

Ведьма нагнулась к нему и шепнула. Кузнечик захлопал ресницами. Она тихо рассмеялась.

– Почему ты сразу не сказала? С самого начала? Почему?

– Тсс! Тихо, – ответила она, смеясь. – Только не кричи. Это не так уж важно.

– Почему ты не сказала!

– Чтобы ты не согласился сразу. Чтобы подумал, как следует.

– Я буду счастлив, – прошептал Кузнечик.

Ведьма снова рассмеялась, и волосы заслонили ее лицо.

– Конечно, – сказала она. – Конечно… Но ты все же подумай.

– Где письмо?

Она подышала на руки и достала из кармана жилетки конверт.

– Вот. Не потеряй, – Ведьма сложила конверт и спрятала ему в карман. – Передашь это своему другу. А у него возьмешь другое и передашь мне. Сегодня. На первом около прачечной. После ужина. Я буду тебя ждать. Или ты меня подождешь. Будь осторожен.

– Какому другу? – удивился Кузнечик, но сразу догадался. – Слепому?

– Да. Постарайся, чтобы вас никто не видел.

– И про Слепого ты не сказала. Почему?

Ведьма сунула руку ему в карман, затолкала письмо поглубже и застегнула карман на клапан, чтобы конверт не высовывался.

– Ты проверяла мою смелость, – укоризненно сказал Кузнечик. – Ты меня проверяла. Но я и так бы согласился.

Ведьма провела ладонью по его лицу:

– Я знаю.

– Потому что ты – Ведьма?

– Какая я ведьма? Просто я знаю. Я много чего знаю, – она натянула ему капюшон на голову и открыла дверь.

– Пошли. Холодно.

Кузнечику было уже не холодно, а жарко.

– Скажи, – произнес он шепотом, когда они поднимались по лестнице. – Скажи, а что ты про меня знаешь?

– Я знаю, каким ты будешь, когда вырастешь, – сказала она.

Черный шатер волос и длинные ноги. Звонкий стук подкованных ботинков по ступенькам.

– Правда?

– Конечно. Это сразу видно, – она остановилась. – Беги вперед, крестник. Не надо, чтобы нас видели вместе.

– Да!

Он взбежал вверх по лестнице и на площадке обернулся.

Ведьма подняла на прощание руку. Он кивнул и взлетел через пролет. Дальше бежал, не останавливаясь. Мокрые джинсы липли к ногам. *Что она про меня знает? Каким я стану, когда вырасту?*

В спальне Слепого не было. Фокусник, положив больную ногу на подушку, с отрешенным видом терзал гитару. На кровати Горбача возвышалась белая треугольная палатка. Каждое утро эта палатка из простыней, натянутых на деревянные планки, обрушивалась, и каждый вечер Горбач устанавливал ее заново. Он любил, когда его не было видно.

Кузнечик посмотрел на палатку. Внутри кто-то шевелился. Стенки-простыни подрагивали. Но входной полог был задернут, и ничего разглядеть было нельзя. Кузнечик облегченно вздохнул. Горбач был у себя и занят, а вовсе не стерег его у двери с расспросами, как он опасался.

Вонючка тоже был занят. Нанизывал на нитку кусочки яблок, которые собирался засушить. На полу валялась заляпанная грязью куртка Горбача.

Волк свесил с подоконника ноги.

– Во дворе не хватает походной кухни, – сказал он. – Для нищенствующих собак. Вы с Горбачом стояли бы в белых колпаках, а собаки – в очереди, каждая с миской в лапах.

– Волк, а по мне видно, каким я стану, когда вырасту?

– Кое-что видно, – удивился Волк. – А почему ты спрашиваешь?

– Просто так. Почему-то захотелось узнать.

– Ты, наверное, будешь высокий. И не толстый.

– А еще покроешься прыщами, – пискнул Вонючка. – Все старшие прыщавые, как земляничные поляны. Будешь прыщавый рыжеватый блондин. С баками. Клочковатыми такими.

– Спасибо, – мрачно сказал Кузнечик. – А каким будешь ты сам?

– Я-то? – Вонючка помахал недонанизанной связкой яблок и закрыл глаза. – Вижу, вижу себя! – пропел он. – Через шесть лет. Красавца-мужчину. Мой жгучий взгляд пронзает насквозь всех и каждого. Женщины падают обессиленные к моим ногам. Пачками. Только успевай подбирать их, несчастных…

– Будешь подбирать, не споткнись о свои уши, – предупредил Волк. – А то они подумают, что на них комар упал.

Вонючка оскорбленно отвернулся. Палатка Горбача задрожала и оттуда высунулась лохматая голова:

– Волк, меня тошнит от этой книги. Того проткнули мечом, этого проткнули мечом. Сколько можно? Мне эти проткнутые всю ночь будут сниться.

– Не хочешь – не читай. Никто тебя не заставляет.

Горбач убрал голову и сердито задернул полог. Палатка зашаталась. Волк и Кузнечик встревоженно следили за ней, пока она не перестала крениться.

– Меня, наверное, заберут в Могильник на день или два, – сказал Волк. – Завтра с утра. Ненадолго.

– Почему? – насторожился Кузнечик. – Ты же теперь здоров.

Волк лег на пол и заложил руки за голову.

– Хотят затолкать в корсет. Буду таскать на себе Могильный панцирь, как старая, мудрая черепаха, – он шутил, но в голосе было кое-то, чего Кузнечик давно не слышал.

– Ты боишься? – спросил Кузнечик.

– Я ничего не боюсь, – отрезал Волк. Его глаза сделались злыми.

Кузнечик поежился.

– Не надо, – попросил он, – Волк… Твои мысли пахнут совсем не так, как слова. И это слышно.

Волк приподнялся на локтях, удивленно глядя из-под седой челки:

– Как ты сказал? Мысли пахнут? И тебе это слышно? Я бы не удивился, если бы Слепой такое сказал. Но почему-то так говоришь только ты.

Волк насмехался, но его глаза перестали быть колючими, и Кузнечик успокоился.

– Дерьмовый лексикон, – шепнул подслушивающий их Вонючка.

– Сам ты дерьмовый, – вступился за друга Горбач из глубин своей палатки. – Это красиво. Кузнечик говорит, как поэт.

Кузнечик засмеялся. Горбач опять высунулся:

– А если они тебя не отпустят, что нам делать? Вдруг не отпустят?

– На этот случай я пришлю вам письмо с инструкциями, – пообещал Волк.

Вонючка обрадовался:

– Выполним, – пообещал он. – Дом содрогнется, слово Вонючки. Прикуемся цепями к дверям Могильника. Обольемся бензином и начнем перебрасываться спичечными коробками. Все будет проделано на высшем уровне.

– Верю, – серьезно сказал Волк. – С тебя станется такое устроить.

Возле прачечной было темно и пустынно. Кузнечик сидел на полу, у запертой двери, ждал Ведьму и старался думать о приятных вещах. А не о том, что неподалеку кто-то явно дышит, а возможно, что и подкрадывается. И не о том, что дырка в стене подозрительно блестит. Как будто оттуда смотрит чей-то глаз.

Коридор возле прачечной пах дезинфекцией. Лампочка светила тускло, а дальше, в библиотечных отсеках, было совсем темно, и Кузнечик не смотрел в ту сторону, чтобы не видеть чернильные тени шкафов-вертушек, в которые стар-

шеклассники складывали прочитанные журналы. Ему совсем не нравились эти тени. Чем более неподвижными они были, тем меньше нравились.

Его отвлекло гудение лифта. Кузнечик прислушался. Лязгнула дверь, и по линолеуму зашуршали чьи-то шаги. Он встал.

На свет вышла Ведьма.

– Извини, – сказала она. – Я задержалась. Тебе, наверное, было страшно тут одному?

Кузнечик сразу забыл про тени шкафов и про глаз в стене.

– Чего здесь бояться? – сказал он. – Тут же никого нет. Письмо у меня в кармане. А то я отдал Слепому. Как договаривались.

Ее рука скользнула к нему в карман и достала конверт. Кузнечик ждал, что Ведьма его спрячет, но она разорвала конверт и принялась читать. Кузнечик уставился в пол. Ему показалось, что письмо было очень длинным.

– Спасибо, – сказала Ведьма, дочитав. – Ты не очень замерз сегодня во дворе? Было жуть как холодно.

– Нет.

Он смотрел, как она достала зажигалку и поднесла ее к краю конверта. В ее руках разгорелся маленький костер. Она повертела его, перебирая пальцами, наконец уронила последний клочок и затоптала.

– Вот и все, – сказала она, размазав пепел подошвой.

Только теперь Кузнечик испугался по-настоящему. Он знал, что письмо опасно носить с собой, но только увидев, что Ведьма сожгла его, понял, что как ни в чем ни бывало ходил с этой опасностью в кармане и даже забывал о ней.

– Ничего, – сказала Ведьма, угадав его страх. – Не думай об этом. Мы постараемся пореже писать друг другу. А вы со Слепым не говорите об этом между собой даже наедине.

– Слепой не станет об этом говорить, даже если мы с ним окажемся в пустыне, – возразил Кузнечик. – Слепой никогда не говорит о чужих делах. Он и о своих-то не говорит.

– Это хорошо. Выходи время от времени после ужина погулять в двор. Один. Если я появлюсь, не заговаривай со мной, а просто пройди мимо, так чтобы я могла спрятать письмо тебе в карман. Хорошо?

Кузнечик кивнул.

– А трудно быть девушкой Черепа? – спросил он, краснея от собственной бестактности.

– Не знаю, – ответила Ведьма. – Не с кем сравнивать. Но думаю, не труднее, чем быть девушкой Мавра.

Кузнечик пожевал ворот своей рубашки.

– Ты знаешь, каким я стану, когда вырасту. Пожалуйста, скажи, каким? Это важно.

– Трудно объяснить, – вздохнула Ведьма. – Такое скорее чувствуешь, а не представляешь, как картинку. Но девушкам ты будешь нравиться. Это я обещаю.

– Они падут к моим ногам, – печально закончил Кузнечик. – Сраженные и обессилевшие. Только успевай подбирать и не наступай на уши. Мои прыщи и клочковатые баки сведут их с ума.

Ведьма посмотрела на него странно.

– Не знаю, кого ты сейчас нарисовал. Но только не себя. Возвращайся. Я побуду здесь еще немного.

– До свидания, – сказал Кузнечик.

«Я болтал чепуху, – подумал он огорченно. – А все из-за Вонючки».

Кузнечик сидел на полу и сражался с печатной машинкой. Было готово начало письма. «Привет, Волк. Как ты там? Мы хорошо, ждем тебя. Один день

прошел, а второй – наполовину. Завтра будем ждать твое письмо с…» Слово «инструкциями» не давалось. Кузнечик забраковал уже два варианта. Над плечом пыхтел Горбач, не решавшийся подсказать.

– По-моему, там должно быть два «и», – сказал он наконец.

– Иинструкциями? – ядовито уточнил Кузнечик.

Горбач покраснел.

– Я не это имел в виду. Не в начале.

– Тогда не говори под руку.

– Передай от меня привет! – пропищал Вонючка со своей кровати.

– До приветов я еще не дошел. И хватит мне мешать! Я так никогда не закончу.

Кузнечик разделался с «инструкциями» и задумался, рассеянно покусывая палец протеза.

– Портишь вещь, – шепотом предупредил Горбач.

Кузнечик убрал палец.

В дверь постучали.

– Войдите, – тонким голосом крикнул Вонючка.

Дверь заскрипела, и в нее протиснулись, скромно прижимаясь боками, Сиамцы – кошмар и гордость Хламовника.

Кузнечик испуганно посмотрел за их спины, ожидая, что следом ввалится Спортсмен, а за ним и весь Хламовник. Но близнецы были одни. Сделав несколько шагов, они застыли рядышком, как приклеенные. Одинаково одетые, с одинаковыми лицами, неразличимые, как две монеты.

– Вы зачем? – спросил Кузнечик. – Что вам надо?

Слепой перестал гладить книгу с пупырчатыми страницами и поднял голову.

– Мы по делу, – сказали Сиамцы.

– Очень подозрительно, – заметил Вонючка. – Не нравятся мне такие заходы.

Сиамцы мялись, шаркая ботинками. Длинные, тощие, тонкогубые и… *«какие-то суставчатые»* – неприязненно подумал Кузнечик. Из-под соломенных челок торчали крючковатые носы, золотые глаза смотрели кругло и стыло, как у чаек.

– Вы от Спортсмена или сами по себе? – спросил Слепой.

– Мы сами по себе, – хором ответили Сиамцы.

– Мы пришли, потому что…

– Хотели спросить…

– Нельзя нам тоже в вашу комнату…

– Переселиться.

Они еще теснее прижались друг к другу боками и, повздыхав, замолчали.

– С чего это вдруг? – удивился Горбач.

Сиамцы молчали. На чужой территории они присмирели и казались не такими противными, как обычно, но и симпатии тоже не вызывали. Белые фуфайки чернели локтями, на шеях висели цепочки с бирками. На одной – буква «Р», на другой – «М». Бирки все время переворачивались пустой стороной, и разобрать, кто из Сиамцев кто, не помогали.

– Не принимаете? – хмуро спросил левый Сиамец.

Кузнечик не успел ответить. Дверь хлопнула, и в комнату, не замечая Сиамцев, быстро прохромал раскрасневшийся Фокусник.

– Волк идет! – крикнул он. – Честное слово! Отпустили!

– Ура! – подхватил Вонючка.

Все уставились на дверь. Кузнечик с облегчением подумал о письме, которое не надо было допечатывать. Горбач радостно дышал ему в затылок. Вонючка

зачем-то схватился за бинокль. Сиамцы незаметно отошли в сторону и перешептывались, бросая на Кузнечика мрачные взгляды.

– Я рыцарь в доспехах из гипса! – объявил появившийся в дверях Волк. – Ищу верного до гроба оруженосца, годного нагибаться и зашнуровывать мне ботинки, ибо я, облаченный в доспехи, подобен черепахе, скованной панцирем.

Он подошел к Кузнечику и ткнул в него ручкой зонтика:

– Иди ко мне в оруженосцы, отрок. В конце каждого года будешь получать за свои труды кошель с золотом. А в случае моей смерти тебе достанутся эти прекрасные доспехи, которые ты сможешь продать.

Волк поднял свитер и постучал по гипсу:

– Соглашайся. Не пожалеешь. Жизнь твоя станет поистине удивительной.

Кузнечик кивнул.

– Буду просто счастлив. Вот только у нас Сиамцы…

Волк прищурился на близнецов.

– Верный шлем мой заслоняет обзор, – сказал он. – Скажи, мальчик, не злые ли духи меня искушают, являя взору два столь подобных друг другу образа?

Сиамцы переглянулись.

– Еще бы не духи, – хихикнул Вонючка. – Они самые. Хотят с нами жить. Если мы разрешим.

Волк стукнул об пол зонтиком, и зонтик раскрылся.

– Колдовство, – пробормотал Волк, закрыл зонтик и повернулся к Вонючке:

– Непонятны мне слова твои, отрок. Пещера эта, где мы собрались, принадлежит не нам. С божьего соизволения всякий странствующий хмырь волен забрести сюда, обсушить у костра свой плащ и поведать нам о своих приключениях. Это и есть плата за ночлег. Если эти двое не бесовское наваждение, хотя сходство их лиц мутит мой разум, пригласи их к костру и передай, что мы рады их приветствовать.

Сиамцы оторопело таращили на Волка чаячьи глаза.

Волк опять стукнул зонтиком:

– Видно, простолюдины! Не называете имен своих, словно стыдитесь! А может, имена ваши покрыты позором? Может, вы сыны Каина, гонимые проклятьем?

– Н-н-нет, – простонал один из Сиамцев. – Мы совсем не это!

– Рыцари мы, – нашелся второй Сиамец. – В бурю попали.

Волк поиграл бровями, кидая на братьев подозрительные взгляды.

– Сушитесь, – сказал он. – И поведайте нам свою историю.

Он сел на пол.

Фокусник, Горбач и Кузнечик тихо расселись вокруг. Сиамцы переглянулись и тоже сели, скрестив ноги и дружно ссутулившись.

– Влипли вы, «рыцари», – шепнул им Горбач. – Волк эту волынку может до ночи тянуть.

Фокусник, не дожидаясь распоряжений, поставил у себя в ногах гитару, подпер ее табуреткой и подергал струны.

– А-а, – сказал Волк. – Славный менестрель со своей арфой, и ты здесь…

Фокусник бодро кивнул, перебирая струны.

– И пленное чудовище, некогда пожиравшее невинных девиц, а ныне раскаявшееся…

Вонючка всем своим видом изобразил глубокое раскаяние и, свесившись с кровати, издал жалобный вой.

– Велико его раскаяние, – перевел Волк Сиамцам. – Оно ежедневно поминает девиц в своих молитвах, вымаливая прощенье у их разгневанных теней.

– Ох-ох, – простонал Вонючка. – Тереза, Анна, Мария, Софья…

– Не будем, – перебил его Волк. – У нас гости.

Воцарилась тишина. Только Фокусник дергал струны, да хомяк, путешествовавший по свитеру Горбача, то и дело чихал. Сиамцы почувствовали, что общее внимание направлено на них, и смущенно заерзали.

– Ты говорил, здоровяки вам не нужны, – сказал левый Сиамец Волку. – Мы не здоровяки. Мы сами их не любим. Мы их, а они – нас. Мы сами по себе. Если нас не трогать, тогда и мы не будем. А они чуть что твердят, что мы воры. И именно что трогают. Теперь еще новички эти.

Сиамец вздохнул:

– Вы нас не возьмете, я знаю, – он покосился на Кузнечика.

«Потому, что мы тебя били», – мысленно закончил за него он.

– Возьмите хоть Слона, а? Он боится. Этого новичка, Родинку. Все время пугается и ревет. Возьмите его к себе. Он тихий, когда его не пугают. Играет весь день.

– Разве он без вас пойдет? – спросил Кузнечик. – Он вас любит.

– Уговорим, – пообещал Сиамец. – Он послушный ребенок.

Это был Макс. Кузнечик разглядел букву «М» на бирке.

– Вы только эту стенку ему покажите, – хихикнул Рекс. – За уши от нее не оттащите.

– До вечера, – подал голос Слепой, сидевший в углу. – Пока он не вспомнит про вас и не начнет реветь. Тогда придется или его обратно, или вас сюда. Или всю ночь прыгай вокруг с носовыми платками.

Сиамцы покраснели и теснее прижались друг к другу.

– Приводите Слона, – сказал Волк. – И сами приходите. Только не надо нас морочить и Слоном жалобить.

Рекс поднялся и помог брату встать.

– Спасибо, – сказал он, – рыцарь из гипса, – и усмехнулся. Криво. По-другому Сиамцы не умели. Рекс хотел еще что-то сказать, но брат дернул его за рукав.

«А они совсем разные, – удивился Кузнечик. – Просто это не сразу видно».

Близнецы ушли. Горбач посмотрел на кровати и присвистнул:

– Теперь нас десять Дохляков. Полный комплект. Только на верха им не взобраться. Ни им, ни Слону.

– Я переселюсь наверх, – нехотя произнес Волк. – И Слепому придется. Иначе не поместимся.

Вонючка покачался на подушке.

– Они взломщики, – сказал он. – И ворюги. У них до фига отмычек и всяких других полезных в хозяйстве вещей. Ограбят нас и уйдут обратно в Хламовник, а мы останемся без всего.

– Пусть попробуют, – сказал Волк. – Напустим на них твоего Гоблина. Эй! – спохватился он. – Завешивайте его скорее, пока Слона не привели! А то на его рев весь Дом сбежится.

Горбач и Фокусник задвинули Гоблина тумбочкой, сверху водрузили салатницу, а на салатницу – транзистор.

– Только ухо торчит, – сказал Фокусник. – Но непонятно, чье это ухо, так что он не испугается.

– Вот так расправляются с произведениями искусства, – вздохнул Вонючка. – А я, может, всю душу в этого Гоблина вложил.

– Оно и видно, – сказал Горбач. – Вся твоя черная душа на его роже нарисована.

– Что-то шумно там, – заметил Слепой. – В Хламовнике. Грохот.

– Может, их не пускают? – с надеждой спросил Кузнечик.

– Что-то вроде того, – Слепой подкрался к стене и прижался к ней щекой. Фокусник приглушил звук транзистора. Теперь застенный шум услышали все.

– Поведай нам, Большое Ухо, что ты слышишь? – спросил Волк.

– Сам ты Большое Ухо, – огрызнулся Слепой. – По-моему, их лупят. Ничего не разобрать. Слон уж очень заходится.

– Значит, это не подстава, – с удовольствием отметил Вонючка. – Я имею в виду их приход.

Волк посмотрел на Кузнечика. Кузнечик страдальчески нахмурился:

– Они вроде как наши теперь, – сказал он. – Тоже Чумные Дохляки.

Волк кивнул:

– Вот и я об этом подумал.

– Придется идти спасать, – вздохнул Кузнечик. – Если они и в самом деле наши.

Меньше всего ему хотелось бежать на помощь Сиамцам.

– Да вы спятили? – возмутился Вонючка. – Вас всего пятеро. Они с вами разделаются, а комнату возьмут штурмом. Унесут все полезные вещи, и в конце концов я тоже могу пострадать.

Кузнечик влез в ботинок и протянул Волку ногу:

– Зашнуруй, пожалуйста.

Горбач стоял наготове с вторым ботинком.

– Давайте быстрее, – подгонял он. – Они там вдвоем против всех.

Фокусник вооружился запасной струной от гитары. Слепой отлепил ухо от стены.

– Они уже в коридоре, – сказал он безразличным тоном. – Можете не спешить.

Горбач натянул на Кузнечика второй ботинок и побежал к двери. Путаясь в шнурках, Кузнечик бросился следом. Они выскочили в тамбур, потом, толкаясь, в коридор.

Сиамцы действительно были там. Они и почти весь Хламовник. Одного Сиамца было видно. Он отбивался от нападавших сумкой. Рядом, на полу, где повалили второго, крутилось что-то паукообразное с множеством рук и ног. С криком, похожим на вой сирены, Горбач ринулся в гущу сражения. Кузнечик с разбегу пнул чей-то зад из паучьей кучи и запрыгал вокруг, наскакивая тех, что оказывались сверху. Мимо метнулся Слепой, но смотреть на него у Кузнечика не было времени. Из копошившейся массы, которую он пинал, уже вылезали враги – кряхтя поднимался Пышка, Плакса готовился кинуться на него с кулаками… И глядя на них, Кузнечик вдруг с ужасом понял, что забыл снять протезы. А ведь это было самое главное, важнее, чем ботинки, важнее, чем все остальное!

– Не сметь! – пронзительно закричал он в лицо Плаксы, которое было уже совсем близко, и саданул по нему ботинком. Лицо исчезло, но вместо него появилось другое, которое Кузнечик тоже ударил, не переставая кричать: «Не сметь!»

Я разбил ему нос! Вот только кому?

Вокруг кипела битва. Кузнечик бросился к Волку, который мелькнул поблизости, но чья-то рука схватила его за ногу. Он наступил на нее свободной ногой, с нее слетел незашнурованный ботинок и тут же затерялся в общей куче-мале.

Кузнечик думал только о протезах, о том, что их не должны сломать. Его толкнули в спину, он упал на Плаксу, и кто-то тут же навалился сзади. Кто-то тяжелый. Плакса завизжал. Кузнечик извивался и бился коленками о его колени. Кто-то сидел на Кузнечике верхом и лупил его по спине. Это было больно, но Плаксе внизу было еще больнее – он орал, не переставая.

– Берегись! – завопил кто-то.

Перед ними завертелись колеса. У самого носа Кузнечика затормозила ко-

ляска Вонючки.

– Берегись! – еще раз взвизгнул Вонючка и замахнулся зонтом.

Пышка ослабил хватку, и освобожденный Кузнечик откатился в сторону.

– Так тебя! – крикнул Вонючка, тыкая в Пышку зонтиком.

Кузнечик разбежался и пнул его в живот. Добитый Пышка куда-то уполз, а к Кузнечику, размахивая хоккейной клюшкой, подскочил Зануда. Кузнечик успел пнуть и его, но разутая нога в одном носке большого вреда не причинила. Клюшка угодила Кузнечику по уху, и ухо заполыхало, наливаясь кровью. Второй удар пришелся по протезу.

– Сломал! Ты его сломал! – всхлипнул Кузнечик, и, забыв про клюшку, бросился на Зануду. Тот почему-то отбросил оружие и кинулся бежать. Кузнечик рванул за ним. Кто-то подставил Зануде ножку, он упал, перевернулся на спину и испуганно заверещал. Кузнечик летел на него, как комета, сметая врагов со своего пути, оставляя позади хвост из отдавленных рук и ног.

Кто-то схватил его и приподнял над полом. Кузнечик начал пинаться, пытаясь вывернуться.

– А ну спокойно, – сказал взрослый голос.

Болтаясь над полем боя, Кузнечик увидел Фокусника, отбивавшегося костылем от Кролика и Крючка, перевернутую коляску Вонючки, самого Вонючку, лупившего зонтом во все стороны, Спортсмена, катавшегося по полу с кем-то в обнимку, – и старшеклассников. Их было много. Хохоча и чертыхаясь, они растаскивали мальчишек.

Затылок Кузнечика уперся во что-то твердое. Похолодев от внезапной догадки, он обернулся. Щеку царапнул маленький черепок на цепочке. Выше Кузнечик смотреть не стал. *Я пнул самого Черепа!* Голова закружилась от слабости, Кузнечика затошнило.

Череп развернул его лицом к себе и опустил на пол.

– Ну что, успокоился?

Кузнечик пошатнулся. Рука с татуировкой на запястье придержала его за плечо.

– Я не знал, – прошептал Кузнечик. – Я не знал.

– Чего ты не знал?

Серые глаза Черепа были усеяны мелкими точками.

У него глаза пятнистые. Крапчатые. Как странно…

Старшие разгоняли мальчишек по комнатам. Двери Хламовника ощерились гримасничавшими лицами. Лица плевались и выкрикивали угрозы.

– Брысь! – орали на них старшие.

Последними расцепили Спортсмена и Слепого. Фокусник и Горбач, придерживая лохмотья рубашек, скрылись в Чумной комнате. Сиамцы ползали по полу, собирая вещи, выпавшие из сумок. Слон ходил за ними по пятам, обливаясь слезами.

– Безобразие! – кричал воспитатель Щепка. – Всех к директору! Немедленно!

Лось заталкивал Вонючку в коляску. Вонючка сопротивлялся. Кузнечик успел прийти в себя и собраться с мыслями. Он повернулся к Черепу, чтобы извиниться, но его уже не было рядом. Он уходил с другими старшеклассниками. Кузнечик поймал на себе взгляд одного из них и услышал:

– А этот безрукий малявка дрался, как тигр!

Старшие засмеялись. Череп обернулся и посмотрел на него. Очень серьезно. Он один не смеялся.

– Марш в свою комнату, немедленно! – завопил над ухом Щепка, и Кузнечик, прихрамывая необутой ногой, побежал в спальню. Ему было жарко от стыда. Старшие не знали, что он дрался, как тигр, только из-за протезов. А если бы знали, то смеялись бы еще громче. Может, только Череп бы не смеялся.

– Через полчаса в кабинете директора! – крикнул ему в спину Щепка.

Вокруг умывальников в ванной комнате толпились раненые. Пол был залит водой. Стоило Кузнечику войти, разутая нога в одном носке сразу промокла.

– Доспехи из гипса – полезнейшая в хозяйстве вещь. Полчища врагов сами себя выводят из строя. Ничего не надо делать. Только открывайся и жди, чтобы тебе врезали, – Волк вынырнул из-под струи и посмотрел на Кузнечика. – Ага. Явился!

– Вот он! – крикнул Вонючка. – Истребитель Хлама! Лихая нога! Пятка-убийца! Ура!

– Костыль тоже полезная вещь, – похвастался Фокусник. – Видели бы вы, как я подбил Крючка.

Горбач шумно плескался, обмывая рассеченную губу. Помятый Сиамец раскачивал зуб.

– Они обвинили нас в воровстве, – сказал он, вытащив палец изо рта. – А мы слыхом не слыхивали ни про какие ихние значки.

– Я не садист, – пропел Вонючка. – Нет, я не садист. Но в гневе я делаюсь лют. Это черта характера. Моя черта. – Он подъехал к Кузнечику и похлопал его по колену. – Ты тоже лютуешь в гневе, старина, – сказал он. – Но до меня тебе, конечно, далеко. При виде меня все бледнеют!

Вонючка был цел и невредим, так что в ванной ему делать было нечего. Но он раскатывал по мокрому кафелю, брызгался водой из низкого крана и пел хвалебную песнь собственным подвигам. Покрытые синяками и ссадинами, мальчишки гордо промокали лица полотенцами и рассматривали себя в зеркале. Кузнечик тоже посмотрел. Ухо багровело, под носом подсохли кровавые сопли. Ему это понравилось.

– Ну вот что, рыцари, – сказал Волк зеркалу. – Вечером за круглым столом будем писать летопись великой битвы. Воспоем в стихах свои подвиги и оплачем утраты. Споем боевые песни и, сомкнув чаши, помянем умерших.

– Вонючка уже начал, – заметил Горбач.

– Я никого не поминал. И хватит уже собой любоваться! – Вонючка наехал на них сзади и оттеснил от зеркала.

В спальне один из Сиамцев успокаивал плакавшего Слона, Лось затыкал Слепому нос кусочками ваты, а Красавица потерянно слонялся из угла в угол, ломая руки и обгрызая заусеницы.

– Приводите себя в порядок, – сказал Лось. – Пойдем к директору объясняться.

– Только мы? – возмутился Фокусник. – А как же они?

– Они тоже. Где твой ботинок? – Лось смотрел на ногу Кузнечика.

– У меня, – Вонючка выудил из коляски ботинок и отдельно – мокрый шнурок. – Я взял его на память. Как сувенир.

– Неужели проблемы нельзя решить мирным путем?

Рыцари промолчали.

– Ладно, – Лось посмотрел на часы, – через десять минут у директора. Там поговорим.

Он вышел.

– Эй, гляди-ка, – подтолкнул Горбач Кузнечика.

Россыпью ярких пятен на одеяле вокруг Слона лежали значки.

– Ну, посмотри, какой красивый! – уговаривал Сиамец Слона, поднося значки к его зареванному лицу. – Ты только посмотри…

Сиамцы нарисовали на стене аиста и крокодила. Аист стоял на одной ноге, занимая совсем мало места, крокодил летел, распластанный над волком и совой. Слон рисовал долго, а когда закончил, в углу появился цветок, похожий на

кляксу.

Из Хламовника выкинули горшок с поломанным растением. То единственное, что принадлежало Сиамцам и что они не успели унести. Возвращаясь из столовой, Сиамцы нашли его у дверей, подобрали и попробовали оживить – но оно все-таки высохло, и пришлось похоронить его во дворе в коробке из-под ботинок.

Тихо и незаметно все готовились к новой драке. Вонючка лечил зонтик. Сиамцы отращивали ногти. Горбач шил себе боксерские перчатки. Фокусник выстругивал трость. По ночам собирался военный совет. В столовой обменивались угрожающими взглядами и гримасами. Потом им это надоело.

Волк записался в музыкальный кружок и начал исчезать после обеда с гитарой, а возвращаясь, мучил Дохляков однообразными аккордами. Фокусник раскопал в библиотеке книгу «Иллюзии и реальность», склеил из картона цилиндр и пытался заставить хомяка под ним исчезать. Хомяк не исчезал, а только пугался и гадил чаще обычного. Красавица делал соки. Вонючка писал длинные письма в благотворительные учреждения и частным лицам. Письма от имени «бедного парализованного мальчика», от имени «бедного сиротки, которому предстоит операция», и от имени «бедного слепого малютки, который больше всего на свете любит музыку». К письмам прилагались душераздирающие рисунки. Таким способом Вонючка рассчитывал обзавестись большим количеством полезных в хозяйстве вещей.

Сиамец Макс тоже писал письма. Самому себе. Он писал их карандашом на туалетной бумаге и складывал в конверты со странными надписями: «Если хочешь реветь», «Если хочешь велосипед», «Если думаешь, что ты некрасивый», «Если завидуешь ноге». Под ногой, вероятно, подразумевалась вторая нога брата. Та самая, которая была у Рекса, но могла бы быть у Макса. Вонючка свои письма давал читать всем. Макс свои письма не показывал никому, да и сам читал редко, только когда настроение соответствовало надписи на одном из конвертов.

Кузнечик каждый вечер выходил на прогулки. Если появлялась Ведьма, то с письмом в кармане он шел искать Слепого. Иногда Слепой сам передавал ему письма – тогда Кузнечик спускался на первый этаж и ждал у дверей прачечной. Он привык делать это, забыл об опасности и вспоминал о ней только, когда Ведьма сжигала при нем очередное письмо.

Слепой уходил ночами. Горбач устанавливал палатку разными хитрыми способами, но она все равно рушилась. Шли дожди, о которых Лось говорил, что они пахнут весной. Двор превратился в грязное месиво. Собаки Горбача перестали приходить к сетке. Они подумывали о выведении потомства и были слишком заняты. Сиамца Макса посвятили в рыцари.

ТАБАКИ
День второй

Впрочем вникнуть, как я, в тайники бытия,
Очевидно, способны не многие…

Льюис Кэррол. Охота на Снарка

День как день. Ветер звенит стеклами, все зевают и молчат. Ветер не унимается, пока Македонский не подходит к окну и не впускает его. Тогда он начинает скрипеть оконными створками и подкидывать занавеску, до жути похожую на что-то живое, что никак не может оторваться и улететь, куда хочет. А жаль, потому что это было бы красиво.

На третий урок приходит Ральф с собственным стулом. Ставит его в уголок и сидит до звонка, как приклеенный.

Он не изменился, хотя иногда наружность меняет очень заметно. Но по нему ничего не видать. Как будто ушел вчера, а сегодня вернулся. Знакомый пиджак и знакомый свитер. Перчатка на левой руке, где нет мизинца, и взгляд инквизитора, от которого бросает в дрожь. В конце урока он встает и смотрит на нас. Перепрыгнувший. Это заметно сразу, и я поражаюсь его бестактности. Его надо было обучать – уж не знаю, кто бы взялся за такое. Пусть он немолод, но умный, может, и понял бы кое-что. В наружности не принято заходить в чужой дом голышом. В Доме не входят, перепрыгнув. Это как влезть в окно и сесть за стол, не здороваясь с хозяевами. Пройтись по комнатам, выдвигая ящики. Не знаю, с чем еще можно сравнить. А ведь Ральф, по большому счету, не виноват. Дикое, необученное создание.

Спрашивает Курильщика, как тому живется на новом месте. Курильщик говорит, что нормально. Что жалоб он не имеет. Всем обеспечен, никем не обижен. Вид у него при этом такой, как будто это неправда. Ральф кивает и уходит. Ни слова о Лорде.

После обеда я возвращаюсь последним, потому что застрял пообщаться с Валетом. Подъехав, вижу столпившихся у дверей спальни состайников. Никто почему-то не входит.

– В чем дело? – спрашиваю.

– Дверь, – говорит Лэри и тычет в нее тем ногтем, который у него длиннее и уродливее прочих.

– И что? – говорю. – Все знают, что это дверь.

– Заперта, – он опять тычет ногтем, чтобы я не дай бог не ошибся, что именно заперто и не подумал, что коридорная стена.

– Кой черт там заперся? – спрашиваю.

– Вот и мы думаем – кой? – объясняет Лэри, оглянувшись на Сфинкса.

Сфинкс весь в задумчивости. Что-то колупает в душе.

– А чего не кричим, не стучим? Кто отзовется, тот, значит, там и заперся.

– Да. Но зачем? – спрашивает Сфинкс. – Зачем кому-то это могло понадобиться?

Переглядываемся. Я, Сфинкс, Горбач, Лэри, Курильщик и Македонский с Толстяком на привязи.

– Наверное, там Слепой? – неуверенно предполагает Горбач. – Его не было на обеде.

– Может, он думает о чем-то важном, – воодушевляется Лэри, – а мы вдруг стучим. Очень нехорошо может получиться.

Мы со Сфинксом опять переглядываемся. Не припоминая за Слепым привычки запираться в спальне, чтобы подумать. Объезжаю всех по кругу и возвращаюсь на место.

– Или там Черный. Кончает с собой. А что? После вчерашнего вполне вероятно. Ну вы понимаете… Обидели его любимую собаку… и все такое. Он человек гордый. Не сумел пережить…

– Не стыдно тебе? – спрашивает Горбач. – Мы и так волнуемся.

Я делаю еще два круга. Македонский, устав стоять, садится у стены на корточки. Горбач скребет цифру четыре на двери. Соскабливает ножку.

– Черт! – не выдерживает Сфинкс. – Сколько можно стоять столбом перед собственной дверью? Я чувствую себя идиотом.

– На нас уже все глядят, – сообщает Лэри стыдливо. – Отойдем?

Оборачиваюсь и вижу, что, и правда, глядят. В некоторых местах – даже столпившись. Ужасное положение. Беру разгон, чтобы врезаться в дверь и переполошить того, кто внутри, но тут к нам подходит Стервятник и приходится делать вид, что я просто катаюсь туда-сюда.

– Проблемы? – спрашивает Стервятник. – Что-то с дверью?

Он изящно опирается на трость и покачивает связкой ключей на мизинце. Понятное дело, у него там не одни ключи.

Сфинкс колеблется:

– Не знаю, стоит ли…

– Стоит-стоит, – говорю я. – Мало ли что могло произойти. Надо выяснить. Думаю, это все-таки Черный удавился. Он был не в себе последнее время. Какой-то пасмурный.

– О боже! – это уже Стервятник.

Горбач показывает мне кулак.

Гремят отмычки, в скважину заползает длинный крючок, коридорная публика подбирается ближе, высунув языки от любопытства, а издалека к нам зачем-то спешит Рыжий с перекошенным лицом, но мы быстро заскакиваем внутрь – меня пропихивают первым – и захлопываем дверь перед всеми, лезущими не в свое дело. Кроме Стервятника, который все-таки помог и имеет право знать.

Быстренько пересекаю прихожую.

– Что такое? – спрашивает Сфинкс у меня за спиной.

Кто-то все-таки имел наглость протиснуться. Совсем совесть потеряли. Наглецом оказался Рыжий. Лязгает зубами Сфинксу в ухо, Сфинкс кивает и шипит нам:

– Погодите!

Но я годить не намерен, и Рыжий мне не указ. Толкаю дверь и оказываюсь в спальне, где пусто, как в склепе, никаких тебе удавленников или трупов с перерезанными венами.

– Ну и ну, – говорю. – Да здесь же нет никого!

Лэри дышит надо мной со свистом.

Горбач спрашивает:

– Кто же тогда запер?..

И тут с полки Лэри свешиваются ноги. Две. Лэри ахает и вцепляется мне в волосы. Ноги болтаются. Длинные, в черных чулках. На одной – белая туфля с каблуком, на другой – дырка в чулке, из которой торчат розовые пальцы. Очень знакомые ноги. Они свешиваются все ниже и ниже, а потом на пол обрушивается Длинная Габи и нагло подмигивает нам разрисованным глазом в тушевых подтеках.

Лэри хватается за сердце. Горбач закрывает глаза и мотает головой. Непонятно, с чего они так переживают? Она, конечно, страшненькая, но все же не настолько. Лучше живая Габи, чем повесившийся Черный. Так я считаю.

Габи – известная личность. Славится ростом, скудоумием и сексуальностью. К ней применялись разного рода меры, но все бестолку. Дирекция уклончиво называет это «неадекватным поведением». С ее «неадекватностью» порядком помучились, но в итоге плюнули – и на нее и на саму Габи – и Длинная зажила в свое удовольствие, на радость людям.

– Привет, – говорит она хриплым голосом алкоголички и нагибается к своим ходулям, что-то там подправляя и застегивая. Из-под свитера торчит розовая комбинация, в волосах – лимонные корочки из запасов Лэри. Лэри тихо стонет.

– Что ты здесь творишь? – спрашивает ее Горбач.

Габи, не отрываясь от чулок, ухмыляется фиолетовопомадной пастью. А с полки Лэри, как ответ Горбачу, свешивается Слепой. Местами – очень фиолетовый. Там, где она к нему приложилась. Расслабленно свешивается и со стуком роняет вниз белую туфлю.

– Мерси, – хрипит ему Габи, напяливая ее на свою лыжу. Стучит до двери, очень величественная и гордая собой, у порога ее перехватывает Рыжий – сводник сводником, все рыльце в пушку – и они удаляются: она – на голову выше него, он – виновато оглядывающийся. Дверь хлопает, и дальше все довольно тихо, если не считать моего веселья. Чтобы успокоиться, приходится поездить по комнате. Стервятник стоит с таким видом, как будто ему насильно скормили лимон.

– Моя кровать, моя кровать, – бормочет Лэри. – Они осквернили ее!

Сфинкс переспрашивает:

– Что, что? – и садится на пол приходить в себя.

Слепой соскакивает вниз. Рулю к нему и пристально вглядываюсь. Все-таки интересно.

– Ну, как? – спрашиваю. – Как она на ощупь, не очень костлявая?

– Я, пожалуй, пойду, – скорбно говорит Стервятник. – Кажется, я вам больше не нужен.

Никто его не удерживает, и он уходит.

– Спасибо за помощь! – кричит вслед Сфинкс. – Извини.

– Ну, как? – опять спрашиваю я Слепого. – Ты чувствуешь себя другим человеком?

– Отстань, – говорит он. – Сейчас я уже ничего не чувствую.

– Моя постель! – Лэри никак не успокоится. Мечется по комнате. Потом влезает к себе наверх, и раздается его горестный вопль.

– Спасибо, что не ко мне, – говорит Горбач. – Огромное спасибо, Слепой.

– Не за что, – отвечает Слепой и садится рядом со Сфинксом. – Извини за дверь. Не было времени искать другое место.

– Ничего страшного, – Сфинкс поднимает взгляд наверх, откуда доносятся причитания Лэри. – Слушай, что вы сотворили с его постелью? Он просто с ума сходит.

– Ничего особенного. – Слепой вдруг оживляется. – А знаешь, это на самом деле забавно. Не хочешь попробовать? Я ее позову. Выгоним всех… ну и Лэри тоже пускай остается…

Лэри кубарем скатывается вниз и в ужасе таращится на Слепого.

– Нет, спасибо, – говорит Сфинкс. – Только не с ней. Мне до конца жизни будут сниться кошмары.

– Она что, такая страшная? – расстроенно спрашивает Слепой.

Сфинкс выразительно молчит.

– Она – сама скверна! – визжит Лэри, воздевая руки к потолку. И поворачивается к Слепому:

– Слепой! Меняемся бельем или я там больше не сплю.

– Как скажешь, – покладисто соглашается вожак.

Лэри глядит на него с подозрением, и не зря. Постельное белье Слепого заслуживает отдельной песни, которую я никак не возьмусь сочинить. Лэри, конечно, свинья и редко моет ноги, зато он не шляется по Дому босиком и ничью шерсть на подушку не срыгивает.

– Я еще подумаю, – заявляет Лэри.

– Хватит, – Сфинкс встает с пола. – Твое белье давно забыло, какого оно должно быть цвета.

– К тому же теперь ты сможешь нюхать его бессонными ночами, – встреваю я, – погружаясь в эротические грезы.

Лэри плюет в мою сторону и, схватившись за голову, садится на пол.

– С завтрашнего дня будет принят новый закон, – между прочим сообщает нам Слепой. – Я вот думаю, как об этом объявить? На стене или через Логов?

Мы ошарашенно молчим. Долго. Наконец Горбач откашливается.

– М-да, – говорит он. – А Рыжий-то не дурак. Знает, что делает.

– Конечно, не дурак, – отвечаю я. – И никогда им не был. Все же какой-никакой, а вожак.

Дальше опять молчим.

Лезу на кровать и сижу там, переваривая новости. Слишком их много для одного дня. Длинная Габи, новый закон… Новый закон – это девушки. Здесь и там, и повсюду – они у нас в гостях, мы у них… Как раньше, как не было уже давно. Об этом непривычно думать, и, как я ни стараюсь, ничего не представляется, потому что нет привычки, вернее, она утрачена, но завтра ее придется восстанавливать – привычку и навыки общения – потому что они уже будут здесь; девушки… девушки – это юбки, духи, косы, залаченные челки, конские хвосты на затылках, длинные ресницы с загнутыми кончиками и стрелки над глазами, острием к вискам, и коляски с ласковыми именами, и ногти узкие, как у Лорда, а родом они из наших ребер, но голоса намного, намного нежнее… и пьют ли они чай, а если пьют, то с чем, где добывать это «что», и кто их будет приглашать, ясно, что не я, но кто-то же должен будет…

– Дыши! – кричит мне Сфинкс. – Дыши, дурак, посинел уже весь!

Спохватываюсь, дышу, и жить сразу становится легче.

– Спасибо, – говорю. – Я тут увлекся всякими мыслями, и они меня как-то заполнили и

переполнили.

– Ты уж лучше их пой, – отвечает он. – Твой организм не привык к молчанию.

Это он прав. Когда я не молчу, мне лучше думается. А еще лучше, когда пою. Так я не по-человечески устроен.

Возвращается Черный. Сбрасывает в угол гантели, удивленно глядит на заляпанного фиолетовой помадой Слепого и уходит в душ. И некому рассказать ему о Габи и о новом законе, потому что Лэри ускакал к Логам, а я еще не готов, я должен разложить все по полочкам, тогда меня не заткнешь, но пока не наведу в мозгах порядок, буду молчать.

Слепой сидит на полу, уткнувшись подбородком в колени. Горбач тренирует Нанетту на «взять чужого». Македонский сдирает постель Лэри и вытряхивает одеяло из пододеяльника. Ничего интересного. Я решаю спуститься во двор, там моим мыслям будет просторнее. Может, там я даже погрущу на разные грустные темы. Я давно не грустил ни о чем, кроме Лорда, и давно не бывал один во дворе. Беру свою куртку и еду. Македонский бросает терзать одеяло и идет меня провожать.

Я один во дворе. Я люблю гулять один, это все знают. Дождя нет, сыро и холодно. В большой луже с мутными краями и ясной серединкой отражается моя голова. Черная и лохматая, как у дикобраза. Смотрю на нее, пока не надоедает, потом бросаю в лужу камешек. И еще один.

Тучи собираются в гроздья, им уже тесно в небе. Я подбираю третий камешек – он странного цвета. Вроде бы, белый. Так кажется в темноте, но по-настоящему не видно, поэтому его я прячу в карман, чтобы потом разглядеть на свету. Шуршание дождя, по носу стекают первые капли. Запрокидываю голову, открыв рот. Лицо покрывает щекотными слезинками, но во рту сухо. Дождь слишком редкий.

Силуэт Македонского в нашем окне. Он смотрит вниз и машет рукой. Спрашивает, не хочу ли я подняться. Я тоже машу в ответ и качаюсь, как маятник, из стороны в сторону.

Это мой отказ. Дождь совсем не мешает. Даже жаль, что он такой слабый.

Македонский исчезает. Перед ужином он спустится за мной, и я успею переодеться. А пока мне хорошо.

Я помню, как сидел тут однажды, тоже под дождем, но более сильным. Лестница была черной и блестела, а по колясочному скату бежали ручьи. Я сидел и о чем-то думал. А может, дремал. Не помню. Дождь, солнце, ветер… Все это дает силу. Я сидел и ждал, пока она пропитает меня насквозь, до прозрачности. Напитавшись, решил вернуться. Но не поехал сразу наверх, сначала прокатился по первому.

Вот тогда-то на первом, в коридоре, я их и увидел. Они стояли рядышком. Толстая, огнедышащая женщина – настоящий вулкан. Красное пальто, черная шляпа, сумка из кожи крокодила. Губы как рана. Щеки как колбаса. Серьги – слезы. Она топталась в лужице, что натекла с ее обуви, и злилась. Рядом стоял мужчина. Бледный и рыхлый, как мучной червяк. Губы бантиком, нос пятачком. Очки в черепаховой оправе. Бедная черепаха! Бедный крокодил! Не хотел бы я очутиться на их месте.

С ними была еще девчонка лет четырнадцати. Худая, белобрысая, с красными глазками альбиноски. Тоже в красном пальто. И парень лет десяти. Копия папы. Явный любимчик. Свиные глазки, отцовский пятачок и рот вишенкой. Пальто в красно-синюю клетку. Опять же. Слишком много красного было в этой семейке.

А рядом, прислонившись к стене, стоял Красный Дракон. Единственный по-настоящему красный в этой компании. Потому что красный цвет коварен. Его можно носить и мазать на лицо до одурения, делаясь только серее. Красный – цвет убийц, колдунов и клоунов. Я его люблю, хотя не всегда.

Я – Табаки, клеющий клички с первого взгляда. Крестный для многих и многих. В каждом из рождений – сказитель, шут и хранитель времени. Я всегда отличу дракона от человека. Драконы не плохие. Они просто другие. Не увидь я его в окружении семьи, может, и не разгадал бы сразу. А так было легко.

Он был тонкий, весь в веснушках. В старой, потрепанной куртке, в штопаном домаш-

нем свитере, в джинсах с потертыми коленками. Глаза его были, как целый мир. Как заброшенная планета. Руки с длинными, тонкими пальцами. Обкусанные до крови заусеницы.

Я посмотрел на руки остальных. Сосисочно-короткопалые. С кольцами, врезающимися в мясо. Руки были большие и маленькие, но у всех одинаковые. Один он был среди них чужой крови. Руки его были другими, глаза – другими, тело – другим. Один он носил старую одежду, привыкшую к нему и принявшую его очертания.

Я ему улыбнулся. Мне мало кто так нравился с первого взгляда. Он попробовал улыбнуться в ответ. Чуть-чуть, уголком рта.

Потом появился Акула. Женщина обрадованно затараторила и двинулась ему навстречу, оставляя за собой грязный след. Мужчина шагал следом. Младшего мальчишку он держал за руку. Любимчики умеют теряться. И попадать в неприятности. Это, можно сказать, их врожденный талант. Девчонка, расчесывая прыщ на щеке, искоса поглядывала на красного. Каково ему? Он стоял молча. Строгий и тихий.

Акула, демонстрируя все имеющиеся у него в наличии зубы, пригласил их в свой кабинет. Они вошли гуськом. Все, кроме него. Как только дверь захлопнулась, я, не стесняясь его присутствия, подъехал к ней, вытащил затычку, которую разрешается использовать только в крайних случаях, и стал смотреть. Мне всегда интересны родители, особенно такие.

Женщина рыдала. Хрумкая в платок, подтирая им помаду, слизывая сопли с губ и хватаясь за лицо. Плотоядно. Жизнеутверждающе. Мужчина стеснялся и потел. В пальто ему было жарко. Дети щипались. Акула кивал.

– У нас в доме ад! Вы понимаете – ад! – восклицала женщина, не переставая всхлипывать.

Акула кивал. Да, он понимает. Он и сам живет практически в аду, но нельзя ли ближе к делу?

– Он убивает нас, – объяснила женщина. – Медленно. Изо дня в день. Он мучает нас и терзает. Он – убийца! Садист!

– А по виду не скажешь, – вежливо усомнился Акула.

Тетку в красном пальто это заявление ввергло в истерику.

– Конечно! – завизжала она. – Конечно! А почему, вы думаете, мы его сюда привезли! Потому что нам никто не верит! Никто!

Акула на своем веку навидался всякого, но тут проняло даже его.

– Мы не принимаем подростков с преступными наклонностями, – сказал он сурово. – У нас здесь не исправительная колония.

– Он не преступник, – вмешался мужчина. – Вы не так поняли.

– Понимаете… – женщина, сообразив, что перегнула палку, перешла на доверительный шепот, – он все всегда знает. Про всех. Это ужасно. Он из этих… – она поморщилась, подыскивая слово.

– Эрудит? – заинтересованно подсказал Акула.

– Если бы! Хуже, намного хуже! В его присутствии может произойти что угодно. Вещи появляются ниоткуда. Аппаратура портится. Телевизоры… Один, потом второй. Кот сошел с ума! Бедное животное не вынесло!

Акула заскучал. Он не любил психов. По его лицу было видно, что он уже не слушал, что ему там плетут про котов.

– Вы уверены? – только и спросил он, когда женщина иссякла. Чисто из вежливости.

– Еще бы! Кто угодно был бы уверен, окажись он на моем месте!

И она разразилась списком доказательств, в котором главное место занимали ее младшие детки – эти маленькие пираньи, которые «никому не дадут солгать».

– Скажите дяде, правду ли говорит мама?

Правдолюбцы, пинавшие и щипавшие друг друга у нее за спиной, ненадолго прервали это занятие и закивали.

– А еще за ним везде бродят лысые, – доложил мальчишка. – Совсем сумасшедшие. Писают у нас в подъезде и так и будут приходить, пока мы его не уберем. Или пока нас не выселят.

Акула изумленно вытаращился, но переспрашивать не стал. Должно быть, младший сын в своей любви к правде немного перешел границы, потому что мамочка отвесила ему шлепок, и он замолчал.

– Мы приличные люди, знаете ли! Выдумывать не станем, – сообщила она. – У меня в семье никаких таких отклонений не было.

Мужчина виновато съежился. Вероятно, у него в семье отклонения были.

– Мы водили его к специалистам, – женщина приложила платок к уголку глаза. – А он делал вид, что с ним все в порядке. И выставлял нас дураками. Один раз нам даже порекомендовали лечиться самим! Это было так унизительно! Что я пережила!

Хрум, шмыг, хлюп…

Акула почесал в затылке.

– Не знаю, чем мы можем помочь. Здесь интернат для детей-инвалидов. Думаю, вам лучше обратиться…

– У него эпилепсия с десяти лет, – перебила женщина. – Невыносимое зрелище. Совершенно невыносимое. Это вам не подойдет?

– Поймите, это совсем другая область.

Дальше я слушать не стал. И так все было ясно. Дирекция выкачает деньги на благотворительность и примет новенького. В Доме полно здоровых, у которых в бумагах значатся страшные вещи. И таких, у кого записано не то, что есть на самом деле. Это было совсем не интересно. *Красный* все еще стоял у стены. Теперь я понял, почему он такой особенный. Я подкатил к нему.

– Просись в четвертую. У нас нет телевизоров, и никогда не было. А кошки приходят только зимой, и даже если ты сведешь с ума парочку, никто не станет скандалить. Понимаешь?

Он смотрел не моргая. Ответа я не дождался. Решив, что сделал все, что мог, я кивнул ему и отъехал. Потом обернулся – он не смотрел мне вслед. Он думал. Я рекордно быстро въехал на второй, домчался до спальни и, выманив в коридор Сфинкса, рассказал ему все. Потом съездил с ним на первый и издали показал *красного.*

Сфинкс поморщился:

– Выдумки истеричной мамаши. А ты прямо всему готов верить, что тебе ни скажи.

Я не стал спорить. Сказал только:

– Мамаша не в себе. Это факт. Но на такие истории у нее не хватило бы фантазии.

Мы подошли поближе. Через некоторое время рыхлая семейка вывалилась в коридор. Оттуда, где мы стояли, их не было слышно, но все это мы слышали и видели миллион раз. Менялись только декорации. И те незаметно. Женщина-танк подплыла к нему, погладила по голове, пошевелила красными губами и отошла. Мужчина сунул ему что-то в карман. Наверное, деньги. Девчонка смотрела только на нас, а любимый поросенок жевал резинку и выдувал пузыри, которые лопались, облепляя его пятачок прозрачной пленкой. Он сдирал ее ногтями и совал обратно в рот. Наконец они ушли, а мы вернулись в спальню.

Его привели через час. Лично Акула. Пришлось выслушать все, что Акула имел сказать по поводу тесноты в других группах, а также по поводу дружбы, которая должна царить среди обделенных судьбой. Наговорившись, он отчалил.

Красный все это время смотрел в пол. А мы – на него. Вельветовая куртка была ему велика, а свитер под ней – мал. Он стоял чуть косолапо, и, кроме веснушек, на нем мало что можно было разглядеть. Глаза непонятного цвета, в крапинку, как продолжение веснушчатого лица. И обгрызанные ногти. Он был ужасно спокойный, какими не бывают, не должны быть те, кого только что привели. Это его спокойствие понравилось всем. Я ни на кого не смотрел, но чуял, что это так. И радовался за него.

– Эпилептик, – проворчал Лорд. – Только этого нам не хватало для полного счастья. Чтобы кто-то тут бился в припадках.

– Не утрируй, – сказал ему Волк. – Вспомни себя в первый день. Куда там трем эпилептикам.

– Спокойный ребенок, – отметил Горбач. – Даже, можно сказать, симпатичный. Я бы взял.

Пока его обсуждали, Красный смотрел в пол, а лицо у него было отрешенное, как у Слепого, когда тот слушает музыку. Я не участвовал в обсуждении. Я один знал, что он такое. Он был *дракон,* он был *красный* – сказочный человек из другой жизни, потому что просто так, ни с того ни с сего в пираньих семьях не появляются грустные люди с умными глазами, о которых рассказывают небылицы. Я беспокоился только из-за Сфинкса. Мне казалось, что его знаменитая проницательность куда-то пропала.

Сфинкс подошел к нему.

– Ты останешься здесь, только если мы этого захотим, – сказал он. – Получишь кличку и станешь одним из нас. Но только если мы захотим.

Я сразу успокоился. Сфинкс не имел привычки объяснять новичкам такие вещи. И вообще пускаться в объяснения. Значит, он тоже что-то почуял. Только не захотел признаваться.

Красный посмотрел на него:

– Тогда захоти, пожалуйста, – ответил он. – И я останусь. – Он сказал «захоти» – как будто знал, что именно Сфинкс решает, кому у нас оставаться, а кому уходить. – Я очень устал, – добавил он. – Правда, очень устал.

Он говорил не о нас, а о чем-то, что было раньше.

– Хорошо, – согласился Сфинкс. – Мы примем тебя. Только поклянись, что не будешь взрывать аппаратуру, вызывать грозу, летать на метле и превращаться в зверей.

Стая захихикала над шуткой, которая вовсе ей не была.

– Я ничего из этого не умею, – серьезно сказал новичок. – Но я понял тебя, и если так надо, то я клянусь.

Стая опять развеселилась. Одному мне не было смешно. Так у нас появился Македонский.

Новичок – это всегда событие. Они совсем-совсем другие. На них интересно даже просто смотреть. Смотреть и видеть, как они понемногу меняются, как Дом засасывает их, делая своей частью. Многие терпеть не могут новичков, потому что с ними много возни, но я, например, их люблю. Люблю наблюдать за ними, люблю расспрашивать и дурачить, люблю странные запахи, которые они приносят с собой, и много всего еще, что не объяснишь словами. Там, где есть новичок, скучно не бывает.

Так было с Лордом и со всеми, кто был до него – вообще со всеми, кого я помнил. А с Македонским – нет. Он пришел как будто и не снаружи – еще более здешний, чем мы сами, с тенью решеток на лице, с голосом тихим, как шелест дождя, с воспоминаниями о каждом из нас, – словно родился здесь и вырос, впитав все цвета и запахи. Самый здешний из всех, кого я встречал. Он сдержал свое слово и не делал ничего такого, чего не делали бы остальные. Он был даже слишком тихим. Вот только иногда закатывался, ломая и круша все вокруг, но это случалось редко. Единственное, что он себе позволял необычного – прогонять наши плохие сны. Я видел как: он вдруг вскакивал, подходил к кому-нибудь из спавших, шептал в ухо что-то неслышное и отходил. Мы перестали просыпаться от криков – чужих и своих собственных – и ночи стали намного спокойнее. Кроме тех, что наступили после Волка…

Я ловлю эту мысль и пробую развернуть ее обратно.

НЕ ДУМАЙ ОБ ЭТОМ! Кроме тех ночей… Тогда не мог помочь и Македонский. Тогда…

ХВАТИТ! ОБ ЭТОМ ДУМАТЬ НЕЛЬЗЯ!

С трудом, но все же удается притормозить. Я вдруг замечаю, что плачу, и радуюсь, что идет дождь. Уже настоящий. Запрокидываю голову, чтобы промокнуть сильнее. Меня начинает трясти от холода, который, пока я думал о другом, давно уже пролез под куртку и под все жилетки. Даже зубы стучат. Пора возвращаться.

Подъезжаю к крыльцу и жду. Стемнело быстро и незаметно. В окнах за занавесками мелькают тени. И музыка, вроде, громче обычного, а может, мне так кажется из-за дождя и темноты, в которых я совсем один, всеми брошенный и забытый. Становится обидно. Потом очень обидно. Потом ужасно обидно.

– Ты чего орешь, Табаки? – Македонский сбегает по лестнице, держа над головой растянутую куртку. – Сам же хотел остаться.

– Хотел, а потом передумал. А скат слишком скользкий, сам понимаешь. Пришлось звать на помощь.

Он затаскивает меня в лифт, где я демонстративно трясусь и стучу зубами. Нагибается ко мне, заглядывает в лицо.

– Что тебе померещилось, Табаки? Я же вижу…

– Много всякого разного. Молод ты еще про такое слушать.

– Ну извини. В другой раз не стану оставлять тебя надолго.

По пути в спальню объясняю Македонскому, чем отличается любовь к дождю мелкому от любви к дождю проливному. Последний выводит из строя транспортные средства, не предназначенные для эксплуатации в непогоду. Люби его, не люби, а коляску лучше в сырости не держать.

– Мустанг прослужил достаточно долго, и заслуживает бережного к себе отношения. Даже если забыть о его назойливом и малоприятном седоке-хозяине…

– Хватит, Табаки, – просит Македонский. – Я и так уже сегодня не усну.

Пока он меня сушит и переодевает, достаю из кармана камешек. Здорово мешает елозящее по голове полотенце, но все-таки я умудряюсь его рассмотреть. Он продолговатый и голубой, цветом и формой ужасно на что-то похожий, вот только на что? Кручу его так и сяк, пытаюсь угадать.

Македонский заворачивает меня в халат и прячет под одеяло. Закутываюсь, зарываюсь поглубже и думаю дальше. Камешек нагревается у меня в руке. Мы засыпаем вместе, и сон, который мне снится, – это сон про него и про то, на что он похож.

Просыпаюсь под тихие гитарные переборы. Темно, только красный китайский фонарик совсем низко над кроватью, но он почти не дает света. Смотрю на него долго, и меня как будто покачивает вместе с ним.

Где-то рядом голос Сфинкса поет про черную шину грузовика, в которой круг ржавой травы… За стеной странный шум. Что-то вроде гулянки. Стягиваю с себя одеяло и сажусь. Неужели я прозевал ужин? Такого давно не случалось.

На грунтовой дороге.
Солнечный свет с пылью…

Песня Сфинкса ужасно знакомая. Над грифом гитары качается голова Стервятника. И, вроде бы, ноги Валета свисают со спинки кровати. Его правую ни с чем не спутаешь…

– Проснулся? – шепчет Горбач у меня над ухом. – Ты, случайно, не заболел? Чтобы ты прозевал ужин…

– Если и заболел, то не случайно. А что это за шум за стеной?

– Празднуют принятие Нового Закона. Забыл? Мы тоже в некотором роде празднуем. Старой компанией.

Я вспоминаю. И еще свой сон. Камешек у меня в кулаке совсем мокрый. Теперь я знаю, на что он похож, и это очень странно.

Ни слова! Ни слова!
За меня говорят мухи
И что-то присочиняет ветер…

Самое главное сейчас – мой сон. Который нужно исполнить. Так мне кажется. Тусклый, розоватый свет фонарика. В нем, как осколки, тарелки с бутербродами. Звон стаканов, в них колышется черное вино. Старая компания: Стервятник, Валет, Слон и Красавица. Рука сама тянется за гармошкой – и сама отдергивается. Не до того. Надо не забыть… Хватаю ближайший бутерброд и ем.

Бреду назад в одинокий домишко…

Горбач нежно свистит в флейту. Раскачиваясь, толкает меня. Позади кто-то раздражающе громко чавкает.

После двух недель одиночества…

Гитару передают Валету, и он разражается серией печальных аккордов. Бутерброд кончается, а сразу за ним – другой.

Худенький, краснолицый, в веснушках мальчишка ушел от мира на пять минут, – сообщает нам Стервятник хрипловатым тенором, – *глядя в стаканчик с мороженым…*

Сквозь «Скалистые горы» прорывается шум веселья из других спален. На голос подползаю к Стервятнику.

– Слушай, ты не мог бы одолжить мне свою стремянку? Это очень важно. Только не спрашивай зачем, если не трудно.

Розовый от фонаря, как и все вокруг, он нагибается ко мне и дышит вином:

– Какие проблемы? Конечно. Она твоя насколько захочешь.

Стервятник шепчется с кем-то, кого мне не видно, потом опять поворачивается ко мне:

– Езжай с Красавицей. Он скажет мальчикам, ее тебе вынесут.

– Спасибо. Я его позову, когда буду совсем готов.

Переползаю бутерброды, ноги и бутылки – и вот я на полу, а камешек у меня в кармане, и не терпится узнать, успею ли я то, что задумал, до выключения света. Все веселятся – обидно их оставлять, но надо спешить.

Переодеваюсь в самое теплое, что нахожу. То, что мне нужно, в тамбуре, в ящиках под вешалками. Свет плохой, но после фонарика и он кажется ярким. Достаю из ящика тряпки и окаменевшие кеды – одну никчемную вещь за другой. Из спальни доносятся гитарные извращения Валета и подробности всяких песен, и я волнуюсь и нервничаю, пока не нахожу, что искал: кисти и банку белой краски с прилипшими к ней тряпками. Беру их, а еще всякую мелочь, которая может пригодиться, зову Красавицу и еду с ним в коридор.

Он заходит в третью, я жду его у двери. В Гнезде тихо, хотя в других спальнях лязг и завывания. В вестибюле скачут хохлатые тени плясунов. Среди них, должно быть, и наш Лэри.

На мне самая теплая жилетка, но все равно холодно. В руках банка с краской, вся в подтеках, а остальное – скребок, нож и кисти – я пытаюсь распихать по карманам, где мешают какие-то остатки жратвы, и я вытряхиваю их на радость крысам, которым посчастливится сегодня здесь пробежать.

Из третьей высовывается Гупи.

– Эй, – окликает он. – Куда ставить стремянку?

Я показываю куда. Выносят стремянку. Гупи пыхтит и громыхает, а Красавица все время натыкается на ее ножки – больше мешает, чем помогает. Зевая, за ними выволакивается Фикус в пижаме.

– Чертовы Логи слиняли отмечать всякую ерунду, – жалуется он. – А куда нам с нашим здоровьем таскать такие тяжести?

– Приказ Папы есть приказ, – говорит ему Дорогуша, который тоже в пижаме и с подозрительной бутылкой под мышкой.

– Хлебнем за Новый Закон? – предлагает он, подъезжая. – Все так радуются, грех не порадоваться вместе с ними.

Пока стремянку устанавливают, мы пьем какую-то самодельную дрянь, лично им сотворенную.

– А теперь подсадите меня, – говорю я.

Посмотреть, как меня подсаживают, выходят еще двое, и Пузырь беспокоится, что я свалюсь, а Ангел – что меня стошнит на стремянку Стервятника. На самом верху видно, какой грязный потолок и сколько везде паутины. Стена тоже грязная и темная. Утепляюсь, подстелив под себя плед Дорогуши. Места так мало, что банку приходится держать на ко-

ленях, и немного страшно оттого, что можно загреметь с такой высоты вниз, пересчитывая перекладины.

Я тихо вздыхаю и, махнув столпившимся Птицам, начинаю рисовать. Как я и думал, им скоро надоедает мерзнуть, таращась на мои не видимые снизу каракули, и они разбредаются один за другим. От мерзкой фигни, которую Дорогуша почему-то окрестил текилой, кружится голова. Я рисую дракона, стоящего на задних лапах. Дракон получается странный: немного похожий на лошадь, немного на собаку. В более удобном месте вышло бы лучше, но здесь и так сойдет. Рисую клыки и острые когти на передних лапах. Когти – важная деталь. Когда уже можно догадаться, что передо мной дракон, вскрываю банку с краской и замазываю его белым.

Комки, волосы и прочая давным-давно затонувшая в банке гадость – все на моем бедном драконе. Дрожащей рукой вывожу по его хребту белые зубчики. Я и время, мы не дружим, но кажется, я успеваю, хотя еще рано радоваться. Не дожидаясь, пока дракон подсохнет, достаю из кармана перочинный нож и начинаю выковыривать дырку глаза.

Адова работа. Когда дырка уже почти готова, банка с краской соскальзывает с коленей и летит вниз. Грохот. Еще какое-то время она катается по полу, пока не застревает где-то, а я все ковыряю глаз. Дырка уже довольно глубокая. Пробую ее пальцем. Остались лилии. На полусыром своем драконе я процарапываю их кончиком ножа – кривые геральдические лилии – где только можно, а когда заканчиваю, дракон – уже не просто дракон, а Лорд, потому что лилия – это Лорд, если хочешь нарисовать его быстро и понятно всем. Ставлю свою подпись.

Когда выключается свет, я уже почти закончил и ищу в кармане заветный камешек цвета Лордовских глаз. Дракон, стена и я сам – все исчезает в потемках. Это не страшно. Достаю фонарик, свечу в глазницу и вставляю в нее камешек. Он держится. Может, подходит, а может, просто прилип к краске.

Я исполнил свой сон. Вот оно – драконье привидение в лилиях и с Лордовским глазом. Бежит, когтями вперед, в сторону нашей спальни. Это к возвращению. Или еще к чему-то, о чем я сам пока не имею понятия. Мое дело было посадить его сюда. Гашу фонарик и сижу в темноте. Весь липкий от краски.

Сижу не знаю сколько, пока внизу не начинают топать, шарить фонариками и куковать.

– Ку-ку, ку-ку, – говорю. – Здесь я. Вы бы еще завтра утром вышли поискать. Может, нашли бы мои истлевшие кости.

– Не скандаль, – просит Сфинкс. – Кто же виноват, что ты решил ночевать в таком дурацком месте?

– Но-но! – встревает нетрезвый голос Стервятника. – Попрошу не хаять мой царственный насест.

Они светят на меня и хихикают. Потом кто-то спотыкается об банку и вляпывается в краску. Тогда хихикать начинаю я.

– Черт! – кричит Горбач. – Весь коридор в дерьме! Он устроил здесь ловушку для ни в чем не повинных людей. Из птичьих какашек!

Меня снимают и уносят. Несет Македонский, а остальные тащатся сзади, размахивая фонариками и поют:

За синие горы, за белый туман…
В пещеры и норы уйдет караван…

Больше всего не люблю быть трезвым в пьяной компании. Но мне за ними уже не угнаться. Даже с текилой Дорогуши.

За быстрые воды уйдем до восхода,
За золотом гномьим из сказочных стран…

Вносят меня и входят гуськом. Последним – Горбач, попискивая в флейту. Спальня

развороченная и страшная. Свет ночников веерами по потолку. Македонский сажает меня на кровать, а «уходящий караван» цепочкой кружит по комнате. Должно быть выискивая «пещеры и норы».

Распластавшись, в тарелке с бутербродами дрыхнет Нанетта. Вынимаю ее и нахожу уцелевший бутерброд, который съедаю. Остальные тарелки пусты. На моем любимом месте спит Слон в обнимку с каким-то красным шаром. При ближайшем рассмотрении – с нашим китайским фонариком.

Шумели деревья на склоне крутом,
И ветры стонали во мраке ночном…

Рыжий и Слепой вальсируют, натыкаясь на мебель, Горбач с флейтой старается поспеть за ними. Слепой громко считает: «Раз, два, три… Раз, два, три… Раз…» На каждом заключительном «раз» они застывают, а Горбач натыкается на них и тоже застревает.

– За девушек! – провозглашает Стервятник и задумчиво нюхает свой стакан. Что он там нюхает? Вроде бы, они уже вылакали все, что вокруг было жидкого. Догрызаю бутерброд. Я сварлив и сам себе неприятен.

Сфинкс плюхается рядом, подмигивает и доводит до моего сведения:

– Дракон есть существо мифическое… Белый же дракон является существом мифическим вдвойне, будучи впридачу к прочим своим качествам альбиносом, то есть патологией даже среди себе подобных.

– Увидел! – удивляюсь я. – Разглядел! В такой темноте!

– Я вижу все. Не потолок же белить ты туда взобрался.

Сидим и смотрим на остальных, которые потихоньку угасают. Кто-то хрипло и фальшиво поет с подоконника.

– А это чье? – спрашиваю я, приподнимая за ремешок незнакомый протез. – Вроде бы, здесь нет никого из этих…

– Это шутка, – мрачно сообщает Сфинкс. – Веселая шутка. Воровская шутка, можно сказать.

Больше ни о чем не спрашиваю. И вообще ложусь спать. Чувствуя себя неопрятным и пожилым, но выполнившим свой долг ответственным человеком. Долго не могу согреться, а когда наконец согреваюсь и засыпаю, меня почти сразу будит Черный, декламирующий Киплинга и стучащий кофеваркой о спинку кровати. Многие еще не спят, и кто-то пробует его утихомирить, а у остальных что-то в самом разгаре – то ли спор, то ли научный диспут – я засыпаю опять, не вдаваясь в подробности.

Второй раз, ближе к утру, меня будит жуткий гиеновый хохот, переходящий во всхлипывания. Кроме гиены все спят, и даже свет уже выключен.

В третий раз я просыпаюсь на рассвете непонятно от чего. Праздник давно закончился, в окна вползает серое утро. Вокруг лежат вповалку и сопят. Все тихо и спокойно, если не считать еле слышного подозрительного тиканья – той самой гадости, которая меня разбудила. Ищу на нюх, на слух – и нахожу. Чьи-то часы, притаившиеся в одеяльих складках. Осторожно снимаю их с руки, на которой они поселились. Свешиваюсь с кровати, нашариваю пустую бутылку, кладу часы на пол и крушу их донышком бутылки, как молотком. Очень скоро они перестают тикать.

Спящий на полу Черный приподнимается, сонно таращится на меня. Потом падает обратно. Сбрасываю на него чей-то свитер и зарываюсь в свое пропахшее краской гнездо.

ИСПОВЕДЬ КРАСНОГО ДРАКОНА

«За грехи свои надо расплачиваться».

Это вдолбил в меня мой дед, мой сумасшедший дед, который, я надеюсь, горит сейчас в аду, потому что если и правда есть на свете такое место, то оно для него и для таких, как он. Я проклял его всеми доступными мне проклятиями и это его подточило – совсем слегка, потому что он умел сопротивляться таким вещам, к

тому же мы с ним были одной крови, рикошетом я получал часть своих проклятий обратно. Пусть горит, как газовая конфорка, разливая вокруг себя жар, он, не давший мне ни крупицы тепла…

Белая табличка на стене с непонятными буквами и склоненные головы, пять десятков бритых голов, шепот молений и заклятий… и «…три их лимонным соком, черт тебя подери, три, пока не устанут руки, потому что разве бывают ангелы, покрытые веснушками с головы до ног? Нет, не бывают, и ты покрылся ими мне назло, уж я-то знаю!» Поэтому ни солнечного лучика, только тьма зашторенных комнат, и, может быть, они и вправду появлялись назло ему там, где им не полагалось быть, рассыпались по коже, не видевшей солнца, ободранной лимонным соком. Белая тога, забрызганная лимоном, засохший венок из ромашек с белой серединкой и «…сотвори же нам чудо, сотвори его!» Чудеса, которые не были чудесами, и лак на ногтях, и цветные линзы, от которых слезились глаза. Но «…не может же ангел не быть, мать вашу, синеглазым!» Он ругался, как матрос, когда его не слышали возлюбленные сыны и дщери. Стоило уйти последнему, лицемерная святость летела в мусорное ведро, и чудовищный старикашка садился поглощать свой обед из трех рыбных блюд. Венок набекрень и тонкие рыбьи кости, извлекаемые из чавкающего отверстия. Он никогда не пользовался салфетками. Никогда. «Потому что это излишество, не подобающее божьему человеку, запомни, мой крылатый…» Вилки и ножи ему тоже не подобали. А мне не подобали ни стол, ни стулья, и вообще «ангелы не едят, хи-хи-хи, они сыты духом святым!» А проклятия ангелу подобают? Нет, конечно. Они бьют разрядами чистого тока, пронизывая тело до последнего волоска, вместо того, чтобы лететь к тому, кому предназначались. И только однажды… зачарованная рыбья кость сделала свое дело. Это было первое настоящее чудо, которое я сотворил: из ДОМА ОТЦА – большими буквами – перейдя в просто дом, который при желании можно было бы назвать материнским, вот только у меня ни разу ни возникло такого желания. Из дома – в дом, из ангела – в дебилы, потому что «…он даже не умеет читать, этот недоразвитый!» И «…за что нам, интересно, такое наказание?!» А чудеса их только пугали, они были им совсем не нужны. Кроме тех, что показывали по Ящику. Ящик был их богом, хотя они не склоняли перед ним голов и не шептали молитв, а просто смотрели сквозь прозрачные стекла очков, но результат был одинаков, что тут, что там, с той небольшой разницей, что там я был все-таки зачем-то нужен.

Газеты писали о старом авантюристе, околдовавшем множество людей, и Ящик провозгласил это как истину. Хотя это не было истиной: он был не авантюристом, а просто мерзким, выжившим из ума старикашкой. Но Ящик непогрешим, он никогда не лжет – и меня повели в божий дом отмывать греховные дедовские следы святой водой. Отмыли и окрестили, но продолжали приходить письма, и психи с обритыми наголо головами продолжали меня выслеживать, а выследив, валились лбами в асфальт и цеплялись уже не за край белой тоги, как раньше, а за край свитера или за карманы куртки, отдирая их с мясом, и «…Боже, как мне все это надоело! Новенькая куртка! Мы целое состояние на нее потратили! Его просто нельзя выпускать из дому – это позор семьи!» И «…неужели нам никогда не забыть этот кошмар?» И опять зашторенные окна и лампы, и гудение Ящика, а вокруг дома бродят бритоголовые, обнюхивают стены и тихо скребут их ногтями в поисках своего ангела, который стал для них чем-то вроде наркотика. И то, что они ищут, надо убрать – все равно куда, ведь так жить опасно, и в конце концов «…они мочатся в подъезде, все соседи возмущены, и этот стук по ночам, и звонки, все это невозможно, совершенно невозможно переносить!» И вот, материнский дом сменился Домом. А предшествовала этому молитва. Единственная настоящая из тысяч, единственная, в которой я попросил чего-то для себя самого, не зная толком, чего прошу. Ее услышали – а может, это было просто совпадение, хотя совпадений не бывает, – и я очутился в Сером Доме, в месте,

созданном для таких, как я, никому не нужных, или нужных не тем.

Только увидев его, я понял: это то самое, о чем я просил. На стене было написано: «Привет всем выкидышам, недоноскам и переноскам… Всем уроненным, зашибленным и недолетевшим! Привет вам, „дети стеблей“!» Я умел читать, хотя живущие в материнском доме и утверждали обратное. И вошел, веря, что моя молитва была услышана. Вошел и стал Македонским, оставив позади Ангела и Дебила, обоих раз и навсегда, потому что «… если хочешь остаться с нами, то никогда – слышишь? – никогда никаких чудес, ни плохих, ни хороших, ни средних». Я сказал «да», и под пристальным взглядом зеленых глаз стал Македонским, чужой тенью и чужими руками. И я старался, очень старался, хотя сказать «да» просто, намного проще, чем все время об этом помнить. Серые стены Дома в говорящих буквах и «…не надоело тебе в рабстве, конопатый?» Но нет, не надоело, совсем нет, ведь это не рабство – и вообще кто из вас знает, что такое рабство? Вы знаете лишь слово и представляете негра на хлопковых плантациях – дядю Тома или дядю Сэма, а слышали ли вы о тех, с бритыми головами, которых водили за невидимые кольца в носах? Или о ручном, бескрылом ангеле на цепи… Знакомы ли вам лимонные рассветы с ритуальными песнопениями и чудо взорвавшегося Ящика-пророка, замолчавшего навек, и кота, решившего обрести свободу – малое чудо в божьем коробе чудес, – я не заколдовывал его, нет, что бы ни говорили, это было просто чудо, подаренное ему не мной, но через меня…

В каждом доме свои порядки, которые нельзя нарушать. В каждом доме свой цербер, следящий за порядком. Дед, мать и Сфинкс. Они ставили передо мной заслоны из запретов, перегородки, отделяющие меня от меня самого, но остановила меня только преграда, которую поставил передо мной Сфинкс. Потому что я сам этого захотел. Сфинкс ни в чем не был передо мной виноват. Он не производил меня на свет и не продавал сумасшедшим родственникам, не лишал детства и не морил голодом. Он поставил одно-единственное условие и больше ничего не требовал. И… В конце концов я сам захотел покоя и тишины, и новой жизни, как у всех, и сам произнес молитву, перенесшую меня в Дом. Вот почему это не было рабством. Только Сфинксу я рассказал о других домах, только он знал обо мне все. Тонкой леской он связывал меня с прошлыми жизнями и незаметно приучал к новой, и он совсем не боялся меня – я давно научился различать страх под тонкими корочками человеческих лиц. Почему именно он, я и сам не знал. Так вышло. Только вначале он неприятно напоминал мне бритоголовых, потом это прошло. Все, что было в нем от них – лысый череп. Никогда, никогда я не видел собачьего выражения в его глазах. «Найди свою шкуру, Македонский, найди свою маску, говори о чем-нибудь, делай что-нибудь, тебя должны чувствовать, понимаешь? Или ты исчезнешь». О чем говорить? Что делать? Откуда взять маски, которых никогда не носил и слова, которых не знаешь? Он кричал и ругался, потом успокаивался… «Черт с тобой, не делай ничего, если не можешь, это в конце концов тоже маска. Но когда твое тело находится в этой комнате, ты должен присутствовать здесь же и что-то делать, чтобы на тебя не пялились и не втягивали в разговоры». И… С утра до ночи – чужие окурки в ладонь, мокрой тряпкой по клочьям пыли, губкой по кофейным следам, ложкой в чужой рот, а надо всем этим – глаза, пронзительнее, чем у деда, в них не смотреть ни за что… Это табу, это нельзя… И «…проветри комнату, Мак», «… передай мне брюки», «…помоги влезть в эту дурацкую майку» «… подгони-ка коляску»… И занозы в пальцах, белых от воды, ноющих от порошка пальцах, плачущие ранки заусенцы… И «…он опять выключился, этот тип… Где гуляют твои мысли, Македонский?» «Полководец опять в облаках. Дайте ему веник, пусть очнется…» «Он странный парень, этот Македонский, ему только дай поубираться…» Это и стены Дома, законы Дома, воспоминания Дома, драки, и игры Дома, сказки Дома – и все хорошо и просто, если бы не страх, который всегда рядом, который можно

лишь ненадолго забыть, но совсем ненадолго, потому что рано или поздно он возвращается, отрастив новые колючки. Страх перед неизбежным концом, перед прилюдным сдиранием новой, свежеприросшей кожи, перед длинноногим Сфинксом, который носит в себе знание обо мне настоящем. Имеющий власть над кем-то неужели не воспользуется ей?

– Ты боишься меня, Македонский? – и зеленые глаза прожигают насквозь. Я съеживаюсь и почти кричу:

– Да! Да! Я боюсь, и что дальше? А ты не боялся бы на моем месте?

– Если бы я мог быть одновременно собой и тобой, я бы не боялся. И ты не бойся. Поверь, мне ничего от тебя не нужно.

Он говорил правду, но я не верил. Он приручал меня тихо и незаметно, я этого не понимал. Он заставлял меня читать и заставлял говорить с ним о книгах, он заставлял слушать музыку и говорить о ней, заставлял придумывать глупые истории и рассказывать их ему. Сначала только ему, потом другим. Он выжал из меня страх и заставил верить себе. И я был счастлив и больше не боялся его глаз. Я вообще больше ничего не боялся, хотя запрет не был снят, мне надо было помнить об этом. Но мне было слишком хорошо, я растаял от тепла, которое он дарил мне за всех, кто не додал его прежде, от их общего тепла, от тепла, что я получал от них и отдавал обратно. Надо было помнить, а я забыл. Руки делали это сами – потихоньку крали чужую боль, я уносил ее в горячих ладонях и смывал в раковину. Она уплывала по трубам, а я стоял на дрожащих ногах, чувствуя усталость и пустоту; это было прекрасно, и, честное слово, вовсе не было чудом, а значит, я не нарушал своей клятвы. Так я думал тогда. Новый мир вырос вокруг, сияющий в золоте рассветов и ярости закатов, я вскакивал раньше всех и выбегал в коридор босиком, чтобы не упустить самый прекрасный час, просто пробежать по пыли, чувствуя свое тело, свои ноги, которые умеют бегать. Я вставал под еле теплый душ и пел – старые гимны и песни, которым научился недавно, распугивая тараканов и устраивая наводнения. Это был я. Македонский, весь в веснушках, белый и тощий, Македонский, про которого никто ничего не знает, Македонский, который грызет ногти, Македонский, которого надо подкормить, Македонский, у которого торчат передние зубы, которому скоро шестнадцать, у которого весь мир и восемь друзей, который счастлив.

А ведь я ничего для них не делал. Почти ничего. Чудеса им были нужны, как воздух, а я молчал и просто жил среди них, как один из них, и хотел бы я действительно быть лишь одним из них.

Я дарил им тайные обрывки и ошметки чудес – то, что можно передать незаметно, спрятать в кармане и сделать вид, что там ничего не было, вообще ничего. У меня получалось. До тех самых пор, пока один из них не проник в мою тайну. Это было неизбежно. У них был хороший нюх, не испорченный Ящиками и многолюдным наружным дурманом, а я был неосторожен. Маленький Шакал знал, что Македонский не такой, как все, и Слепой о чем-то догадывался. А Волк… Это было смешно и грустно, потому что его я опасался меньше всех и ему, нарушая свое обещание, отдавал больше запретных чудес. То жгучее, что прилипало ко мне, когда я проводил ладонью по его позвоночнику, успевало пустить в меня яд, пока я доносил его до раковины, и руки распухали от чужой боли, а я был счастлив. Благодарности и любви научили они меня, и ничего другого я от них не ждал, но я был глуп, а Сфинкс не зря предупредил в тот первый день:

– Если хочешь остаться с нами, то никогда – слышишь? – никогда никаких чудес.

В душной мягкостенной Клетке двое всегда близки, и одиноки. Слишком много часов пролетает в близости и в одиночестве, и… «Я же не дурак, Македонский, я же чувствую. Волки всегда чуют такое». И «…черт возьми, ты что, не доверяешь мне? Разве мы не друзья?» Я должен был услышать это и вспомнить беззубый

рот и седую гриву другого любителя приговаривать «черт возьми»; должен был вспомнить и запереться на миллион замков – ведь это было предупреждение, – но я забыл прошлые жизни. Мой разум растопило тепло, лившееся из жизни этой, и я говорил с ним, как когда-то со Сфинксом, отдавая ему в руки свою судьбу, а он вовсе не был Сфинксом, я понял это там же, в душной тесноте Клетки, когда он показал кривые клыки и сказал: «Ну теперь ты мой!» Понял, что угодил в капкан, но было уже слишком поздно. Я опять сидел на цепи – не ангел, а, скорее, черт, потому что только это ему и было нужно, а я всегда превращался в то, что нужно другим. За одним-единственным исключением. «Эй, не распускай сопли, я ведь многого от тебя не потребую». Я плакал и обнимал его колени, я ползал у его ног, как последний бритоголовый, и кричал от боли очередного перевоплощения. «Да что ты развылся, как будто тебя режут, оставь в покое мои ноги, псих несчастный!» Я забился в мягкий угол, но он вытащил меня оттуда, тряс и лупил по щекам, рассматривая с холодным любопытством. Я знал, чего он хочет. Заветные желания Волка ни для кого не были тайной. «Мне не нужна его смерть, понимаешь? Я не убийца. Пусть просто уйдет. Сбежит из Дома в наружность и никогда не вернется, ладно?» Стены-подушки в цветочек, белый свет, его потное лицо и злые руки… И «…да что ты ведешь себя, как истеричка? Чего я такого страшного от тебя потребовал?» То, что он требовал, было ужасно, но я не сумел объяснить почему. Лучше убить человека, чем сделать его рабом своих желаний. Волк этого не знал. Подобают ли черту проклятия? Конечно. Но я не сделал ничего. До последней минуты, пока это было возможно, я старался оставаться Македонским. Зная, что завтра все будет кончено, Серый Дом узнает правду и меня раздавят жаждущие чудес. Македонского больше не будет. Будет кто-то другой и будет другой дом, без Сфинкса и без Табаки, где я останусь совсем один, где меня, как выпотрошенное насекомое, распластанного на стекле, будут рассматривать сквозь толстые линзы микроскопа. «Я все расскажу про тебя, чудотворец, каждый Фазан узнает, каждая шавка! Тебя разнесут в клочья, ты понял?» Я отполз и лег на пол, чувствуя головокружение, покалывание в ладонях и нарастающий жар. Мне стало все равно, что будет завтра. В самой глубине сердца я прятал свой отказ, свое падение из окна или с крыши – лучше с крыши – и порванную цепь, на которую меня больше никто не посадит, во веки веков, аминь… Потом пришло освобождение, я вылетел из себя с криком и унесся прочь, через стены и потолки, через дождь и тучи – прочь, в жгучую космическую темноту.

Два дня он меня не трогал и ни о чем не напоминал. Но я устал жить в страхе. Все вышло само собой. Ночью мое проклятие проткнуло его, и он не проснулся. Я убежал от своего греха, заперся в ванной, молился и плакал, а потом пошел искать дорогу на чердак. Ни чердак, ни дороги к нему не нашел. Тогда я спустился во двор и взобрался на крышу по пожарной лестнице. Я стоял там, у самого края, когда рассвело – мир стал бирюзово-золотым, и стрижи пронеслись с радостными криками, – а я стоял, и не мог заставить себя прыгнуть – это оказалось страшнее, чем я думал, намного страшнее. Я опух от слез, шатался и просил ветер помочь мне, но он бы слишком слабый. Я стоял так долго, солнце совсем уже поднялось, а я так и не смог себя заставить. Потом услышал жуткий вопль – мне показалось, что кричит Сфинкс, – и ноги толкнули меня сами. Я шагнул вперед, поскользнулся, чиркнул ногой по закругленному железному листу и повис на руках. И сразу понял, что ни за что не выпущу этот край крыши. Даже, если провишу долго, даже если устану, даже случайно. Я висел и плакал, потом подтянулся и лег грудью на край. Ладони горели и кровоточили, по ноге что-то стекало, кед начал промокать. Я знал, что я трус. Лежал и ненавидел себя, край крыши втыкался мне под ребра, солнце пекло. Кто-то из девушек увидел меня из окна их корпуса – я услышал еще один крик и вылез на крышу целиком. Но встать и спуститься не смог. Так и лежал, пока два белых длинноруких Паука не утащили меня вниз.

Позже я пытался сделать это еще раз, по-другому, но и во второй раз мне не удалось… Слепой пришел ко мне в Могильник. В безразмерном белом халате, в котором их поместилось бы еще двое. Влез на кровать, сел по-турецки и долго слушал мое молчание. Потом спросил:

– Зачем?

– На мне великий грех, – сказал я. – Его не искупить.

Волк отучил меня доверять им. И я ждал. Что скажет этот, затаившийся в себе? Не милый, каким когда-то казался Волк, а совсем наоборот. От него можно ждать чего угодно. Он мог обернуться Сфинксом, которому я дал обещание, и нарушил его: «если хочешь оставаться с нами»… Тогда мне пришлось бы уйти. Мог обернуться Волком и сделать из меня бритву. Я не сказал, кого мне было велено навеки посадить на цепь за порогом Дома. Он мог решить, что обязан мне, а этого я не хотел.

– Возвращайся, – сказал он. – Никто не узнает.

– Почему? – спросил я. – И что взамен?

– Дурак, – ответил Слепой. И ушел.

Я вернулся. Время течет, мой грех по-прежнему на мне. Так будет всегда, пока я жив. Я ничем его не искуплю. Сквозь стены проходят призраки, но лишь один из них улыбается, показывая клыки. Он на подоконнике, когда я отдергиваю занавеску, он подстерегает меня в душевых кабинках, он лежит в ванне, когда я хочу туда влезть и смотрит из-под воды горящими глазами. Я почти привык к нему и больше не срываюсь при встречах. Чтобы не видеть снов, я ложусь позже и встаю раньше, чем прежде, потому что в снах он может сделать со мной все что угодно. Я устал от него, а он устал от меня, но избавиться друг от друга мы не можем. Таблетки помогают, но ненадолго.

Утром я спускаюсь во двор и кормлю собак – тех, что бегают в предрассветные часы по ту сторону сетки, в наружности. Они уже знают и ждут. Половина моего ужина – и они рассказывают мне о своей бродячей жизни, а я – о своей. Они живут в стае, я тоже. Нам есть о чем поговорить. Я никогда не спрашиваю, знают ли они, что такое грех. Но мне кажется, они знают. Иногда, очень редко, я творю для них чудеса: заживляю порезы на лапах, наращиваю шерсть на ожогах или сотворяю фантом Большой Белой Суки, немножко похожий на северного медведя. Им нравится гонять его вдоль сетки. Потом мы расходимся. Они убегают по своим драчливым делам, я ухожу в Дом. Бывает, в коридоре я встречаю Слепого, который возвращается с ночной прогулки. Чаще это случается по пути в двор, но иногда и на обратном пути. Мне кажется, если выйти среди ночи, он будет повсюду, в миллиарде обличий, совсем как мой призрак. Но ночью я не выхожу, я боюсь темноты.

Я боюсь темноты, боюсь своих снов, боюсь оставаться один и входить в пустые помещения. Но больше всего я боюсь попасть в Клетку один. Если это когда-нибудь случится, я, наверное, там и останусь. А может, не выдержу, выйду оттуда как-нибудь не по-человечески, и это будет еще хуже. Не знаю, буду ли я гореть в аду. Скорее да, чем нет. Если он все-таки существует. Хотя я надеюсь, что это не так.

ТАБАКИ
День третий

И катали его, щекотали его,
Натирали виски винегретом,
Тормошили, будили, в себя приводили
Повидлом и добрым советом.

Льюис Кэррол. Охота на Снарка

Когда я продираю глаза, утро уже стало днем. Гостей нет, и следов от них тоже. Македонский выметает осколки и окурки. Лэри сидит понуро, с повязанной полотенцем головой. В глазах у меня колючки, в горле – скребучие слюни.

– Эй, – говорю слабым голосом. – Который сейчас час?

Македонский роняет веник и смотрит на меня с ужасом.

– Помирает, должно быть, – говорит ему Лэри, сокрушенно качая перевязанной башкой.

Мак ахает и выбегает прочь, даже не захлопнув за собой дверь. Зря я его так напугал. Можно было просто перечислить все, что у меня болит. И я уже сожалею о сказанном, хотя и приятно вызывать в людях такие бурные эмоции.

– Что же ты, в первый день Закона? – эгоистично упрекает меня Лэри.

– Дату смерти не выбирают, – говорю я ему.

У наших очень разный подход к лечению одних и тех же болезней, и каждый считает, что его метод самый лучший. Поэтому сначала Горбач усердно давит на моих костях какие-то точки по методу древних китайцев. Потом, по методу Сфинкса, меня запихивают в такую горячую ванну, что вполне можно свариться заживо, но я молчу, потому что у метода Сфинкса два варианта: почти кипяток и ледяная вода. Меня вытаскивают, натягивают на голое тело свитер, натирают под ним спину чем-то жгучим, плюс шерстяные носки и шарф, под которым – компресс из спирта.

На этой стадии лечения я уже не разбираю где чей метод и пытаюсь все с себя содрать, но меня крепко держат, а Слепой достает из каких-то тайных запасов банку меда – совсем маленькую – и торжественно демонстрирует ее мне, как будто я еще в состоянии на такое реагировать. Дальше мне скармливают мед, а запивать его заставляют молоком, и приходится все это терпеть, пока я не начинаю плавиться заживо во всем, что на меня накрутили, потеть молоком и кашлять сливками.

Бедный я, признающий только один метод лечения больных – нежное обращение.

Сфинкс читает мне вслух отрывки из «Махабхараты», Горбач играет на флейте, Лэри давит в миске лимоны, а Слепой следит, чтобы я не вывернулся и не уполз; от всех этих процедур я так устаю, что умудряюсь уснуть прямо в огненно-медовом коконе, и все замечания о палачах и пытальщиках, которыми я собирался порадовать стаю, остаются невысказанными и щекочут меня ночь напролет, проникая в потливые сны.

ТАБАКИ
День четвертый

Снарки в общем безвредны. Но есть среди них…
(Тут оратор немного смутился.)
Есть и БУДЖУМЫ… Булочник тихо поник
И без чувств на траву повалился.

Льюис Кэррол. «Охота на Снарка».

Утром от ангины не остается и следа. От меня тоже почти ничего не остается. Одни кости и сладкий сироп. На медосмотре отмечают мой бодрый вид и молочный запах. При упоминании молока начинает тошнить, но Пауки, к счастью, этого не замечают. Для человека, побывавшего под пытками, я выгляжу совсем не плохо.

Дни осмотров всегда немного нервные, потому что никогда не знаешь, что выкопают в твоем организме дотошные Членистоногие. Когда оказывается, что ничего они в тебе не об-

наружили, начинаешь волноваться за других, а потом весь остаток дня отдыхаешь от волнений. Поэтому дни эти тихие. Настороженные, а потом усталые.

Профильтрованный через восемь кабинетов и кучу Пауков, все еще в центре общего внимания как самое слабое звено в стайной цепочке, я валяюсь в одеялах с подарком Горбача: пакетом грецких орехов, колю их, заедаю изюмом и уже начинаю думать, что это совсем не плохо – быть выздоравливающим. Другое дело, что в коридор меня не пускают, так что я не могу поглядеть на девушек и понюхать Новый Закон в действии. Сфинкс говорит, что ничего интересного там не происходит, но я ему не верю, потому что сидя в спальне, он никак не может знать, что происходит и чего не происходит в других местах. Еще очень хочется поглядеть на своего дракона, которого я толком не видел, – но и завтрак, и обед мне подают в постель, а Сфинкс, который меня стережет, тоже ест, не сходя с поста. Остаются орехи и изюм. Которые понемногу заканчиваются.

– Будешь ворчать – приведу в гости Длинную Габи, – грозится Сфинкс. – Будет тебе Новый Закон во всей своей неповторимой красе.

– Чашечку кофе, пожалуйста, – говорю я Македонскому, а Сфинксу отвечаю: – Врешь ты все. Слабо тебе ее привести.

– Ты меня не провоцируй, – зловеще предупреждает он.

Но это и не нужно, потому что Длинная приходит сама. Без всяких с нашей стороны приглашений. Хлопает дверью и вплывает жирафьей походкой. Плюхается на кровать Македонского, закинув ногу на ногу, и хрипит нам:

– Ну привет, чуваки…

Юбка на ней еле заметная и видны резинки на черных чулках, а над ними – полоска белой кожи. Ноги вообще-то красивые. Есть чем любоваться, в отличие от лица. Черный, сняв очки, смотрит на них квадратными глазами. На ноги, потом на Сфинкса.

– Это что еще? – спрашивает он.

– Это я, дорогуша, – хрипит Габи. – А ты как думал?

Черный темнеет лицом. История запертой двери до него так и не дошла, и теперь он воображает что-то интересное, но не совсем то, что на самом деле. Швыряет книгу и тычет пальцем в Сфинкса:

– Это ты ее позвал!

– Разумеется нет, Черный, – оскорбленно вздыхает Сфинкс. – Странное у тебя обо мне мнение.

– Тогда кто? Это ведь ты про нее сейчас говорил.

– Это была шутка. И вообще, что ты возмущаешься? Новый Закон принят. Кто кого хочет, того и приглашает.

– Точно, – поддакивает Габи, закуривая. – Да ты не кипятись, парень. Глядишь, придет и твой черед.

– Кто?! – орет Черный, сдирая с ушей очки. – Кто тебя позвал?

– Слепой, – Габи подмигивает Черному. – Начальник твоего начальника, если я еще не разучилась считать.

Черный садится обратно. Сидит оцепенело, потом выдергивает из-под себя книгу и утыкается в нее. Совсем не читающим взглядом. А Габи закуривает. Я тихо выковыриваю орехи из скорлупок. Очень интересная ситуация.

На вежливые замечания Сфинкса о погоде и учителях Длинная весело похрюкивает и болтает ногами, на которые трудно не смотреть. Я себя не сдерживаю и смотрю. Сфинкс тоже. Горбач и Македонский предпочитают потолок. Наконец Габи надоедает сидеть без дела, она встает и начинает слоняться по комнате.

– Это у вас чего? А это? Хорошо живете…

Грудь на стол, задом к нам, и пыхтит над пластиночными рядами:

– Вот это клевая музычка. Я ее, вроде бы, слышала. Зашибись, что за песенка там, на второй стороне, вот уж не знала, что вам такие нравятся.

Горбач бледнеет и вытягивает шею. Мне тоже становится слегка не по себе, когда она начинает вытряхивать диски из конвертов и рассматривать их, оставляя с каждой стороны по полсотни отпечатков.

– Пылющие они у вас, – говорит Длинная. – Совсем не чищенные. Нельзя так… – Достает платок, плюет на него…

– Стоп! – орет Сфинкс, вскакивая. – Замри, сучка!

Вскочивший одновременно с ним Горбач падает обратно на кровать. И вытирает пот с лица.

– Хочешь орешков? – вежливо предлагаю я Длинной, которая честно стоит, замерев, как велел ей Сфинкс, и, наверное, размышляет, стоит ли обижаться.

– В зубах застревают, – ворчит она. Но от стола все же немножко отодвигается. – Нервные вы какие-то. Чуть что – в крик. Заикой можно стать.

– Так день осмотра, – объясняю я. – Все злые. Это такая традиция, можно сказать.

– Ага, – Длинная наваливается на спинку кровати и свешивается в мою сторону. – Меня вот тоже осматривали. Ну и что? Мне это пофигу. Осмотров я ихних не видела, что ли? Вот помню, как-то раз меня изнасиловали…

Давлюсь орехом и выкашливаю его на одеяло. Габи заботливо лупит меня по спине кулаком. Чтобы дотянуться, она уж совсем перевесилась, и мне видно много всего в вырезе ее блузки. Кашель от этого только усиливается. Практически уже задыхаюсь.

– Ух, бедняжка, – вздыхает Длинная. – Болеешь, да? Ничего. Бывает. Я вот тоже как-то раз болела…

– Ну хватит, – говорит Черный и встает. – Пойду прогуляюсь. Всему, в конце концов, есть предел! – Он выходит, грохнув дверью так, что все вздрагивают.

– Про чего это он? – спрашивает Габи.

– Так, неважно, – сорванным голосом отвечает Сфинкс. – Дела…

– Наверное, с книжкой в сортир пошел, – фыркает Длинная. – Знаю я эту породу Очкастых. А ты чего хрипишь? Тоже как бы заболел?

– Голос сорвал.

– Ну? – удивляется Длинная. – Нехило же ты крикнул.

– Точно, – соглашается Сфинкс. – Весьма не хило.

Габи отлипает от спинки, и кровать облегченно скрипит.

Промаргиваюсь и ловлю ее в фокус. Она бредет к двери.

– Пойду, пожалуй. Мир погляжу. Слепому привет. И этому вашему книгочею тоже. А сами не болейте.

– Передадим, – обещаю я. – Ты заходи, не стесняйся.

– Я не из стеснительных, – хрюкает Габи. – Да ты, небось, и сам уже это просек.

Прощальный оскал в фиолетовой рамке помады – и она исчезает. В воздухе душный парфюмерный дух. Задумчиво глотаю последний орех и сгребаю в кучку скорлупки.

– Как ты сказал? Заходи, не стесняйся? – интересуется Горбач. – Я тебе этих слов не забуду, Табаки.

– Простая вежливость, – объясняю я. – Так принято, когда гости уходят. Особенно, когда уходит дама.

– Ну-ну, – говорит Горбач. И идет проверять диски. Их целость и отсутствие следов слюнной чистки. А я пью свой кофе и раскладываю пасьянс. Веселая штука – этот Новый Закон. Разнообразит жизнь.

После возвращения Черного Курильщик начинает расспрашивать, кто такая матушка Анна. Это Сфинкс виноват. Сказал про себя Черному, что он не матушка Анна, чтобы гонять из спальни подружек Слепого. Ну тут он, положим, соврал. Сам гонять не станет, но Длинная вряд ли еще у нас появится, я Сфинкса не первый день знаю. Черный тоже, но с пониманием простых вещей дела у него обстоят хуже некуда. Поэтому много нервных клеток тратится впустую.

– Так кто она такая? – спрашивает Курильщик. Меня.

Сложный вопрос. Сфинкс ухмыляется. Еще бы. Не его спросили – не ему объяснять.

– Ну, понимаешь, – начинаю я без особой охоты, – жила когда-то, давным-давно, такая женщина…

Хорошее начало. А с чего еще было начинать? С нас, придумывавших себе развлечения? Может, с песен или с шуток Волка – вроде снежной бабы, на которую надели (хотя для этого пришлось ее разрушить и слепить заново) – майку Лэри? С Ночей Сказок? Если вспомнить все, что придумывалось когда-то… Все, что делалось, чтобы не помереть от скуки…

– Миллион лет назад она была здесь самой главной, – говорю я.

Да… была. Директрисой.

Коричневые, обкрошившиеся по краям фотографии… Полная женщина в монашеском одеянии, руки сложены на животе. Наверное, щеки ее были красными и обветренными, а ладони в мозолях. Когда наступали холода, она носила митенки. Ей многое надо было делать руками. Жестяные ведра с обледенелой водой. Лопаты с углем… В спальнях – тогда они назывались дортуарами – дымили камины и печи, и каждый день из дворовых сараев притаскивались кучи угля, чтобы обеспечить всех теплом.

Дети в грубых ботинках, подбитых гвоздями. В куцых курточках с большими круглыми пуговицами. Зимой всегда обветренные щеки. «Дом призрения обездоленных сирот». Дом носил это елейное, пахнущее Диккенсом название с гордостью. Так значилось на табличке, привинченной к низким, чугунным воротцам. По субботам ее начищали песком, как и все остальное, чему полагалось блестеть. Табличка была огромная, на ней, кроме названия размещались имена двадцати восьми попечителей. Каждому из которых по праздникам отправлялись открытки, исписанные корявыми детскими почерками, плюс письмо от самой М. А. «С благодарностью… Ежедневно возносим молитвы о вашем здравии и благополучии». Может, они и впрямь возносились, эти молитвы о здравии. Ведь каждый попечитель дарил им толику радости, которой в тогдашнем Доме было не так уж много.

Мы сидели в подвале – я и Сфинкс, – перебирая кипы заскорузлых бумаг, стянутые проволокой. Бумаги были и совсем истлевшие, и почти целые, но все они, каждый обрывок, воняли сыростью, как будто всосали в себя километры болот. Мы рылись в них с упоением. Эту мою страсть – выкапывание прошлого Дома из самых потаенных его закоулков – разделял со мной только Сфинкс. Остальные рассматривали самую ценную добычу из подвала в лучшем случае с отвращением. Сфинкс же…

– Ого! – шептал он, натыкаясь на связку пожелтевших счетов. – Да это клад! – И мы склонялись над ними, дрожа от нетерпения, чтобы добавить еще один малюсенький штрих к картине, которую не видел никто, кроме нас.

Сукно серое.

И давние дети Дома облачались в костюмчики из серого сукна.

Мотки шерсти.

И сестры Мария и Урсула, каждая на своей табуретке, начинали щелкать спицами (по сестре на дортуар, по табуретке на сестру), а из-под огрубевших от стирок и готовки рук выползали, свешиваясь все ниже, шерстяные носки.

Так, шаг за шагом, бумажка за бумажкой, мы складывали *тот* давний Дом. Мы узнали, как выглядели его комнаты, чем занимались его обитатели – и даже страсть М. А. к зимним, перележавшим яблокам не осталась для нас тайной. Зачем это было нужно? Мы и сами не знали. Но разрыли содержимое подвала, как два сумасшедших крота. С 1870 до последнего выпуска. Все это время в спальню стаскивались кипы того, что Волк называл древним хламом, а Лэри трудился в качестве носильщика. Стаю заинтересовал только последний выпуск. Я составил два альбома из самых интересных документов, и мы временно охладели к раскопкам.

И вот теперь я пытаюсь рассказать Курильщику, кто такая была матушка Анна, а самому смешно, потому что это невозможно объяснить, не объясняя, чем тогда был Дом. Пока я гадаю, имеет ли это смысл, язык работает не переставая, и в какой-то момент мне уже самому становиться интересно, что это я такое плету.

– Чтобы ей угодить, надо было быть богобоязненным и знать наизусть кучу древних текстов, которые невозможно запомнить, а когда она лежала при смерти, то все время заставляла монашек сносить к ней в комнату простыни и пересчитывала их. Это у нее в голове уже помутилось. А когда померла, и главной стала ее бывшая помощница, то якобы видели

призрак матушки Анны, как он ходит из комнаты в комнату и все считает, и пересчитывает, и проверяет, в общем, никак не упокоится с миром…

Курильщик моргает и хмурится. Не сразу, потому что занят, но все же я это замечаю.

– Ты что, не веришь? Не веришь? Сфинкс!

– Это правда, – подтверждает Сфинкс. – Все так и было, как говорит Табаки.

– Но вы-то откуда об этом знаете?

– А мы знаем все. Все-все, что есть Дом!

Хотя я слукавил, умолчав про подвал, в моем хвастливом заявлении – неожиданная правда. Я с удивлением слышу ее. Это так. Это мы и искали. *Все, что есть Дом.* Любой человек рано или поздно спрашивает, кем был его прадед, и выслушивает семейные предания, а мы со Сфинксом спустились в подвал и сами рассказали себе все старые истории. Мне вдруг становится не по себе. Слишком уж оно наше – это место. Мы почти создали его. Ведь ни в каких подвальных бумагах не упоминался призрак, беспокойно бродивший по комнатам и пересчитывавший простыни…

Вечером мне удается вырваться в коридор. Под предлогом ужина, но на самом деле Сфинксу просто надоело меня стеречь. Вокруг никаких девушек, а мой дракон снизу совсем маленький и еле виден. Хотя глаз блестит. Но чтобы различить детали, надо быть великаном. А вот следы разлитой краски видны очень хорошо. Даже, можно сказать, бросаются в глаза. Специально проезжаю по ним. В знак своей причастности.

На ужин мерзкое пюре с комками, и мне, весь день объедавшемуся изюмом с орехами, даже смотреть на него неловко. Зато на обратном пути я вижу девчонок. Сразу двух. Сидят на перекресточном диване, выщипывают губку из его внутренностей и бросаются ею в окна. А вокруг куча Псов. Действительно, ничего интересного. Тем более что подъехать ближе мне не дают, и я не могу послушать, о чем они говорят и вообще поучаствовать в происходящем. Я только вижу, что это Суккуб с Бедуинкой и что губку они потрошат весьма изящно. На этом наблюдения заканчиваются. Длинная больше не приходит, хотя я жду ее весь остаток вечера и очень надеюсь, что она придет.

УЛИЧНАЯ КОПОТЬ
Осколки

Инструкция о времяпрепровождении колясника.

Пункт I

1. Клуб гонщиков. Рекомендую всем колясникам, желающим встряхнуться. Гонки в колясках по пересеченной местности, регулярные состязания с возможностью выиграть кубок «Золотая Ко». состязания проводятся посезонно…

2. Общество кулинаров. Собираются по выходным дням в каб. биологии. Если умеешь готовить хоть что-нибудь, присоединяйся. Если не умеешь, но хочешь научиться, присоединяйся тем более. Прим.: желательно приходить со своими продуктами.

3. Общество поэтов. Принимаются все желающие, способные срифмовать пару строк. Если ты не способен и на это, не огорчайся. Достаточно умения слушать других. Желательно с восторгом.

Прим.: не можешь с восторгом – найди себе другое занятие. Поэты обидчивы!

4. Качки-энтузиасты. Преимущества для желающего вступить с это сообщество – не требуется ничего, кроме спортивных трусов. Минусы – думай сам. Они ЭНТУЗИАСТЫ!

5. Клуб картежников. Закрытый клуб с ограниченным членством. Вряд ли

примут, если ты еще не там.
Также:
Астрологи. В Коф. по средам.
Менялы. По вторникам на первом этаже.
Бильярдисты. В бильярдной в любое время.
Гитаристы. В сушильне по понедельникам, средам и пятницам.
Романисты. В Коф. по субботам и воскр.
Контактеры. В пятничные ночи по тринадцатым числам каждого месяца на Перекрестке.
А ПРЫГУНОВ И ХОДОКОВ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Желаю приятно провести время!

«Блюм». № 22
РЕЦЕПТЫ ОТ ШАКАЛА

– Бросьте, – говорит Курильщик. – Такого никто не может знать.

– А мы знаем все! – возмущается Табаки. – Все-все, что есть Дом.

Сфинкс с улыбкой кивает Шакалу, Шакал кивает Сфинксу. Оба ухмыляются, и Курильщику делается тошно. Кажется все сговорились его доводить.

– А ты не спрашивай, – советует Сфинкс. – Сиди молча, и все будет хорошо.

– Может, мне лучше вообще онеметь?

Сфинкс вскакивает.

– Пошли. Прошвырнемся. Подышим уличной копотью. А то ты совсем скис.

Курильщик нехотя сползает с кровати.

– Что значит «подышим уличной копотью»? Очередной прикол?

– Почему ты не слушаешь, когда тебе что-то говорят? – спрашивает Сфинкс на ходу. – Когда отвечают на твои вопросы?

Курильщик не поспевает за ним:

– Кого слушать, Табаки?

Коридор пропускает их через себя, щерясь сочувственными улыбками. Стены кричат: «УБЕЙ В СЕБЕ КУКУШКУ!» «ПЕРЕЙДИ НА НОВЫЙ ВИТОК!»

– А хоть бы и Табаки. Табаки отвечает на вопросы лучше любого из нас. Пытается, во всяком случае.

Курильщик притормаживает:

– Ты это серьезно?

– Абсолютно.

Встречаясь глазами с девушками, Курильщик краснеет. Сфинкс шагает стремительно, словно имея в виду какую-то цель, и Курильщик вспоминает «уличную копоть», насчет которой так и не получил разъяснений.

– Мы что, и правда идем на улицу?

– А как ты думаешь?

– Черт! Хватит отмахиваться от меня этими «А как?». Никак! Никак я не думаю! Тебе что, лень лишний раз рот раскрыть? – он вжимает голову в плечи, испуганный своей внезапной вспышкой и еще тем, что лицо Сфинкса вдруг оказывается у самого его лица.

– Курильщик… – говорит Сфинкс. – Хочешь поползать по полу?

Курильщик отчаянно мотает головой.

– Я почему-то так и предполагал, – выпрямившись, Сфинкс отталкивает его коляску коленом. – Тогда веди себя прилично и не повышай на меня голос. Я понимаю: интересно проверить, где у Сфинкса кончается терпение. Мне и самому это иногда интересно, но не сегодня. Сегодня я не в том настроении. Так что давай договоримся… – он уходит вперед, так и не сказав, о чем они должны договориться.

Курильщик едет следом, хотя не знает, стоит ли. Кажется, Сфинкс уже жалеет, что потащил его с собой. Но он не сказал, чтобы Курильщик остался, и поразмыслив, Курильщик

решает все же ехать за ним, как будто ничего не случилось. У лестницы он теряет Сфинкса из виду, но, съехав по пандусу, обнаруживает, что тот ждет его на площадке первого этажа.

– Не расстраивайся, Курильщик. Когда я спрашиваю, как ты думаешь, это означает только одно: что мне на самом деле хочется заставить тебя думать. Давай начнем сначала. Серьезно ли я говорил о том, что Табаки лучше слушать, чем не слушать?

– Перестань Сфинкс. Я просто так спросил.

Сфинкс заглядывает в урну, набитую окурками:

– Тебе нравится этот запах, Курильщик? Которым тянет из этого сосуда? Полагаю, что нет. Даже учитывая твою кличку, это было бы извращением.

– Тогда зачем ты спросил?

Сфинкс пинает урну и принюхивается.

– А как насчет уличной копоти? Ответь на этот вопрос – и я отвечу на твой. Ты думал, что я веду тебя в наружность? Что я прогуливаюсь там вечерами, когда у меня плохое настроение, и теперь решил взять тебя с собой? Прямо так, неодетого?

Курильщик достает сигареты:

– Мне просто было интересно, что ты имел в виду, говоря об «уличной копоти». Это неправильно?

– Ты не так спросил. Ты спросил, правда ли мы идем на улицу.

– Зачем придираться к словам? Ты ведь прекрасно понял, что я имел в виду.

Сфинкс опять пинает урну.

– Это ужасно, Курильщик. Когда твои вопросы глупее тебя. А когда они намного глупее, это еще ужаснее. Они как содержимое этой урны. Тебе не нравится ее запах, а мне не нравится запах мертвых слов. Ты ведь не стал бы вытряхивать на меня все эти вонючие окурки и плевки? Но ты засыпаешь меня гнилыми словами-пустышками, ни на секунду не задумываясь, приятно мне это или нет. Ты вообще об этом не думаешь.

Бледный Курильщик мусолит в пальцах сигарету.

– Я действую тебе на нервы. Так и скажи. Я могу ни о чем не спрашивать.

– Спрашивай о том, чего не знаешь.

– Да. Например, о матушке Анне. Чтобы потом ничего не понять из ваших ответов. Это, конечно, очень интересно…

– Табаки попробовал о ней рассказать. Не его вина, что ты не поверил ни единому слову. Даже не попытался понять.

– Потому что он болтал чепуху. Почему его мусор тебя не раздражает, Сфинкс? Почему его слова не кажутся тебе мертвыми? Он болтает без умолку – если бы каждое его слово превращалось в окурок, Дом бы давно погребло под ними. Осталась бы одна гигантская гора окурков.

Сфинкс вздыхает:

– Нет. Это гора окурков лишь для того, кто не умеет слушать. Научись слушать, Курильщик, – и тебе станет легче жить. Научись у того же Шакала. Слушай его внимательно. Как он задает вопросы. Он берет только то, что ему нужно. А болтовня… Он действительно болтун. И любит приврать. Но в мусоре его слов всегда прячется честный ответ. А значит, это уже не мусор. Просто Табаки надо уметь слушать. И не говори, что это невозможно. У других получается.

Курильщик смотрит на Сфинкса с возмущением:

– Сфинкс, не делай из Табаки великого гуру. Пожалуйста! Просто признай, что он на привилегированном положении. Что ему можно то, чего нельзя другим.

Сфинкс кивает:

– Хорошо. Он на привилегированном положении. Ему можно то, чего нельзя другим. Ты доволен? По-моему, нет. Чего ты хочешь на самом-то деле?

Курильщик молчит. Сфинкс выходит с лестничной клетки в коридор первого. Чуть отставая, Курильщик едет следом. Обида заткнула ему рот. Он едет, думая о том, как трудно быть белой вороной. Как тяжело им живется и как их никто не любит.

– Возможно, я избалован, – говорит Сфинкс, не оборачиваясь. – Еще Македонским.

Его бессловесным пониманием. Или даже Лордом, слишком гордым, чтобы задавать вопросы. Возможно, я пристрастен или раздражен, но, мне кажется, что и ты ведешь себя странно, Курильщик. Так, как будто мне есть в чем перед тобой оправдываться.

Курильщик догоняет его и едет вровень.

– Это правда, что ты бил Лорда, заставляя его ползать?

Сфинкс останавливается.

– Правда. Правда Черного.

– Но это было?

– Было.

Коридор первого – лампы-фонари, линолеум, испещренный следами шин… В актовом зале кто-то насилует рояль, из раздевалок доносится Песье потявкивание. Сфинкс мимоходом заглядывает во все двери. Ищет Слепого и думает: неужели Курильщик не видит, как все это похоже на улицу? Неужели не чует копоть и невидимый падающий снег?

На Слепого они натыкаются в самом конце коридора. Он избивает автомат с газированной водой в надежде вернуть проглоченную монетку.

– Мучает жажда? – спрашивает Сфинкс.

– Уже нет.

Слепой в последний раз бьет по автомату, и на пол падает картонный стаканчик. Слепой поднимает его.

– Девятый, – говорит он. – И хоть бы один полный.

– Слепой, из этого автомата уже сто лет ничего не вылезало, кроме стаканов.

По соседству Пузырь из третьей рулит по автостраде, сбивая встречные машины и сотрясая игральный автомат.

– Тебе Рыжий в этих краях не попадался?

– Что у тебя с голосом? – интересуется Слепой. – С чего это ты осип?

– Оберегая стайное имущество от длинноногих шлюх, – мрачно отвечает Сфинкс.

– Да? Габи заходила?

Сфинкса охватывает жгучее желание пнуть Слепого. Разнести ему щиколотку вдребезги, чтобы любимый вожак надолго охромел.

– Заходила, – цедит он, борясь с собой. – И надеюсь, что больше не зайдет. Что ты об этом позаботишься.

Слепой вслушивается, склонив голову. Потом предусмотрительно заходит за автомат, убирая ноги из пределов досягаемости Сфинкса.

– Мое упущение, – признает он. – Впредь буду более бдителен. Кто это с тобой? Курильщик?

– Он самый. Вытащил его прогуляться.

– Нервничает? – равнодушно спрашивает Слепой. – А я тебе говорил. Черный его попортил.

Онемев от возмущения, Курильщик смотрит на них снизу вверх. На двух наглых, самовлюбленных ублюдков, обсуждающих его, словно его здесь нет. У Пузыря выключается экран, автомат с дребезгом проигрывает ему несколько тактов похоронного марша. Он слушает, обнажив голову.

В актовом зале прыщавый Лавр отодвигает от рояля стул-вертушку и платком вытирает пот со лба.

– А теперь сыграй что-нибудь не такое занудное, – просят его.

Лавр надменно усмехается в пространство. Никто ничего не смыслит в джазе. Просвещать их бесполезно. Колясники в ошейниках дружно аплодируют. Его улыбке, а не его игре.

Потерянный, Курильщик катается по первому этажу. «Дышит уличной копотью». Он демонстративно отъехал от Сфинкса и Слепого и теперь жалеет об этом. Стоило послушать, что бы они еще о нем сказали. Когда первый приступ злости прошел, Курильщик заподозрил, что сказанное было адресовано ему. Что как только он отъехал, они заговорили о дру-

гом, а Сфинкс еще раз убедился, что он не умеет слушать.

– Ну и черт с вами, – говорит он. – Не обязан я выслушивать ваши дурацкие замечания.

– Чьи? – с интересом спрашивает кто-то, и, подняв глаза, Курильщик натыкается на улыбку Чеширского кота в исполнении Рыжего.

– Неважно, – растерянно бормочет он. Ему никак не удается привыкнуть к тому, что с ним заговаривают члены других стай. Их готовность к общению сбивает с толку, как будто он все еще Фазан. Рассердившись на себя, он поправляется:

– Сфинкса и Слепого. Обсуждают меня в глаза, как будто я глухонемой. Это бесит.

Улыбка Рыжего делается шире.

– О-о, – тянет он. – В какие сферы я ненароком взлетел…

Курильщика передергивает. Над ним издеваются. Но невольное уважение к вожаку, пусть даже такому клоуну, как Рыжий, мешает развернуться и уехать.

Рыжий как ни в чем ни бывало протягивает ему сигареты и закуривает сам, плюхнувшись на пол. Волосы у него, как засохшая кровь, и губы такие же яркие, словно в губной помаде. Подбородок в розовых царапинах от бритья, на шее – связка сухих куриных костей. Он чудной, как все Крысы, а вблизи кажется даже еще более странным.

– Рыжий, – неожиданно для себя спрашивает Курильщик, – что ты знаешь о матушке Анне?

Рыжий задирает голову. В лягушачьих очках сверкают блики коридорных лампочек.

– Очень мало, – признается он, стряхнув пепел прямо на белые брюки в цветочек. Ужасающе грязные. – Честно говоря, я не силен в истории. Кажется, она тут была директрисой в конце прошлого века. Жутко религиозная. Слышала голоса святых. Этакая Жанна д'Арк на пенсии. Впрочем, она ведь была монахиней. При ней к Дому пристроили лазарет. До того имелся один жалкий кабинетик с медицинской сестрой и палата на две койки. За каждой мелочью приходилось мотаться в город. Дом-то тогда еще находился в пригороде.

– Откуда ты все это знаешь? – Курильщик потрясен информированностью Рыжего и тем, что тот, оказывается, умеет нормально говорить. Ему казалось, что Крысы объясняются в основном междометиями.

Рыжий пожимает плечами:

– Откуда? Да в принципе это все знают. Здесь ведь как? Хочешь что-то выяснить – покопайся в старых бумагах. В дальнем подвале их свалены целые груды. Что-то конкретное откопать нелегко, но при желании можно. Ближе к выходу лежат бумаги поновее, а совсем давние – в ящиках у стен.

Курильщик ежится при мысли о том, что Рыжий – Рыжий! – мог копаться в старых документах, интересуясь историей Дома. Да бог ты мой! Если бы его спросили полчаса назад, он бы, скорее всего, ответил, что Рыжий неграмотный.

– И Табаки знает оттуда же.

Курильщик не спрашивает, он утверждает. Но Рыжий расценивает его слова как вопрос.

– Табаки! – смеется он. – Табаки знает лучше всех. Он-то в основном и откапывал эти бумажки. Откапывал, сортировал и заставлял всех читать. Спроси его, расскажет куда подробнее.

Курильщик затягивается с такой силой, что начинает кашлять. Разгоняет перед лицом дым и говорит сипло:

– Он рассказал. Только не упомянул о документах.

– Любит темнить, – соглашается Рыжий, зевая. – Такая порода.

Перед ними возникает Сфинкс.

– А я тебя искал, – говорит он Рыжему.

Рыжий садится прямее:

– Кажется, ты меня нашел.

– Ты подсунул Слепому Габи. Я это кое-как пережил. Но регулярные набеги на спальню терпеть не намерен. Учти, если она еще раз у нас появится…

Рыжий вскакивает, так старательно изображая ужас, что Курильщик не может не рассмеяться.

– То ты об этом горько пожалеешь, – заканчивает Сфинкс. – Я ясно выражаюсь?

– Более чем. Ну а если сам Слепой вдруг…

– Со Слепым я уже поговорил.

Рыжий отвешивает шутовской поклон:

– Все, что в моих силах. Всегда. Я преисполнен рвения, амиго!

– Не паясничай, – просит Сфинкс.

– Не буду!

Курильщик опять фыркает. Сфинкс и Рыжий не обращают на него внимания. Сфинкс задумчиво рассматривает Рыжего, словно пытаясь что-то припомнить. Рыжий почесывается.

– Чем еще могу быть полезен?

– Сними пожалуйста, очки, если тебе не трудно, – просит его Сфинкс.

Рыжий морщится:

– Ловишь на слове? Не очень-то это по-дружески. Ладно, так и быть. Но ненадолго.

Он поворачивается спиной к коридору и, воровато оглянувшись, сдергивает очки. И исчезает.

Во всяком случае, так кажется Курильщику. Что Рыжий исчез. На Сфинкса печально смотрят темные глаза в медных ресницах, а худое лицо их владельца принадлежит какому-то незнакомцу, который никак не может быть Рыжим. Исчезли бритые брови, шрамы на подбородке, мерзкая ухмылка. Глаза ангела стерли их, изменив лицо до неузнаваемости. Длится это наваждение пару секунд, после чего Рыжий надевает очки, и ангел исчезает. Остается неврастеник и извращенец.

– Все, – заявляет он, облизываясь. – Аттракцион окончен.

– Спасибо, – без тени иронии благодарит его Сфинкс. – Я соскучился по тебе, Смерть. Действительно соскучился.

– Скучай дальше, – огрызается Рыжий. – Смерти больше нет. Оставим стриптиз до лучших времен.

– Извини, Рыжий, – встревает в их разговор Курильщик. – Это, конечно, не мое дело, но очки тебя очень уродуют.

– Ха! – мрачно откликается Рыжий. – А зачем, по-твоему, я их ношу? Чтобы казаться лапочкой? И с чего это, как ты думаешь, у нас в Крысятнике все дрыхнут в спальных мешках? Да затем же. Чтоб мне не прикручивать эту блядскую оптику к морде скотчем. Высокая должность, скажу я тебе, не такое дело, при котором стоит выглядеть героем манги.

– Я это давно понял, – говорит Курильщик. – Что вожаку в Доме желательно выглядеть восставшим мертвецом. Почему-то.

– Умница! – радуется Рыжий. – Правильно понял. А еще учти: даже настоящему бывшему мертвецу непросто все время выглядеть, как полагается. Он же не рокфор.

– Откуда ты знаешь, как они выглядят?

– А я специалист в этом вопросе.

Хихикнув, Рыжий кланяется Курильщику – куриные кости на шее сухо побрякивают – и удаляется. Мерзкий, красногубый, не вызывающий доверия Крысиный вожак. Специалист по ожившим покойникам.

– Знаешь, Сфинкс, – говорит Курильщик глядя ему вслед, – я когда-то играл сам с собой в такую игру: мысленно раздевал всех подряд… ну не всех, в основном вожаков – раздевал их, брил, или там прически менял. Довольно интересная игра. И вот с Рыжим у меня ничего не вышло. Я думал, оттого, что у него очки такие. Слишком заслоняют лицо. А, оказывается, это оттого, что то, что под очками вовсе не он.

Сфинкс смотрит на Курильщика с интересом.

– Странные у тебя игры. Необычные.

Он ни о чем больше не спрашивает, и ничего не уточняет, и вообще отходит, потому что кто-то его позвал, но Курильщик так взбадривается от проявленного к нему интереса, что возвращается в спальню почти веселым. Может, все не так страшно? Может, и со

Сфинксом можно общаться по-человечески? Говорил же он с Рыжим вполне по-дружески. Поднимаясь в лифте, он слышит, как на лестнице хихикает парочка, только что отлипшая друг от друга с влажным чмоканьем. С площадки этажом выше доносятся звуки гитары. Девушки. Новый Закон.

В туалете четвертой Лэри, присев на край унитаза, достает из кармана пустую пудреницу и, заглядывая в зеркальце, начинает выдавливать угри. Его дергает от боли. Он шипит и, не переставая шипеть, смазывает ранки одеколоном. Завинчивает флакон и прячет его в унитазный бачок.

В спальне третьей на заправленной постели корчится Стервятник. Брючина подвернута, нога обмотана мокрым полотенцем, но это не помогает. «Громче музыку!» – не открывая глаз, рычит он, и Птицы наперегонки бросаются к магнитофону. Слон, посмотрев на вожака, косолапит к окну. На подоконнике в красном горшке мерзнет Луис – любимый кактус Стервятника. Цветок его съежился жалким клочком пустыни.

– Ну, что же ты? – укоризненно шепчет Слон кактусу. – Не видишь разве? Ему больно. Помоги.

За окном кружат чуть заметные снежинки. Первые в этом году. Засмотревшись на них, Слон забывает о Стервятнике.

В классе первой Фазан Джин с черной повязкой на рукаве открывает «Вечер памяти безвременно ушедшего от нас Ара Гуля». Фазаны шуршат бумажками с подготовленными к случаю стихами и вздыхают, в ожидании своей очереди.

Черный в библиотеке листает энциклопедию на букву «Ф». Между страниц – сложенная бумажка. Он разворачивает. «Свобода в тебе самом», – многозначительно сообщает косой почерк.

Курильщик рассматривает альбом с репродукциями Босха. Подняв голову, встречается взглядом с Табаки.

– Чему грустим? – спрашивает Шакал.

– А что, нельзя?

«Слушай его», – сказал Сфинкс.

Курильщик слушает.

– Чему? – переспрашивает Шакал.

Он берет то, что ему нужно.

– Иногда мне кажется, что я вас совсем не знаю.

Табаки щедрым жестом распахивает обе жилетки:

– Смотри, вот он я. Как на ладони. Чего тут можно не знать?

Под жилетками – замызганная рубашка. Красные жирафики на голубом фоне.

Заканчивается ужин. Воспитатели на своем этаже отгораживаются от Дома дверью с двумя замками и пытаются представить, что его нет. Со двора выезжают машины работников столовой. Падает первый мокрый снег, его высвечивают фары.

У лестницы, ведущей к девушкам, Лэри в самой красивой рубашке из оставленных Лордом прощается с белобрысой Спицей.

– Да не бойся ты так, – говорит он. – Они нормальные ребята, вот увидишь. Ты им понравишься. Точно тебе говорю.

Спица мотает головой, челка прикрывает ей правый глаз:

– Ни за что! Не пойду к вам, даже не проси!

Долговязая Габи прячет под матрас фотографию Мерилин Монро и садится сверху, зябко поджав ноги в черных чулках. На обогревателе сушатся еще три пары таких же. Габи берет их по очереди, просовывает в каждый руку и пытается найти два целых, которые

можно совместить друг с другом в одну приличную пару.

В первой комнате Фазаны, размахивая траурными повязками, хором поют, «мужественно сдерживая слезы в этот скорбный час».

В четвертой спальне Курильщик устает от их пения, не слыша его. Карты ложатся на одеяло – Табаки раскладывает пасьянс. Сфинкс играет с кошкой: опрокидывает ее носком ботинка и отдергивает ногу от острых когтей. На кровати Горбача лицом к стене лежит Черный. Снизу его не видно, но все знают, что он там. Он не спит. Он читает стихи Горбача, написанные на стене цветными мелками, читает, немного стыдясь, как чужое письмо, случайно оказавшееся перед глазами.

Гаснет свет, и последние застрявшие в коридорах Логи спешат разойтись по спальням. Девушка в коляске, похожая на японку – Кукла, – поднимает над головой зеленый фонарик на цепочке. Рядом с ней идет Красавица, почти не спотыкаясь даже в темноте. Кукла красива. Маленькая, с безмятежно гладким лицом. Мимо пробегают Логи с оттопыренными губами сплетников, хихикают и, засмотревшись на Куклу, натыкаются на стены.

Черный уже на своей кровати. Лежит, пытаясь вспомнить так понравившееся ему стихотворение о старике, который вытащил из реки собаку. На верхнем ярусе той же кровати Горбач яростно трет стену смоченным слюной платком, стирая именно этот стих. Курильщик вздыхает и ворочается во сне. Одеяльные холмы в розовых отблесках ночника.

Меж холмов и складок вырастает белое здание и ползет вверх башней в двадцать два этажа. Загораются кнопки окон. Курильщик взлетает до четырнадцатого и заглядывает в окно. Отец, мать и брат, очень прямые, до ужаса смахивающие на манекены, сидят на диване в гостиной и смотрят на него.

Он влетает в форточку, неловко виляя задом и размахивая руками.

– Вот наконец и ты, сынок… Садись с нами.

Он в своей кровати, шторы опущены, в комнате темно. Пол вибрирует. «Что это?» Как солдаты на марше, они въезжают рядами, все с одинаковыми стрижками, черно-белые, как сороки… Фазаны.

– Ну… встать! – скрипит голос покойного (он же умер! я помню!) Ара Гуля и длинный палец-макаронина упирается точно в середину его лба. Лоб сразу начинает болеть, как будто в этом месте синяк. – Встать!!!

«Они ведь знают, что я не могу!» Курильщик лежит неподвижно, а визгливые голоса все выкрикивают: «ВСТАТЬ! ВСТАТЬ! ПОДЪЕМ!» Пока он не начинает плакать.

– Ты не пришел меня помянуть! – шипит Гуль, ввинчивая палец в ноющий лоб Курильщика.

– В этот скорбный час! – поют Фазаны хором: – Когда мы говорим «прощай»…

Они меня хоронят? Но я же еще жив?

На тумбочке горшок с геранью. Курильщик всматривается в ее листья и на одном из них замечает крошечное зеленое пятнышко.

– Иди сюда, – шепчет голос Сфинкса. – Давай, не бойся…

Лист заслоняет комнату. Каждая прожилка на нем – размером с дерево, пушок, что покрывает листья – некошеные травы. На краю этой изумрудной саванны сидит Сфинкс в зеленом плаще с прозрачными крыльями и болтает ногами.

– Видишь, как все просто? И нечего бояться.

– Мы теперь всегда будем здесь жить?

Лист вздрагивает, слышится отдаленный грохот.

– Что это?

– Это слоны бегут, – отвечает Сфинкс, помахивая длинными усиками, которые растут у него прямо из лба. – Бегут… бегут…

– Да, сынок, – отец кладет руку ему на колено. Они в гостиной на диване, рядом – мать и брат. – Понимаешь ли, они иногда здесь пробегают по своим делам…

Курильщик всматривается в бежевый ковролин, на котором отпечатался гигантский след слоновьей ноги.

На чердаке Дома со скрипом поднимается крышка напольного люка. Слепой протискивается в щель и, встав на колени, опускает крышку на место. Сверху на люке есть железное кольцо, а снизу – ничего, потому что это дверь только для Слепого. Он отряхивает пыль с одежды и, мягко ступая по дощатому полу, крадется через чердак. Пять шагов от крышки люка до стула, обратно почему-то четыре с половиной. Он знает, что стул с дырявым сидением будет там, где он его оставил в прошлый раз. Здесь никто не бывает. Только он сам и Арахна. Она висит в своем углу – крошечная, почти незаметная – и притворяется мертвой. Опустившись на дырявый стул, Слепой достает из-под свитера флейту.

– Слушай, Арахна, – говорит он в пустоту. – Это только для тебя.

Тишина. Чердак – самое тихое место в мире. Струящиеся из-под пальцев Слепого отрывистые, дрожащие звуки заполняют его. Слепой плохо представляет, чего он хочет. Это должно быть как сеть. Как ловчая сеть Арахны – огромная для нее и незаметная для других. Что-то, что и ловушка, и дом, и весь мир. Слепой играет. Впереди ночь. Он выводит знакомые мелодии. То, что получается красиво у Горбача, у него сухо и оборванно по краям. Только свое у Слепого получается красивее. В погоне за этим «своим» он не замечает шагов проходящей ночи – и она проходит мимо, сквозь него и сквозь чердак, одну за другой унося его песни. Арахна делается все больше. Она заполняет свой угол и выходит за его пределы; серебряная паутина опутывает весь чердак, в центре ее – Слепой и огромная Арахна. Арахна вздрагивает, и ее ловчая сеть вздрагивает вместе с ней – прозрачная паучья арфа от пола до потолка. Слепой чувствует ее вибрацию, слышит звон, бесчисленные глаза Арахны жгут ему лицо и руки – он улыбается ей, уже зная, что получается именно то, чего он хотел. Еще не совсем, но уже близко.

Они играют вдвоем, потом – втроем с ветром, запевшим в трубах. Вчетвером – когда к ним присоединяется серая кошачья тень.

Когда Слепой обрывает песню, сразу исчезает в пыльном углу Арахна, уменьшившись до размеров ногтя, а кот утекает в напольную щель. Только взбесившийся ветер продолжает выть и стучать по трубам, рвется в слуховое окно, дергает раму… Стеклянный дождь – и он врывается внутрь, засыпая дощатый пол мусором и снегом.

Не обращая внимания на осколки, Слепой проходит по ним босиком. Подойдя к звездообразной дыре, протягивает руку в рамку стеклянных ножей, берет с крыши снег – пушистый и мягкий под твердой коркой – и пьет его с ладони.

– Я пью облака и замерзший дождь. Уличную копоть и следы воробьиных лапок. А что пьешь ты, Арахна?

Арахна молчит. Ветер улетает, затухая и тоскуя. Взволнованный песней кот пушистой стрелой мчится вниз сквозь этажи. Этажом ниже его двойник пересекает коридор, летит по ступенькам, останавливается в другом коридоре и присаживается вылизать грудь и лапы. Кот мчится ниже и еще ниже, до пропахшей чужими котами площадки, потом прямо – и оказывается рядом с двойником. Три круга кошачьего танца, соприкосновение всезнающих носов, две истории: о ночной жизни дворового мусорного бака и о концерте с пауком. Потом они бегут – лапа к лапе, ребро к ребру – мимо погасшего экрана телевизора, мимо уснувших тел, и наконец сворачивают в дверной проем, в душную темноту, где сидит хозяйка с третьим котом на коленях. Синхронным прыжком коты запрыгивают на острые хозяйские плечи. Их шкуры смешиваются, образуя одно пушистое одеяло.

ДОМ
Интермедия

Ветер звенел стеклом. С крыши капало. Слепой услышал тихое журчание и вздох Красавицы, который, не просыпаясь, устроился поудобнее в собственной луже. Вонючка посвистывал носом. Слепой крался между кроватями, прижимая

к груди одеяльный сверток с кедами. Сиамцы лежали в одной постели, с точностью до сжатых кулаков повторяя одну и ту же позу. Волк наверху спал в обнимку с гитарой. Когда он ворочался во сне, струны тихо гудели. Комнату заполняли фантомы. Слепой их слышал. Каждый как призрачную песню.

Над спящим Красавицей снежной горой сверкала необъятная соковыжималка. Она работала без передышки, извергая разноцветные потоки, пахнущие фруктами. Потоки захлестывали кровать и спавшего в ней Красавицу, унося его, как на плоту, в апельсиновый океан, и скромная лужица мочи терялась в этом царстве соков, так что ее можно было не замечать.

Над постелью Фокусника шуршал звездным плащом человек в маске – повелитель цилиндров и разрезанных пополам женщин в купальниках. Гром аплодисментов невидимых зрителей распугивал соседних призраков.

Слон спал безмолвным холмиком. С верхних кроватей доносился шелестящий шепот. Их посещали родители Горбача. Безликие люди в ярких одеждах. К их разговорам Слепой никогда не прислушивался. Наверху бывали только они и кошмары Волка. Темные коридоры-лабиринты, по которым Волк, лязгая зубами, убегал в пустоту, и куда за ним устремлялись тяжелые, грохочущие шаги. Волк вскрикивал. Успокаивая его, тихо звенела гитара, привязанная за гриф к спинке кровати.

Миновав фантом соковыжималки, Слепой остановился. От кровати Кузнечика донесся протяжный, бархатный голос старшеклассницы: «Слушай. Когда ты вырастешь, станешь, как Череп. Я это знаю, потому что я Ведьма».

Слепой шагнул, споткнулся о чей-то ботинок, и призраки снов исчезли, спугнутые шумом. Он толкнул дверь и очутился в коридорном блоке, на холодящем босые ноги полу. Надел кеды. И вышел в общий коридор.

Он шел, легкий, как перышко, в изжеванной одежде, с одеялом на плечах – плащом, подметавшим его следы. В одном месте он остановился, отколупнул от стены мажущийся, крошащийся кусок штукатурки и съел. Не удержался и отколупнул еще один. Чумазое лицо побелело от мела. Он миновал спальни старших и классные комнаты, поднялся по лестнице и прошел коридор воспитателей, чистый и сухой, где не было трещин в стенах и неоткуда было брать штукатурку. За одной из дверей гудел телевизор, и Слепой задержался его послушать. Наконец он остановился у двери Лося. Осторожно нажал на ручку, хищно ссутулясь, приготовившись бежать при малейшем шорохе. Дверь открылась, и он вошел, вытянув руку, чтобы не стукнуться о дверь туалета, но она оказалась закрыта. Он спокойно подошел к двери спальни и приник к ней, вслушиваясь в тишину и еле различимое дыхание спавшего внутри. Слепой слушал стоя, потом – опустившись на корточки, слушал как тихую мелодию, говорившую: «Ему хорошо, он спит и не видит снов», потом расстелил одеяло у порога и лег – страж и хранитель его сна, об этом никто не знал и никто не должен был знать. Из-под двери сочилась полоска света, о которой Слепой не догадывался. Но сон его был чуток, и когда за дверью раздался кашель и скрип пружин, он подскочил, как собака, услышавшая чужие шаги. Чиркнула спичка, зашелестели страницы. Слепой слушал.

Он читал долго. Читал и курил. Потом пружины опять заскрипели, освобождаясь от тяжести, и он пошел к двери, шаркая тапочками. Слепого сдуло под вешалку. Плащ и пальто сомкнулись и укрыли его, сжимающего скомканное одеяло. Лось прошел в туалет, ничего не заметив. Так же он прошел обратно, щелкнув выключателем. Дверь хлопнула. Слепой вынырнул из-под одежды, вернулся на прежнее место и, расстелив одеяло, лег. Полоска света под дверью исчезла. Опустив голову на ладонь, Слепой задремал. Сон его был прозрачен.

Выходя во двор, Сиамец Рекс первым делом обходил ловушки. Их было три, и две из них он сделал сам. Но сработала третья – та, на которую он рассчитывал меньше всего. Цементная яма. Непонятно было, кто ее выкопал и за-

чем, но ловушка получилась неплохая. Рекс побросал в нее рыбьи потроха, найденные на помойке, и прикрыл досками, пряча от посторонних глаз. Дожди мешали проверять яму каждый день, но иногда он о ней вспоминал. Потроха с каждым днем пахли сильнее. В одну из проверок, подойдя к яме, он услышал возню и тихое урчание.

Подкравшись, он встал на четвереньки и заглянул под доску. Пахнуло тухлой рыбой. Облезлый от дождей и грязи рыжий кот зашипел на него, выгнув спину. Рекс радостно присвистнул и отполз прочь. Вернулся он с карманами, набитыми камнями. Кот, почуяв свою участь, попытался выскочить. Рекс сбил его обломком кирпича. Потом начал метать остальные. Доски мешали целиться, и камни летели мимо. Рекс боялся, что кот выскочит или начнет орать. Кот действительно начал орать, и его вопли привлекли внимание. Рекс не сразу заметил Хромого, а когда заметил, было уже поздно делать вид, что он очутился у ямы случайно.

Хромой – златокудрый горбун с неприятными глазами и вывернутой ногой – был из людей Черепа.

– Развлекаешься? – поинтересовался он, остановившись возле Рекса и заглянув в яму.

Кот метался, штурмуя гладкие цементные стены. Может, он бы и выпрыгнул, если бы не подбитая лапа. На трех ногах кот потерял прыгучесть.

– Доставай животное, – велел Хромой, закуривая.

Сиамец попятился. Хромой поймал его за шею.

– Я не могу. Там глубоко. Если убрать доски, он сам выпрыгнет.

Хромой промолчал. Рекс начал снимать доски. Убрав последнюю, посмотрел на Хромого.

– Доставай, – сказал тот безразлично. – Пока я тебя самого не скинул.

Рекс нагнулся и заискивающе помурлыкал, но кот затаился, не подавая признаков жизни. Вздохнув, Сиамец начал сползать в яму. Прыгать он боялся. Из-за ноги.

Хромой стоял на самом краю. Рекс покосился на него – на злую, безгубую прорезь рта – и, зажмурившись, рухнул на дно ямы.

Кот от его падения совсем обезумел. Рыжей молнией понесся по стенам, срываясь и мяукая. Рекс ощупал ногу и, убедившись в ее целости, попробовал поймать его, но кот не давался.

– Не могу поймать! – крикнул Сиамец. – Он царапается!

– Лови, – ответил непреклонный голос.

Кот выписывал вокруг Рекса летучие зигзаги. Рекс попробовал ухватить его за хвост. Извернувшись, кот полоснул когтями, со сдавленным воплем прыгнул Рексу на голову и выскочил из ямы. В руках у Сиамца остались рыжие шерстинки. Кошачьи вопли удалились в направлении гаражей и взмыли к небесам.

Рекс затаился, выжидая. Лицо и руки горели царапинами. Сначала наверху было только небо. Потом появился Хромой. Окруженный золотистым сиянием волос, в полосатом пиджаке цвета горчицы. Он держал обломок кирпича. Сиамец испуганно уставился на этот обломок.

– Поиграем, – предложил Хромой. – Ты будешь кот, а я буду ты. Очень интересная игра. Начнем?

Обломок кирпича полетел вниз. Вскрикнув, Рекс присел на корточки, прикрывая голову.

– Интересно, правда? – спросил его Хромой. – Только зря ты не уворачиваешься. Я ведь могу и попасть.

Швырнув еще два камня, Хромой выдернул Сиамца наверх за ворот. Провонявший рыбой, обмякший, как тряпка, Сиамец висел в его руке, закрыв глаза. Но стоило Хромому положить его на землю, Рекс ожил и, переваливаясь

по-крабьи, рванул к Дому. Хромой проследил за ним взглядом, сел на сложенные доски и закурил, стряхивая пепел в яму.

В Чумной комнате мальчишки перебрасывались боксерской перчаткой. Транзистор кричал. Фокусник накрывал хомяка цилиндром, поднимал цилиндр – и грустно вздыхал. Хомяк, так и не привыкший к цилиндру, жадно ел картофельную шелуху, успокаивая нервы. Сиамец Макс в рубашке в горошек сидел на подоконнике, расплющив о стекло нос и губы, и тоскливо смотрел во двор. Ему было не по себе. Его даже тошнило от тревоги.

– А Слепой опять ночью уходил, – сообщил Вонючка, обнимая пойманную перчатку. – Интересно, куда?

– Очень хочешь знать – съезди за ним и посмотри, – предложил Волк.

Перчатка стукнула Волка по щеке, и он отшвырнул ее.

– И поеду, – пригрозил Вонючка. – Только он меня услышит. И пользы от моей поездки не будет никакой.

– Оставь бедного грызуна в покое, – попросил Горбач Фокусника. – Он из-за тебя ест, как сумасшедший.

– Значит, на него действует, – обрадовался Фокусник. – Может, он ест, чтобы не исчезнуть. Набирает лишний вес.

Вошел Сиамец Рекс. Исцарапанный и грязный, провонявший тухлой рыбой. Не глядя на брата, прохромал к своей кровати и лег лицом к стене.

«Я знал, – грустно подумал Макс. – *Что что-то с ним приключилось. Что-то нехорошее».*

Дохляки тактично ни о чем не спрашивали. Хомяк вперевалку убежал под кровать. Волк рисовал у себя на щеке татуировку.

Сиамец лежал тихо. Двигалась только его рука, бритвой выскребая на стене: «Смерть Хромому». Макс подошел к брату и заглянул через плечо.

Дом не спал. Может быть, спали учителя и воспитатели, собаки и телевизоры, но Дом не спал. В его недрах, под самыми корнями, рождалась музыка, просачивалась сквозь стены и потолки, и он еле заметно вздрагивал, сотрясаемый ею. Все это шло из подвала.

По темным коридорам крались фигуры Чумных Дохляков. Тихо постукивал костыль Фокусника. Слон сопел под тяжестью Вонючки, сидевшего у него на шее. Цепочкой белых пижам они спустились по лестнице, отворили наружную дверь и вышли во двор, черный от безлунной ночи. Такой же цепочкой прокрались к подвальным окнам и сели перед ними на землю, а потом легли. В подвале, оборудованном под бар, бесновались старшие. Окна вспыхивали оранжевым и зеленым, стекла дребезжали от топота танцоров, в разноцветном калейдоскопе метались темные фигуры. Замерев, мальчишки смотрели внутрь.

Прекраснее драк старших только их развлечения. Пивные оргии, фантастические танцы склеенных, колясочные вальсы и дикая, скрежещущая музыка, которую они непонятно где достают. Дохляки изо всех сил таращились в низкие окошки, уверяя друг друга, что в них что-то видно, хотя ничего кроме сменявшихся цветов разглядеть было нельзя. Зато можно было оглохнуть, ослепнуть и умереть от зависти. Они лежали, терпеливо уткнувшись носами в холодную подвальную решетку, моргали, ослепленные вспышками, и им казалось, что они и вправду что-то видят.

Лежа между Сиамцем и Фокусником, Кузнечик глотал цвета: оранжевый, зеленый, белый, синий… и воющую музыку. С каждым всхлипом песни на высокой ноте он ждал, что вот сейчас, под вой и стон этого прекрасного шабаша, из подвального окна вылетит старшеклассница на метле и унесется в черное небо, рассыпая искры и дико хохоча. Конечно же это будет Ведьма…

«ДАВАЙ! СКОРЕЕ!» – взвизгнула песня.

Она пробьет дыру в стекле, и за ней в эту дыру вылетят все остальные: спланируют вровень с землей, а потом взмоют свечками – один, другой, тре-

тий… И понесутся среди туманных облаков, на лету превращаясь в веселых, лохматых чертей. Может после них на земле от них останутся оборвавшиеся амулеты…

Песня была об этом. Старшие метались, раскачивались, загорались, окрашиваясь в разные цвета, но оставались на месте, не могли улететь, как будто подвал держал их на привязи. Некому было разбить для них стекло.

«ДАВАЙ ЖЕ! СКОРЕЕ!» – звенело у Кузнечика в ушах. Цвета разрывались вспышками:

Оранжевый!

Зеленый!

Белый!

Синий!

Он дышал ртом, сжавшийся, как пружина.

«ДАВАЙ!»

Зеленый!

Белый!

Ахнув, Кузнечик перевернулся на спину и с размаху ударил каблуками ботинок в стекло. Оно зазвенело, осыпаясь, а Кузнечика подхватили с обеих сторон и потащили прочь, выдернув застрявшие между прутьев решетки ноги. Спустя несколько шагов он вскочил и, обгоняя всех, побежал сам, потому что песня продолжала кричать: «Скорее, скорее!» Только теперь это был призыв к бегству. Они взбежали по лестнице (он, по-прежнему, впереди всех) и с грохотом пронеслись по коридору, спотыкаясь и хохоча. Троим хромавшим казалось, что они летят быстрее ветра, двоим, тащившим третьего, что они бегут быстро, и даже самому большому, жалобно кряхтевшему позади всех, казалось, что он бежит. А еще им слышался шум погони. Ворвавшись в спальню, они повалились на кровати и зарылись в одеяла, как ящерицы в песок. Их душил хохот. Они старались лежать тихо и только незаметно скидывали под одеялами ботинки. Упал на пол один ботинок, потом другой – всякий раз они замирали, прислушиваясь. Но было тихо. Никто не гнался за ними, никто не вошел проверить спят ли они на самом деле. Сдавленно дыша, они изображали спящих, пока им не надоело, потом медленно один за другим слезли с кроватей, сползлись на середину комнаты (к тому месту, где в их пещере во все вечера горел невидимый костер) и сели полукругом, поджав босые ноги.

– Зачем ты это сделал? – спросил Фокусник.

– Меня два раза уронили, – пискнул Вонючка. – Один раз на лестнице. Я мог разбиться насмерть.

Слон дрожал и сосал палец.

– Я хотел их выпустить, – объяснил Кузнечик. – В небо.

Руки Чумных Дохляков, грязные от лежания на асфальте и от ржавых решеток, потянулись его ощупать.

– Эй, с тобой все в порядке?

– Это от туманного смотрения, – сказал Горбач. – Уж я-то знаю.

– Кто-то должен был их выпустить, – сказал Кузнечик. – На волю. Песня была про это.

Он замолчал, пытаясь расслышать песню. Через два этажа. Но теперь все было иначе, так, как будто где-то далеко просто слушали музыку. И никто никуда не звал.

– Я бы что угодно отдал, чтобы стать взрослым, – простонал Сиамец, – и там. Как они. Я бы и сам чего-нибудь разбил. Ну почему мы растем так медленно?

– А я его узнал. Черепа, – похвастался Фокусник. – Правда-правда!

– Никого ты не узнал, – сказал Волк. – Хватит врать.

Красавица обнимал соковыжималку.

– Это было… как сок, – сказал он тихо. – Как будто все там облито соком. Апельсиновым. Потом клубничным. Потом не знаю каким…

– Когда мои письма дойдут, и у нас так будет, – пообещал Вонючка. – Все это ерунда. Подумаешь – ночные пляски. Хлещут пиво и завывают. Тоже мне веселье. У нас будет лучше.

– Их и сейчас слышно, – Волк поднял палец. – Там, внизу. Они, может, и не заметили, что у них стекло полетело. А может, им все равно. Когда они веселятся.

– Давайте мы тоже будем веселиться, – предложил Горбач.

– У нас нет девчонок, – сказал Кузнечик. – И подвала тоже нет. И проигрывателя с колонками. Но когда у нас все это будет, мы точно улетим, а не станем топтаться на месте.

– Ага, – закивал Вонючка. – Ты шарахнешь ногой по стеклу – и мы улетим в небеса! В белых пижамах, как привидения. Главное, не забудь: ты нам обещал.

– Никто тогда не заставит меня носить пижаму, – проворчал Горбач. – Когда я буду взрослый. Пусть только попробуют…

Кузнечик пробирался вдоль стены, наступая в сметенные опилки. По кафе стлался перламутровый дым, облачками переплывая от столика к столику. Из динамиков звучала музыка. Старшие общались, распластав на клеенчатых скатертях локти, сблизив патлатые головы, пуская дым из ноздрей. Он прошел мимо них тихо и незаметно и забился в угол между пластмассовой пальмой и выключенным телевизором. Сел на корточки и застыл, переводя взгляд от одного стола к другому.

Это были обычные классные столы, застеленные клеенками. В углублениях для стаканчиков с карандашами стояли пепельницы. Старшие сами придумали это кафе и сами его обставили. Стойка – из ящиков, обтянутых ситцем. На ней шипели и плевались кофеварки, а рукастый старшеклассник Гиббон жонглировал чашками, сахарницами и ложками, разливал, смешивал, взбивал и расставлял свои произведения по подносам.

Со стульев-вертушек на тонких ножках, расставленных по всей длине стойки, за ним следили жадные зрители. Ерзали вельветовыми задами по грибовидным сидениям, ложились на стойку, размазывая коричневые полукруги кофейных следов, запускали пальцы в сахарницы. Такой шик был доступен только ходячим. Колясникам оставались столы.

С листа пальмы над головой Кузнечика свисала картонная обезьяна на шнуре. Он посмотрел на нее, потом перевел взгляд на старших. Динамики, пришпиленные к стенам, зашуршали вхолостую. Далеко в клубах дыма за стойкой Гиббон вытер ладони полотенцем и сменил пластинку. Кузнечик уткнулся подбородком в колени и закрыл глаза. Это была не та песня. Но он верил. Если сидеть долго и никуда не уходить, в конце концов они поставят ту самую.

За окнами быстро темнело. Большинство столов были заняты. Голоса старших гудели, сливаясь в шелестящий поток. Песня танцевала, постукивая жестянками и вскрикивая. Как будто целая толпа шоколадных людей в набедренных повязках, вертела задами и стучала пятками в песок, а ладонями – в бубны. Кузнечик нюхал кофе и дым. Может, кофе – взрослящий напиток? Если его пьешь, становишься взрослым? Кузнечик считал, что так оно и есть. Жизнь подчинялась своим, никем не придуманным законам, одним из которых был кофе и те, кто его пил. Сначала тебе разрешают пить кофе. Потом перестают следить за тем, в котором часу ты ложишься спать. Курить никто не разрешает, но не разрешать можно по-разному. Поэтому старшие курят почти все, а из младших только один. Курящие и пьющие кофе старшие становятся очень нервными – и вот им уже разрешают превратить лекционный зал в кафе, не спать по ночам и не завтракать. А начинается все с кофе.

Кузнечик сидел, положив подбородок на колени и сонно сомкнув ресницы. Картонная обезьяна раскачивалась на шнуре. Кто-то подкинул пивную банку и поймал ее. По оконному стеклу побежали серебряные трещинки. Дождь. Раскаты грома заглушили музыку. За столами засмеялись и посмотрели на окна. Гиббон протер стойку. Кузнечик терпеливо ждал.

Шоколадные люди стучали и пели, неуемно жизнерадостные, не подходящие ни дождю, ни наступающим сумеркам, ни лицам за столами, подходящие только запаху кофе и его цвету, муляжу пальмы и картонной обезьяне. *Почему никто не слышит, что они здесь лишние? Они и их солнечные песни?*

Наконец, покачав бедрами и бубнами, кофейно-шоколадные исчезли, к радости и облегчению Кузнечика, оставив только шуршание и треск затухающих костров. А потом и этот тихий звук перекрыл шум дождя, и, кроме дождя, не осталось ничего.

Гиббон сменил пластинку. Сквозь шорох дождя просочилась гитара. Кузнечик поднял голову и насторожился. Голос он узнал сразу. Песня была другая, но голос – тот самый, что кричал из подвального окна. Кузнечик сел прямо. Голос шептал и стонал над столами и головами старших. Сквозь водные потоки и тучи выглянуло заходящее солнце, и комната стала золотисто-лиловой. Неважно, что это была не та песня. Кузнечику казалось, что и эту он знает. Знает, как самого себя, как что-то, без чего не было бы ни его, ни всех остальных. Вместо подвала было кафе, но голос все равно звал. Уйти куда-то через стену дождя. Куда – никто не знает. И даже не надо разбивать стекло. Просто пройти сквозь него, как сквозь воду, а потом сквозь дождь – и вверх. Столы таяли клетчатой мозаикой скатертей, растворяясь в музыке. Время застыло. Дождь простучал по лицам и ладоням. Сиреневый свет исчез, золото растаяло. Только голова Кузнечика золотисто светилась в темном углу – его голова и ресницы.

Песня закончилась, но у голоса на пластинке было еще много таких, для тех кто умел слушать, и Кузнечик слушал, пока Гиббон не сменил пластинку на другую, с другим голосом, не умевшим заставить себя узнать. Головы старших закачались, пальцы забегали, мусоля стаканы и наполняя пепельницы. Под столами прошла кошка с блестящей спиной, прошла с жалобным мяуканьем, и ей бросили окурок и мятный леденец. Кузнечик вздохнул. В этой песне не было даже кофейных людей. В ней не было ничего. Просто пищала женщина. Две девушки с ярко-красными губами отъехали от своего стола. Одна подняла с пола кошку и прижала ее к груди. Кто-то включил свет – и сразу везде защелкали выключатели. Над столами засветились зеленые зонтики торшеров. Женщина пела о том, как ее бросают. Уже вторую песню.

Кузнечик встал, отлипая от стены и от нагретого его теплом телевизора. Пальма качнулась, и обезьяна перевернулась пустой задней стороной. Белой нитью он прошел между столами, разрезая дымную завесу подводного царства. Подводного из-за зеленых торшеров и позеленевших лиц. Подошел к стойке и тихо о чем-то спросил. Старшие свесились со стульев-грибов, сказали:

– Что-что? – и засмеялись. Гиббон в белом фартуке посмотрел на него сверху, как на что-то не заслуживающее внимания.

Кузнечик повторил вопрос. Лица старших весело оскалились. Гиббон достал из кармана фломастер, почиркал им по салфетке и положил ее на край стойки.

– Прочти, – приказал он.

Кузнечик посмотрел на салфетку:

– Ведомый дирижабль, – прочел он тихо.

Старшие захохотали:

– Свинцовый! Дурачок!

Кузнечик покраснел.

– Почему свинцовый?

– А чтобы удобнее было стекла бить, – безразлично ответил Гиббон, и старшие опять захохотали.

Под их дружный хохот Кузнечик, мокрый от стыда, вылетел из кафе, пряча в зажиме протеза комок салфетки. *Кто им сказал? Откуда они узнали?*

В Чумной комнате по стенам летели звери. Подстерегая беспечных прохожих, в засаде прятался гоблин. Кузнечик сел перед тумбочкой, на которой стояла пишущая машинка, и разжал зажим. Салфетки не было. Кулак руки-не-руки не сжимался по настоящему. Кузнечик зажмурился, потом открыл глаза и отстукал на клавишах то, что помнил и без бумажки. Выдернул листок и спрятал в карман. Он был расстроен. Дирижаблем. Потому что не мог понять: при чем тут дирижабль? Они толстые, неуклюжие, и давно уже вымерли. А еще тем, что старшие знали про стекло. Что это он его выбил.

– Самое обидное, – сказал Кузнечик, – самое обидное, что это кто-то из вас им рассказал.

– Чего? – переспросил Горбач, свесившись сверху.

– Ничего, – сказал Кузнечик. – Кому надо, тот расслышал.

Красавица был в бумажной короне с загнутыми краями. Он улыбался, но его улыбке не хватало зуба. Вонючка во второй такой же короне улыбался выжидающе и с интересом. Его улыбка была чересчур зубастой. Сиамец вырезал из журнала картинки. Он поднял на Кузнечика стылые глаза и опять защелкал ножницами.

– Кто кому чего сказал? – не выдержал Вонючка. – И кому чего надо было услышать?

Горбач опять свесился вниз.

– Про стекло, – сказал Кузнечик. – Что это я его разбил. Старшие знают.

– Это не я! – выпалил Вонючка. – Я чист. Никому никогда!

Сиамец зевнул. Горбач возмущенно завозился в одеялах.

Слон ковырял карман комбинезона.

– Я им сказал. Что Кузнечик… Очень хотел вас выпустить. Очень разволновался. Я им так сказал.

– Кому? – Вонючка сдвинул корону набок и поковырял в ухе. – Кому ты это сказал?

– Им, – Слон неопределенно помахал рукой. – Большому, который спросил. И еще тому, который рядом стоял, ему – тоже. Нельзя было? Они не обиделись.

Незабудковый взгляд Слона устремился к Сиамцу, палец потянулся в рот.

– Нельзя было, да?

Сиамец вздохнул.

– Сильно досталось? – спросил он Кузнечика.

– Нет, – Кузнечик подошел к Вонючке и подставил ему карман. – Достань. Я тут кое-что записал для твоих писем. Чтобы ты упомянул.

Вонючка рванул карман, выхватил бумажку и завертел в руках, внюхиваясь в написанное.

– Ого, – сказал он. – Ничего себе… Думаешь, нам это пригодится в хозяйстве?

Горбач спустился со своей кровати, взял у Вонючки листок и тоже прочел.

– Дирижабль? Что это значит?

– Я, конечно, могу написать, что бедный парализованный малютка хочет заняться воздухоплаванием, – мечтательно протянул Вонючка. – Мне не трудно. Но правильно ли это поймут?

– Это название песни, – перебил Кузнечик. – Или группы. Сам не понял. Если, конечно, Гиббон не пошутил.

– Выясним, – Вонючка спрятал листок. – И напишем.

Слон тяжело протопал по журнальным обрезкам и остановился рядом с Кузнечиком.

– Я тоже хочу корону, – прохныкал он. – С зубчиками. Как у него. – Слон показал на Красавицу.

Вонючка протянул ему свою.

Слон спрятал ладони за спину:

– Нет! Как у него. Красивую!

Горбач снял корону с Красавицы и нахлобучил на Слона. Чтобы она не упала, ему пришлось ее приплюснуть. Сияющий Слон отошел от него, держась очень прямо.

– Обошлось без рева, – обрадовался Горбач. – Повезло.

Сев на свою кровать, Слон осторожно ощупал голову.

ТАБАКИ
День пятый

– Это крик Хворобья! – громко выдохнул он
И на сторону сплюнул от сглазу.

Льюис Кэррол. Охота на Снарка

Вторники – меняльные дни. После Помпея я не был на первом. Как-то меня перестал привлекать этот этаж. Можно назвать это трусостью, но на самом деле это выжидание. Есть плохие места и есть временно плохие места. Временную «худость» можно переждать. Я думаю об этом все утро. О том, как соскучился по меняльным делам и что времени после Помпея прошло достаточно, чтобы первому перестать быть плохим местом.

И вот после уроков я разбираю свое хозяйство. Все, что в мешках и в коробках. Ничего путного не нахожу, может, оттого, что давно не менялся. Когда отрываешься от этого дела надолго, теряется нюх на спрос. Роюсь в самых дальних залежах и натыкаюсь на позабытый фонарик с голой теткой. Ручка в виде нее, которую полагается держать за талию. Гнусная штука. Совсем слегка облупленная. Я ее беру. Потом становится стыдно такого убожества, и набираю еще по три связки бус. Из ореховых скорлупок, финиковых косточек и кофейных зерен. Их немного жалко, но всегда можно сделать еще, если знаешь как. Увязываю все в узелок. Совсем маленький.

Лезу в пластинки, проверяю дальние ряды. Ингви Малмстин. То самое, что не мешало бы обменять. Лэри с ума сойдет, но мне виднее, что у нас в хозяйстве лишнее. И потом, вполне может статься, что менять его окажется не на что и я верну его на место. Я почти уверен, что так и будет. Прячу диск в пакет, чтобы не бросался в глаза, и еду.

Уже на лестнице слышен гул, а ниже мелькают спины – народу больше, чем обычно. Даже намного больше. Не понимаю, отчего это так, но в самом низу вижу, что половина менял девчонки – и удивляюсь своему удивлению. Как будто у них не может быть ничего годного для обмена. Опять я забыл про Закон. Делается немного не по себе. Вообще-то я застенчивый и не люблю, когда меня застают врасплох. Это закон – это интересно и здорово, но только не тогда, когда ничего такого не ждешь, а я как раз не ждал. Но не поворачивать же обратно, если съехал у всех на глазах.

И вот я медленно еду мимо них – стоящих и сидящих, с тем и с этим, – стараясь выглядеть как обычно. Как будто они всегда тут торчали, и в этом нет ничего особенного. Не так уж трудно сохранять спокойствие, когда вокруг – толпа принарядившихся Крыс и Псов, в которой ты почти незаметен и даже с трудом сквозь нее продираешься.

Филин с лампами и сигаретами в своем углу. За сокоавтоматом – Мартышка с наклей-

ками, а все остальные затеряны среди девчонок. Никто ничего не держит на виду, надо спрашивать – а я стесняюсь и уже понимаю, что зря спустился. Кому сегодня интересны пошлый фонарик и самодельные бусы? Все пришли за новыми знакомствами, менялки – только предлог. Но я все равно еду до конца, чтобы потом с полным правом вернуться.

– Что у тебя? – спрашивает Гном, пятнистый от прыщей, как мухомор. Смотрит поверх головы. Плевать ему, что там у меня. Просто спрашивает. Рядом томная Габи держит огромнющий плакат с Мерилин Монро. И зевает, как крокодил.

Быстро проезжаю. К пластинкам очередь из четырех Псов и двух девушек в очках. А сразу за ними – пустота, и сидит одна единственная девчонка. Совсем неожиданно застреваю рядом. Вообще-то, чтобы поправить пластинку, которая сползает с Мустанга, одновременно норовя вывалиться из конверта. И вдруг вижу…

У нее на коленях – жилетка всех цветов радуги, расшитая бисером. Горит и переливается, как солнышко. Не может быть, чтобы такую вещь принесли на обмен, это понятно, но меня все равно притягивает. Как-то само собой. Она поднимает голову. Глаза зеленые, чуть темнее, чем у Сфинкса, а на волосах она просто сидит, как на коврике.

– Привет, – говорит она. – Нравится?

Странный вопрос. Нравится ли?! Срочно надо ехать обратно и искать что-нибудь стоящее. За плеер могут и убить, но есть еще рубашки Лорда и мои бесценные амулеты.

– У меня с собой нет ничего подходящего, – отвечаю я. – Так, одна никчемная мелочь. Надо кое-куда съездить.

Она встает. Как ее зовут? Вроде бы, Русалка. Совсем маленькая. Кажется, из бывших колясников. А может, я ее с кем-то путаю.

– Примерь. Это очень маленький размер. Вдруг не налезет.

Малмстин опять начинает сползать.

– Да нет, не стоит, – стараюсь затолкать его поглубже, – я тут просто гулял себе… – Уши почему-то нагреваются и начинают ужасно мешать.

– Но тебе же нравится? Примерь, – она сует мне жилетку. – Давай. Хочу посмотреть, как она выглядит на ком-то другом.

Снимаю две свои и надеваю эту. Застегиваюсь. Совсем моя. По всем параметрам.

– Здорово, – говорит Русалка, обойдя коляску. – То, что надо. Как будто на тебя сшита.

Начинаю расстегиваться.

– Нет, – качает головой она. – Это тебе. Подарок.

– Ни за что! – стаскиваю жилетку и протягиваю ей обратно. – Нельзя так.

Да, была у меня такая нехорошая привычка. Спускаться в меняльный вторник без ничего, выбирать, что получше, и спрашивать хозяина: «Не подаришь?» Они, конечно, дарили. А куда им было деваться? Потом начали при моем появлении разбегаться и прятать свое добро. И я перестал клянчить подарки. Самому надоело. Но брать такой подарок я и тогда бы не стал. Совесть у меня все-таки есть. Поэтому трясу перед ней этой прекраснейшей жилеткой и умоляю забрать ее обратно.

– Я ее принесла, чтобы кому-нибудь подарить, – объясняет она. – Тому, кто оценит. Ты оценил, значит, тебе. А то обижусь.

Волосы ниже колен цвета кофе с молоком. А рубашка зеленая, под цвет глаз. И ей подойдут все мои бусы. Поэтому развязываю узелок.

Из него немедленно вываливается пошлый фонарик. Ужас и позор. Но она смотрит только на бусы. И по тому, как смотрит, сразу видно, что понимает в таких вещах.

– Красота какая, – говорит. – Неужели сам сделал?

– Бери, – отвечаю я. – Они не стоят и кармашка твоей жилетки.

– Эти, – она выбирает финики и вешает на шею. На свете не так уж много девчонок, которым такое идет. Она одна из них.

– Эти тоже, а то обижусь, – сую ей остальные бусы. Очень спешу, потому что краем глаза заметил, что сквозь ряды менял в моем направлении рвется Лэри с перекошенной мордой.

– Пока! Спасибо за подарок!

Быстро отъезжаю. Лэри уже совсем близко, но наступает на чей-то сигаретный склад и его останавливают для серьезного разговора. Так что у меня появляется время, и я его использую.

– Эй, кто подкинет до четвертой? – кричу я. – Оплата по прибытии!

Сразу находятся три услужливые Крысы. Микроб и Сумах не подходят по комплекции, так что я выбираю Викинга. Он сажает меня на загривок, и мы бежим. Я в новой жилетке очень красивый, он в роли лошади тоже ничего.

– Стой, скотина! – визжит где-то позади нас Лэри. – Стой!!!

Мы, конечно, не останавливаемся. Погоня, это то, что я люблю больше всего на свете! Ноги Викинга мелькают белыми бутсами. Меня потряхивает.

– Е-еху! – кричу я. – Поддай жару!

Викинг взлетает по лестнице. Желтые волосы бахромой болтаются у него перед глазами, и я убираю их, чтобы он не споткнулся. Потом выуживаю из-под его ворота шнурочки наушников и запихиваю себе в уши. Длины шнурочков еле хватает, и это не очень удобно, зато теперь мы бежим под музыку.

Да! Никогда не угадаешь сколько радостей может принести обычный меняльный вторник.

Мы бежим. Очень трясучая музыка. Очень резвый Викинг. Крепко сжимаю узелок. Среди коридорных голов мелькает знакомая лысина. Выдергиваю наушники и кричу Викингу:

– Эй, тормози! Прибыли!

Он тормозит и ссаживает меня на пол. Прямо под ноги Сфинксу.

– Это еще что за верховая езда? – интересуется Сфинкс.

– Не езда, а спасение от верной гибели, – объясняю я, расплачиваясь с Викингом.

– А что за роскошная жилетка? Раньше я ее не видел.

Рассказать про жилетку мешает подбежавший Лэри.

– Ты его обменял! – орет он. – Моего Ингви! Пусти, Сфинкс! Я его убью!

Сфинкс, конечно, не пускает. Лэри весь в слюнях и в соплях, его вот-вот хватит удар.

– Эй, – говорю, – не распускайся так. Кругом полно Логов. Что они подумают? Не обменивал я твоего Ингви. Клянусь ногами Сфинкса.

– Тогда где он? Торгаш! Кровопийца!

– В коляске, наверное, остался. Там внизу, где я высадился перед отправлением.

Лэри ударяет себя кулаком по лбу, разворачивается и бежит обратно.

– Пожалуй, Крысы поспеют раньше него, – говорю я Сфинксу. – Знаешь, они ведь такие жадные до чужого…

– Про жадных до чужого ты бы помолчал, Табаки, – Сфинкс садится на корточки, и я влезаю ему на плечи. – Если его диск стащили, подаришь один из своих. Понял?

Я молчу. А что отвечать? Сфинкс не хуже меня знает, что мои диски Лэри даром не нужны. Как и мне его. С высоты хорошо видны самые верхние фрагменты настенных росписей, и я их рассматриваю, хотя Сфинкс шагает быстро, так что особо много чего не высмотришь. У входа в спальню свешиваюсь к его уху:

– Знаешь, я лучше подарю ему фонарик. Очень красивый. Даже, в своем роде, пикантный. Идет?

Перерыв между обедом и ужином самый длинный, и к ужину обычно уже звереешь от ожидания. Но это если день скучный, а если не скучный и есть о чем рассказать людям – совсем другое дело. Мне есть о чем рассказать, и я рассказываю всем подряд, пока сам не устаю от повторяющихся подробностей. Единственный, кто отказывается слушать, – Лэри. Приволакивает своего «Ингви», кладет на место, показывает мне кулак и уходит. Как будто ему совершенно не интересно, откуда взялась моя новая жилетка.

Я снимаю ее, чтобы получше разглядеть, надеваю – и снимаю опять. С каждым осмотром она все краше. Даже Нанетта с этим согласна. Разгуливает вокруг и пробует склюнуть бисеринки. Приходится отгонять ее журналом. Считая сегодня, до вторника еще

целая неделя, но я решаю запастись свежими меняльствами, тем более, в наличии мешок со свежей ореховой скорлупой.

В наушниках, чтобы не отвлекаться и не встревать в стайные разговоры, нанизываю скорлупки на леску – только самые маленькие и красивые. Слушаю всякую радиодребедень для детей дошкольного возраста.

Ужас, чем пичкают наружную детвору! Волосы встают дыбом. Сказка о Снежной Королеве не так уж плоха, но рассказывает ее грудной женский голос с сексуальными придыханиями и постаныванями, так что история приобретает совсем не свойственные ей оттенки.

«Лодку уносило все дальше и дальше, – стонет голос у меня в ушах. – Красные башмачки плыли за ней, но не могли догнать! Может, река несет меня к Каю? – подумала крошка Герда…» – Голос заедает от волнения.

Скорлупка, еще скорлупка…

Черный роется в тумбочке, потом в столе. Находит бритвенный станок и уходит, увешанный полотенцами. У него уже растет борода. А у меня ничего не растет….

«Давно мне хотелось иметь такую маленькую девочку, – со значением сообщает шипящий вампирский голос. – Дай-ка я причешу тебя, моя красавица». – Кого-то причесывают. Подозрительно при этом хрустя. «О-о-о, я засыпаю, что со мной?» – пищит Герда. Ей лет за сорок, как минимум. Очень увлекательная история. Бусы почти готовы, пальцы жутко болят. Дырявить орехи совсем не так просто, как можно подумать. Дую на пальцы и вешаю первую заготовку на гвоздь. Это будут очень симпатичные бусы. Скорлупки почти одинаковые.

«Кар-кар-кар, здравствуй, девочка!» – Ворон, судя по голосу, не дурак выпить. А его супруга – первое молодое существо в этой постановке – каркает нежным сопрано… Беру вторую леску.

Вбегает Горбач. Лицо у него такое странное, что сразу понятно: что-то стряслось. Роняю орехи, смотрю на его губы. В детстве я умел читать по губам, но с тех пор прошло немало времени, к тому же он все время отворачивается и не разберешь… Проще снять наушники, но мне почему-то страшно. Потому что, кажется, он сказал «Лорд». А этого быть не может.

«Да-да, это он! Это Кай! – озвучивает у меня в голове Герда-за-сорок. – Ах, ну проводи же меня скорее во дворец!»

Краем глаз замечаю, что Сфинкс слегка не в себе. Пятится до кровати и садится, не сводя глаз с Горбача. Входит Слепой. Тоже странноватый с виду. А за ним – коляска Лорда с Лордом и толкающий ее Ральф.

«Это только сны… Сны знатных вельмож…»

Сдираю наушники к чертовой матери.

Тишина. Слышно гудение Дома за стенами и даже наружность – ведь это настоящая тишина, какая у нас бывает очень редко. Ральф смотрит на нас, мы – на Лорда. Потом гремит самый громкий в моей жизни ужинальный звонок. Ральф поворачивается к выходу и сталкивается в дверях со свежевыбритым Черным.

Черный говорит ему:

– Извините… – а потом, – ой! – когда замечает Лорда.

– Да ради бога, – отвечает Ральф и выходит.

А мы глядим на Лорда. Это действительно он. Живой, настоящий, не в песне и не во сне. Можно пощупать, понюхать, подергать за волосы… Надо узнать, надолго ли его привезли и еще кучу важных вещей, но я в ступоре и никак не могу из него выйти. Лорд сидит, сгорбившись. Жалкий, каким померещился мне под гармошку. Голова острижена. Не наголо – но лучше бы наголо, потому что стриг его какой-то шизофреник. Волосы торчат неровными пучками, а кое-где сквозь светлую щетинку даже просвечивает кожа, как при стригущем лишае. Тот, у кого поднялась рука на волосы Лорда, да еще таким манером, не мог быть нормальным, это понятно всем. Лорд в куртке Горбача и в моей жилетке. Весь в значках. Глаза стали больше, лицо меньше, пальцы теребят значки, а глаз он не поднимает. Ужас, как выглядит, а еще ужаснее, что все молчат и только смотрят.

Начинаю нервно раскачиваться. Обстановка все хуже и хуже, пока Слепой не подкра-

дывается к коляске, протягивая Лорду сигареты:

– На, покури. Какой-то ты уж очень тихий.

Лорд вцепляется в пачку, как утопающий в спасательный круг. Я сразу выхожу из ступора. И остальные тоже. Ползу на предельной скорости, но поспеваю последним. На Лорда уже налетели, пихают, щупают, нюхают и орут. Вливаюсь в общий хор и заглушаю всех. В разгар приветствий Лорд вдруг начинает плакать.

– Все, хватит, – сразу командует Сфинкс. – Все на ужин. Оставьте его в покое.

Но я не собираюсь оставлять Лорда в покое. Влезаю ему на колени – поближе к ушам, – потому что надо же объяснить, как я по нему скучал и все такое. Слушает он или нет, неважно. Он роняет сигарету, и ему дают еще шесть взамен упавшей.

– Волосы у тебя, – Горбач ерошит уродливую стрижку, – просто кошмар. Кто это постарался?

– Как тебе в моей жилетке? – спрашиваю я. – Если хорошо, я не буду ее отбирать. Тем более, у меня теперь еще одна, совсем новая.

– Ты насовсем? – осторожно уточняет Сфинкс.

Лорд кивает.

– Ура! – кричит Горбач и подбрасывает в воздух Нанетту. Слепой тоже щупает голову Лорда и огорченно свистит.

– А у нас теперь, представь себе, Новый Закон… – начинаю я, но Сфинкс не дает ничего рассказать.

– Ужинать! Марш! – кричит он сварливо. Меня снимают с Лорда и уносят, хотя я сопротивляюсь.

В коридоре я рядом с Горбачом, который разговаривает сам с собой:

– Я знал, что он стоящий тип… – и это, конечно, про Ральфа, а чуть дальше от нас Сфинкс и Слепой, и Сфинкс говорит: – Пахнет психушкой, – и это уже про Лорда.

Разгоняюсь и наезжаю им на пятки. Мне плевать, чем там пахнет от Лорда, раз уж он вернулся, а все эти разговоры – ерунда, когда случается такое, можно только петь и греметь чем-нибудь. И я пою. Пою, буйствую и переворачиваю посуду. Я делаю Лорду огромный бутерброд и поливаю его сиропом. Бутерброд, тарелку, скатерть и себя. Из супа я вытаскиваю мясные тефтельки – тоже для Лорда, на каждую вытащенную две уроненных – и прячу их в другой бутерброд. Вокруг озеро жира и сиропа, Сфинкс смотрит бешеными глазами, но молчит, а Лэри говорит:

– Если меня спросят, то я не из его стаи, потому что стыдно же перед людьми…

Потом мы едем обратно: я быстрее всех, но под конец отстаю, потому что вспоминаю про Ральфа и начинаю его высматривать. Я бы ни о чем не спросил, даже если бы увидел его, но пока не вижу, кажется, что мог бы и спросить. Например, откуда он привез Лорда. Все это ужасно интересно, а у самого Лорда не спросишь, потому что нельзя. Не принято, некультурно, бестактно, одним словом, нельзя, если только Лорд сам не скажет, а он ничего не скажет, это я уже понял. Поэтому высматриваю Ральфа, но его не видать, так что я нагоняю своих, которые застряли, принимая поздравления от тех, кто уже узнал, что случилось.

Я бы тоже с удовольствием принял поздравления, но проклятые бутерброды текут и жирят все вокруг, поэтому я только машу всем рукой, проезжая мимо, и, вроде, замечаю среди поздравляющих двух-трех девчонок, но, опять же, нет времени присматриваться, потому что я очень спешу.

ТАБАКИ
День шестой

Разберем по порядку. На вкус он несладкий,
Жестковат, но приятно хрустит,
Словно новый сюртук, если в талии туг,
И слегка привиденьем разит.

Льюис Кэррол. Охота на Снарка

С утра, наблюдая за Лордом, подмечаю много странного. Он не меняет свитер, украсившийся кофейным пятном. Роняет свою подушку на пол и не замечает этого, а заметив, не спешит сменить наволочку. Дарит Лэри две свои самые красивые рубашки, а когда я по ошибке надеваю его носки, не скандалит и вообще удивляется моим извинениям. Все это мелкие мелочи, но из таких мелочей состояла существенная часть того Лорда, которого я знал, и странно видеть его не делающим что-то, что он обязательно сделал бы раньше, и наоборот – делающим что-то, чего он бы делать не стал. С длинными волосами он оставил в наружности еще много всего, я не знаю, радоваться этому или грустить.

– Вот ведь какое дело, люди, – делится с нами Лэри по пути из столовой после завтрака. На нем голубая рубашка Лорда с белыми цаплями и выглядит он в ней шикарно. – Я говорю: извини, Лорд, одел тут кое-что из твоего, пока тебя не было. Сам понимаешь, нельзя же с девушкой гулять, когда весь в обносках… Говорю так и жду, чего он мне сейчас устроит. А он: бери, говорит, их себе насовсем. И эти, и какие захочешь. Вывалил передо мной прямо все: бери давай, не стесняйся… Ну я и взял кое-что. Так он мне потом еще свою зажигалку насовсем отдал. Ту, что с драконом. Я ему говорю: классная до чего у тебя, Лорд, зажигалка. Просто так говорю, без задних мыслей, а он раз – и мне ее в карман. Бери, говорит, если нравится.

– Ты у него скоро последние трусы выклянчишь, – ворчит Горбач. – Имей совесть, оставь человека в покое.

– Да я просто так сказал! Без задней мысли!

Мы с Горбачом качаем головами. Лэри краснеет и замолкает. Но у двери класса опять останавливается, преградив нам дорогу.

– Ладно. Черт с ней, с зажигалкой. По правде говоря, я знал, что отдаст, потому и похвалил. Но вы мне скажите, разве раньше я бы про него такое подумал, что он вдруг отдаст? Никогда бы не подумал. Вот и скажите мне, что это с ним такое, что он вроде как на себя не похож. Он ведь теперь только с виду наш. А ведет себя по-чужому. Это вам как, не подозрительно?

– Катись ты! – Горбач толкает его в грудь. – Дай пройти. Встал на дороге и порешь всякую муть. Зажигалка его задницу не жжет?

Лэри огорченно рассматривает центральную нагрудную цаплю, весь в подозрениях, что Горбач ее заляпал. Даже ощупывает ткань.

– Зачем толкаться? – спрашивает он. – Говорю, чего вижу, не хотите – не слушайте. Зачем же сразу толкаться? Я что, не рад что ли, что его привезли? Очень даже рад! Но есть мнение, и я его высказываю. Потому что не просто так ведь всякие истории про оборотней рассказывают. Тут есть о чем подумать.

Горбач тянется к его вороту, но Лэри, увернувшись, забегает в класс. Мы с Горбачом переглядываемся.

– Подлая душонка, – говорит он. – Надо было все же ему врезать.

Дергаю себя за серьгу, кручу ее в ухе.

– Вообще-то надо было. Ему никогда не помешает. Но кое в чем он прав. Я тоже заметил. Лорд здорово изменился.

Горбач удивленно хмурится:

– Конечно, изменился. Повзрослел, вот и все. И соскучился. Лэри – дурак, не понимает, но от тебя я не ожидал. Где твои глаза и уши, и все остальное?

Он проталкивает меня в дверь и пятится на свое место. Пристраиваюсь к столу, раскладываю тетради. Ухо горит оттого, что дергал серьгу, щеки – от слов Горбача. Гляжу на Лорда. Он за соседним столом – рассматривай, сколько душе угодно. Корпит над моей тетрадью, исправляет там что-то в моих каракулях. Я не просил, но он и раньше так делал без всяких просьб. Горбоносый профиль, тонкий и неестественно красивый, склоняется над замусоленными листами. Даже мерзкая стрижка с проплешинами не смогла его изуродовать.

Волосы не желтые, как раньше, а бежевые, какими были у корней. И еле заметной тенью проступает бородка. Вернее, ее призрак. Может, поэтому, а может, из-за слов Горбача мне кажется, что Лорд действительно повзрослел. Неужели все дело в этом? Только в этом, и больше ни в чем? И весь урок я думаю об этом.

За окном завеса снега. Падает и падает и только к ужину перестает. Двор весь в складках и холмиках под белым, сахарным одеялом, очень красивый, и наружность не похожа на себя, и вообще очень тихо, как будто Дом вдруг очутился в зимнем лесу. Жаль, что уже темно, и не видно, как все вокруг сверкает и искрится.

После ужина народ высыпает во двор. Я тоже еду. Снег я люблю, хотя коляски в нем увязают намертво и это неприятно, зато есть много развлечений возможных только со снегом.

В удобном месте вываливаюсь в сугроб, леплю кучу снежков, и всем, проходящим мимо, достается снежком по затылку. Я вообще очень меткий, всегда попадаю куда хочу, было бы чем бросаться. Потом ко мне присоединяется Лорд. Вдвоем мы задаем жару ходячим из шестой и Лэри с его шайкой. Логи все как один в полосатых вязаных шапочках с помпонами, таких ярких, что и целиться не надо.

Когда появляются девушки, все уже порядком разошлись и остервенели. Их забрасывают снежками прямо на крыльце, даже не дают спуститься. Но на крыльце снега тоже навалом, а прятаться там удобнее, так что они быстро приходят в себя и отвечают целой лавиной снежков. Мы с Лордом на самом открытом месте и не можем сбежать, поэтому больше всех достается нам. Я вбит в сугроб и временно выхожу из строя, а когда вылезаю, кругом полно полуразвалившихся снарядов, а Лорда ранило прямо в рот. Он плюется, вылаивая проклятия вперемешку со снегом.

– Как ты назвал их? – уточняю я. – Нежные и прелестные?

Лорд не успевает ответить. Девчонка в синей куртке залепляет ему снежком в переносицу, и он, вскрикнув, с мстительным видом начинает лепить целый арбуз. Пока он этим занят, я прикрываю его, сбивая высовывающиеся из-за перил шапки, но девчонка в синем все-таки умудряется попасть в него еще два раза. Наконец Лорд приподнимается и зашвыривает свой смертоносный снаряд ей под ноги. Взрыв и вопли. Синяя куртка падает, как подстреленная. Мне как-то не верилось, что эта штука долетит, куда надо, поэтому я удивлен и даже восхищен, о чем тут же сообщаю Лорду Он смотрит растерянно.

– Я ведь ее не очень зашиб, как ты думаешь?

– Думаю, она упала, чтобы сделать тебе приятное, – говорю я. – Вряд ли ее так уж зашибло.

Но Лорд не верит и ползет проверять лично. Вообще-то слово «ползет» ему не подходит. Это медленное слово, а Лорд передвигается очень быстро. Но сейчас ему мешает снег, и пока он добирается до цели, девчонка успевает встать и вытряхнуть большую часть снега из волос. Он спрашивает что-то снизу. Она смеется и качает головой, потом плюхается рядом в сугроб, должно быть, чтобы он не чувствовал себя неловко рядом с ней, стоящей. Так они и общаются – оба белые, залепленные снегом, как пара комиков, угодивших в гигантский торт. Нет времени смотреть на них – кто-то обстреливает меня из-за перил, и я отвечаю, хотя противник невидим, и все мои снежки впустую разбиваются о крыльцо. Жду, не высунется ли этот кто-то, но он, вернее, она – хитра и не высовывается, хотя меткости это не на пользу, и снежки летят мимо. Можно сказать, мы взаимно мажем друг по другу.

Потом я случайно смотрю вверх и в окне нашей спальни вижу силуэт Сфинкса. Неважно, что лишь силуэт, неважно, что его невидимый рот сейчас, наверное, улыбается. Я знаю, о чем он думает, глядя на нашу снежную свалку. Полжизни я провел на подоконниках, вот так же таращась вниз и задыхаясь от зависти. Поэтому одной его далекой тени достаточно, чтобы растерять всякую охоту резвиться.

Отбрасываю заготовленный снежок и ползу к Мустангу. Ползу целую вечность, обстреливаемый со всех сторон, а когда, наконец, доползаю, выясняется, что Мустанг весь скользкий и мокрый, потому что какой-то умник додумался использовать его как прикрытие. Пробую влезть и соскальзываю. С третьей попытки мне это удается, но снег вокруг

разворочен, а Мустанг накренился набок, и намертво увяз. Печальная сцена. Мне помогают Конь и Пузырь, добросердечные Логи третьей. Вкатывают на крыльцо, где нас тут же окружают девушки и просят меня поиграть с ними еще немножко. Это приятно и неожиданно, и всю дорогу на второй и до спальни я потею от волнения, вспоминая, как они называли меня «Вильгельмом Теллем» и просили остаться. Притом, что парней во дворе навалом. Весь ходячий состав Дома, плюс самые чокнутые колясники.

Коридор пуст. Только Слепой бродит взад-вперед, разбрасывая ногами сырые опилки. А Сфинкс, когда я въезжаю в спальню, все еще стоит у окна и недовольным тоном спрашивает Македонского, с кем это Лорд любезничает, сидя по горло в снегу, и что за девица носится вокруг Черного с сальными глазами.

– Не понимаю, Сфинкс, – говорит Македонский, – как можно разглядеть отсюда чьи-то глаза там внизу?

Высушенный и обогретый, сижу в халате над шахматной доской. Напротив сидит Сфинкс. Дергает бровями, изображая усиленную работу извилин, но сам больше прислушивается к дворовым воплям.

– Кипяти воду, – говорит он Македонскому. – Скоро они явятся, начнут скулить, требовать чай и загоняют тебя до смерти.

Македонский ставит чайник на плитку и подсаживается к нам. У меня в углу доски тайная засада, которую Сфинкс не должен заметить, поэтому пою отвлекающие песни-путалки и таращусь в другой угол, где готовится фальшивая атака. Слепой сидит с ногами на столе. Зевает, ковыряясь в распотрошенном ящике с инструментами. Дворовые крики все тише и наконец переходят в коридор. Визги и топот: кто-то несется галопом, а его на бегу забивают снежками.

Поворачиваюсь к двери с преувеличенным интересом, а когда опять смотрю на доску, хитроумная засада разрушена, и Сфинкс кончиком граблезубца спихивает с доски мою королеву.

Королева в пепельнице – игра, считай, закончена. Македонский говорит:

– Сколько снега они нанесут!

А за дверью грохот и скрип, и, отряхнувшись, они вваливаются, белые, как толпа снеговиков: Черный, Горбач, Лорд и Лэри, а с ними две девушки: синяя куртка и фиолетовая – всем ужасно весело, и Лэри с идиотским гоготом обрушивает в центр доски крупный снежок.

Фигуры повержены, Сфинкс, криво улыбаясь, вытирает лицо коленом. Очень любезно скалится, но Лэри все же раздумывает бросать второй снежок и с той же идиотской ухмылкой разбивает его о свою голову.

Черный и Горбач помогают девушкам раздеться. Куртки летят на подоконник, снимаются шапки и разматываются шарфы. Девушка в синем оказывается огненно-рыжей и это, конечно, Рыжая – лицо, как у лисички, и чернильные глаза. А девушка в фиолетовом – Муха, очень смуглая и зубастая, вся усыпанная родинками. Опознав их, подпрыгиваю на подушках и приветственно верещу.

Они сразу, не сговариваясь, садятся на пол. Сфинкс пристраивается рядышком, а Черный и Горбач мечутся, раскладывая вокруг чашки, тарелки и пепельницы, и от всех – мокрые, хлюпающие следы, которые Македонский незаметно подтирает тряпкой.

Я тоже сползаю на пол. Располагаемся полукругом. Я под кроватью, как черепаха, только голова торчит. Пьем чай. Над нами – очень живописная коллекция мокрых носков на веревке, которая тянется через всю комнату и попахивает сыростью. На батареях сохнут ботинки. Рыжая и Муха в одеялах, как индейские скво, и из-под одеяльных капюшонов текут струйки дыма.

Лэри самозабвенно ковыряет в носу, как ему кажется, незаметно для окружающих. Лорд и Горбач тоже в одеялах, Македонский бродит между нами, раздавая чашки, магнитофон бурчит, в общем, мы очень приятно, по-домашнему, проводим время. Не совсем так, как провели бы его друг с другом или со Старой Чумной Гвардией, потому что девушки – это все-таки девушки, их присутствие сковывает. Можно представлять себя говорящим что-то

ужасно остроумное, но само то, что стоило бы сказать, не придумывается. Только плоские, вымученные остроты, совершенно не заслуживающие произнесения. Лучше уж молчать, чем говорить такое. И до поры до времени я молчу. Только принюхиваюсь и слушаю других.

Все обсуждают снежные бои. Никак не могут успокоиться. У Рыжей из-под одеяла виднеются босые ступни. Молочно-белые, расцарапанные, с поджатыми пальцами. Когда она говорит, пальцы шевелятся. Муха строит рожи, раскачивается и хихикает. Давится дымом и стягивает одеяло с головы. Теперь нам видны ее острые зубки и маленькие кольца в ушах – по пять в каждом ухе. Брови присыпаны алмазной пудрой. Она похожа на вороватого цыгана. Может, оттого что все время выпячивает губы, а может, оттого что шевелит ноздрями. Очень запросто представляешь ее за каким-нибудь необычным занятием вроде конокрадства. И говорит она слишком быстро – даже для меня.

А Рыжая молчит. Если не курит, то грызет ногти. Глядя на них со стороны, любой сказал бы: вот скромная и тихая девушка, а вот – развязная и болтливая. Все просто и понятно, выбирайте, кому какая по душе. Но те из нас, кто знаком с ними с детства, знают, что все не так просто, как кажется. Потому что именно Муха пять лет – от шести до одиннадцати – молчала, не будучи ни глухой, ни немой, и пряталась под кроватями от любого, кто пытался к ней подойти, а Рыжую примерно в то же время воспитатели прозвали Сатаной. Даже меня так не называли. Так что кротости в ней не больше, чем во мне, и то, если поверить, что с тех пор она все притихала с каждым годом.

Дергаю ее за край одеяла:

– Эй, Рыжик, а девчонок сейчас сажают в Клетки?

Она нагибается ко мне:

– Конечно. Только они в нашем коридоре, а не в воспитательском. Крестная не доверяет нас Ящикам. Они вечно пьяные и распускают руки. Сама нас запирает, сама выпускает. Ключи только у нее.

– Ух, – говорю. – Ей это подходит.

Крестная – железная леди Дома. При взгляде на нее кажется, что при ходьбе она должна бы погромыхивать и позвякивать, как Железный Дровосек. Но стучат только ее каблуки.

Лэри спрашивает, как поживает новая воспитательница Блондинка. Новая воспитательница девчонок – любимая тема Логов. Они ее обожают. С тех самых пор, как впервые увидели.

– Пока притирается, – сообщает Муха. – Миленькая, но какая-то уж очень нервная. Наверное, не возьмет себе отдельную смену. Так и останется на побегушках. А волосы у нее натуральные, представляете? Настоящая натуральная блондинка. Очень красивый оттенок.

Лэри сглатывает слюни и мечтательно вздыхает. По мне, таких блондинок лучше всего живьем закапывать в землю. Может, она и красивая, не знаю. Я видел ее два раза, и оба раза смотрел только на часы. Здоровенные, с луковицу. Тикающие, как бомба с часовым механизмом. Гнуснейшего вида. Так что мне было не до ее волос.

– Наш Толстый в нее влюбился, – рассказывает Сфинкс. – Мы гуляли с ним на первом, когда она вышла от Акулы прямо нам навстречу, и как только она появилась, Толстый выкинулся из коляски и пополз к ней. С бешеной скоростью. Никто не ожидал от него такого.

– И чего? – спрашивает Муха, сделав большие глаза.

– Ничего, – морщится Сфинкс. – Обслюнявил слегка. Но крику было много.

Некоторое время мы молчим, отдавая дань разбитому сердцу Толстого. Рыжая вылупилась из своей паранджи – в красной футболке Горбача впридачу к собственным огненным волосам она – как горящий факел. На такое лицо просто нельзя было сажать черные глаза. Это пугает и оставляет царапающее ощущение на коже.

Муха вертит головой, что-то высматривая.

– А где ваша ворона? У вас ведь ворона живет? Так хочется на нее поглядеть!

Горбач идет доставать Нанетту, которая в это время смотрит десятый сон.

– Как дела у Русалки? – спрашиваю я. – Такая маленькая, с длиннющими волосами, – уточняю внешность, потому что не уверен, что правильно помню кличку.

– Это к ней, – Муха тычет пальцем в Рыжую. – Они из одной комнаты. Самая жуткая комната у них.

Не глядя на Муху, Рыжая вздергивает брови. Подбородок на коленях, задумчиво водит пальцем по губе.

– Я хотела сказать, самая оригинальная, – кашлянув, поправляется Муха. – Самая необычная комната, я хотела сказать…

Горбач приносит заспанную, оцепеневшую от негодования Нанетту и демонстрирует ее девушкам. Муха осторожно гладит синеватые перья. Птица вздрагивает, ее глаза затягиваются прозрачной пленкой. В более бодром состоянии исклевала бы вражьи пальцы в кровь.

– Прелесть… Душечка, – безмятежно воркует Муха. – Красавица!

Душечка и красавица косит, начинает угрожающе похрипывать, и Горбач поспешно возвращает ее на насест.

– Душка! – не унимается Муха. – Так бы и съела ее.

– Сначала запасись вставными глазами, – советует Черный. – Она вовсе не такая уж душечка.

– Ну нет, – ноет Муха, расстроенно провожая взглядом Нанетту, – не может быть, чтобы такая прелесть была злючкой.

– Так как там Русалка? – снова спрашиваю я. – Мы с ней немного пообщались вчера.

Рыжая смотрит на мою жилетку и улыбается.

– У Русалки всегда все хорошо, – говорит она. – Бывают на свете такие люди. А может, вид у них такой. Они редко, но встречаются, люди, у которых не бывает проблем. Которые так себя ведут, как будто у них нет проблем.

Все смотрим на Македонского. Он краснеет и путается в шнуре кофеварки. Пока распутывается, мы на него уже не смотрим.

У меня во рту странный привкус от нашего разговора. Как будто я тоже знаю, какая она – девушка, что шьет лучшие в мире жилетки и дарит их первому встречному. После такого разговора надо покурить. Мы с Рыжей закуриваем одновременно, только к ней, в отличие от меня, со всех сторон тянутся зажигалки, первая от Лорда, и я вдруг замечаю, что он какой-то странно пунцовый и глядит на Рыжую тоже как-то странно. Обшаривающе и огненно. Даже, можно сказать, хищно. Это так бросается в глаза, что я слегка смущаюсь. И кошусь на Сфинкса – заметил ли он?

Сфинкс если что и увидел, по нему этого не скажешь. Крутит граблей пепельницу, весь из себя сонный. У них с Волком всегда был такой вид, когда они настораживались. Фальшиво дремлющий.

– Я вот защищал-защищал свое ухо, – невпопад сообщает Лэри. – А мне все равно по нему попало. Да еще как сильно. Боюсь, опять воспалится, как в прошлый раз… – Он щупает ухо, потом рассматривает пальцы. Как будто от прикосновения к ушам воспаление могло из них выпасть.

– По тебе не скажешь, что у тебя проблемы с ушами, – любезно отмечает Муха.

Лэри задумывается. Расценивать ли эти слова как комплимент.

Обсуждаем последнюю выставку. Картин там было раз-два и обчелся, зато Дракон из третьей выставил расписанного себя, и это действительно было интересное зрелище. На Дракона страшно смотреть и без росписей. А уж на разрисованного… От разговора о выставках Курильщик немного оживляется и рассказывает о паре выставок, которые посетил в наружности. Потом мы обсуждаем Гадальный салон. Я там поработал неделю гадалкой-хиромантком, так что мне есть чего рассказать. Муха и Лэри сплетничают о девчачьих воспитательницах, то есть, конечно, Муха сплетничает, Лэри только поддакивает, а мы с Рыжей затеваем спор о Ричарде Бахе, тоже вполне себе сплетнический. Сходимся на том, что хоть он и писал неплохие книги, но с женщинами себя вел, как скотина. Чего стоили хотя бы поиски Единственной, в ходе которых девушкам приходилось чуть ли не сдавать экзамен по пилотированию самолета.

– Курящие исключались с ходу! – кипит Рыжая. – Только потому, что он, видите ли, не курил. Как будто нельзя бросить, если уж очень приспичит.

Мне хочется еще поговорить о Русалке, но я не решаюсь.

Слепому интересно, когда вернется из похода в наружность Крыса – главный Летун Дома, которой он надавал заказов на крупную сумму. Рыжая не знает, когда вернется Крыса. Никто этого не знает. Даже сама Крыса. Черный начинает выспрашивать, где Крыса ночует в наружности и как ей удается оставаться там так подолгу, но ни Рыжая, ни Муха ничего не могут ему сказать, потому что сами ничего об этом не знают.

Рыжая глядит в потолок.

– У вас когда-то была стена, на которой жили звери… – совершенно невпопад говорит она. – А дверь вы держали запертой. И ставили перед ней ловушки. Крысоловки и капканы. Так говорили. Я представляла себе эту вашу стену так часто, что в какой-то момент стало очень важно увидеть ее на самом деле. Тогда я влезла в вашу спальню через окно…

– Там решетки и нет карниза, – шепчет Лорд, не сводя с нее горящих глаз. Рыжая глядит на него мельком и усмехается.

– Тогда решеток еще не было. А вдоль стены есть такой крошливый выступ. Я прошла по нему до середины и испугалась. Проторчала там целую вечность, не могла пошевелиться. Пока меня не засекли старшие. Это было ужасно.

– Они тебя сняли, – угадываю я. – Притащили лестницу и спустили вниз.

– Нет. Они просто стояли внизу и смотрели. Им было интересно. Пришлось идти дальше.

– Ага, – содрогается Горбач, – смотреть с интересом они умели. Лучше не вспоминать…

– Не мешай! – я подползаю ближе, подозревая, что вот-вот услышу что-то ужасно интересное. Что-то важное. – Ну, ну! – подбадриваю я Рыжую. – И чего было дальше? Ты влезла и…

– И очутилась в вашей спальне, – Рыжая, смущенно улыбаясь, вертит окурок. – Сначала просто радовалась, что стою на земле, такой надежной и твердой. Потом рассматривала стену. Она оказалась не совсем такой, как я ее себе представляла, но все равно была удивительная. У нее как будто не было краев. С обеих сторон, – Рыжая разводит руками, показывая что-то необъятное. – Трудно объяснить. У меня было мало времени, я знала, что вы вот-вот вернетесь, а ведь еще надо было заставить себя вылезти в окно, пройти по этому жуткому карнизу и съехать по трубе… Но я не удержалась. Нашла в тумбочке толстый фломастер и нарисовала на стене птицу. Она получилась такая невзрачная, уродливая… Испортила вам всю стену. Я так расстроилась, что даже не заметила, как вылезла обратно и спустилась. Потом полночи проревела.

– А через два дня, – заканчивает Сфинкс, – ты вернулась, чтобы раскрасить свою чайку. Белилами. И подписалась – Джонатан. И Джонатан стал оставлять нам подарки…

– Господи! – стонет Горбач. – Так ты и была Джонатаном? А мы-то мучились, капканы расставляли…

– Вот это вот, – сообщаю я своим ногтям, – и называется потрясением. Когда вдруг узнаешь неразгаданную тайну. На старости лет. От такого запросто можно получить психическую травму. Понимаешь, Черный, мы все время находили…

– Я все понял, – перебивает Черный. – Не надо объяснять.

Но ему не понять. Ни ему, ни Лорду с Македонским, ни Лэри. Поймут только Стервятник, Валет, Красавица и Слон. Если им рассказать. А больше никто.

Все чем-то тихо шуршат. Горбач хлопает себя по карманам, Слепой тоже где-то роется. Я выуживаю из уха серьгу. Наши руки встречаются над расстеленным одеялом. На ладони Горбача бронзовый колокольчик. У Слепого – монета на шнурке. Я держу серьгу.

– Дурнопахнущему пирату от Джо, Летуна над морями, – цитирую я. – Только записка, конечно, давно потерялась.

Рыжая кусает губу:

– Вы их храните! До сих пор!

– Это же подарки Джонатана, – смеется Сфинкс. – Реликвии. Если я не ошибаюсь, одна даже перешла по наследству к Лорду. Ракушка.

Лорд хватается за ракушку и сжимает ее в кулаке. С очень фанатичным видом.

– Да, кстати, – припоминаю я. – Больше всего подарков получал Слепой. Почему-то. Всяким жадным людям было даже как-то обидно.

Рыжая вспыхивает и бросает на меня взгляд, в котором смешаны упрек, просьба не углубляться в воспоминания и еще много чего, так что язык сам собой прикусывается, а в голове начинают вертеться запоздалые догадки насчет того, кто по какой причине очутился этим вечером в нашей спальне.

– Вот как? – говорит Черный, отпивая остывший чай и ни на кого не глядя. – У Джонатана, значит, были свои любимчики?

Рыжая краснеет еще сильнее, но гордо выпрямляется и кивает:

– Да, были. И сейчас есть. А что?

Под взглядом Лорда я бы на месте Рыжей такого говорить не стал. Вообще в присутствии полыхающего очами, нечеловечески красивого Лорда я бы на ее месте потерял дар речи. Но девушки – странные существа. Если ей больше нравится Слепой, тут уж ничего не поделаешь. В конце концов Джонатан не просто так рисковал жизнью, лазая в чужие окна.

– Я вспомнила один пасьянс, – говорит Муха, смущенная общим молчанием. – Называется «Голубая мечта». Почти никогда не выходит, но если вышел, считай, главная мечта сбылась. Интересно, правда?

– Жуть, – говорю я. – Показывай скорее. У меня полным-полно всяких мечт.

Македонский передает карты и отодвигает чашки на край одеяла. Муха начинает раскладывать пасьянс, по ходу давая путаные объяснения. Рыжая дрожит и кутается в одеяло, поджимая под него босые ноги.

– Если ты замерзла, надень мои носки, – предлагаю я. – Потом вернешь как-нибудь. Когда зайдешь к нам еще.

Она не возражает, и Македонский идет доставать из шкафа мои носки.

– Может, и мой свитер? – робко говорит Лорд. – Он теплый…

– Вот, – горестно сообщает Муха, застыв с последней картой в руке, – не вышел! Как всегда. Я же говорю, он почти никогда не выходит. Это специально так, чтобы было интереснее.

Она поворачивается к Лорду:

– Можно я надену твой свитер? Я тоже что-то замерзла. Прямо вся дрожу.

Лорд вяло кивает:

– Конечно.

– А какая у тебя голубая мечта? – спрашиваю я Муху. – Та, что никогда не выходит?

Она отмахивается от меня картой:

– Что ты! Нельзя рассказывать, а то никогда не сбудется.

Горбач и Лэри тайком позевывают. Рыжая натягивает мои носки.

– Хорошо у вас, – говорит Муха. – Но вроде уже поздно. Ни у кого нет часов?

– Шшш… – шипят на нее со всех сторон, и удивленная Муха зажимает себе рот.

– Чего? – бормочет она в ладонь. – Я что-то не так сказала?

– Не стоит упоминать в присутствии Табаки вот это самое, что ты только что упомянула, – говорит Горбач, качая головой. – Правда, не стоит.

– А чего я такого упомянула? – шепотом спрашивает Муха. – Я уже и сама не помню.

Горбач и Лэри стучат себя по запястьям и таращатся на несуществующие часы. Лэри, подразумевая меня, с преувеличенным отвращением, но бедную Муху его вид окончательно запутывает.

– Что это? – спрашивает она. – Болезнь какая-то?

От этого разговора, и особенно от жестов, меня начинает тошнить. Слегка. Обиженный, что они заостряют внимание на моих психических аномалиях, отползаю под кровать и зажимаю уши – пусть себе обсуждают. От одного упоминания часов я еще никогда не впадал в буйство – это всем известно. Когда выползаю, говорят уже о другом. И вообще собираются.

Девушки стоят без одеял, у Мухи из-под серого свитера Лорда торчит собственный, пестрый. Одергивая оба, она любуется своим отражением в полированной дверце шкафа и

весело скалит зубы. Лэри, натягивая сапоги, поет дифирамбы ее ременной пряжке, которую я прозевал. Македонский сворачивает одеяльную скатерть. Сфинкс и Слепой тоже собираются, а Лорд, отъехавший в угол, чтобы освободить пространство, следит оттуда за Рыжей, как охотник за дичью, пристально и жгуче.

Чтобы ничего не пропустить, выползаю совсем. Хотя пропускать уже нечего: гости уходят, вечер давно стал ночью, диджей приветствует страдающих бессонницей – еще чуть-чуть, и все впадут в предрассветный ступор. Самое печальное из состояний. Не все могут болтать ночь напролет, не теряя при этом бодрости, как, например, я. Рыжая до сих в моих носках и, вроде бы, так и собирается уходить, значит, есть надежда, что придет еще. Хотя, может, конечно, просто передать с кем-нибудь носки.

– Пока, – говорят они с Мухой мне, Лорду и Македонскому. Все остальные намерены их провожать. С фонариками.

– Пока, Джонатан, – говорю я Рыжей. – Приходи еще.

Она неопределенно кивает и косится на Слепого. Слепой, конечно, не в курсе, но мог бы и догадаться, потому что остальные честно выдерживают паузу перед тем, как начать ее уговаривать, уступая ему первенство. Заодно уговаривают и Муху, а Лэри, хихикая, даже предлагает им прихватить с собой Длинную Габи. Совсем дурак.

Наконец они выходят. Всей компанией. Остаемся мы с Македонским, Курильщик и Лорд, который с уходом Рыжей сразу теряет всю сверкливость и огненность, сделавшись тусклым и мрачноватым.

Влезаю на кровать и начинаю приводить ее в порядок. Расстелив пакет, стряхиваю на него пепельницы и огрызки того и этого, отрываю от прутьев спинок катышки жевательной резинки, сгребаю в кучу учебники и тетради. Когда весь беспорядок сместился к подножию постели, раскапываю себе в изголовье нору и ныряю в нее. Темно и уютно, тихо шваркает веник Македонского, а Лорда вообще не слышно. Нагоняю на себя немного сонного тумана, совсем слегка, для большего уюта, и начинаю вспоминать.

Джонатана. Призрака нашей комнаты. Наверное, за всю историю Дома, только у нас был свой собственный призрак, и мы этим очень гордились. Не сосчитать, сколько раз мы обсуждали его подарки, пытаясь угадать кто он, сколько устраивали засад и ловушек, в которые он ни разу не попался. Что окончательно убедило всех в его нечеловеческом происхождении. Сначала мы подозревали ближайших соседей. Потом старших. Но ни те, ни другие не могли ничего знать о наших ловушках и засадах, а Джонатан каким-то образом узнавал. Отчаявшись поймать его самого, мы пробовали вычислить его по почерку. Неделями собирали образцы, выкрадывая из учительской тетради, оставленные для проверки. У нас их скопилась целая куча, и мы как раз собирались ее уничтожить, когда на нее наткнулся уборщик и выдал нас дирекции.

Лежу, перебирая в памяти события тех дней. Смешно. Никому из нас и в голову не пришло стащить хоть одну девчоночью тетрадь. Потому что Джонатан, ясное дело, был мужчиной. Мы одного не понимали: почему он не придумал себе более интересную кличку, почему выбрал имя? Когда надежда вычислить его исчезла, мы стали писать ему записки.

«Почему Джонатан?»

Вместо ответа нам была оставлена тонкая книжка про чайку. Мы прочли ее друг другу вслух, как было у нас тогда принято. Из-за Слепого, из-за Красавицы, читавшего по слогам, и из-за Слона, так и не одолевшего алфавит. Это повелось как-то само собой. Лучшим чтецом был, конечно, Волк, и ему доставались самые длинные куски, а худшим, по общему утверждению, был я. Мы узнали все про чайку Джонатана, но и это не помогло нам понять, кем был наш тайный гость. Книжка не была библиотечной и улик не прибавила, а громкие упоминания о чайках не вывели на предполагаемого хозяина книги. Из старших книжку читали почти все, из младших – только мы.

«Ты чайка?» – спросили мы Джонатана в следующей записке. Джонатан промолчал, но оставил подозрительное бурое перо. Перо мы сохранили и показывали всем, кто хоть немного разбирался в орнитологии. Знатоки сошлись на том, что оно не чаячье, но сказать, чье именно, не смогли.

Я вспоминаю все это и еще много разного из тех времен, засыпаю, просыпаюсь, опять

вспоминаю – и вдруг до меня доходит, что я упустил возможность раскрыть одну из загадок, мучивших нас в детстве. Как она узнавала про наши засады? Откуда? То, что Джонатаном оказалась Рыжая, абсолютно ничего не объясняет. Чем больше я думаю, тем делается обиднее, что не догадался спросить. Теперь придется ждать ее следующего прихода. А она, может, и не придет больше. От таких мыслей сон окончательно улетучивается. Ворочаюсь и вздыхаю, обзываю себя глупцом. Ну я, допустим, не сообразил, а что же остальные, якобы умные? Никто не спросил о самом главном! А может быть… Может, и спросили. Даже наверняка! Встряхиваюсь, высовываюсь из норы и осматриваюсь.

Спят. Все как один, свински посапывая. Курильщик в ногах, Сфинкс слева, а Лорда что-то не видать, хотя на подоконнике какой-то романтически уединившийся силуэт любуется звездами, и это, скорее всего, он. Пихаю Сфинкса в бок.

– Эй, проснись! Мне срочно нужно кое-что узнать!

– Табаки! Скотина! – Сфинкс поднимается, сонно мотая лысиной. – В жизни не встречал второго такого вредного типа! Чего тебе?

– Ты случайно не догадался спросить, как она узнавала о наших засадах? Вот это самое главное и интересное?

– Догадался, – ворчит Сфинкс, ложась обратно на подушку. – Но тебе не скажу, потому что ты ведешь себя, как свинья.

– Сфинкс! Ну, пожалуйста! Я ведь не засну. Ну скажи… – тихонько пихаю его в процессе молений. – Скажи, Сфинкс…

Он опять садится:

– Черт бы тебя побрал, Табаки! Я бы все тебе рассказал, когда мы вернулись, если бы ты не спал! Я, между прочим, пощадил твой сон, и хотя бы из благодарности…

– Я не спал! – возмущенный, вылезаю из норы целиком. – Вот же, видишь, я совсем одетый? А если бы спал, то был бы в пижаме.

– Понятно. Я должен был раскопать твое гнездо и проверить, одет ты или в пижаме.

– Должен был! Тем более что я вовсе не спал. Я размышлял.

Слепой садится на своем напольном матрасе:

– Да скажи ты ему, Сфинкс! Он же, если не выяснит, всех нас к утру изгрызет.

– Она все узнавала от Слона, – нехотя признается Сфинкс. – Всего-навсего. А взамен разрешала потрогать свои волосы.

Я сразу вспоминаю. Как только Слон видел Рыжую, он начинал тянуться к ее волосам и пыхтеть: «Дай! Дай!» Что-то очень необычного цвета там, где у других людей не растет ничего яркого – только это он и видел. А большего всего на свете Слон любил трогать необычное: будь то мыльный пузырь, кошачий хвост или горящая спичка. Даже вздыхаю от разочарования. Такое прозаичное объяснение самой неразрешимой загадки детства. Лучше было бы не знать.

– Надо же, – говорю. – Как все просто и неинтересно.

– И стоило меня из-за этого будить? – мстительно спрашивает Сфинкс.

– Стоило. Я бы не вынес неизвестности. Теперь уже можно спать.

Слепой закуривает, и Сфинкс перебирается поближе к нему перехватывать затяжки. Нора моя разворочена, придется сооружать новую. Напевая, складываю подушки. Тайны раскрыты, Джонатан разоблачен! Если вдуматься, то это ужасно здорово, и нечего расстраиваться из-за всяких мелочей.

Истина дороже всего. Спите спокойно, дети.
Правда пришла в ночи. И постучалась в дверь.
Рухнул снежок на доску! Следом вошла она!
И принесла свет истины. Вот как было дело…

– Она тебе нравится? – спрашивает Сфинкс у тенеобразного Слепого. Обрываю песню, чтобы послушать ответ.

– Нет, – отвечает Слепой, поразмыслив. – Не очень. В детстве у нее была мерзкая

привычка сбивать меня с ног и уноситься хохоча. Это жутко действовало на нервы. Лось запретил мне трогать девчонок, а то я бы ее поколотил.

– Верно, – говорит Сфинкс задумчиво. – Она тебя вечно толкала. Я никак не мог понять почему. За ней такого не водилось.

Сажусь у лаза в свежевырытую нору и обнимаю подушку Сфинкса.

– Да, – говорю. – В цивилизованных мирах маленькие мальчики дергают девочек, которые им нравятся, за волосы и забрасывают им в сумки дохлых мышей. Не говоря уже о подножках. Так они выражают свою любовь. Это повадки, заимствованные у первобытных предков. Тогда ведь все было просто. Выбрал, полюбовался, приложил костью мамонта по макушке – свадьба, считай, состоялась. Более поздним поколениям было интереснее заглянуть под длинные юбки своих сверстниц, но те тоже были не дуры и носили снизу кружевные панталоны. К тому же вид плачущей девочки, забрызганной грязью, так трогателен и вызывает такую бурю чувств в душе влюбленного! Они так хороши в слезах!

– Не думаю, что Слепой был таким уж симпатичным, когда его сбивали с ног, – бормочет Сфинкс. – Не говоря уже о панталонах и слезах. Ты что-то чересчур расфилософствовался, Шакал.

– Я же выше подчеркнул, что все это принято в цивилизованных обществах. У нас, естественно, все наоборот.

– Давайте спать, – предлагает Слепой. – А то еще окажется, что Черный все детство был от меня без ума, оттого и лупил с утра до ночи. Чтобы посмотреть, как я прекрасен в слезах.

– А что? – фыркает Сфинкс. – Интересная версия. По ней, правда, выходит, что в меня он вообще влюбился с первого взгляда. Мои слезинки его радовали больше твоих. Я на них не скупился.

– Слушайте, хватит сплетничать, – гудит сверху голос Горбача. – Человек спит, а вы бог весть что про него болтаете.

– Сыграй нам что-нибудь тихое, лохматый, – просит Сфинкс, посмотрев вверх. – Ночную серенаду. Шакал спугнул наши сны. Остались одни сплетни. Отвлеки нас от этого гнусного занятия.

– Сыграй. Заодно перебудим всех остальных, – злорадствует Слепой.

Горбач шуршит чем-то, свешивает ноги и начинает играть. Забираюсь в нору, чтобы уснуть под флейту, пока он не перестал. Но голову не прячу, потому что Сфинкс со Слепым не ложатся и вполне еще могут о чем-то интересном поговорить. Так и сидим. Они молчат, и я молчу, а Горбач играет, отвлекая нас от сплетен.

ДОМ
Интермедия

Войдя в десятую комнату, Кузнечик почуял что-то. Перемену, невидимую глазу. Седой сидел над шахматами, подперев подбородок костяшками пальцев, и думал.

Кузнечик сел на пол.

Седой не здоровался никогда. Он вел себя, как будто приходов и уходов не было, как будто их встречи не разделяли дни и часы. Кузнечик успел к этому привыкнуть, и ему это даже нравилось.

Он увидел коробку амулетов. Пустая, с откинутой крышкой, она лежала на матрасе рядом с шахматной доской. *Вот. Вот что изменилось. Почему?*

Седой поймал его взгляд и запустил длинные пальцы в коробку. Поднял их к свету и потер, стряхивая пыль.

– Больше ничего не осталось. Я все раздал.

Вытянув шею, Кузнечик рассматривал дно коробки.

– Все-все? – переспросил он смущенно.

– Да, – Седой захлопнул крышку и убрал пустую коробку.

– И больше не будет амулетов?

Загрустивший Кузнечик ждал объяснений. Прядь волос лезла ему в глаза, он не убирал ее, боясь шевельнуться.

– Я уезжаю. Домой.

В комнате Седого эти слова прозвучали странно. Как будто не он их произнес. Разве мог у него быть дом? Седой был сам по себе. Он родился, вырос, и состарился на этом самом месте. Так думалось смотрящему на него и говорящему с ним.

Кузнечик повозил ботинком по полу, черневшему винными пятнами.

– Почему?

Седой переставил на доске одну фигуру и сбил другую ногтем.

– Мне восемнадцать, – сказал он. – Давно пора.

И этим тоже что-то испортил. Как упоминанием о доме. Ему не могло быть сколько-то лет. Он был вне возраста и вне времени, пока не произнес расколдовывающие слова, назвав свой возраст. И это даже не было объяснением.

– Другие уедут летом. Почему ты не подождешь их?

– Здесь плохо пахнет, – сказал Седой. – Чем дальше, тем хуже. Ты понимаешь, о чем я говорю – у тебя есть нюх. Сейчас плохо, но в самом конце будет хуже. Я знаю, я уже видел такое. Я помню прошлый выпуск, тот, что был до нашего. Поэтому хочу уйти раньше.

– Ты убегаешь? От своих?

– Убегаю, – согласился Седой. – Со всех ног. Которых нет.

– Боишься? – удивился Кузнечик.

Седой поскреб подбородок перевернутой королевой.

– Да, – сказал он. – Боюсь. Когда-нибудь – еще не скоро – ты поймешь. И тоже испугаешься. Выпускной год – плохое время. Шаг в пустоту, не каждый на это способен. Это год страха, сумасшедших и самоубийц, психов и истериков, всей той мерзости, что лезет из тех, кто боится. Хуже нет ничего. Лучше уйти раньше. Как это сделаю я. Если есть такая возможность.

– Ты поступаешь смело?

Теперь удивился Седой.

– Не знаю. Скорее, наоборот.

Кузнечику захотелось спросить про себя и про свой амулет, но он не спросил. Седой готовился к шагу в пустоту, к смелому поступку, который казался трусостью. В такой момент надо было молчать и не мешать ему. И Кузнечик промолчал.

– Я забираю только этих двух обжор, – Седой показал на аквариум. – Вместе с их комнатой. Они ничего не заметят. Даже не поймут, что переместились в наружность. Хотел бы я быть на их месте.

Кузнечик посмотрел на рыб. Он боится… Ему стало жалко Седого. Его и себя. Какой теперь станет эта комната? Логово Сиреневого Крысуна. Без Седого оно перестанет быть интересным. Перестанет быть «Логовом». Станет просто спальней номер десять.

– Я про тебя не забыл, – Седой опустил королеву на черную клетку. – Я думаю о тебе так часто, что это даже странно. Как ты думаешь, отчего так?

– Из-за амулета? – предположил Кузнечик.

– При чем здесь амулет? Он тебе не нужен. И все эти задания тоже. Ты открыт. В тебя все влетает само.

– Он мне нужен, – Кузнечик покачался на корточках. – Очень нужен. С тех пор, как он у меня, все хорошо.

– Я рад, – Седой вытряхнул сигарету из пачки. – За него больше, чем за остальные. И за тебя тоже.

Кузнечик вдруг заволновался:

– Что было во время прошлого выпуска, Седой? Что ты тогда увидел такого, что не хочешь видеть теперь?

Седой вертел в руках сигарету, не зажигая ее:

– Зачем рассказывать? Летом увидишь все сам, своими глазами.

– Я хочу знать сейчас. Скажи.

Седой посмотрел на него из-под полуопущенных век.

– Тогда это было похоже на тонущий корабль, – сказал он. – А в этот раз будет хуже. Но ты ничего не бойся. Смотри и запоминай. И не повторяй потом чужих ошибок. Каждому в жизни дается два выпуска. Один чужой. Чтобы знать. И один собственный.

– Почему в этот раз будет хуже?

Седой вздохнул:

– Тогда у Дома был один вожак. Теперь их двое. Дом разделился на два лагеря. Это всегда плохо, а в год выпуска – это самое плохое, что может случиться. Больше ни о чем не спрашивай. Возможно, я ошибаюсь и говорю глупости. Будет или так, или по-другому, а скорее всего произойдет что-то третье, чего ни я, ни ты не можем себе представить. Не стоит загадывать наперед.

– Хорошо, – Кузнечик кивнул.

Седой смотрел на него как-то странно. Как будто издалека.

«Он прощается, – догадался Кузнечик. – До лета еще далеко, но он прощается уже сейчас. И такого разговора у нас больше не будет».

Седой вздохнул, склонившись над доской.

– Садись ближе. Научу тебя этой игре, – его пальцы забегали по клеткам, переставляя фигуры. – Твоя армия – белые. Моя – черные. Пешки ходят только вперед и на одну клетку. Но первый шаг могут делать на две.

Седой опять посмотрел на Кузнечика.

– Не думай о плохом, – сказал он. – Выкинь из головы все, что я наговорил. Смотри сюда…

Он пролез через чердачное окно и с любопытством огляделся. Больше всего это напоминало пустыню. Голую, серую, растрескавшуюся пустыню, в которой росли антенны вместо кактусов. И холмиком – другой чердак, казавшийся отсюда совсем маленьким. Со всех сторон было только небо. Кузнечик жался к чердачному окну, не решаясь отойти от него. Волк подмигнул и полез на чердачную крышу. Жесть загремела у него под ногами. Он сел, свесив ноги, и поманил Кузнечика:

– Иди сюда. Ставь ногу на ящик.

Кузнечик влез наверх и осторожно присел рядом. Перевел дыхание, осмотрелся. Они были на самой верхушке Дома. Выше крыши. Отсюда была видна наружность – розово-цветная, отмытая дождями, готовая к лету. Пустырь, обнесенный забором, круглые верхушки деревьев, лабиринты обрушенных стен – место, где, к ужасу их родителей, любили играть наружные дети. В развалинах мелькали яркие пятна их дождевиков. По улице ехал мальчик на велосипеде. Кузнечик посмотрел назад. С той стороны улица была шире, и вдали можно было разглядеть автобусную остановку – ту самую, с которой привела его мать в день, когда он впервые вошел в Дом.

– Меня убьют, если узнают, куда я тебя затащил, – сказал Волк. – Но это хорошее место. Тебе тут нравится?

– Не знаю, – честно ответил Кузнечик. – Надо подумать. – Он опять посмотрел вниз. – Наверное, это очень «думальное» место. Только непонятно, хорошие вещи тут думаются или не очень.

– А ты расскажи, о чем думаешь, – предложил Волк. – А я скажу, хорошо это или плохо.

Кузнечик следил за автобусом, пока тот не скрылся из виду. Потом посмотрел на Волка.

– Ты только не смейся. Там, где мы жили раньше – я, мама и бабушка, – рядом с домом был парк. С одной стороны. А с другой – большой магазин, а если пройти подальше – детская площадка. В магазине продавали зеркала. И еще много разного. И посреди всего этого стоял наш дом. На этой улице рядом с парком и магазином с зеркалами. Понимаешь?

Волк покачал головой:

– Пока нет.

– Когда я вспоминаю тот наш дом, я вспоминаю и все это. Где он стоит, и что там вокруг. Понимаешь?

– Уже да, – Волк потер ухо. – Здесь этого нет?

– Совсем нет. Слишком нет. Как будто все это, – Кузнечик кивнул на улицы. – кем-то нарисовано. Картинка.

Волк посмотрел вниз.

– И если выйти, – продолжил он задумчиво, – то можно проделать в этой картинке дыру. Бумага порвется и будет дырка. А за ней что?

– Не знаю, – признался Кузнечик. – Я как раз об этом и думал.

– Никто не знает, – сказал Волк. – И не узнает, пока не выйдет. Лучше и не думать.

– Значит, это место плохое для думанья. Если о чем-то лучше не думать, а думается только про это. А как у тебя?

– У меня по-другому, – Волк подтянул ноги и положил локти на колени. – Я люблю крышу. Это и Дом, и не Дом. Как остров посреди моря. Как корабль. Как край земли. Как будто отсюда можно грохнуться в космос – и падать, падать, но никогда не упасть. Раньше я здесь играл сам с собой во все это – в море, в небо…

– А сейчас?

– А сейчас не играю. Давно сюда не приходил.

Прямоугольник крыши блестел осколками стекла, как рассыпанными алмазами. Они сверкали и искрились на солнце. На коричневых от дождей газетах лежали пустые бутылки. И сиденья от стульев, давно потерявшие цвет.

– Кто все это оставил? – спросил Кузнечик.

– Старшие, наверное. Не я один знаю это место. Сюда многие ходят. Здесь хорошо, когда дождь и ветер. Совсем по-другому, чем сейчас. Корабль в бурю. Можно бегать и скакать под дождем, и точно знаешь, что никто на тебя не смотрит из окон. Главное – не увлечься и не съехать на покатую часть.

Кузнечик представил Волка бегающим по скользкой мокрой крыше под дождем, и поежился.

Волк засмеялся:

– Ты просто не пробовал. Вот, гляди…

Он встал, покачнувшись, выпрямился и, запрокинув голову, крикнул в небесную синь:

– А-а! О-о! У-ху!

Небо проглотило его крик. Кузнечик смотрел, широко раскрыв глаза.

– Не бойся. Давай.

Волк помог ему подняться, и они закричали вместе. Неуверенный крик Кузнечика небо съело мгновенно. Он крикнул громче, потом еще громче. И вдруг понял, как это здорово – кричать в небеса. Лучше этого ничего быть не может.

Он кричал и кричал, зажмурившись от восторга, пока не охрип. Они с Волком одновременно сели на нагретую жесть чердачной крыши и посмотрели друг на друга сумасшедшими глазами. Стрижи пронеслись над ними черными

ножницами. Ветер подул в разгоряченные лица. Было очень тихо и звенело в ушах. «Я какой-то пустой, – подумал Кузнечик. – Как будто все, что было во мне улетело. Остался один я, пустой, и мне хорошо». Волк схватил его за свитер:

– Эй, осторожно. Не свались. Ты как пьяный.

– Мне хорошо, – пробормотал Кузнечик. – Мне здорово.

Небо делили провода антенн. На них качались комочки воробьев. Ветер ворошил волосы. На носу у Волка еле заметно проступали веснушки. «Пахнет летом», – вдруг понял Кузнечик. Уже по-настоящему.

В спальне копались в коробке с фотографиями.

– Скорее! – крикнул им Горбач. – Глядите, чего притащили Максо-Рексы!

Они подошли и посмотрели.

Это были фотографии старших. Сделанные не в Доме. Сиамец ткнул в одну из карточек.

– Вот эти воротца, помните, слетели с петель? Оттого, что на них Колбаса раскачивалась.

– А вот моя голова! – показал второй Сиамец на расплывчатое пятно в углу другого снимка.

– А вон наше окно виднеется!

Они толкались, жадно выискивая хоть что-то знакомое там, где основное место занимали старшие. И находили. За спинами, за плечами, отдельными кусочками, тут и там. И эти кусочки они пытались связать в одно целое.

Кузнечик отошел и сел на свою кровать. Он не любил эти разговоры. Две поездки в летние санатории он пропустил, а в третий раз их отправили в шикарный оздоровительный центр, где персонал так ответственно относился к своим обязанностям, что ни о каких развлечениях сверх запланированных и речи быть не могло. Место было замечательным, но ни бассейны, ни спортивные залы, ни живые лошади не доставляют удовольствия, когда за тобой повсюду следует армия помощников. Судя по разговорам, которых вдоволь наслушался Кузнечик, таких гнусных каникул у жителей Дома еще не бывало. Вообще-то если бы не эти разговоры, он бы считал, что неплохо провел время. Но люди Дома были консервативны. Вне Дома они признавали только два места отдыха. Заброшенную летом лыжную базу где-то в горах и старый санаторий на побережье. Все остальное не шло с ними ни в какое сравнение. Те два места тоже называли Домом, словно они были его продолжением, его отростками, протянувшимися в необозримую даль. Оба Дома Кузнечик знал так, как будто бывал в них не раз; и даже предпочитал тот, что стоял на берегу моря. Самый старый. Скрипящий, хрипящий, с проваливающимися кроватями и незакрывающимися шкафами, с облезлыми от сырости потолками и стенами, с отстающими половицами. Где на четыре спальни одна душевая, и чтобы попасть в туалет, надо отстоять очередь.

– У нас в спальне капало с потолка!

– А под Слоном рухнул стул, помните?

– А Спорт пробил дырку в стене, когда постучал соседям, чтобы они замолчали…

– А в ванной водились сороконожки!

– И мокрицы, и водоплавающие жуки!

Мальчишки перебрасывались фразами, как футбольным мячом, с упоением перечисляя недостатки Того Дома, а Кузнечик слушал и умирал от зависти. Тот Дом, младший брат Дома этого. Может, даже между ними существует тайная связь. Может, они обмениваются крысами, привидениями или еще чем-нибудь интересным. В окна Того Дома можно увидеть море. А по ночам его можно услышать. Воспитатели там немедленно влюбляются в загорелых девушек с пляжей и забывают о своих обязанностях, а когда идет дождь, дом протекает, и

все закрываются в нем, как в раковине, проклиная погоду, и до утра играют в карты – и старшие, и младшие, и воспитатели. Играют, слушая звон капель в тазах, расставленных там, где течет крыша.

– Вы стащили их у старших? – спросил Кузнечик про фотографии.

Сиамцы заморгали:

– Ну и что? У них таких фоток целые вагоны, а у нас ни одной. Пусть будут хоть эти.

– А я ничего и не говорю. Просто спрашиваю. А где Вонючка?

– Его вызвали к директору, – сказал Фокусник. – И как сразу стало тихо, правда?

Вонючка въехал, сверкая значками от ворота до колен.

– Слыхали? – взвизгнул он придушенно. – У директора в кабинете лежит четырнадцать посылок! И куча писем! Но письма – это фигня. Главное – посылки! Все мои!

– Ответы на те письма? – догадался Горбач.

– Они самые, – Вонючка закружил по комнате, мелькая спицами колес.

– Нет, вы когда-нибудь о таком слыхали? Они мне их не отдают. Говорят: кто послал и зачем? А какое их дело? Это мне послали, это мои посылки! Значит, они должны мне их вручить.

– И ты вот так спокойно уехал? – не поверил Волк.

– Еще чего! Я с ними поскандалил. Сейчас отдохну и поеду скандалить дальше. Только мне нужен транспарант. Нарисуете?

Кузнечик рассмеялся.

– Ничего смешного! – возмутился Вонючка. – Куча полезных вещей гниет в директорском кабинете! Это не смешно. Давайте быстрее… Рисуйте и пишите! – он подкатил к тумбочке и зашуршал бумагой. – У нас что, нет большого листа? Не понимаю. Такая необходимая в хозяйстве вещь…

– Лучше на простыне, – загорелся Фокусник. – Разрежем ее на две половинки… И еще нужны две палки для ручек.

– Одна, – отрезал Вонючка. – Одной достаточно. Другая рука мне будет нужна. Чтобы дудеть в трубу.

Они лежали на полу перед расстеленными кусками простыни и задумчиво грызли кисточки.

– Что-нибудь вроде «Ирландию – ирландцам!» – наседал Вонючка. – Или «Руки прочь от…» чего-нибудь.

– А может, «Посылки – хозяину»? – предложил Горбач.

– Тоже можно, – нехотя согласился Вонючка. – Хотя это и банально.

Красавица гладил банки с краской. Слон рисовал на полу солнце. Волк начал синим цветом выводить слово «посылки».

– Ровнее, ровнее, – волновался Вонючка. – И крупнее.

– Можно просто взломать замок, – сказал Сиамец Рекс. – И ночью все унести. Тогда и писать ничего не надо.

– Ну нет! Красть то, что и так свое? Пусть сами выдадут! – Вонючка поправил простыню. – Еще пожалеют, что так поступили. Еще будут умолять: возьмите, возьмите скорее!

– Четырнадцать посылок, – уважительно вздохнул Фокусник.

– А я о чем! Есть из-за чего трудиться.

Когда транспарант: «Посылки – хозяину!» был готов, Фокусник потребовал себе такой же. Волк сказал, что два одинаковых плаката – это неинтересно, и пока сохли «Посылки», они написали на другой половине простыни: «Нет директорскому произволу!», а на листе ватмана: «Руки прочь от достояния уча-

щихся!». Потом к простыням приклеили ручки.

– Скорее, скорее! – торопил Фокусник.

– Можно нам тоже пойти? – спросил один из Сиамцев.

– Подойдете позже, – строго сказал Вонючка. – Когда мы выдохнемся. Тогда вы немного покричите «Долой!» и погромыхаете чем-нибудь. Пока мы передохнем.

Красавица вдруг заволновался и, заикаясь, принялся объяснять:

– Четыре яблока. Четыре. Это много!

– Красавица сделает сок, – перевел Волк. – Сиамцы отнесут его вам. Для поддержки ваших сил. Сок из четырех яблок.

Красавица засиял. Вонючка похлопал его по руке:

– Спасибо. Это будет великий вклад в наше общее дело. И я даже дам тебе лимон, чтобы вклад был побольше.

Фокусник, Вонючка и Горбач взяли транспаранты и ушли. Сиамцы начали искать что-нибудь гремящее. Красавица суетился вокруг соковыжималки. Слон принес ему еще одно яблоко. Волк лег на пол и закрыл глаза.

Кузнечик сел на свою кровать. Ему очень хотелось посмотреть, что станет делать Вонючка, но он стеснялся. Это будет что-то очень шумное и стыдное, на что сбежится поглазеть весь Дом. Сиамцы нашли салатницу, капкан и половник и принялись, обходя Волка, собирать обрезки бумаг и закрывать банки с краской.

– Четырнадцать посылок, – шептали они друг другу, облизываясь. Красавица благоговейно запустил соковыжималку. Слон держал кастрюльку и смотрел, как она наполняется прозрачно-желтым соком.

Они ушли. Слон нес бутылку с соком. Красавица не нес ничего. Сиамцы несли то, чем собирались греметь. Красавица волновался. Он вписался в дверь только с третьей попытки, когда Сиамцы зажали его боками и вывели, как под конвоем.

Волк лежал на полу. Слепой – на своей кровати.

«Слепой и так все слышит», – подумал Кузнечик. Ему не надо никуда идти. Он и здесь, и там одновременно.

Кузнечик сполз с кровати и сел на пол.

– Седой уезжает, – сказал он. – Навсегда. Его больше не будет в Доме. Он чего-то боится. Чего-то, что случится летом, перед тем, как старшим уходить.

Волк открыл глаза:

– Откуда ты знаешь? Ты что, говорил с ним?

Кузнечик кивнул.

– Он помнит прошлый выпуск. Тех, что были до них. Он говорит, что нет ничего страшнее последнего года.

– Это так, – приподнялся Волк. – Только странно, что он говорил о таком с тобой. Или ты подслушал?

– Нет. Он мне сам сказал. Только мне.

Волк опять лег.

– Все страньше и страньше, – пробормотал он.

Слепой закопошился на кровати. Встал с каким-то пыльным пакетом в руках, подошел к Кузнечику, уронил на него пакет и вернулся на свое место. Кузнечик удивленно принялся разглядывать дар Слепого.

– Что это? – спросил он, потыкав в пакет протезом.

Волк перевернулся, схватил подарок и заглянул внутрь.

– По-моему, это то, что ты хотел, – он вытряхнул на пол кассеты. Ободранные, частью без коробок, они лежали кучей, демонстрируя стершиеся надписи на боках.

– Твои «Дирижабли», – проворчал Слепой. – От которых у тебя мозги съезжают. Тот, кто дал, сказал, что это то самое.

– Спасибо, Слепой, – прошептал Кузнечик. – Где ты их взял?

– Подарили, – холодно отозвался тот. – Тот, кто не мог отказать.

Сразу стало понятно, что он говорит не о Лосе.

– Какая тебе разница? Ты радуйся.

– Еще один шантажист, – проницательно отметил Волк. – Много вас собралось на одну комнату.

«Это Череп ему их дал, – подумал Кузнечик. – Ведь Слепой носит его письма. Череп и не может ему отказать».

Слепой лежал, спрятав руки под мышки. Черные волосы блестели, лица не было видно.

– И кто это тебе не может отказать? – поинтересовался Волк.

Слепой не ответил.

Волк повернулся к Кузнечику:

– Он всегда молчит. Почти всегда. Иногда скажет что-нибудь – и опять молчит. Хотел бы я хоть один-единственный раз услышать продолжение. Просто чтобы знать, есть ли оно вообще.

Кузнечик помотал головой:

– Что ты хочешь услышать?

– Окончание фразы. Чтобы понять, что он имеет в виду. Я не про сейчас говорю, а вообще.

Кузнечик посмотрел на Слепого:

– Слепой всегда говорит понятно, – сказал он. – Даже когда молчит.

Волк скосил на Кузнечика рыжий глаз:

– Тебе понятно. Мне – нет.

– Вот когда ты молчишь, мне ничего не понятно, – признался Кузнечик. – Иногда, когда ты говоришь, тоже.

– Может, хватит? – спросил Слепой. – А то вы оба перестанете понимать, о чем говорите.

– Ты что-нибудь слышишь? – спросил Кузнечик.

– Весь Хламовник там. И много старших. Сиамцы уже вступили. Воют и стучат.

Кузнечик осторожно собрал кассеты обратно в пакет. Их было пять штук. И только две в подкассетниках.

– Как же я буду их слушать? – огорченно спросил он. – На чем? Ведь у нас нет ничего такого.

– Там четырнадцать посылок отвоевывают, – напомнил Волк. – И насколько я знаю Вонючку, среди них обязательно найдется что-нибудь, на чем можно слушать твои «дирижабли».

Кузнечик заволновался:

– Может, мне тоже пойти покричать?

– Там и без тебя много крику, – успокоил его Слепой. – Странно, что директор еще не сдался.

– Через полчаса пойдем, – сказал Волк. – Со свежими силами. Так будет больше пользы.

Кузнечик заглянул в пакет и еще раз пересчитал кассеты. Ровно пять штук. Ни больше ни меньше.

– Что еще тебе говорил Седой? – вкрадчиво спросил Волк.

Кузнечик удивленно посмотрел на него.

– Что уезжает. Что здесь плохо пахнет. Что потом будет хуже. То есть он не совсем так говорил. Ну, в общем, про старших.

– Про наших дорогих кретинов, – уточнил Волк. – Понятно.

Кузнечик нахмурился.

– Почему ты так говоришь о них?

– Потому что это правда.

– И Череп кретин? – возмутился Кузнечик.

– Он – больше всех.

– Теперь давай продолжение. Как ты хотел от Слепого. Чтобы можно было понять. Почему они кретины. А потом, почему Череп?

– Мне нетрудно, – Волк смотрел на Слепого. – Дом один. И хозяин в нем должен быть один. Один вожак на всех.

«И Седой это же сказал, – подумал Кузнечик. – Или что-то похожее».

– Они потому и дерутся. Каждый хочет быть тем, про которого ты говоришь.

– Долго дерутся. Так долго, что можно уже и не драться. Это просто смешно, – Волк покачал головой. – Если среди стольких людей не нашлось никого, кто прибрал бы к рукам остальных с их хотениями и нехотениями, все они ничего не стоят.

– Череп может прибрать всех к рукам!

Волк улыбнулся. Он смотрел на Слепого. Слепой лежал тихо. Может, слушал Волка, а может, далекого Вонючку.

– Странные у тебя мысли, – сказал Кузнечик.

– Это примитивные мысли, – признался Волк. – Детские. На них надо надстраивать этажи. Один, второй, третий, десятый… Тогда они приобретут мудрый вид. А пока старшие – это старшие. Можно только нежиться в их дыму и помирать от зависти, слушая их пластинки. Как один мой знакомый.

– Я не помирал от зависти. Я просто слушал!

– Зато я помирал, – признался Волк.

– Все равно, – упрямо сказал Кузнечик. – Череп не кретин. И Седой не кретин. Ты им просто завидуешь.

– Неужели вы сами ничего не слышите? – спросил вдруг Слепой.

Действительно, теперь было слышно. Отдаленные голоса и крики. Кузнечик заглянул в пакет с кассетами, потом посмотрел на Волка.

– Ладно, пошли, – Волк встал с пола. – Поддержим собственнические инстинкты Вонючки. Чует мое сердце, после сегодняшнего митинга его перекрестят.

– В крокодила? – предположил Кузнечик.

– Крокодил не подойдет. Крокодилы нажрутся – и спят себе, как убитые. А от него слишком много шуму. Не похоже, чтобы он когда-нибудь спал. Или наедался.

Кузнечик спрятал кассеты в тумбочку. Подальше от Сиамцев. Слепой остался лежать.

– Успехов вам, – сказал он лениво.

– Нам придется кричать? – спросил Кузнечик.

– Сообразно обстановке. Посмотрим и решим. Может, и не придется.

Волк пропустил его вперед и вышел следом.

Коридор был почти пуст, но в дальнем его конце, у дверей учительской, толпился народ. Они направились туда. Яркие майки и куртки на спинах старших скрывали место действия не хуже забора. Вонючку видно не было, но было очень слышно. Жестяной грохот и крики «Долой произвол!» раскатывались по всему коридору.

Чем ближе подходили Кузнечик с Волком, тем громче становился шум. Старшие не стояли на месте. Некоторые уходили, смеясь, но вместо них тут же подходили другие. Когда от группы старших отъехал колясник Улисс с брюзг-

ливым лицом, Кузнечик с Волком быстро протиснулись на его место. Так им стало кое-что видно.

В тонких руках Чумных Дохляков покачивались транспаранты. Фокусник стоял, выпучив глаза и стиснув зубы, и держал свой транспарант выше всех. Свекольного цвета Вонючка, увешанный значками, потрясал «посылками – хозяину!». Половинка простыни свисала с ручки так, что разобрать написанное было невозможно, и он просто размахивал ею как флагом. Сиамцы с застывшими лицами яростно барабанили в салатницу и в капкан. Слон с восторгом глядел на происходящее.

Вонючка монотонно завывал:

– Долой произвол! Долой воспитательское самоуправство! Долой!..

– Долой! – хором подхватывали остальные на выдохе.

Слон слабо подвывал. Красавица прятался в рядах колясников, пригибая голову, чтобы не бросаться в глаза. Хламовные стояли тут же полукругом, раскачиваясь в такт жестяной дроби.

Старшие смеялись. Кузнечику показалось, что кричащих намного больше, чем должно было быть. Потом он с удивлением понял, что Хламовные тоже кричат.

– Долой учителей! – визжал Плакса.

– Мир во всем мире! – не к месту заходился Зануда.

Крючок размахивал костылем и требовал:

– Пространство – калекам!

Но Вонючка заглушал всех. С грохотом салатницы и гудением в жестяную трубу его вопли составляли адскую какофонию, вынести которую было невозможно.

Старшие смеялись и затыкали уши.

– Может, директор давно уже выкинулся в окно? – прокричал Волк в ухо Кузнечику.

Директор никуда не выбросился. Целый, хотя и зеленоватый, он появился в дверях учительской и замахал руками, пытаясь перекричать шум.

Директор был маленьким. Седая, воинственно торчащая борода делала его похожим на пирата, но он не курил трубку, не покрывал себя татуировками, и вообще если не считать головы – моряцкой, пиратской, волосатой – был ближе к гному, чем к пирату.

– Внимание малявкам! – крикнул старшеклассник Кабан, подняв два пальца. Старшие захохотали. Вонючка, красный и величественный, махнул лапкой, командуя остановиться. Сиамцы перестали стучать.

– Немедленно… Беспорядки… Молокососы… Прекратить! – прорвался сквозь всеобщий гвалт голос директора.

– Тишина! – скомандовал Вонючка.

Директор вытащил платок и вытер лицо.

– Если мне дадут возможность сказать, – он подождал, пока стихнет смех. – Я надеялся уговорить этого молодого человека поделиться с другими тем, что ему прислали. Но боюсь, что до его согласия я не доживу. Мы еще выясним, откуда и как появились эти посылки. А теперь пусть он их забирает, и поскорее!

Сиамцы засвистели. Горбач зааплодировал. За спиной удрученного директора возник воспитатель Щепка с тележкой. Рядом шел Черный Ральф, спрятав руки в карманы, а замыкал шествие Лось с коробкой, набитой письмами. На тележке лежали свертки. Груда коробок в ярких обертках.

– Это что? Это откуда? – заинтересовались старшие.

– Это посылки хозяину, – объяснил Вонючка и кивнул Горбачу с Фокусником. – Принимайте добро.

Тележка перекочевала от Щепки к Горбачу. Фокусник сценичным движением набросил на свертки простыню с надписью «Руки прочь от достояния

учащихся!», скрыв их от посторонних глаз. Дохляки двинулись к Чумной, толкая перед собой тележку. Мальчишки Хламовника расступались, провожая их недоумевающими взглядами. Старшие, пропуская шествие, любовались Вонючкой и заглядывали под простыню.

– Крутой малявка, – уважительно заметил Хромой. – Далеко уползет!

Вонючка кивал и расточал зубастые улыбки.

– Минутку, – сказал он, останавливая шествие. – Один момент!

Он подъехал к тележке и порылся под простыней. Извлек самый маленький сверток в звездно-пупырчатой упаковке и бросил его Зануде:

– Это вам, ребята. За поддержку.

Старшие зааплодировали. Зануда ошарашенно уставился на сверток.

– Брось сейчас же! – прошипел Спортсмен, проталкиваясь к нему. – Брось подачку колясника! Быстро!

– Не брошу, – Зануда прижал сверток к груди. – С чего это? Сам бросай свои вещи, если не жалко!

Спортсмен влепил Зануде затрещину. Колясники возмущенно загалдели. Догоняя Дохляков с тележкой, Кузнечик обернулся.

Директор все еще стоял в дверях учительской. Воспитатели с двух сторон похлопывали его по плечам. Директор пустым взглядом смотрел перед собой.

«Может, он все таки сошел с ума, – подумал Кузнечик. – Мало ли…»

– Тележку вернете! – прокричал воспитатель Щепка, сверкнув стеклами очков. – Негодяи!

СОВСЕМ ДРУГОЙ КОРИДОР

Возвращаясь к себе, она всякий раз удивлялась разнице двух коридоров и не могла понять в чем секрет. Не в том, конечно, что их коридор был у́же и короче, не в окнах (которых не было там), не в ковровой дорожке… И только в тот вечер она поняла. Разница была в том, что их коридор не был коридором.

Старый директор… бывший директор (белая борода, а лица она уже не помнила) благоволил к девушкам, и это отразилось в разнице между двумя коридорами – их и мальчиковым. Белобородого не было уже давно, а привилегии остались. Одна спальня на четверых – пусть маленькие комнатки-кельи, но только четверо, и всегда можно захлопнуть дверь. Это и ковровые дорожки, лысеющие по краям, шторы на шнурах и телевизоры. Когда-то белобородый поставил их в каждой спальне, но его не было уже давно, телевизоры ломались, пока не осталось только два… Сейчас один из этих двух светился у стены, а перед ним лежали и сидели на выуженных из спален матрасах и расстеленных пледах, внимая *(чего они, интересно, ждут оттуда?),* особи женского пола, собравшиеся из всех спален. Пробираясь в темноте меж их руками и ногами, наступая на подушки и в блюдца с яблочной кожурой, она наконец осознала разницу. Их коридор не был чем-то отдельным от спален, он был одной общей спальней, местом, где с наступлением ночи можно было заснуть.

Голубоватый свет прыгал по лицам. Она выбралась из гущи лежащих тел и, отворив дверь (если бы было светло, можно было бы разглядеть на ней смазанное изображение кошки), вошла в спальню. Горчичный сумрак, четыре матраса на полу и блеск глаз той, кого называли Кошатницей. Она включила свет. Швырнула на пол рюкзак:

– Это я. Почему так тихо?

– Гуляют, – ответил мягкий голос. – Разве ты не видела там?

«Там» чуть заметно подчеркнуто, чуткое ухо расслышит.

– Все рассосались по спальням, – ответила она нехотя. – Я никого не видела. А почему ты в темноте? У тебя болят глаза?

– У *меня* нет.

Подчеркнуто. Едва заметно. Имеющий уши сразу спросит: а у кого же они болят? И

получит ответ. Кошатница обладала двумя способами воздействия на окружающих: голос и глаза. И оба использовала в полную силу. Не считая конечно, еще котов. *В эти глаза – над ворохом одежды и тремя пушистыми шкурками, лучше не смотреть…* Она вытряхнула содержимое карманов на матрас. Дары «оттуда», от «там» и от «тех». И каким бы они ни были хламом, храниться им в ящиках, бережно завернутыми в платки и в серебристую бумагу, потому что подарки не выбрасывают и не дарят другим.

Ночь бездонными дырами в окнах. Кошатница встряхнулась, и с пиджаком на матрас упали три одинаковых дымчато-серых кота, обнажая костлявые плечи. Лицо – длинное, как клинок, бесцветные волосы – секущими иглами. Коты полезли обратно, она отогнала их, свистом отослав одного в нужную сторону. Кот просеменил к окну, дернул штору за шнур – и черные дыры окон затянуло белым. Брезгливо потряхивая лапой, кот вернулся на матрас. Ах, если бы они еще умели варить кофе, как неоднократно повторялось жадными до зрелищ!

– Если бы они умели, – прошептала Рыжая. Она не различала котов, их никто не различал, кроме хозяйки. Сев рядом с дарами, Рыжая принялась их рассеянно перебирать. – У кого же болят глаза?

Кошатница обволоклась пиджаком и котами.

– У Крысы, – сказала она. – Которая вернулась.

Рыжая настороженно вытянула шею:

– Откуда на этот раз?

– Разве поймешь? Говорит, со дна реки. Где водоросли и песочные люди. Хватит с нас и одной Русалки, как ты думаешь?

– Да… – Рыжая подобрала с пола волос. Бесконечный Русалочий волос. Выуживая его, она подняла руку, но конец так и остался на паркете, невидимо поблескивая, скручиваясь и убегая под матрас. Коты хищно следили со своих мест. Они и глаза их хозяйки. Рыжая встала.

– Пойду поищу ее. Хочу послушать про реку.

Коридорный выключатель – у каждой двери. Еще одна привилегия. Возмущенные крики встретили свет – и стихли, недовольно пришепетывая. Осмотревшись, она нашла. У стены, за спинами смотревших телевизор, горбилась одинокая фигура в кожаной куртке. Свет погас. Рыжая пробралась сквозь тела и зыбкий дух парфюмерии и, присев, затрясла Крысу за плечо.

– Крыса! Эй, проснись!

– Зачем ее будить? Не стоит, – застонали голоса у экрана. – Пусть себе спит. Пусть видит сны…

Рыжая тряхнула сильнее.

Даже в темноте они обожгли, сумрачно горящие глаза.

– Зачем отпугивать сны? Зачем рвать одежду? Зачем?

Девушка, худая, как скелет (о том, что это девушка, надо было суметь догадаться), черные лужи глаз, черный лак прилипших к голове волос, черная куцая куртка с эполетами, бледные губы. Крыса, та, что Летун – уходящий в наружность – с полумесяцем бритвы (под каким из ногтей?), – встала с пола, затуманенно глядя на экран.

– Боже! – сказала она. – Просвещаются…

Перед телевизором виновато завозились, скрипя половицами.

– Пошли.

Рыжая дернула Крысу за рукав куртки. Та покорно пошла следом, круша каблуками встречные части тел. Но… ни писка, ни крика, потому что никто не знает, во-первых, в своем ли уме, а во-вторых, под каким из ногтей?

– Мы ждали, что ты вернешься без носа и без пальцев. Что ты их отморозишь, и они отвалятся.

– Как когда-то хвост?

Крыса упала на матрас под шведской стенкой, каждую перекладину которой украшал выводок колокольчиков на шнурах, и они разом запели, как будут петь теперь каждую ночь, едва она шевельнется во сне.

Встрепенулись коты, отвыкшие от старой песни.

– Тебя не было целый месяц. А ведь уже пошел снег.

– Правда? – Крыса шарила по карманам. – Я принесла *оттуда* подарок. Подожди… где-то здесь. Вот, – она протянула кольцо на открытой ладони.

Рыжая присела рядом.

– Бери. Это аметист. Можешь вытащить и вставить куда угодно.

– С кого ты его сняла?

– С трупа, – хихикнула Крыса. – Бери. Он приносит счастье.

Они прислушались к крикам из телевизора. Кошатница сидела, закрыв глаза. По стенам четырехстрочными куплетами и подтеками краски сползали слова песен.

Вошла Русалка (где кончаются ее волосы?) с гитарой, на которой играла, как на мандолине – нежный человек, говорящий шепотом (у нее под ногтями уж точно ничего нет), – и выжидающе посмотрела на них.

– Расскажи, Рыжик, – попросила она. – Как там было сегодня.

Рыжей не хотелось говорить о «тех» и о «там», но она знала: деваться некуда. Они ждали все трое. Тихо и терпеливо, никак не отозвавшись на ее «так же, как вчера», даже та, что вернулась, не зная ни о чем и не понимая, о каком «там» идет речь, – даже она ждала. Рыжая села, обхватив колени.

– Шли бы вы туда сами. Чего вы меня мучаете?

Они смотрели пристально, не шевелясь. За дверью самозабвенно вскрикивал телевизор. Десять пар глаз, считая котов.

– «Там», – начала она со вздохом, – все по-другому…

Дары лежали на матрасе, жалкие, если кому-то вздумалось бы над ними смеяться.

ПРОГУЛКИ С ПТИЦЕЙ

Это не птица – это просто вор – он строит во дворе уборную из украденного салата!
Боб Дилан. Тарантул

Топ-топ… Идет Птица, питающаяся падалью. Идет-бредет, постукивает увечной лапкой. Дорогу ей дайте! Всегда-всегда мы здесь гуляем в эти часы. Туда и обратно, и опять туда. Но приучить к этому публику невозможно. Они все равно попадаются под ноги, все равно мешают, пробегают мимо, сталкиваются… Не со мной, конечно, но с тенью брата моего, что тоже неприятно. Гуляю, предвидя грядущее. Дальше будет только хуже. Новый Закон поспособствует этому. Он поспособствует еще многому, помимо упомянутого, но это уже не моя забота. Или моя? Мы – вожаки – созданы для забот. Нам положено пресекать непресекаемое или по крайней мере сокрушаться о невозможности пресечь. Проку от этого ни малейшего. Одна головная боль.

Мимо ковыляют звери и птицы, жители зоопарка и их сторожа. Кто-то здоровается, кто-то отмалчивается. На Перекресточном карнизе сверкает снег. Терзает желание перепрыгнуть. Погулять на просторах изнанки Дома. Но нельзя. «Всякий раз, потакая своим желаниям, теряешь волю и становишься их рабом». Это изречение – одно из немногих, застрявших в памяти из старого кодекса Прыгунов, который был уничтожен в Смутные Времена. Целиком его нынче процитирует только Слепец, но мне хватает и одного абзаца.

Догулявшись до боли в колене, возвращаюсь в Гнездовище. Родные джунгли. Папоротники выстилают Гнездо мое, вьюнки оплетают его стены. Горькое зеленое мясо, куда ни взгляни. Принюхиваюсь. Пахнет чьим-то безобразием. Но это меня не касается. Здесь все питаются падалью, не я один. Вскакиваю на насест, гляжу окрест. Здесь только так, чего и разглядишь – сверху. Народ все больше пластается по полу, укрытий – тьма. И не понять, отчего мы зовемся Птицами, ну да ладно, не сами себя так прозвали. Вытаскиваю из под-

весного пакета красную ленту, привязываю к верхней перекладине. Это знак. Словесного недержания старого Папы Стервятника. Базар стихает, массы подползают ближе и ждут. Деформации всех видов – и внешних, и внутренних – уставились в клюв. Ничего не поделаешь, такими уродились. Сбрасываю им блок сигарет в знак своего благоволения. Ловят и рады. Им, сколько ни дай, все мало.

– Слушайте, детки, – начинаю.

Слушают. Это они умеют. Все. Даже страшно.

– Вот что, – говорю я им, – относительно девушек. Смотрю я, что вы никого не приводите. Это нехорошо. Дружите и приводите. Вот Красавица… дружит, но не приводит. Такая уж пошла нынче в Доме мода, и нам не годится отставать. Так что дерзайте. Наведите блеск, приберите, лишнее все выбросьте. Чтобы было чисто, и ничем не пахло, кроме Слоновьих фиалок.

Им понятно. Кивают. Слон активнее всех. Расслышал про свои цветочки и радуется, бедняга. Бабочка нежно закидывает лапку на Ангела. Ангел морщит нос. Веселятся. Что этим девчонки? Дорогуша хихикает.

– Обожаю девушек, – говорит он фальцетом. – Они прелесть! Может даже, они нам что-нибудь подарят? Они ведь добрые…

Что ж, очень может быть, что и подарят. Губную помаду например. А насчет доброты я бы не обольщался.

– Только не вздумай ничего у них клянчить, – предупреждаю.

Дорогуша горестно закатывает глаза, оправляя перышки:

– Клянчить? Фи… Разве я такой?

– Какого черта? – спрашивает Дракон. – Где девчонки – там неприятности. Походят-походят и пустят по Дому сплетни. Зачем нам это счастье? Подарков ихних не видели?

– А вы не давайте поводов для сплетен.

Красавица сияет. Гасит иллюминацию ресницами, но все равно видно. Один у нас симпатичный парень. Единственный. Куклу, конечно, не приведет. Настолько-то у него соображения хватит.

Дракон хлопает его по спине и ржет:

– Ромео-о!

Красавица багровеет, шипит и брызжет слюной. Портит внешность на ближайшие полчаса.

– Заткнитесь! – ору со своей верхотуры, и они затыкаются.

Все виды маразма в одном Гнезде. Желающие могут прийти с энциклопедией и отметить по пунктам. Имеются психи на любой вкус.

Конь дрыхнет. Бросаю в него коробком. Просыпается и делает вид, что не спал. Кого обманывает – непонятно.

– Ура Стервятнику! – не к месту предлагает Пузырь.

Жду, пока стихнут общие разнокалиберные ура.

– Всем все понятно? – спрашиваю.

Кивают. Чешутся. Со скребом. С сопом. Смотрю на них и думаю: какая дура примет приглашение? Унылая рожа Коня. Радужная рожа Пузыря. Подгнившая сверху и снизу рожа Бабочки. Бугристая рожа Дракона. Глаз отдыхает только на Красавице и на Слоне. И вообще все зеленые. Свет плохой. Смотрю на лампочку. Вокруг нее что-то порхает. Что-то, еще не вымершее от холодов. Пытаюсь поймать, но промахиваюсь. Дракон кашляет. Поперхнулся дымом. Его бьют по спине в восемь ласт. Это Босх. Да еще в потемках.

– Господи… – говорю я лампе. – Твоя воля.

Стая веселится. Это у них хроническое. Когда я серьезен, им всегда кажется, что я шучу. Снимаю красную ленту, сворачиваю, прячу обратно в пакет. Дребезжит будильник. Все вздрагивают. Время поить Ангела каплями.

– И все-таки зачем нам это нужно? – бубнит Дракон. – Девушки! Жили мы без них спокойно, и еще бы пожили. А теперь… за полгода всего… Слепой попрыгал с Длинной и – ура! Новый Закон! А нам теперь в коридор не выйти.

Ангел открывает рот и ждет. Своих росинок.

– Слепого не обсуждать. В коридор выходить. С девушками заговаривать. По возможности приглашать. Все. Ясно?

Ангел ждет. Слон стыдливо хихикает и закрывает рот ладонью. Красавица кивает. Пузырь ухмыляется.

– Вот и славно. С богом, детки.

Сползаю с насеста. Хромая, удаляюсь. Прочь из Гнезда. Подальше от всех. Слон догоняет меня и вручает горшочек с Луисом. Для поднятия настроения и общего тонуса.

Дальше идем втроем. Я, Луис на сгибе моего локтя и сутулая фигура в левайсах и черном свитере. Шагает, припадая на левую ногу, как я кренюсь вправо, беззвучный призрак брата моего Тени. Это такая же его территория, как моя. Он даже более дитя Дома, чем я, он никогда не выйдет отсюда. Я могу увидеть его в любое время и в любом месте, он всегда рядом, но занят какими-то загробными делами, вечно спешит и не смотрит на меня. Может, он обижен. Мы говорим только в снах, которые я вспоминаю с трудом. Из-за Макса мало кто приближается ко мне ближе, чем на три шага, когда я неподвижен. Многие его чуют.

Черный. Медленно шагает навстречу.

Кивает мне, я киваю ему. Не очень мы любим друг друга, но положение обязывает. При встречах нам полагается здороваться и беседовать. О чем? О погоде и самочувствии, быть может? Тень корчит недовольную гримасу. Идем дальше. Тихо насвистываю. Дневные часы теперь девичьи. Они тоже прогуливаются. А также сопровождающие их и разглядывающие. Вшивые псы с ошейниками. Птицы в пижамах с голыми шеями. Модники Логи, вьющиеся вокруг… Как назвать подружку Лога? Логихой или Ложихой? А может, Логеткой? Они шуршат и шепчутся, смеются, бросают цепкие взгляды из-под челок. От их присутствия коридор не похож на коридор, а на что похож, непонятно. И хнычет паркет под шагами Плешивого Стервятника.

Пухлый Лопотун, увидев Стервятника, стягивает берет и становится в Песью позу почтения. Голова опущена, хвост подметает паркет. Я обхожу его, Тень проходит насквозь, и непонятно, чем вызвано вздрагивание Лопотуна, почтением передо мной или неприятными ощущениями в связи с прохождением сквозь него Тени. Хочется уточнить, но я не останавливаюсь. Есть множество вопросов, на которые мне никогда не получить ответов. Ведали ли мы, что творим, окрестив Тенью Тень? Не накликали ли мы на него эту участь: вечно бродить, приклеенным к чужой плоти, вечно молчать? Остальные знакомые мне привидения довольно болтливы. Только он всегда молчит.

На Перекресточном диване – страшилище Габи. Ноги раздвинуты, юбка то ли есть, то ли нет. Вокруг толпятся любители интимностей и с интересом заглядывают. Габи развлекается, лупя их сумкой и стыдливо вереща, но обзор не прикрывает. При виде Птицы молчание и отскоки. Я прохожу в тишине и уношу ее с собой, тишину, малиновость щек и мерзкое чувство своей причастности к происходящему. Строгий дед, заставший внучку в неподобающем виде. Это ужасно. И смешно одновременно.

Знакомая мелодия, соткавшись из воздуха, тянет за собой. Замедляю шаг. Проем Кофейника. Сладко плачет гитара. Вжимаясь в кафель стен, в экстазе извиваются Крысы. Мусорно-пестрые головы. Стулья на тонких ножках забиты, но мой как всегда свободен, и на два места вокруг – пустота, лишь Валет, менестрель нашего детства, сидит вплотную к ней, носом в струнах.

Подхожу и сажусь. Тень садится слева. Луиса я ставлю справа. Смотрю в пустую чашку. Чашка наполняется. Киваю, пью, достаю связку и пересчитываю

ключи. Восемнадцать, как и следовало ожидать. Вечно одно и то же. Подплывает некто с жаберными щелями и одной ноздрей. Сопит. Протягивает клешню. Серебряная серьга. Красиво, но втыкать уже некуда. Она попортит мне общую композицию. Жабры печально обвисают. Сопение. Извлекается маленький ключик с ноготь моего мизинца. Тоже серебро. Примеряю. Это я возьму.

– Сколько?

Клешня показывает четыре пальца. А больше у нее их и нет. Достаю из потайного кармана бумажник. Плачу. К ключам у меня слабость. Особенно к бесполезным. За спиной запах псины. Это Валет.

– Музыка не мешает?

– Нет, старичок, даже радует. Жаль, что ты не поешь. Может, попробуешь?

Он улыбается, в глазах вопрос.

– Ты же знаешь, у меня нет голоса.

Я знаю. Он поет, только когда пьян. В нетрезвом виде отсутствие голоса его не смущает. Он начинает играть «Иммигрантскую песню». Без пения это обломисто, но переносимо. К финалу Кофейник переполнен. В основном Крысиными черепами, от которых рябит в глазах, но Грызуны – поклонники Большой Песни, и гнать их из родного кормильного отсека не годится. Поэтому я надеваю темные очки. Всего-то. Эффект стопроцентный. Черепа сереют, нервы успокаиваются. Слушаем дальше.

На Леди, с ее «Стремянкой в небеса», входит Сфинкс. Резко очищаются три шестка. Он влезает на один и глазеет, майскими жуками из-под девственного черепа. Потрясающий тип. Снимаю очки, чтобы видеть его в цвете, и мы слушаем дальше. Сфинкс потихоньку начинает подавать голос. Крысы покачиваются. Гитара Валета расходится и съезжает в переборы. Сфинкс расходится и съезжает в вопле-шепот. Я тоже расхожусь и начинаю притоптывать.

Кто-то вовремя закрывает дверь. Пока не набежало лишнего гомоса. Кончится вся эта прелесть мордобоем, потому что так уж устроены Крысы, но пока нам хорошо. Особенно мне. Валет почесывает нос, Сфинкс усмехается. Музыка – прекрасный способ стирания мыслей, плохих и не очень, самый лучший и самый давний.

Мы ловим кайф полчаса, потом депрессионная Крыса из малолетних вдруг заливается слезами и извлекает бритву. Они без этого не могут. Самое ценное, что есть в Крысе – ее постоянная готовность порешить себя в любом месте и в любой момент. Себя или окружающих. Такая готовность к финишу взбадривает Крысятник в целом. Старикашка дон Хуан бы это одобрил. Но только он. Мне такие вещи не по душе.

Крысенок пилит себя, утопая в соплях, Валет, зачарованно таращась на его действия, начинает фальшивить. Перерыв окончен. Крысы нехотя расходятся, уводя молодую на штопку. На полу красивые алые лужицы. Сфинкс вздыхает. Надеваю очки номер пять. Бодрящий желто-оранжевый спектр. Так лучше, когда общаешься с чумными братьями.

Сфинкс сразу замечает новое приобретение – ноготный ключик – и одобряет. Мелочь, а приятно. Допиваем кофе. Треплемся о Брейгеле. Потом о Леопарде. Нейтральные темы. Тоже своего рода бегство. Плаваем в дыму – кофейные кольца на белом, Птички заглядывают в дверь, робкие, в поисках своего вожака, не оборачиваясь, цыкаю на них, и вот уже нет ни одной, будто и не было.

– Послушание на уровне дрессуры, – отмечает Сфинкс. – Чем ты их так запугал, Желтоглаз?

– Своими размерами.

Я давлюсь, кашляю, и сразу оказывается, что Птицы не исчезли бесследно. Двое, возникнув ниоткуда, похлопывают меня по спине. Призрак Тени смеется на соседнем стуле. И тоже кашляет. Беззвучно. Его никто не хлопает.

Разговор плавно подплывает к Сантане. Я уже растаял и стек в ближайшую кофейную лужицу. До того приятно, что даже не по себе. Общение с человеком, который умеет говорить, – редкое удовольствие для живущего в Гнезде. Мы болтаем и болтаем. Валет чистит свою котомку. В ней коллекция ноготков-медиаторов, и, откровенно говоря, она грязновата, поскребыванием тут не поможешь, нужна стиральная машина. Самого Валета тоже не мешало бы туда забросить. Улыбаюсь чашке, кручу кольцо на пальце.

«Лунный цветок» и «Амигос»… о да…

В Кофейник незаметно проникает запах ближайшего туалета и все портит. Печально. Интеллектуальная беседа – вещь незаменимая. Особенно для одной моей знакомой Птицы. Бедняжка… жаль его иногда до слез. Лысый допивает свой кофе, вернее, то, что так называют в Кофейнике, желает нам всего хорошего и уходит, осторожно обходя следы порезавшегося Крысенка.

– Ну, что? Придешь вечером? – спрашиваю Валета.

Собакоголовый бледнеет и начинает теребить костыль:

– Э-э, я бы с удовольствием, но… как-то мне у вас… немного…

– Противно, – заканчиваю за него. – Ладно. Если тебе так тошно от нас, можешь не приходить.

Слезаю с шестка и удаляюсь в полной уверенности, что он придет. Резво ковыляю. Дом объят весенним безумием. Оно заразно, его можно подцепить в каждом углу – и я уношу от него ноги, хотя они все равно врезаются в память – глупые, самодовольные лица, подмигивающие щелками глаз, красивые одурманенные лица, улыбающиеся другу. Звенят цепочки – символы ошейников, на тонких девичьих шеях. Колясники и колясницы тихо шепчутся, сцепив колеса и пальцы, гадают друг другу по ладоням, предсказывая бескрылые судьбы. Хихикают подружки Логов, раскрашенные, как ритуальные маски. В этот час нельзя гулять одному. Дом принадлежит им. Всеми своими щелями и подтекающими кранами, всеми надписями, приобретающими тайный смысл… Печально. Хромаю, как распоследний бес. Нога нагревается. Этой ночью меня будут пытать. Собственные кости. Мало у кого имеется в наличии такое подбадривающее средство. Тем и следует утешаться.

Снимаю очки и жду. Знаю, что вот сейчас в конце коридора мелькнет белый кроль, с лошадиным топотом уносящийся на кэрроловский шабаш. И он промелькнул. На долю секунды. Если не знать, нипочем не заметишь. Передыхаю и тащусь дальше…

Топ-топ… идет Большая Птица, та, что питается падалью…

ТАБАКИ
День седьмой

Вскипятите его, остудите во льду
И немножко припудрите мелом.

Льюис Кэррол. Охота на Снарка

Зима – время великого переселения кошек. Не по одной, а все вместе они являются каждая к знакомому порогу и ждут разрешения войти. Выезжая поутру из спальни, мы с Лордом натыкаемся на крысиный труп. Над ним скромно восседает взяткодатель. Очень худая, очень облезлая, пепельно-полосатая тигрица в белых носках. Мать бесчисленных потомков, ходячий кошмар грызунов.

– Привет, Мона Лиза! – Лорд радостно тянется погладить ее. Мона запрыгивает ему на колени и, тихо урча, трется о свитер костлявым боком.

– Да, здоровенная, – отмечает Лэри из-за наших спин. – Крупняк.

Имеется в виду, конечно, покойная крыса. Запускаем Мону в спальню и едем завтракать. У дверей третьей – аналогичная картина. Два крысиных тела и выжидающие коты. Завтракаем вдевятером. В снегопад у Толстого наступает период зимней спячки, он не завтракает и не обедает, ест только приносимые мелочи, и то, если удается его растолкать. Это зима.

После уроков приходит Рыжая с моими носками и свитером Лорда, и мы с ней, Лордом и Горбачом спускаемся во двор. Пусто и снежно. Жители Дома не любят резвиться на виду у наружности, поэтому снежные бои, если и будут, то с наступлением темноты. Мы лепим крошливого снеговика и приносим его с собой. Он тает посреди классной комнаты, превращаясь в лужу с плавающим в ней снегом, о которой Горбач говорит, что такова жизнь.

Потом мы сушимся и пьем чай. Рыжая заплетает волосы Горбача в сто косичек, но только с одной стороны, на вторую не хватает терпения и мешает Нанетта с ее ревностью и переживаниями. Горбач сажает ее на голову, она сразу успокаивается и перестает клекотать. Я говорю, что и односторонние косички очень красивы, а Лорд говорит, что безумно жалеет о своих волосах, о том, что в теперешнем виде их нельзя ни во что заплести. Я играю «Снежную песню» – ту, что хуже дождевой и намного короче, зато больше подходит зимнему дню.

Перед обедом появляется опоздавший к кошачьему переселению Дилан. Черный, как уголь, любимчик Сфинкса, сын Моны, самый громкоголосый певун из всех известных нам котов. Только, чтобы услышать его пение, надо дождаться весны.

– А где твоя выкупная крыса? – спрашиваю я его.

Он отворачивается и уходит, покачивая блестящим задом. На редкость самовлюбленное животное.

На полу – блюдца с молоком и колбасными обрезками. На оконных стеклах – морозом нарисованные хрустальные узоры.

Вечер, и опять идет снег.

Кошки и ворона испытывают друг друга на бдительность. Горбач в односторонних косичках успокаивает их флейтой. Лэри пудрит прыщи, затягивается поясом до багровости и убегает искать приключений. Лорд уезжает сразу после него. Почему-то сегодня никто не поехал играть в снежки. Я сижу на подоконнике и жду, но внизу никого. Пусто и уныло. Рассматриваю морозные узоры на стеклах и нахожу в них себя, десятикратно повторенного – на Мустанге и без Мустанга, лохматого и причесанного, и даже в новой жилетке, и я выскребаю для этого хрустального себя маленькое, с ноготь, окошко, чтобы ему легче жилось и веселее дышалось. Сфинкс, морщась, смотрит на меня.

– Суеверие, – говорю я ему. – Видишь, там, в узорах – тоже я.

– Да, – соглашается он. – Там можно увидеть все что угодно. Но ты мне лучше вот что скажи… Рисуя на потолке дракона, ты случайно не изобразил на нем пронзенное стрелой сердечко? Чисто машинально?

– Нет, – отвечаю я. – Такие пошлости не в моем духе. Я только вставил ему глаз. Следуя сновидческим инструкциям.

Возвращается Лэри. Все еще очень пунцовый. Бродит по комнате, вздыхая, как неупокоенный призрак.

– Я приведу ее, – говорит он наконец. – Познакомиться. Она вам понравится. Классная девочка, вот увидите.

Мы молчим. Лэри ждет. Почему-то таращится на Горбача.

– Ну, приводи, – говорит Горбач. – Чего ты на меня-то так уставился? Я здесь что ли главный бука?

– У нас с ней любовь, – объясняет Лэри. – Понимаешь? Настоящая. Ты не мог бы поболтать с ней по-дружески, когда она придет? Ведь мы с тобой друзья.

Горбач смотрит на него с ужасом:

– О чем? О чем я должен с ней болтать?

– Ну о вязании, например, – оживляется Лэри. – Она такие свитера вяжет – закачаешься. Не хуже твоих, честное слово.

Горбач скисает. Всем известно, как он стесняется этого своего умения. В том числе Лэри. Но настоящая любовь, должно быть, мешает запоминанию всяких мелочей.

– Чего не сделаешь во имя дружбы, – утешаю я Горбача, когда Лэри опять убегает.

Курильщик спрашивает, кто девушка Лэри. Дружно пожимаем плечами. Никто не знает. Мы знаем только, что второй Габи в Доме нет. Зато здесь водится много других страшных существ, а от Логов хорошего ждать не приходится, поэтому мы немного нервничаем, а бедняга Горбач больше всех.

Чуть погодя Лэри ее приводит. Белобрысую тонконожку на подламывающихся каблучках. Она прячется за спину Лэри и таращится на нас оттуда, а он краснеет от удовольствия, растекаясь, как томатная паста.

– Знакомьтесь. Это Спица. Она вяжет шикарные свитера. Очень шикарные. Я сам видел два последних. Они просто нарасхват. Здорово, да, Горбач?

Горбач бросает на меня отчаянный взгляд. Откашливается. Еле слышно спрашивает, какой номер спиц она – Спица – предпочитает.

Спица, не расслышав толком, жалобно улыбается. Горбача надо спасать. Дурака Лэри тоже. И я включаюсь.

– С узорчиками или без? – меня трудно не расслышать. – Какие узоры предпочитаете? Оплетки? Воробьиные лапки? Ах, цветочки! Как это мило!

За полчаса я выясняю, что девушка предпочитает бежевый цвет, что она родилась в ноябре под знаком Скорпиона, что любит чай, а не кофе – на этом месте Лэри насильно вливает в нее пару чашек чая, – что легко обгорает на солнце, что готовить умеет только рисовую кашу, что она скорее жаворонок, чем сова, и немного подкрашивает ресницы, но другой косметики не признает. Наконец Лэри ее уводит, вполне довольный, а я могу передохнуть.

– Спасибо, Табаки, – говорит Горбач. – Вовек не забуду. С меня – что только пожелаешь. Что смогу достать.

– Пустяки! – отмахиваюсь. – Хотя разговорить ее, прямо скажем, было нелегким делом.

Потом возвращается Лорд. Красный и дикоглазый, не хуже Лэри. Белые ящерки по зеленому свитеру, мокрые волосы зачесаны назад, скрывая проплешинки. Я грызу орехи. Сфинкс качается на тумбочке, позвякивая всем, что там внутри, а Лорд, странный с виду – что уже привычно, но все же еще страннее, чем привычно, – заваривает кофе и мешает его с кока-колой, сыплет туда дробленый миндаль и корицу, а потом вытряхивает в чашку содержимое амулета со скорлупой василиска и выпивает, не поморщившись.

Спрашиваю, что с ним такое стряслось.

Лорд перемалывает скорлупу зубами и молчит.

Морщась, наблюдаем за тем, как он разделывается со своим жутким кофе и со всем, что в него накидал.

– Я слишком низко нагнулся к огню, – говорит он наконец. Усмехаясь, как маньяк.

Мы некоторое время ждем, не помрет ли он, потом Курильщик спрашивает, где он нашел открытый огонь, чтобы к нему нагибаться.

Лорд таинственно улыбается. Словно весь Дом полыхает кострами, вокруг каждого сидят люди, на спор нагибаясь к огню – кто ниже? – и только Курильщик почему-то ничего об этом не знает.

Я бы на месте Лорда не разводил столько романтики вокруг банальных явлений и не доводил Курильщика, но что взять с влюбленного? Все они немного не в себе. Если он думает, что сожрав уникальную скорлупу василиска, завоюет сердце Рыжей, пусть себе жрет. Мне только жаль Курильщика, который и так нервный.

– А Лэри приводил свою подружку, – сообщаю я. – Вязальную Спицу.

– Да? – говорит Лорд. – Как интересно.

Врет. Ему неинтересно.

Сфинкс вздыхает.

– В другой раз не нагибайся так близко к огню, Лорд, – просит он. – Огонь – неуправляемая стихия.

– Боже, – стонет Курильщик. – Как я от вас устал!

Ночью мне снится странный сон: мертвое озеро – светлосерое, неподвижное, как зеркало. Из воды торчат белые сухие стебли. Я сижу на берегу и жду появления кого-то страшного, обитающего на дне. Рядом со мной на песке валяется ржавый меч. Туман затягивает все вокруг, я вдруг оказываюсь в воде… и просыпаюсь.

Ночь светлая, хотя луны не видно. Лорд не спит. Сидит и смотрит на меня, задумчиво покусывая ворот пижамы. И гладит Мону, полосатым ковриком разлегшуюся у него на коленях.

ВОРОЖБА

– Знаю, знаю зачем ты пришла! – сказала русалочке морская ведьма. – Глупости ты затеваешь…

Х. К. Андерсен

Русалка садится на корточки у выдвинутого ящика стола. В нем – ворох всякого хлама вперемешку с немногими действительно ценными вещами. Здесь ее учебники и тетради, дневник двухлетней давности, склеенный так, что прочесть что-либо, не разорвав его, невозможно, похвальные листы за успехи в учебе и несколько забракованных Крысой колокольчиков, которые та не повесила над своим матрасом. Покопавшись в глубинах деревянной сигарной коробки (такой старой, что изображение на крышке полностью стерлось), она находит то, что искала – вязаный шерстяной мешочек для спортивных тапочек, с которым когда-то ходила на сеансы лечебной гимнастики. Отпихнув кота, принюхивающегося к ее рукам, Русалка расстилает мешочек на полу. Он не совсем такой, как ей помнилось. Тусклее, грязнее… Прямо посередине – проеденная молью дырка. Ей казалось, что мешочек должен быть намного красивее. Не всматриваясь в рисунок, она вспоминает, как вязала его. Ряд за рядом – маленьких коричневых человечков, держащихся за руки и танцующих смешной игрушечный танец. У каждого одна нога на весу – на разной высоте, чтобы хоть немножко отличались друг от друга. Она ужасно любила их, коричневых, большеголовых уродцев. Ей было восемь лет. Она загадала тогда желание и верила, что оно исполниться, если сделать что-то необычное, что-то сложное. Связать, например, такой мешок вместо шарфиков, которыми довольствовались остальные. «Зачем браться за то, чего толком не умеешь?» – спросила ее Гекуба. Русалка не ответила. Когда мешок был готов, и даже Гекуба назвала его «славненьким», а чуда так и не произошло, тогда она и придумала человечков. Трудно отказаться от мечты. Легче усложнить путь к ней, чем поверить, что задуманному не осуществиться. Двенадцать человечков. На них ушло больше времени, чем на весь мешок. Центральная фигурка отличалась от остальных. Она похожа на метелку. Это как бы сама Русалка, спрятанная под волосяной кисточкой, на которую пошли ее настоящие волосы. «Смотри-ка, – сказала Гекуба, – как красиво… Ты будешь вязать своему парню чудные свитера, попомни мои слова». Русалка это запомнила и вплела в свое чародейство обязательным условием – ведь это звучало так замечательно! Теперь, проводя пальцем по человечкам, она вспоминает. Сбылись все тайные желания. Кроме последнего. Этого. Ее парень пока еще не ходит в ее свитерах. Он даже не знает, что он ее парень.

Русалка складывает мешок и прячет его под рубашку. Кошатница, следившая за ней со своего матраса, спрашивает:

– Что, детские воспоминания одолели?

– Да, – отвечает Русалка неопределенно. – Можно и так сказать.

– Ну-ну, – вздыхает Кошатница. – Надо думать, скоро Рыжая откопает свою любимую рогатку. Или Крыса явится с пакетиком мышьяка, из которого отсыпала в суп своему дедуле, когда ей было четыре годика. Буду ждать с нетерпением. Все это так непредсказуемо, так интересно!

– Не вредничай, – механически отвечает Русалка, думая о своем. – Покормить котов?

– Не надо. Уже покормили. Все вы очень любезны, ничего не забываете, даже пыль с меня смахиваете. Вот только сбегаете чуть что, не успеешь моргнуть – вас уже нет. Но я не жалуюсь, мне много не надо. Могу сидеть весь день одна. Кому, собственно, приятно мое общество? Есть занятия поинтереснее, чем болтать с каким-то обрубком.

– Ш-ш, – Русалка, закрыв глаза, прижимает палец к губам. – Хватит. Пожалуйста.

И не дав Кошатнице возможности среагировать на свои слова, выскальзывает из комнаты.

В последнее время общение с Кошатницей превратилось в пытку. Нескончаемый террор с жалкими попытками сопротивления. Рыжая сопротивляется успешнее. Крыса ни на что не обращает внимания. Русалка завидует обоим.

Она проходит по заваленному матрасами коридору и сворачивает в первый попавшийся класс. Садится на свежевымытый пол, снимает с плеча рюкзак и выворачивает его наизнанку, высыпав содержимое. Потом медленно, одну за другой, складывает вещи обратно. На полу остается кучка предметов, ей не принадлежащих. Русалка ложится, подперев рукой подбородок, и смотрит на них. Замшевый футлярчик для трубки. Нитка бус из ореховых скорлупок. Монета с дыркой. Засохшая лимонная корка. Пуговица. Скомканный подгузник со следами яичного желтка. Кожаный наголовный ремешок. Медиатор. Кое-что она украла сама, кое-что принесли вездесущие детки Кошатницы. Только бусы и монета попали к ней честным путем. Русалка рассматривает свою добычу, то придвигая одни предметы к другим, то отодвигая, потом, привстав, вытаскивает из-под рубашки мешок для спортивных тапочек. По одному складывает в него все предметы, грея каждый в ладони, дыша на него, нашептывая неслышные слова, пока на полу не остается только труха, копившаяся на дне рюкзака с незапамятных времен – волоски, крошки, обрывки ниток. Их она сдувает. Встает и подходит к окну. Там, стоя спиной к двери, вытаскивает из кармана самое главное – маленький зашитый мешочек на шнурке, кисет, украшенный бисером. Его она украла в классе четвертой из ящика стола. Это самый колдовской предмет из всех, что ей доводилось держать в руках. Она достает из кармана жилета маникюрные ножницы и осторожно его распарывает. Теперь мешочек открыт, но Русалка в него не заглядывает. Она вынимает из другого кармана платок с локоном своих длинных волос, скручивает локон восьмеркой, и, перевязав ниткой, опускает в кисет. Потом медленно и тщательно зашивает, так и не посмотрев, что же было внутри. Кисет прячется в карман, все остальное – в мешок для обуви. Стянув его завязки, Русалка долго стоит зажмурившись. Она очень устала. Наверное, это можно считать добрым знаком. Подтверждением того, что она совершила что-то действительно трудное. Так надо думать, иначе можно расплакаться.

В пустом классе очень чисто. Никто не стаскивает сюда матрасы, не хранит здесь свои вещи, не заходит поковыряться в книжных шкафах. Их предупредили, что классные комнаты будут запирать, если они начнут захламлять их, и девушки с несвойственной им щепетильностью вообще перестали туда заходить. Им хватает коридора и спален. В классах только вытирают пыль, поливают цветы, время от времени проветривают. Теперь, когда Русалка закончила дело, ради которого пришла, ей хочется поскорее уйти. Она вешает мешок для обуви через плечо. Он будет при ней, куда бы она ни пошла. Возможно, это ничем не поможет. Но так ей спокойнее. Так никто другой его не найдет и не заглянет внутрь. А чужой амулет надо вернуть на место.

Она выходит из класса, раздумывая, стоит ли возвращаться к Кошатнице, но думая об этом, уже идет в противоположную сторону. Кошатница обижена. Возможно, ей станет легче, если она обрушит на кого-то длинный перечень своих обид, но Русалке хочется по возможности отдалить этот момент. Пусть это произойдет перед сном. Еще лучше завтра.

В коридоре мало народу. Два матрасных завала заняты, остальные пустуют, телевизор выключен. Многие еще гуляют в мальчиковом крыле. Проходя мимо воспитательского блока, Русалка по привычке старается сделаться незаметной, но ей это не удается. Длинношеяя Душенька, сидящая в кресле, установленном прямо в дверном проеме, окликает ее:

– Эй, детка, погоди-ка…

Русалка останавливается, затаившись под волосами.

– Иди сюда. Я как раз собиралась с тобой поговорить, – Душенька выбралась из кресла

и отодвигает его вглубь комнаты, освобождая проход. Русалка заходит.

На крошечном столике, заваленном пакетами с едой, шипит кофеварка. Трижды в день воспитательская меняет свой облик. В часы дежурств Крестной здесь царит угнетающая чистота. Ни пылинки, ни соринки, ни одного лишнего предмета. Крестная здесь не ест, не читает журналов и не пьет кофе. «И уж, конечно, не накладывает макияж», – думает Русалка, приметив два карандаша для век в блюдце с арахисом. Два патрончика – черный и коричневый – и клочок испачканной в туши ваты. «А потом она этот арахис сгрызет», – с неожиданным отвращением думает Русалка. В часы Душеньки в воспитательской комнате полный бардак, и девушки удивляются только тому, как быстро Крестной удается его ликвидировать, едва переступив через порог.

Душенька выдергивает из розетки шнур кофеварки и скидывает со второго кресла стопку журналов.

– Садись сюда. Разговор будет долгим.

Русалка послушно садится на краешек кресла. Душенька, расположившись напротив, достает сигареты. Покосившись на ее туфли с золотистыми мысками, Русалка прячет ноги в поношенных кедах под кресло.

– Ты теперь ходишь к мальчикам, – Душенька выпускает из округленных губ струйку дыма. – Не спорь, я знаю, что это так.

Русалка, и не собиравшаяся спорить, отслеживает вознесение и таяние дыма на фоне закопченного потолка. Потом переводит взгляд на Душеньку.

– Да, – говорит она. – Я хожу туда.

– А не считаешь, что тебе, быть может, не следовало бы этого делать?

Русалка думает о Кошатнице. Уж не пожаловалась ли та, что ее надолго оставляют одну?

– Нет. Не считаю.

– Многие девочки завели себе там приятелей. Думаю, ты об этом знаешь?

– Знаю, – кивает Русалка. – Только это по-другому называется.

– Неважно, – Душенька бросает на нее недовольный взгляд из-под серебристой челки. – Неважно, как это называется. Важно, чем они занимаются. А еще важнее, чем эти занятия для них могут закончиться. Ты ведь понимаешь, о чем я, душенька? Я считаю, не стоит копировать других только потому, что не хочется выделяться. Например, если девочка не предрасположена к определенному стилю поведения. Или если ей не хочется, чтобы ее считали несозревшей. Ты со мной согласна?

Русалка хмурит брови:

– Нет. Вы обо мне говорите? Откуда вы знаете, к чему я предрасположена, а к чему нет?

– Уж позволь мне судить. – сладко улыбается Душенька. *Я-твоя-воспитательница-никогда-не-спорь-со-мной-дура!* – Позволь мне судить, кто к чему предрасположен в этом заведении, душенька. Я ведь здесь работаю немало лет. У тебя там есть симпатия? В соседнем коридоре.

Русалка смеется. «Симпатия!» Так могла бы выразиться чья-нибудь прапрабабка. «Кавалер». «Дружок». С ума сойти! «Симпатия» – это что угодно, только не Сфинкс. Она представляет, какое у него будет лицо, скажи ему кто-нибудь, что он ее симпатия – и корчится от смеха, не в силах сдержаться, несмотря на то, что негодование на лице Душеньки постепенно переходит в открытую злость.

– У меня нет там любовника, – говорит Русалка, перестав смеяться. – Но скоро будет. Я постараюсь, чтобы тот, кого вы обозвали «симпатией», им стал. Он еще не знает об этом, но скоро узнает.

– Ах, ты!.. – Душенька давит окурок о край стола, – Ты хоть понимаешь, о чем говоришь, дурочка! Не успела вылезти из пеленок, а туда же – любовника ей! Ты еще слишком мала, а твоему кандидату в любовники голову надо оторвать, если он этого не понимает! Что я и сделаю сию же минуту! Как его зовут, этого идиота?

Русалка молчит. *Она меня не слышала что ли?* Ей вдруг становится грустно. Как здорово было бы сидеть здесь, выслушивая ругань Душеньки, если бы все это было правдой.

Как ей было бы тогда спокойно и безразлично. И это, и воркотня Кошатницы… Но почему бы не представить, что это так? Если она не верит в собственное колдовство, разве оно сможет подействовать на других?

– Сфинкс, – говорит она с пугающей смелостью. – Это Сфинкс. Он еще не знает, что я выбрала его. Поэтому очень удивится, если вы явитесь отрывать ему голову.

Она злорадно отмечает изумление Душеньки и угасание ее боевого пыла.

– Сфинкс, – повторяет та, прикусив перламутровый ноготь. – Вот уж не думала… Странный у тебя, однако, вкус, милочка. Ты всерьез намерена его охмурить? Я бы на твоем месте поискала другой объект…

– Что вы имеете в виду? – спрашивает Русалка чужим, нехорошим голосом.

– Безрукий, лысый… – Душенька загибает когтистые пальцы, перечисляя, – перенесший бог весть какое заболевание, которое так и не удалось диагностировать… Выглядит на все двадцать пять… Нет, определенно. На твоем месте, я бы поискала кого получше.

– Не думаю, – отвечает Русалка медленно, – что вы в этом хоть немного разбираетесь.

– В чем? – хмурится Душенька.

– В любви, – отвечает Русалка. – Не думаю, что вы знаете, что это такое.

Глаза Душеньки делаются совсем узенькими:

– Как ты со мной разговариваешь, детка! Не слишком ли нагло?

– Не слишком. И я вам не детка.

Душенька вскакивает с намерением дать ей затрещину, но Русалка вскакивает быстрее, отбегает и отгораживается от нее креслом.

– Только попробуйте!

– И что будет? – интересуется Душенька, дергая кресло на себя. – Да за твою наглость тебя следовало бы отлупить до крови, мерзавка ты эдакая!

Русалка с силой толкает кресло на воспитательницу и выскакивает за дверь. Здесь она останавливается, уверенная, что Душенька не станет приводить свои угрозы в исполнение у всех на виду.

– Почему? – спрашивает она. – Почему вы позвали меня? Почему не Рыжую? Она ходит на ту сторону чаще, а старше меня всего на месяц. Но ей вы никогда ничего не скажете! Со мной проще! Меня вы презираете, так ведь?

Душенька, все еще отгороженная креслом, смотрит на нее зло, как дикая лошадь, рвущаяся из загона.

– Дура! – говорит она громким шепотом. – Убирайся! Иди, делай, что хочешь и с кем захочешь! Я желала тебе добра!

– Вы любовались собой! – выкрикивает Русалка, убегая. – Вас только это на самом деле интересует!

Она бежит по коридору, ощущая злость воспитательницы как что-то огненное, горячей волной хлестнувшее ее по спине. Из ближайшего матрасного домика ей приветственно машут руками. Она не останавливается.

На лестнице веселая компания Логов в черной коже гоняет игрушечный автомобильчик на батарейках. С ними Спица. Увидев Русалку, круглолицый Пузырь расплывается в ухмылке.

– Эй, ты счастливая? – кричит он.

– Вот прямо сейчас?

– Нет, вообще. Тебе везет или не везет? То есть что чаще?

– Не знаю, – расстроенно отвечает Русалка. – Сама хотела бы выяснить.

– Вряд ли она годится в талисманы, – говорит сидящая на корточках Спица. – Если сама не знает. Счастливые – они обычно в курсе, что счастливые.

– Но ни за что не признаются, чтобы не сглазить, – спорит Пузырь, не теряя надежды.

Спица в черной косухе, как у всех Логов. Только вместо джинсов на ней короткое ситцевое платье в цветочек, оставляющее на виду тонкие ноги-палочки. Должно быть, она перестала их стеснятся. Вид у нее не в пример счастливее, чем раньше, и Русалке становится интересно, почему воспитателям так не по душе дружба девушек с парнями – вот ведь пре-

вратилась же Спица во что-то вполне симпатичное и бескомплексное. Логи отворачиваются от Русалки и смотрят на облупленный автомобильчик, с жужжанием пересекающий площадку. Русалка тоже смотрит. Не дожужжав до стены, машинка врезается в лестничные перила и переворачивается. Логи со свистом вскакивают.

– Чья была ставка? Какой козел его разгонял? Москит, руки откуда растут?

Русалка незаметно отходит.

Она бредет по мальчиковому коридору. Очень медленно. Сейчас она пройдет мимо четвертой. Потом дойдет до Перекрестка, посидит там на диване и вернется. Еще раз мимо четвертой. Может, потом она еще раз повторит этот маршрут, а может быть, нет. Надо быть уверенной, что никто не застанет ее в классе, что ей хватит времени вернуть украденный амулет и выйти незамеченной. Иначе все потеряет смысл. И она идет, краснея и хорошея с каждым шагом. Вплетенные в волосы колокольчики тихо позвякивают. Скоро она узнает, может ли работать талисманом.

ВАСИЛИСКИ

Что в василиске остается неизменным, так это убийственное действие его взгляда и яда.
Х. Л. Борхес. Книга вымышленных существ

Крыса сидит в замечательном кресле, похожем на гиппопотама. Черная кожа гиппопотама блестит. Он до того уютный, что она полностью расслабилась в его объятиях, почти задремала. Только перекинутая через подлокотник нога, не перестает раскачиваться. На ноге – отличный ботинок черной кожи, тяжелый, как танк, гармонирующий и с креслом, и с кучей жилеткой Крысы – тоже кожа, тоже блестит, все как полагается.

Вот только этот ботинок безумно раздражает ПРИПа. Он глаз с него не сводит. «Интересно, почему? – думает Крыса. – Чем он его так достал? Своими размерами или тем, что все время качается?»

В свои предыдущие визиты ПРИП точно так же таращился на ее тату. Хотя, казалось бы, пора уже привыкнуть. Татуировке больше двух лет, с тех пор как она ее сделала, Крыса не носит одежду с рукавами, потому что *такое* прятать нельзя. Крыса, как живая, иногда даже чешется. За это, а еще чтобы у нее было отдельное имя и не возникало путаницы, хозяйка прозвала ее Вшивой.

Теперь всякий раз с отвращением глядя на свою дочь, ПРИП натыкается на оскал Вшивой. И это только справедливо, ведь сама Крыса никогда на него не смотрит. Только через бирки-зеркальца, висящие у нее на шее. Она видит его фрагментами так давно, что уже не может представить себе иначе, как в отражении. Не может представить его целиком. Да и желания такого не испытывает.

– Мне надоели эти твои бесконечные отлучки, – сообщает ПРИП. – Твои постоянные побеги! Ты добьешься того, что тебя исключат!

Крыса косится на бирки. В них подпрыгивают розовые пятна щек и вздернутое кабанье рыльце. Больше ничего не видать. А потом ПРИП вообще выскакивает из бирок и резвится на свободе, топая и завывая, как взбесившийся баньши.

– Убери-с-моих-глаз-этот-безобразный-ботинок-и-сядь-как-полагается-в-присутствии-отца!

Крыса убирает ногу с подлокотника.

– Перестань орать, – просит она. – Держи себя в руках.

ПРИП – что расшифровывается как Предок и Породитель – контролировать свои эмоции не в состоянии, и Крыса со вздохом закрывает глаза, в ожидании, пока истекут положенные для визитов сорок минут. Хорошо еще, что кресло такое удобное.

–… никаких интересов в жизни! Ведешь инертное существование! Удивляюсь, как ты вообще научилась говорить! Должно быть только для того, чтобы извергать из себя всякую мерзость!

– Открой глаза, девочка, с тобой ведь отец разговаривает, – жалобно блеет Овца у нее над ухом.

Крыса нехотя открывает глаза.

– Разговаривает? Со мной?

Овца только жалобно вздыхает.

Крыса берет самую большую бирку и ловит в нее отражение беснующегося ПРИПа. Теперь он, маленький, красный и лоснящийся, почти целиком умещается между ее большим и указательным пальцем. Неужели он никогда не заткнется?

–…достаешь эту безобразную одежду и обувь и покрываешь свое тело изображениями богомерзких тварей, неужели ты думаешь, что нуждаешься в ухищрениях, чтобы выглядеть уродливее, чем ты есть…

Крыса накрывает отчий лик пальцем и сдавливает его, но голос продолжает звучать:

–…какими-то побрякушками… И будь добра смотреть на меня, когда я с тобой…

Она стискивает бирки в кулаке, все четыре, но ПРИП продолжает пищать, щекоча ей ладонь, и прытко перескакивает на пуговицы жилета. Крыса в ужасе. Она вся усеяна ПРИПами, ПРИПы расползлись по кнопкам, пряжкам, металлическим мыскам ее ботинок, они скользят по блестящим подлокотникам кресла – все вокруг в ПРИПах, которые вопят, размножаясь со страшной скоростью:

– Уродство твоей души отражается у тебя на лице! Каждой своей порой ты смердишь! Смердишь!

Она вскакивает и начинает отряхиваться.

– Смердишь! Смердишь! – визжат ПРИПы, осыпаясь с нее и раскатываясь по паркету.

– Ай! – вскрикивает первоначальный ПРИП, от которого произошли все прочие, и тоже отскакивает подальше. Этого ей не видно, но хорошо слышно. Изначальный ПРИП тяжел, и у него никудышная маневренность.

Крыса рассматривает себя. Придирчиво изучает каждую пуговицу. Руки дрожат с перепугу. В противоположном конце комнаты ПРИП пытается внушить Овце, что его дочь одержима бесами.

– Успокойтесь, пожалуйста, – просит Овца елейно. – Девочка просто перенервничала. Она у вас такая впечатлительная!

ПРИП пьет воду из графина. Он в недоумении. Действительно ли Овца настолько глупа, как кажется? ПРИП склоняется к мысли, что его разыгрывают.

– С меня хватит! – восклицает он. – Я потратил на нее уйму времени, отняв его у других детей. Между прочим, их у меня шестеро. Шестеро! – повторяет он со значением.

Овца, спохватившись, охает и ахает.

ПРИПу это приятно. Крыса знает, что он возвел глаза к потолку. Словно все шестеро чад свалились на него откуда-то оттуда, безо всякого его в том участия.

– Натягивал бы презерватив, когда совсем невмочь, – замечает она. – Глядишь, и детей было бы поменьше.

ПРИП теряет дар речи. Такое с ним случается только, когда он спит. Ему это вредно в бодрствующем состоянии, почти смертельно, потому что слишком уж непривычно.

– Да что же это такое! – возмущается Овца. – И не стыдно тебе? Давай-ка, уходи отсюда, пока твой отец вконец не расстроился.

ПРИП обретает голос и начинает кричать, как он расстроился. Так расстроился, что дальше некуда. Дай ему бог дожить до возвращения домой, потому что он чувствует приближение инфаркта.

Овца выталкивает Крысу за дверь и спешит на помощь к погибающему ПРИПу. В ситцевом платьице в цветочек она похожа на подушечку для булавок. Очень встревоженную, но до того безобидную, что Крыса даже позволяет себе на нее смотреть.

Она уходит. В приемной, конечно, очень славные кресла, но лучше уж сидеть на гвоздях. До следующего визита ПРИПа осталась ровно неделя, и Крыса знает, что он его ни за что не пропустит. Он обожает ее навещать. Это, наверное, самое его любимое занятие. Крыса поднимается по лестнице, не отрывая глаз от своих неоднократно оскорбленных ботинок. Она всегда смотрит под ноги, куда бы ни шла – так можно быть уверенной, что тебя не занесет куда-то, где тебе не хочется быть. У всех свои проблемы. У нее – эта. Прочие девы Дома предпочитают везде таскать с собой матрасы, как улитки свои домики. Матрасы при-

лагаются к ним или они к матрасам – не разберешь, но, видно, так им спокойнее, пребывать на чем-то знакомом, пропитанном собственным запахом. С недавнего времени несколько таких матрасов-самолетов всегда можно застать на Перекрестке.

Крыса садится на край одного из матрасов, протиснувшись между ним и диваном. Ботинкам не хватает места, поэтому их она запихивает под диван.

– Смотри не сломайся, когда будешь вставать, – советует Филин из шестой. – Человеческое тело несовершенно.

На матрасе довольно людно. Крысу это удивляет. Хозяйки матрасов всегда расценивали их как эквивалент кровати и пускали подсесть к себе далеко не каждого. Теперь все не так. На каждом человек по пять-шесть, хозяйки возбуждены до истерики – хихикают, ерзают, закатывают глаза. Для них это почти групповуха. Парни, не понимая, в чем дело, улавливают эти флюиды и тоже теряют голову.

Среди жмущихся друг к другу и страстно сопящих людей Крыса кажется себе бесплотной и невидимой. Они играют в слова. Угадав очередное слово, с преувеличенным восторгом аплодируют, обнимаются и целуются. Бирки Крысы запотевают.

Слон, сидящий перед ней на диване, достает изо рта резинового жирафа и, пытаясь хлопать вместе со всеми, роняет его ей на колени. Очень обслюнявленного и изжеванного жирафа.

Крыса, не глядя, протягивает ему игрушку. Слон не берет. Прячет лицо на плече у Коня и тихо хнычет. Конь берет жирафа, говорит Крысе спасибо, а Слону: «Ай-ай-ай, чего это ты расхныкался, как маленький?» Потом с удовольствием объясняет всем вокруг, что Слон ужасно боится Крысы.

– Ведь боишься же, Слоник? Не надо бояться тетю. Она хорошая.

– Страшная, – бормочет Слон, зарываясь в плечо Коня так, что тот едва не падает с дивана.

Девчонки на матрасе сдавленно хихикают. К их веселью присоединяется Филин. Загадывают новое слово.

– У нее ножики на пальцах… острые ножики, – шепчет Слон, еле слышно. – Только их не видно…

Крыса встает и протягивает ему руки.

– Смотри сам, нет никаких ножиков. Где бы они уместились – твои ножики?

В бирках отражается только она сама. В перевернутом виде. Челка закрывает левый глаз, губы печально кривятся.

Слон жмурится изо всех сил, чтобы не видеть страшных ножей, которые ему так настойчиво предлагают на рассмотрение.

Крысе любопытно, что он на самом деле видит, глядя на нее. Жаль, Слон ничего не может толком объяснить. Но если бы мог, не был бы Слоном, а значит, ничего бы не видел.

Левый матрас не угадал слово. Правый матрас ликует. Филин с Бедуинкой целуются взасос. Крыса смотрит на них с большим интересом. Неужели это приятно? Вылизывать чужой рот языком? А если бы у одного из них был насморк, они бы так смогли? Или с насморком не целуются? Бедуинка, задохнувшись, откидывается на свернутую валиком куртку, вытирает рот и достает из жакета пачку печенья.

– Пожуем?

– О да! – страстно отвечает Филин, глядя вовсе не на печенье.

Бедуинка со вздохом разрывает пакет.

Крыса уходит.

В коридоре намного тише, чем на Перекрестке. И почти никого нет. Только Рыжий затаился у двери второй, словно подкарауливая кого-то.

– Привет, – говорит он Крысе. – Ты куда?

– К себе, – пожимает плечами она. – А что?

– Ничего. Выглядишь как-то не очень. Может, зайдешь в гости? У меня отличный ликер. По-моему, тебе не помешает выпить.

Пока Крыса думает, хочется ли ей пить в компании Рыжего, ее заталкивают во вторую.

Войдя, она сразу спотыкается о то, что в Крысятнике называют столом.

Рыжий раздвигает спальные мешки, заслоняющие обзор: хлопает по ним, и они отъезжают по веревкам, к которым подвешены, как выпотрошенные шкуры. Из единственного, который лежит на полу, доносится храп. Ужасно воняет чьими-то носками.

Крыса садится на пол перед столом-ящиком, облокачивается о его поверхность и тут же к ней прилипает.

– Черт, – шипит она, потирая сладкие локти. – Как вы тут живете, хотелось бы знать?

– Так и живем. Здесь не всегда так грязно. По средам мы устраиваем уборки, а сегодня, как назло, вторник. Самый грязный день.

– И сколько сред вы пропустили? Только честно.

Рыжий достает из рюкзака фляжку, наливает Крысе в колпачок и передает его сразу в руки, не связываясь со столом.

– Ликер из мандариновых шкурок. Полный отпад.

– Сам делал?

Он смеется:

– Нет. Не бойся. Купил у Братьев Поросят. Все стерильно. Представляешь, Фазаний ликер?

В бирке Крысы – пара пучеглазых очков и ничего более. Потом и очки заслоняет фляжка.

– Как поживает ПРИП? – спрашивает Рыжий, вытирая ликерные усы.

– Отлично. Два его персидских кота и две дворняжки тоже поживают хорошо. У одной – которая Милли – был понос, но она уже оправилась, спасибо.

– О-о-о, твой папа любит животных? – изумляется Рыжий.

– Обожает.

Тон Крысы настолько мрачен, что Рыжий понимает, что развивать эту тему не стоит. Но пока он подыскивает другую, Рыжая говорит:

– Он обожает животных. Он от них без ума. Они чистые и невинные создания.

– Упс… – выдавливает Рыжий, растерянно улыбаясь.

– Вот именно, – Крыса смотрит на Рыжего в упор, как не смотрит ни на кого дольше трех секунд.

– Что ты вообще о нем знаешь? Он, к твоему сведению, писатель. Кучу книг написал. Все о животных. Они наверняка есть и в нашей библиотеке. Хочешь почитать?

– Не уверен. А что, хорошие книжки?

– Обрыдаешься. Но в конце все будет хорошо. А если по книге снимут фильм, при съемках не пострадает ни одно животное, он специально оговаривает это в контрактах.

– Слушай, не надо, а? – просит Рыжий. – У всех свои скелеты в шкафах. Зачем же так раздражаться?

Крыса скребет переносицу ногтем.

– Не знаю, – говорит она мрачно. – Это его визиты на меня так действуют. Я от них больная делаюсь. И ты еще с вопросами лезешь.

– Извини. Я же не знал.

– Что ты вообще знаешь?

Рыжий молчит. Он тоже прилип к столу и старается незаметно отодрать локти. Стол отпускает его нехотя, с треском. Крысе было легче. У нее локти голые.

– Хочешь верь, хочешь нет, но летом на него здорово ловятся мухи, – оправдывается Рыжий.

Крыса с содроганием заглядывает в бирки. Похоже, Рыжий не шутит.

– Гадость какая, – морщится она. – Лучше бы ты об этом помалкивал.

– Ужасная гадость, – тут же соглашается Рыжий. – Но и польза все-таки. Какая-никакая.

Поерзав и поулыбавшись непонятно чему, он сдвигает зеленые очки на лоб и превращается в сказочное существо из другого мира. Очень печальное. В его глаза можно смотреться, как в зеркало, в них можно утонуть, к ним можно приклеиться навечно, крепче, чем

к любой мухоловке, прикидывающейся столом. Собственное отражение в них всегда красивее, чем в настоящем зеркале, от него тоже трудно оторваться.

Крыса смотрит на себя, смотрит долго – и встряхивает головой, отгоняя наваждение.

– Ты бы еще разделся.

Пожав плечами, Рыжий опускает очки на переносицу. Тянется к ней и медленно, одну за другой, переворачивает ее бирки изнанкой наружу. С обратной стороны они закрашены.

– Не смей, – предупреждает Крыса. – Такого я никому не позволяю. Это мои глаза.

Рыжий так поспешно отдергивает руку, что становится смешно.

– А твои врут, – добавляет она мстительно. – Показывают улучшенную версию.

Рыжий качает головой:

– Они показывают то, что есть. Это у тебя после встреч с родителем заниженная самооценка.

Ей хочется сказать ему что-нибудь резкое, что-то такое, что бы навеки его от нее отвадило. Отбило охоту лезть к ней в душу и приставать с дурацкими утешениями. Показывать ей собственные неправильные отражения. Но она не в силах от них отказаться, они ей необходимы хотя бы изредка. Хотя бы в такие дни, как этот. Особенно в такие дни. И Рыжий прекрасно это знает. Она думает о себе в шоколадных лужицах его глаз. Такой красивой.

– Ну как? – спрашивает он, когда она отпивает из колпачка.

– Неплохо. Для Фазанов – так вообще гениально. Не знала, что они таким увлекаются.

Рыжий, довольный, что удалось избежать ссоры, улыбается:

– А о них вообще мало что известно. Вроде и в Доме живут, но как будто не совсем.

– Точно, – задумчиво соглашается Крыса. – Они нездешние. Но и не наружные.

Некоторое время они молчат. Рыжий наполняет для Крысы еще один колпачок.

– Слушай, – говорит он с напускным оживлением, – говорят, Лорд запал на Рыжую? Просто смертельно запал. Это правда?

Рука Крысы привычно тянется к биркам. Она смотрит на них, но не переворачивает. И так понятно, что Рыжий наконец заговорил о том, что его по-настоящему волнует.

– Откуда мне знать? – огрызается Крыса. – Я только что вернулась. Сам у нее спроси.

– Ее бесят такие вопросы, – уныло признается Рыжий.

– Значит и со мной нечего это обсуждать..

Глаза Крысы делаются злыми, но Рыжий ничего не замечает. Он возится с фляжкой. Завинтив, поднимает голову, и даже в пучеглазых стеклах его очков читается тревога.

– Понимаешь, – говорит он. – Я за нее беспокоюсь. Она мне как сестра. Я за нее, как бы, отвечаю. Сам перед собой. Она давно влюблена в Слепого, чуть не с десяти лет. А Слепой… я-то знаю… ему на все плевать. Он ни за одной девчонкой ухаживать не станет. Полезет к нему сама – и славно. Он такой. Ему все равно с кем. И если Лорд заманит ее в четвертую, они же все время будут рядом. Она и Слепой. Вот что меня беспокоит. Для Слепого это игрушки, а для нее – нет.

– Ясно, – вздыхает Крыса. – А я-то здесь при чем? От меня ты чего хочешь?

Рыжий угодливо улыбается.

– Ну… ты не могла бы… понимаешь… тоже туда проникнуть. В четвертую. Ты же девчонка, к тому же симпатичная.

Крыса прищуривается:

– И что? Надзирать там за Рыжей, чтоб она не лезла к Слепому, так что ли?

– Нет. Я не это имел в виду. Просто… если бы ты изобразила, что влюбилась в него… всерьез, по-настоящему, она бы тогда сразу выкинула его из головы, понимаешь? Даже близко бы не подошла.

Крыса мельком глядит на распластавшуюся по ее предплечью Вшивую и встает. Рыжий тоже вскакивает. На нем нелепые фиолетовые брюки с кожаными сердечками на коленях, белая, расстегнутая до пупа, рубашка и галстук-бабочка. Выглядит он, как клоун, хотя лицо у него серьезное и даже испуганное.

– Не уходи, пожалуйста! Я не хотел тебя обидеть, честно! Если хочешь, считай, что я

пошутил.

– А ты пошутил?

Рыжий молчит.

Крыса смотрит на него, задумчиво покусывая губу.

– Знаешь, – говорит она наконец. – Мало я встречала в жизни таких сволочей, как ты. Таких откровенных. Я, значит, буду там изображать подстилку для Слепого, чтобы Рыжая на него не позарилась и чтобы ты тут спал спокойно, ведь с твоей любимой сестренкой ничего не случится, так? Слепому будет по барабану, я это или Длинная Габи, лишь бы было в кого пихать свой конец, а я должна буду радоваться, что участвую в таком важном деле. Спасаю от него Рыжую. Мы все это представили, а теперь давай считать, что ты пошутил.

Рыжий стоит понуро, ковыряя носком кеда грязный паркет.

Крыса усмехается.

– Ты все делаешь неправильно. Тоже мне, сводник. Надо было рассказать, какой Слепой классный парень и как он по мне сохнет. Как он тебе плакался в жилетку, что без меня ему жизни нет. Может, тогда и сработало бы.

– Да? – удивляется Рыжий.

– Нет! – фыркает Крыса. – Но хотя бы выглядело поприличнее.

Рыжий опять съеживается.

– Я одного не пойму, – задумчиво говорит Крыса. – Это ведь ты затеял этот новый Закон. Ты ведь сам заварил всю эту кашу, так?

Рыжий кивает:

– Ну я. Тогда мне казалось, что я все хорошо обдумал. А вышла ерунда. Сфинкс пригрозил, что если Габи у них еще раз появится, он мне голову свинтит. А так было бы хорошо…

Его прерывает громкий обеденный звонок. Лежащий в спальном мешке начинает копошиться.

– Теперь надо ее срочно кем-то заменить. Второй Габи у нас нет, сойдет и Крыса.

Рыжий поднимает голову.

Блестящая черная челка косо перечеркивает лицо Крысы, полностью закрывая левый глаз. Если бы не эта челка, было бы видно, что брови смыкаются над переносицей, образуя сплошную линию. Они кажутся гуще от того, что кожа у нее нежная, как у маленького ребенка – почти прозрачная. Рыжий сглатывает слюну.

– Прости, – говорит он. – Я не думал, что это так прозвучит. Хочешь, врежь мне как следует, я заслужил.

– Обед, да? Обед? – из спального мешка высовывается голова, потом ее хозяин появляется целиком. Москит. Костлявый, в полосатых трусах, он рассеянно чешет живот и таращится на Крысу заплывшими глазками.

– Все получилось так мерзко просто потому, что я говорил честно. – Рыжий оглядывается на Москита. – Потому что говорил, что думал, понимаешь? Но я это вовсе не так представлял, как ты описываешь! Я думал, что тебе было бы нетрудно… но если ты так это воспринимаешь… тогда, конечно… о чем разговор… Я, собственно, и не надеялся, что такая девчонка, как ты…

– Заткнись, а? – перебивает Крыса.

– Сегодня будут сосиски, – пытается завязать светскую беседу Москит. – И малиновое желе.

– А Слепому ты и правда нравишься. Хотя, конечно, ты мне уже не веришь.

– А может, малинового желе и не будет. Может, это я и приврал.

– Какой псих тебе поверит? Размечтался.

В спальню с топотом заскакивают два Крысолога:

– Обед! Вы что, заснули тут? – обрывают с вешалки рюкзаки и вываливаются обратно в коридор.

Москит прыгает по комнате, пытаясь попасть ногой в штанину. Крыса переворачивает бирки зеркальной стороной наружу. Одну, вторую, третью, четвертую… цепочки у них раз-

ной длинны и часто перекручиваются.

Рыжий прячет фляжку в рюкзак. В одной из бирок – его галстук-бабочка в красно-белый горошек. Надетый прямо на голую шею.

Крыса осматривается и впервые замечает, что, несмотря на грязь, во второй красиво. По стенам бегут антилопы Леопарда, на бегу превращаясь в струящиеся полосы узоров. Местами они полустерты, но от этого кажутся только лучше. Рыжий надевает котелок и протягивает Крысе руку.

– Мир?

– Смотри, как бы Вшивая не закусала тебя до смерти, – предупреждает его она. – Терпеть не может, когда до меня дотрагиваются.

В бирках – три маленькие двери. Во всех трех одновременно исчезают Москиты. Рыжий с Крысой тоже выходят в коридор – и в бирках сразу темнеет. При каждом шаге подошвы ботинок липнут к паркету.

– По-моему, вам уже поздно делать уборку, – говорит Крыса. – Вы веники не оторвете от пола.

– Не оторвем – так не оторвем, – вздыхает Рыжий. – Ну и что? Будут в Крысятнике икебаны из веников. А потом из Крыс. Живой музей.

Крыса, пожав плечами, уходит в сторону девчачьей лестницы. Стройная, в слишком крупных для нее ботинках. Рыжий кричит: «До свидания!», но она не оглядывается. Он поджимает губы и направляется к столовой. Его обгоняют хихикающие Птицы.

ПРИЗРАК

Душа странствует по ночам. И если ты спишь,
Никогда ты не встретишься со своей душой.
Ф. Нурисье. Хозяин дома

Лорд лежит в искрящейся темноте. Он укрыт с головой и задыхается от жара, а вокруг плавают видения. Ее глаза, волосы, тонкая рука, охваченная плетеным ремешком браслета. Лорд лежит, затаив дыхание, боясь спугнуть наваждение, но оно все тревожнее, все беспокойнее, тает как воск и исчезает. Он откидывает одеяло и дышит полной грудью, мокрый, как мышь, побывавшая в луже.

С воздухом возвращаются звуки. Свист и дыхание спящих. Храп Черного, волнами угрозы вздымающийся к потолку. Ближе – птичий свист спящего Шакала и шорохи ворочающихся тел. Курильщик, не просыпаясь, тянет подушку из-под Табаки и перекладывает ее на Лорда. Лорд уворачивается, передвигаясь к краю кровати. У Лэри – свет ночника. У Македонского тоже свет, заслоненный газетой. Лорд смотрит в потолок, который как будто притягивает его. Потолок тянет и приближается, и вот они уже совсем рядом: колесо, птичья клетка и раскосые глаза воздушного змея. Странное творится с Лордом. Он лежит и одновременно стоит. Стоящий Лорд легок, как пушинка. Он видит потолок и ночник Лэри в форме гриба, и самого спящего Лога с розовым отсветом на волосах, и себя внизу, лежащего под скомканным одеялом – он видит все это с высоты, на которой никогда не бывал, – высоты своего роста. Не успевает подумать об окне и о свежем ветре, врывающемся в форточку, как переносится на подоконник. Лицо овевает ночной прохладой. Ветер приносит с собой отдаленный шум – хохот и визг беспутно веселящихся Крыс. *Могу ли я пойти, куда захочу?* Тень его скользит над полом – слишком легкая – проходит сквозь дверь в темноту, и Лорд закрывает глаза, чтобы лучше видеть свой путь там, где он есть и где его нет. Мимо пролетают темные стены, разверстой пастью наезжает раскрытая дверь. В Могильных окнах – зимняя луна, он прозрачен в ее свете. Ступеньки, чужой коридор…

Лорд протягивает руку, она уплывает в пустоту, ощупывая ее, пропуская сквозь пальцы, пролетая сквозь встречные двери. Он отстает, и когда она нащупывает ту единственную дверь, что ему нужна, он еще далеко, а рука уже скользит по лицу спящей на полу. Наконец Лорд нагоняет ее (всего лишь руку!) и ее прикосновение становится его прикосновением.

Рыжая девушка в съехавшей с плеча майке садится на матрас, вглядываясь в темноту.

– Что это? Эй! Уходи! Уходи отсюда!

Лорд вздрагивает на кровати и ловит воздух ртом.

Вокруг ворочаются, ворчат и вздыхают. Он замирает. *Я был там. Я действительно там был!* Ладонь еще ощущает жесткость огненных волос. Выше пояса он плавится от жара, ниже – ему холодно. *Может, в странствиях по ночному Дому мой призрак застудил себе ноги?* Это больно. Лицо Лорда кривится, он рад темноте скрывающей его гримасы.

Храп Черного. У Лэри – свет. У Македонского – свет. На полу на плитке закипает чайник. Кому-то приспичило пить чай.

– Ну нет! Подавишься! – громко произносит Черный между двумя всхрапами. Это смешно, но никто не слышит и не смеется. Мокрой спиной Лорд липнет к матрасу. Лицо горит, ноги леденеют. Так бывало и раньше, но сегодня это расплата за странное «нечто», которое он позволил себе совершить. Кто-то напоминает ему, что он такое. Полчеловека. С ногами мертвеца.

– Нет, – шепчет Лорд. – Я не буду об этом думать!

И тут же представляет свои ноги мертвыми, сине-белесого цвета. В пятнах. И начинает задыхаться.

Крадущиеся шаги.

Рядом садится Македонский и просовывает грелку под одеяло.

– Я ждал, пока вода закипит.

Лорд молчит, пока горячая грелка не растапливает лед, и до ступней не доходит тепло, которое обожгло бы руки.

– Спасибо, – говорит он тогда. – Я просто трус. Там слишком медленно течет кровь. Как в русалочьем хвосте.

– Не бойся, – говорит Македонский.

И уходит. Зеленая лампа-светлячок у его изголовья гаснет.

– Эй, – раздается сверху сонный голос Горбача. – Мне послышалась песня. Вы там поете что ли?

Черный перестает храпеть.

– Нет, – говорит Лорд. – Никто не поет.

То, что я сделал, вовсе не было песней.

Он лежит тихо. Что он празднует с улыбкой на губах и грелкой под ногами – тайна даже для него самого. В эту ночь ему не уснуть. Он мог бы сбежать от бессмысленного лежания в коридор – уже сам по себе, на колесах – и там, при свете свечей в скользко-кафельном туалетном царстве гасить тоску в компании таких же бессонных, бесконечно сбрасывая и прикупая карту за картой. И в каждой даме проступали бы ее черты, и ему захотелось бы накрыть их ладонью, спрятать, пока другие не увидели то, что видит он: огонь ее волос под королевской диадемой, черноту ее глаз на картонных обрезках. «Что с тобой, Лорд?» – спросят его вкрадчивые голоса, а он не будет знать, что ответить. Поэтому он остается. Лежит и смотрит в потолок. Лучше уж так, заколдованным, плодящим любопытных призраков. Он лежит и празднует свою призрачную встречу.

Мягкое нечто пружинисто вспрыгивает ему на живот и садится, обмотав лапы хвостом. Кошка. Лорд не гонит ее, хотя понимает, что это не Мона. Это чужой кот. Пальцы Лорда погружаются в его шерсть, пушистую, как у болонки.

– Ты откуда? – спрашивает он.

Кот молчит, как и подобает бессловесной твари. Зато с тихим всхлипом просыпается Шакал. Волосы торчат дикобразьими иглами, словно во сне его ударило током. Смотрит бессмысленно. Постепенно взгляд проясняется и загорается любопытством.

– Ага, не спишь, – говорит он. Смотрит на колени Лорда. – Что это с Моной? С чего она так припухла?

– Это не Мона, – отвечает Лорд, рассеянно улыбаясь. – Это совсем не Мона.

ТАБАКИ
День восьмой

Тридцать восемь тюков он на пристань привез,
И на каждом – свой номер и вес…

Льюис Кэррол. Охота на Снарка

Утром нас ждет сюрприз. Возвращение из наружности Летуна с заказами. Очень редкое событие. Крыса приходит перед первым уроком с черной дорожной сумкой через плечо. Кладет ее на учительский стол. Молния взвизгивает. Вампироподобная – черная помада, белая пудра – Крыса один за другим вытаскивает из сумки свертки и раскладывает их на столе. Лэри выхватывает из общей кучи тот пакет, что явно с диском, и убегает. Я беру тяжелую коробку, перевязанную розовой лентой. Дальше ничего не вижу и не слышу, пока не расправляюсь с лентой и с оберткой и не заглядываю внутрь. Божественный запах! Шоколадные спинки блестят аккуратными рядками. Каждая лепешка в отдельном гофрированном гнездышке, на своей подстилке, сверху все прикрыто хрупкой бумагой. Приподнимаю ее, трогаю одну из спинок, облизываю палец. Потом пересчитываю сколько их всего. Два этажа, в каждом ряду по четыре лепешки, а рядов тоже четыре. Всего, значит, тридцать две. Закрываю коробку и прячу в стол. Ленту сую туда же. Теперь можно посмотреть, что у других.

Смотрю. Черный умотал на подоконник со стопкой журналов. Перед хищно перебирающими по столу щупальцами Слепого Крыса выкладывает три банки кофе, четыре блока сигарет, коробок батареек и черные очки гнусной конфигурации. У Горбача – набор расчесок и трубка из пенки в замшевом футляре. На столе еще два пакета, но их мы распечатать не успеваем. Посреди класса вдруг возникает Р Первый и спрашивает, чем мы занимаемся, когда урок уже начался и учитель на подходе. Крысу он будто бы не замечает.

Быстро убираем все с глаз долой: вещи, оберточную бумагу, ленточки и бечевки – все, что пахнет праздником и может расстроить учителей, не принимающих в этом празднике участия. Крыса застегивает сумку и уходит.

– Как самочувствие? – спрашивает Ральф, останавливаясь возле стола Лорда.

Лорд пожимает плечами:

– Хорошее.

Ральф кивает ему, отходит, и свешивается над затылком Курильщика:

– А у тебя?

В ответ Курильщик краснеет и моргает:

– Нормальное.

Ральф осматривает его с ног до головы, как будто сильно сомневаясь в его нормальном самочувствии, и наконец уматывает к своему стулу.

В обеденный перерыв я достаю Сфинкса до тех пор, пока он не сдается и не просит Македонского снять со стены карту Новой Зеландии. Под ней к стене прикноплены два рисунка. Оба большие, каждый почти в половину карты.

На одном – черной тушью – дерево, раскидистое и корявое, почти без листьев. На голой ветке сидит очень одинокий и лохматый ворон, а внизу, у корней, свалка всякого мусора. И хотя мусор самый обычный, человеческий, почему-то сразу понятно, что накидал его ворон – и бутылки, и кости, и значки рок-фестивалей, и календари – и вообще, может, именно оттого он такой грустный, что слишком много в своей жизни израсходовал. В общем, это картина про всех и про каждого – смешная на первый взгляд и печальная на все последующие, как все, что рисовал Леопард. Второй рисунок в цвете. Тощая песочного цвета кошка, посреди растрескавшейся пустыни. Глаза ярко-зеленые, а мордой немного смахивает на Сфинкса. Вокруг только трещинки и призрачные кусты, усеянные бело-желтыми улитками. На земле, у самых ее лап, осколки улиточных домиков, покрытые, как царапинами, заметками и латинскими изречениями. И чьи-то непонятные следы. То ли птичьи, то ли звериные. Тянутся мимо кошки, закручиваются петлями вокруг кустов, и исчезают где-то

вдали.

Долго смотрим на рисунки. Делается немного грустно. Первый рисунок мой, второй – Сфинкса, но на самом деле они – общее достояние стаи. То самое ценное, что мы не вешаем на виду, чтобы не перестать замечать. Мы смотрим на них раз в полгода или чаще, если решаем, что соскучились. Смотрим и вспоминаем подарившего нам их Леопарда. Смотрим, вспоминаем, грустим и переполняемся всякими важными эмоциями. Слепой тоже обычно участвует в этом. Он достигает нужного состояния своими способами, насчет которых мы можем только строить догадки. Но бдения перед рисунками не пропускает никогда. Коридорные звери доступны его пальцам, их он знает не хуже нас. Перед тем как закрасить, Леопард процарапывал на стенах контур рисунка. А эти он знает с наших слов.

И вот мы стоим и сидим перед нашим богатством. Смотрим на него – и не смотрим. Но видим. Слушаем и размышляем. Вешаем карту на место и возвращаемся к повседневным делам. Курильщик ни о чем не спрашивает, что немного странно. Может, он тоже наконец повзрослел?

САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ

Инструкция о передвижении колясника

Пункт 29

В некоторых случаях перемещение на подоконник может осуществляться с помощью напарника, находящегося на подоконнике. Это существенно облегчает задачу перемещаемого. Рекомендация по тех. безопасности: вес напарника должен превышать вес поднимаемого.

«Блюм». № 18

«РЕЦЕПТЫ ОТ ШАКАЛА»

Курильщик, лежа на полу, перелистывает старые номера «Блюма», постепенно склоняясь к мысли, что львиную часть статей в него поставлял Шакал. Лорд считает часы до встречи картежников в условленном месте. Слепой тоже ждет. Затишья в Доме. Перехода в ночь. Когда можно будет отправится на поиски Леса. Горбач приманивает сон игрой на флейте. Сфинкс слушает. Искрящего раздражением Курильщика.

В комнате две ядовитые зоны. Вокруг Курильщика и вокруг Черного.

– Я подозреваю, – говорит Табаки, дожевывая предсонный запас бутербродов, – что у нас сегодня Самая Длинная.

– Очень может быть, – отзывается Сфинкс. – Даже весьма похоже на то, – он толкает коленом Слепого: – Эй! А ты как считаешь?

– Да, – соглашается Слепой, – вполне возможно. В этом году почему-то раньше. Может даже, их будет несколько.

– Это что-то новое, – говорит Табаки. – Это я слышу в первый раз! А отчего и почему ты считаешь, что такое может случиться?

Курильщик устало смотрит на них, подозревая, что они порют чушь, только чтобы он почувствовал себя дураком. И начал расспрашивать. Поэтому он молчит.

Ночь. Горят две настенные лампы из двенадцати. Все, кто остался в спальне, спят. Кроме Курильщика. Курильщик сидит на полу перед грудой журналов и размышляет. Ему хочется сделать что-нибудь такое, чего он никогда не делал раньше. Например, поездить по Дому после выключения коридорного освещения. Может, на него так подействовали старые журналы. Он и сам не знает. Затаив дыхание, Курильщик начинает продвигаться к двери. Он уже почти у цели, когда на кровати поднимается возня, и с нее свешивается лохматая голова.

– Куда?

– Гулять, – шепотом отвечает Курильщик.

Табаки кубарем скатывается на пол.

– Ужас, – бормочет он. – Вместо того, чтобы спать, я теперь должен ехать с этим дурнем и глядеть, как бы чего не приключилось. Ему, видите ли, вздумалось прогуляться. В темноте. Причем, возможно, в Самую Длинную ночь. С ума можно сойти!

– Я вовсе не прошу тебя со мной ехать. Я хочу погулять один.

– Я тоже много чего хочу. Один ты не поедешь. Выбирай: или вместе, или я бужу Сфинкса, и он тебе вправляет мозги.

Пока Курильщик доползает до порога, Табаки уже за дверью и сидит в Мустанге. В пижаме. Сжимая в руке носки и горсть амулетов. Несмотря на его грозный тон, Курильщику кажется, что на самом деле Шакал вовсе не прочь отправиться с ним на прогулку.

– Ладно, – соглашается Курильщик. – Едем вместе.

Пока он карабкается в коляску, ему не до Табаки, а усевшись в нее, он видит, что тот сосредоточенно набивает рюкзак. Рюкзак так раздут, что его не застегнуть, но Шакал тем не менее запихивает в него что-то еще.

– Зачем все это?

– Свитера на случай холода. Еда на случай голода. Оружие на случай внезапностей, – объясняет Табаки. – В ночную жизнь налегке не уходят, дурачок!

Курильщик не спорит. Они по очереди выбираются в тамбур, а оттуда – в кромешную тьму коридора, где Табаки заставляет Курильщика погасить фонарик. «А то нас увидят все, у кого глаза уже привыкли, а мы не увидим никого».

Курильщик послушно выключает фонарик, и тьма обступает их.

– Вот теперь поехали, – шепчет Табаки.

Дом пугающе темен и кажется спящим. Глаза не привыкают к этой темноте. Стены вырастают там, где их вроде бы быть не должно. Табаки и Курильщик едут медленно. Иногда им мерещатся чьи-то шаги спереди или сзади, они останавливаются и слушают. И сразу тот, кто шел, тоже останавливается. А может, им это только кажется. Потом они натыкаются на нечто и включают фонарики. Это пустая коляска. Владельца нет, как будто его слизнули ночные духи. Табаки хватается за амулет.

– Можно подумать, кто-то специально пугает, да? – спрашивает он. В голосе страх – и детское наслаждение страхом.

Курильщик не разделяет его восторгов. Пустая коляска ему не нравится. Табаки долго изучает ее, но не может установить владельца.

– Какая-то безликая, – жалуется он. – Совсем заброшенная…

Они надевают свитера, оставляют коляску и едут дальше.

По Перекрестку бродит босоногий Слон в полосатой пижаме. Глаза его закрыты, лицо запрокинуто. Длинные пижамные штаны подметают пыль Перекрестка. Слон спит, а тело его медленно ковыляет от окна к окну, останавливаясь у подоконников, слепо ощупывает их пухлыми ладонями и идет дальше. Паркет поскрипывает под его тяжестью.

Слепой проносится по коридорам холодным ветром, не задевая стен, и даже чуткие крысы не замечают его, пока он не оказывается совсем близко. Он вдыхает запах сырости, разъедающей штукатурку, и запах обитателей Дома, въевшийся в ветхий паркет. Заслышав шаги, замирает и ждет, пока ночной путник пройдет мимо – как крупное животное в зарослях, треща половицами и натыкаясь на урны. Потом продолжает свой путь – еще более осторожный и внимательный, чем прежде, потому что разгуливающие по ночам опасны своими страхами и секретами. Он подходит к одной из спален. Под надписью, нацарапанной ножом, зрячие пальцы нащупывают трещину. Он прижимается к ней щекой. Так слышно даже дыхание и скрип пружин, когда спящие ворочаются во сне. Тут все спят. Миновав пустые комнаты, Слепой подходит к следующей стене. Здесь есть место, где обрушился пласт штукатурки. И здесь не спят. Слепой слушает долго, больше следя за интонациями, чем за словами. Через равные промежутки времени отворачивается, ловит внешние звуки и, успокоенный, опять приникает к стене.

По доперекресточному отрезку коридора крадется ищущий место для сна. Бледный и большеглазый, с неровно выстриженными волосами цвета ржавчины.

Рыжий боится. Во сне и наяву, днем и ночью, он боится и ждет. Он изгрызает колпачки ручек и изжевывает сигаретные фильтры. И думает. Когда-нибудь это должно закончиться. Пухлый Соломон и Фитиль с красным от ожога лицом пугают его своим многозначительным смехом. Своими улыбками, переглядываниями и перемигиваниями. Фитиль, Соломон и Дон. Остальные – в музыке. Они плавают в ней слишком подолгу, раскачиваясь стоя и подергиваясь лежа, и им нет дела ни до чего, кроме наушников, уходящих шнурами в гремящую пустоту.

Они агрессивные, вечно голодные и вечно прыщавые от сладостей, которыми заглушают голод. Они красят челки и перешивают брюки, украшая их разноцветными заплатами. Рыжий безнадежно старше их. Не годами, а количеством вопросов, которые задает сам себе. Юных Крыс не интересует завтра. Они живут сегодняшним днем. И именно сегодня им нужна лишняя крошка печенья, именно сегодня им нужна новая песня, именно сегодня им нужно написать на стене туалета то единственное, что их волнует, огромными буквами. Крысы страдают запорами, но едят все и всегда. И дерутся из-за еды. И из-за того, кому где лежать. А после драк слушают музыку и едят с особым удовольствием.

Жаловаться они идут к Рыжему. С самыми болезненными прыщами и чирьями они идут к Рыжему. Со сломанными плеерами, с выдохшимися батарейками, с потерянными вещами – со всем они идут к нему. Все, кроме Фитиля, Соломона и Дона. Эти трое его презирают. И с каждым днем смеются наглее, перешептываются громче, уединяются чаще. Держат его в вечном страхе, получая от этого бездну удовольствия. А Рыжий шатается ночами по коридорам, засыпает в неудобных местах и в мечтах перерезает глотки всем троим по очереди. Иногда он отвинчивает в умывальных все краны и затыкает все раковины. Не раздеваясь, становится под душ. И уходит, чапая кедами по водным потокам. Идет к картежникам. Играет с ними, капая на карты. Картежники терпят, потому что он вожак…

Для ночной прогулки Рыжий одет во все черное. Лишь белые кеды мелькают в темноте, двумя пятнами выдавая его присутствие. С плеча свисает спальный мешок. Синий в желтую крапинку. Рыжий ищет укромный угол, где можно поспать, спрятавшись в теплый кокон. Дойдя до Перекрестка, он останавливается. По слабо освещенному луной пространству бродит Слон, осматривая подоконники. Рыжий следит за ним. Кладет спальный мешок на пол, садится на него, закуривает. И терпеливо ждет.

В палатке Стервятника четверо играют в карты. Им тесно. При каждом неловком движении полотнище стен вздрагивает, и качаются гирлянды разноцветных фонариков под треугольной крышей. Ошейник Валета покрыт тупыми шипами. По щеке тянется кровавый след расковыренного прыща. Валет трогает ранку и смотрит на пальцы:

– Опять? Чертова гадость!

– Есть чего выпить? – спрашивает Лорд, потирая глаза, уставшие от лампочного разноцветья.

Дорогуша торопливо размешивает что-то в жестяной кружке:

– Скоро будет, дорогуша, уже совсем скоро. А пока, если хочешь, есть простая вода, – он протягивает Лорду фляжку.

Лорд пьет и возвращает фляжку. Дорогуша грустно вздыхает. С сигареты, зажатой в зубах Стервятника, отваливается пепел, и по одеялу рассыпаются искры. Из динамиков магнитофона поют сверчки.

Курильщик и Табаки едут по темному коридору. Внезапно перед ними загорается красный остроконечный конус. В следующую секунду он уже синий. Потом желтый. Перебрав шесть цветов, конус гаснет, и на несколько секунд воцаряется тьма.

– Что это? – шепотом спрашивает Курильщик.

– Палатка Стервятника, – отвечает Табаки.

Они подъезжают поближе. Теперь палатка горит и переливается всеми цветами одно-

временно и можно различить голоса сидящих в ней. Входной полог откидывается, из палатки вылезает кто-то на четвереньках.

– Привет, – говорит этот кто-то, наткнувшись на них. – Я сваливаю. Хотите поиграть?

– Привет, Валет, – отвечает Табаки и передает свой рюкзак Курильщику. – Слушай, дружище, ты тут побудь немножко сам по себе, пока я с людьми пообщаюсь, ладно?

Он сваливается с Мустанга и резво заползает в палатку.

Прыгая от стены к стене, убегает прочь фонарик Валета. Курильщик остается один. Он слушает голоса из палатки и ждет Табаки, пока хватает терпения. Потом подкатывает ко входу, ставит коляску на тормоз и сползает на пол. Откидывает полог.

– Эй, а можно мне тоже к вам?

Красавица и Кукла целуются на лестнице. Близость урны и раскрошенные вокруг окурки им безразличны. Под свитером у Куклы тихо гудит транзистор. Они впиваются друг в друга горячими ртами, широко разевая их, как пара изголодавшихся птенцов. Их поцелуи нескончаемы, страстны и болезненны. Время от времени они отрываются друг от друга и отдыхают, уткнувшись друг в друга лбами, незаметно вытирая рукавами мокрые рты. Их распухшие губы болят. Они умеют только целоваться. А может, не умеют и этого.

Маленький цилиндрик в укороченной пижаме штурмует лестницу на третий этаж. Он ищет. Ищет то удивительное, прекрасное существо – гибкое и желтоволосое, – находиться рядом с которым было так приятно. Толстый знает, что оно все еще здесь, в Доме. И искать его надо там, куда уходит лестница. Он никогда там не был, значит, именно там оно могло и должно было поселиться. Об этом Толстому твердит внутренний голос, которому он доверяет безраздельно. Тихо сопя, он преодолевает ступеньки…

В учительском туалете горит огонек спиртовки. Трясясь от страха и боли в желудке, Бабочка греет над ним ложку. Бабочка костляв, бледен и покрыт бородавками. Резиновый коврик защищает его тощие ягодицы от соприкосновения с холодным кафелем. Из-под свитера выглядывает грудь, увешанная амулетами и связками чеснока. Бабочку нервирует капель подтекающих кранов, путают шаги и шорохи. Он ежится от сырости и прячет от сквозняков спиртовку, заслоняя ее своим телом. Он простужен. У него понос. Перемещения в одну из кабинок, поближе к унитазу, отнимают много времени, поэтому он решает переселиться в кабинку совсем, вместе с резиновым ковриком, спиртовкой и рулоном туалетной бумаги. Закрыв дверь на задвижку и отгородившись от ужасов ночи, Бабочка чувствует себя в безопасности.

Слон доходит до последнего окна и поворачивает обратно. Рыжий нетерпеливо привстает, не сводя с него глаз. Слон проверяет подоконники в обратном порядке. Медленно и методично. Рыжий шепотом чертыхается, настраивая себя на переход Перекрестка. Быстро пройти, не глядя на Слона. Слон безобиден. Он спит. Но именно спящий Слон пугает его. Рыжий закуривает вторую сигарету. Ему мерещатся шаги. Он быстро гасит ее и замирает, скорчившись на спальном мешке.

В палатке Стервятника душно и жарко. И, как будто духоты и тесноты мало, в двух плошках тлеют какие-то благовония. От их запаха у взмокшего Курильщика кружится голова. Гирлянды фонариков ритмично вспыхивают и гаснут. Курильщик уже жалеет, что присоединился к обществу в палатке. Она слишком мала для пяти человек. Табаки счастлив и всем доволен. Он пьет из кофейной чашки какую-то бурду и рассказывает Стервятнику, кого они с Курильщиком повстречали по пути сюда, хотя на самом деле они никого не видели. Курильщика клонит в сон.

– Эй, встряхнись, – шепчет Дорогуша. – Что будешь пить? «Цветочек»? «Ступеньку»? «Полуночный Кошмар»?

– Только не «Кошмар», – просит Курильщик. От близости Стервятника ему не по себе. Их разделяет Шакал, но при желании до Большой Птицы можно дотронутся рукой. – А кофе

у вас тут нет?

– Кофе, увы, нет.

Курильщик берет протянутую ему чашку и делает глоток чего-то до того горького и вяжущего, что у него сводит скулы и намертво сцепляет зубы. Он давится слюной, не в силах ни выплюнуть ее, ни проглотить. Табаки бьет его по спине, остальные с интересом наблюдают. Лампочки подмигивают.

– Ну-ну, – говорит Стервятник сочувственно. – Нельзя так бросаться на все, что дадут, малыш. Надо сначала распробовать.

Курильщик достает из кармана платок и вытирает слезы.

– Какая гадость, – говорит он, с трудом расцепив спаянные зубы.

Табаки зачем-то надевает солнечные очки.

Кривоног выползает на берег и садится под шестом, которым отмечено самое большое скопление подводных камней. В предыдущие дни река была к нему благосклонна, и он ждет продолжения. Вчера она принесла покрышку, три бутылки с записками и пустую тыкву, расписанную треугольными узорами. Что будет сегодня? Кривоног забрасывает удочку и ждет.

В лунной траве на противоположном берегу пасется огромный белый слон в полосатой попоне. Должно быть, сбежал от хозяев. Слон беспокоит Кривонога, потому что может хоботом выловить проплывающие мимо ценности, тогда придется перебираться на ту сторону реки и доказывать, что они принадлежат ему. А Слон очень крупный. *Не приручить ли его? С помощью хобота можно многое достать. Очень полезно иметь своего собственного Слона. Это даже лучше живой собаки.* Взволнованный такими мыслями, Кривоног откладывает удочку. Но Слон уже уходит, белея широкой спиной. А река несет что-то темное. Напоровшись на самый крупный камень, предмет застревает и покачивается на месте. Кривоног нащупывает сеть. Он очень надеется, что это не дохлая собака. Стрекозы летают слишком низко, мешая ему. Сбив полотенцем несколько штук, Кривоног рассеянно их поедает.

Саара живет на болоте. Он – и лягушки, поющие звонкие песни. Он тоже поет (в лунные ночи), и песни его прекрасны – вот и все, что он знает о себе самом. Кости Саары просвечивают сквозь бледную плоть, комары не садятся на него, зная, что он ядовит, губы его белы, в песне растягиваются во все лицо, глаза почти не видят. Пальцы терзают траву, он дрожит, сотрясаемый песней, и ждет. Песня всегда приводит к нему разных. Самых мелких грязь засасывает прежде, чем они успевают дойти.

В гроте, освещенном светом трех факелов и трех китайских фонариков, вокруг ящика сидят шестнадцать Песьеголовых. Семнадцатый – на ящике. Он держит речь, медленно вращая над головой белоснежную кость. Речь струится мимо острых ушей и утекает в дыру в потолке к мерцающим звездам. Песьеголовые слушают и зевают, с лязгом выкусывая блох.

– Мы путаем метры с километрами, – шепчет один другому. – Это может иметь глобальное значение? Как ты думаешь?

– Я вижу только луну, – невпопад отвечает сосед. – Говорят, на жезле оставалась еще куча мяса, до того как он его заграбастал.

Самый младший в медном ошейнике вдруг начинает выть, запрокинув морду: «Смерть предателям! Смерть!» Его успокаивают, кусая за бока.

Сверкает белая кость, приковывая взгляды.

Оборотень исполняет веселую пляску на груде опавших листьев, которую сгребли для своих смотрин птицы-топтуны. Груда расползается. Оборотень смеется. Не вынеся напряжения, из-под горы листьев выскакивает мышь и устремляется прочь, но оборотень настигает ее в два прыжка.

«Ура, ура, куснем муравья!» – напевает он, небрежно закапывая остатки своей тра-

пезы. До него доносится чье-то сладкое пение. Оборотень настораживается – и, не раздумывая, устремляется на голос. Стрелой несется сквозь лес, но останавливается, замочив лапы в болотной жиже. Брезгливо их отряхивает. Пение становится отчетливее. Оно манит в болото. Идти или не идти? Приняв решение, оборотень начинает с тихим рычанием кататься по земле. Один кувырок, второй – и он встает в человеческий рост. Зевает и, перешагивая с кочки на кочку, углубляется в болото. Ночные стрекозы бьются на лету о его щеки. Пение делается слаще, громче и настойчивее.

Охотники покряхтывают на бегу. Хвосты головных повязок бьют их по спинам. Они бегут гуськом: один, второй, третий – бегут шумно, распугивая дичь. Они нарочно шумят. Тот, на кого идет охота, испугается и выдаст себя бегством. Тогда начнется погоня. Настоящая, о которой они мечтали так давно. И они бегут, тяжело дыша, забрызгивая грязью сапоги. Вообще-то им тоже немножко страшно. Но дичь не должна об этом знать.

В палатке Стервятника Курильщик наконец перестает кашлять и давиться слюной, но не успевает порадоваться этому, потому что почти одновременно что-то приключается с его зрением. Окружающие предметы расплываются и выходят из фокуса, а когда возвращают себе форму, оказывается, что они состоят из множества разноцветных кусочков, как мельчайшая, яркая мозаика. То же происходит с лицами сидящих рядом. Все дробится на миллиард светящихся частичек. Они мигают, перетекают друг в друга и гаснут, а кое-где даже осыпаются, обнажая полную пустоту. Курильщик понимает, что сейчас увидит, как они осыпятся все, и что он постиг истинную сущность бытия, так что, наверное, жить ему осталось недолго.

– Мир осыпается, – с трудом произносит он.

У сидящих рядом это замечание вызывает странную реакцию. Светлячки, из которых состоят их лица, начинают бешено роиться, передавая какие-то сложные гримасы. А потом происходит то самое, чего опасался Курильщик. Все осыпается. Последним – лицо Табаки, оставив два чернильных пятна солнечных очков. Пятна на мгновение повисают в абсолютной пустоте – и почти сразу, не дав ему времени сойти с ума, стремительно собирают вокруг себя новый мир.

Очень яркий… Очень солнечный… Очень пахучий…

Солнце оглаживает Курильщика по спине, вдавливая его в землю. Это приятно. Хотя земли тут нет. Вместо земли – мусор. Жирный и расползающийся под ногами. Почему-то ужасно притягательный. Курильщику хочется в нем рыться, ныряя во все новые и новые запахи, отслаивая их друг от друга, пока из-под их толщи не всплывет нечто совершенно необыкновенное. Но что-то мешает ему отдаться этому занятию целиком. Наверное, парящие в воздухе черные стекла. Солнце превратило их в два сплошных блика, но, придвинувшись вплотную, Курильщик видит в них себя: пару черных котов с белыми грудками – по одному на стекло. От удивления он открывает пасть и громко кричит. Его отражения тоже беззвучно кричат.

– Вот он!

Один из охотников спотыкается. С высокого дерева, из переплетения ветвей, на них смотрит некто с горящими глазами.

– Вот он, вот! – толкаясь, охотники окружают дерево. – Подпалить? А может, спилить? А может…

Некто шипит на них, перебирая по коре когтистыми пальцами. Охотники колотят прикладами о ствол. Дерево скрипит. Один передает свое ружье другому и лезет вверх по стволу. Сидящий среди ветвей шипит громче и плюет в него. Охотник с проклятием падает. Сидящий на дереве смеется и покашливает. Внезапно, перестав смеяться, он соскальзывает с ветки в высокую траву.

Охотники с воплями бросаются следом. Мелькает бронированный панцирь и огненные волосы бегущего.

– Лови! – кричат охотники, грохоча сапогами, разбрызгивая грязь и сбивая улиток с травы.

– Ату его! Хватай!

Громче всех кричит тот, которому жгучий плевок попал прямо в глаз. Лес содрогается от их воплей.

Кое-кого, всю жизнь прятавшегося в дупле и никогда не выглядывавшего наружу, встревожили шум и тряска. Он забивается глубже в труху, выстилающую его убежище, и оттуда палочкой с крючком на конце притягивает к себе кульки с едой – один за другим. Каждый кулек – три слоя шелковистых листьев, скрепляющая их слюна и еда внутри – бесценен. Нельзя бросать их на произвол судьбы. Только один, последний, он оставляет на виду и даже придвигает его к отверстию дупла, так, чтобы непрошенный гость, проникший сюда, нашел его и, удовольствовавшись малым, унес, не вынюхивая ничего другого.

Кривоног встает и взволнованно подпрыгивает, всматриваясь в реку. «Пусть это не будет дохлая собака, пожалуйста, пожалуйста», – просит он, забрасывая сеть. Предмет тяжелый и длинный. Сопя и всхлипывая от напряжения, Кривоног тянет, пока не вытаскивает его на берег целиком. Долго рассматривает подарок реки, потом подскакивает с радостным воплем. Спальный мешок! Отличный спальный мешок. Совсем целый. Синий в желтую крапинку. Кривоног выжимает из него воду и утаскивает сушить в надежное место.

Белогубый Саара допевает песню и затаивается в засаде. Босые ноги шлепают по грязи. Все ближе и ближе… Он вытягивает шею.

Человек. Грязно-белые брюки, грязно-белый свитер. Длинные волосы цвета сажи. Совсем молод. Не детеныш, но и не взрослый. Подобравшись, Саара прыгает. Собственный вопль настигает его в воздухе, и, перекрутившись, он безвольно падает перед добычей. Добычей? Ха!

Как это печально самому попадать в ловушки. Саара сокрушается, пока оборотень не говорит:

– Хватит, не переживай так.

Тогда он перестает скрести землю и садится в центре мандалы, которую процарапал когтями в податливой глине.

– Зачем, – спрашивает он, – ты идешь на заманку, как простая добыча?

– Интересно, – объясняет оборотень. – И красиво. Споешь еще?

Саара молча злится. Петь просто так? Не заманивать, не тосковать? Позор на вечные времена!

– Ладно, – говорит он. – Если спустишься ко мне. И в обмен на что-нибудь ценное.

– Заметано, – оборотень встает. С его волос капает коричневая грязь и стекает по плечам на светлые брюки. Спина оборотня будто покрашена. И от него уже пахнет болотом.

– Пошли, – Саара пятится, протискиваясь задом в узкое отверстие норы. – Это здесь.

В мокрой от дыхания Песьеголовых пещере с расползающимися от жара китайскими фонариками и догорающими факелами пятномордый предлагает собранию:

– Затянуть на нем ошейник еще на четыре дырки! Кто согласен?

Остальные скулят, перебирая лапами.

– На две! На четыре! На одну! На все, сколько есть!

– Жребий! – кричит кто-то, подскочив и сбив макушкой факел. – Пусть жребий решит!

Факел тушат, разбрасывая горящие крошки.

На пол падает консервная банка, и в стремлении разглядеть выпавшее на крышке число головы жадно стукаются лбами.

– Четыре, – хихикает младший, совсем щенок.

Песьеголовые смущенно переглядываются. Толстый в подпалинах громко дышит, вывалив язык. Его ошейник затянут настолько, что пространства для жизни остается маловато. Еще четыре дырки лишат его этого пространства окончательно. На него смотрят плотоядно и начинают подкрадываться. Он, почти не прикидываясь, падает в обморок. Его презрительно облаивают.

В узкой норе, красиво выложенной изнутри ракушками, Саара сладко спит, напившись крови гостя. Гость отдал ее добровольно, поэтому нельзя сказать, что Саара нарушил правила гостеприимства. Гость сидит рядом, одурманенный песнями. Он трогает спящего Саару и просит: «Эй, проснись…»

Но хозяин норы не просыпается. Встав на четвереньки, гость выползает наружу. Его застывшие глаза освещает луна. Он идет обратно через болото и через лес, идет долго, пока наконец не устает. Тогда он находит вырытую кем-то яму и ложится в нее, прикрывшись от чужих глаз ветками и листьями. Лежа в яме, он вспоминает песни, за которые заплатил кровью. Их надо повторить, чтобы запомнить. Его спина покрыта коркой подсыхающей глины. Он съеживается и обнимает колени, переплетя длинные, как белые стебли, пальцы. Вспоминает все песни – от начальных слов до последних – и засыпает, успокоенный. Лес шелестит над ним темными ветками.

Укрытые темнотой, израненными ртами целуются влюбленные. У них свои песни. Над ними тоже шумит невидимый Лес.

Маленькое существо доползает до запертой двери и скребется в нее, жалобно поскуливая.

Превратившийся в кота Курильщик кричит. Громко и безнадежно. Висящие в воздухе черные очки еле заметно покачиваются от его воплей.

– Ну вот, – произносит недовольный голос. – Еще один. И чего им неймется? Надоели!

Курильщик закрывает рот. На краю мусорного бака сидят два крупных пепельно-серых кота. Отчего-то они кажутся опасными. Он пробует сказать им «кис-кис-кис», но ничего не получается. На мордах котов отчетливо проступает отвращение. Раньше Курильщик не разбирался в кошачьих эмоциях. Сейчас это не составляет труда. Мусор пахнет все более притягательно, но порыться в нем, видимо, не удастся. Слишком много посторонних. Он еще раз пытается выразить свои мысли вслух:

– Помогите!

– Не ори! – приказывает один из котов. – Веди себя прилично. Прыгай сюда, к нам.

Голос кота раздается у Курильщика в голове. Он послушно подпрыгивает – и падает обратно в мусор. Подпрыгивает еще раз. Опять безрезультатно. С третьей попытки ему удается повиснуть на загибающемся краю бака, кое-как подтянуться и сесть, оскальзываясь то задом, то передними лапами.

– Позорище! – шипит ближайший к нему кот. Второй молча спрыгивает вниз с наружной стороны бака и кидается в кусты. В кустах поднимается возня. Курильщик свешивается, пытаясь разглядеть, что там происходит, и едва не падает следом.

– Он что-то ловит? Кого-то?

– Конечно ловит, глупый человек, – отвечает оставшийся на краю бака кот. – Твою тень. Ты же не хочешь помереть котом? Тем более, кот из тебя никудышный.

«Очень даже милый котик», – обиженно думает Курильщик, вспоминая свое отражение в солнечных очках.

Серый только фыркает. Потом вдруг взвивается в воздух, нелепо растопырив лапы, и камнем падает вниз. *«Давай, быстрее!* – доносятся до Курильщика его мысли. – *Прыгай сюда! Неумеха!»*

Посмотрев вниз, Курильщик видит, что коты припали к земле, нервно приминая ее лапами. Терзают они небольшой клочок тени, почему-то более густой, чем их собственные.

– Прыгай!!! – орут они одновременно и с такой силой, что Курильщика едва не сметает с края бака. – Прыгай в тень!!!

Он мнется на узкой полоске жести, не решаясь на самоубийственный прыжок. Коты начинают грозно гудеть. Только мысль о том, что они с ним сделают, если он сейчас их не послушается, заставляет Курильщика прыгнуть. Отчаянно мяукнув, он падает вниз, стараясь попасть в растянутое пятно тени. От удара всеми четырьмя лапами об асфальт перехватыва-

ет дыхание… И тут же становится темно…

Открывает глаза Курильщик в душной палатке. Разноцветье мерцающих фонариков ослепляет его. Половинка входного полога откинута, его неподвижные ноги высовываются наружу. Пахнет тлеющими благовониями. Голова Курильщика лежит на раздутом шакальем рюкзаке. Его мутит. На стон оборачиваются Табаки и Лорд с картами в руках.

– Я был котом, – шепчет он непослушными губами.

– Ну и славно, – отзывается Табаки. – А теперь поспи.

Фитиль, Соломон и Дон преследуют Рыжего, подсвечивая путь фонариками. Соломон задыхается и потеет. Нервно оглядываясь, Рыжий стучит в дверь Ральфа. Дверь заперта, внутри никого. Рыжий приседает на корточки и замирает. Трое преследователей останавливаются посовещаться. Рыжий слушает через дверь пустоту запертой комнаты и кусает ногти, цепенея от страха.

Слон спит в Птичьем Гнезде, засунув палец в рот. Ему снится странная, похожая на голубой огонек, светящаяся фиалка. Совершенно случайно найденная им на подоконнике Перекрестка.

Ральф открывает дверь воспитательского коридора и освещает печальные глаза, моргающие от яркого света.

– Что ты здесь делаешь? Почему не спишь?

Толстый пробует проползти мимо в открывшуюся дверь.

Ральф перехватывает его и поднимает с пола.

– Ну-ка, пошли со мной… – он начинает спускаться. Толстый у него на руках кряхтит и дергается. – Тихо! – командует Ральф. – Что еще за глупости! За тобой что, присмотреть некому?

Соломон выключает фонарик и кивает Фитилю на дверь учительского туалета.

Внутри между умывальниками и писсуарами мечется Рыжий, оскальзываясь на мокром полу. Бежать некуда. Здесь только кабинки, которые вряд ли закрываются. Он ощупывает одну дверь, вторую… Его ослепляет яркий свет. Тех, у кого фонарики, не видно, но ему необязательно смотреть на них, он их и так знает. Свет приближается.

В шестой по счету кабинке на низком унитазе сидит Бабочка и слушает шум. Он как раз собирался спустить воду, но теперь решает этого не делать. И, загасив спиртовку, сидит в темноте. Опасаясь, что его выдаст запах.

Курильщик и Табаки выползают из палатки Стервятника. Следом выходит сам Стервятник и помогает Курильщику погрузиться в коляску. Курильщику слишком плохо, чтобы отказываться от его помощи.

– Счастливо, – напутствует их Стервятник. – Не заблудитесь в потемках.

– Это мы-то? – возмущается Шакал.

Птица машет им рукой и ныряет обратно в палатку. Курильщик мечтает только об одном. Поскорее добраться до спальни.

– Я был котом, – шепчет он, направляя коляску за пятном света от фонарика Табаки. – Славным таким котиком…

– Слушай, ну что тебя заело? – вздыхает Шакал. – Ну был и был. Теперь-то ты больше не кот.

Раздается душераздирающий вопль. Табаки роняет фонарик.

Рыжий закрывает глаза, уворачиваясь от света, бьющего в лицо. Выхватывает нож. Больше всего жалея о том, что не надел зеленые очки. Но кто бы догадался? Он заставляет себя разогнуться навстречу фонарикам. Кто-то черный прыгает к нему. Отскочив, Рыжий наугад тычет ножом. Нож перехватывают. Щеку обжигает бритвой. Вторая режет кожу на

ключице. Рыжий визжит. Чьи-то руки запрокидывают ему голову. Он выворачивается, пиная ногами воздух. Успевает прикрыть горло, и бритва пропарывает ладонь. Рыжий впивается зубами в схватившую его руку, прокусывает ее, выворачивается из рукавов куртки и падает на пол. Свет фонариков прыгает по кафелю. Он отползает в ближайшую кабинку, хлопает дверью и шарит в поисках задвижки. И находит. К своему удивлению. Прежде, чем дверь начинает сотрясаться от ударов снаружи, он успевает ее задвинуть. Отступает и спотыкается о чью-то ногу. Кто-то лежит между унитазом и стенкой кабинки. Рыжий вскрикивает.

Лежащий поднимает голову:

– Чего орешь?

Рыжий, дрожа, опускается на унитаз. В свете фонариков, сочащемся из-за двери, собственная кровь кажется ему черной.

Слепой садится, прислушиваясь:

– Все еще ночь, верно?

– Ночь, – со всхлипом подтверждает Рыжий. – И меня убивают. Втроем, между прочим!

Словно в подтверждение его слов дверь слетает с петель. Слепой неустойчиво поднимается навстречу Фитилю и Соломону. В соседней кабинке в унитазе с грохотом обрушивается вода.

– Черт! – Фитиль отступает. – Там рядом еще кто-то есть! А здесь Слепой!

– А где тогда Рыжий? – Соломон светит фонариком из-за его плеча.

– Тоже тут. Что будем делать?

Фигуры с фонарями неуверенно переминаются в дверном проеме. Рыжий сползает с унитаза и вжимается в стену, размазывая по ней кровь.

Дон, стоящий на стреме, свистом предупреждает об опасности.

– Бежим!

Соломон хватает Фитиля за рукав. В дверях туалета они сталкиваются с Ральфом.

Ральфу мешает фонарик, поэтому он успевает схватить только Фитиля. Мазнув бритвой, Фитиль освобождается. Чертыхаясь, Ральф подбирает упавший фонарик и освещает туалет. Выломанную дверь кабинки. Кафель в кровавых подтеках.

Сначала были крики. Потом ниоткуда возник Р Первый с Толстяком на руках, посадил его на пол, велел крепко держать и убежал. Теперь Табаки и Курильщик стерегут Толстого, который тихо гудит, пускает слюни и все время норовит уползти.

– Что-то стряслось, – шепчет Табаки. – Надо посмотреть. А ты-то куда вылез? Совсем спятил? – он недовольно щипает Толстого и поворачивается к Курильщику. – Слушай, давай его посадим на тебя. И ты его повезешь. Только держать надо крепче. Чтоб не упал.

– Лучше на тебя. Не хочу я его держать.

– На меня нельзя. Я слишком хрупкий.

Они кое-как втаскивают Толстого на колени Курильщика, после чего Табаки быстро сматывается. Курильщик пытается ехать следом, но с Толстым на коленях это невозможно. Держать его так неудобно, что когда Толстый начинает дергаться, вконец обозлившийся Курильщик спихивает его на пол и, включив фонарик, следит за тем, как он быстро уползает в темноту.

Возле учительского туалета небольшая толпа. Никого нельзя разглядеть. Все светят от себя. В основном на дверной проем. И ждут. Наконец в дверях появляется Р Первый. Он тащит кого-то, кто не может идти сам, и с этого кого-то с отвратительным звуком капает.

– Посветите до лазарета кто-нибудь! – кричит Ральф, поудобнее перехватывая свою ношу.

Один из стоящих поблизости делает шаг вперед, и на стене проявляется носатая тень Стервятника. Он уходит, освещая дорогу Ральфу.

– Это был Рыжий, клянусь! – шипит Табаки, теребя Курильщика за локоть. – А где

Толстый? Куда ты его подевал?

Заслоняя ладонью глаза, из туалета выползает Бабочка.

– Уберите ваши чертовы светилки! – раздраженно кричит он.

Свет фонариков упирается в пол.

– Где-то здесь была моя коляска? Где она теперь? – Бабочка ползает кругами, как обожженное насекомое.

– Эй! Что случилось? – Табаки пихает Бабочку рюкзаком. Бабочка невнятно бормочет что-то себе под нос. Табаки пихает сильнее. Бабочка возмущенно шипит, отбиваясь от рюкзака ладонью.

– Откуда мне знать? Я какал! У меня понос! Я знать ничего не знаю и с унитаза не сходил. Вроде Рыжего порезали. А может, и не Рыжего. Не знаю ничего, найдите мою коляску!

Табаки оставляет его ползать в поисках коляски.

– Никакого толку, – жалуется он Курильщику. – Прикидывается идиотом.

– Поехали, – просит Курильщик. – Я нагулялся. Честное слово. С меня хватит.

Табаки вертит головой, освещая стены и пол:

– Где же все-таки Толстый? Я его тебе передал на сохранение!

– Не знаю. Уполз куда-то. Поехали.

Табаки укоризненно светит Курильщику в глаза:

– Нам велено было его держать. А ты упустил. Теперь надо его найти.

– Ладно. Давай поищем.

Табаки не спешит. Высвечивает расходящихся полуночников.

– Погоди, погоди, – шепчет он. – Это интересно. Смотри-ка…

Из темноты в него швыряют чем-то тяжелым. Это намек, и Табаки нехотя гасит фонарик.

– Видал, сколько их?

– Что ты здесь делаешь, Табаки? – спрашивает знакомый голос. – И зачем вытащил этого…

Табаки смущен.

– Мы с Курильщиком гуляли. Нам что-то не спалось. А тут крики, Ральф, шум. Подъехали посмотреть. А кто бы не подъехал на нашем месте?

– Ладно, потом поговорим. Забирай его в спальню.

– Но мы должны найти Толстого! Нам Ральф велел. Толстый сбежал. Без коляски, без ничего. То есть без всего.

– Возвращайтесь. Я сам его найду.

– Хорошо, Слепой, – Табаки разворачивает коляску. – Уже едем.

Они едут не одни. Впереди шуршат шины. Эти, впереди, иногда разгоняются, уверенные, что едут по центру, и тут же врезаются в стены. Производимый ими шум помогает Табаки ехать правильно. Курильщик, обрадованный приказом Слепого, честно спешит добраться до спальни. Табаки с удовольствием задержался бы, но не уверен, что Слепой не идет следом. Поэтому тоже спешит. Впереди Бабочка сипло клянется кому-то, что его понос спас чьи-то жизни.

Ральф выходит из лазарета и видит Стервятника, дожидающегося его на площадке. Стервятник играет, чертя фонариком зигзаги на потолке.

– Не стоило меня дожидаться.

– Я подумал, вам не захочется идти в темноте. Провожу вас со светом.

– Спасибо.

Ральф идет к своему кабинету. Стервятник хромает рядом, освещая паркет под ногами. У двери они останавливаются, и Стервятник светит на замочную скважину.

– Можешь идти, – говорит Ральф, открывая дверь. – Спасибо за помощь.

– Возьми это, Р Первый, – достав что-то из кармана, Стервятник протягивает ему. – Сегодня ночью тебе это пригодится.

Самокрутка. Ральф молча берет ее.

– Спокойной ночи.

Он захлопывает дверь и включает свет.

В зеркале, вделанном в дверцу шкафа, Ральф разглядывает свое лицо. Заклеенное пластырем. От глаза вниз по щеке. Порез поверхностный, но Ральф не может не думать о том, как ему повезло. Чуть левее – и он остался бы без глаза.

– Сукины дети, – говорит Ральф своему отражению. Подходит к окну, поднимает штору. Вглядывается в темноту. Переводит взгляд на ручные часы. Встряхивает их. По его глубокому убеждению, утро уже должно было наступить. Однако заоконная темнота беспросветна. Но не это пугает его. Зимние ночи не спешат переходить в утро. Ральфа пугают стрелки часов, намертво приросшие к двум без одной минуты. То же самое творится с настенными часами.

– Спокойно, – говорит себе Ральф. – Всему можно найти объяснение.

Но он не находит объяснений происходящему. Он готов поклясться, что выходя от Шерифа – сегодня справлялся день рождения Крысиного пастуха, и справлялся основательно, – посмотрел на часы, и было без четверти два. С тех пор прошло немало времени. Только в лазарете он провел не меньше получаса. Ральф впивается взглядом в минутную стрелку, гипнотизируя ее. Эти часы работают на батарейках, батарейки иногда садятся. Но настенные… Настенные часы по-домашнему успокаивающе тикают.

Ральф опускает штору и берет со стола журнал. Перелистывает его, стоя. Найдя статью о популярной певице, засекает время и начинает читать. Статья о певице, еще три – о водорослях, о модной этой зимой одежде, об овцеводстве… Пробежав спортивные колонки, он отшвыривает журнал и смотрит на часы. Настенные соизволили передвинуть минутную стрелку на два ровно. Ручные упрямо показывают без минуты два. Ральф смотрит на них (бесконечно долго, как ему кажется) и наконец с облегчением приходит к выводу, что они испорчены – и ручные, и настенные. Почему-то испортились одновременно. Что ж, и такое иногда случается.

Ральф осторожно снимает часы с запястья и опускает в настольный ящик. Самокрутка – подарок Стервятника – лежит нетронутая на подлокотнике дивана. Выкури он ее, многое перестало бы выглядеть угрожающе.

– Что-то случилось со временем, – говорит Ральф вслух.

Он оборачивается на тихий шорох и видит листок бумаги, который протолкнули в щель под дверью. Одним прыжком достигает двери, распахивает ее, потом, чертыхаясь, распахивает и коридорную, но поздно. Ночной визитер успел сбежать. Ральф некоторое время стоит, всматриваясь в темноту, потом возвращается и подбирает с пола листок с ребристым отпечатком собственной подошвы. Корявые буквы, написанные в спешке, еле умещаются на бумажном обрывке: «Помпея прикончил Слепой. Там были все».

В четвертой спальне Табаки, примерившись, роняет рюкзак на спящую кошку, выжидает немного и кричит вскочившим с кроватей:

– Эй, вы даже не знаете! Случилось такое!

Его крик будит всех, кого еще не разбудил вопль кошки.

Одежда Слепого пахнет сортиром, болезнью Бабочки, кровью и страхом Рыжего. Он идет медленно. Лицо спокойно, как у спящего. Пальцы убегают вперед и возвращаются, когда он вспоминает дорогу. Это время – трещина. Между Домом и Лесом. Трещина, которую он предпочитает проходить во сне. В ней память спотыкается о давно знакомые углы, а вместе с памятью спотыкается тело. В ней он не контролирует слух, и многого не слышит, или слышит то, чего нет. В трещине он сомневается, сможет ли найти того, кого ищет – и забывает, кого собрался искать. Можно войти в Лес, стать его частью – тогда он найдет кого угодно, но дважды в ночь Лес опасен, как опасна двойная трещина, заглатывающая память и слух. Слепой идет медленно. Его руки – быстрее. Они убегают сквозь прорези в рукавах свитера – рукавах, которые были слишком длинны и которые он разрезал перочинным ножом до локтей. Босые подошвы, черные, как сажа, липнут к паркету.

Ему в лицо ударяет свет. Он проходит его насквозь, не замечая. Рука ловит его за плечо. Слепой останавливается, удивленный тем, что не расслышал шагов.

– Иди со мной. Есть разговор.

Слепой узнает голос и подчиняется. Рука Ральфа не отпускает его плечо до самой двери.

Кабинеты – как пасти капканов. Слепой ненавидит их. Дом – его территория, из которой выпадают только кабинеты – комнаты-ловушки, пахнущие железом. Вне них все принадлежит ему, в кабинетах он не хозяин даже самому себе. В кабинетах есть только голоса и двери. Он входит и слышит щелчок. Сомкнулись зубы капкана, он в пустоте, наедине с дыханием воспитателя. Здесь памяти нет. Только слух. Он слышит окно и сочащийся в его щели ветер. И шорох, похожий на шорох бумаги. Клочка бумаги, которым шелестит трехпалый Ральф.

– Ты был там. Когда порезали Рыжего. Я тебя видел.

– Да, – осторожно отвечает Слепой. – Я там был.

– Ты слышал тех, кто это сделал. И ты их, конечно, узнал.

Голос Ральфа – острый, как лезвие ножа, – плавает, удаляясь и приближаясь. Как будто его заглушает ветер. Это действительно ветер. Он звенит в ушах Слепого, трогает его волосы. Странное творится со Слепым. Там, где этого быть не должно. В душном кабинете воспитателя он слышит Лес.

Сразу за порогом.

Подкравшийся к двери.

Царапающий ее ветвями и шуршащий корнями.

Зовущий. Ждущий…

Пробежать по мокрым опушкам под белой луной… Найти кого-то… Кого-то…

– Что с тобой? Ты меня слышал?

– Да… – Слепой пробует убрать все звуки, кроме голоса. – Да, я слышу.

– Тех, кто это сделал, ты не тронешь. Ты понял меня? Хватит с нас Рыжего. Я знаю Закон. Трое на одного и так далее. Это меня не интересует. На этот раз Закон придется обойти. Тебе.

Слепой слушает. Странного человека, живущего в Доме, не знающего, что такое Дом. Не знающего ночей и их правил.

– Ты мне не ответил.

Да. Ждущего ответа. Интересно, какого?

– Ночь привела их ко мне, – говорит Слепой. Объясняет, как ребенку, слишком маленькому, чтобы понять. – Ночь разбудила меня и заставила услышать. Как трое ловят одного. Почему? Я не знаю. Никто не знает.

– Ты их не тронешь. Я запрещаю. Если с ними что-нибудь случится, ты об этом пожалеешь.

Слепой терпеливо слушает. Можно только слушать. Раз нельзя объяснить. Дорога в Лес зарастает колючками. Внутренние часы давно простучали рассвет. Но ночь не кончается. Потому что это Самая Длинная ночь, та, что приходит лишь раз в году. Не заканчивается и бессмысленный разговор, в котором у каждого своя правда. И у него, и у трехпалого Ральфа.

– Ты слышишь меня?

Он слышит. Утекающие в землю ручьи. Тающих птиц и лягушек. Уходящие деревья. И ему грустно.

– Ты не тронешь их и пальцем. Или в два счета вылетишь из Дома к чертовой матери! Ты понял? Я лично об этом позабочусь!

Слепой улыбается. Ральф не знает, что, кроме Дома, ничего нет. Куда отсюда можно вылететь?

– Я знаю, что Помпея убил ты. И директор об этом узнает.

Должно быть, так написано в бумажке, которую Р Первый держит в кулаке. Скомканный шепот стукача? *Крик Рыжего, вспугнувший его сон… Запах крови и сломанная дверь.*

Он вдруг вспоминает, кого должен был найти. Толстого. Трещина закрывается. В Дом рвется ветер. Там, снаружи, холод и снег.

– Перестань усмехаться! – руки Ральфа встряхивают его неожиданно сильно. Были какие-то слова, он должен был их произнести. Но слов нет.

– У меня нет для тебя нужных слов, Р Первый, – говорит Слепой. – Не сегодня ночью.

Опасность дышит на него. Он ничего не может объяснить. Он живет по Законам. Так, как желает Дом, желания которого он угадывает. Он слышит их, когда другие не слышат. Как было с Помпеем.

– Ты лаешь на ветер, Ральф, – говорит он. – Все будет так, как должно быть.

– Ах ты, щенок! – воздух вокруг густеет, зарастая клочьями ваты. Желудок Слепого наполняется стеклом. Оно бьется со звоном и колет его изнутри.

– Тихо! – одергивает Сфинкс сам себя, споткнувшись об отставшую паркетину. Горбач спешит посветить ему под ноги. Они ищут Толстого, которого вообще-то обещал найти Слепой. Так сказал Табаки, перебудивший всех, чтобы поведать историю своих приключений. Сфинкс почти уверен, что знает, где можно найти Толстого. И жалеет его.

По времени уже утро, но Дом не знает об этом – или не желает знать. Гнусно скрипит паркет. Где-то далеко в наружности воет собака. За стенами спален шумят и переговариваются, в душевых гудят трубы.

– Мало кто спит, – отмечает Горбач. – Почти никто.

– Не каждую ночь свергают вожаков, – отвечает Сфинкс. – Наверное, в каждой стае нашелся свой гулящий Шакал.

Они проходят учительский туалет. Он выглядит зловеще, как и полагается «месту происшествия». Спугивают две шепчущиеся тени, которые убегают от света.

– Сюда уже первые экскурсии, – вздыхает Горбач. – К утру пойдут стадами.

Сфинкс молчит.

– Может, Слепой уже нашел его?

Горбача ободряют разговоры. Он не любит выходить по ночам.

– Если бы нашел, то уже принес бы. Полчаса для него вполне достаточно, чтобы отыскать в Доме кого угодно. Полчаса, а то и меньше.

– Тогда почему его нет?

– Спроси чего полегче, Горбач. Я здесь с тобой, а не со Слепым.

На лестнице воняет окурками. Пролетом ниже кто-то сонно чихает. Кто-то слушающий транзистор.

– Наверх? – удивляется Горбач.

– Хочу кое-что проверить, – объясняет Сфинкс. – Есть одно предположение.

Толстый спит, приткнувшись к двери, ведущей на третий. Бесформенный и несчастный. Тяжело вздыхает и бормочет во сне. Горбач поднимает его, и открывается подсохшая лужица, в которой валяются два обкусанных медиатора. Ими, Толстяк, вероятно пытался открыть дверь. Чувствительный к переживаниям неразумных, Горбач, чуть не плача и путаясь в волосах, заворачивает Толстого в свою куртку. Сфинкс ждет, постукивая пяткой о перила. Лестничный холод кусает за голые лодыжки. Толстяк ворчит и хлюпает носом, но не просыпается. Обратно они идут медленнее. Горбач с трудом светит из-под свертка с Толстым, а Сфинкс без протезов ничем не может ему помочь. Некто с транзистором опять чихает. Заоконное небо на Перекрестке все еще черно.

– Давайте я посвечу, – говорит Лорд, выкатив на них из темноты. Горбач, чуть не уронивший с перепугу Толстяка, облегченно вздыхает и передает Лорду фонарик.

– Что ты здесь делаешь?

– Гуляю, – огрызается Лорд. – А ты как думал?

«Двое, – считает про себя Сфинкс. – Остался Слепой».

Прихрамывающий Стервятник тащит в Гнездо громоздкое сооружение, которое тянется за ним бледным шлейфом. Увидев их, останавливается и – безупречно вежливый – здоровается.

– Погода отличная, – говорит он. – Вы, я надеюсь, в порядке? С Лордом уже виделись.

– А со Слепым? – спрашивает Сфинкс.

– Не довелось, – сокрушенно признается Стервятник. – Очень жаль.

Дальше они идут и едут впятером. Стервятник ничего не рассказывает о Рыжем. Он говорит только о погоде и когда у двери третьей его фонарик освещает Слепого, сообщает и ему, что «погода хороша как никогда». Слепой отвечает невнятно. Простившись, Стервятник исчезает в дверях третьей, унося с собой палаточное полотно и шесты, опутанные ремнями. Свет от фонарика Лорда прыгает по стенам.

– Где ты был? – спрашивает Слепого Сфинкс.

Прихожая встречает их ярким светом, падающими вениками и взлохмаченными головами в дверном проеме. Горбач заносит в спальню спящего Толстого.

– Вот он, наш маньяк толстенький! – возбужденно комментирует голос Табаки. – Вот он, наш путешественник…

Слепой сворачивает в умывальную. Сфинкс идет за ним.

– Чья это кровь на тебе?

Слепой не отвечает. Но Сфинкс и не ждет ответа. Он садится на край низкой раковины и наблюдает. Слепой, уткнувшись в другую раковину, пережидает приступ тошноты.

– Ночь затянулась. Даже для Самой Длинной. – говорит Сфинкс сам себе. – И именно эта ночь мне не нравится. По-моему, если все лягут спать, она кончится быстрее. Так чья это кровь?

– Рыжего, – мрачно отвечает Слепой. – Потом расскажу, сейчас меня мутит. Старина Ральф вытряс из меня ужин.

Сфинкс нетерпеливо раскачивается на краю раковины, облизывая ранку на губе:

– Из-за Рыжего? Так это ты его порезал?

Слепой поворачивает к Сфинксу бледное лицо с двумя красными волдырями вместо век:

– Не болтай ерунды. Из-за Помпея. Если я его правильно понял. Он узнал. Кто-то настучал ему. Все время шуршал какой-то бумажкой.

– Но почему именно сейчас? Почему сегодня? Он что, спятил?

– Может, и так. Если послушать, что он болтает, то, пожалуй, и спятил, – Слепой опять нагибается к раковине. – А если нет, то скоро спятит. Спорим, сейчас он обстукивает по очереди все свои часы и меняет в них батарейки? Думает, кто устроил ему такую подлянку. Откусил утро и проглотил его.

– Не смейся, тебя опять вывернет.

– Не могу. Он велел мне и пальцем их не трогать. Соломона, мать его, и Фитиля с Доном. Даже не разглядел их, но считает своим долгом заступиться. «Я знаю ваши Законы». Я сам не знаю наших законов. Я не знаю. А он знает. Надо было уточнить, что он имел в виду.

Сфинкс вздыхает:

– Поправь меня, если я ошибаюсь. Соломон, Фитиль и Дон порезали Рыжего, а он тебя ударил за то, что ты не пообещал оставить их в покое, так? По-моему, ты чего-то не договариваешь.

– Он врезал мне за то, что я не умею вежливо выражаться, – уточняет Слепой, выпрямляясь.

– А ты не умеешь?

– Смотря когда, – Слепой поправляет свитер, сползающий с плеча. – Черт, я сейчас выпаду из этой одежды. Это называется декольте?

– Это называется чужой свитер. На три размера больше, чем надо. Так он тебя ударил из-за Соломона или из-за Помпея?

– Из-за нервов. Его тоже порезали. Он разнервничался. А тут еще стукачи… Заставил меня помыть там все, перед тем как отпустил.

Слепой умолкает, нахмурившись. Выражение его лица Сфинксу не нравится. Он слезает с раковины и подходит к Слепому.

– Случилось что-то еще?

Слепой пожимает плечами:

– Не знаю. Может, он ничего и не заметил. Я хочу сказать… люди ведь не имеют привычки рассматривать чужую блевотину, как ты считаешь?

– Обычно не имеют. А что? Было что рассматривать?

– Ну… Честно говоря, мышки не успели толком перевариться. К сожалению, кроме них, там почти ничего не было. В смысле, ничего, что могло бы их замаскировать.

– Хватит, Слепой, – морщится Сфинкс. – Давай без подробностей. От всего сердца надеюсь, что Ральф не приглядывался к тому, чем ты украсил его кабинет.

– Я тоже. Надеюсь. Но он как-то странно молчал. Кажется, даже ошарашенно.

– Чем ошарашенное молчание отличается от обычного?

– Оттенком.

– Ага, – вздыхает Сфинкс. – Если оттенком, то хреново дело. Он видел, а уж что при этом подумал – нам не узнать. Возможно, это и к лучшему.

Слепой улыбается:

– Счастье в неведении?

– Вроде того, – мрачно соглашается Сфинкс.

– Настырный тип этот Ральф. Шастает по ночам… лезет, куда не просят. Пристает с дурацкими требованиями. Раздражает.

Отойдя от раковины, Слепой сдергивает с крючка полотенце и вытирает лицо. Сфинкс пристально разглядывает отпечатки его босых ног на кафеле. Красные от крови.

– Ноги тоже не мешало бы вымыть. Где ты их так изрезал?

Слепой проводит ладонью по подошве:

– Действительно, изрезал. Где-то, не помню. Может, на пустыре, – он поправляет сползающий свитер. – Послушай, я так устал…

– Почему ты вечно напяливаешь всякий хлам? – Сфинкс почти кричит.

Слепой не отвечает.

– Почему ходишь босиком по стеклам?

Не дождавшись ответа, Сфинкс заканчивает шепотом:

– И какого черта даже не чувствуешь, что порезался, пока тебе об этом не скажут!

Слепой молчит.

Вздохнув, Сфинкс тихо выходит.

В спальне горит свет. На краю постели Лорд кутается в одеяло и курит. Курильщик шепотом описывает Лэри и Горбачу ужасы пребывания в кошачьей шкуре. Табаки спит с опаленным восторгом лицом, сжимая в руках походный рюкзак, вывернутый наизнанку.

СФИНКС
Самая длинная ночь

Повесть Табаки номер четыре.

Третье чаепитие.

Шакал бодр и весел. Он успевает подремать, проснуться, рассказать то, что пропустил в первые три раза и уже пробует сложить подобающую случаю песню. Лэри и Горбач в куртках поверх пижам сидят перед кофеваркой на корточках, как перед костром. Лэри вздыхает: «Ну везет же людям… Столько всего повидать…» – и заводит Табаки еще на полчаса захлебывающейся скороговорки, от которой уже тошнит всех, кроме него самого и Лога.

Бледным посланцем потустороннего мира возвращается Слепой – от ступней до макушки яркая иллюстрация к кровавым историям Шакала. Стая рассматривает его самого и свитер. Особенно свитер. Еще бы. Не каждый день такое увидишь.

Табаки ненадолго умолкает с гордым видом: «Ну, что я говорил? Ночь полна ужасов!» Как будто он лично вывалял Слепого в крови и блевотине. Одно

за другим перед взорами стаи проплывают страшные видения, а я спохватываюсь, что нет Курильщика. Уж не утопил ли его кто-нибудь в унитазе? За Курильщиком последнее время нужен глаз да глаз. У него появилась привычка всех вокруг доводить.

– Какой у тебя грязный… ой-ой-ой… свитер, – медово выпевает Шакал. – Где, о где же ты так испачкался?

Бледный, игнорируя Шакала, валится на кровать. Лэри, тряся обрывками бакенбард над чашкой чая, подмигивает Горбачу. Горбач отворачивается.

– Ну что? – гнусным голосом спрашивает Черный. – Еще одним вожаком меньше стало?

Интересно, кого он спрашивает?

Табаки, сочтя вопрос адресованным себе, немедленно принимается пересказывать ужасную повесть в пятый раз:

– Слышим: кто-то кричит. Ну, думаем, что-то стряслось. Смотрим, а это…

Черный уходит.

– Выбегает Р Первый откуда-то со стороны лестницы, – заканчивает Горбач за Шакала. – Может, хватит, Табаки? Сколько можно?

Шакал обижается, как малое дитя.

Лорд, закутанный в плед, смотрит на меня ясными глазами:

– Может, сыграем в шахматы?

Не наигрался. Мало ему было карт на полночи. Никому в этой комнате не нужен сон, кроме меня. Мне он тоже не нужен, но хочется на всех наорать, уложить, выключить свет и ждать утра в темноте, притворяясь спящим. Мне не нравится эта ночь. Как и все ей подобные, начиная с самой первой. Утро, наступившее после той первой Самой Длинной, было гораздо хуже, чем ночь, к счастью, его я почти не помню. За одним исключением. У каждого свой застарелый кошмар. Мой – это белый кораблик. Даже сейчас, когда в противовес ему я могу припомнить уйму плохого, белый кораблик остается вне конкуренции. Он не просто будит, он встряхивает и заставляет давиться слезами. При всей моей любви к Шакалу не могу ни понять, ни принять его страстного увлечения Самыми Длинными. Ведь и ту, первую, он пережил вместе с нами, вместе со мной. Как же теперь он умудряется получать от них столько удовольствия? Неужели ничего не помнит? Недоумевая – мысли о подозрительной беспамятности Табаки мучают меня не первый год, – иду к дверям. Надо найти Курильщика. Не успокоюсь, пока не соберу всех в спальне.

– Глядим, а это Р Первый с Толстым. Раз – и швыряет его нам! А там кричат, визжат…

В тамбуре темно, в ванной – свет и голоса. Прислоняюсь к косяку и слушаю. Мне не надо их видеть, чтобы догадаться, кто там кого загоняет в угол.

– Это был я, и в то же время не я, – объясняет Курильщик. – Я до смерти испугался, но почему-то было приятно. Не знаю, как такое может быть… Знать, что выглядишь так, и не помереть на месте.

– А не надо трогать наркоту!

Я их не вижу, но знаю, что подбородок Черного сейчас нависает над Курильщиком, как молот над наковальней. И когда он ударит, полетят искры.

– Кот, кенгуру, динозавр – здесь тебе что угодно организуют, только попроси. Даже просить не надо. Господи, полезть к Стервятнику и чего-то там хлебать в его отстойнике! Да он сто лет уже ничего не жрет, кроме всякой дури! Хочешь откинуть копыта – пожалуйста, ходи к нему в гости и угощайся, чем дадут! Только потом не жалуйся, что с тобой что-то не то стряслось. Скажи спасибо, что жив остался. Котом он, видите ли, был!

– Я говорю о другом!

Бедный Курильщик. Он загнан в угол и тихо огрызается, не понимая, с кем имеет дело.

– Дело не в этом… Дело в том, как я себя чувствовал. Мне это понравилось, понимаешь?

– Понимаю, – с отвращением откликается Черный. – А ты понимаешь, куда тебя несет и с кем ты связался?

– Табаки…

– Не говори мне про Табаки. Вообще лучше помолчи. И подумай. Вернись в комнату, посмотри на всех внимательно и подумай. Что тебе сказал Слепой?

– Что не надо гулять по ночам.

– Ха! – выразительно фыркает Черный, вложив в это междометие всю иронию, на какую способен.

– Но ты сказал то же самое.

– Я сидел в спальне. А он шлялся не пойми где. Ты его видел? На что он похож!

Дальше не слушаю. Скрипит входная дверь, и я отступаю под вешалку. Входит кто-то маленький и темный, жмется к стене. Кто?

Тихо окликаю ночного гостя.

– Это я, – отвечает голос Рыжей. – Это я, Сфинкс, – ее рука нашаривает меня и отдергивается. – Ты что, прячешься?

– Уже нет.

Становлюсь в полосу света из-под двери ванной. Говорим шепотом. Я – чтобы не спугнуть Черного, она – потому что шепчу я.

– Что случилось?

– Ты должен знать. Рыжий. Что с ним? У нас говорят…

Из ее голоса прорастает Могильник. Трое детей в захламленной палате. Волосы девочки, огненные, как костер. И летают подушки от кровати к кровати, теряя перья и кнопки застежек…

– Все в порядке. Он жив. Совсем слегка порезали.

Я говорю то, что предполагаю, а не то, что узнал от Шакала. Если верить Шакалу, Рыжий давно уже труп.

– Спасибо, – шепчет девушка в темноте. И начинает плакать.

Где твое плечо, Сфинкс? Давай, подставляй его. Только это ты и умеешь делать. Она находит его сама, на ощупь. Стоим впотьмах, она – уткнувшись лицом в мою куртку, в ванной течет вода, и голос Черного пытает Курильщика, вливая ему в уши яд, а в спальне Табаки слагает песню о ночных происшествиях, самое увлекательное из которых то, что парня, которого плачущая мне в плечо девушка считает своим братом, порезали. Очень подходящая тема для песни. Меня разбирает злость, но я не знаю, на кого я злюсь сильнее. Может, хуже всего эта ночь, которой нет конца?

– Пошли, – говорю я ей. – Пить чай.

Чем бы заткнуть Шакала?

– Нет. Не могу. Я только хотела узнать про Рыжего. Я знала, что вы будете в курсе…

Хорошо еще, что она не слышит песню и то, что бормочет Черный.

– Пошли, – говорю я. – Переночуешь сегодня у нас. Табаки расскажет, что он видел. Он ведь был там.

– Но…

– Что?

Она мнется и пятится к двери:

– Лорд может неправильно понять. У нас с ним был разговор. Сегодня. Он приезжал ко мне. И если я теперь к вам приду… Это будет как ответ.

– А ты не хочешь ему отвечать?

Молчание. Скорее смущенное, чем протестующее. Так мне кажется, хотя, возможно, я себя обманываю.

– Или все-таки хочешь?

Она молчит.

– Рыжик!

– Пошли! – хватает меня за рукав. – Я сама не знаю, чего я хочу. Но я не хочу уходить.

Мы входим в спальню. Наш приход обрывает песню и вгоняет стаю в ступор. Впрочем, они довольно быстро приходят в себя.

Приветственная речь Табаки. Приглашающие взмахи Логовских ладоней от кофеварки к чашкам и обратно. Горбач выбегает, балансируя пепельницами. Македонский наступает в блюдце с кошачьим молоком и переворачивает его. Подвожу Рыжую к строенной кровати. Она садится рядом с Лордом – и в глазах Златоглавого загорается собственнический блеск. Триумфальный блеск. Он застенчиво гасит его ресницами.

– Рыжая пришла спросить насчет Рыжего, – объясняю я. Звучит это как идиотский каламбур.

– Ах, Рыжий! А что Рыжий, – Табаки мгновенно воскрешает всех ночных покойников. – Да он почти что не пострадал. Ральф вовремя подоспел и его спас. Дело было так…

КНИГА ТРЕТЬЯ
ПУСТЫЕ ГНЕЗДА

СФИНКС

Уже пушинки парят
Над тлеющим терном.
Скоро твоя перчатка сочтет
пустые гнезда.

Альфред Гонг. Боэдромион.

Я лежу на влажной траве, положив ноги на скамейку, и смотрю в небо, которое недавно плакало. Мои заляпанные грязью кроссовки скрещены на сиденьи скамейки, грязь на них постепенно светлеет, высыхая, и осыпается на облезлые доски. Слишком быстро. Летнее солнце безжалостно. Через полчаса от прошедшего дождя не останется никаких следов, а через час тому, кто вздумает здесь поваляться, потребуются солнечные очки. Я пока еще могу смотреть на небо. Ярко-голубое в паутине дубовых ветвей. Ниже – корявый ствол, будто сплетенный из окаменевших канатов. Дуб – самое красивое дерево во дворе. И самое старое. Взгляд скользит по нему сверху вниз, от самых тонких веток до корней толщиной с меня, и над спинкой скамейки я замечаю надпись, тонкие, блеклые царапины на гребнистой коре: «помни»… что-то еще и «не теряй»… Приподнимаю голову, чтобы лучше видеть, я привык читать и менее разборчивые надписи.

«Помни о С. Д. и не теряй надежду».

С. Д. Самая Длинная ночь.

Кому-то она дарит надежду…

Это было бы смешно, не будь это так грустно. Стоило ли убегать из Дома, где такие вот надписи змеятся, переплетаются и закручиваются в спирали, кусая себя за хвосты – каждая крик или шепот, песня или бормотание, так что, глядя на стены, хочется заткнуть

уши, как будто это действительно звуки, а не слова – стоило ли сбегать оттуда, чтобы любоваться этой маленькой, но такой пугающей надписью?

«Я дерево. Когда меня срубят, разведите костер из моих ветвей».

Еще одна веселая надпись.

Почему они так действуют на меня? Может, оттого, что они здесь, а не там, где стены в сплошной паутине слов? Не заглушенные ничем, они звучат более зловеще.

А так хотелось отдохнуть. От Дома. От таких вот надписей. От призывов веселиться до упаду – «ПОКА ВРЕМЯ НЕ ВЫШЛО!»… от ста четырех вопросов теста «Познай себя» (один глупее другого, не пропускать дополнительные пункты!). И я сбежал оттуда. Из хаоса в мир тишины и старого дерева. Но кто-то побывал здесь до меня, перетащил сюда свои страхи и надежды и изуродовал дерево, подучив его шептать каждому, кто окажется рядом: «Когда меня срубят, разведите костер из моих ветвей».

Дуб величественно простирает шишкастые ветки к солнцу. Древний, прекрасный, невозмутимый, готовый, как и любой его собрат, вынести самые изощренные человеческие надругательства без жалоб и упреков. Я вдруг ясно представляю его стоящим среди развалин снесенного Дома, окруженным горами битого кирпича… как он стоит, вот так же протягивая толстые ветки к солнцу, а выцарапанные на стволе буквы призывают не терять надежды.

Холод пробегает по позвоночнику.

«Испытываете ли вы временами необъяснимый страх перед будущим?» Вопрос шестьдесят первый теста «Познай себя». В тестах, как нам сообщили, нет незначительных вопросов. Каждый добавляет важные штрихи к психологическому портрету тестируемого. В нашем случае они могли бы обойтись одним этим пунктом.

Хрустят шаги по гравию. Приоткрываю один глаз.

Небо… ветки… ноги, облаченные в черные брюки.

– Тебе удобно?

Ральф в расстегнутом пиджаке и небрежно повязанном галстуке садится на скамейку и закуривает.

– Очень удобно.

Не встаю. Раз сказал, что мне удобно, придется теперь глядеть на него снизу вверх. Ральфа это не смущает. Он прячет в карман зажигалку и достает оттуда сложенный листок. Разворачивает и держит у меня перед носом. Это список. Шесть имен и фамилий.

Три из них мне хорошо знакомы. Фитиль, Соломон и Дон – Крысы, слинявшие в наружность. В первый раз они сбежали еще зимой, после Самой Длинной, но их быстро нашли и вернули, после чего они почти сразу сбежали опять. Их возвращали еще дважды в течение месяца – и тридцать дней жители Дома развлекались, делая ставки на то, сколько им удастся продержаться. Их фамилии намозолили всем глаза в объявлениях о розыске, которые почему-то развешивали на первом этаже. Как будто и Акула уже спятил настолько, что отождествлял первый этаж с улицей, патетично взывая с его стен к случайным прохожим: «Всех, кто может что-либо сообщить о местонахождении упомянутых подростков…» На третий раз вернули одного Фитиля. Куда делись другие «упомянутые подростки», так никто и не узнал, а Фитиль не решался сбегать в одиночку и остался в Крысятнике – жалкой тенью прежнего себя, шарахающейся от каждого Крысенка.

– Да? – говорю я. – Первые трое – Фитиль, Соломон и Дон, остальных я не знаю. Они что, тоже сбежали?

– Не совсем.

Ральф переворачивает свой список и придирчиво изучает его, как будто желая убедиться, что ничего не напутал.

– Остальные из первой, – сообщает он. – Пока никуда не сбежали, но отчего-то очень рвутся.

Я сажусь. Теплый и поджаренный солнцем спереди, мокрый и замерзающий сзади.

Весь в муравьях и в песке. Отряхиваюсь, борясь с головокружением.

– Звонят родителям, – продолжает Р Первый, не отрываясь от списка. – Пишут письма директору. Просят забрать их из Дома как можно быстрее. Создается впечатление, что не будь они… ограничены в передвижении, то последовали бы примеру тех троих. Кажется, их кто-то запугивает. Ты об этом что-нибудь знаешь?

– Нет, – отвечаю я. – Впервые слышу.

Ральф убирает список в карман и откидывается на спинку скамейки. Его явно не устраивает мой ответ, но мне действительно невдомек, с чего вдруг трое Фазанов одновременно решили очутиться как можно дальше от Дома. Хотя, зная первую, можно удивляться лишь тому, как поздно они спохватились.

Ральф любуется небом сквозь ветки, подставляя лицо солнечным зайчикам. У него очень мрачное, злодейское лицо – у настоящих злодеев таких не бывает. Только в кино, в самых старых фильмах. И он даже не думает седеть или лысеть, хотя проработал здесь уже… лет тринадцать, не меньше. Очень стойкий человек.

– Хорошо, – говорит он. – Допустим, ты ничего не знаешь. Но что ты об этом думаешь? Чего они боятся? От чего пытаются бежать?

Я пожимаю плечами:

– Вряд ли они напуганы. Скорее, их выживают. Первая это умеет. И не только первая, – невольно добавляю я, вспомнив о Курильщике, который вполне мог бы очутиться в списке Ральфа, дай мы себе волю. Но мы все-таки не Фазаны.

– О ком ты сейчас подумал? – настораживается Ральф. У него вид ищейки, взявшей след. Со стороны это выглядит забавно.

– О Курильщике, – честно отвечаю я. – Можете внести его в свой список, если хотите.

– Ах вот как…

Р Первый погружается в задумчивость. Надолго.

Я тоже молчу. Может, и не стоило говорить ему о Курильщике. Воспитатели – существа непредсказуемые, никогда не знаешь, какие выводы они сделают на основе полученной от тебя информации. С другой стороны, вряд ли сообщение о Курильщике может чем-то нам навредить.

– Ты хорошо помнишь прошлый выпуск? – внезапно спрашивает Р Первый.

Я морщусь. Некоторые темы не обсуждаются. В домах повешенных – веревки. Может быть, даже мыло и гвозди. Ральфу это известно не хуже, чем мне.

– Нет, – говорю я. – Плохо. Только ночь в кабинете биологии, где нас заперли. Утро почти не помню. Так… кое-что… фрагментами.

Он щелчком отбрасывает окурок.

– Вы тогда ждали чего-то совсем другого, верно?

– Может быть. Лично я ничего не ждал.

Встать и уйти будет невежливо. Хотя это так и напрашивается. И меня все сильнее раздражает собственная позиция на уровне его колен. Встаю с земли и пересаживаюсь на скамейку.

– Ты ведь Прыгун?

Заглядываю Ральфу в лицо. Он перешел все мыслимые и немыслимые границы. Интересно, чем я его спровоцировал? Неужели тем, что отвечал? Может, и так. Любой на моем месте уже послал бы его к черту. Есть множество способов послать человека к черту, не прибегая к открытому хамству. Ральф абсолютно не удивится, если я сейчас спрошу: «Что-что? Как вы сказали? Прыгун? Что вы имеете в виду? По-вашему, я похож на кенгуру?» Он, в общем-то, только этого и ждет. Но чем больше разных вариантов «что-что?» приходят на ум, тем становится противнее. Лучше уж послать его к черту. Хотя я и этого не могу. Потому что зимой, когда мы отправили к нему Слепого с просьбой узнать что-нибудь о Лорде, он не послал нас к черту, не изобразил удивление и не возмутился нашей наглостью, а поехал неизвестно куда и сделал намного больше, чем мы могли надеяться. И если я сейчас изображу удивление и стану болтать о кенгуру, то, наверное, сам себя перестану уважать. Поэтому я говорю:

– Да. Я Прыгун. И что?

Ральф потрясен. Смотрит на меня, приоткрыв рот, и долго не находит, что сказать.

– Ты так спокойно об этом говоришь.

– Не спокойно, – поправляю я его. – Нервно. Хотя, может, по мне этого и не видно.

– Но другие… – запнувшись на слове «Прыгун», он меняет его на «такие, как ты», – никогда об этом не говорят.

– А я плохой Прыгун. Неправильный.

Ральф замер, его глаза лихорадочно блестят, как будто он умудрился откопать в канаве что-то невообразимо ценное и теперь никак не может в это поверить.

– Что значит «плохой»? – спрашивает он.

И я вдруг понимаю, что, может быть, мне этот разговор даже нужнее, чем ему. Потому что никто никогда не спрашивает себя о том, что и так понятно. Или кажется понятным.

Откидываюсь на спинку скамейки и зажмуриваюсь. Солнце бьет прямо в глаза. Хороший предлог не смотреть на собеседника.

– Я этого не люблю.

Чтобы понять, как он удивлен, на него и смотреть не надо. Отвечаю на вопрос прежде, чем он успевает его задать:

– Я не прыгаю. Не обязательно делать то, что можешь. Не обязательно это любить.

Открываю глаза, гляжу на него, затаившего дыхание, как будто даже дыханием меня можно спугнуть, и объясняю:

– Со мной это случилось в то самое утро. Впервые и сразу на шесть лет. Когда я пришел в себя и мне дали зеркало, я не лысины своей испугался, как все подумали. А того, что в зеркале отразился мальчишка. Которым я уже не был. Представьте себе это, если сможете, и вы поймете, почему с тех пор я больше не прыгал.

– Хочешь сказать, ты с тех самых пор?..

– С тех самых пор. Не делал этого и не собираюсь. Разве что все произойдет само собой. Я могу перенервничать, испугаться чего-нибудь, испытать сильное потрясение. В таких случаях иногда прыгается. С вами не случалось?

– Я не… – начинает он.

– Наверняка случалось. Просто вы ничего не помните. Это забывается очень быстро.

Ну вот. Теперь он поперхнулся и закашлялся. А мне не с руки стучать его по спине. Очень трудно рассчитать силу удара протеза, из-за этого мне не удаются многие дружеские жесты. Втягиваю ноги на скамейку, кладу подбородок на колено и гляжу, как он судорожно кашляет. Он как ребенок, играющий со спичками. Заиграется в папу и в пожар – а потом удивляется, когда вдруг приезжает машина с настоящими пожарными. Хотя в его детских книжках яркие картинки подробно объясняют, как одно вытекает из другого.

– Сейчас вам захочется прервать меня, – предупреждаю я. – Или просто куда-нибудь уйти. Это со всеми так, не беспокойтесь.

Ральф сидит, ссутулившись, запустив пальцы в волосы. Лица его мне не видно, но, судя по позе, чувствует он себя не очень хорошо.

– Я никуда не собираюсь уходить. – говорит он. – И мне вовсе не хочется тебя прерывать.

Стойкий человек.

– Зря, – отвечаю я. – Мне чем дальше, тем меньше нравится наш разговор. И вообще у меня здесь свидание.

Он явно не верит. Я опять откидываюсь на спинку скамейки и закрываю глаза.

Как мы колотили в ту треклятую дверь! Чуть не снесли ее вместе со стеной. Если бы нас не выпустили, мы бы в конце концов ее высадили. Потому что утром нашему терпению пришел конец. Всю ночь мы просидели взаперти, покорно и терпеливо, уважая волю старших и их великие дела. Мы знали, что еще не доросли до того, чтобы принимать участие в таких вещах. Было до слез обидно, но мы сдерживались. Та ночь была последней для старших, а не для нас. Она принадлежала им. А мы провели ее в кабинете биологии на двух брошенных на пол матрасах, которыми они не забыли нас снабдить. Матрасами и ведром.

– Нас было четырнадцать или пятнадцать человек, – говорю я Ральфу. – Нам не дали

ни одеться, ни обуться. Сиамцев, Вонючку и Волка увели куда-то в другое место. Видно, вычислили, что этих запертая дверь не удержит. Слепого так и не нашли. Он слинял еще до их появления. Единственный из нас, кого в ту ночь не заперли. Кроме пижам, у нас был только костыль Фокусника и пакет карамелек. Карамель мы сгрызли в первые полчаса, а костылем утром измолотили дверь… Мы лупили по ней, чем попало, лишь бы высадить, ведь мы уже поняли, что о нас забыли и что выбираться придется своими силами.

Ральф морщится от неприятных воспоминаний. Он тоже был там. Кажется, даже среди тех, кто нас выпустил. Эти люди пытались нас удержать, но легче было бы удержать четырнадцать хвостатых комет. Разметав своих спасителей, мы помчались по коридору, крича охрипшими голосами. Некоторые из нас плакали уже тогда, на бегу, просто от страха, ведь мы еще ничего не знали. Куда мы неслись сломя голову, куда спешили, я до сих пор не могу понять, зато хорошо помню, что нас остановило. Лужа. Небольшое густо-бордовое озеро на Перекрестке. В центре него плавал наполовину затонувший кораблик носового платка. Он до сих пор иногда снится мне. Была ли та лужа и в самом деле огромной? Во всяком случае, достаточно большой, чтобы сообразить: никто не может остаться в живых, потеряв столько крови. Я смотрел на нее, как загипнотизированный, и все это время на меня напирали те, кто подбежал позже. Толкали в спину, заставляя делать шаги в ее направлении. Шажок за шажком, пока я не почувствовал, что носки у меня промокли. После этого я уже ничего не помню.

Спустя шесть долгих лет я вернулся и наконец узнал о событиях той ночи, но для меня они навсегда и остались чем-то далеким, полузабытым. Я не пережил их вместе со всеми – одна из самых страшных ночей Дома для меня начинается и заканчивается бордовой лужей с наполовину затонувшим корабликом в центре и собственными холодными и липкими носками.

Придя в себя (шесть лет спустя по моему времени и месяц спустя для всех остальных), я увидел в зеркале странное существо: лысое, длинношеее, слишком юное, с диковатым взглядом… понял, что жизнь придется начинать заново, и заплакал. От усталости, а вовсе не из-за того, что лишился волос. «Неведомый вирус, – объяснили мне. – Скорее всего, ты уже не заразен, но желательно провести в карантине еще некоторое время». Карантин спас меня. Я успел переключиться. Успел избавиться от кое-каких взрослых привычек и свыкнуться со своим новым обликом. Персонал Могильника прозвал меня Тутмосиком. От Тутмосика до Сфинкса я дорос за следующие полгода.

Ральф молчит целую вечность.

– Странно, – говорит он после долгой паузы. – Там все было в крови. Пол, стены, по-моему, даже потолок. А твое сознание вместило одну-единственную лужу.

– Мне ее хватило, – уверяю я. – Мне ее более чем достаточно. В моей луже – вся та Ночь. И все последующие дни.

– А потом…

– А что было потом, я не стану рассказывать. Это не имеет значения.

Он опять со вздохом лезет за сигаретами:

– Ладно. В любом случае, спасибо. Ты первый, кто говорил со мной о таких вещах. За пятнадцать лет. Мне, наверное, больше не стоит тебя ни о чем спрашивать?

– Не стоит. Чем меньше разговоров на эту тему, тем лучше.

– Ты меня запугиваешь?

– Запугиваю, – соглашаюсь я. – Пытаюсь, во всяком случае. Только вы слишком твердолобый, чтобы как следует испугаться. А это плохо. Дом требует трепетного отношения. Тайны. Почтения и благоговения. Он принимает или не принимает, одаряет или грабит, подсовывает сказку или кошмар, убивает, старит, дает крылья… это могущественное и капризное божество, и если оно чего-то не любит, так это когда его пытаются упростить словами. За это приходится платить. Теперь, когда я вас предупредил, можем продолжить разговор.

– Рискуя… чем? – осторожно спрашивает он.

– Не знаю. Гадайте сами. Может, у вас получится. Ведь на самом деле вы знаете намного больше, чем думаете.

Ральф смотрит на меня довольно раздраженно.

– Хватит играть словами! – требует он.

Смешной человек… теперь получается, что я играю словами.

– О, вы не знаете, как играют словами, – уверяю я. – В Доме есть настоящие мастера этого дела. Мне до них далеко.

И тут наконец появляется Русалка. Медленно бредет к нам через двор от девчачьего крыльца. Джинсы-клеши, плетеная веревочная жилетка и волосы сказочной длины, всего на ладонь не достающие до колен.

Ральф прищуривается. Смотрит на нее, потом на меня. Странно смотрит. Этот взгляд мне хорошо знаком. Русалке шестнадцать, но выглядит она двенадцатилетней. С ее внешностью полагается верить в Деда Мороза и играть в куклы. Поэтому любой взрослый, увидев нас вместе, смотрит на меня как на извращенца. Русалку это напрягает, меня нет.

Она останавливается довольно далеко, не желая мешать беседе. Просто стоит и глядит на нас. Совсем не детскими глазами. Необычно большими на маленьком треугольном лице.

Ральф встает. Хлопает себя по карманам, проверяя все ли на месте. Слава богу, не говорит: «Это и есть твоя девушка?» Такого рода реплики Русалка читает по губам с огромных расстояний.

– Все, – говорит он. – Спасибо. Пойду переваривать наш с тобой разговор.

– Удачи вам, – отвечаю я. – И будьте осторожнее. Мы можем ходить вокруг этих тайн, называть себя Прыгунами или Ходоками, писать об этом стихи и петь песни, но суть от этого не меняется. Не мы решаем здесь, решают за нас, как бы нас это ни пугало.

Ральф медлит, понимая, что мы вряд ли когда-нибудь вернемся к нашему разговору. Но говорит только:

– Будь осторожнее и ты.

И уходит.

Проходя мимо Русалки, кивает и что-то ей говорит. Потом напрямую пересекает газон, и сутулые вороны отпрыгивают у него из-под ног, недовольные нарушением их призрачных границ. Все-таки для людей существует асфальт.

Русалка подбегает и плюхается рядом со мной на скамейку.

– Ух ты, ну почему я его так боюсь? Он же безобидный!

– Да?

– Не смейся, – хмурится она. – Я знаю, что все это глупости, но ведь чего только о нем не рассказывают.

Русалка погружается в свои мысли, потом решительно встряхивает головой.

– Конечно, это чепуха. Он – хороший.

Я смеюсь.

– Он со мной поздоровался и не назвал меня деткой, представляешь?

Мысленно аплодирую Ральфу.

– А о чем вы с ним столько времени разговаривали? Мне казалось, что он никогда не уйдет.

– Секрет, – говорю я. – Страшная тайна. Так и передай всем, кто, наблюдая за нами, чуть не повываливался из окон.

– Сейчас побегу передавать! – фыркает Русалка. – Они меня там заждались. Машут сигнальными флажками и уже поставили магнитофон на запись.

Ничуть не огорченная, что ей не расскажут о содержании нашей с Ральфом беседы, она придвигается ближе и начинает наматывать мне на ногу свои волосы. Обмотав, завязывает узелками. Вид у нее при этом очень сосредоточенный.

– Это что, какая-то новая магия? – удивляюсь я. – Я и так не собирался убегать.

– Это Табаки подарил мне книгу, – объясняет Русалка. – Очень интересную. «Кама Сутра» называется.

– О боже! – вздыхаю я.

– И там сказано, что для привлечения к себе возлюбленного следует оплести его путами душистых волос, увешать цветочными гирляндами и воскурить вокруг благовония.

Очень красиво все это описывается. Ах да! Еще его надо обмазать какими-то ароматическими маслами.

– С ума сойти! А там ничего не сказано о задохнувшихся возлюбленных, чьи маслянистые тела, обвитые волосами и гирляндами, выносят на крылечки пугать прохожих?

– Ничего, – качает головой Русалка затягивая у меня под коленом волосяную петлю. – О таких слабаках там речи не идет.

Дальше мы сидим, вернее, лежим на скамейке, возможно, в чем-то и соответствуя древним трактатам о подобающем влюбленным поведении. Дуб, переступив с корня на корень, становится так, что мы оказываемся в его тени. А может, просто солнце перемещается. Но приятнее все-таки думать, что дуб.

Я засыпаю, на этот раз по-настоящему. Присутствие Русалки, обнявшей меня за колено, действует как снотворное, у нее есть этот кошачий дар – усыплять и успокаивать, а еще самой засыпать в неподходящих и неудобных местах. Будь у меня пальцы, я мог бы высечь искры из ее волос, как из кошачьей шкурки, погладив их. Я сплю и не сплю, я здесь и сейчас, на этой скамейке, но все остальное отползает прочь – надпись на стволе, разговор с Ральфом… Все, кроме меня, спящего, и моей девушки, той, что донашивает мои рубашки, спит на моих ногах, как в кресле, закутывается в рукава моих курток, исчезает с первыми признаками грозы и появляется с первыми лучами солнца. Самое удивительное в ней – чуткость к чужим настроениям, умение растворяться в воздухе, как только в том появляется необходимость.

Ветер доносит чьи-то голоса. Вздрагиваю и открываю глаза. Нога моя уже освобождена от волос, а Русалка глядит снизу вверх, очень внимательно и напряженно. Такой она бывает только когда уверена, что ее никто не видит.

– Как ты сразу из-за всего просыпаешься, – огорченно говорит она. – Из-за каждого писка. Так нельзя. Человек должен спать долго и крепко.

– Похрапывая и вздымая волосатую грудь, – заканчиваю я. – Вот только я бы не назвал эти Песьи завывания писком. Интересно, что у них стряслось? Может, свежий вожак демонстрирует силу своих мускулов?

– Не такой уж он свежий. Просто ты никак не привыкнешь.

Мне действительно трудно свыкнуться с мыслью, что Черный стал вожаком шестой. Хотя, по зрелом размышлении, там ему самое место. Трон Помпея даже не пришлось подгонять под новый размер, а Псы получили то, в чем всегда нуждались: сильную руку, придерживающую их за ошейник.

– Знаешь, – говорит Русалка, – что удивительно? Когда ты говоришь о Черном, у тебя даже голос меняется. Становится как будто не твой. Не понимаю, за что ты его так ненавидишь?

– Я тебе сто раз объяснял! – изумляюсь я.

– Объяснял. Но я твоим объяснениям не верю. Ты не настолько злопамятный, чтобы ненавидеть кого-то потому, что он когда-то, давным-давно, тебя обижал. Это на тебя не похоже.

Она настолько убеждена в своих словах, что мне становиться не по себе. Я вовсе не тот безупречный Сфинкс, которого она любит. Но и это не самое страшное. Самое страшное, что мне очень бы хотелось им быть. Правильным, добрым, всепрощающим парнем, который ей так нравится. Будь я таким, то, наверное, светился бы. Источал бы сияние и неземные ароматы, как покойный святой.

– Это очень на меня похоже. Это я и есть. Мои подлинные злобные эмоции!

Русалка даже не спорит. Прикусывает палец и погружается в задумчивость. Она не любит споров, не любит ничего доказывать и отстаивать свою точку зрения. От этого ее позиции не делаются слабее.

Легонько бодаю ее лбом:

– Эй, не уходи слишком далеко. Мне тебя там не видно.

– Расскажи что-нибудь интересное, – тут же просит она. – Тогда не уйду.

– О чем?

Лицо Русалки озаряется. Удивительно, до чего она любит всякие истории. Все равно о

чем. Занудные и хромающие на каждый слог жалобы Лэри, путаные и ветвистые Шакальи повести – ее ничто не отпугивает, она готова часами слушать всех, кому вздумается изливать в ее присутствии душу. Это ее качество кажется мне одним из наиболее странных и наименее присущих ее полу.

– Так какую тебе историю? – заражаясь ее радостью, переспрашиваю я.

– Расскажи, как Черный стал вожаком, ладно? – просит она.

– Дался тебе этот Черный! Что ты им так заинтересовалась?

– Ты сам предложил рассказать. И спросил, про что. А интересно мне, потому что он мне вообще интересен. Как человек, которого ты не любишь.

– Не любишь – это слабо сказано.

– Ну вот. Как же мне может не быть интересно?

Я только вздыхаю.

– Не хочешь рассказывать? – подозрительно уточняет Русалка. – Так я и думала.

– Да нет. Просто боюсь тебя разочаровать. Я ведь и сам не знаю, как это произошло. Могу только догадываться. Они со Слепым торчали в Клетке. Делать им там было нечего. Слепого осенила идея отправить Черного вожаком в шестую. В изоляторе и не до такого можно додуматься. Он это предложил, и Черный каким-то чудом согласился, хотя на него это не похоже: соглашаться, когда можно отказать. Вот и все. Может, это было не совсем так, но меня там не было, да и никого не было, кроме них двоих, а значит, только они и могут знать, что и как у них там произошло.

– А как они очутились там вдвоем?

– Это совсем другая история. Которую я не хочу вспоминать. Она началась в Самую Длинную, а я не люблю…

– Ох, Самая Длинная!..

Русалка умоляюще дергает меня за фуфайку.

– Расскажи, пожалуйста! Самая Длинная – это так интересно! Все эти истории…

– Которые ты слышала тысячу раз. Попроси Табаки. Он прочтет тебе посвященную этой ночи поэму в двести строк. Или споет одну из тех десяти песен, что подлиннее. Той ночью у нас была Рыжая. Пусть она что-нибудь расскажет. Зачем мне повторять то, что ты и так уже знаешь наизусть? То, что все знают?

– Рыжая – одно, ты – совсем другое. Я не прошу пересказывать песни Табаки или его стихи. Хотя, если тебе неприятно, можешь вообще ничего не говорить. Только я не понимаю, почему? Ту ночь все любят вспоминать…

– И Рыжая? – уточняю я, заранее уверенный в ответе.

– Она – нет. Она тоже морщится и молчит, как ты.

– Поднимайся выше, – говорю я. – Слушай – и поймешь, почему в отличие от всех остальных я не люблю вспоминать ту ночь.

Русалка живо влезает на скамейку и пристраивается у меня под боком. Ее длинная веревочная жилетка сплетена так, чтобы ряды мохнатых узелков по всей ее ширине свободно сдвигались, а в открывающихся прорехах читались те надписи на майке, которые Русалке вздумается предъявить для прочтения. Таких маек, исписанных на все случаи жизни, у нее больше десятка. Но когда она сидит так, как сейчас, из надписей можно разглядеть только самую верхнюю, у левого плеча. «Я помню все!» Что имеется в виду под этим многозначительным «все», непонятно. Может, ситуацию проясняют надписи, которые следуют ниже и мне не видны.

Рукав моей заляпанной грязью фуфайки она обматывает вокруг шеи, рюкзачок вешает на спинку скамейки.

– Ну давай, рассказывай.

И я со вздохом ныряю в кровавый омут «Самой Длинной», в ее беспросветный мрак, о котором в Доме слагают легенды. Ныряю и плыву, разгребая всю ту муть, все те обглоданные кости, которым в этих легендах обычно отдается предпочтение.

Начинаю оттуда, откуда Самая Длинная началась для меня. Здесь предполагаются вздохи слушателей: «Как, а до того ты просто спал, и все?!» Я честно выдерживаю паузу, давая Русалке возможность высказаться, но она ей пренебрегает, так что я бреду дальше – за

Горбачом, освещающим мне путь в поисках Толстого.

…Что такое «Охота на Снарка» в сравнении с «Охотой на Толстяка» в Шакалином исполнении! «Влюбленным нежно и страстно, ползущим в ночи влюбленным, скребущим тоннели в стенах, грызущим стальные двери…» И так далее, в том же духе, с небольшими вариациями, по прихоти рассказчика превращающими Толстого из нежного влюбленного в похотливого маньяка и обратно, а нахождение его Сфинксом, «который и обнаружил», преподносится всякий раз по-иному, так что я в каждом новом куплете совершаю все более небывалые и неслыханные подвиги, то вытаскивая Толстого из-под кирпичных обломков обрушенной им стены (слушая эту версию, я представляю себя сенбернаром, большим и лохматым, с медицинской сумочкой красного креста на груди), то извлекая его (зубами) из алькова невинно спящей училки, чьи обнаженные прелести, естественно, на виду. Во всех вариантах моим зубам отводится решающая роль, а Горбач как действующее лицо вообще замалчивается, и вот так, с Толстяком в пасти, я пересекаю огромные коридорные пространства, при этом мы еще умудряемся каким-то образом беседовать, я – нежно увещевая, он – покаянно мыча. И так серо и убого выглядит в сравнении с этим кошмаром действительность, что я побыстрее пробегаю ее галопом, весь свой ночной спотыкливый путь, вверх по лестнице с Горбачом, обратно – с ним же и с Толстым… Лорд, Стервятник, Слепой… и вот мы уже в спальне, где Табаки исполняет самые ранние версии песен, посвященных С. Д.

«Вы ж понимаете, этому желторотику вздумалось прогуляться в потемках. Вы ж понимаете, чем бы все это пахло, не будь меня рядом? Мы ехали в кромешной тьме, но все-таки продвигались вперед, и я сказал ему: „Нет, ты все-таки псих, дружище!“, а он ответил: „Откуда ж я мог знать?“»

Режущий глаза электрический свет и осоловелые лица. Лэри возбужденно цокает языком, подливая жару в огонь Шакалиных историй, Дом – под черным одеялом, закутан по самую крышу, и я думаю – интересно, надолго ли хватит воздуха здесь, внутри, и что будет, когда он закончится…

Воспаленноглазая стая в пижамах, затухающий концерт в честь Рыжей, сидящей меж Лордом и мной, я считаю часы и минуты и уже начинаю надеяться, несмотря ни на что, надеяться, что, может быть, воздуха и ночи хватит на всех, до тех самых пор, пока не настанет утро, но появляется высокая, траурная фигура Стервятника с кокосом в руке, траур в одежде, в глазах и в голосе, больше всего он похож на кадыкастого Гамлета с черепом Йорика, усохшим от долгого пребывания в могиле. С его появлением я перестаю надеяться, что часы и минуты сдвинутся с мертвой точки, в которой увязли по крайней мере до тех пор, пока мы не услышим печальную весть, которую он намерен сообщить.

Стервятник катает на ладони мохнатый кокос:

– Мне очень жаль вам об этом говорить, действительно, очень жаль, но мне больше не к кому пойти с этим, и… одним словом, у нас в туалете – покойник. Я его там нашел только что.

Сдавленный писк гармошки Шакала.

– Прошу прощения, – вздыхает Стервятник. – Мне действительно очень жаль…

Краб, которого мы понесем часом позже на первый, при жизни – незаметное, прожорливое существо с двумя пальцами на каждой руке, непонятно зачем очутившееся в пределах Гнезда, чтобы принять там свою смерть непонятно от чего, станет загадкой Самой Длинной, которую не разгадают ни тогда, ни потом.

Завернутого в Перекресточную занавеску (бело-серый шлейф, картинно уползающий в хвосте процессии), мы спустим его в актовый зал и оставим там, в окружении консервных банок, утыканных свечами, очень торжественного и одинокого, а на обратном пути Черный прикинется сумасшедшим или и вправду спятит (я знаю, что это такое, быть терпеливым наблюдателем и ждать, ждать, пока не настанет тот единственно подходящий момент, когда ты наконец сможешь что-то предпринять), и громогласно объявит нам свое мнение о происходящем. Безумную ночь расколет пополам, в черные щели темноты на нас хлынет рой светлячков-фонариков в дрожащих руках, а беснующаяся фигура будет приседать и надсаживаться в центре коридора, сверля своим визгом стены и потолочные перекрытия, вверх и вниз, протыкая саму неподвижность времени… И тогда, и позже мне будет казаться, что

именно с этого ора начался отсчет секунд, как будто кто-то, разбуженный им, проснулся где-то в неведомом мире, имеющем власть над миром этим, лениво потянулся, стукнул по остановившимся часам, и они пошли…

Возможно, за это следовало бы благодарить именно Черного, но я почему-то не испытываю такого желания. В дальнейшем у многих войдет в привычку, вспоминая о Самой Длинной, отмечать невыдержавшие нервы и съехавшую крышу бедняги Черного. Что такого стряслось с его нервами, чего не случилось тогда же с нервами всех остальных, включая мои, я так и не понял, а относительно «поехавшей крыши»… мне как-то не доводилось видеть, чтобы, съехав, «крыши» так быстро восстанавливались на прежнем месте без ущерба для их владельцев. Можно даже сказать, что впав в ту свою сомнительную истерику, он сделал первый шаг к опустевшему трону Помпея, хотя тогда это было больше похоже на пробежку в объятия смирительной рубашки. Можно понять всех, кому приятно, грустно покачивая головами, упомянуть сдавшие нервы такого типа, как Черный, безмолвно подразумевая собственные, оказавшиеся не в пример крепче. «Видывали мы и не такие виды. Тяжелая была ночка. Мда. Бедняга Черный…» К счастью, в отличие от них я не горжусь крепостью своих нервов и могу позволить себе усомниться в его слабонервности, продемонстрированной так эффектно и неожиданно, но все это будет потом, позже, а тогда, услышав его визг, я испытаю только шок и желание побыстрее прервать этот звук. Одновременно со мной аналогичное желание возникнет у многих, и, облепив орущего Черного, как куча муравьев дохлую гусеницу («Убийцы! Укрыватели убийц!»), вся эта масса покатится по коридору, глуша своими телами его вопли, а у самой нашей двери он стряхнет их с себя и кое-кого потопчет, отчего орущих и чертыхающихся в потемках станет еще больше.

На подступах к Черному (заткнуть, прервать, истребить на вечные века эту верещащую пасть!) я споткнусь, выбью плечом чей-то зуб и прокушу себе губу, а когда все же окажусь у двери спальни, там уже не будет ни Черного, ни его жертв, все просочатся внутрь, где на нашей, во все времена заповедной для чужих территории, Ночь размотает еще один виток своего бесконечного хвоста, а Черный и Слепой потешат публику «славной драчкой», выколачивая друг из друга кровавую пену и пыль. Зрелище, при пересказе которого Логи, Шакалы и прочие историки достигнут высшей степени совершенства. Табаки, например, на полном серьезе будет утверждать, что самый сокрушительный удар Слепому Черный нанес с криком: «Любишь меня, люби и мою собаку!» – а Слепой, пропахивая затылком паркет, тем не менее, успел провизжать: «Не дождешься!» – после чего Черный, с ревом постучав себя в грудь, раздвинул железные прутья на спинке кровати и рявкнул: «Ну, тогда – готовься к смерти!» Потрясающая история! Чего стоит одно раздвигание прутьев. И ведь никто не спрашивает, зачем это Черному могло понадобиться их раздвигать, все, развесив уши, с восторгом внимают. Я в том числе. Не припоминаю, чтобы Черный лупил головой Слепого о стены, хотя возможно, падая, Слепой и стукнулся о них пару раз. Тем более не припоминаю, чтобы Слепой разрывал пасть Черному (сцена явно заимствована из греческой мифологии), и уж, конечно, Черный не падал с воплем: «Конец мне!» – а Слепой не водружал на него ступню и не закуривал устало.

Меня там тоже очень много, в этих историях. Я всегда на переднем плане, вне себя от ярости (что, в общем-то, соответствовало действительности), «выжидающий решительный момент». Интересно, какой? Наверное, я ждал, пока Слепой его уложит (или наоборот, что было менее вероятно), чтобы можно было вмешаться и поставить на этой идиотской драке крест, а заодно погнать из спальни всех оскалившихся, роняющих слюни на паркет зрителей, большинство из которых в другое время и мечтать не могли очутиться у нас, но очутившись, вели себя по-свински, заплевали весь паркет, и, пользуясь ситуацией, где-то на задах уже шарили в ящиках, от чего у меня прямо тогда же начались жуткая аллергия и нервная чесотка. Позже мы не досчитались многих кассет, чашек и пепельниц, не говоря уже о сигаретах, которые смели начисто – я это предвидел и не очень-то удивился. Исход драки я тоже предвидел. Еще никому не удавалось уложить Слепого в драке один на один, поэтому я не особенно беспокоился, пока не заметил, что он оказывается на полу чаще, чем Черный, и встает с большим трудом. Тогда я вспомнил, что ему в эту ночь уже досталось от Ральфа, и впервые испугался. Черный раз за разом всаживал в Слепого свои пудовые кула-

ки, и всякий раз Слепой складывался пополам, а Черный терпеливо ждал, пока он выпрямится, чтобы врезать еще. На третий раз Слепой отлетел и обрушился на пол. Грохоту от него было не больше, чем от упавшего стула, но зрители взвыли и продолжали завывать все время, пока Бледный восполнял недостаток кислорода, а я с ужасом пытался представить себя при вожаке Черном и понимал, что раз не могу этого даже представить, то и быть такого на самом деле не должно. Я насиловал воображение, чесался подбородком во всех местах, где мог себя достать, а вокруг летали платки и пивные крышки, подбрасываемые впавшими в экстаз зрителями. Более мерзкую сцену трудно вообразить. Отдышавшегося Слепого занесло при вставании, он схватился за спинку кровати, на которой я сидел, и шепнул:

– Кошмар и позор?

– Просыпайся, – взмолился я. – Возьми себя в руки и дерись, не то он тебя изувечит.

– Пожалуй, ты прав, – согласился он. – Я что-то не в форме сегодня.

Пока мы переговаривались, Черный решил завершить начатое. Шагнул к Слепому, размахнувшись для удара, после которого Слепого, надо думать, пришлось бы нести на первый и укладывать рядышком с Крабом, но Слепой увернулся, чуть задев его. Черный задохнулся и задыхался минуты полторы, после чего можно было уже не смотреть, что будет дальше, и так все стало ясно. Я вижу… Слепой отбегает от Черного, ссутулившись, прикрыв глаза, на губах – застывшая улыбка. Он не ходит и не кружит. Это почти танец. Мягкая, неслышная пляска смерти. Самое красивое и необычное в нем то, что я видел десятки раз, и никогда не мог понять, откуда оно берется. Это его прыжок в другой мир, где нет ни боли, ни слепоты, где он сдвигает время – каждую секунду в вечность, где все игра, и в этой игре запросто можно содрать с кого-нибудь кожу или проткнуть пальцем глаз, и хотя я никогда не видел ничего подобного, знаю, что это так, потому что чую в нем в такие моменты запах безумия, слишком отчетливый, чтобы не испугаться до полусмерти. В своем странном мире он превращается во что-то нечеловеческое, отбегает, ускользает, улетает, шурша крыльями, брызжет ядом, просачивается сквозь паркет и смеется. Это единственная игра, в которую он умеет играть с кем-то еще. Черному его не догнать, не поймать и не удержать. Черный остался по эту сторону. Его время течет медленно.

Я вижу…

Черный опрокидывается. Падает на спину, как огромная кукла на резинке. Бледный материализуется рядом, дергает за резинку, приподнимает его и опять роняет, еще и еще раз, одним словом, играется. Это слишком страшно, чтобы казаться смешным. Он как будто и не дотрагивается до Черного, но размазывает его по паркету от двери до окон. Все вокруг в Черном. В его зубах и в его коже, и смех сверкает под волосами Слепого. Мы с Горбачом одновременно решаем вмешаться. Он соскакивает с кровати, я – со своего железного насеста. А за нами – остальные, ждавшие лишь сигнала. Пока мы отскабливаем Черного и Слепого друг от друга, Табаки замечает выдвинутые ящики и пивные лужи.

– Что такое? Всех, всех перестреляю! – орет он, лихорадочно перекапывая подушечные завалы. Гости несутся к двери, сбивая друг друга с ног, и глядя на Шакала, я почти верю, что он вот-вот выхватит из-под подушки ствол и изрешетит пару-тройку задержавшихся Логов, но к тому времени, как он достает всего-навсего губную гармошку, в спальне уже никого, кроме своих, и, поворчав, он бережно прячет гармошку обратно в подушки, отложив страшную месть до лучших времен.

Я сажусь на пол. Слепого подталкивают в мою сторону, он подползает, стуча зубами и кашляя, утыкается мне в плечо и затихает. Свитер его пахнет помойкой, если не канализацией. Я сижу, как статуя. Македонский и Рыжая фигурно обклеивают тело Черного пластырем. Лэри бродит по комнате, шваркая веником. Тихо, очень тихо, если не считать возбужденного бормотания Шакала. Мона с чего-то решает, что Сфинкс – единственное спокойное место в комнате, и запрыгивает мне на колени. Две проходки взад-вперед, пушистый хвост подметает узор на свитере, она ложится, нежно помяв меня лапками. Я сижу неподвижно. В ухо нервно дымит дрожащерукий Курильщик, плечом подпираю Слепого, на коленях – кошачья спальня. Еще бы Нанетту на голову, и можно фотографироваться для Блюма: «Сфинкс в часы досуга».

Уложив Черного, Македонский и Горбач нерешительно смотрят на Слепого. Табаки подползает ближе и тоже глазеет.

– Кошмар, – говорит он шепотом. – Явственный вампиризм, глядите.

Я скашиваю глаза. Слепой спит с очень умиротворенным и хорошим лицом, какого у него в бодрствующем состоянии не бывает.

– Неспроста это, – замечает Табаки. – Типичный вампир, точно вам говорю.

Лэри роняет веник и таращится на Слепого с ужасом.

– А ведь верно, люди. Чего это он довольный такой? Не с чего ему быть довольным и спать тоже не с чего. Не нравится мне все это.

Табаки наслаждается.

– Такими они и бывают, Лэри, дружище. Лежат себе в гробах с румянцем во всю щеку и с улыбочкой. Так и распознают ихнего брата. Осиновый кол – в сердце и…

Из угла Черного доносится рычащий стон, и все вздрагивают. Там Лорд колдует над опухшей, безглазой головой спиртовыми примочками, а Нанетта подглядывает за его действиями из-за подушки.

– Осиновый кол, – бормочет Табаки. – Такой заостренный…

Черный рычит и отталкивает руку Лорда.

– В язык бы тебе этот твой кол, – возмущается Лорд. – Не надоело тебе, Табаки? Не устал ты от всего?

– Да. О чем это я? Кажется, я утратил нить повествования.

– Смотрите! – вдруг кричит Рыжая, указывая на окно. – Смотрите же!

Горбач с Македонским бросаются к окнам, а мы поворачиваемся и тоже смотрим туда, в черно-синее небо, где блеклая трещинка утра высветлила и разрезала горизонт.

– Утро! – патетично восклицает Лэри, взмахивая веником. – Солнце! (Хотя никакого солнца нет и в помине.) – Ура! – Он салютует веником в направлении окна – и на нас с Курильщиком плавно пикируют сизые катышки пыли вперемешку с окурками.

Так она закончилась, эта гнусная ночь, хотя, конечно, не совсем в тот момент, когда мы заметили первые признаки утра, и даже не тогда, когда оно по-настоящему наступило. То есть, понятно, что окружавшее нас уже не было ночью, но называть эту серую хмарь утром я бы тоже не стал. Скорее переход от одной ночи к другой, такое описание ближе к истине. Тем более, никому не удалось толком поспать и проснуться, я даже не помню, был ли в то утро завтрак, и вообще мало что помню, только себя в какой-то момент, Слепого, сидящего рядом с гитарой, в комнате серо, как будто уже опять вечер, и пустые бутылки выстроились на тумбочках, хотя я опять же не помню, чтобы кто-то из них пил. Негодующий возглас Лэри, поднимающего пустую бутылку:

– А они тут пьянствуют, пока мы там запасаемся для них пищей и беспокоимся!

Под «там», надо полагать, подразумевается столовая, но вот обед или завтрак, непонятно, а «они» – это кто-то еще и я сам, потому что не помню, чтобы отлучался куда-то и что-то ел, значит, скорее всего, был в числе пьянствовавших.

Помню Лорда, укрывающего спящую Рыжую, и Черного, дымящего на своей кровати. Черного, живых мест на котором – только сигарета и глаз, все остальное – белые перекрещивающиеся полосы пластыря. Слепой кивает в такт своей песне, голубовато-серый, цвета заношенных джинсов, как воскресший Лазарь, все еще в бывшем белом свитере, воняющий вином и спиртовыми примочками. Сгибается над гитарой, звенит струнами, нашептывая невнятный текст, что-то про лес с нехоженными тропами и ручьями, горькими от травы, растущей вдоль их берегов.

Рыжая спит, съежившись между подушками, зажав ладони между коленями, волосы – алыми перьями подстреленного дятла, все остальное – незаметное и повседневное, даже она сама на этом месте как нечто привычное, что там и должно находиться, на что никто уже не обращает внимания, за исключением одного-единственного человека, укутывающего ее одеялом, который как скупец, что прячет свое самое главное сокровище от посторонних глаз.

Лэри подбирает с пола бутылку и негодующе встряхивает:

– Они тут пьянствуют, пока мы там запасаемся для них пищей и беспокоимся.

– А ты не беспокойся попусту, – советует ему Черный. – Побереги нервы.

Я слушаю. Внимательно вслушиваюсь в его интонации, в которых скрыто присутствует удовлетворение, и мне интересно, чему он так радуется, избитый, невыспавшийся, голодный Черный, а потом перевожу взгляд на Слепого и догадываюсь, как оно выглядит, то, чему он радуется под своими бинтами. Оно выглядит как лицо Слепого с заплывшим глазом и рассеченной губой. В день, когда найден покойник. Когда каждая царапина – знак причастности к чему-то, причастности и виновности. И ему плевать, что на нем самом их не меньше, этих отметин, главное, что они есть у Слепого.

«Лес, лес… Темный, душистый, пахнущий мятой… сладкие песни – заманки для путников…»

Черный гасит сигарету о брюхо культуриста на плакате у себя в изголовье.

– Что отвечать Ральфу, если спросит про синяки?

Избитый, невыспавшийся и так далее честно спрашивает у состайников, как ему вести себя в трудной ситуации. Казалось бы, не причина ни для кого покрываться зудящими пятнами от щек до пупка, пятнами, которые будут чесаться и через неделю после появления, но я чувствую их на себе, мелких и жгучих букашек, стремительно расползающихся под свитером, кусливых и липколапчатых, как будто кто-то забросил их целой горстью мне за ворот.

– Говори то, что и собирался, когда начал голосить, – предлагаю я. – Или молчи, какая разница? Для твоих планов одинаково хорошо подходит и то, и это.

Бешеные искорки просачиваются в моем направлении сквозь полосы пластыря.

– На что ты намекаешь?

– Да ни на что. Просто я бы на твоем месте не стал так быстро приходить в себя после приступа безумия. Ты ведь спятил, Черный! Не далее как вчера. Мог бы оставить всякие разумные вопросы на потом. Это выглядело бы более естественно.

Я говорю и говорю, и не могу остановиться, она смахивает на лекцию, моя речь, и, помнится, даже красива, а не только длинна. Хотя здесь я, возможно, выдаю желаемое за действительное, потому что явственно припоминается палец, которым я качал перед запластыренным носом Черного, а откуда бы взяться пальцу в моем организме? Я провел экскурс по классическим образам безумцев, вытащил на свет Офелию и капитана Ахава, рассуждал о поросячьих хвостах, невооруженным глазом различимых под чьими-то юбками, о любовниках, прыгающих в окна при появлении мужей, но забывающих прихватить трусы и ботинки, я говорил долго и вдохновенно, хотя мне мешали встревоженные аплодисменты Табаки и атаки букашек, а когда завершил свою речь, Черный поинтересовался, что я имел в виду «под всей этой бредятиной».

Табаки советует Черному «не будить лиха, пока оно тихо», потому что «видно же, как он сильно-сильно нервничает, а тебе все мало, да?».

– Слушай глас народа, – говорю я. – Офелия, до речки не добежавшая…

При упоминании речки подлинный кандидат в сумасшедшие, избитый вожак и лесопроходец кивает и говорит, что «реки – это такая опасная субстанция… никогда не знаешь, можно ли из нее пить. Лежи и слушай, пока точно не вычислишь, есть ли в ней лягушки, и если есть, смело можешь пить, не отравишься».

– Спасибо, – говорю я Слепому. А Черному говорю:

– Вот. Учись у мастера, – и, не слушая его агрессивно рычащие ответы, ухожу, чуть-чуть не до конца объеденный скребущими насекомыми, столкнувшись в дверях с Ральфом, серым от бессонной ночи и тоже обклеенным пластырем.

Все, что будет дальше, можно предвидеть, и я все это предвижу. Клетку для Черного и Слепого, в которой они, возможно, сожрут друг друга от скуки и взаимной неприязни, допросы и выяснения обстоятельств смерти Краба, разброд среди Крыс, оставшихся без вожака, и еще многое, в связи и без связи с вышеперечисленным. Чего я не могу предвидеть, так это того, что насидевшись в Клетке, Слепой и Черный придут к соглашению о шестой. Как же им, наверное, тошно было сидеть там вместе, если Слепого осенила такая идея, и как же Черному не хотелось возвращаться в стаю, если он на это согласился. Может, посиди они в

изоляторе дольше, Слепой придумал бы что-нибудь еще. Клетки способствуют размышлениям, если не оставаться в них слишком долго. Чем дольше сидишь, тем сильнее одолевают страхи, и тут уж не до размышлений, но двое могут продержаться и неделю, а плен Черного и Слепого побил все Клеточные рекорды – одиннадцать дней с хвостиком. Не будь я лыс, на моей голове появилось бы ровно столько снежно-белых волос, по одному на каждый день их отсутствия. Благодарить за это следовало Ральфа, опасавшегося за беглецов Крысятника. С чего-то он решил, что Слепой передушит их, как только получит такую возможность, и очень старался, чтобы тот ее не получил, так что у Слепого было навалом времени для всяких светлых идей. Они с Черным изредка обсуждали эти идеи, а все остальное время играли в карманные шахматы и отпарывали стенную обивку в поисках сигаретных тайников. Такой обычай завели пленники Клеток с тех пор, как Волк всенародно объявил о зашитии блока сигарет на просторах стен изолятора. Скорее всего, это была шутка, и пока не попадешь в изолятор, она так и воспринимается, но все, кто провел в Клетках больше двух дней, теряли чувство юмора и начинали искать тайник. Поэтому по стенной обивке там тянулись заплаты и швы на местах разрезов, где пленники орудовали бритвами и когтями, и со временем не осталось ни одного нетронутого участка длиннее десяти сантиметров. Проверенные места было принято зашивать, для чего и оставлялись над дверью иголки с продетыми в них нитками, но Слепому и Черному они не понадобились, потому что они от нечего делать доискались до штукатурки и даже до кирпичной кладки.

Акула всерьез заподозрил их в намерении прорыть ход в наружность и сбежать. После Фитиля и Соломона с Доном он стал очень нервным на этот счет, и все выспрашивал Черного, куда бы они со Слепым пошли, если бы у них что-то получилось, наверное, думал таким образом отыскать тех троих, как будто Серодомный люд, как косяки мигрирующих лососей, способен двигаться только в одном направлении. Сам я не видел, что они там сотворили, но, судя по длительности ремонта, ущерб изолятору был нанесен изрядный.

Я спохватываюсь, что говорю слишком долго, не слыша ответных реплик, и с подозрением гляжу на Русалочью голову, соскользнувшую с моего плеча куда-то под мышку.

– Эй, ты часом не спишь, любительница историй? Я ведь для тебя стараюсь, сотрясаю воздух…

– Нет, конечно, – отвечает преувеличенно бодрый голос, слегка приглушенный рукавом моей фуфайки. – Я внимательно слушаю. И размышляю.

– О чем именно ты размышляешь с таким сонным видом?

– Ну, – она отстраняется, и я опять вижу надпись в прорезях жилетки о том, что она помнит все, – я думаю, как сильно отличаются друг от друга рассказы об одном и том же, при том, что ни один из рассказчиков по-настоящему не врет.

– Все зависит от рассказчиков. Ни один рассказ не может передать действительность такой, какой она была. Я уже сказал тебе, что предпочитаю истории Табаки.

– Ну а я предпочитаю сравнивать разные истории.

Жалобно кряхтя, она выпрямляет согнутые ноги и вытягивает их. Легкие кеды, серые от долгой носки, заштопаны у кромки резиновых носков. До того детские и трогательные, что невозможно смотреть на них спокойно. Когда Русалка меняет позу, узелки на ее жилетке сдвигаются, открывая новую надпись. «Ненависть до гроба!»

– Это еще что за ненависть? – удивляюсь я. – И к кому?

Она опускает голову, рассматривая надпись.

– Ну… просто так. На всякий случай. Надо же иметь и что-то такое мрачное.

– По-моему, вовсе не обязательно.

«Ненависть до гроба» скрывается под пепельными узелками, и мне сразу становится спокойнее. Все это игры, ребячьи развлечения, но я отношусь к таким вещам серьезно. Может, оттого, что знаю: никто в Доме ни во что не играет просто так.

Русалка поднимает к лицу колени и обнимает их, грустно сгорбившись. Ни надписей, ни человека, одни струящиеся потоки волос.

– Ты считаешь, что мне не подходят сильные чувства? Что мне это как бы не идет, да?

Я наступил на больное место. Вечно забываю об этом ее комплексе Серой Мыши:

«Понимаешь, я ведь не личность, ну, не яркий человек… У меня все так тускло и неинтересно внутри…» Комплексе, с которым бесполезно бороться, приводящем в бешенство неуязвимостью своих позиций. «Вот, к примеру, Рыжая…» Когда перед ее глазами с трудом управляющий своими эмоциями человек, рвущий и мечущий по поводу и без повода, внезапно переходящий от смеха к слезам, не умеющий прятать ни любовь, ни ненависть: это красиво, это женственно, это привлекает, как яркие пятна на крыльях бабочки, закручивает, и уносит, и порабощает, но очень немногие способны выдержать яркую личность Рыжей дольше нескольких часов, даже не являясь объектом ее чувств. Да здравствует Лорд, нервы Лорда, его терпение и все остальное, чего нет у меня, может, ему это ближе и понятнее, потому что он и сам был таким, пока не загремел к настоящим психам, и да, они очень хорошо смотрятся, эта парочка в вечном накале страстей – огненноволосая Изольда и кобальтоглазый Тристан, у обоих все запредельно и нараспашку, ловите кислород и прячьте подальше посуду, но почему кто-то должен комплексовать и мучиться от того, что у него все не так, вот что мне непонятно, я никогда не понимал этого, и в своих попытках убедить Русалку почти доходил до Лордовско-Рыжей точки кипения, вот только проку от этого не было ни малейшего. «Это нервы, просто нервы, как оголенные проводочки, свисают во все стороны и за все цепляются, при чем здесь личность и степень ее яркости, глупое ты существо?» – но в ответ только покачивание головой и поджимание губ, хочешь – скрежещи зубами, хочешь – бейся головой о стену, выводы сделаны раз и навсегда и пересмотру не подлежат.

А ведь есть еще Крыса – хищное существо, похожее на Слепого, как родная сестра, только еще менее дружелюбное, вот уж с кем Русалку не сравнишь, и слава богу, но мое искреннее «слава богу!» воспринимается лишь слабым утешением Ходячемышиной Серости.

Смотрю на нее, спрятавшуюся под волосами до самых кончиков кед, закрываю глаза и мысленно крепко прижимаю к себе руками-невидимками. Русалка послушно валится на меня, как будто я и вправду это сделал, и я вздрагиваю, пораженный ее чуткостью, она почти всегда отзывается на прикосновения моих призрачных рук, даже когда расстроена и погружена в себя, как сейчас.

– Мы ведь не будем рассуждать о ярких личностях, а? Не будем перебирать их одну за другой, таких особенных и прекрасных? – шепотом спрашиваю я ее. – Если ты не против, мы не будем этого делать. Ты ведь не против?

– Нет, конечно…

Она ерзает, задирая голову, чтобы рассмотреть выражение моего лица, но я закрываю ей обзор подбородком, опять и опять, пока она не прекращает свои попытки и не сворачивается в нежнокошачий, привычный боку клубок.

– Как я, наверное, надоела тебе этими разговорами. У тебя сделался такой несчастный голос. Я слишком часто говорю о таких вещах?

– Нет. Не часто. Просто я не переношу эту тему: «А не хотелось бы тебе, чтобы я была как…» Нет, не хотелось бы. И никогда не захочется. Может, в один прекрасный, неповторимо исполненный мудрости день ты это поймешь. В этот день я попрошу Табаки разукрасить меня праздничными флажками и татуировками.

Она выдергивает из своей жилетки длинный шнурок или, может быть, нитку и тянет ее в рот, грызть и лохматить до мокрой мерзости.

– Надо, пожалуй, подарить тебе эту майку. Вместе с надписью, этой и другими. У тебя ведь есть ненависть до гроба, тебе имеет смысл ее носить.

– Ты это о ком? – с подозрением уточняю я, тыча ей подбородком в пробор. – Уж не о Черном ли опять? Хочешь что-то сообщить или просто не можешь отделаться от его мужественного образа? Не припоминаю, чтобы мы раньше когда-нибудь столько о нем говорили.

– А если я и вправду хочу тебе что-то сказать? Именно о нем.

Теперь уже я тяну шею, чтобы заглянуть ей в глаза.

– Только не говори, что влюбилась в него без памяти, все остальное я как-нибудь переживу.

Она отстраняется, встряхивая волосами.

– Пожалуйста, представь себе его, если не трудно.

– Зачем?

– Ни за чем. Просто представь и все.

На всякий случай я сажусь прямее. И послушно представляю Черного. Во всей выпуклой красе его бицепсов и трицепсов. Это действительно нетрудно.

– Я представил. Что дальше?

– Теперь скажи мне, на кого он пытается походить?

– На идиота, естественно, на кого же еще?

– Нет, не так. На кое-кого хорошо тебе знакомого. Ты удивишься, когда поймешь.

Уже достаточно удивленный ее словами, я еще раз придирчиво изучаю облик Черного. Мой воображаемый Черный ничем не отличается от настоящего, я достаточно долго жил рядом с ним, чтобы изучить до мелочей.

– Не понимаю, – признаюсь я. – Он похож только сам на себя. Других таких я не знаю.

– Я говорю не о его лице. А о стиле. О том, например, как он одевается с тех пор как стал вожаком. Ты не замечаешь в нем перемен?

Черный действительно изменил свой стиль, сделавшись главным Псом Дома. Отказался от маек-безрукавок, побрился наголо и перестал носить мешковатые брюки с подтяжками, от которых меня тошнило долгие годы. Можно сказать, его вкус изменился к лучшему. Хотя от этого он не перестал быть похожим на себя. Я говорю об этом Русалке.

– А скажи, пожалуйста, кто еще в Доме бреется наголо, носит пиджаки внакидку и головные платки, а кеды зашнуровывает вокруг щиколоток?

– Пиджаки – только я. А насчет бритых наголо… – И тут до меня доходит, что она имеет в виду. – Ты с ума сошла! Я не бреюсь наголо! И платок только недавно стал носить. Потому что ты мне его подарила! И вообще о чем мы говорим? Он меня ненавидит лютой ненавистью. Он душем после меня не пользовался!

– А я не спорю, – пожимает плечами Русалка. – Просто это бросается в глаза любому непредвзятому человеку. Он подражает твоей походке, манере одеваться, даже говорить пытается, как ты. Но все это только с тех пор, как он в шестой, где ты не можешь видеть, какой он и как себя ведет.

– И о чем это свидетельствует? – тупо спрашиваю я.

Русалка молчит. Глаза, как две зеленые виноградины, в которых просвечивают косточки. Очень грустные и серьезные глаза.

– Боже, какой ужас! – меня передергивает, и я почти со страхом кошусь на отсвечивающие серебром на солнце окна шестой, за каждым из которых может скрываться Черный в моем гротесковом обличии, бритоголовый и насупленный, в пиратской головной повязке, изузоренной черепками и крестиками. Это какой-то кошмар.

– Между прочим, моя повязка не в пример красивее и тяготеет к растительной тематике. Дело вкуса, конечно…

– Ох, Сфинкс, – смеется Русалка. – И не стыдно тебе? Скажи еще, что у тебя ноги длиннее…

– А что, разве не так? И форма черепа благороднее. И слабо ему, со всеми его…

– Кончай! Тебе сейчас не хватает только слюнявчика и помочей крест-накрест. Можно подумать, он делает тебе что-то плохое.

Мы замолкаем и некоторое время рассматриваем окружающий пейзаж. Это вовсе не ссора, мы никогда не ссоримся, просто благоразумная пауза для утряски информации. В таких паузах обычно курят, но Русалка некурящая, а у меня с собой ничего нет, поэтому я терплю и только на всякий случай обшариваю глазами землю под скамейкой в поисках окурков, которые чаще всего прячутся в таких вот местах.

– Пошли? – предлагает Русалка. – У меня, кажется, нос обгорел. Тебе было очень неприятно то, что я сказала?

– Нет. Просто я должен это пережить. Пойдем поищем сигареты и что-нибудь для твоего носа, чтобы он не облупился.

Мы встаем. Русалка смотрит на меня, щурясь и моргая. Сколько я просидел здесь, на скамейке? Вроде бы совсем недолго. А кажется, что несколько часов. Возможно, она заколдована, эта скамейка, с виду такая безобидная. Кто-то навел на нее сложные чары, вызывающие людей на откровенность.

Бредем к Дому, толкая перед собой две круглые, безголовые лепешки теней.

– Зато теперь я знаю, за что ты так не любишь Самую Длинную, – говорит Русалка.

На крыльце душно пахнет геранью. По всей длине перил расставлены горшки с этими цветами, запаха которых я не переношу.

– Странно, – говорю я Русалке. – Ни одного лица, ни в одном окне. Что-то отвлекло людей от наблюдения за нами. Интересно, что? Кстати, твоя «ненависть до гроба» похожа цветом на эту герань.

– Придется выбросить майку, – серьезно говорит Русалка, поднимаясь впереди меня по лестнице. – Очень тебе не понравилась эта надпись, я чувствую.

– А замазать никак нельзя?

Лестница совсем пустынна. Ни души, ни выше, ни ниже, и непонятно, куда все подевались, но хотя бы понятно, почему никто не глазел в окна. Общий сбор где-то в глубинах Дома. Русалка прислушивается и делает соответствующие выводы.

– Поцелуй меня, пока никого не видно…

Мы устраиваемся на площадке, прижавшись к перилам, ловим свою минутку в затишье Дома, совсем недолго, или мне это только кажется, но дальше я иду с легким головокружением и не так уверенно, как привык ходить.

Коридор пуст. Если где-то все и собрались, то не на этом этаже. Ближе к середине коридора мы замечаем две одиноко бредущие фигуры и ускоряем шаг. Слепой и Крыса. Очень подходящая парочка. До дрожи в коленях. Оба бледные, как покойники, с синими кругами вокруг глаз, в одинаковой стадии истощения, за которой следует дистрофия. Слепой к тому же располосован от ключиц до пупка. Майка свисает клочьями, в зияющих прорехах видна ободранная кожа. Жуткое зрелище, особенно учитывая, что у Крысы ногти в крови.

– Вот, пожалуйста, – говорю я Русалке. – Что-то вроде твоей «Кама Сутры», с уклоном в Маркиза де Сада. Не очень-то приятно на такое смотреть.

Русалка бросает на меня укоризненный взгляд, переводимый как: «Ну зачем ты так?» – но я уже завелся, и до самой спальни рассуждаю о сексуальных извращениях, а Бледный и Крыса терпеливо слушают, не возражая, что бесит намного сильнее, чем если бы кто-то из них предложил мне заткнуться.

Так, вчетвером, мы вваливаемся в спальню, где никого, кроме Шакала, самозабвенно мурлыкающего в переплетении разноцветных проводов. Провода вырастают из стены и в ней же исчезают, большая часть болтается просто так, не ведя никуда и ни с кем не связывая, но десяток основных доползают до стен девичьих спален, и даже до вполне конкретных ушей. Все это великий дар Шакала влюбленным, разлученным обстоятельствами, как выражается сам Шакал, только дар абсолютно бесполезный без участия его самого, единственного, кто разбирается в хитросплетении всех этих проволочных хвостов.

Мы застаем его в прямом контакте с кем-то «оттуда», кому он сообщает, что «ну, ты еще большая дура, чем можно было ожидать!». При виде нас он радостно кивает, прикрывая грибок микрофона, и закатывает глаза, изображая крайнюю степень утомления.

– Где все? – спрашиваю я его.

Он, естественно, ничего не слышит и только улыбчиво раскланивается.

Русалка перекапывает содержимое тумбочки в поисках средств неотложной помощи для Слепого. Крыса садится на пол и застывает, обхватив голову руками, зарыв окровавленные ногти в волосы. На ней кожаная жилетка, руки и плечи голые, а грудь увешана бляхами, таких безобразно худых девушек, как она, слава богу, не часто встретишь. Может, действительно она не получает удовольствия от простых поцелуев, если они не сопровождаются раздиранием кого-либо на части, может, ей нужны сильные эмоции, недоступные без применения изощренных методов, черт ее знает, но при одной мысли, что Слепой потакает ей в этом, меня пробирает дрожь.

Бледный медленно освобождается от остатков майки. Русалка передает ему пузырек с чем-то целебным и сочувственно наблюдает процесс смазывания царапин.

– Иди туда сама, дорогуша, туда, и еще дальше, до самой наружности! – посылает кого-то Шакал и выдергивает из уха наушник.

– Ух, до чего же трудно поддерживать с некоторыми личностями беседу, прямо-таки

тяжкий труд! А где вы все вообще-то пропадаете, если не секрет?

Табаки внимательно изучает наш внешний вид, кивает, придя к каким-то выводам, и сообщает:

– Все, между прочим, внизу, там опять выступает Акула, разве вам не интересно, о чем?

У Табаки пуговичный период, не проходящий с последнего маскарада, он весь в пуговицах, сверкает и переливается, как бред сумасшедшего. Основой для пуговичной выставки служит алый камзол с отворотами и фалдами (чтобы побольше всего уместилось), а на джинсах почти ничего нет (чтобы не мешало ползать), и Табаки это так удручает, что, угнездившись в любом месте, он спешит прикрыть себя фалдами камзола и начинает вертеться, ловя электрический свет всеми своими бесчисленными пуговичными бляшками, пока не превращается в режущее глаз подобие елочного украшения.

– С кем это ты ругался, уж не с Кошатницей ли? – спрашивает Русалка, стаскивая с меня заскорузлую от дождя и грязи фуфайку.

– Нет, конечно. С Кошатницей все не так примитивно. И с чего ты вообще взяла, что я ругался? Я просто поддерживаю боевой дух в некоторых нуждающихся в этом личностях. Всем нужны общение и встряска, нельзя целыми днями пребывать в благодушном оцепенении и потихоньку деградировать только оттого, что некому тебя позлить.

– И кого ты злил?

– Неважно, – Табаки быстро сует наушник обратно в ухо и начинает перебирать провода: – Важна благотворительность как таковая, а не ее объект. Ты не согласна со мной? Прием, прием, – оскаливается он в микрофон. – Волкохищная Собака на проводе! Отзовись, неведомый и одинокий собеседник…

Пуговицы сверкают, оплетенные радужными проводами. Мой взгляд странствует от них к полкам отворенного шкафа, по сложенным свитерам, рубашкам и жилетам. Мой гардероб нельзя назвать бедным, но до чего же трудно найти в нем что-то оригинальное, недоступное каждому желающему одеться точно так же. Впору увешивать себя коллекциями того и этого, как Лэри или Шакал, по крайней мере будешь уверен, что неповторим в своем безобразии.

Русалка угадывает мои мысли:

– Хочешь, сплету тебе рубашку из крашеной веревки? У меня есть громадный клубок травяного цвета. Если детки Кошатницы до него еще не добрались.

Табаки хоть и в наушнике, а что-то слышит. Живо поворачивается в нашу сторону и таращится.

– Тише… – говорю я Русалке. – Не то тебе придется плести десять рубашек и украшать их сотней пуговиц, а ты еще слишком мала, чтобы так надрываться.

Табаки подозрительно кренит в нашу сторону. С разворачиванием свободного уха. Русалка хватает первую попавшуюся рубашку и набрасывает ее мне на плечи.

– Пожалуй, надо сходить на нашу сторону, поглядеть, не лежит ли там кто с сердечным приступом, – озабоченно говорит она. – А то кое у кого очень странные понятия о благотворительности.

– Иди. А я спущусь на первый, послушаю, о чем там говорят. С утра живу в отрыве от общества. Без пищи и сигарет.

Слепой, уже облачившийся в целую майку, запихивает мне в нагрудный карман пачку «Кэмела».

– О чем это вы так долго беседовали с Ральфом? – спрашивает он. – Нора полнится слухами.

– О потенциальных беглецах. Незаметно выживаемых из Дома. У него целый список таких – желающих поскорее слинять.

– Как эти воспитатели любят бумажки, – дивится Слепец. – Может, с памятью у всех непорядок?

Он подбирает с пола свой тощий рюкзак.

– Пошли, послушаем Акулу. Они там уже полчаса, так что он, наверное, как раз подбирается к сути дела. И бумаг у него там тоже целые горы.

– Сними с меня этот головной убор, – прошу я. – Он меня начал раздражать.

Слепой сдергивает с меня головную повязку. Русалка ждет у двери, исподтишка наблюдая за нами. Крыса сидит на полу, пряча лицо в ладонях, и вроде не собирается никуда уходить.

– Привет, – таинственно шепчет Шакал, обнимая микрофон. – Это абонент четырнадцать дробь один? Сколько лет, сколько зим. Как поживаешь, дробь три? Я по тебе соскучился, а ты?

Мы со Слепым являемся в актовый зал в самый разгар событий. Распаленный жарой и гневом Акула вещает в периодически глохнущий микрофон, публика частично внимает, частично дремлет, на подступах к кафедре проходы между стульями почему-то усеяны обрывками бумаги, как плохо сработанным бутафорским снегом.

Стыдливо пригибаясь, проскальзываю в центральный ряд. Слепой повторяет мои движения след в след, защипнув для верности подол моей рубахи. Акула замечает наше опоздание, но слишком занят, чтобы его комментировать. Он как раз переходит к «документальным подтверждениям вышесказанного», уткнувшись в ворох бумаг, подкинутый ему верным Лоцманом. Мы со Слепым устраиваемся на уродливых железноногих стульях и присоединяемся к слушателям. Их не так уж много – тех, кто на самом деле слушает. В основном передние учительские ряды.

– Согласно результатам общего тестирования…

Стая в дремотном оцепенении. Самый бодрый вид у Толстого, грызущего морковку, и у Спицы, подсчитывающей петли очередного вязания. Горбач вяло кивает песням, звучащим в его наушниках, Македонский выковыривает булавкой занозу из пальца. Я гляжу в дальние Песьи ряды, туда, где розовеет бритый затылок Черного. Четыре Пса по соседству один в один повторяют его позу – скрещенные руки, ступня на сиденьи переднего стула. В своем стремлении полностью уподобиться вожаку они переплюнули даже Логов, но если верно сказанное Русалка, не мне над этим смеяться. Тем более, я уже собирался пихнуть ногу на переднее сиденье тем же манером, а вместо этого сижу, как истукан, и бешусь. В конце концов кто из нас кому подражает?

– Практически никто не набрал даже ста очков! А это минимальное количество очков для среднего тупицы, проходящего тест!

Акула гневно швыряет в воздух пачки осточертевших всем бумажек «да-нет», и они разлетаются по залу, усеивая пол дополнительным слоем бутафорского снега. Вот, оказывается, откуда он берется.

– Могу объяснить, что это означает! Это означает, что большинство из вас неспособны к умственному труду в рамках соответствующих требований, предъявляемых к вашим сверстникам, окончившим обычные школы!

Учительский ряд, второй от сцены, дружно оборачивается, чтобы с укором посмотреть нам в глаза. В воспитательском ряду никто и ухом не ведет. Удивить их чем-либо мы давно не в состоянии. Микрофон в очередной раз глохнет. Акула продолжает говорить, не замечая этого, потом спохватывается и орет так, что получается громче, чем с микрофоном:

– То есть вы – идиоты! Кого вы, спрашивается, срезали под корень этими вашими фокусами, может, вы думаете, что меня? Может, вы думаете, я буду рыдать и кому-то доказывать, что вы умнее, чем прикидываетесь? Может, вы думаете, мне не все равно, куда вы отсюда отправитесь и чем будете заниматься? Вы испортили биографии только самим себе, олухи!

Я обнаруживаю, что таки просунул ступню на переднее сиденье, и оставляю ее там, где она есть. Нельзя в конце концов жертвовать элементарными удобствами только потому, что не желаешь быть объектом подражания.

Слепой зевает и прячет зевок в ладонь. В его лемурьих пальцах запросто исчезает все лицо со лбом и подбородком. Такой вот простой жест, который не дано скопировать никому из присутствующих. Я сижу, съедаемый завистью, как последний болван. Пора уже стряхивать с себя эти параноидальные настроения. И вдруг ловлю себя на мысли – чему я, собственно, позавидовал? Не рукам Слепого, не его живым пальцам, а всего лишь жесту, который нельзя скопировать. Интересно, я на самом деле такой дурак, каким иногда кажусь

себе?

Последнее «быть может, вы полагаете…» Акулы, микрофон неожиданно подхватывает, стократно усилив, и с грохотом раскатывает по залу. Вскрикнув, просыпаются самые крепко спящие. Толстый роняет морковку. Горбач морщится, глубже заталкивая наушники. Даже самого Акулу передергивает на кафедре.

– По этой причине, – говорит он уже спокойнее, – отменяются все намеченные на этот месяц экзамены, а также общая аттестация, о которой я предупреждал вас в прошлом полугодии. И то и другое потеряло всякий смысл. С вашими результатами тестов вас не допустят к экзаменам ни в одно учебное заведение, а вы и раньше могли об этом только мечтать.

Лорд поворачивает ко мне зашторенное серебряными очками лицо и растягивает губы в улыбке. Я улыбаюсь в ответ и вдруг с ужасом замечаю, что он тоже окружен неумелыми копиями. Трясу головой, но мираж не исчезает. Пара Логов по обе стороны от Лорда, хранители Лордовских костылей – по одному на брата, у обоих зеркальные очки и мефистофельские бородки а-ля Лорд. Не отвлекаясь на сплетни, жевание и речи Акулы, Волосач и Москит полируют костыли носовыми платками и соскребают грязь с резиновых наконечников. Забавное и нелепое зрелище, вызывающее у меня улыбку. Лорд вопросительно поднимает брови, я киваю на его свиту. Он пожимает плечами – дескать, что поделаешь. Попугайский хохолок Рыжей полыхает у его локтя, ниже – бледный профиль, утонувший подбородком в ладони, а дальше в ряд – торчащие зубы и преданные глаза гордых своей службой костыльничьих, и я удивленно думаю: как же Лорд повзрослел после путешествия в Наружность, если за полгода научился философски относиться к вещам, до сих пор выводящим меня из равновесия.

– Сейчас я зачитаю фамилии тех немногих, кто прошел тестирование с высоким результатом…

Выжидающе щелкающим пальцам Акулы Рыбой Лоцманом передается очередная папка. Схватив ее, он угрожающе отхаркивается:

– Итак… в первой группе…

Учительский ряд гудит, перешептываясь. Горбач достает из кармана пепельницу, щелчком открывает ее и ставит на пол. Нигде не видно курящих, но над головами висит предательское серое облако. Акула зачитывает первые фамилии. Фазаны в передних рядах переглядываются и пихают друг друга локтями. Я шепотом повторяю фамилии, припоминая, что вроде бы уже имел с ними сегодня дело.

– Странно, – говорю я. – Был уверен, что среди Фазанов их будет больше. Хотя это их проблемы, разумеется…

– Разумеется, – подтверждает Слепой мне в ухо и тихо смеется своим выводящим из равновесия смехом сумасшедшего. Кадык пляшет на голой шее, в каждом зеркально отсвечивающем глазу по Сфинксу, как в очках-лужицах Лорда.

– Они были в списке Ральфа, – зачем-то объясняю я, – в списке персон, желающих побыстрее слинять.

– Вот сейчас и посмотрим, – чему-то радуется Слепец, – как у них это получится. И у кого еще, кроме них.

– Ты знал про них? – подозрительно уточняю я.

– Спятил? – изумляется Слепой. – Ты же сам только что все рассказал.

Действительно, я рассказал. Но он не очень-то удивился. Или умело скрыл удивление. Во всяком случае, не переспрашивал и не уточнял.

Акула между тем зачитывает умников второй, что не отнимает у него много времени, потому что вторая может похвастаться одним единственным изгнанником – несчастным Фитилем.

– Так его! Ну да… самое верное дело, – гудят через ряд от нас Крысы, после того как «переводчик», насильно лишенный наушников, знаками привлекает их внимание и объясняет, в чем дело. – А как же иначе? Ты давай, слушай, потом расскажешь, – поощряют переводчика, и вся стая дружно втыкает обратно наушники. Вернее, не вся стая, а десять отловленных представителей, что для Крыс уже много, когда речь идет о такой скучной повинности, как отсидка на общедомовом собрании.

Рыжий с хрустом разгрызает орех и выплевывает скорлупу. Переводчик Звонарь со вздохом обращает лицо к кафедре, а Фитиль, которого происходящее касается непосредственно, вообще ни на что не реагирует, сидит, как сидел, безразличный и погруженный в себя, козырек бейсболки опущен по самые ноздри.

Пропустив третью, где тесты провалили все без исключения, Акула переходит к нам:

– Четвертая… кха-кха. Могу вас поздравить! Циммерман!

В воздух взлетает приговор Курильщика, кружит между рядами, как маленький исчерканный воздушный змей, а в воспитательском ряду клювастая голова Р Первого поворачивается и глядит на меня.

– Тем или иным способом, – шепчу я. – Так или иначе, мы избавляемся от них.

– Ты говорил с Ральфом о Курильщике? – удивляется Слепой. – Зачем тебе это понадобилось?

За десять рядов от нас Ральф кривит рот, будто расслышав реплику Слепого, и отворачивается, немного похожий на Курильщика, словно они обменялись на время глазами, специально чтобы удивить меня. Акула разделался со списком шестой в три человека и переходит к девушкам.

– С чего ты решил, что я говорил о нем с Ральфом? – спрашиваю я Слепого.

– О, я логик. Светлый ум, – без ложной скромности признается Слепец. – Предположил.

– Что-то твой светлый ум в последнее время все чаще сбоит.

Мой самый свежий и последовательный кошмар – Слепой, навечно сбежавший в призрачные леса и топи Обратной Стороны Дома, растение рядом, личность не пойми где. Оставивший меня наедине со всеми этими лицами и кличками, с их страхом и надеждами, жутчайший исход, какой я могу себе представить, и единственный, который, как мне кажется, устроил бы самого Слепого. Мой страх доступен слуху даже менее острому, чем его слух, но он только смеется, превращая в шутку то, что совсем не смешно.

– Перерабатывает, – говорит он, подразумевая свой светлый ум. – Все на свете нуждается в отдыхе.

– Только не за мой счет, – прошу я его. – Пожалуйста.

Слепой сразу делается серьезен.

– Нет, конечно, – говорит он. – За кого ты меня принимаешь? Я никогда не брошу ни тебя, ни остальных.

Закрываю глаза, пытаясь справиться с головокружением, от которого все предметы вокруг вдруг вытягиваются и плывут, сливаясь в разноцветные полосы. Он нас не бросит! Эта проклятая убежденность в его голосе мне хорошо знакома. Слишком хорошо. А даст ли он нам бросить его? Вряд ли… только не тех, кто уже отмечен Домом.

– Эй, ты чего? – Слепой хватает меня за ворот и легонько встряхивает. – Да что с тобой творится?

– Иди к черту! – шепчу я.

– Завтра! – гремит Акула, сотрясая кафедру, как взбесившийся Кинг-Конг. – Завтра мы простимся с нашими уважаемыми преподавателями и отправим их на заслуженный отдых! Поскольку экзамены отменяются, это произойдет раньше, чем планировалось!

Все сидевшие в учительском ряду встают и поворачиваются к нам. Зал разражается аплодисментами. Они старательно делают вид, что растроганы, хотя на лицах даже издалека различимо ликование, а воспитательский ряд, напротив, мрачнеет, вычислив, что в скором времени останется с нами с глазу на глаз. Зал аплодирует, учителя кланяются, Акула млеет от умиления. Все это время Слепой крепко держит меня за шею, словно опасаясь, что стоит ему меня отпустить, как я тут же грохнусь в обморок, и, в общем-то, он недалек от истины, а еще ближе окажется, если вздумает меня успокаивать, как только что попытался.

– Сейчас будет предоставлено слово тем из наших преподавателей, кто пожелает выступить, – сообщает Акула, промокнув пот за ушами салфеткой. – А в заключение добавлю, что и в эту субботу, и в следующую родители всех прошедших тестирование будут приглашены сюда. Те из них, кто сочтет нужным забрать своих детей для предоставления им возможности поступления в различные учебные заведения, уедут с детьми.

Зал вяло аплодирует, радуясь окончанию Акульей речи, кто-то из самых активных Псов даже кричит: «Браво!» – и свистит, распоясавшись, но его быстро унимают, так что Акула отбывает со сцены под отдельные жидкие хлопки, и его место занимает старичок биолог, вооруженный здоровенным свитком с прощальной речью.

– Нервы у тебя, – говорит Слепой, – совсем расшатались…

– Не без твоей помощи, – огрызаюсь я. – И оставь в покое мой загривок, я никуда не собираюсь падать.

Он послушно убирает руку.

– А мне показалось, что собираешься. Извини…

Улыбке его не хватает переднего клыка и доброты, но он, во всяком случае, очень старается ее на меня излить. Я смотрю на него внимательнее и замечаю кое-что новое. Раньше Слепец таскал на себе черный длиннополый пиджак, похожий на сюртук начала века, на голое тело. Сегодня он надел под него майку, и что-то похожее на кольцо болтается на шее, зацепившись шнурком за пуговицу.

– Что это? – спрашиваю я. – У тебя на шее.

– Это? – он протягивает мне железное кольцо. – Забыл тебе сказать, я обручился.

– О господи, – говорю я. – С кем?

– С Крысой. Вчера вечером.

– Поздравляю, – вздыхаю я. – Не имеет смысла обсуждать это задним числом, но ты не мог найти себе кого-нибудь более уравновешенного?

– Ха, – говорит Слепой. – Стану я с вами советоваться. После того как вы меня разлучили с моей первой любовью. Совершенно по-свински.

– Ты эту дылду Габи имеешь в виду? Побойся бога, Слепой, ты же ей по плечо.

– Зато с Крысой мы одного роста, – он прячет кольцо под майку, но тут же, поморщившись, извлекает обратно. Должно быть, оно оцарапало ему раны.

– Это она в честь помолвки тебя разукрасила? – не выдерживаю я.

Лицо Слепого каменеет.

– Хватит, – говорит он. – Данная тема не обсуждается.

– Есть! – взлаиваю я и перевожу все внимание на кафедру, где биолога успел сменить мрачный Бурундук с еще одной прощальной речью, расслышать которую невозможно в связи с отсутствием на местах Акулы и Ральфа, которые удалились покурить. Атмосфера в зале безобразная. Многие открыто дымят, гул голосов усилился, отдельные личности перебегают из ряда в ряд, чтобы пообщаться с соседями, у Крыс громко играет музыка.

– От всего сердца надеемся… сумеете проложить… светлое будущее… несмотря на… и достоинство школы… высоко… – Бурундук без особого энтузиазма бубнит под нос, иногда прерываясь, чтобы с надеждой обнюхать пустой графин.

Я протискиваю на передний стул вторую ногу, почти ложусь, хотя здешние стулья как будто специально задуманы так, чтобы сидящему невозможно было принять удобную позу. Горбач отключает плеер и со вздохом прячет его в рюкзак.

– Что творится? – спрашивает он.

– Наши дорогие преподаватели прощаются с нами. Завтра или послезавтра они отчаливают.

– Ну да? – Горбач удивленно рассматривает Бурундука. – Серьезно? Мы их больше не увидим?

– Думаю, нет. Так что если хочешь обнять кого-нибудь на прощание и разрыдаться, поспеши. Кстати, наш вожак обручился. Можешь обнять и его.

Слепой корчит мне зверскую гримасу. Горбач откашливается. Дальнейший обмен информацией невозможен, потому что из переднего ряда к нам проникает Рыжий с сигаретой в зубах и подсаживается к Слепому. Весь наш ряд уже забит посетителями, жмущимися на краешках стульев, толкаясь и тесня друг друга..

– Отсядем? – предлагает Горбач. – А то здесь становится тесновато.

Я киваю. Он сгребает свое добро, закидывает на плечо, и мы перебираемся на три ряда назад, подальше от стремительно обрастающей гостями стаи.

– А с кем обручился Слепой? – спрашивает Горбач.

– С Крысой, с кем еще.

– Мог и с кем-то еще, – не соглашается Горбач. – Он такой. Непредсказуемый.

Очень верное замечание. Только редко высказывающиеся люди умеют произносить такие убийственные в своей простоте фразы. Но меня это почему-то не утешает.

– Крыса лучше, чем Габи, – уверяет Горбач.

– Еще неизвестно, – отвечаю я, вспоминая порезы на груди Слепого. Настроение окончательно падает. Горбач закуривает и вытягивается на стуле. Где-то среди Птиц громко, на весь зал включается транзистор, но звук тут же приглушают.

– Счастливого вам пути, дорогие дети, в большую и счастливую жизнь! Да. Всего наилучшего вам!

Бурундук спускается со сцены, и его место занимает Мастодонт, чье появление на кафедре зал встречает нехорошим оживлением. Акула и Ральф между тем возвращаются. Последние перебежчики спешат воспользоваться паузой, пока они пересекают проход, поэтому в зале топот, возня и скрип стульев. Я смотрю на Мастодонта и упускаю момент, когда рядом с нами кто-то садится. Оборачиваюсь на приветствие Горбача и вижу, что это Черный.

Без свиты он выглядит не так внушительно, как на расстоянии, окруженный Псами. Можно сказать, у него вполне домашний, привычный вид, но я все равно напрягаюсь. Вежливое приветствие, само собой, как водится, а после смотрю на Мастодонта, чтобы не начать рассматривать Черного с неприличным интересом.

– Ну, что я могу сказать…

Мастодонт – клетчатый прямоугольник с боксерски сплющенным носом и такими же губами, оглядывает зал поверх бумажки с речью и откашливается.

– Автомат бы вам в руки, – подсказывают из зала. – И лечь первым двум рядам!

Подсказывают довольно громко.

Мастодонт багровеет и вертит шеей, высматривая крикуна.

– Ну, вы… – хрипит он. – Тихо там, внизу!

Зал притихает. Не стоит думать, что надолго.

– Я, как и все выступавшие здесь до меня учителя, немало крови и пота…

Черный рассказывает Горбачу, как его навестила утром Нанетта:

– Смотрю, лезет в форточку. Сама прилетела, я ее не звал. Даже не сразу сообразил, как это странно. Знаешь же, никогда она ко мне не лезла, даже птенцом, а тут вдруг прилетела…

Черный глядит на Мастодонта, и Горбач тоже. Еле шевелят губами, но мне все слышно. При этом отчего-то ощущение неловкости, как у подслушивающего. Абсолютно неоправданное. Я ведь не виноват, что сижу так близко. Если бы Черный не хотел, чтобы я его слышал, он отловил бы Горбача где-нибудь в другом месте.

– Старался сделать вас чуток поздоровее! – врывается в мои мысли голос Мастодонта. – Не скажу, что достиг в этом больших успехов…

– С автоматом-то оно было бы вернее, – опять подсказывают ему из зала.

Мастодонт выдерживает тяжелую паузу. В зале смех и похрюкивания.

– Но, как я вам уже не раз повторял…

– Хороший калека – мертвый калека! – восторженно подхватывает целый хор.

Еще бы. Высказывания Мастодонта давно стали классикой. Цитировать их по памяти может даже Слон.

– Ах вы, чертовы ублюдки! – ревет Мастодонт, с хрустом опуская оба кулака на кафедру. – Порча генофонда! Отбросы! – в воздух взлетает облачко пыли. Зал воет и разражается бешеными аплодисментами. – Да я бы гранатой в вас, а не то что…

Мастодонта стаскивают со сцены. Всем воспитательским рядом. Акула на заднем плане сокрушенно всплескивает плавниками.

Черный поворачивается ко мне:

– Что теперь будет с Курильщиком? – спрашивает он.

– То же, что и со всеми остальными, я думаю. Заберут родители.

Он кивает, задумчиво потирая подбородок.

– У меня у самого двое таких. А я все равно почему-то больше думаю о нем. Странно. Вроде для них так лучше, но чувствуешь себя предателем. Не пойму, отчего это так.

– Оттого, что это так и есть. Мы их предали.

Черный глядит исподлобья. Крохотные черепки выплясывают на повязке, окольцовывающей его голову, черно-белый танец.

– Чем?

– Тем, что не сумели изменить.

Черный достает из заплечного мешка сигареты и прячет одну в нагрудный карман.

– Жаль его. Ведь он славный парень. Просто вы его достали своими повадками, вот он и озверел. Я-то знаю, как это бывает.

– Ну, тебе ли не знать, – любезно вставляю я.

Горбач наступает мне на ногу, безразлично обозревая потолок. Но Черный, как ни странно, не обижается. Вожачество определенно изменило его характер к лучшему.

– Злыдень ты, Сфинкс, – только и говорит он.

И все. Я жду, но продолжения не следует.

Акула тем временем объявляет «одного из наших учащихся, который выразил желание выступить», и на сцену вкатывают гордого Фазана, неотличимого в своей черно-белой униформе от прочих представителей их племени.

– В каждой стае, – говорит Черный, – своя белая ворона. Даже у Фазанов. Нам этого не заметить, если только они не вышибут ее на нашу территорию, как вышибли Курильщика. У Псов та же песня. Грызутся друг с дружкой, пока не сконцентрируют все внимание на ком-то одном. Тогда этому кому-то становится худо.

Я открываю рот, но, перехватив красноречивый взгляд Горбача, тут же захлопываю. Черный, однако, успевает прочесть у меня на лице много чего.

– Ты опять обо мне собирался высказаться? И сказал бы. Только это не совсем то. Я сам хотел быть белой вороной. Я вас провоцировал. Может, я ею и был, но не в той степени, как мне бы того хотелось.

– Тебя сейчас что волнует, степень твоей белизны или чьей-то еще? – интересуюсь я. – Что мы, собственно говоря, обсуждаем?

– Меня волнует все, – Черный достает переправленную в карман сигарету и мнет ее в пальцах. – В шестой свои порядки, – говорит он. – В шестой я понял, как по-настоящему травят «других», непохожих. И понял, что все, что было в четвертой – детские игры, на самом-то деле. Когда увидишь настоящую травлю, ее уже не спутаешь ни с чем. Слишком это жутко.

– Здорово, – говорю я, – что ты наконец что-то такое увидел. Я лично это пережил на девятом году жизни. С твоей помощью и при твоем горячем участии.

– Эй! – Горбач умоляюще вскидывает ладони: – Сфинкс, не надо…

– Нет, погоди, – я уже разозлился, и мне трудно остановиться, – он говорит, что не видел ничего такого до того, как попал в шестую. Мне интересно, что же он видел, когда они гоняли меня по Дому всем скопом, как чумную крысу!

Черный мнет в пальцах сигарету, которую так и не зажег, и не глядит на меня. Я постепенно остываю и уже начинаю жалеть, что сорвался. Можно сказать, впервые в жизни мы с ним общались по-человечески. Пытались общаться.

Черный отбрасывает выпотрошенную сигарету.

– Я скажу, что я видел тогда, если хочешь. Тебе это не понравится, предупреждаю. Но лучше так. Мне хотелось бы, чтобы ты понял. Дело было не в тебе. Абсолютно. Дело было в Лосе, – Черный снимает с головы повязку, комкает ее и прячет в карман. – Я попал в шестую, – говорит он, – пожил там и понял наконец, что со мной творилось в четвертой. Даже удивился – как можно было не видеть этого, не понимать. Но если бы я не отошел, не посмотрел издалека… Словом… попробуй сделать то же самое. Представь всех нас, Дом, Лося. Представь, что ты мальчишка, сопляк, а вокруг куча взрослых, которым вечно не до тебя, всем, кроме одного, а этого одного на всех не разделишь. И каждый из кожи вон лезет, чтобы перед ним выделиться, показать себя, чтобы он сказал что-то именно тебе, именно тебя о

чем-то попросил. И все внутри, не показываешь, потому что стыдно обожать кого-то, когда ты парень, тебе уже десять лет и так далее. Только Слепой плевал на всех и бегал за ним, как собачонка, но он был один такой, и Лось с ним никогда не носился больше, чем с другими. У него вообще не было любимчиков среди нас. Пока не появился ты. Да, не хихикай, это сейчас звучит смешно, а поставь себя на наше место!

– Извини, Черный, – я с трудом сдерживаю смех, – пойми меня правильно, я так давно не слышал вот этого: «Любимчик Лося». Как вспомню, сколько крови мне попортила эта характеристика. Честное слово, никогда не думал, что я его любимчик. И что это так бросалось в глаза.

– Ты, может, и не думал.

Черный очень красен, что выглядит угрожающе, хотя и привычнее, чем его новообретенное вожацкое хладнокровие. Я весь в ожидании взрыва, поэтому мне трудно вслушиваться в то, что он говорит.

–…как только сошли с автобуса. Он поджидал нас во дворе, в сторонке. Собрал вокруг себя, рассказал о тебе, велел тебя не трогать и помогать во всем.

– Что-о-о?! – меня подбрасывает на сиденье, как будто через него пропустили заряд электричества. – Неправда! – кричу я, глядя на них сверху вниз. – Не было этого! Не могло быть!

Горбач дергает меня за рукав.

– Эй, ты чего? Акула смотрит. Садись!

Я приседаю рядом с его стулом, и он шепчет мне в ухо, скашивая глаз в сторону сцены:

– Все так и было, как сказал Черный. Правда. Я тоже там стоял, когда он это сказал.

– Ты никогда не говорил мне об этом!

– В задних рядах! – гремит над нами Акулий глас. – Прекратить копошение!

Я опускаюсь на стул, стараясь выглядеть спокойным. Горбач тянет шею, весь воплощенное внимание к происходящему за десять рядов.

– А зачем? – шепчет он, не разжимая губ. – Какое это имеет значение?

– Ты был первым новичком, которому нам было велено помогать, – не успокаивается Черный. – Мы и так помогали друг другу, чем могли, кто больше, кто меньше. Но до тебя нам почему-то никогда не говорилось, что мы «должны» это делать.

– Черт, – говорю я, – он что, идиотом был?

При слове «идиот» Черного с Горбачом перекашивает. Горбач говорит: «Полегче, Сфинкс!» – а Черный молчит, но так выразительно, что я понимаю – мало того, что я любимчик, я – любимчик, не ценящий своего счастья и попирающий святое. Мне нужно время, чтобы справиться с комплексом Иосифа, стоящего поперек горла своим братьям, который эти двое умудрились мне навязать, и для того, чтобы осознать, что мерзкий белобрысый подросток, который помнится мне высоким, как башня, мускулистым и абсолютно не нуждающимся ни в чьей любви существом, был способен на муки ревности. Он и другие. Он и независимый одиночка Горбач. Он и, наверное, Пышка-Соломон, которого уже нет в Доме. Все они.

Мне нужно время, чтобы посмотреть на них издалека, понять, пожалеть и простить. Поэтому я растягиваю для себя это время, торможу его, стирая мысленно их портреты в альбоме детских воспоминаний, давая им возможность проявиться заново. Я понимаю, что здесь и сейчас времени на это не хватит, что это слишком долгая работа, которую не проделать за несколько минут. Еще я понимаю, что только что обидел и Горбача, и Черного, и что мне повезло, что рядом сидели они, а не Слепой.

– Хорошую услугу оказал Лось своему любимчику, – пробую улыбнуться я. – Врагу не пожелаешь.

– Да брось ты, – морщится Горбач. – Оставь его в покое. Все это было давно, и давно закончилось. Смешно говорить об этом сейчас.

– Если бы закончилось, мы бы не говорили, – угрюмо возражает Черный. – Ты посмотри на Сфинкса – где там чего закончилось? По нему, так все еще только начинается. Бесится, как будто его только вчера отлупили. Любой из нас удавился бы за то, чтобы по-

быть на его месте. А он бесится!

Я как раз дохожу в перетряхивании наших детских портретов до Слепого и застываю в недоумении. Что такое ревность Слепого, мне приблизительно известно. Почему же я не видел ее проявлений тогда? Почему Черный, и даже Горбач, но не он?

– А Слепой присутствовал при том разговоре?

– Ох, господи! – Черный откидывается на спинку стула и скалит зубы. – Слепой! Насчет него можешь не беспокоиться. Богов не ревнуют. Это совершенно отдельная патология.

– Как-как ты сказал?

– Мы сейчас к чертям перессоримся, – тоскливо говорит Горбач. – Ладно вы, вам не привыкать, но я-то при чем? Давайте, я лучше отсяду.

Встряхиваю головой.

– Ты прав. Пора заканчивать с этим. Я отошел на свои несколько шагов и посмотрел оттуда. Спасибо, Черный. Это действительно полезно, хотя и несколько болезненно.

Дальше мы молчим.

Черный – мрачнее грозового облака, скрестив на груди лапищи, Горбач – взъерошенный и несчастный, как ворон, застигнутый врасплох птицеловом. Про себя мне думать не хочется, ни как я выгляжу, ни на что похож.

Воспитательница Крестная зачитывает какое-то расписание. Мне требуется несколько минут, чтобы разобрать, о чем идет речь, и все это время я борюсь с настигающим меня образом Лося. Раз в полугодие на общих собраниях он стоял там же, где сейчас стоит Крестная, и, улыбаясь одними глазами, делал короткие объявления, примерно такие же, как те, какие сейчас делает она. О чьих-то успехах и отставаниях, об улучшениях состояния здоровья, об очередности проведения медосмотров. Только в отличие от Крестной его всегда слушали, что бы он ни говорил. Всем залом. Почти не дыша. Потому что он был Ловцом Детских Душ по призванию. Можно было вырасти и освободиться, но даже давно ушедшие в Наружность унесли на себе следы его прикосновений и взглядов, и, как я подозреваю, носят их до сих пор. Имел ли такой человек право на ошибку? Меньше всего он, за которым следило столько тоскливых и жадных глаз. Он не имел права на ошибки, на любимчиков и на смерть.

Крестная зачитывает список тех, кому назначены витаминные инъекции. Длиннейший список тех, чья худоба выходит за рамки приличий. На этом собрание заканчивается. Мимо нас, громыхая стульями, проходят и проезжают выходящие, на сцене драпируют кафедру и зачем-то расчехленный экран, зал пустеет, и мы остаемся одни.

Я, Горбач и Черный. Все, что можно было друг другу высказать, мы вроде бы уже высказали, и непонятно, чего мы ждем и почему никто из нас не ушел с остальными. Вернее, понятно, почему не ушел Горбач, он выполняет роль громоотвода, а вот почему мы с Черным продолжаем сидеть, где сидели, как приклеенные? Горбач выжидает, мается и даже делает вид, что задремал. Мы с Черным молчим. Молчим и молчим, и наконец терпение Горбача истощается.

– Двинем, что ли? – жалобно спрашивает он. – Все уже ушли.

Дружно встаем. Огибая сдвинутые стулья, плевки и окурки, выбираемся в коридор. Шагов на пять по стене тянутся синие буквы: «Прощайте, дорогие учителя!» С восклицательного знака свисает что-то вроде мутной слезы.

– Тебе неприятно то, что я рассказал про Лося? – спрашивает Черный, шагая рядом.

– Не очень. Это многое объяснило. Я мог догадаться и раньше, если бы как следует поразмыслил. Когда ты мал, взрослые кажутся безупречными, довольно обидно со временем узнавать, что это не так.

– Такое иногда узнаешь не только о взрослых, – бормочет Черный под нос, непонятно кого или что имея в виду. – А моих культуристов вы, небось, посдирали? – вдруг спрашивает он, резко меняя тему, и я сразу вспоминаю, как меня доставала эта его манера внезапно перескакивать с одного на другое, как будто его вдруг выключили и снова включили, настроив на другую волну.

– Что ты, – говорит Горбач удивленно. – Висят себе, где висели. С чего бы нам их

сдирать?

– Со злости, со злости, Горбач, – с удовольствием встреваю я. – И не только сдирать, но и топтать, и раздирать на мелкие кусочки. Как можно не понимать таких простых вещей.

– Сфинкс, иногда ужасно хочется тебе врезать, – признается Черный. – Просто до дрожи в руках.

Мы обходим стул, который кто-то спер из актового зала, но не дотащил до лестницы. Черный останавливается.

– Хочу вам кое-что сказать. С условием не смеяться. Это насчет выхода…

Горбач сразу сникает и съеживается, с силой вцепившись в рюкзак, как будто боится, что его вот-вот погонят в Наружность.

Черный кусает губы, собираясь с духом. Оглядывает стены, потолок, пол и наконец смотрит на меня.

– Ладно, – говорит он. – Можете, в общем-то, и смеяться. Я знаю, где можно раздобыть автофургон. Подержанный, но в приличном состоянии. И еще я умею водить. Научился. Была у меня такая возможность.

Глядим на него, разинув рты.

– Я знаю, что все это фигня, – говорит он быстро. – Знаю не хуже вашего. Не маленький. Мне самому это смешно, то, что я сейчас сказал, но я должен был это сказать, хоть вы надорвите животы после моего ухода. Я просто прошу вас, имейте это в виду, хорошо? И все.

Он поворачивается и быстро уходит, спеша удалиться от нас, как будто волны нашего воображаемого смеха подстегивают его, ударяя в спину.

– Мы не смеемся, Черный! – кричу я ему вслед. Он, не оборачиваясь, машет нам рукой и исчезает на лестнице. Паническое бегство, только так это можно назвать. Мы с Горбачом растерянно переглядываемся.

– Дела… – говорит Горбач. – Один был человек в Доме, мечтавший о Наружности, и того не стало.

– Прощайте, бультерьеры в клетчатых жилетках, – вздыхаю я. – В фургончике и без них будет тесновато.

– Перестань, – просит Горбач. – Это не смешно. Он ведь и смотался побыстрее, чтобы не слышать всяких таких шуточек.

– А я бы при нем и не шутил. Я не смеюсь, Горбач. Как я могу смеяться над такими вещами? Это ведь тот же воздушный змей Табаки, через который якобы ушли старшие, только Черный своим змеем научился управлять.

Горбач мотает головой:

– Не смейся при мне тоже, хорошо? Не шути и вообще не говори ничего, – он пинком отбрасывает с дороги брошенный стул, который вполне можно было обойти, и уходит вперед, затолкав руки в карманы так глубоко, что мне кажется, я слышу треск рвущейся материи. Жутко расстроенный словами Черного, а может, моей реакцией на них.

Я иду следом, с тоской представляя сказку, в которую Черный пытается поверить. Волшебное путешествие в фургоне. Дети Дома мчатся навстречу утренней заре. В краденой машине, с Черным в роли рулевого, летят по трассе, распевая бодрые дорожные песни. В реальном мире такая поездка продлится не дольше часа. А жаль. Потому что эта сказка даже красивее той, в которой старшие уходили в неведомый, заоблачный мир при помощи воздушного змея. Красивее и трогательнее именно тем, что выдумал ее реалист Черный.

Вернувшись в спальню, мы застаем там только Рыжую с Курильщиком, сидящих на разных концах кровати и действующих друг другу на нервы. Напряжение настолько ощутимо, что Горбач немедленно скрывается на своей полке, с глаз долой, а я сажусь между этими двумя, стараясь, по возможности, заслонить их друг от друга. Что ж, все правильно, теперь моя очередь работать громоотводом, жаль, я не Табаки, у него такие вещи получаются намного лучше.

Рыжая курит, рассматривая кончик сигареты. Курильщик таращится то на ее грязные кеды, то на пепел, который она стряхивает куда попало – Фазан Фазаном, разве что не заносит замечания в дневник. Раздражение Рыжей почти незаметно, раздражение Курильщика

искрит на всю комнату. Я мешаю ему целенаправленно беситься, и он пересаживается так, чтобы лучше видеть ее – грязную-невоспитанную-некрасивую, и еще что-то личное, чего я пока не могу уловить, может, она ему нахамила или налила в любимые кроссовки компоту, пока нас не было? Он краснеет, глядя на нее, и отводит взгляд, но тут же опять смотрит, словно пересиливая себя, и мне все интереснее, что же она такого натворила. С ролью громоотвода справляюсь из рук вон плохо, поэтому радует появление Шакала, жизнерадостно и фальшиво что-то насвистывающего.

– Ну вот, – сообщает он, вскарабкавшись к нам, – Габи вопит на всех углах, что забеременела, можете себе такое вообразить?

– Естественно, от Слепого, – Рыжая не кажется особо заинтересованной.

– А вот и нет! Этого она не говорила. Никаких «Да здравствует юный дофин!» – ничего подобного. Якобы от Рыжего или от Викинга, в общем, что-то неопределенное, с уклоном в Крысиную тему.

– Врет, – угрюмо констатирует Рыжая и, отбросив сигарету, идет к ящику Толстого. Выуживает его оттуда, сонного, сажает за спину и, согнувшись под его тяжестью, выходит. Толстый спросонья курлычет что-то невразумительное, но в целом выглядит довольным.

– Эй, куда неразумного? – изумляется Шакал.

– Гулять, – отвечает Рыжая уже из-за двери, потом хлопает коридорная дверь, и становится тихо.

– Ну вот, – вздыхает Шакал. – Так хорошо сидели…

Сидели мы совсем не хорошо, но запасы оптимизма Табаки неистощимы, и никто не намерен с ним спорить.

– Несуразное существо, – говорит Курильщик. Может, чтобы ему возразили. Или просто чтобы что-то сказать.

– Кто? Рыжая? – удивляется Табаки. – Почему?

– Так. Чего-то в ней не хватает. И даже очень многого.

Табаки крутит плашку радионастройки на магнитофоне.

– Знал бы ты, как многого не хватает тебе самому, был бы молчаливее, но раз уж ты не молчун, давай договаривай.

Курильщик не упускает возможность высказаться.

– Она резкая, – говорит он. – Грубая. Неженственная. То, как она себя ведет, хорошо для двенадцатилетней, а ей давно уже не двенадцать.

– Ого! – Горбач свешивается со своей кровати, прислушиваясь, и, по-видимому, ободренный его вниманием, Курильщик добавляет:

– И еще она неряха. Совсем безнадежная.

– Ай, ай, ай, – Табаки раскачивается, выпятив губы, как нервничающий шимпанзе. – Ты сам-то слышишь, что ты несешь, Курильщик?

– Она ночует в комнате с шестью парнями и разгуливает по ванной комнате голышом, не запирая дверь, и вроде бы она спит с Лордом, но не удивлюсь, если и со Слепым, а может, и еще с кем-нибудь…

Горбач швыряет в Курильщика подушкой, а Табаки тут же на нее запрыгивает и приминает, яростно урча, словно хочет раздавить Курильщика в лепешку. Утрамбовав его как следует, он приподнимает подушку, и, убедившись, что Курильщик дышит, быстро накрывает его опять. Пока они затыкают Курильщика таким диковинным способом, я ловлю образ Рыжей, так потрясший и разозливший его. Высверком – тощая, мальчишеская фигурка. Обтянутые розовой кожей ребра под темными сосками, красный кустик лобковых волос, ноги, руки и почти ничего между ними. Она смотрит на меня, вернее, на Курильщика, вывернув руку, где пониже локтя алеет какая-то болячка, смотрит отрешенно, без малейшего интереса, и облизывает ее. Потом медленно опускает руку и, не пытаясь прикрыться, исчезает в душевой кабинке. Ее переход туда отпечатывается на сетчатке Курильщика покадрово, сотней узких, наползающих друг на друга снимков. Вот что заставило его так мучительно краснеть. Я понимаю, обижен он не тем, что увидел, а реакцией, точнее, отсутствием реакции на свое появление. Это действительно неприятно, когда на тебя смотрят, как на пустое место, не видя. Такое выведет из равновесия и более спокойного человека.

– Она – как животное, – говорит Курильщик, сняв с себя подушку. – Как бесстыжая обезьяна.

– Кошмар, – возмущается Табаки. – Мы напрасно старались, Горбач. Он неисправим. Его можно только убить.

– Его забирают в субботу, – напоминает Горбач сверху. – Не забывай.

– Только этой мыслью и живу. Этой – и еще несколькими. Столь же отрадными, – Табаки смотрит вверх и жалобно спрашивает:

– Какое его собачье дело, с кем она спит, скажи на милость, если даже Лорд этим не интересуется?

– А вот такой он склочный тип, – отвечает Горбач и убирает голову.

Курильщик лежит, обняв подушку Горбача. Узкие кадры с голой удаляющейся девушкой стремительно падают перед ним, один на другой. Последний – захлопнувшаяся дверь душевой кабинки.

Я ухожу во двор искать Рыжую.

В месте, где сходятся стены двух корпусов, есть закуток, поросший сорняками. В начале лета крапивы здесь по колено, и мусор становится невидим. Самое якобы уединенное место в Доме, потому что на обеих стенах нет окон.

Они там. Сидят перед костерком, который Рыжая разожгла на старом месте – черном, обугленном участке, обложенном камнями. Старшие всегда разводили здесь костры. Раньше это место было чище – здесь валялись лежаки и ящики, использовавшиеся вместо стульев. Теперь ничего не видно. Может, их давно сожгли.

Толстый сидит на куртке Рыжей и смотрит в огонь. Тихо гудит, вздрагивая от треска занимающихся веток, и хватает себя за щеки. Такой забавный дамский жест то ли ужаса, то ли восторга. Рыжая шепчет ему что-то, чего я не могу расслышать. Я подхожу и сажусь рядом с ними. Она продолжает говорить, не обращая на меня внимания:

– Надо было суметь пристроиться где-нибудь на задах, так, чтобы не прогнали, и смотреть. Тут главное было смотреть, не слушая. Потому что они пели и играли на гитарах, пекли картошку и все такое, но это только отвлекало, вся эта романтичная чушь, когда куча народу хочет доказать самим себе, что классно проводит время. А я просто ужасно любила смотреть на огонь. Один раз кто-то выхватил из костра ветку и написал ее тлеющим концом что-то на стене. Меня это просто ослепило. Слово, которое осыпалось огнем. Горящие буквы… Божьи письмена. На следующий день от них остались только черные буквы обыкновенного ругательства и полоса сажи, но все равно это было чудом, и я это видела…

Она бросает в огонь развесистый сегмент засохшего куста. В воздух взлетают искры, блестками отразившись в вытаращенных глазках Толстого.

– И еще я приходила сюда реветь, – заканчивает Рыжая. – Раз в неделю, как по расписанию.

– Я тоже, – признаюсь я. – Пока не узнал, что каждый второй в Доме ходит сюда за этим же самым.

Она улыбается. Улыбка меняет ее, делая другим человеком. Непривычным сейчас, но таким, с которым ты вроде бы знаком очень и очень давно.

– Ага, – говорит она. – Вечно наткнешься то на одного, то на другого, закроешь глаза и делаешь вид, что этого не было. Самое, черт его дери, уединенное место в Доме!

– В Доме нет уединенных мест.

– Тогда уж точно не было.

Она лезет в рюкзак, достает сверток с бутербродами – «кстати, а у меня тут…» – и замирает, глядя на Толстого. Он подполз ближе к огню, таращится на него, в неуклюжей ласте зажата щепка. Приноравливается бросить ее в огонь – трудное дело, требующее всех его сил и внимания. Мы смотрим, как он, не переставая покачиваться, вытягивает одновременно руку и губы и осторожно кидает щепку. И тут же испуганно отшатывается, словно от крохотной щепочки костер может вспыхнуть до небес. Ничего не вспыхивает. Толстый косится на меня, потом на Рыжую и опять заводит свою монотонную гуделку, выражая радость и удовлетворение происходящим.

Ветер дует в мою сторону. Зажмурившись, перекатываюсь ближе к Толстому. Сажусь

на край куртки, обнимаю граблей его покатые плечи, и мы вместе следим за тем, как костер затухает. Рыжая пристраивается с другого бока Толстого.

– Не дам я ему бутерброд, – говорит она, и я соглашаюсь, что, конечно, не стоит давать Толстому никаких бутербродов. Для него сейчас существует только костер. Все, что мы дадим ему, полетит туда, ведь никакой ужин не заменит счастья покормить другого, особенно если этот кто-то – огонь, могущественное божество, чьей истинной силы Толстый не знает, но догадывается о ней.

Чтобы он не расстраивался от того, что костер гаснет, Рыжая говорит про угли. Что они тоже красивые – «как маленькие красные звезды», говорит она, и Толстый кивает, подтверждая сходство.

– Я разожгу для тебя такой же костер завтра, – обещает Рыжая.

– Зачем тебе это? – спрашиваю я. – Он ведь может привыкнуть.

Рыжая молчит. «Пусть привыкает, – слышно в ее молчании. – Я буду носить его сюда каждый вечер. И жечь для него костры. Пусть скармливает им щепочки и поет. Нельзя только думать о том, что будет дальше. Когда я не смогу приносить его сюда, потому что не будет никакого сюда. Меньше всего стоит думать об этом».

– Не слишком ли многих ты приручила, Рыжик? – спрашиваю я.

В вопросе только нежность, я понимаю ее слишком хорошо. Я понимаю, каково это – не приручать, если ты любишь, когда любят тебя, если обретаешь младших братьев, за которых ты в ответе до конца своих дней, если превращаешься в чайку, пишешь незрячему любовные письма на стенах, письма, которые он никогда не прочтет. Если несмотря на твою уверенность в собственном уродстве кто-то умудряется влюбиться в тебя… если подбираешь бездомных собак и кошек и выпавших из гнезд птенцов, если разжигаешь костры для тех, кто вовсе об этом не просил…

Она смотрит на меня и тут же отводит взгляд. Потому что и я – один из тех, кто давно приручен. Счастье что не беспомощный, не безнадежно влюбленный, не нуждающийся в присмотре, отчасти передоверенный Русалке, может, даже сумевший чуть-чуть Рыжую перерасти, но все равно один из них, нас – тех, кто навеки под ее ободранным чаячьим крылом.

Она тянется ко мне, и мы обнимаемся, соприкоснувшись лбами над макушкой Толстого. Совсем недолго, она почти сразу отодвигается.

– Ты сердишься из-за Лорда, – говорит она. – Но я не виновата…

– Я не сержусь.

– А Курильщик…

– А это вообще ерунда.

Я смеюсь.

Ей все равно, сколько человек слышат их ссоры с Лордом, ей все равно, с кем Слепой, если он не с ней, ей без разницы, голая она или одетая, девушка она или парень, это стайный зверь, таких выращивает Дом, и Курильщик отчасти прав – Рыжая монстр, как многие из нас, лучшие из нас. Будь я проклят, если попрекну ее этим.

Она кивает и встает. Уже почти стемнело, угольки еле тлеют, Толстому, наверное, холодно. Он возится в своих подштанниках-ползунках, вопросительно хрюкая.

– Идем, – говорю я. – Уже совсем уходим.

Рыжая сажает его мне на плечи. Привязывать не обязательно, он привык разъезжать верхом и держится крепко. Она подбирает куртку и рюкзак и затаптывает последние тлеющие угольки.

Толстый многозначительно кашляет.

– Да, – говорит Рыжая. – Я помню, что обещала тебе насчет завтра. А это место должно пока отдохнуть. Остынуть.

Мы идем в сумерках, ориентируясь по светлой полоске асфальта среди скрытой зарослями свалки. В карманах шорт Рыжей побрякивают ключи и монетки. Теперь, когда костер погас, видно, что еще не стемнело.

Толстый возит ладонями у меня по лицу, что-то бормочет и неуверенно запевает. Наверное, песню о сегодняшнем вечере. В отличие от песен Табаки по таким же поводам эту

никто никогда не поймет.

В субботнем медосмотре участвуют все, поэтому очередь в Паучий кабинет растягивается до Могильной площадки, съезжая на лестницу, и проводим мы в ней столько времени, что Логи успевают натаскать с первого одеял и кипятильников, разбить на площадке лагерь и пару раз заварить чай, прежде чем ее хвост втягивается в Могильный коридор.

Здесь скучнее. Нельзя шуметь, курить и включать кипятильники. Многие задремывают. Птицы режутся в покер, Слон выгуливает на сером линолеуме игрушки, Лорд и Рыжая ссорятся, потом мирятся, Шакал раскладывает под Могильными шкафами кусочки булок – для Могильных домовых.

– Странно, что с такими повадками здешние боятся выпуска, – говорит Курильщик. И, поймав мой взгляд, добавляет:

– Вам ведь так немного надо, где бы вы ни очутились.

Провокационное заявление, но никто с ним не спорит.

Мы удручающе милы с Курильщиком. С самого утра.

Очередь понемногу укорачивается. Белые пластиковые стулья, на которые принципиально никто не садится, отмечают вехи нашего пути. Когда до двери кабинета остается всего один стул, выясняется, что Курильщика оставляют в Могильнике.

Никаких объяснений, как это принято у Пауков. Просто посылают за его вещами, и остается недоумевать, что же такое с ним стряслось со времени прошлого осмотра, чего никто не заметил. Будь на месте Курильщика кто другой, мы оставили бы в Могильнике десант до выяснения всех обстоятельств, но Курильщика в любом случае должны были забрать родители, так что мы ни на чем не настаиваем и возвращаемся в спальню.

За обедом возникает дурацкий спор. О возможностях колясников. Табаки считает их безграничными и пытается нас уверить, что ноги, в сущности, лишняя часть тела. Якобы в них нуждаются только футболисты и манекенщицы, а всем остальным они требуются только в силу привычки. И когда человечество наконец соберется усовершенствовать себя путем полной моторизации конечностей, эта старая привычка отомрет сама собой.

Я и Горбач вяло защищаем ноги. Мы их любим, они нам нравятся, мы не хотим их моторизировать. Лэри бубнит что-то про зелен виноград.

Оскорбленный Табаки предлагает всем присутствующим ходячим посоревноваться с ним в скорости, быстроте разворота и силе наезда.

Лорд говорит, что после такого соревнования мы окажемся в Клетке. Те из нас, разумеется, кто не окажется в Могильнике.

– И ты, Брут? – шепчет Табаки потрясенно.

После обеда начинается то, что Шакал называет Великим Исходом. Ничего великого в нем нет. Просто увозят нескольких прошедших тестирование, в основном Фазанов, но в Доме умеют обставить любое событие так, что от него веет грандиозностью.

Первый этаж огораживают в районе приемной. В роли шлагбаума выступает Р Первый. Логи немедленно сбиваются у ограждения и всеми силами пытаются прорваться на ту сторону. Черный Ральф держит оборону. Остальные воспитатели доставляют сюда своих подопечных и их багаж.

Общее восхищение вызывает тощая девчушка по кличке Стёкла, чье имущество занимает три огромных чемодана, две сумки и пакет. Шакал заявляет что нашел, наконец, истинно родственную душу в этих стенах, но, увы, слишком поздно, и сердце его теперь разбито.

После доставки неподъемного багажа Стёкла начинает пищать, что забыла упаковать свою любимую жакетку, и за жакеткой отправляют трех воспитательниц, у каждой из которых на лице написано, до какой степени ей хочется прибить Стёкла. Жакетку не находят. Стёкла кричит, что никуда не едет. Логи аплодируют ей. Наконец Акула лично уволакивает в приемную «милую деточку», и больше ничего интересного не происходит, не считая рыданий Фазаненка Хлюпа и прощальной речи Пса Лавра, в которой он обзывает всех нас говнюками.

Никого из родителей увозимых увидеть не удается, что, в общем-то, понятно: увидь

мы их, они в свою очередь увидели бы нас, а Акула достаточно хорошо соображает, чтобы этого не допустить.

Наконец прошедшие тестирование упакованы и отправлены вон из Дома, заграждения сняты, Рептилии разбрелись пить валерьянку, а мы возвращаемся в спальню.

– Хорошо все же, что мы вот так по-дурацки не проводили Курильщика, – высказывается Горбач.

– Думаешь, он тоже обозвал бы нас говнюками? – спрашивает Шакал.

– Не исключено, – говорит Горбач.

СФИНКС

В роднике твоих глаз
и виселица, и висельник, и веревка.

Пауль Целан. Хвала твоим далям

Я поднимаюсь на чердак единственным доступным мне способом. С изнанки пожарной лестницы, спиной упираясь в стену. Чем выше поднимаюсь, тем менее приятным делается этот способ передвижения. Теоретически в нем не было ничего сложного. На практике оказалось, что я многого не учел. Например, вбитые в стену гвозди. Первый втыкается мне в спину на пятиметровой высоте, со вторым мы встречаемся сразу после первого, так что уже к середине пути я истекаю кровью, как святой Себастьян, и перестаю заботиться о скорости, более важным кажется избежать свидания с еще одним гвоздем.

Лорд – с ним мы поспорили, кто влезет на чердак быстрее – примерно в это же время тихо исчезает, не попрощавшись. Табаки – арбитр, чьи бодрые выкрики досаждают мне немногим меньше гвоздей, остается на посту.

– Держись, старина! Осталось всего ничего! Просто забудь, что у тебя есть спина, и станет легче!

– Спасибо! – я перекидываю ногу на следующую перекладину и проталкиваю себя вверх по стене, обдирая еще немного кожи с лопаток. – Твои советы всегда исполнены мудрости. А куда подевался Лорд?

Гляжу вниз, на недоуменно озирающегося Шакала, и становится смешно. Последнее, что стоит делать человеку в моем положении – это хихикать, поэтому я стискиваю зубы, отвожу взгляд и, наверное, в сотый раз пересчитываю оставшиеся до верха перекладины.

– Действительно. Где он? – возмущается Шакал. – Неужели нервы сдали? Какое-то хилое пошло поколение, прости господи, совершенно не умеют держать себя в руках!

Осталось семь перекладин. Здесь стык стен двух коридоров Дома. Когда-то этот угол был наружным, потом его застеклили, и теперь это просто кубическая ниша, где размещаются пожарная лестница и аварийный выход. Стена, о которую я опираюсь, нежно голубая, стена напротив – кирпичная, а та, что выходит на двор – стеклянная, но сквозь нее ничего не разглядишь, стекло слишком грязное, так что на виды окрестностей я при восхождении не отвлекаюсь.

На четвертой сверху перекладине начинает сводить икры. Я скольжу вверх, как можно выше, стараясь выпрямиться вдоль лестницы, так что едва касаюсь предыдущей перекладины носками кед, и на следующую не ставлю подошву, а подцепляю ее снизу подъемом и швыряю себя вперед, впечатавшись в лестницу – прием, который не согласился бы повторить и под дулом пистолета. Теперь я ни на что не опираюсь, стою, как стоял бы на лестнице человек с руками, и стараюсь поверить, что они у меня и в самом деле есть. Дальше просто. Надо выпрямиться и сделать шаг вверх, представляя, что внизу, в полуметре, расстелен мягкий матрасик, на который будет приятно упасть. Я представляю его, делаю шаг и оказываюсь на чердаке. Вернее, там оказывается моя голова. Главное – не забыть про матрасик. Я не забываю. Еще шаг – и я на чердаке по поясницу, последний – и я там целиком.

Выползаю из люка, растягиваюсь на дощатом полу, но не успеваю поздравить себя с

благополучным прибытием – ногу скручивает судорога, и я начинаю с шипением кататься по полу, рискуя выпасть в тот самый люк, через который только что влез. Не могу ни размять свою конечность, ни растереть, есть только одно доступное мне средство – укусить себя за икру, и я уже собираюсь прибегнуть к нему, когда обнаруживаю, что нас на чердаке двое.

В углу, под скошенным потолком на расстеленном пледе сидит похожая на привидение девчонка в длинном красном платье. Платье огненно-красное, девчонка зеленоволосая. Я узнаю ее по этим волосам, но не сразу вспоминаю кличку, а вспомнив, все равно не уверен, что не ошибся, пока она не кривит брезгливо тонкогубый рот, и тогда я говорю ей:

– Здравствуй, Химера! – скрученный, как змей Уробос – пусть кто-нибудь попробует цапнуть себя за икру, сохраняя при этом достоинство. Большим идиотом я, должно быть, еще никогда не выглядел, но нелепостью моей позы невозможно объяснить злобу, с какой глядит на меня Химера. Она смотрит так, будто я – самое омерзительное, что ей вообще когда-либо в своей жизни доводилось видеть. Под Химерьим взглядом притихает даже судорога. Кое-как выпрямившись, делаю еще одну попытку наладить контакт.

– Не ожидал здесь кого-то встретить.

– Я тоже, – говорит она, – не ожидала, что кто-то притащится сюда пережидать приступ эпилепсии.

Каждым словом можно отравиться, столько в них яду.

– Не знал, что мы давние враги, – только и говорю я, и, чтобы хоть как-то от нее отгородиться, подхожу к краю люка, посмотреть, как обстоят дела внизу. Почему-то не очень удивляюсь, обнаружив там Лорда, уверенными рывками втаскивающего себя вверх по пожарной лестнице. Лорд – человек упрямый и не настолько нервный, каким иногда хочет казаться.

Табаки, задрав голову, катается перед лестницей взад и вперед. По голубой стене тянется кровавый след моего восхождения. При виде него я чувствую, как спина начинает гореть и чесаться, и одновременно возникает настоятельное желание отойти от края люка. К людям, которые смотрят на тебя определенным образом, лучше не поворачиваться спиной, стоя в опасных местах. Я становлюсь к Химере вполоборота, догадавшись по ее ухмылке, что маневр не остался незамеченным.

– Эгей! – вопит Табаки. – Вот он ты! А я уж думал, ты лежишь там в обмороке! Куда ты пропал?

Я машу ему граблей.

Цветастая рубаха Лорда придает ему сверху сходство с бабочкой. С упрямой и целеустремленной бабочкой. Которой нехорошие люди оборвали крылышки. Он благополучно миновал зону, где у меня возникла первая заминка из-за встречи с гвоздем, и продвигается дальше, но несмотря на то, что делает он это с завидной легкостью, мне вдруг становится не по себе. Я отхожу от края люка, словно без моего участия то, что он вытворяет, будет не так опасно.

– Что ты затеял? – спрашивает Химера. – Что тебе здесь нужно?

– А тебе?

Она молчит.

Скуластая, узкоглазая, с выкрашенными в изумрудный цвет волосами, до ужаса похожая на куклу. На шее у нее гипсовый ворот, глаза подведены зеленым до самых висков, губы такие же ярко-красные, как платье, а пудры на лице столько, что не видно бровей. Я помню, что при ходьбе у нее что-то позвякивает под одеждой, и движется она скованной походкой, придающей ей еще большее сходство с игрушкой.

– Мы поспорили. Кто сюда быстрее влезет.

Застывший взгляд выражает только презрение.

– Ну и кретины.

С этим я согласен. Так оно и есть. Снова подхожу к краю люка, хотя еще минуту назад решил этого не делать.

Лорд ближе, чем я предполагал, но подтягивается медленнее и перед каждой следующей перекладиной ненадолго замирает, собираясь с силами. Меня начинает подташнивать.

Становлюсь как можно дальше от люка, чтобы больше туда не заглядывать, и начинаю считать в уме. Примерно полдюжины перекладин. Считаю медленно. Химера тем временем мрачно перебирает эпитеты, относящиеся в равной степени ко мне и к Лорду, и никак не может на чем-то остановиться, видно, все они недостаточно полно отражают ее эмоции.

Чуть погодя Лорд втаскивает себя в люк и, загнанно дыша, распластывается у его края. Голос Химеры набирает силу. Не обращая на нее внимания, Лорд, не отдышавшись толком, начинает потрошить свой рюкзак.

– Самовлюбленные идиоты! Инфантильные полудурки! Слабоумные альпинисты…

Лорд выкладывает на пол пузырек с медицинским спиртом, вату, пачку пластырей и фляжку с водой. Теперь понятно, куда он ездил. За средствами для оказания первой помощи. И тащил все потом на себе.

– Пальцем деланные мачо! Жопой думающие снобы! Недоразвитые кобели!

Пока Лорд обрабатывает дырки в моей спине, Химера иссякает, и на чердаке воцаряется благословенная тишина. Золотоголовый недоуменно оглядывается, словно осознает, наконец, что все это время здесь было более шумно.

– Здравствуй, Химера, – говорит он. – С чего это ты вдруг замолчала?

Химера замирает с приоткрытым ртом. Ненадолго.

– Боже, какое счастье, – шипит она, опомнившись. – Меня соблаговолили заметить! И кто? Сам Лорд – прекраснейший среди самцов Дома!

– Не преувеличивай, сестренка, – просит Лорд, одаряя ее улыбкой. – Это не совсем так. Я, конечно, не урод, но прекраснейший… это как-то уж чересчур. Мне даже неловко такое слышать. Хоть это и недалеко от истины.

Химеру настигает приступ удушья.

Только близко знакомый с Лордом человек способен уловить все нюансы его игры в самовлюбленного красавца и насладиться ею. Спирт жжет адским пламенем, злоба Химеры заполняет все пространство вокруг, просачиваясь через люк даже к далекому Шакалу, а мне смешно, потому что Лорд смертоносен в роли Прекрасного Принца, смертоносен и совершенно невыносим.

Он снисходительно осматривается и роняет:

– Я так понимаю, ты здесь спряталась, чтобы побыть наедине с собой. Знакомое состояние…

– Неужели, – язвит Химера. – Кто бы мог подумать, что тебе оно знакомо. Ну, если ты такой проницательный, давай, вали отсюда. Оставь меня наедине с собой!

– Не могу, – разводит руками Золотоголовый. – Спуск для человека в моем состоянии значительно более труден, чем подъем. Кстати, – поворачивается он ко мне, – я показал лучшее время, чем ты, спор можно считать решенным в мою пользу. Руки победили ноги, теперь это общепризнанный факт.

Химера смотрит на меня с ужасом.

– Как вы его до сих пор не придушили? – спрашивает она.

Я оглядываю чердак. Серые дощатые стены, покосившиеся шкафы по углам, сломанная мебель – все покрыто толстым слоем пыли. Только плед, на котором сидит Химера, выглядит сравнительно новым. Плед и стоящая на нем кофеварка. Довольно загаженная. Лорд тоже замечает кофеварку.

– Эй, не угостишь нас чашечкой кофе? – спрашивает он.

– Не угощу.

Я подхожу к люку. Далеко внизу Шакал нервно раскатывает взад-вперед. Увидев меня, врезается в стену и едва не переворачивается вместе с Мустангом.

– Приведи кого-нибудь, кто поможет нам слезть! – кричу я ему.

– А кто там у вас? – подозрительно спрашивает Шакал. – С кем вы там разговариваете? Я, между прочим, не глухой. И все слышу. Что происходит, Сфинкс? У вас там с кем-то свидание, да? Между прочим, ты проиграл, если тебя это еще интересует.

– Езжай за подмогой, – говорю я ему и отхожу от люка, чтобы не провоцировать его на новые вопросы. Слышно, как он внизу яростно чертыхается, со злости пихая лестницу колесами.

– Кто у вас там? – спрашивает Химера.

– Малыш Табаки, – величественно сообщает Лорд. – Он засекал время.

– Он, я надеюсь, сюда не полезет?

– Он наверняка не станет этого делать, – Лорд фиксирует в моей грабле фляжку с водой. – Его возможности не так велики, как наши со Сфинксом.

Химера закатывает глаза.

– Не переигрывай, – прошу я Лорда. – С ней что-то не так, не стоит ее еще больше заводить.

– Как скажешь, Сфинкс, – соглашается Лорд. – Просто я не знаю, как говорить с человеком, обзывающим меня последними словами еще до того, как я успел его разглядеть.

Химера смотрит на него, потом на меня. Закусывает губу. Кажется, до нее начинает доходить, что все это время она вела себя не совсем правильно. Пожав плечами – платье держится на них без бретелек, каким-то чудом не сваливаясь, – достает из-за кофеварки мешочек с кофе. Высыпает в кофеварку горстку.

– Будет вам кофе, – говорит она. Изо всех сил стараясь быть любезной. От этой любезности сводит скулы.

Лорд откашливается и бросает на меня изумленный взгляд. «Что ты ей сделал, признавайся?»

– Ничего. Клянусь, – отвечаю вслух.

Химера встает, ковыляет к нагромождению мебели в углу и включает стоящий там телевизор. Возле телевизора – ряд пустых пластиковых бутылок. Она пинает их, и они рассыпаются.

– Воды мало, – говорит Химера. – Может не хватить.

В ярком платье на фоне чердачной пыли она выглядит совсем неуместно. При ходьбе из-под подола выглядывают грубые ботинки, как у не до конца преобразившейся Золушки.

Я сажусь рядом с расстеленным пледом, но не на него, Лорд подползает ближе. Втроем мы молча смотрим на экран. Бородач в оранжевом спасательном жилете рассказывает о чем-то, стоя на надувном плоту. О чем он рассказывает, нам не слышно.

– Звук не удалось отладить, – говорит Химера мрачно. – Я подключилась к антенне, но звука нет. Может, из-за этого его и выкинули.

Мы с Лордом переглядываемся.

Кофеварка не так удивительна, многие таскают их по Дому в рюкзаках. Попытка починить старый телевизор – другое дело. Это говорит о том, что Химера провела здесь немало времени.

– Ты с кем-то поссорилась? – осторожно спрашивает Лорд.

– С твоей задницей, – немедленно следует ответ. – Не суй нос не в свои дела, ясно?

– Ясно.

Кофе нам достается по полпорции на двоих. Химера злорадно вручает Лорду пластиковый стаканчик с кофе на донышке и говорит, что уступает нам свою долю. Мы делаем по два глотка, после чего стаканчик демонстративно комкается и выбрасывается.

Золотоголовый раздражен, хотя по нему этого не видно. Ложится, облокотившись на рюкзак, и строит предположения.

– Ясно, она здесь не потому, что с кем-то поссорилась, – говорит он задумчиво. – Такая скорее разнесет своим обидчикам черепа, чем станет из-за ссоры отсиживаться на чердаке.

– Не забудь про платье, – напоминаю я. – Может, у нее здесь свидание? Тогда понятно, почему нас так мило встретили.

– Свидание? В этом случае кто-то очень не торопится на него прибыть, – Лорд кивает на бутылки возле телевизора. – Я бы сказал, он запаздывает на пару дней.

Химера сидит, окаменев. Стиснув темные по сравнению с лицом руки на коленях. Нам с Лордом не обязательно переглядываться, чтобы продолжать игру. Мы слишком часто играли в покер в паре.

– Не пойму, как она сюда влезла в этом платье, – продолжает Лорд. – Оно совсем не

годится для восхождений.

О не годящихся для восхождений ногах он не упоминает, и это правильно.

– Прошла через крышу, – вступаю я. – Через второй чердак. Туда ведет простая лестница, а ключ можно как-нибудь раздобыть. Если очень нужно…

– Может, она от чего-то прячется?

– В этом платье?

– Может, у нее не было времени переодеться?

– Хочешь сказать, это ее повседневный наряд?

– Кто-то ей носит еду.

– Это точно.

– Кто-то из девушек в курсе…

– Можно спросить у них.

– Например, у Рыжей…

– Хватит! – визжит Химера, заткнув уши. – Прекратите сию же минуту!

Мы прекращаем. И молча ждем.

– Вы еще хуже, чем я думала, – говорит она растерянно. – Вы – полное дерьмо. Неужели нельзя оставить человека в покое?

В голосе жалобные нотки. Для Химеры это полное поражение, и меня не удивляет, что она вдруг разражается слезами, но Лорд потрясен, полон раскаяния и готов немедленно сдаться. Я качаю головой, он отворачивается со страдальческим видом.

Химера ничего не замечает. Она утопает в слезах. Зеленая тушь оказалась водостойкой, не течет и даже не размазывается, но на Химеру и без того больно смотреть.

– Что случилось? – спрашиваю я. Так мягко, что сам пугаюсь своего голоса.

Химера вытирает нос.

– Ладно, – говорит она с отвращением. – Я расскажу. Вы ведь не отстанете.

Она отворачивается.

– Окна нашего корпуса выходят на воспитательские, – говорит, не глядя на нас. – И крыша видна тоже. Не так давно один парень хотел с нее спрыгнуть. Даже соскользнул и повис на руках, но не сумел разжать пальцы. Не смог. Я знаю, как это бывает. Я-то знаю. Потом я его видела опять. Там же. Как он стоит и смотрит вниз. Просто смотрит, и все. Я раздобыла ключ, и когда в следующий раз его увидела, тоже влезла сюда. Мы с ним поговорили о всяком, он даже рассказал, почему хотел спрыгнуть…

Я слушаю эту незамысловатую историю как что-то до боли знакомое. Могу поклясться, что впервые, но ощущение узнавания необычно сильное. И я не понимаю, откуда оно взялось.

Химера достает из лежащей на пледе пачки сигарету. Пальцы у нее дрожат. Длинные ногти покрыты зеленым лаком.

– Вот и все, – говорит она. – Мы стали встречаться здесь иногда. Это был наш секрет. Довольно долго. Еще до Закона. А недавно я увидела сон. Нехороший. Притащилась сюда и сижу, как дура. Конечно, это смешно – платье и все такое, стерегу третий день, а его все нет, мало ли, что увидишь во сне, но я не могла оставаться на месте, все думала, а вдруг это вещий сон, именно этот, и я не успею. А теперь можете уржаться вволю…

Из люка выныривает Горбач в рваной лоскутной рубашке и в шахтерской каске с фонариком. Горб, босые ноги и торчащие из-под каски черные кудри придают ему слегка потусторонний вид.

– И ему не забудьте рассказать, – тычет она в Горбача сигаретой. – Пускай посмеется. Размалеванная дура засела на чердаке, это ж сдохнуть можно, до чего забавно.

– Кто он? – спрашиваю я.

– Не твое дело.

– Эй, вы собираетесь спускаться? – спрашивает Горбач. – Табаки сказал, вроде вы хотели…

Я смотрю в глаза, обведенные зеленой тушью, и вижу в них радужную воронку коридора, уводящую куда-то… еще не ступив в этот коридор из несказанных слов, которые раз-

личаю, как шепот, знаю – он заканчивается дверью. Запертой дверью, за которой прячется некто, хорошо мне знакомый. Кого я узнаю по запаху, даже не открывая двери. Я делаю шаг…

– Не смей влезать в меня! – визжит Химера, и я еле успеваю уклониться от скользнувших в сантиметре от моего лица изумрудных ногтей.

– Эй, полегче! – Лорд перехватывает ее руку. – Хватит с нас и одного незрячего.

– А пусть не лезет в меня! – Химера извивается, пытаясь вырвать у Лорда руку. – Скажи, чтобы не делал этого! Пусть уберется сейчас же!

– Уходи, Сфинкс! – просит Лорд, борясь с Химерой. – Пока я ее держу! Слышишь?

Я встаю и как лунатик иду к люку, где меня дожидается нелепо одетый Горбач. Дожидается, свесив вниз босые ноги и болтая ими в воздухе.

– Ну что, спускаемся? – спрашивает он, вскакивая. Достает из кармана веревку и пропускает ее сквозь ременные петли у меня на джинсах. – Это на всякий случай. Вдруг не удержу.

Бреду по коридору, тупо уставившись перед собой. Что-то мешает идти. Сообразив, что именно, я останавливаюсь, и тут же в меня врезается запыхавшийся Горбач.

– Эй, Сфинкс, я тебе кричу-кричу, ты что, не слышишь? Так и намерен гулять на поводке? – он освобождает меня от страховочной веревки, сматывает ее и прячет в карман. – Что случилось?

– Ничего. Задумался.

– Ну ты и задумался! Ладно, я – обратно. Надо спустить Лорда, пока его не сожрали. Кажется, эта Химера немного не в себе. Лучше не оставлять их наедине.

Он исчезает, а я иду дальше, до самой нашей спальни, зайдя в которую, сажусь на пол перед дверью и гляжу, как Толстый странствует под кроватью, гудя и собирая пыль.

Я смотрю на него так долго, что он успевает пересечь подкроватное пространство, выползти на середину комнаты, опрокинуть стул и попробовать на вкус все, что с него упало.

Потом возвращаются Лорд с Горбачом.

Горбач успевает как раз вовремя, чтобы вытащить из пасти Толстого чей-то носок. Лорд бросает на стол полотенце и сообщает, что в Доме отключили холодную воду.

– Зачем ты это делал? – спрашивает он меня. – Зачем тебе понадобилась ее исповедь?

– Кажется, это и меня касается, – говорю я. – Не пойму пока, каким образом, но это имеет ко мне какое-то отношение. И мне это не нравится.

Лорд пристраивается на краю кровати, стягивая через голову цветастый балахон.

– Плюнь, – предлагает он. – Забудь. Тошнотворная история.

– Он не может, – говорит Горбач. – Не знаю, о чем вы, но Сфинкс не успокоится. По глазам видно.

Нанетта пробует спикировать ему на голову, оскальзывается на каске и, оскорбленная до глубины души, плюхается на пол.

– Как ты это делаешь? – спрашивает Лорд. – Мне казалось, она вот-вот скажет все, что ты хочешь знать.

Я закрываю глаза.

– Это было летом, – говорю я.

Химера об этом не сказала, но я догадался. Почему мне не следует знать, кто это был? Потому что он тоже боится меня? Я ведь почти поймал его. Теперь я угадаю и не заглядывая в глаза Химере…

– Пойду, поищу Слепого, – встаю.

– Погоди. Я с тобой, – Лорд вываливает из ящика шкафа ворох рубашек. – Только переоденусь. Не понимаю, почему для тебя это так важно.

– Я тоже, – говорю, вздрогнув от неприятного озноба.

Через полчаса, с заклеенной пластырем спиной, в гигантской красно-белой футболке Черного с номером на спине, я прочесываю Дом в поисках Слепого. Лорд тоже в футболке

Черного, только бело-синей. С номером двадцать два. Встречные изумленно таращатся, подозревая, что мы являемся предвестниками новой моды. Углубленный спортивный стиль. Лорда эти взгляды нервируют, хотя он и в футболке по колено хорош. Она придает ему бродяжий, слегка помоечный вид, который при его внешности потрясает воображение.

Мне приходится ждать и приноравливаться к его шагам, потому что на костылях он передвигается гораздо медленнее, чем в коляске. На повторном пересечении коридора с заглядыванием во все щели Лорд не выдерживает и просит разрешения передохнуть.

– Никуда он не денется, Сфинкс. А у меня подмышки горят. И, черт бы всех побрал, на нас смотрят, как на каких-то обезьян, мне это уже надоело!

– Терпи, – говорю я ему. – Сам за мной увязался, не забывай.

– Потому что ты меня беспокоишь. Твои блуждания, и вся эта история. Я должен быть поблизости. Кстати, почему ты думаешь, что Слепой что-то об этом знает?

– Я так не думаю. Может, знает, а может, нет. Но если кто-то в курсе происходящего, то, скорее всего, он. Кофейник! – внезапно осеняет меня. – Там мы еще не смотрели!

Я устремляюсь к Кофейнику, Лорд, чертыхаясь, тащится следом.

В Кофейнике, как всегда, полутемно и накурено. Лампы на столиках горят, отбрасывая свет зелеными веерами. Окна зашторены, но солнце просачивается сквозь щели, так что создать уютный полумрак не удается.

Слепой здесь. Восседает на грибовидном сидении в черном сюртуке с погонами, как молодой Дракула, спасающийся от солнечных лучей. Перед ним на стойке три чашки кофе. На соседнем грибе благодушно скалит зубы Стервятник, только вместо кофе у него горшочек с кактусом.

Валюсь на ближайший грибостул, и синяки отзываются на это действие дружным воем в ста разных точках моего организма.

– Боже! – говорит Стервятник, выплывая из курительного транса. – Что с вами, мальчики? Вы выглядите, э-э-э… немножко непривычно…

– Холодную воду отключили, – объясняю я. – Это тряпки Черного. Слепой, я искал тебя, чтобы спросить кое о чем.

– Я к твоим услугам.

Слепой отрешенно пялится в пространство, сложив руки на стойке, как прилежный ученик в присутствии учителя.

– Кто прошлым летом пытался покончить с собой, бросившись с крыши?

Стервятник, присвистнув, заслоняет ладонью свой кактус, оберегая его от неприятных историй. Лорд, вскарабкавшийся на стойку, чтобы передохнуть от прямохождения, размазывает по ней горстку просыпавшегося сахарного песка. Слепой застыл, как гипсовый барельеф.

– Ну так как?

Я уже знаю, что ответа не будет, но настаиваю, чтобы вытянуть из него хоть что-то.

– Говори, Слепой.

Он наконец оживает и поворачивает ко мне лицо.

– Беру свои слова обратно. Я не к твоим услугам, Сфинкс. Извини.

Коротко и ясно. И так же отвратительно, как страх Химеры, если не хуже.

– Это был не ты.

– Ничем не могу помочь.

Лорд с тревогой следит за нами, сгорбившись и терзая подбородок.

– Я все равно узнаю.

Слепой передергивает плечами:

– Не сомневаюсь. Но не от меня. Уходи, Сфинкс, не трепи мне нервы.

Сползаю с пластмассового гриба.

– Ты достаточно сказал, ничего не сказав.

Слепой утыкается в чашку, давая понять, что разговор окончен. Я выхожу, не дожидаясь Лорда, пересекаю коридор, натыкаясь на людей и коляски, ощущая себя избитым и оплеванным.

Что за дело Слепому до прошлогоднего неудавшегося самоубийцы, который любит гулять по крышам? Кто бы он ни был, что бы ни гнало его к краю, чем я могу быть опасен ему? В глазах Слепого нет ничего и никогда, и в голосе его ни коридоров, ни закрытых дверей, но даже в глухой стене, которой он отгородился от меня, я читаю ответ на свой вопрос. Ответ, причиняющий боль.

Захожу в спальню. Толстый перестает жевать одеяло и глядит на меня.

– Продолжай, старик, – говорю я ему. – Может быть, пробуя все подряд, ты в один прекрасный день сделаешь открытие. Изобретешь новый вид пищи. И прославишься в веках.

Толстый не понимает слов, но распознает интонации. Успокоенный моим голосом, он запихивает одеяло поглубже в рот. Я опускаюсь перед ним на корточки.

– Ты замечаешь, что мы почти все время разгуливаем по Дому, что в спальне никто не сидит? Замечаешь, что мы стали часто оставлять тебя одного? Жизнь перетекла в коридоры, а ты остался здесь, бедняга. Но, может, тебе так лучше? Вся комната в твоем распоряжении. Куча предметов. Видишь ли, в чем дело, там, на крыше, был кто-то из нас. Кто-то, кто может ходить. Не Слепой… не Горбач… не Лэри. Черный? Македонский?

Толстый выплевывает попавшую в рот нитку и морщится.

– Это вполне мог быть Черный. После того, что случилось с Волком, это мог быть даже я сам, но это был кто-то другой. Скажем, Черный. И девочка с зелеными волосами готова выцарапать мне глаза, только бы я не узнал об этом. Забавно, да? Она боялась меня. Лорда ей тоже хотелось прогнать, но его она не боялась. А теперь, скажи мне, Толстый, кто может бояться Сфинкса и почему? Что надо сделать для этого? Очень и очень нехорошее. Это мой последний вопрос. Кажется, я знаю ответ, но возможно, мне это только кажется. Сижу ли я здесь в засаде, стерегу ли кого-то, кто ответит мне?

Толстый глубоко вздыхает, таращась на меня глазками-пуговками.

– Я боюсь, Толстый, – говорю я ему. – Понимаешь? До смерти. Посмотреть ему в глаза и узнать. Почему он торчал на крыше тогда и почему делает это теперь. В чем его вина и страх.

Толстый явно ждет от меня сказку о синем море и белом песке. Нитки свисают с его оттопыренных губ тут и там, как сомьи усы, и он чистит себя, как умеет, не переставая внимательно слушать. Он глядит на меня и на того, кто сидит рядом со мной, так же как я, на корточках. Нас трое, сидящих в кругу над изжеванным одеялом, и этот третий тоже внимательно слушает, потому что на самом деле мои слова предназначены ему, и слова, и вопросы – он это знает.

– Что ты сделал, Македонский? – спрашиваю я.

– Кажется, я убил его, – отвечает тихий, почти безразличный голос.

– Почему?

– Я боялся. Мой страх мог сделать это, помимо моей воли. Ты знаешь, я не хотел бы причинить тебе боль. Он был страшным человеком. Я рад, что сказал тебе, Сфинкс, рад, что ты спросил. Делай теперь со мной, что хочешь. Если велишь уйти, я уйду.

Толстый разрывает сигаретную пачку и радостно ухает при виде высыпавшихся сигарет. Хватает сразу две, запихивает в рот и тут же с отвращением выплевывает.

Я встаю и выхожу из спальни. Не очень понимая, куда иду и зачем. Знаю только, что мне нужно двигаться. Все равно, в каком направлении.

– Эй, да ты, никак, в моей одежде, Сфинкс?

Встречная фигура, которую надо обойти. Черный, с огромным динамиком в объятиях.

– Да. Это твоя одежда. У нас с Лордом сегодня был день воспоминаний…

Делаю шаг в сторону, но он опять заступает мне дорогу.

– Что случилось, Сфинкс? На тебе лица нет.

Стою, ожидая, когда ему надоест торчать передо мной. Гляжу на его подбородок, уткнувшийся в динамик. Потом динамик исчезает, поставленный на пол, и подбородок исчезает вместе с ним. Черный стоит, согнувшись, как будто повредил себе позвоночник.

– Так, – говорит он. – Страшновато смотреть на тебя, но я, так и быть, переживу. Могу

я чем-то помочь?

– Можешь. Запихни меня в какую-нибудь щель и зацементируй ее.

– Понял, – Черный выпрямляется. – Пошли. Я тебе это организую. И щель, и цемент, и надгробную надпись. Только потерпи до первого.

Динамик он оставляет посреди коридора, как памятный обелиск в честь нашей встречи. Я послушно иду за ним. Мы выходим на лестницу. Спускаемся и опять идем. В актовом зале, как всегда, кто-то вдохновенно терзает рояль, и волны этого вдохновения захлестывают весь первый этаж. Черный заводит меня в полупустую комнату. Это склад, где громоздятся картонные коробки. Одна приоткрыта, и в щель выглядывает запечатанный в пенопласт унитаз. Мы в комнате унитазов.

Черный копается за одной из коробок, бормоча что-то невразумительное. Выуживает оттуда бутылку, потом еще одну.

– По-моему, – говорит он, – тебе нужно выпить. Удержишь сам? Бокалы у меня здесь не предусмотрены.

– Попытаюсь, – говорю я. – А что внутри?

– Спирт, разведенный яблочным соком.

Я смеюсь. Черный опрокидывает на бок пустую коробку и расставляет на ней бутылки.

– Познакомишься с Песьими пристрастиями. Это их любимый напиток. Когда привыкнешь, очень даже ничего. Все зависит от того, в каких пропорциях развести.

– Да мне плевать, – говорю я. – Будь там хоть чистый спирт.

– Я вижу, что тебе плевать, – Черный садится на пол и отвинчивает крышку одной из бутылок.

– Что все-таки случилось? Может, расскажешь?

Качаю головой.

Он передает мне бутылку.

– Как хочешь. Я не настаиваю, сам понимаешь.

Собачиная смесь не похожа ни на один из известных мне напитков. Гадость жуткая, хотя после третьего или четвертого глотка это уже не так заметно.

– Не налегай, – предупреждает Черный. – А то вырубишься.

– Странные эти Псы, – говорю я. – И пристрастия у них странные.

– У нас, – поправляет Черный. – Не забывай, я теперь тоже Пес.

– Да, – говорю я. – Светло-палевый. Мохнатый. Большой. Ты когда-нибудь замечал, какого цвета глаза у Македонского? Они у него, как осенние листья. Крапчатые…

– Не приглядывался.

– Зря. Там много всего. Знаешь, в чем состоит мой главный секрет, Черный? У каждого в Доме есть свой секрет. У меня тоже. Мой секрет в том, что я могу слинять отсюда в любой момент. Как только пожелаю.

Черный опускает бутылку, поперхнувшись ее содержимым.

– Куда это, интересно?

– Сюда же. Но не совсем сюда. В сюда, которое не совсем здесь. Это секрет, учти.

– Ясно, – говорит Черный. – В бутылку со спиртом и яблочным соком. По-моему, тебе уже хватит.

Я размазываюсь по стене и укладываю ноги на ящик. Зажим в грабле заклинило, так что держать мне теперь бутыль из-под Песьих радостей до конца моих дней.

– Загибай за меня пальцы, Черный. Я буду перечислять тебе параллельные миры, годящиеся для бегства.

– Валяй, – говорит Черный. – Не стесняйся.

Дверь отворяется, и на пороге возникает Лорд, изящно покачивающийся меж костылей.

– Я тебя все-таки нашел! – говорит он.

– И этот тоже в моей одежде, – удивляется Черный. – Что на вас нашло? Иди сюда, Лорд, по-моему, он уже готов. Толкует о параллельных мирах.

– Интересная тема.

Лорд подплывает к нам, падает на свободную коробку и с грохотом складывает костыли крест-накрест у стены.

Я закрываю глаза. И открываю.

И оказываюсь сразу во всем. В стенах, в полу, в потолке, в Черном, в Лорде и в костылях Лорда. Я, как воронка, засасываю мир. Та моя часть, что целее прочих, встревожена моим поступком. Она встревожена тем, что открыла другому мне бутылочный тайник и дала вкусить его содержимого, тому мне, который – лысый и бешеноглазый – сидит напротив, закинув ноги на ящик, и эта моя часть – она удобнее всех, потому что целее – говорит:

– Черт, не думал, что его так развезет. Что будем делать, Лорд?

Еще одна моя часть, продавливающая картонную коробку (бедная картонка еле жива, когда-то в ней хранился умывальник), тоже раздражена и испугана, и она говорит:

– Откуда я знаю? Что ты ему дал?

Я плещусь в бутылке, слегка прилипая к ее стенкам, потому что в моем составе сладкий, тягучий сироп. Я не совсем прозрачен, и это тоже от сиропа. Подобных мне не производят, Я не существую нигде, кроме как здесь, где Я хранился среди унитазов, и смутно припоминается, что Я как-то связан с собаками, об этом думает тот Я, что сидит напротив, а другой Я – что прямо надо мной – подозревает, что Я ядовит.

Горят подмышки, жгучей болью растекаясь к ребрам, и не поворачивается затекшая шея, а коробка подо мной прогибается все сильнее и сильнее, мне давно пора бы подняться с нее, пока она совсем не сплющилась.

В коробку моему Я не хочется, ее ощущения слишком неприятны. Я, сидящий у стены, говорю:

– Весь мир сейчас во мне, понимаете ли вы, что это значит?

И сам себе отвечаю, перескочив обратно на прогибающуюся коробку:

– Я бы не хотел этого понимать, если честно.

И тут же взлетаю вверх и падаю вниз, расширяюсь во все стороны и затвердеваю, смотрю тысячами крохотных щелей, миллиардом глаз. Это Я мне нравится больше всех, оно самое спокойное и большое, замыкающее в куб всех остальных, это даже скорее Мы, на нас держится Дом, мы несем его и поддерживаем. Мне стоит большого труда удерживать себя в пределах одной комнаты, потому что нормальнее для стен соединятся с другими стенами, но мне почему-то лучше этого не делать, хотя я не помню, почему. Я лишаюсь слуха. Маленькие движущиеся Я, беспокойные и эмоциональные сверх всякой меры, двигаются и производят звуки слишком быстро, делая их недоступными слуху. Я скорее дремлю, чем бодрствую, это мое обычное состояние, полностью погрузиться в него мешает только опасение слиться с другими стенами. Это все труднее и труднее. Мне даже тяжелее, чем коробке, но Я терплю, пока хватает сил, а когда они иссякают, концентрируюсь на точке соприкосновения со мной безволосого и металлическорукого Я, перетекаю в него и слышу, как Черный говорит: – Давай поищем Слепого, что ли? – а Лорд отвечает: – Не можем же мы так его оставить…

Я сижу у стены, ощущая ее холод и гладкость плечами и царапинами под пластырем, стягивающим плечи, и испытываю к ней странные, почти родственные чувства.

То, что я сделал, делать нельзя: слишком заманчивое и опасное это занятие – растворение в том, что тебя окружает. В людях еще куда ни шло, но предметы сковывают сны, в них можно увязнуть на годы и не заметить этого. Фокус со стенами спас меня однажды, когда я был ребенком и жизнь слишком сильно напугала меня. В тот раз я еле выбрался и пообещал себе никогда больше такого не делать. Все обещания нарушаются рано или поздно, как нарушил свое обещание Македонский. Я все еще не могу думать о его словах, о том, что он сказал о Волке, но о нарушенном им обещании я уже думать могу. Пребывание в стенах помогло мне успокоиться.

Я смотрю на Лорда и на Черного.

– Один из вариантов игры, – говорю я им, – это пребывание во всем. Ты во всем, и все в тебе. Но это опасно.

Черный и Лорд переглядываются.

– Никогда не пробовал, – говорит Лорд. – Ты максималист, Сфинкс. Так нельзя.

– По-моему, он слегка протрезвел, – неуверенно говорит Черный, подчеркнуто обращаясь к Лорду, как Паук в присутствии больного.

Я киваю. Да, слегка. Но не окончательно, потому что я все еще в игре. И Черный, и Лорд выглядят не совсем обычно. Черному, наверное, за сорок. Внушительный дядя, голый по пояс, за поясом почему-то топор. Красивый. Лысеет со лба, и морщин больше, чем полагалось бы в его возрасте, но все равно красавец. Конан… в летах…

Лорд помоложе и не так эффектен. Лицо сухое, хищное, без следа Лордовской красоты. Зубы слегка выдаются, ресницы белые, будто обсыпаны перхотью. Он в каких-то мерзких лохмотьях, расползающихся по швам от каждого движения.

Условия игры неодинаковы для них. Черный таков, каким хотел бы быть. Лорд таков, каким себя ощущает. Уже интересно.

Черный встает, заслонив полкомнаты.

– Пошли отсюда, – говорит он мне. – Проветрим тебя слегка. И выпусти, наконец, эту бутылку.

Я разжимаю вполне человеческие длинные пальцы, бутылка падает и катится по полу. Мне интересно, как я выгляжу весь, целиком, но, к сожалению, поблизости нет зеркал. Черный нагибается ко мне, обдав крепким запахом псины, хватает под мышки и ставит на ноги.

– Вот так. Потихоньку, понемножку. Топ-топ…

Послушно плетусь к двери. Кто спорит с Конанами? Он дышит мне в затылок. Самый Главный Пес. Дверь мшистая, заросла лишайниками и плесенью, по ней странствуют цепочки муравьев, а вместо ручки торчит занозистый сучок.

Лапа Черного в шипастом браслете хватает его, обламывая под корень, дверь распахивается, и мы выходим на заброшенное шоссе под серое, неприветливое небо.

Кругом поля, утыканные телеграфными столбами, асфальт весь в трещинах, белая разделительная полоса еле заметна, полузасыпанная песком. Ветер треплет на мне футболку Черного, щекочет живот ледяными пальцами. Лорд поднимает ворот куртки, который тотчас отрывается, оставшись у него в руках. Он брезгливо его отбрасывает.

– Ну что, идем? – Черный целеустремленно бросается вперед, выкрикнув на прощанье:

– Динамик! Остался посреди коридора. Пойду, заберу, пока не сперли.

Я оглядываюсь на дверь, но она, конечно, исчезла. Лорд ковыляет впереди, проваливаясь костылями в трещины асфальта и с ругательствами выуживая их оттуда. Сквозь прорехи его штанов просвечивает что-то зеленое и топорщатся листочки.

Тучи зловеще нависают. Скоро пойдет дождь. Черный уже совсем далеко. Для него эта бесконечная дорога – всего лишь несколько метров паркета. Поэтому он движется с потрясающей скоростью, время от времени удивленно оглядываясь на нас с Лордом.

– Куда мы идем? – спрашиваю я Лорда.

– Откуда я знаю? – безразлично отвечает он. – Ты сюда прыгнул, ты и должен знать.

Лорд замечает что-то в траве на обочине, останавливается и сует туда костыль. Выуживает обратно с прилипшим к наконечнику окурком, снимает его и бережно прячет в карман.

– Хорошо, – говорит он. – Я рюкзак забыл. Еще парочка таких, и можно будет покурить. Ты тоже гляди, а то я могу и не заметить.

Всматриваюсь в жухлую траву.

– А ты хорошо приспосабливаешься, Лорд, – говорю я. – Как будто для тебя это обычное дело.

Лорд смеется, демонстрируя острые зубы:

– Не совсем обычное. Не повседневное. Но и не в новинку. Это ведь ты мне объяснил, что ничего такого в этом нет.

– Объяснил, – соглашаюсь я. – Но плохо. Если ты продолжаешь шастать взад-вперед. Надо было напугать тебя как следует.

– А ты напугал, – говорит Лорд. – Не переживай. Мы ведь на границе, а не в глубине. В любой момент можем вернуться.

– Граница тоже опасна, – не соглашаюсь я.

Он смотрит удивленно.

– Чем? Здесь же все свои, разве нет?

Я предпочитаю не спорить.

Небо над нами разрезает розовой молнией.

– Промокнем, – Лорд смотрит вверх, ежась под своими лохмотьями. – А Черный, небось, уже отыскал динамик. У непроваливающихся свои преимущества.

– Извини, – говорю я.

– Это не упрек. Я сам за тобой полез.

Через пять или шесть обломков верстовых столбиков у нас появляется ориентир. Далекий белый кубик придорожной закусочной. Дождя, как ни странно, все еще нет. Зато почему-то очень быстро темнеет.

Закусочная по мере приближения к ней выглядит все симпатичнее. Белый домик с остроконечной крышей и полосатыми козырьками над окнами. В подъездную дорожку уткнулась куча машин, одна древнее другой. Сплошь модели начала века. Картинки с такими я когда-то собирал. Здесь они выглядят развалинами. В самом дряхлом драндулете с откидным верхом сидят две полуголые девицы, которые при виде нас дружно взвизгивают и машут руками.

– Прокатимся, мужики? С ветром в ушах! Грохнемся под откос, за кайф!

У ближайшей к нам девушки розовое личико Мерилин Монро, а груди, обтянутые выцветшим купальником, похожи на два футбольных мяча. Она открывает ротик и плотоядно облизывается:

– Ну че? Прокатимся?

Мы огибаем машину и входим в закусочную, ныряя в шум, гвалт и сладкие мясные запахи. В небольшой квадратной комнате каким-то чудом умещается уйма народу. Сидят за деревянными столами, сидят на них и под ними.

Столы не отполированы, из них торчат занозы, на некоторых даже сохранилась кора. Лица вокруг незнакомые, хотя на самом деле я знаю их всех. На стенах горят разноцветные надписи. Стоит посмотреть пристально и выделить одну – она начинает пухнуть, увеличиваясь в размерах и заслоняя соседние.

Мы с Лордом занимаем чудом оказавшийся свободным столик под неменяющейся гравюрой с морским пейзажем. Пробегающая мимо фигура в поварском колпаке и позолоченной маске с птичьим клювом сбрасывает перед нами с подноса миски с едой.

Я приглядываюсь. Мелко нарезанное мясо на чем-то желтом, похожем на давленую кукурузу. Лорд расстегивает рваную куртку и принимается за еду. На груди у него огромный прозрачный кулон в форме сердца, в котором светится огненный локон устрашающего размера. Я жую. Так же быстро и жадно, как все вокруг. На стене под гравюрой – табло, на экранчике которого мигают две зеленые двойки. Дважды два. Это номер нашего стола.

Миска быстро пустеет. Стол перед нами занимает лихая компания старикашек в черной коже и с запущенными бородами. Их гогот и хрюканье заглушают все вокруг. Но, несмотря на поднятый ими шум, можно расслышать, что в одно из окон кто-то гневно стучит.

Стук наконец привлекает чье-то внимание, окно открывают, и в комнату влетает ушастое животное, похожее на недоразвитую гиену с прозрачными крылышками из цветочных лепестков. Неловко пометавшись под потолком, оно падает на наш стол, перевернув миску Лорда и рассыпав вокруг тучку пыльцы, от которой у меня начинает щекотать в носу.

– Ну вы даете! – возмущается гиена. – Я вас обыскался! Куда вы пропали, сволочи?

– Никуда, – говорю я. – Обедаем, как видишь.

– Ах, обедаете? – зловеще произносит летун и внезапно заходится в кашле. Из приоткрытой пасти капает слюна, застывая в воздухе и осыпаясь на стол с хрустальным звоном.

– Где моя жратва? – хрипит крылатая гиена. – Вот поем и разберусь с вами не по-хорошему.

Лорд барабанит пальцами по столу.

– Нам не пора отсюда убираться, Сфинкс? Пока не появились остальные?

Гиена превращается в хрупкого, задумчивого индуса средних лет. Никаких крыльев. Черный костюм, белоснежная чалма. Он повязывает себе салфетку и берет с подноса миску с едой.

– Простите мне мою навязчивость, – вежливо говорит он. – Но я бы на вашем месте не делал сейчас резких движений.

– Мы не будем, – говорю я. – Я жду кое-кого. Если этот кто-то не появится в ближайшие полчаса, попробуем вылезти отсюда. Мне нужно время.

Лорд со вздохом достает из кармана припрятанный окурок. Кулон на его шее пульсирует в такт дыханию. Индус, тихо напевая под нос, извлекает из воздуха позолоченный кальян.

Мои плечи обнимают руки Слепого, ощутимо ударив током. Я вздрагиваю.

– Как ты? – спрашивает он сочувственно.

– Хреново.

Слепец садится напротив. Такой же, как всегда, никаких изменений, не считая еле заметной прозрачности.

– Плохо, – говорит он. – Лучше соберись. У тебя много других забот.

– Будь добр, придержи свои вожацкие лекции для другого раза, – огрызаюсь я. – Мне не до того сейчас.

Слепой на удивление миролюбиво соглашается:

– Как скажешь. Но другого раза может не быть.

Свет мигает. Дважды. Бородачи в углу возмущенно свистят.

– Ох, – испуганно говорит Лорд. – Ничего себе…

Я оборачиваюсь. По проходу между столами к нам движется странное существо. Голое, тощее как скелет, с обломками крыльев за плечами, с ног до головы покрытое рубцами и язвочками. На шее у него ржавый ошейник, с которого свисает, волочась по полу, не менее ржавая цепь.

– Что это за ужас? – шепчет Лорд. – Что за ходячий труп?

– Зачем же труп? – укоризненно спрашивает индус, оторвавшись от кальяна. – Это наш дорогой Македонский.

Изувеченный ангел тем временем останавливается перед нами, придерживая свои цепи, и ждет. Белые перья, заменяющие ему волосы, свисают на лицо, из остатков крыльев торчат обнаженные кости. К нему лучше не приглядываться. В каждой ранке какое-то копошение, которое лучше не рассматривать, на лице выражение, которое лучше не запоминать. Лорд отворачивается и шарит вокруг в поисках костылей, выдыхая воздух со свистом.

– Македонский, – говорю я. – Кончай сходить с ума.

Он поднимает глаза. Темно-красные на белом лице. И я вижу, что это Седой. Или он просто похож на Седого.

– Прекрати это, – прошу его я. – Я тебя простил. Ты не виноват ни в чем.

– Правда? – спрашивает он надтреснутым голосом. – Ты не врешь мне из жалости?

– Я никогда не лгу из жалости, – говорю я.

Свет гаснет, в зале вопят.

Я прикрываю глаза, а открыв, обнаруживаю себя в столовой. Под Крысиным столом надрывается магнитофон, продолжив и разнообразив вопли, которыми оборвалось мое пребывание *не здесь*. Лэри дергает в такт музыке головой, подчищая хлебом тарелку. Толстый рядом с ним дремлет, уткнувшись в заляпанный нагрудник. Македонский ест свой суп, низко склонившись над тарелкой, чтобы не было видно, что он плачет.

Табаки негодующе смотрит на меня.

– Что происходит, Сфинкс? Что происходит, я спрашиваю?

– Ничего, – говорю я. – Что здесь могло произойти?

– Ты обидел Македонского? – подозрительно уточняет Шакал. – Я сейчас дух из тебя вышибу, если ты его обидел!

– Все в порядке, – сквозь зубы говорю я, потихоньку зверея от его приставаний. – Успокойся и отстань от меня.

– А если все в порядке, почему он ревет?

– А почему ты спрашиваешь об этом Сфинкса? – интересуется Слепой, швыряя в свою тарелку скомканную салфетку. – Может в этой стае кто-то спокойно пореветь без твоего участия?

– Сфинкс ему в чем-то поклялся, – не успокаивается Табаки. – И теперь Македонский ревет.

Я встаю и покидаю столовую, пока меня окончательно не достали.

Сразу за дверью натыкаюсь на Лорда, который сидит на полу с видом приговоренного к казни и обнимает костыль. Сажусь рядом с ним.

Лорд громко сморкается в платок и говорит, глядя в сторону:

– Нервы с вами, конечно, нужны стальные.

И опять обнимает костыль. Я смотрю в потолок, где змеится еле различимая снизу надпись, и думаю о том, что вот – желающие высказаться добрались уже до потолков, наверное, скоро потолки запестрят надписями и рисунками не хуже стен, а тем, кто захочет их прочесть понадобятся стремянки, и Дом обрастет стремянками… я думаю об этом и молчу.

РЫЖИЙ

– Чистый как видения и необразованный – будет существовать помимо смертельных к нему дополнений.

Боб Дилан. Тарантул

Опрокидывают ведро с мыльной водой. Лязг, хлюп, и пенные реки растекаются по полу. Для меня – зеленые. Для остальных – наверное, серые. Не успевшие удрать сгрудились на подоконниках и с ужасом таращатся.

Второе ведро. Реки получают подкрепление, и на полу уже озеро. Я бы, правда, в нем плавать не стал. Одни плевки чего стоят, хотя их как раз не видать, слились с мыльной пеной. Зато окурки и всякая недогрызенная дрянь на плаву неприятно меняет очертания.

– Лодку бы сюда, – пищит с подоконника Белобрюх, опасно свешиваясь. – Поплавать-поплавать! Лодку и весла!

Кто-то скидывает его вниз, и общей мокрости становится больше на одного Крысенка.

Микроб и Мартышка с кислыми рожами гонят перед собой две швабры с нанизанными тряпками. Брызги, конечно, летят, и они с ужасом глядят на свои блестящие сапожки, как будто весь месяц не ходили по всему этому же самому, только без воды. Швабры доезжают до стен, разворачиваются и едут обратно. Размазывание грязи, если честно. Проку почти никакого, но если хотя бы этого иногда не делать, страшно думать, что со всеми нами станет.

Габи, Ехидна и Спирохета топчутся в дверях, одетые якобы для уборки. Ехидна даже держит щетку. Двумя коготками. Как букет орхидей.

Осматриваю спальню. Почти пусто, если не считать зрителей. Все, что можно было утащить, утащили. Хватаю дрейфующий поблизости спальник и волоку его в ванную. Он извергает потоки воды, и девы с визгом разбегаются. Еще бы им не разбежаться. Это общий трахальный мешок, что у него внутри творится, лучше не представлять. Я в него и под дулом пистолета бы не полез.

Опускаю текучее чудовище в ванну, отвинчиваю оба крана и дергаю змейку. Ее, естественно, заклинило. Дергаю сильнее. «Ложись и сдохни на месте» это называется. Оставляю мешок истекать кровью и побыстрее сматываюсь.

В спальне мини-митинг посреди обмелевшего озера. Оплакивают исчезновение заветного мешка. «Где мы теперь будем сношаться, братья и сестры?» Глядят не то чтобы дружелюбно.

«Ты его выкинул! Как же ж мы теперь?»

Белобрюх полощет в ведре свои кеды. Ему мешок абсолютно неинтересен.

– Ну, так мы твой возьмем, – говорит Гибрид деловито. – Твой еще просторнее. Пото-

му что старый ведь ты намочил. И теперь он нескоро высохнет.

Я показываю ему, как, где и при каких обстоятельствах он дотронется до моего спальника.

– Ну, так я тебя порежу на фиг! – вопит Гибрид. – Ночью порежу, как колбасу, вот прямо сегодня, слыхал ты?

Я от него и не такое слыхал, а режет он только стены и мебель, так что на его вопли давно никто не реагирует.

– Уборка что-то стоит, – говорю я.

Гибрид роется в карманах с несчастным видом. Опять потерял бритву, надо думать. Вечная история.

Логи с ненавистью выжимают тряпки. Полуголый Викинг драит стол, поплевывая на него за неимением других моющих средств.

Закрываю глаза, и…

Видение. Эта же спальня, но чистая, как в первый день, что мы сюда вошли. Белоснежные стены, сверкающие оконные стекла. Никаких мешков, никаких Крыс… даже ни одного плеера. Могильник, одним словом. Родное, любимое место. Только без Пауков.

Встряхиваюсь, хватаю свободную швабру и бегу в дальний угол. Тру и тру, пока в глазах не темнеет. На полу появляется небольшое светлое пятно, и только. А спина уже воет, протестуя. Приходится сесть на пол.

Подшлепывает Белобрюх, весь из себя такой милый ребенок.

– Тебе помочь? Можно?

– Давай, – хриплю. – Помогай. А то что-то не видно результатов.

– В этом вот месте немножечко видно, – уверяет он меня и берется за швабру. Сам не намного толще, чем ее черенок.

Я гляжу, как он старается, потом на Логов, которые делают вид, что стараются тоже, потом на проплывающий мимо презерватив. Кто-то долил еще воды, хотя сказано было, что больше двух ведер нельзя, может просочиться на первый. Ладно бы они еще все сразу сушили, а то только гоняют воду от стенки к стенке.

И кто-то опять сожрал алоэ. Подарок Стервятника. Один корешок торчит. Беру горшок, рассматриваю, и Гибрид сразу начинает чистить ногти, фальшиво насвистывая. Мало я встречал в своей жизни людей, которые жрут все подряд и только здоровеют. Один из них – Гибрид. Подозреваю, что по ночам он и нас обгладывает потихоньку, так, что мы не замечаем. Уж зубную-то пасту точно истребляет он. Больше некому.

Примериваюсь, якобы сейчас брошу в него горшок, он приседает и верещит. Микроб с Мартышкой ноют:

– Ну нет же, Рыжий! Мы же убираем!

Послушав их, кто другой, может, и поверил бы, что это так.

– Ладно, – говорю. – Убирайте дальше, – и убредаю на свежий воздух, перекурить и передохнуть, хотя знаю, что зря. Дверь еще не закроется, а они уже все побросают и побегут проверять свой бесценный мешок. Не расползся ли он.

В коридоре четверо бездомных Крысят сидят у порога. Как бедные сиротки в зимнюю ночь.

– А когда это все закончится?

– Когда можно будет вернуться?

– Почему так долго?

– Терпение, Рыжий, терпение, – говорю сам себе погромче, и это их ненадолго затыкает. Воспользовавшись паузой, сбегаю в Кофейник. Хотя это ничего не гарантирует. Захотят, припрутся и туда. Был бы я их отцом, давно бы всех передушил. Сплошное нытье и прыщи, такое кого хочешь сведет с ума.

В Кофейнике девичник. Шестеро ходячих. Заняли всю стойку и общаются. Три девы только-только с уборки. Рабочий пот на лбах еще не обсох. Говорят, судя по приглушенным вскрикам, о важном. Обтянутые блестящими шортами зады покачиваются, как хвосты у нервничающих кошек. Кроме них народу всего ничего. Мертвец с книжкой и Локатор

дремлет в коляске.

– Греби сюда, – кричит мне Мертвец. – Шевели ластами! Я для тебя место держу.

Свободных мест навалом, так что у него это чисто по привычке кричится. Подхожу и сажусь рядом, и сразу же все девицы оборачиваются и замолкают с нехорошим блеском в глазах. Как будто только меня и ждали.

Мертвец вертит головой, не понимая, в чем дело. Холодная пауза на две минуты, потом, как выстрел, стук стакана о стойку.

– Вот так вот, – громко сообщает Габи. – Загубленная я теперь навеки. Из-за этого ублюдка.

Я хотел чего-нибудь выпить, но под их взглядами передумываю. Запросто можно поперхнуться.

– Что такое? – спрашиваю, потому что по всему выходит, что ублюдок – это я.

– Он еще спрашивает! – гудят голоса поддержки, а Длинная сваливается со стойки и ковыляет ко мне, чудом не сваливаясь с каблуков.

– Скотина, – выцеживает сквозь помаду. – Беременная я, вот чего!

Даже Локатор проснулся. Цирк, одним словом. А мне вообще-то и в Крысюшнике хватает истерик без поводов.

– Ладно, ясно, а я тут при чем?

– При чем? – со свистом переспрашивает Габи. – Может, еще скажешь, это не твои Крысы поганые постарались, не ты сам, кобель недобитый!

– Давай-ка, катись отсюда, – советую, чуя, что выкатываться, скорее, придется мне самому. И встаю. Не драться же с ней.

– Нет, ты не смоешься! – вопит Габи, подскакивает и отвешивает мне затрещину. Такую полновесную, что у меня чуть голова не отваливается. Еле успеваю поймать маскировочные очки. Девицы за стойкой радостно гудят.

Я возвращаю пощечину прежде, чем понимаю, что ради чего-то такого все и затевалось.

Габи запрокидывает башку и визжит, пронзительнее, чем впивающееся в стену сверло электродрели. Девы подхватывают этот ведьминский вой и отпадают от стойки, одна, вторая, третья, как перезрелые поганки, вот только поганки после этого не кинулись бы на меня.

Вскакиваю и заслоняюсь от них столом. Пара каблуков с лету врезается в него. Азартно сопя и толкаясь, девы пытаются преодолеть преграду, здорово при этом друг другу мешая.

Локатор на заднем плане быстро правит к выходу. С высунутым от спешки языком. Очень стараясь стать невидимым. Ехидна карабкается на стол, остальные ее стаскивают. Все под непрекращающийся ультразвуковой визг.

С ума можно сойти! В какой-то момент я начинаю ощущать себя самой настоящей крысой. Которой вот-вот переломят хребет каблучками, а потом, не переставая визжать, размажут по паркету. За что? Ни за что. Главное, это будет очень больно.

Стол врезается мне в живот и едет вперед, оттесняя к стенке. Задвигают в угол. Упираюсь в стену задом и торможу его, в этот момент меня хватают за волосы и чуть не отрывают голову от шеи. Теперь уже я тоже повизгиваю.

– Да вы что, сдурели?

Это Мертвец. Совершенно напрасно подавший голос. Потому что меня загораживает стол, а его – нет. И ему сразу показывают, в чем тут разница. Я спасаю свой скальп ценой клока волос, а Мертвец ошалело отбивается от пинающих ног и рвущих когтей, пока не оказывается на полу.

Выскакиваю из своего загона и бегу к нему. В любой другой ситуации я бы не побежал, потому что Мертвец – не тот, кто нуждается в чьей-то помощи. Его иногда даже скорпионом называют, потому что на вид он такой же прозрачный, а во всем остальном настолько же безобидный, но сейчас я не уверен ни в чем, кажется, все-таки скорее девицы убьют его, чем наоборот. В Кофейнике уже уйма народу, и кто-то подоспел к ним раньше меня. Это хорошо, потому что мой забег прерывается на полпути вцепившейся мне в лицо

Ехидной.

Дальше трудно понять, кто кого мордует и за что. Сплошное месиво из тел, переворачиваются какие-то коляски и столы, девчачий визг достигает невиданных высот, и, как апофеоз, врываются Шериф с Черным Ральфом.

Чего и следовало ожидать. Удивляет только, что бардак на этом не заканчивается. Наверное, это от того, что девам, по большому счету, наплевать на наших воспитателей. Своих старух они побаиваются, а про наших стариков точно знают, что, во-первых, те их и пальцем не тронут, а во-вторых, не устроят им холеру задним числом. Так что дрыготня продолжается, правда, недолго, потому что вскоре появляются и девчачьи укротительницы.

Последние две-три минуты я в ней не участвую. Сижу под стойкой, пытаясь понять, что за неприятный хруст раздался, когда кто-то наступил мне на руку, и почему в ушах шумит, а предметы вокруг раздваиваются.

– Эй, Рыжий, ты в порядке?

Меня легонько встряхивают. Я смотрю на Рыжую, пока два ее очень розовых лица не сливаются в одно, и тогда отвечаю, что да, в порядке, хотя и не совсем.

Кофейник выстлан телами и осколками. Тела все вроде живые, во всяком случае, шевелятся, а мир вокруг необычно яркий и красивый, я не сразу понимаю, что это оттого, что я смотрю не сквозь зеленые очки. Искать их даже не имеет смысла.

Микроб скулит посреди комнаты, придерживая челюсть. Конь пытается его поднять. На третьей попытке к нему приходит помощь в лице Москита, и две черноспинные фигуры торжественно выводят третью под локти. Братство Логов – трогательное зрелище.

– Они все скоты! Скоты! Не люди!

Рептилия Крестная увозит коляску с рыдающей Бедуинкой, на ходу выдирая у нее из ручонок что-то вроде кистеня. Ну вот при чем здесь Бедуинка? Ее-то кто обидел?

– Что случилось? – нетерпеливо спрашивает Рыжая. – Ты объяснишь или нет?

– Кто бы мне что-то объяснил. Я бы такому умнику подарил свой любимый вентилятор.

Встаю, ощупывая действующей рукой корсет – не треснул ли. А его нет и в помине. И я холодею, вспомнив, что не ношу его уже две недели с лишним. То есть все это время я тут пропрыгал с незащищенным хребтом. От этой мысли мне делается совсем худо.

– Эй-эй, – пугается Рыжая. – Ты чего это, в обморок падаешь?

– Нет. Это у меня так душа в пятки уходит. Зримо.

Шакал Табаки раскладывает вокруг себя клочки разномастных волос, как старичок индеец, разжившийся кучей свеженьких скальпов. Тихо напевает. Жуткая сценка.

Рука распухла и адски болит. Пробую пошевелить пальцами и тут же понимаю, что не стоило. Кого-то в этой свалке вырвало. Частично на меня.

– Пошли, помогу тебе отмыться, – Рыжая берет меня за чистый рукав, направляя к двери.

Мы перебираемся через завалы перевернутых столов, стульев и разбитых абажуров. Лорд, с ногами сидящий на стойке, хмуро кивает мне. Кажется, здесь побывали все. И все НЕ ЗЕЛЕНЫЕ! От этого просто устаешь.

В душевой кабинке (с недавних пор терпеть их не могу) пробую объяснить Рыжей, что произошло. Без особого успеха, потому что и сам ничего не понимаю. Она слушает, намыливая мне голову, так что я ее не вижу и реакции на свой рассказ отслеживать не могу.

– Габи не выдумывает про беременность?

– Почем я знаю. Если беременные ведут себя как психи, наверное, нет.

Ее ежевичные глаза словно в слезах от того, что я смотрю на них сквозь воду.

– А остальные?

– Они просто сразу же подключились. Как будто так и было задумано.

Она сует под струю мою майку, встряхивает – и на кафель падает бритва в футлярчике. Рыжая подбирает ее и держит на ладони, рассматривая.

– Слушай, а если это были бы парни, ты бы достал ее?

– Наверное. Откуда мне знать? Таскаешь их на себе с утра до ночи, а когда надо, вечно забываешь достать. Вот Мертвецу, тому и доставать не понадобилось бы. У него бритва всегда в руке. Не знаю, каким образом.

– Что же вы ими не воспользовались, ни ты, ни он?

Я убираю с глаз волосы, чтобы лучше видеть ее, когда она говорит такие вещи.

– Имеешь в виду, попугать? Они бы все равно не поверили.

За пределами кабинки Шериф ревом скликает всех «участников цирка» на Могильный прочес.

– Я хочу, чтобы ты понял, – Рыжая полощет под душем мою майку. Ее собственная уже настолько же мокрая, и шорты тоже. – Что они могли убить вас. Запросто, – договорив, в первый раз смотрит мне в глаза. – Этого не случилось не потому, что они вас пожалели.

– Ну, это-то я как раз понял. Только не понял, за что.

– И не поймешь.

Я держу пострадавшую руку на весу, подальше от себя и от стен. Приходится все время следить, как бы чего не задеть. Это мешает мне сосредоточиться на нашем разговоре. Это, и голос Шерифа, топающего по умывальной и стучащего в кабинки.

Рыжая не совсем права. Что-то я понял там, в Кофейнике, только сейчас мне трудно поймать свое понимание. Это бывает довольно часто. Знание сидит в тебе, а ты его не замечаешь, пока как следует не встряхнет, и тогда понимаешь, что ждал чего-то такого уже давно. Но почему, все равно не узнаешь.

И занудно вертится в голове, что Новый Закон, наверное, никогда бы не приняли без моего участия. Хотя это как раз абсолютно не имеет значения.

Дверца отъезжает, пропуская голову Викинга.

– Всем велели бежать в Могильник, – докладывает он. И расплывается в похабной усмешке: – Я не помешал?

Рыжая решает проводить меня до Могильника. В коридоре тишь и благодать. Тащимся, расцвечивая путь лужами, большими и малыми. Рыжая выжала майку перед тем, как напялить ее на меня, но с подола опять капает, из каждой штанины струятся ручьи, и кеды смачно почавкивают. В первый раз я в таком виде средь бела дня, водяной, да и только, и Рыжая не лучше.

– Как ты думаешь, что сейчас творится в Могильнике? – спрашиваю, предвкушая наше с Рыжей там появление.

– И не надейся, что я туда войду.

Меня тормозят и слегка отжимают с краев.

– Ненавижу всякого рода акции, – сообщает Рыжая, поднимаясь с корточек.

– Что же ты меня не переодела? И как ты, в таком случае, уживаешься с Шакалом? Видала его с коллекцией выдранных волос? Только не говори, что живешь не с ним. Где любой из них, там и он.

Она не отвечает. Не любит говорить со мной о четвертой. Не знаю, отчего это так. Но не любит, и все.

Малиновая майка мало что течет, так еще и красится. Под ней я весь в разводах цвета зари или павианьей задницы. Ассоциативное мышление у меня развито, поэтому сначала представляю себя, истекающего кровью, а потом Соломона, что всегда следует одно за другим. Свою нелегальную подвальную Крысу.

Толстые, дрожащие щеки, затравленный взгляд и эта его поганая астма. Полторы свечки до послезавтра, фонарик, куча газет. Хорошо, что я отнес ему ночью пожрать. Может, и хватит на сегодня. Спускаться в подвал с поврежденной рукой я не намерен, вот уж нет. И пусть мне не рассказывают о крысах и их повадках. Держал я настоящую крысу. Не из белых, а самую что ни на есть доподлинно серую. С ней можно было спать ложиться. Кормишь с рук, и все. Никаких подвохов. Но Человек – совсем другое дело. Корми не корми, а близко не подходи. Тем более, если нездоров.

Зачем мне это было нужно? Жалостливый я или глупый? Приятно, когда самый страшный враг во всем от тебя зависит, живет, как настоящий грызун, и света белого не ви-

дит. Вот, наверное, ответ. Мне это просто нравится.

– Ты чего помутнел? – спрашивает Рыжая. – Только что был веселее.

– Думаю о своем моральном облике.

Она кивает. Ни ободряющего словечка. Согласна, что есть от чего мутиться? Наверное, так. Лучше не спрашивать, потому что врать не станет. «Заслужить твое уважение – главное для меня». Никогда я ей этого не скажу. Такое не принято говорить вслух. Пусть хоть трижды сестре. Я и без того слишком многое ей говорю. Она знает про меня почти все, я про нее – почти ничего. Потому что про свои дела она молчит. Еще с тех пор, как пыталась отучить меня хныкать, когда больно, хотя так и не отучила окончательно. В нашем тандеме она старшая, а старшие сестры вытирают, конечно, младшим братьям носы, но плакать в жилетку бегут к кому-то другому. Это невозможно бесит, а поделать ничего нельзя. Она со мной нянчилась, значит, я для нее подросший младенец, мой месяц старшинства по календарю – пустой звук. Диктат, если вдуматься. И я, наверное, никогда не узнаю, плачет ли она в жилетку Лорду. Мне бы хотелось, чтоб у нее была такая жилетка для плача, надетая на чье-то тело, хотелось бы знать, что Лорд для нее – не еще одно дитятко, но про них мне знать не положено. А то вдруг затопаю в приступе ревности и начну, поскуливая, хватать ее за шорты? Или что там она себе представляет. Не дай бог узнать.

– Я пошла. А ты не садись в Могильные кресла, если не хочешь получить от Пауков по шее.

Поворачивается и уходит, мокрая, как искупанная белка, а я кричу ей вслед:

– Будет сделано, шеф! – и заскакиваю в Могильную дверь.

Пауки Крыс не выносят ни в каком виде, особенно мокрых и в больших количествах. Поэтому обрабатывают нас первыми и очень оперативно.

Шериф чертыхается и слепит всех своим золотым клыком. Я ухожу, унося загипсованную руку и ворох колес в кармане, чуя, что мне полегчало уже и без них. Я один такой в Доме, кому от Могильника на душе веселее. Знаю, что извращение, а поделать ничего не могу. Да и не хочу, наверное. Я здесь вырос, только что не родился. Так что всякие высокие слова про Родину: «Благослови наш теплый хлев!» – и все такое прочее у меня переводятся, скорее, на Могильник, чем на Дом в целом. Я в него, конечно, не рвусь, но при случае обязательно забегаю. И заживает на мне здесь все как на кошке, потому что я этого места не боюсь и не схожу с ума, как некоторые, от пребывания в нем. По идее, должно быть наоборот, ведь никого в Могильнике столько не кромсали, сколько меня, но в природе вообще все странно устроено, и логики никакой ни в чем на самом деле нет.

Я не знаю, кто остался долечиваться из чужих, из моих оставляют только Гибрида. Меня и Мертвеца отпускают сразу. Наверное, из-за нашей с ним славы неунывающих покойников, которым в могилах не лежится. Хорошо быть неординарной личностью.

Мы уединяемся в общем сральнике и сверяем нашу добычу. И у него, и у меня порядочная горсть колес, не каждому послеоперационному столько отсыпят.

– Держись, – говорю я Мертвецу. – Тут целое состояние, если по пустякам не тратить.

– А у меня ничего и не болит, – сообщает он. – Как ни странно.

Мне завидно, потому что у меня как раз болит, и сильно болит, и неизвестно, получится удержаться или нет.

– Удивляюсь, как это ты ничего там не спер, – говорит Мертвец. – Хотя да, у тебя же рука не действует.

Я молчу, потому что приметил кое-что неприятное. Затаившийся под одним из умывальников пакет фирмы «Феникс». Забился под сливную трубу и думает, наверное, что его там не видно. Как будто этот ядовито-синий цвет может с чем-то слиться. Гнусные скомканные мешки преследуют меня повсюду. Не знаю звука отвратительнее, чем шорох катящегося за тобой по пятам пакета. Который, якобы, гонит ветер. Черта с два. Ветер тут вообще ни при чем. Конечно, там, где он есть, они ведут себя наглее, но иногда нападают и в абсолютно безветренных зонах. После того, как во дворе один особо липкий и пыльный экземпляр спикировал откуда-то сверху прямо мне на лицо и разлегся на нем, полуприлипнув, в виде карнавальной маски, я стал очень нервным на этот счет.

Любимое место сбора у них под крыльцом. Там они обычно, шебурша, гоняются друг

за другом кругами, как перекати-поле, и там же устраивают засады, потому что выходящий на крыльцо меньше всего ожидает, что из-за перил вылетит пакет, норовящий прилипнуть к любой открытой части тела. Они и сбитые не успокаиваются. Единственный способ борьбы – придавить их камнем, что не так-то просто, ведь они улетают очень резво, а дотрагиваться до них противно.

Сине-белые «Фениксы», которыми заполонен весь Дом и его окрестности, потому что эта фирма – основной поставщик всякого дерьма вроде зубной пасты, кремов и туалетной воды, особенно коварны. Я уже научился отличать их по шелесту. Он почему-то громче, чем у других пакетов. Поэтому, завидев одного из них, спрятавшегося под раковиной, я настораживаюсь и сразу перестаю слышать бормотание Мертвеца.

– Черт, – говорит Мертвец, проследив мой взгляд. – Враг не дремлет, да?

Молча киваю. Как раз в этот момент пакет делает неуловимый выпад и замирает, сообразив, что переоценил свои возможности. Мы с Мертвецом шарахаемся.

– Погоди, – шепчет Мертвец, хватая стоящую у двери швабру, – не нервничай, сейчас я с ним разберусь, – и сгорбившись, на цыпочках ковыляет к мойке.

Пакет остается неподвижен. Мертвец крадется, как заправский индеец с копьем, крадется и крадется, потом бросается вперед и пригвождает пакет шваброй к полу. Раздается отчаянный хрусткий шелест.

Я отворачиваюсь.

– Все, – говорит Мертвец. – Ему кранты! – и поднимает швабру с нанизанным на нее лоскутом «Феникса».

Мы поджигаем его, спускаем пепел в унитаз и трижды сливаем воду. Потом с облегчением закуриваем.

– Спасибо, – говорю я Мертвецу. – Век буду помнить, что ты для меня сделал.

– О чем разговор, – отмахивается он. – Я и сам их терпеть не могу. Особенно тех, что по ночам летают.

Всосавшись в сигарету, он съезжает по стене. Становясь еще зеленее. Очки здесь ни при чем, да их на мне и нет. Просто у Мертвеца такой цвет кожи – нерекламный. И от каждой ерунды меняется в худшую сторону. Например, от курения. Его давно предупредили, что он помрет от первой же затяжки, с тех пор он экспериментирует ежедневно и все бесится, что его надули.

Хотя у меня с ним уговор. В тот день, когда я приду к нему во сне, он бросает курить. Но тогда-то уж точно будет поздно, так что все это только слова, для успокоения нервов. Есть у меня такая странная привычка – навещать во сне будущих покойников. Я прихожу к ним, когда они спят, сажусь на кровать и ничего особенного не делаю, но они потом очень скоро помирают. Не люблю об этом распространяться, не то совсем житья не станет от всяких психов, и без того еле отделался от старой клички. Утешаюсь тем, что бывают у людей привычки и похуже.

– Куда намылился? – сонно спрашивает Мертвец.

– К Стервятнику. Выпрошу какую-нибудь зелень для Гибрида, пусть жрет в свое удовольствие. Больных полагается навещать с подарками.

– Ох, – блеет Мертвец. – Добрые дела! Свят-свят! А Пауки ему скажут: кушай, деточка, кушай, набирайся сил. Красота…

Трясет синими патлами в косичках и дрыгается от смеха. Как уйду, точно заснет прямо на кафеле. Ему это тоже вредно, поэтому он не упускает случая.

Я выбираюсь в мир. Несу перед собой гипс, как поднос с собственной костью. Красивый молодой человек, и с каждым днем все краше. Прыщ на правой щеке приходится скрести левой рукой, на подошвах подсохших кедов образовались какие-то корочки, царапающие ступни.

Заглядываю по пути в Крысятник. Лучше б я этого не делал. Совсем позабыл про уборку, а она вот она, вернее, ее следы. Вся спальня в мокрой слякоти, и мусор там же, где был, только подмокший, то есть еще противнее. Ящик-стол посредине, кверху дном, влипший во все вышеупомянутое, и в целом пахнет почему-то блевотиной, хотя блевалось вовсе не тут.

Крыс ни одной не видать, только Белобрюх, насвистывая, вымывает на полу губкой участок размером с футбольный мяч. На этом пятачке даже просматривается паркет.

– Молодец, – говорю, чтобы поощрить такое старание, но тут же понимаю, что он в наушниках и ни хрена не слышит.

Чего ради, спрашивается, я затеял эту уборку? Ясно же было, что от них один вред.

РАЛЬФ

Трудные наступают дни.
Уже маячит на горизонте
Ожидающий своего часа час.

Ингеборг Бахман. Отсроченный час

Раз в семь лет изолированность Дома от мира давала трещину. Ральф трижды наблюдал подобное, но так и не научился воспринимать выпуски как нормальное явление. Невозможно было привыкнуть к тому, что наружность внезапно оказывалась вхожа в Дом, к тому, что из Дома в нее уходили, казалось бы, сросшиеся с ним существа. Старые воспитатели люто ненавидели предвыпускной семестр, пугая им поступающих на работу молодых в течение нескольких лет. «Кто не пережил выпуск, тот, считай, ничего не видел». Ральфу в свое время повезло (или не повезло) попасть в Дом накануне выпуска, так что подобного рода высказывания не преследовали его годами, как остальных. Он, с самого начала был тем, «кто видел это». Новобранцем, с ходу угодившим на поле боя и понюхавшим пороху. Хотя тот, первый, выпуск, он в дальнейшем помнил смутно. Лучше всего – нашествие родителей.

Как не было в Доме двух одинаковых учеников, так не было похожих родителей, но все же воспитатели делили их на категории. Операторы и Контактеры. Операторы активно общались со своими детьми, регулярно навещали их в отведенные для визитов дни, изводили воспитателей телефонными звонками. Контактеры появлялись в предвыпускные дни. В лучшем случае за две недели до выпуска. Остальные родители помещались между этими двумя крайностями, не удостаиваясь отдельного наименования.

Визиты Контактеров совпадали с приездом проверочных комиссий, пожарной и санитарной инспекций и всех возможных и невозможных организаций по делам несовершеннолетних, какие только можно вообразить. Раз в семь лет воспитателям давали понять, что существуют вышестоящие инстанции, интересующиеся их работой. Их проверяли и перепроверяли. От них требовали отчетов и рапортов, графиков дежурств и подробно составленных анкет на каждого учащегося. Все это сличалось и подробно рассматривалось. Пожарная инспекция проверяла состояние огнетушителей и экзаменовала воспитателей. Те, кто не мог скороговоркой изложить последовательность действий при пожаре и начертить план срочной эвакуации, отправлялись на курсы противопожарной безопасности. Медицинская инспекция перетряхивала лазарет. Санитарная инспекция проверяла кухни. Контактеры нуждались в советах, повышенном внимании и медицинской помощи по первому требованию. Операторы требовали к себе уважительного отношения. Проверочные комиссии иногда приезжали по три раза. Директор к концу месяца терял человеческий облик.

За время отпуска воспитатели успевали более или менее оправиться от пережитого, а сразу по возвращении им предстоял набор шестилеток. Принятая в Доме система приема и выпуска учащихся, по мнению Ральфа, была верхом идиотизма. Он не мог понять, почему младших в выпускной год не отправляют на отдых раньше обычного, чтобы избавить от лицезрения выпуска. Сам факт отъезда половины населения Дома был для них потрясением, но то, что они видели, как это происходит, Ральф считал недопустимым. Как и то, что после они получали возможность без помех обсуждать увиденное в летних лагерях, не отвлекаясь на уроки, почти лишенные воспитательского надзора. И то, что, возвращаясь, обнаруживали новых младших – свою смену, наглядное подтверждение того, что их в скором времени ожидает участь старших, потому что старшими теперь называли их. Неудивительно, что они

не питали большой любви к младшим, не заботились о них и не опекали. Неудивительно, что воспитатели переходили в разряд врагов и не могли рассчитывать на возвращение потерянного доверия. Удивительным был только восторг, с каким относились к этим отвратительным подросткам младшие. Старшие могли ими пренебрегать, могли их третировать, малолеток это не отталкивало. Они перенимали у старших все, в том числе страх перед выпуском, постепенно делавшийся чем-то обязательным. Признаком взросления.

В этот раз Ральф был единственным воспитателем, присутствовавшим при других выпусках, и мог сказать, что этот предвыпускной месяц на удивление тих и спокоен. Единственная проверочная комиссия. Ни одного родителя сверх приглашенных. Малочисленные нетребовательные Операторы, никаких Контактеров, никаких инспекций, никаких дополнительных отчетов. Единственная комиссия прибыла и отбыла без нареканий. При том что Дом был запущен донельзя, Акула был безалабернейшим из директоров, а в документах царил полный хаос.

Поразмыслив, Ральф догадался о причинах такой лояльности. Дом прекращал существование. Никого не возмутил его внешний вид, отсутствие в положенных местах огнетушителей и отваливающиеся от стен пласты штукатурки. Пожарную и санитарную инспекции не интересовало здание, предназначенное под снос. Глупо было бы требовать ремонта и соответствия нормам безопасности. С удивившей его самого грустью Ральф понял, что в Наружном мире Дом уже списан со всех счетов и доживает последние дни.

Единственным, что не вписывалось в теорию «доживания», были родители. Родителям полагалось наезжать. Посещавшим своих детей – чаще обычного, не посещавшим – внезапно и нервно. Контактерам полагалось начать налаживание контактов. Самым робким – осаждать кабинет Акулы звонками. Но не было ни звонков, ни внезапных визитов, и даже Операторы, словно сговорившись, сократили количество визитов до минимума. Ральфу чудилось в этом безразличии что-то нарочитое. Изредка он развлекал себя воображаемыми сценами передачи родителям Стервятника, Слепого или Мертвеца. Ему хотелось бы посмотреть, как пройдет такая встреча. Но он знал, что ничего подобного не увидит, потому что за такими не приезжали никогда. Должно быть, в Наружном мире срабатывали своего рода предохранители. И вот теперь Ральфу казалось, что эти предохранители сработали все одновременно.

В день отъезда последних прошедших тесты тревожные мысли не так осаждали его. День этот даже чем-то напомнил предыдущие выпуски. Родители четырех «умников», как один, явились раньше назначенного часа. Активный Оператор – отец Пискуна, устроил грандиозный скандал, растянувшийся на пол-утра. Родители Бедуинки скандалов не устраивали, но их дочь постаралась сделать свой отъезд памятным событием, и ей это вполне удалось. Мать Чумки упала в обморок, обнаружив на теле дочери три татуировки на память от любящих подруг.

По традиции, воспитатели провожали учеников из своих групп, поэтому Ральфа задействовали в качестве охранника. Дольше двух часов он отгонял от приемной желающих приобщиться к проводам, прислушиваясь к доносящимся из-за двери воплям, пока все столпившиеся в коридоре не разошлись. Буквально через пару минут после того, как коридор опустел, из приемной вышел Гомер и выехали два Фазана. Гомер выглядел ужасно, Фазаны лучились удовлетворением.

Ральф дождался Акулы, сообщил ему, что дежурство в коридоре прошло спокойно, и поинтересовался, отчего так затянулись проводы.

– Хорошо, что они вообще состоялись, – ответил Акула. Вид у него был слегка виноватый.

В приемной послышались чьи-то крики и звон бьющейся посуды. Акула поспешил скрыться. Ральф догадался, что так отходит от общения с родителями Душенька, но не стал проверять свою догадку. Воспитатель, не общавшийся с родителями и увозимыми, и воспитатель, только что через это прошедший, различаются, как солдат, отсидевшийся в окопе, и побывавший в бою. Вид Ральфа мог окончательно вывести находящихся в приемной из равновесия.

Он не навещал Курильщика сам, но каждый день справлялся о его самочувствии. Не потому, что его беспокоило здоровье Курильщика, а потому, что мучила совесть. Кроме того, он опасался, как бы Курильщик не захандрил. По просьбе Ральфа ему не стали придумывать никаких мифических болезней, объяснив задержку в лазарете всего лишь неблагоприятными анализами, но мнительного мальчишку и это напугало до смерти. Надо было что-то решать. Нельзя было держать его в лазарете дольше десяти дней, но Ральфу пока не хотелось возвращать его в группу, откуда Курильщика выживали.

Зайдя в учительскую, чтобы сделать очередной звонок и справиться о Курильщике, он застал там Крестную, одну из немногих, кто использовал учительскую как рабочий кабинет. Крестная сидела за своим столом, перебирая какие-то бумаги и, вежливо кивнув на его приветствие, спросила, может ли он уделить ей немного времени. Ральфа это не удивило. По мере приближения выпуска воспитатели все чаще расспрашивали его о предыдущем. Привык он и к тому, что вопросы они задают одни и те же, иногда по нескольку раз, словно не слыша или не понимая ответов.

Крестная спрятала в папку разрозненные листы и, только очистив стол и аккуратно, ладонь к ладони, сложив на нем руки, посмотрела на Ральфа.

– Вы однажды сказали, что во время предыдущего выпуска ситуация в Доме была более нестабильной. Если я не ошибаюсь, имея в виду противостояние двух враждующих группировок.

– Да, – подтвердил Ральф. – Тогда дела обстояли намного хуже.

Он сел, как всегда ощущая в присутствии Крестной некоторую скованность. Эта женщина вызывала в нем двойственное чувство. Она, несомненно, прекрасно справлялась со своими обязанностями, легко разрешала проблемы, ввергавшие Душеньку в истерику, была умна, ответственна, педантична, пользовалась уважением среди девушек. В то же время ее холодность и высокомерие отталкивали. Симпатии она ни у кого не вызывала. Ральфу казалось, что и в ней самой нет никаких чувств к воспитанницам, что она относится к ним с абсолютным равнодушием. Он убеждал себя, что это не так, что хороший воспитатель умело скрывает свои эмоции, но отделаться от предубеждения так и не смог. Крестная была слишком холодна для своей работы. А может быть, слишком стара. Стройная, как балерина на пенсии, в неизменном сером костюме, с неизменно сверкающими белоснежными манжетами, она выглядела на пятьдесят, но на самом деле ее возраст приближался к семидесяти.

– Меня интересует, не было ли подобное высказывание всего лишь попыткой успокоить директора? – спросила Крестная. Глаза за стеклами очков смотрели сурово и как будто с осуждением. Круглые и бесцветные, в сочетании с длинной шеей и крючковатым носом, они придавали ей сходство с хищной птицей. Несмотря на это, говорящему с ней отчего-то казалось, что перед ним бывшая красавица.

Ральф задумался.

– Нет, – сказал он. – Я не помню тот разговор, который вы имеете в виду. Возможно, я пытался его успокоить, но в прошлый раз ситуация действительно была менее стабильной.

– А то, что на сегодняшний день в Доме опять образовалось две враждующие группировки, вас не настораживает?

Ральф не сразу сообразил, что она имеет в виду, а сообразив, едва не рассмеялся.

– Нет, – сказал он. – Меня это не настораживает. Я не считаю это противостояние чем-то серьезным.

Крестная не сводила с него пристального взгляда.

– Почему? – спросила она.

– Видите ли, – начал он, чувствуя неловкость от того, что своими рассуждениями вторгается на ее территорию, – эту так называемую «войну» затеяли девушки. По-моему, таким образом они защищаются. Им известно, что выпуска не избежать, следовательно, им предстоит разлука с мальчиками, к которым они успели привязаться. Надежды продолжить эту дружбу за пределами Дома у них почти нет. Так что легче, смириться с предстоящей разлукой или убедить себя в том, что им предстоит расстаться с врагами? Они выбрали второе. Это причинит им меньше боли. Выглядит их «война» глупо, но метод довольно действенный.

– Вы считаете себя знатоком женской психологии? – поинтересовалась Крестная, и Ральфа взбесило то, что ее вопрос вогнал его в краску.

– Нет, – ответил он сухо. – Не считаю. Я всего лишь высказал свое субъективное мнение.

– Которое, однако, заслуживает высокой оценки, – произнесла Крестная еще более холодно. – Я восхищаюсь вами.

Ральф сдержал раздражение.

– У вас есть еще вопросы?

– Пожалуй, нет, – сказала Крестная. – Но хочу, чтобы вы знали: директор не разделяет вашего оптимизма.

– Еще бы, – пробормотал Ральф.

– И он намерен принять все возможные меры по обеспечению безопасности на момент выпуска. Как вы к этому относитесь?

– С пониманием, – ответил Ральф, вставая. – Простите, но до собрания у меня еще есть кое-какие дела.

Крестная кивнула.

– Конечно. Внесете ли вы какие либо предложения?

– Возможно.

Она не проводила его взглядом. Осталась сидеть на прежнем месте, уставившись в стену, как выключенный робот. Очень прямая. С аккуратно сложенными на столе руками.

Круглолицый лопоухий мальчик в черной майке с черепом и скрещенными костями, не спеша, вперевалочку отошел от двери. Ральф прикрыл ее.

– Что ты здесь делаешь? – спросил он шепотом.

– Подслушиваю, – честно ответил паренек. – Я знаю, что это нехорошо, – добавил он, не дожидаясь реакции Ральфа.

Ральф потер веки кончиками пальцев.

– Тогда зачем ты этим занимаешься?

– Иногда любопытство пересиливает моральные принципы, – признался мальчик. – С вами такого не случалось?

Ральф прислонился к двери.

– Уйди, – попросил он. – Скройся с глаз.

Белобрюх понимающе кивнул и попятился.

– Нет, ну какова наглость! – пробормотал Ральф, направляясь к лестнице. – А ведь даже не Лог!

На самом деле он был только рад. Встреча с наглым, но симпатичным Белобрюхом заслонила образ неподвижно сидящего в учительской манекена. Пугающий, в чем он пока не был готов себе признаться.

Ральф поднялся на третий этаж, в комнату отдыха, где на три часа было назначено собрание. Комната эта редко использовалась по назначению. Предполагалось, что воспитатели будут расслабляться здесь в домашней обстановке, но унылая казенная мебель и хрупкие столики с замусоленными журналами вызывали стойкие ассоциации с приемной дантиста, и желающих проводить здесь свободное время не находилось. В конце концов в комнату перенесли три письменных стола и диапроектор, повесили на стену школьную доску и стали проводить в ней собрания. Это ее оживило. Воспитатели начали держать здесь свои вещи, обзавелись любимыми креслами, выделили один из столов под чайный, объявили крохотный балкончик зоной для курящих, а Шериф даже перенес сюда свой магнитофон. Теперь в комнате отдыха в любое время можно было кого-то застать. Чаще всего дремлющего на диване Гомера.

Сегодня тут пахло валерьянкой и сердечными каплями, и Ральфу опять вспомнилась приемная при зубоврачебном кабинете.

Распростертые в креслах Гомер и Ящер казались жертвами стихийного бедствия. На

плешивой голове Гомера красовался устрашающих размеров компресс. Неподвижный взгляд Ящера был прикован к потолку. Галстуки у обоих выглядели так, словно их этой деталью гардероба душили, пиджаков поблизости не наблюдалось.

За одним письменным столом Душенька обновляла косметику, за другим сокрушенная Овца готовила свежий компресс. В проеме балконной двери, занимая его почти целиком, возвышался Шериф. Дым от его сигары шел в комнату, но Шерифа это не смущало, он находился в зоне для курящих, а куда устремлялся дым, было неважно: Шериф не хотел пропустить ничего из происходящего в комнате.

Ральф сел на диван между двумя креслами – с постанывающим Гомером и со зловеще молчаливым Ящером. Процокав к Гомеру, Овца сменила ему компресс, бросив на Ральфа укоризненный взгляд. «Где вы пропадаете, в то время как мы здесь страдаем, нуждаясь в вашем участии?» Так или приблизительно так расшифровывался этот взгляд. Хотя, возможно, он просто упрекал его в молчании. В недостатке сочувствия. А может, и этого не было. Водянистые, навыкате глаза Овцы всегда казались переполненными слезами, всегда в чем-то упрекали. Игривые кудряшки и рюшечки ее девичьих блузочек смотрелись неуместно жизнерадостно на фоне печального лица.

– Слава богу, мне удалось сегодня никого не придушить, – пробормотала Душенька сквозь зубы, рассматривая свое отражение в зеркальце пудреницы. – Удивительное самообладание…

– Ха-ха-ха! – мрачно подал признаки жизни Ящер.

– Я думала, со Стёклами никто не сравнится, – продолжила Душенька. – Но эта сексуально озабоченная корова Бедуинка и ее переплюнула.

– Ах, ну как можно говорить такое о ребенке! – возмутилась Овца.

– Ребенке?! – изумленная, Душенька, едва не выронила пудреницу. – Ребенке? Да она выглядит старше своей матери, эта жирная сучка!

– Что за выражения! – ахнула Овца.

Выражения в комнате отдыха явно звучали и более крепкие, а негодование Овцы успело утратить выразительность. Ральф порадовался, что не пришел раньше. Истерика к его появлению успела выдохнуться, а он не был сочувствующим слушателем, способным вывести ее на новый виток. Впрочем, он не сомневался, что еще до начала собрания его успеют посвятить во все подробности учиненных в приемной безобразий.

– Что вы там так пристально высматриваете? – раздраженно осведомился Гомер у Душеньки. – Не прибавилось ли у вас с утра морщин?

– Нет! – Душенька с треском захлопнула пудреницу. – Я смотрю, не поседели ли волосы у меня в носу.

Воспитатели обменялись ненавидящими взглядами. Гомер невольно дотронулся до носа. Волосы в нем росли всякие, и седые, и пегие, достаточно далеко вылезая из ноздрей, так что замечание Душеньки он просто не мог не принять на свой счет.

– И он еще разговаривает! Он еще чем-то недоволен, – фыркнула Душенька. – После всего, что мы по его милости выслушали!

Гомер застонал, дергая ногами в расшнурованных ботинках, и поправил компресс на лбу.

– И имеет наглость изображать из себя жертву!

Овца, словно надеясь охладить накаленную атмосферу комнаты, включила стоящий в углу вентилятор. Шериф протопал к подоконнику и взгромоздился на него.

Душенька – неожиданно красивая в ярости, нос ее как будто стал короче, глаза заблестели – обратилась к Ральфу:

– Вот зачем, скажите, ему понадобилось притаскивать на встречу с родителями одного Фазана троих? Кто-нибудь может мне это объяснить?

Никто ничего не собирался объяснять о Фазанах, и меньше всего Ральф, но Душенька и не нуждалась ни в чьих объяснениях. Ей необходимо было выплеснуть негодование. Молчаливый слушатель ее вполне устраивал. Но у нее нашелся конкурент.

– Чертов Акула не отрывался от телефона, – доверительно сообщил Ящер Ральфу. – Почти сорок минут. Папаша Пискуна жрет меня с потрохами, а старый пень все это время

воркует с молчащей трубкой. Здорово, да?

– Чего он хотел? – спросил Ральф, понимая, что, так или иначе, ему все расскажут.

– Кто?

– Отец Пискуна.

– Аттестат, чего же еще? Чего они все хотят, даже когда разоряются насчет знаний. Берите откуда хотите, это не мои проблемы, и вообще предупреждали бы, что у вас здесь школа для слабоумных, заранее.

Ящер потер переносицу.

– Писки раздобыл своему родителю экземпляр вопросника. И вот этот бык машет передо мной треклятой бумажкой и ревет так, что слышно в соседнем квартале. Интересуется, как так вышло, что большинство наших учащихся не сумели ответить на эти вопросы. И что я мог ему сказать? Когда там самый сложный вопрос: относится Австрия к европейским странам или к азиатским. И заметь, все это время его тошнотворные Фазанята, – Ящер кивнул на виновато заморгавшего Гомера, – в двух шагах от нас щеголяют латинскими изречениями и до кучи цитируют каких-то античных философов.

Гомер издал протестующий стон, переполошивший Овцу.

– Пока, наконец, – продолжил Ящер, распаляясь все сильнее, – мама Сморкача не сообразила взять у папаши Пискуна его замурзанную бумажку, не ознакомилась с вопросами и не начала выяснять, каким таким образом вот эти мальчики, – Ящер заговорил высоким голосом, имитирующим женский, – вот эти двое, демонстрирующие такой высокий интеллектуальный уровень, могли не пройти примитивнейшее тестирование.

Ральф не сумел сдержать улыбку.

– И как они выкрутились? – спросил он.

– Выкрутились? – изумился Ящер. – Фазаны? Да никак! Просто сидели и пялились на нас, гнусно усмехаясь. Выкручиваться пришлось мне. Причем за всех, потому что Альф упал в кусты и прикинулся дохлым!

– У меня случился сердечный приступ! – возмутился Гомер. – Я чуть не умер, и не было в том ни малейшего притворства!

– Ну да, – кивнул Ящер. – Конечно, не было. У одного сердце, другой обнимается с телефоном, а кто-то отдувается за всех.

– Если вы меня спросите, – прогудел Шериф с подоконника, – так это он во всем виноват, – Шериф ткнул пальцем в сторону Гомера. – Незачем везде пихать своих Фазанов, от них у нормальных людей мурашки по коже. Мои Крысята бы не подкачали, они зазря рты не разевают.

– Потому что они у них и так вечно разинуты, – вмешалась Душенька. – А глаза закрыты. И головы дергаются.

– Ну? А я о чем? – согласился Шериф, ничуть не обидевшись. – Самое оно, то, что и требовалось.

Вконец затерроризированный Гомер проглотил пару таблеток, запив их из поднесенной Овцой кружки.

– Кофе? Чай? – спросила Овца остальных.

Прежде чем кто-либо успел ей ответить, появился Акула. В измятом костюме, с криво повязанным галстуком, но непривычно деловитый и собранный. Следом вошла Крестная.

Акула подошел к чайному столу, налил себе воды, выпил, обвел собравшихся взглядом полководца перед решающей битвой и объявил:

– Тема собрания – выпуск.

Ральфу подумалось, что зрелище, представшее перед Акулой, малоутешительно. Предполагаемая армия дезорганизована и явно собиралась второпях. Стянувший с головы компресс Гомер выглядел жалкой развалиной. Ящер, с его перекрученным галстуком и блуждающим взглядом, немногим лучше. Сидящий на подоконнике Шериф смахивал на Шалтая-Болтая, готового вот-вот «свалиться во сне», Овца годилась разве что на роль подушечки для булавок. Обновившая макияж Душенька, как всегда, не сумела вовремя остановиться и накрасилась, как впервые явившаяся на дискотеку старшеклассница.

«А ведь эта нелепая компания, выглядящая так по-идиотски – моя стая, – подумал

Ральф. – То, что, скорее всего, можно так назвать. Я – один из них».

Среди собравшихся в комнате отдыха самый пристойный вид имела Крестная. Стройная, подтянутая, немного похожая на престарелую Катрин Денев, она стояла позади Акулы, скрестив на груди руки, и на плечи ее серого костюма так и просились погоны.

– Итак, выпуск, – многозначительно повторил Акула. – Во время прошлого собрания я попросил каждого из вас всесторонне обдумать проблему и внести соответствующие предложения по ее решению.

Спрятав руки в карманы брюк, Акула покачался на каблуках и добавил:

– Сейчас я намерен эти предложения выслушать.

После чего он замолчал, и только через несколько минут до воспитателей дошло, что вступительная речь окончена. Они изумленно переглянулись. Акула никогда не отличался лаконичностью. Как правило, на то, что бы добраться до сути дела, ему требовалось полчаса. За это время собравшиеся успевали допить свой кофе, шепотом посплетничать, заскучать и даже подремать. Они неплохо наловчились изображать внимание к речам Акулы, занимаясь посторонними делами, и теперь, когда Акула лишил их привычной порции скуки, чувствовали себя чуть ли не обделенными.

– Я жду, – предупредил Акула после недолгой паузы и опять, неожиданно для всех, замолчал.

Первым опомнился Шериф. Подергав себя за подтяжки, пробасил, не слезая с подоконника:

– Мое предложение будет, значит, вот какое. Ночь перед выпуском каждый из нас проводит в своей группе и держит все под контролем. До утра.

Шериф победоносно оглядел собравшихся.

Ясно было, что предложение не примут, зато он в очередной раз сумел продемонстрировать свою крутость.

– Позвольте заметить, коллега, – Крестная сделала шаг вперед и встала впереди Акулы, – что для осуществления вашего плана некоторым из нас пришлось бы раздвоиться. – Она задержала взгляд на Ральфе. – Не говоря уже о том, что в нашем корпусе тринадцать спален. При четырех воспитателях. Возможно, вы об этом забыли.

Судя по выражению лица Шерифа, он никогда об этом не задумывался.

– Это… сколько же их у вас там? – спросил он испуганно.

Душенька хихикнула.

– У нас было пятьдесят шесть девушек, – отчеканила Крестная. – На девять четырехместных и четыре шестиместные спальни. Стыдно не знать элементарных вещей о месте, где вы работаете не первый год.

Но Шерифа трудно было смутить.

– Бросьте, – проворчал он. – Когда это я разгуливал по вашей территории? Мне и своих забот хватает. Ладно, коли так, давайте думать дальше. Можно собрать всех девчонок в одном месте. На одну-то ночь это не страшно.

– Смотря кому! – возмутилась Душенька. – И где, интересно, вы предлагаете их собрать? В актовом зале? Меня лично не устраивает перспектива провести предвыпускную ночь с полусотней истеричных девиц, в месте, где поблизости нет даже туалета. Прикажете водить их туда под конвоем? Или обеспечить всех ночными горшками?

Шериф разразился своим печально знаменитым захлебывающимся хохотом. Раскачиваясь на подоконнике, он хлопал себя по ляжкам, булькал и клекотал, так, что казалось, клетчатая ковбойка вот-вот лопнет под напором его веселья.

Крестная, наконец, села. На самый краешек стоящего возле двери стула. По-прежнему лицом к остальным воспитателям, скорее как учительница в классе, чем как одна из них.

В ожидании, пока веселье Шерифа пойдет на убыль, Акула демонстративно смотрел на часы.

– Потрясающе! – Шериф вытер раскрасневшееся лицо не очень чистым носовым платком. – Как представлю… эти ваши самовлюбленные телки… каждая со своим горшком!

Взгляд Крестной человека более совестливого приморозил бы к подоконнику, но Шериф не отличался чувствительностью.

– Если вы в достаточной мере насладились этой воображаемой сценой, может, мы выслушаем другие предложения?

Сарказм Акулы тоже не достиг цели. Толстокожесть Шерифа делала его неуязвимым.

– А что ж, давайте выслушаем, – согласился он. – Я так понимаю, идея не сгодилась. Так что можно и других послушать.

– Спасибо, – холодно поблагодарил его Акула.

Если Шериф сейчас ответит «всегда пожалуйста» – его уволят, подумалось Ральфу. И хотя в последнем триместре не увольняют, Акула сделает для него исключение.

К счастью, Шериф промолчал.

Акула с минуту сверлил его взглядом и, только убедившись в том, что реплик с подоконника больше не последует, продолжил:

– Кто еще может что либо предложить?

Душенька встала. Изящно оправила юбку и сдула со лба серебристую челку.

– Мое предложение простое, – сказала она деловито. – Запремся на третьем, и пусть все идет своим чередом. Все равно мы не знаем, чего от них ожидать. Может, они спокойно проспят до утра. А может, устроят прощальную гулянку. В конце концов почему бы им не отметить это событие? Во всех школах так делается.

Душенька похлопала ресницами, угодливо улыбнувшись Акуле.

– Я не права?

– Это не выход из положения, а капитуляция, – проворчал Акула. – Варианты «давайте сидеть сложа руки» на данном этапе рассматриваться не будут.

– Ладно, – Душенька пожала плечами, стараясь не выглядеть задетой. – Больше мне нечего предложить.

Акула уставился на Ральфа. Потом перевел взгляд на Ящера. Выждал и сделал приглашающий жест. Крестная встала. По тому, как Акула подчеркнуто галантно уступил ей место, Ральфу стало ясно, что эти двое находятся в сговоре, и это ему не понравилось.

Крестная кивнула собравшимся. Поправила очки. Откашлялась.

– Не могу сказать, что последнее предложение кажется мне заслуживающим внимания, хотя оно и предпочтительнее иных, прозвучавших здесь. Я, со своей стороны, хочу предложить два варианта действий. Поверьте, что оба тщательно продуманы, с учетом всех возможных последствий.

Крестная говорила так тихо, что казалось, малейший шорох может заглушить ее, и все сидели, напряженно вслушиваясь, чтобы ничего не упустить. Избитый ораторский прием, но надо отдать ей должное, Крестная применяла его с блеском.

Шериф кренился с подоконника, оттопыривая ухо ладонью. Подчеркивая свою глухоту. Выглядело это смешно. Можно было поверить, что бесчисленные проводки от наушников, лишающие слуха Крыс, каким-то образом дотягиваются и до его ушей. И что он из-за этого тоже глохнет. Преподносилось это, во всяком случае, так. Как профессиональное заболевание.

Ральф ощутил нарастающее напряжение. Что-то вот-вот должно было произойти. Крестная кивала Акуле, Акула любезно скалился в ответ. Эти двое вели себя как заговорщики, причем заговорщики, не скрывающие, что у них заговор.

– Как вам всем известно, официальная дата выпуска – семнадцатое июля, – продолжила Крестная. – Я предлагаю переместить ее. Если выпуск состоится ранее ожидаемого, мы вполне можем рассчитывать обойтись в предвыпускную ночь без происшествий. Само собой разумеется, учащиеся не должны быть в курсе изменений. Вся проблема в сохранении этой информации в строжайшем секрете.

Она выдержала паузу.

Воспитатели переглянулись. Глаза Овцы наполнились слезами. Гомер сдержанно поаплодировал. Ящер даже привстал от волнения.

– Эй, а ведь это может сработать! – воскликнул он. – Действительно может сработать. Очень дельная мысль!

– Может и сработать, – без особого энтузиазма согласилась Душенька. – Если *они* ничего не пронюхают.

Ральф промолчал. Ему претила мысль о том, чтобы обойтись с ними так. Объявить о выпуске чуть ли не в момент выпуска. Это было подло, нечестно, по-Акульи трусливо, но… Ящер был прав, это могло сработать. Имел ли он право возражать против плана, гарантирующего им спокойную жизнь на ближайший месяц? Не предложив взамен ничего более достойного? И он промолчал, что при желании можно было счесть согласием.

– В целях сохранения конфиденциальности следует полностью исключить контакты учащихся с родителями, – Крестная обвела воспитателей строгим взглядом. – Все переговоры с родителями должны вестись на третьем этаже в присутствии кого-либо из нас. Личные визиты только с разрешения директора и только с заранее подготовленными родителями. Сами мы ни в коем случае не должны упоминать о переносе даты ни в частных разговорах, ни в письменной форме, и особенно при общении друг с другом где-либо за пределами третьего этажа. Я бы очень хотела, чтобы и на третьем этаже подобные разговоры не велись. Телефон, находящийся в учительской, я предлагаю изъять. Есть подозрения, что учащиеся иногда пользуются им.

– Господи, – прошептал Ящер. – Есть подозрения! Мы сто лет знаем, что они им пользуются. Да что она о себе вообразила, эта старушенция?

– И последнее, – Крестная повысила голос, неодобрительно глядя на Ящера. – И последнее. Подлинную дату выпуска будем знать только мы двое – я и наш уважаемый директор.

Ральфу показалось, что он расслышал стук отвалившейся челюсти Ящера. Ему стало смешно. Гомер вскочил, размахивая руками:

– Это… это просто невозможно! Как же так? Как это, не знать дату выпуска?

Овца неожиданно для всех выкрикнула тонким голосом:

– Я протестую! Это недопустимо!

На фоне негодования самых бессловесных воспитателей поблекло даже грозное рычание Шерифа. Ящер сидел, вытаращившись и вцепившись в подлокотники кресла. Глядя на него, Ральф от души понадеялся, что сам не выглядит настолько ошеломленным. Крестная стояла под шквалом гневных возгласов, спокойная и исполненная уверенности в себе. Нельзя было не восхититься ее выдержкой.

– Выслушайте меня, пожалуйста, – сказала Душенька, когда страсти немного улеглись. Впечатленная хладнокровием Крестной, она изо всех сил старалась держаться с таким же достоинством, но получалось у нее это из рук вон плохо. – То, что вы предлагаете, невозможно по многим причинам. Во-первых, – она загнула пальчик со сверкающим цикламеновым ноготком, – во-первых, они должны собрать и упаковать свои вещи. На это требуется время. Во-вторых, родители! Допустим, вы не сообщаете эту вашу секретную дату нам, но им-то ее придется сообщить. И вы надеетесь, что они сохранят эту информацию в тайне? В назначенный день одни приедут раньше, другие позже, третьи сообщат, что не могут приехать именно в этот день, а могут в любой другой, и так далее. Представьте, что будет твориться! Больше ста человек, которым внезапно сообщили, что их забирают, в то время как они не успели собраться, попрощаться, накраситься, написать памятные записки или что там они собирались проделать… плюс их родители и мы, тоже совершенно не в себе, потому что, видите ли, были не в курсе, что выпуск состоится именно в этот день! Да это просто смешно! Нас сегодня четверо отъезжающих едва не свели в могилу, а вы предлагаете…

– Пожалуйста, успокойтесь, – перебила Крестная поток Душенькиного красноречия. – Все не так страшно, как вам кажется, особенно если не терять головы и не накручивать себя, рисуя апокалиптические картины.

– Да, – поникший было Акула приосанился. – Все не так страшно. Мы обговорили процедуру в деталях, заручились поддержкой кое-каких дружественных организаций и надеемся, что с их помощью хаос удастся предотвратить.

– Каких таких организаций? – поинтересовалась Душенька, но ей никто не ответил.

Крестная прошлась по комнате, скрестив на груди руки.

– Мне кажется, вы не осознаете всей важности соблюдения полной конфиденциальности, – сказала она с упреком, останавливаясь возле съежившегося в кресле Гомера.

– Наши воспитанники проницательны. Малейший промах со стороны любого из вас –

и информация о переносе даты перестанет быть тайной. При этом вовсе не обязательно упоминать о ней вслух. Достаточно необъяснимой суетливости, выражения лица, незаметных нам самим признаков. Не говоря уже о сборах… – Крестная мельком поглядела на Душеньку, – например, если из дежурной комнаты исчезнет большая часть принадлежащих кому-то из нас предметов, вряд ли подобное останется незамеченным. Я говорю о том, что мы можем выдать себя ненамеренно, поставив тем самым всю затею под удар.

– А я с вами не спорю, – слабо отмахнулся Гомер, принявший большую часть сказанного на свой счет. – Вы меня вполне убедили. Прошу простить мне мою несдержанность.

Крестная поверх его головы с улыбкой смотрела на Ральфа.

Он улыбнулся ей в ответ.

Я тебя понял, Стальная Леди. Суетливость и волнение – это к Гомеру. Сборы – слабость Душеньки. Шериф – болтун. Ящер способен выдать себя злорадным выражением лица. Овца – страдальческим. А вот в чем ты сомневаешься, когда речь идет обо мне? Уж не в том ли, что я побегу докладывать им о ваших планах?

Уловив это «ваших» в собственных мыслях, Ральф, вздрогнув, прикрыл глаза.

Я так и подумал? Ваших, а не наших? Что ж, может, она не так уж и неправа, эта старая сука.

СТАРАЯ СУКА?

– Я прошу всех высказаться, – потребовал Акула. – Всех, без исключения. Сейчас, потому что после голосования мы к этой теме уже не вернемся.

– Я согласен с тем, что это удачный план, – поспешил заявить Гомер. – Хотя и возмущен недостатком доверия со стороны руководства.

Душенька громко фыркнула.

– Недостаток доверия? Ха! Вот так это теперь называется? Мило!

– Вы согласны или нет? – перебил ее Акула.

– Согласна.

– А я нет, – пробурчал Шериф с подоконника. – И именно по последнему пункту. Насчет нас. Что я, по-вашему, такая болтливая баба, что мне нельзя и секрета доверить? Нет уж, я лучше уволюсь, чем терпеть такое!

– Прекрасно, – кивнула Крестная. – Никто не удерживает вас в Доме против вашей воли. Если это ваше окончательное решение, подайте заявление об уходе, директор его утвердит.

В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только шелестом разрезающих воздух лопастей вентилятора. То, что Крестная высказалась за Акулу, покоробило всех, а Шерифа просто ошеломило.

– Ну это уж слишком! – возмутился он. – Чего это вы раскомандовались? Что вы себе позволяете?

– Все, сказанное здесь нашей уважаемой коллегой, согласовано со мной, – с удовольствием подтвердил Акула. – Согласовано и одобрено.

Шериф уставился на директора с непередаваемым выражением лица. Ральф никогда не думал, что Шериф может быть до такой степени изумлен.

Где же ты был последние полчаса, глупый человек? Неужели только сейчас до тебя дошло то, что все мы давно поняли и приняли к сведению.

– Да, и если не передумаете, потрудитесь подать заявление в течение двадцати четырех часов, – потребовала Крестная. – Мы должны точно знать, уходите вы или остаетесь.

– Не собираюсь я увольняться перед самым выпуском! – взревел Шериф.

Взревел, впрочем, не так громогласно, как привык это делать.

– В таком случае не бросайтесь пустыми угрозами.

Шериф мрачно ссутулился на подоконнике. Похожий на обиженную, разжиревшую горгулью. Глядя на него, Ральф ощутил укол жалости, подумав, что если сейчас Крестная велит Шерифу слезть с подоконника и сесть, как полагается, на стул, он, скорее всего, подчинится.

К счастью, Крестная не стала размениваться по мелочам. Шериф был явно и безна-

дежно добит. Теперь она сужала круги вокруг Ральфа, а позор Шерифа требовался лишь в качестве примера для склонных к сопротивлению.

– Итак, продолжим голосование, – предложил Акула.

Голосование продолжили.

Когда большинством голосов предложение Крестной было принято, Акула поаплодировал (Гомер присоединился было к аплодисментам, но заметив, что никто другой этого делать не стал, осекся) и попросил обнародовать вторую идею.

– Я сгораю от нетерпения, – сообщил он, потирая руки.

– Ага, сгораешь, как же, – буркнул Ящер себе под нос, так, чтобы было слышно Ральфу. – Интересно, сколько раз вы все это отрепетировали?

– Пункт второй.

Крестная посмотрела на Ральфа.

– Я предлагаю удалить из Дома несколько личностей, которых мы, после должного обсуждения, сочтем опасными. Личностей с нестабильной психикой и неадекватным поведением, тем не менее, имеющих влияние на прочих воспитанников.

Ральф откинулся на спинку стула, закрыв глаза. Вот оно. Теперь, без сомнения, настал его черед протестовать и получить за это по носу. Что ж, Крестную ожидал неприятный сюрприз.

– Оу! – у Душеньки слегка поднялось настроение. – Любопытно! Кто же они, эти нестабильные и влиятельные психи? Я хочу принять участие в обсуждении кандидатур!

Ящер, наоборот, помрачнел.

– Я – против! – крикнул он, вскакивая. – Это спровоцирует беспорядки. Мы получим именно то, чего опасались, только намного раньше.

– Я – за! – высказался Гомер. – Очень правильное и своевременное решение.

– У меня вопрос, – Овца подняла руку, как примерная ученица на уроке. – Среди обсуждаемых будут девочки?

Крестная сдержала улыбку.

– Если вы предложите чью-либо кандидатуру, мы обязательно ее обсудим.

– Боже упаси! – пискнула Овца. – Мне бы такое и в голову не пришло!

– Но в основном, имелись в виду, конечно, парни? – нетерпеливо уточнила Душенька.

– Да. Так называемые вожаки.

Ящер схватился за голову.

– Предлагаю обсудить Сфинкса из четвертой, – сказала Душенька. – Авторитетный, пользуется влиянием и, несомненно, омерзительная личность. Можно сказать, извращенец.

– Среди моих питомцев нестабильных личностей нет, – гордо провозгласил Гомер. – Я предлагаю исключить первую группу из обсуждения.

– Это… – Акула сделал вид, что колеблется, – это против правил, но поскольку первая действительно образцовая группа, для них можно сделать исключение. Предложение принимается. Что же касается Сфинкса…

– Он не из вожаков, – тихо подсказала Крестная. – Его кандидатуру мы обсуждать не будем.

– Действительно, – немедленно согласился Акула. – Не самая влиятельная личность, не будем тратить время попусту. Второе предложение отклоняется.

Душенька надулась.

– Мы обсуждаем сейчас не кандидатуры, а само предложение, – утешила ее Крестная. – Итак, двое – за, один – против…

– Категорически против, – уточнил Ящер.

– Двое воздержавшихся, – продолжила Крестная, даже не взглянув на Овцу и Шерифа. И один… – она сделала паузу.

– Против, – сказал Ральф.

Крестная удовлетворенно кивнула, словно ждала от него именно этого, сделала паузу, давая Ральфу возможность высказаться, которой он не воспользовался, и продолжила:

– Двое – за, двое – против, двое – воздержались. Я, естественно – за, а наш уважаемый

директор…

Она повернулась к Акуле, и тут Ральф понял, что с него хватит. Он устал смотреть на Крестную, устал ее слушать, и дальнейшее участие в поставленном ею спектакле его не прельщало.

– Простите, – сказал он, вставая, – Но у меня еще много дел.

Выражение лица Акулы не сулило ничего хорошего.

– Как это понимать? – спросил он. – Что за дела такие, из-за которых ты готов уйти с важного собрания?

– Дела? – Ральф остановился в дверях. – О, это очень важные и неотложные дела. Надо составить и отпечатать в двух экземплярах заявление об уходе, собрать вещи, немного прибрать кабинет, он удивительно быстро зарастает пылью, сдать белье в прачечную и несколько книг в библиотеку..

– Господи! – ахнул Ящер. – Только этого нам не хватало!

– Стоп! – сказал Акула. – Я не подпишу твое заявление.

– Не подписывай, – пожал плечами Ральф. – Мне, по правде сказать, все равно, будет там стоять твоя подпись или нет.

– Вы не хотите даже дождаться конца собрания? – удивилась Крестная. – Узнать, кого мы выберем? Неужели вас не волнует участь ваших подопечных? Вы ведете себя, как ребенок.

Ральф улыбнулся.

– Именно уверенность в том, что речь пойдет о моих подопечных, не позволяет мне участвовать в вашем балагане. Как воспитатель, я несу ответственность за каждого в моих группах. Если кто-то решает их судьбу, не считаясь с моим мнением, я могу только попрощаться. Делать мне здесь совершенно нечего.

Крестная скривила губы.

– Как легко вы отказываетесь от своей должности. Как спешите переложить ответственность на других. Меня это поражает.

– Вы не поверите, – Ральф мельком взглянул на застывшего в оцепенении Акулу. – Не поверите, до какой степени это поражает меня самого.

Он прибрал в кабинете, принял душ и собрал вещи в черную спортивную сумку. Отпечатал на старой машинке заявление об уходе, подписал его и оставил на столе. С удивлением поймал себя на том, что насвистывает. *Неужели действительно все? Неужели я сейчас уеду отсюда навсегда? Просто возьму и уеду?* Учитывая планы Акулы и Крестной, в этом была определенного рода справедливость. Ему не дали толком проститься с этим местом, прочувствовать свой уход, как не дадут этого сделать им. Ощущая себя необыкновенно легким и опустошенным, он покинул кабинет, не потрудившись запереть его. Там не оставалось ничего, что имело бы смысл прятать.

Кивнув дежурному Логу (без сомнения, отметившему сумку), Ральф пересек коридор второго этажа и поднялся на третий.

Буфет работал до восьми. Здесь было уютно и тихо, особенно в вечерние часы. Круглые столики – на каждом корзинка для хлеба, огромные деревянные держатели для салфеток и забавные солонки в виде мышей. На окнах ситцевые занавески в цветочек. Возле окошка раздачи вывешивалось меню, написанное аккуратным ученическим почерком.

Ральф взял две порции пирога с мясом, чай и сел за угловой столик.

Он ел, поглядывая на висящую на стене фотографию в прихотливо разрисованной рамке. Таких фотографий в буфете висело шесть, и все они могли вызывать лишь недоумение. Обычные улицы. Ни людей, ни собак, ни одно из попавших в кадр зданий не назовешь красивым, и совершенно непонятно, зачем эти безликие картинки понадобилось увеличивать, вставлять в рамку и вешать на стены, которые они определенно не украшали.

Ральф рассматривал ближайшую из фотографий, думая о том, что с его уходом и она, и все остальные окончательно превратятся в загадку, потому что после его ухода никто уже не будет знать, что снимки эти сделаны Летунами. Просто Наружность. Они снимали ее как попало, важен был сам факт, приносили свои трофеи в Дом, увеличивали, вставляли в рам-

ки, под стекло, и развешивали в безоконной Комнате Ужасов на первом этаже. Комната Ужасов для того и существовала, чтобы выводить из равновесия. Дети Дома любили страшилки. В ужасохранилище имелись и другие экспонаты, но фотографии наружности являлись бесспорным гвоздем экспозиции.

Потом создатели Комнаты Ужасов ушли, а занявшие их место младшие до того невзлюбили оставленную им в наследство выставку, что ее пришлось ликвидировать. Фотографии перекочевали на третий этаж. Теперешние выпускники их никогда не видели, это произошло еще до их появления в Доме. Ральфу хотелось бы знать, какие чувства вызвали бы они у них. Может быть, просто удивление?

Снимки были сделаны марсианами. С полной отстраненностью. Наружность, как она есть. С ИХ точки зрения. Не красивая, не уродливая, просто никакая. Подспудно она вызывала неприятные ощущения даже у посторонних.

Ральф смотрел на фотографию, думая о том, что если бы ему предстояло удалиться из Дома в этот безликий, выхолощенный мир черно-белых улиц, он чувствовал бы себя намного хуже, чем чувствует сейчас, и как хорошо, что для него наружность – не такая, и как жаль, что нельзя поделиться своим знанием и ощущением наружности ни с кем из них.

Ящер и Акула ворвались в буфет одновременно, разразившись при виде Ральфа ликующими воплями. Крестная вошла тихо и незаметно и молча села за соседний столик.

– Я жду твоего заявления, скотина, а тебя все нет и нет!

Акула подтащил еще один стул, плюхнулся на него и со стоном распустил галстук.

– Потом мы бежим в твой чертов кабинет и находим это чертово заявление на столе! Ты даже не соизволил принести мне его на подпись! Собрался слинять втихую, так?

– Ты же сказал, что не собираешься его подписывать.

Акула покосился на стоящую под столом сумку Ральфа, поморщился и попросил Ящера взять и ему пирога.

– Две порции. Нет, одну. И омлет. И кофе. Мне срочно требуется восстановить силы.

Ящер отошел к окошку раздачи.

Крестная придвинула свой стул ближе к их столу.

– Вы удивили нас и расстроили. Неужели нельзя было обойтись без демонстраций?

Ральф пожал плечами.

– Можно. Но я не привык, что мною манипулируют.

Она вздохнула.

– Никто вами не манипулировал. Вы превратно истолковываете ситуацию.

Они молчали, пока Ящер не вернулся с подносом. Молчали, пока насыщался Акула. Руки Крестной лежали на столе – ладонь к ладони, белоснежные манжеты подчеркивали несвежесть скатерти, до ее появления выглядевшей вполне чистой. Ральф знал, что Крестная будет сидеть неподвижно, пока он не допьет свой чай, пока не наестся Акула, пока не перестанет ерзать Ящер. Как статуя. Ей не требуется занимать чем-то руки или рот, менять позу, говорить о пустяках, она умеет просто ждать. Это было невыносимо.

– Из вас получился бы хороший снайпер, – сказал Ральф.

– Простите?

Акула наставил на Ральфа вилку:

– Заметь, сам ты ничего не предложил. Ничего! А когда люди, мучительно ищущие выход из ситуации, внесли свои предложения, воспринял их в штыки и немедленно самоустранился. По-твоему, это честно? Вот чем тебе не понравилось решение о переносе даты? Оно ведь тебе тоже пришлось не по вкусу, я это заметил.

– Тогда ты наверняка заметил, что с этим решением я не спорил. Оно мне не нравится, но вполне может сработать.

– Ага! – воскликнул Акула. – Тебе не понравилось, что ты не включен в число посвященных, так?

– Не так. Точная дата меня не интересует. Тем более что вычислить ее будет несложно.

– Тогда чем, собственно, вам не понравилось это решение? – поинтересовалась Крестная.

– Жестокостью.

Его удивило негодование, отразившееся на лице Крестной.

– Жестокостью? – переспросила она, и голос ее дрогнул от сдерживаемых эмоций. – По-вашему, это более жестоко, чем то, что произошло семь лет назад?

– Нет. Поэтому я и не стал спорить.

Крестная смотрела на него, поджав губы. Не в первый раз Ральфу показалось, что она играет. В данный момент изображалось негодование, которого она не испытывала. Он не понимал, зачем ей это нужно, как не понимал, зачем она пришла уговаривать его остаться, сделав все возможное, чтобы он ушел. Он не понимал настолько многого из того, что делала эта женщина, что это уже начинало его утомлять. Акула с Ящером так увлеклись происходящим, что позабыли про свой кофе. Выражениями лиц они напоминали двух престарелых Логов. То же откровенное, беспардонное любопытство.

– Первое предложение – это обман, – сказал Ральф. – А второе – насилие. Насилия над своими подопечными я не потерплю.

Акула шумно выдохнул.

– Нельзя ли не так категорично? У меня от твоих выражений зубы начинают болеть.

На лице Крестной застыла смесь отвращения и усталости.

«А она краснеет от шеи, – подумал Ральф. – И это ее сильно старит. Чего она добивается? Власти? Главенствующего положения? Там, где скоро не над кем будет главенствовать? Или настолько боится выпуска, что действительно ищет выход из ситуации, а методы, которыми она при этом действует, просто свойство ее натуры?» Он не верил в это. Не верил в ее страх, во внезапно возникшее желание поверховодить и меньше всего в то, что она просто самозабвенно выполняет распоряжения директора. Крестная не была ни пуглива, ни услужлива, ни глупа, и то, что он не понимал ее мотивов, делало его уязвимым. Он не знал, с чем борется.

– Итак, – сказала Крестная, – нам остается положиться на вас. Если вы уверены в том, что ни один из ваших подопечных не представляет угрозы для остальных в момент выпуска, мы постараемся проникнуться вашей убежденностью и не станем принимать никаких дополнительных мер.

– Я вовсе не испытываю такой уверенности, – сказал Ральф.

– Я так и предполагала.

– Но я не уверен и в том, что ваши так называемые «обдуманные действия» не ухудшат ситуацию.

– Мы в этом тоже не уверены. Но предпочитаем действие бездействию.

– Иногда действие хуже бездействия.

Акула вертел головой, словно отслеживая прыжки мячика для пинг-понга. Крестная опустила очки на кончик носа и пронзила Ральфа учительским взглядом.

– Вы считаете, что выпускнику будет нанесен такой уж сильный вред тем, что для него выпуск состоится несколькими днями ранее?

– Смотря какому выпускнику, – сказал Ральф и осекся, поняв, что угодил в приготовленную для него ловушку.

– То есть… – ноздри Крестной хищно дрогнули. – вы считаете, что кому-то это нанесет вред, а кому-то нет?

– Можно сказать и так.

– А вы не находите, что именно личность, настолько не приспособленная к жизни вне Дома, что ей может повредить выпуск, что именно подобная личность опасна для окружающих?

Ральф промолчал.

Акула ухмылялся. Ящер старался не встречаться с Ральфом взглядом. Крестная потянулась через стол и положила ладонь ему на руку.

– Не будет никакого голосования, – сказала она твердо. – Мы доверимся вашему решению. Вы сами выберете того, кто наиболее опасен. Только вы – их воспитатель – знаете их настолько хорошо. И ваш долг, по возможности, оградить их от беды.

В тот вечер Ральф попытался напиться. Он пил в одиночестве, запершись у себя в кабинете, и почти добился поставленной цели, но в какой-то момент опьянение ускользнуло, оставив его с головной болью, в отвратительном настроении.

Решение уйти далось не в пример легче. Собирая вещи, печатая заявление, он ощущал растерянность от того, что все произошло слишком внезапно, но в то же время, знал, что поступает правильно. Единственно возможным в подобной ситуации образом. После разговора с Крестной ощущение собственной правоты исчезло. В глубине души Ральф понимал, что его согласие с планами Акулы и Крестной – капитуляция. Нельзя предавать одного, чтобы защитить многих.

Его мучило возложенное на него право выбора, и то, что он уже выбрал. Он не сомневался в том, что Слепой опасен, и еще более опасен станет в момент выпуска, но не сомневался и в том, что удаление его из Дома только ухудшит ситуацию. Кому-то это выйдет боком (он догадывался, кому), и этот кто-то, уж конечно, не был Крестной. Может, поэтому она и старалась его удержать. Им нужен козел отпущения. Ральф годился на эту роль.

– Козел, – шепнул он сам себе. – Ты пригодишься им в роли козла, дружище… или барана. Глупого жертвенного барашка.

Он поморщился, сознавая, что ведет себя как пьяный, хотя вовсе не пьян. Разве что слегка. Представляя предстоящий ему разговор со Сфинксом, после того, как Слепой будет удален, он трезвел стремительнее, чем от холодного душа.

Вряд ли это будет достойным выходом из положения, – напиться вдрызг и встретить Сфинкса пьяным бормотанием. Может, имело бы смысл прислушаться к Душеньке и убрать из Дома заодно и Сфинкса? Ральф, загибая пальцы, восстановил в памяти иерархическую лестницу четвертой. После Сфинкса у них не Лорд, нет, а Шакал Табаки, как это ни странно. Представив Шакала в роли хозяина Дома, Ральф улыбнулся, но улыбка почти сразу застыла, превратившись в безжизненный оскал. Можно будет не напиваться. Можно будет просто запереться на третьем и ждать. Табаки разнесет Дом по кирпичику, а уж потом, если повезет, вступит в переговоры. К тому времени все будут мечтать вернуть Слепого. А может, убрать и Шакала тоже?

Ральф зашел в ванную комнату, подержал голову под струей холодной воды и остервенело растер лицо полотенцем.

Перебирать кандидатуры не имело смысла. В четвертой опасен каждый. Даже бессловесный Македонский. Их лучше не доводить до крайности. Это следовало втолковать Акуле. В первую очередь ему, а дальше пусть сам разбирается с Крестной.

Ральф вспомнил, что случаи отправки из Дома некоторых учащихся иногда заканчивались их спешным возвращением. По разным причинам. Это должно было быть где-то зафиксировано. Бывший директор был педант и любил классифицировать схожие явления. У него наверняка где-нибудь хранилась папка с описанием всех подобных случаев. Было бы неплохо ее найти.

Головная боль притихла. Ральф знал, что все равно не уснет. Почему бы не сходить в библиотеку и не попытаться отыскать заветную папку? Идея показалась ему стоящей.

Он надел куртку, чтобы было куда класть фонарик, проверил в фонарике батарейки и вышел в ночь.

Одышливый старичок-сторож отворил дверь третьего этажа и ушаркал обратно в стеклянную будку то ли досыпать, то ли смотреть телевизор.

В коридорах третьего свет по ночам не гасили. Вытертая ковровая дорожка привела Ральфа в библиотеку. От библиотеки на первом эта отличалась компактностью, обилием специальной литературы и приличным состоянием книг.

Зажигая свет в отсеках между стеллажами, Ральф добрался до последнего отсека, где обширную нишу от пола до потолка занимали выдвижные металлические ящики с наклейками пояснений. На нижних ящиках надписи на наклейках читались легко, выше бумага серела, а буквы делались неразличимы, еще выше вместо наклеек на ящиках сохранились только их обрывки, а под потолком уже вообще ничего. Содержимое самых давних ящиков

представляло собой загадку. К счастью, Ральфу они не требовались.

Он выдвинул один из нижних ящиков и содрогнулся при виде плотно спрессованных в нем папок. Перетащив ящик на маленький стол в углу, он начал извлекать их. После первых двух папок дело пошло быстрее. Бегло просматривая их содержимое, Ральф откладывал в сторону скрепленные листы, стопку за стопкой, пока не убедился, что в ящике нет того, что его интересует. Тогда он убрал его на место и вытащил второй. Потом третий. И всякий раз оставались папки, которые он не мог запихнуть в положенные ящики. Ральф надеялся, что ему попадется хоть один полупустой, куда он их все свалит, и что после него на столе не останется груда бесхозных папок.

В какой-то момент, оторвавшись от работы, он обнаружил сидящего в кресле между стеллажами с книгами сторожа. Сторож, в неизменной фуражке с зеленым козырьком, то ли дремал, то ли следил за ним.

– Я знаю, что здесь нельзя курить, вы зря беспокоитесь, – сказал Ральф.

Сторож покачал головой.

– Мне интересно, что вы так упорно разыскиваете?

– Вас это не касается.

Ральф вернулся к папкам, но скоро понял, что выдохся. Присутствие постороннего не давало сосредоточиться. Просматривая бумаги, он с трудом вникал в их содержание. Затолкав папки в очередной ящик, Ральф решил больше не мучиться и дать, наконец, сторожу возможность выспаться, о чем тот, скорее всего, и намекал своим присутствием.

– Зря вы думаете, что меня это не касается, – сказал вдруг сторож.

Ральф медленно обернулся.

– Что? Что вы сказали?

– Я сказал, зря вы думаете, что меня это не касается, – повторил сторож. – Вы ведь в архиве бывшего директора роетесь, если я не ошибаюсь?

Ральф подошел к сторожу, пристально в него всматриваясь.

– Не ошибаетесь, – сказал он.

Сторож извлек из кармана рубашки белую трубку с обглоданным мундштуком. Прикусил мундштук, выпрямился и снял фуражку.

– Возможно, я мог бы помочь вам в этом деле.

Господи, подумал Ральф. Как он всегда любил драматичные сцены. Вот сейчас мне следовало рухнуть в обморок от потрясения. А я даже не ахнул. Как-то некрасиво с моей стороны.

– Да, – сказал он вслух. – Пожалуй, вы тот человек, который мне нужен.

Сторож обиделся.

– Можно было по крайней мере порадоваться такому везению, – сказал он, указывая трубкой на ряды ящиков. – Здесь работы не на одну ночь.

– Это шок, – объяснил Ральф. – Я в шоке. Я просто не нахожу слов.

Слова он как раз нашел те, что следовало. Сторож немедленно вскочил и заключил его в объятия. Ральф покорно снес этот натиск и в свою очередь похлопал бывшего директора по спине.

Тот отстранил его, изучая:

– Ну! Как ты, мальчик? – и снова обнял.

По-отечески, как думал он сам. По-гномьи, думалось Ральфу, чей подбородок уткнулся в макушку Старика, как все его называли. Старик мял его, тряс и ощупывал, пока не устал. Отпустив, сел отдышаться и вновь предложил свою помощь.

Ральф задвинул на место последний ящик.

– Я искал упоминания об исключенных, – сказал он. – О тех, кого забирали незадолго до выпуска. У них еще проявлялась иногда странная болезнь. Болезнь Потерявшихся, помните?

Старик задумался, сдвинув кустистые брови.

– Болезнь Потерявшихся, – пробормотал он. – Это не здесь. Это надо порыться в лазаретных архивах. Не такое уж частое явление, но бывало, бывало…

– А другие явления подобного рода случались?

Старик опять погрузился в размышления.

– Всякое бывало, – сказал он наконец. – Разное… Трудно сказать наверняка.

Ральф испытал глубокое разочарование. Мечтая о чуде, иногда рискуешь получить его, оставшись при этом ни с чем. На что ему сдался старый клоун? Он и в лучшие времена не видел ничего дальше своего носа.

Словно подтверждая его опасения, Старик пренебрежительно махнул рукой на архив.

– Там нет того, что тебя интересует, – заверил он. – Все здесь, хранится вот в этом месте, – он постучал себя по лбу. – Кладезь информации тут, а там просто никчемные бумажки.

С этими словами он схватил Ральфа под руку и потащил к выходу:

– Идем! Я расскажу тебе все, что помню, а помню я все!

Устрашенный этим обещанием, Ральф плелся за Стариком, а тот, не переставая говорить, щелкал выключателями, погружая библиотеку в темноту.

– Понимаешь… сегодня, увидев тебя, я подумал – надо открыться! Меня словно ударило! Надо, надо открыться, подумал я…

Комнатка сторожа – первая от лестницы – оказалась крохотной каморкой, битком набитой разномастной мебелью, подшивками старых журналов и часами. Часы занимали все пространство на стенах целиком, так что Ральфу даже показалось, что стены обклеены стеклянными бляшками вместо обоев, и только присмотревшись он понял свою ошибку. Это были часы. В основном настенные. Но среди них попадались и наручные, и даже будильники. Он замер, потрясенно рассматривая окружившие его со всех сторон циферблаты. Ни одни часы не шли. Стрелки показывали разное время, у многих часов они вообще отсутствовали. Отчего-то Ральфу вспомнилась бесконечная зимняя ночь, когда часы не желали отсчитывать время, а это было одним из воспоминаний, к которым он не любил возвращаться.

Старик стоял рядом, наслаждаясь его реакцией.

– Впечатляет, да? Я собирал их пятнадцать лет. Кое-что, конечно, не сохранилось, а какую-то часть здесь просто не удалось разместить. У меня под кроватью еще две коробки, и обе набиты битком.

Он повесил фуражку на дверь и, бочком протиснувшись между столом и диваном, потопал вглубь комнаты. Нагнувшись, зашарил в темном углу.

Ральф испугался, что сейчас ему предъявят невыставленные экземпляры испорченных часов, но когда Старик выпрямился, в руках у него была бутылка.

– Кто-то однажды заметил, что срок работы часов – любых часов – в Доме на удивление короток, – сказал он, обтирая бутыль подозрительного вида тряпкой. – Это и послужило толчком. Сначала я собирал только настенные. Те, что вешали в столовой и в классах. Другой на моем месте просто перестал бы их вешать, но я заинтересовался. Появился своего рода азарт…

Он торжественно водрузил бутылку на стол и полюбовался ею.

– Ведь никаких следов специальной порчи мы, как правило, не находили. Позже я сообразил, что существуют и наручные часы, и попросил уборщиц доставлять мне любые экземпляры, какие им попадутся в мусоре. Там уже не приходилось сомневаться в том, что их кто-то ломал. Растирал в порошок. Коллекция сразу разрослась. Через какое-то время я перестал брать совсем разбитые…

Ральф попытался рассмотреть этикетку на бутылке, но Старик погасил свет и включил слабенькую настольную лампу.

– Так лучше? Вообще-то посторонних коллекция слегка напрягает.

– Да, так лучше, – согласился Ральф. – Она действительно напрягает. Уж очень блестит.

– А я привык. Все дело в привычке. Мне без них даже неуютно.

Старик вручил Ральфу стакан и придвинул табурет, сам примостившись на застеленном пледом диванчике. В стакане оказалось вино.

– А что вы, собственно говоря, здесь делаете? – поинтересовался Ральф.

Вопрос прозвучал невежливо, но Старик, ждавший его давно, не обратил на это внимания. Он подался вперед, сжимая в горсти незажженную трубку.

– Наблюдаю. Отслеживаю развитие событий. В свое время я, сказать по правде, многое упустил.

«Практически все, что можно было упустить, – подумал Ральф. – Упустил, сидя в директорском кресле. А теперь надеешься за чем-то уследить из сторожевой будки».

– Решил проверить кое-какие теории, – Старик опрокинул в себя почти все содержимое стакана. – Та история продолжает меня мучить. Года два назад я понял, что должен вернуться. И вот – я здесь!

Прозвучало это так пафосно, что Ральф поморщился. Он знал, что следует быть терпимым, но Старик раздражал все сильнее. Его самомнение, самодовольство, дурацкая коллекция часов… у Ральфа и без того выдался нелегкий день.

– И многое вам отсюда доступно? – не удержался он. – Из этой комнаты и со сторожевого поста?

– Больше, чем ты думаешь, – таинственно обронил бывший директор.

И замолчал в ожидании расспросов. Но у Ральфа не было ни сил, ни желания изображать интерес. Пауза затягивалась.

– Спрашивай! – подсказал Старик, откидываясь на стопку старых журналов, которая немедленно расползлась под его тяжестью. Журналы попадали на пол. Старик сделал вид, что ничего не заметил.

– О чем? – мрачно спросил Ральф.

– О чем хочешь. У тебя что же, нет вопросов?

Вино оказалось приторно-сладким. Пить его было невозможно. Ральф подозревал, что, так или иначе, их беседа завершится обидой Старика и его, Ральфа, угрызениями совести, за то, что он ему эту обиду нанес. Старику требовался восторженный слушатель, а Ральфу эта роль всегда удавалась плохо. Он подержал во рту сладкий сироп и с величайшим отвращением проглотил.

– Боюсь, – начал он осторожно, – что на мои вопросы вы вряд ли сумеете ответить.

– А ты попробуй! Сомневаешься во мне?

Старик насупился.

– Ладно. Я все понял. Не хочешь, не надо. Навязываться не стану. Я просто думал, может, тебя заинтересует кое-какая информация. Мне показалось, ты в тупике.

Он опять наполнил стакан и осушил его в два глотка. С усилием подавил отрыжку и добавил:

– Эта Рексова бабка не так проста, как прикидывается. Она тот еще фрукт. Я думал, тебе не повредила бы моя помощь, раз уж ты вступил с ней в конфликт.

Ральф резко выпрямился.

– Что? – переспросил он, не доверяя своему слуху. – О ком вы говорите?

– О бабуле Рекса, о ком же еще? – Старик смотрел с удивлением. – Разве не с ней вы схлестнулись на собрании?

Ральф выпил свое вино залпом, не ощутив вкуса.

– Давайте еще раз, – попросил он. – С самого начала. Мы говорим об одном и том же человеке? О Крестной? Она доводится родственницей Стервятнику?

Старик кивнул.

– Ну да. Родная бабка. А ты не знал?

– Откуда у вас эта информация?

– Господи! – возмутился Старик. – Откуда! Оттуда, откуда была бы и у тебя, если бы ты удосужился пошевелить мозгами. У меня, знаешь ли, имелась привычка наводить о людях справки перед тем, как принимать их на работу. Среди отребья, которое понабрал сюда ваш новый директор, только один человек производит впечатление профессионала. Как тут было не заинтересоваться. Ни с того ни с сего такие, как она, не идут под начало к таким, как он. И я провел обычную проверку. Документы оказались липовыми. Тогда я просто заглянул в ее водительское удостоверение. Там значилась настоящая фамилия.

Старик перевел дух, с возмущением глядя на Ральфа.

– Только не говори, что тебе это даже не пришло в голову!

Ральф налил себе еще вина.

– Но это так. Я об этом вообще не задумывался. Удивился, когда она впервые здесь появилась, и только. Мне бы и в голову не пришло проверять ее документы. Мало ли, какие причины могли ее сюда привести.

Старика это признание так расстроило, что Ральф счел необходимым оправдаться:

– Поймите, я всегда был окружен здесь приличными людьми. Профессионалами. Я к этому привык. Для вас она стала неожиданностью, потому что не вы ее нанимали. А я просто порадовался, что хоть кто-то на той половине Дома будет соображать, что делает.

Старик покачал головой, но уже не так печально. Завуалированная лесть подействовала благотворно.

– Ладно, – сказал он. – Удивляться действительно нечему. Вы – молодые, не приучены работать с бумагами, все-то мы старались вас от этого оградить. Еще одна моя ошибка, как я понимаю.

– Не берите все на себя, – в приступе самоуничижения потребовал Ральф. – Не так уж я молод. Можно было и призадуматься.

Старик похлопал его по плечу, убрал со стола пустую бутылку и тут же извлек откуда-то из-за дивана другую. У Ральфа это вызвало нервный смех.

– А теперь, – попросил он, – объясните мне еще раз, какой я идиот. Скажите, чего она добивалась своими предложениями. Я так и не понял, с чего она вдруг начала демонстрировать всем, кто здесь главный, когда до выпуска остались считанные дни.

Старик оживился.

– Да. Именно. Считанные дни. А ей страх как не хочется, чтобы ее внук куда-то там выпустился. Потому что по завещанию покойного деда их фамильный особняк отходит ему. Так что ей либо придется жить с ним под одной крышей, либо искать себе пристанище, а в ее годы это не так-то просто.

Он задумчиво подергал себя за бороду.

– Полагаю, эти люди не ладили. Или ладили, а потом перестали ладить. В любом случае, дедуля подложил своей супруге большую свинью. Многие так поступают, хотя, казалось бы, что им за радость с того на том свете?

Ральф налил себе вина.

– А что с родителями?

– С родителями? О, там все печально. Мать покончила с собой в девятнадцать. Отец то ли был, то ли его не было. Личность уже не установишь. Дед с бабкой внучат сдали сюда еще при жизни матери, сразу после рождения, и плевать на них хотели до самой дедовой кончины. Справок, во всяком случае, не наводили. Дед, я думаю, так и плевал до конца, просто не придумал, чем еще можно напакостить своей благоверной. Явно люди не ладили, я же говорю.

– Вы – гений! – сказал Ральф без тени иронии.

Старик отмахнулся. Глаза его сияли.

– Все намного легче, чем кажется. Если имеешь источники информации. А у меня их, слава богу, до сих пор хватает.

Они выпили. Ральфу казалось, что внутренности у него слиплись. В голову самодельный сироп ударял тоже довольно крепко.

«У нас сегодня Ночь Сказок, – подумал Ральф. – Мы пьем и рассказываем друг другу страшные истории о Наружности. Я и бывший директор. Вернее, это он рассказывает, а я пока только слушаю. И уже пьян, как сапожник».

Внезапно ему пришла в голову мысль, заставившая его встряхнуться.

– Минуточку! – он даже привстал от волнения. – Я не совсем понимаю… она хочет убрать Стервятника из Дома, так? Надеется, что он этого не переживет. Ладно. Но мне было сказано, что они предоставляют право выбора мне. Что я сам должен решить, кто это будет! Выходит…

– Выходит, тебя надули, – пожал плечами Старик. – Или угадали?

– Нет. Не угадали.

– Значит, переубедят. И обставят все так, словно это твое решение.

Холодная ярость затопила Ральфа. Он ощутил ее, как озноб. Пытаясь унять эту внезапно возникшую дрожь, обхватил себя за плечи, но холод шел изнутри, сейчас его не спасла бы и шуба.

Пока он мучился угрызениями совести, пока терзался, воображая предстоящие разборки со Сфинксом, чертова старуха готовилась к отправке из Дома Стервятника. Он сам помог бы ей в этом завтра, приведя все доводы против увоза Слепого, накопившиеся у него за ночь. Ей осталось бы только согласиться и выдвинуть контрпредложение. Которое ему пришлось бы принять. Ведь в отличие от четвертой в третьей не было никого, кто мог бы занять место Стервятника. Третья просто впала бы в ступор. Возможно, в глазах Акулы это стало бы большим достижением в плане обеспечения безопасности. А самым отвратительным было то, насколько хорошо она его изучила, сидя на другой половине Дома, казалось бы, полностью погруженная в свои обязанности. Ральфа ужаснула мысль о том, что старуха пристально следила за ним более четырех лет, а он умудрился этого не заметить. Она следила за ним, за Стервятником и наверняка за всеми остальными. Она предугадала реакцию Ральфа на свои действия, вплоть до демонстративного ухода, и обставила все соответствующим образом, согласно своим планам. Одного она не учла – такого же хитрого старика-наблюдателя, затаившегося на сторожевом посту, у нее под боком.

Старик между тем упорно тыкал в Ральфа спасительным стаканчиком вина, волнуясь все сильнее.

– Эй, не напрягайся так, мальчик! Соберись! Ты спал с лица. На происки врагов следует отвечать достойно. Ты меня слышишь?

Ральф взял стакан, пока его не облили, осушил залпом и решительно отставил.

– Пожалуй, мне на сегодня хватит. Не то я могу кое-кого пришибить.

Бывшего директора это заявление привело в ужас.

– Нет, нет, ни в коем случае! Только не насилие! Ты себя погубишь!

Ральф встал, но обнаружив, что нетвердо держится на ногах, вновь опустился на табурет.

– Вы меня не поняли. Я не собираюсь ее убивать. Ни в коем случае. Месть сладка, когда подкрадывается незаметно. Вы сами делали это вино?

Старик так суетился вокруг него, что Ральфу стало неловко.

– Милый старый гном, – сказал он. – Не волнуйся, я в полном порядке.

Старика это почему-то не успокоило. Споткнувшись о шнур электрочайника, он повалился на груду журналов.

– Довольно, – сказал Ральф, поднимая его. – Я же сказал, все в порядке. Сейчас мы сядем и обсудим ситуацию. Вы поделитесь со мной опытом, посоветуете, как мне быть. Я буду вас слушать. И так далее.

– Прекрасно! – с жаром выкрикнул Старик, обнимая Ральфа. – Это замечательная идея! Мы так и поступим.

Следующий час Ральф делал вид, что слушает Старика. Истории сложных интриг времен его директорства. Иногда он поддакивал. Истории делались все запутаннее, Старик говорил все менее внятно. К концу четвертой бутылки вернулась головная боль и пропало чувство времени.

И хорошо… и славно… так и надо. Надо быть очень не в себе, чтобы сделать все, как следует. Очень и очень не в себе…

Внезапно погас свет.

Выглянув в коридор, Ральф обнаружил, что там тоже темно.

– Авария, – проворчал Старик. – Как некстати. Не успели договорить. Где-то там, в столе, у меня были свечи…

Выдвинув ящик стола и нашарив в нем пачку толстых свечей, Ральф зажег одну из них.

– А у меня был фонарик, – вспомнил он. – Но сейчас его нет. Кажется, я оставил его в

библиотеке. Вместе с курткой. Какое разгильдяйство!

Старик протянул ему блюдце. Капая на блюдечко воском, Ральф поразился тому, как это оказывается сложно, все время капать в одно и то же место. Заляпав полстола, он вернул Старику блюдце, вручил горящую свечу и сказал, что ему пора уходить.

Старик почти спал и не сильно огорчился.

– Точно пора? Тогда возьми еще одну свечу. И вообще, я должен тебя проводить. Запереть за тобой дверь и все такое. Ключи-то у меня. Я – здешний сторож, если ты не забыл!

Ральф заверил Старика, что ни в коем случае этого не забыл.

В коридор они вышли, сцепившись и покачиваясь. Ральф поддерживал бывшего директора под мышки, директор размахивал свечой, закапывая себя и Ральфа жгучим воском, и рассуждал о том, что лучшая месть – это, сидя на дне реки, ждать, пока мимо проплывет труп врага.

– Точно на дне? – усомнился Ральф. – Как водоросль?

– Именно, – подтвердил Старик. – Китайцы зря болтать не станут. Я не сказал, что это типично китайская месть?

Возле двери Ральф отобрал у Старика свечу и попробовал зажечь от нее вторую, но взволнованное дыхание повисшего у него на шее Старика всякий раз гасило ее, а под конец погасило обе. Ральф решил, что это даже к лучшему. Не хотелось бы оставлять Старика наедине с горящей свечой. Кое-как дотащив его до сторожевого поста, он, посветив зажигалкой, отыскал на настенном щите дубликат ключей от входной двери. Пристроил старика в продавленном кресле в углу, где тот немедленно захрапел, и пустился в обратный путь.

Свечу он зажег на лестничной клетке, после того, как запер за собой дверь. Спускаясь по лестнице – медленно, чтобы сохранить равновесие и чтобы свеча не погасла, – Ральф ощущал себя героем готического романа.

Его появление в темном коридоре второго этажа вызвало фурор. Он медленно брел, слушая восторженный шепот невидимых зрителей, держа перед собой свечу, мужчина в белой рубашке, с запавшими глазами и со слипшимися волосами. Ему мучительно не хватало подсвечника. Красивого, старинного подсвечника с витой ножкой, с ним он выглядел бы еще эффектнее. Еще хотелось большей устойчивости. И чтобы вокруг так не шуршали.

Коридор, которому полагалось привести Ральфа к двери его собственного кабинета, повел себя странно. Он трижды раздваивался, ставя Ральфа в тупик – по какому из ответвлений идти, и всякий раз Ральф сомневался, что выбрал верное направление.

Наконец, в каком-то мерзком, заваленном мусором углу – в Доме таких вообще не было, Ральф готов был в этом поклясться – его предупредительно взял под руку незнакомый мальчик и предложил проводить.

– Да, пожалуй, – согласился Ральф. – Кажется, я заблудился.

– Вас куда отвести?

Ральф осмотрел мальчика со всех сторон. Крыльев у него не было.

– Мне нужен кто-то, кто поможет осуществить страшную месть, – объяснил он. – Не китайскую. До китайской я еще не дозрел. Есть у тебя на примете подходящие личности?

Мальчик невозмутимо кивнул и зашагал впереди. Порядком уставший Ральф плелся следом. От свечи осталась половина. Пальцы уже не ощущали ожогов.

Мальчик привел его в уютную комнату и усадил в кресло с высокой спинкой. Ему дали отличный подсвечник, таблетку от головной боли и стакан воды. Ральф испугался, что заснет, и поспешил сообщить о цели своего визита.

– Я доносчик, – сказал он, сдирая с пальцев засохший воск. – Стукач. Стучу на своих. Разоблачаю происки Наружности.

К этому отнеслись с пониманием.

Воодушевленный Ральф рассказал все, что знал о Крестной.

– Предупредите Стервятника, – попросил он, закончив свою исповедь. – Скажите, что ему угрожает опасность.

Гостеприимные хозяева уютной комнаты уверили Ральфа, что непременно сделают это.

Обратного пути Ральф не запомнил.

Проснулся он на собственном диване. Внутренности жгло огнем, мочевой пузырь грозил лопнуть, но голова, как ни странно, не болела. Доковыляв до унитаза и облегчившись, Ральф с ужасом оглядел покрытые восковыми корками брюки. Рубашка выглядела немногим лучше. Умывшись, он кое-как счистил воск с перчатки и с ботинок, переоделся и вышел. Надо было успеть обработать Акулу до того, как за него примется Крестная.

Акулу он застал в полной прострации. Крестной поблизости не наблюдалось.

– Я пришел сделать заявление, – сказал Ральф.

– Вот только твоего заявления мне сейчас не хватало. Полюбуйся-ка на это.

Акула перебросил Ральфу листок бумаги.

– Как тебе это нравится?

Это было заявлением Крестной об уходе по семейным обстоятельствам. Глядя на размашистую подпись под датой, Ральф ощутил холодок, пробежавший по коже.

– Когда она его принесла?

– Она его не приносила! – взревел Акула, вскакивая. – Никто в этом чертовом заведении не удосуживается принести мне что-либо лично! Хотя она по крайней мере дотащила треклятую бумажку до кабинета. И прикнопила мне ее на дверь! Как это любезно с ее стороны, не правда ли? Кое-кто и тем себя не затруднил!

Акула пробежался по кабинету, яростно пиная мебель.

– Да за кого вы меня принимаете?! За свою престарелую глухонемую бабушку? У нее, видите ли, семейные обстоятельства! Нельзя даже зайти и объяснить, в чем дело! Мы так спешим, что еле успеваем написать заявление!

Дверь кабинета приоткрылась, в нее заглянул Ящер и, правильно оценив обстановку, поспешил скрыться. Ральф выждал, пока гнев Акулы немного уляжется.

– Кто-нибудь вообще видел ее сегодня? – спросил он.

– Я не видел! – фыркнул Акула. – А остальные меня не интересуют.

Остановившись, он оглядел Ральфа с головы до ног.

– Это что за сафари? – возмутился он. – Мало мне Шерифа с его рубахами, теперь еще ты будешь разгуливать в кедах? Форма одежды в рабочее время – костюм! Брюки, рубашка, пиджак! Желательно, галстук! В такую жару, как сейчас, я не настаиваю на пиджаке, но джинсы и майка – это уж чересчур. Нет, вы меня в могилу сведете, честное слово!

– Брюки от костюма заляпаны воском, – признался Ральф. – И ботинки тоже.

Акула бросил на него дикий взгляд и рухнул в кресло.

– В могилу! – повторил он, закрывая глаза.

Ральф почел за лучшее удалиться.

Он понимал, что Акула в панике. Уход Крестной он расценил как бегство, а то, что она сбежала именно сейчас, – необоримым страхом перед выпуском. Сам Акула боялся выпуска так сильно, что никакое другое объяснение ему бы и в голову не пришло.

Ральф заявлению тоже не поверил, но его терзали сомнения другого рода. «Что они с ней сделали?» – спрашивал он себя. В том, что что-то сделали *они,* он не сомневался, но что именно? Что могло заставить Крестную бежать из Дома?

В комнатке дежурного воспитателя сидела одинокая Овца. Против обыкновения, она не вязала, а листала журнал. На вопрос Ральфа о Крестной лишь удивленно заморгала.

– Подала заявление об уходе? Быть того не может! Нет, сегодня я ее не видела. Но ее дежурство начнется после двух, обычно она не спускается раньше. А заявление это, конечно, просто чья-то глупая шутка.

К трем часам Ральф выяснил, что Крестную в этот день не видел никто.

Ни на третьем этаже, ни на втором, ни во дворе. Комната ее была пуста и чисто прибрана, из гаража исчезла машина, и даже в комнате дежурного воспитателя не осталось ни одной мелочи, принадлежавшей ей.

В какой промежуток времени ей удалось уехать, уничтожив предварительно все следы своего пребывания в Доме, осталось загадкой.

Старик сторож клятвенно заверил Ральфа, что не отпирал Крестной дверей ни ночью, ни рано утром. Ральф ему верил. После его ухода Старика не разбудила бы и пожарная сирена, а запасные ключи, которыми мог бы воспользоваться любой воспитатель, так и остались у Ральфа.

Ральф знал, что дети Дома могут проникнуть куда угодно, но не представлял, как теми же труднопроходимыми путями может воспользоваться немолодая женщина. И, как он ни старался отогнать от себя эту картину, воображение вновь и вновь подсовывало ему сюрреалистическую сценку: похожие одновременно на деловитых черных муравьев и на зловещих ниндзя ребята, стаскивают вниз по водосточному желобу спеленатую, как мумия, неподвижную женщину. Иногда он видел вариации на ту же тему, где тело торжественно заносилось в подвал или заталкивалось в дворовый люк. Потом ниндзя-муравьи взлетали по натянутым веревкам к окнам третьего этажа и разбегались по комнате воспитательницы, собирая и пряча ее вещи в объемистые заплечные мешки. Видение, где задумчивый Стервятник ставил свою подпись на заявлении Крестной, сверяясь с каким-то подписанным ею документом, было более реалистичным, и от того еще более пугающим. По странному стечению обстоятельств, вожак Птиц славился своим умением подделывать почерки, которым гордился едва ли не больше, чем талантом взломщика. А вот чего Ральф при всем желании не мог представить, так это Крестную, оставляющую важный документ прикнопленным к двери директорского кабинета. Она бы так не поступила. Это был не ее стиль.

Ральф не поленился проверить подвал, чердак и все заброшенные комнаты на первых этажах обоих корпусов. Постеснялся только лезть в дворовый люк, отложив это на более темное время суток. В промежутках между поисками он еще раз посетил Акулу, убедил его не созывать внеочередное собрание и не удалять из Дома никого из учащихся, ведь бегство Крестной ясно свидетельствовало о том, что сама она сильно сомневалась в успехе своего предприятия. Акула, поломавшись для вида, согласился. Как показалось Ральфу, с облегчением.

Выходя от Акулы, Ральф столкнулся с Ящером, пожавшим ему руку. «Наша взяла!» – прошептал Ящер.

Шериф высказался еще определеннее:

– Ловко ты расправился с этой грымзой, старик, – сказал он, нежно дохнув в лицо Ральфу перегаром. – Так держать!

Шериф отмечал избавление от Крестной с утра, и к вечеру его уже нельзя было назвать вменяемым, но Ральф невольно задумался над тем, что же представляют воспитатели, поздравляя его с победой. И представив сцены, которые могли возникнуть в их воображении, бесповоротно передумал лазить в дворовый люк.

В течение дня Ральф не заходил в свой кабинет, а когда, наконец, добрался до него в десятом часу вечера, его ждал сюрприз.

Прямо посреди комнаты, на полу, стоял разлапистый бронзовый канделябр на две свечи. Одна его чашечка пустовала, в другой торчал покосившийся и оплывший огарок.

КУРИЛЬЩИК

«Отчего вы вернулись так скоро?» – поинтересовался Морд, мгновенно узнавая своих слуг путем многолетней практики.
Джон Леннон. Испанец в колесе

В коридоре синий сумрак и знакомый запах не пойми чего. Штукатурки? Сырости? Дождевых луж? Я стискиваю свою тощую сумку, в которой смена белья, альбом и коробка с гуашью. И еще дневник. На самом деле ему два дня от роду, но если судить по датам – больше недели. С помощью этой тетради я буду передавать Р Первому свои впечатления. То есть я стукач. Мне пока нелегко привыкнуть к этой мысли. Я буду записывать услышанное и увиденное, он – читать мои записи, выуживая дневник из мусорного бака общего туалета. И возвращать его на место по прочтении.

Он, наверное, тоже волнуется, хотя по нему не скажешь, даже если бы я мог видеть его лицо. Ни слова про наш уговор, и это хорошо, потому что мне было бы неприятно, заговори он об этом сейчас.

Я стараюсь смотреть только на сумку.

Чьи-то ноги мелькают, отступая к стене. Освобождая нам путь. Проплывает Перекресток. Из дверей второй вылетает Лог Мартышка и откатывается по полу, гневно вереща. При виде нас вскакивает, говорит: «Ух, ты!» – и забегает обратно в спальню. Я вижу все это нечетко, потому что стараюсь не открывать взгляд от сумки.

Наконец мы останавливаемся. Ральф разворачивает меня и барабанит в дверь. Так громко, что я вздрагиваю.

– Открыто! – кричит изнутри знакомый сварливый голос.

Я делаю глубокий вдох, но не успеваю выдохнуть, а Ральф уже таранит мною дверь. Вернее, он, конечно, открывает ее рукой, но мне кажется, что именно мной.

Первые три дня в Могильнике пролетели незаметно. Моими соседями по очереди были Дракон и Мартышка, потом Мартышка и Генофонд. В конце Викинг из второй, с вывихнутым пальцем. А потом я остался один и понял, что соседи – это хорошо. Даже когда они шумят, режутся в карты с утра до ночи, сплевывают везде шелуху от семечек и засоряют единственный унитаз.

В одиночестве меня стали одолевать невеселые мысли. Когда после обычного медосмотра тебе вдруг сообщают, что ты должен остаться в Могильнике – «без разговоров», и даже не дают самому съездить за вещами, это само по себе пугает, но когда и через неделю никто ничего не соизволяет объяснить, начинаешь думать, что, наверное, дела твои так плохи, что живым тебе отсюда уже не выбраться. Так что я приготовился к худшему.

Потом меня навестил Р Первый. Я не удивился, в конце концов он считался моим воспитателем, мог бы зайти и раньше.

Он сел на единственный, «докторский», стул и закинул ногу за ногу. В руках у него был какой-то плоский пакет.

– Ну, как поживаешь? – спросил он.

– Нормально, – ответил я. – Не жалуюсь.

– Хорошо, – сказал он. – Тебя кто-нибудь навещает здесь?

– Черный, – сказал я. – И два раза Лорд.

Первый слегка оживился.

– Лорд? Это интересно…

– Ничего интересного, – сказал я.

Лорд вручал мне мармелад, говорил «ну как ты?» и пристраивался играть с моими соседями в «Блэк Джек». Мне всегда казалось, что если уж ты приехал кого-то навестить, то надо с этим кем-то хоть немного пообщаться, но Лорд, видимо, так не считал. Он, по-моему, тут же забывал обо мне. Сразу по вручении мармелада.

Вот Черный вел себя по-человечески. Пересказывал последние новости, советовал не падать духом и даже пытался выяснить что-нибудь обо мне у Пауков. Он так ничего и не выяснил, но я был благодарен и за попытки. А один раз он принес мне собственноручно сделанный салат из помидоров, и я чуть не умер от умиления.

Все это я, конечно, не собирался пересказывать Ральфу, сказал только, что в визитах Лорда не было ничего интересного. И это было действительно так.

– Тебе, конечно, хочется знать, почему ты тут застрял? – спросил меня Р Первый.

– Еще бы мне этого не хотелось. Все твердят про какие-то анализы, но кроме тех анализов, после которых меня здесь оставили, других я не сдавал. Почему они не перепроверили те, старые, вот чего я не понимаю.

Я вдруг ужасно разволновался. Сообразил, что Р Первый все таки мой воспитатель, может, ему сказали то, чего не хотят говорить мне.

– С тобой все в порядке, – сказал он. – Ты абсолютно здоров.

Я уставился на него во все глаза.

– Это мое распоряжение, – сказал он. – Это я просил подержать тебя здесь некоторое

время.

Я и тут ни о чем не стал спрашивать. Наверное, от удивления. Уж очень спокойно он держался, признаваясь в таких вещах. В том, что я, по его милости, чего только не передумал, можно сказать, приготовился к смерти.

– Мне звонил твой отец, – сказал Р Первый. – И сказал, что ты просил не забирать тебя. Оставить в Доме до общего выпуска. Когда ты говорил с ним?

– Ночью, после собрания. По телефону. Из учительской. Мне показали, как туда попасть.

Он кивнул, как будто ему это было прекрасно известно и без моих объяснений.

– Тебя интересует выпуск? – спросил он. – Ты хотел бы увидеть его?

Я не ответил. Зачем отвечать на дурацкие вопросы. Если бы я хотел уехать, не стал бы звонить домой, чтоб за мной не приезжали.

Ральф в первый раз повернулся ко мне левым профилем, и я увидел у него под глазом здоровенный фингал. Меня это обрадовало, что кто-то ему как следует врезал. От души. У него даже кожа на скуле треснула.

– Меня тоже интересует выпуск, – сказал он. – Хотелось бы иметь больше информации о том, что творится в Доме. Именно сейчас.

Я, наконец, сообразил, чего он добивается, но виду не подал. Сделал удивленное лицо, якобы ничего не понимаю.

Он смотрел пристально, и глаза у него были такие, как будто это не он сейчас сказал то, что сказал. Честные. В жизни не подумаешь, что человек с такими глазами станет делать из тебя стукача.

– Не прикидывайся, – сказал он. – Ты все понял.

– Это вас предыдущий кандидат в стукачи так ободрал?

Он потрогал свой синяк пальцем и сказал, что не хочет со мной ссориться. Так и сказал.

– Я тоже не хочу ни с кем ссориться. Так что вы лучше сразу скажите, что мне будет, если я не соглашусь. Чтобы я знал.

Я был уверен, он скажет, что меня продержат в Могильнике до выпуска. Это хуже, чем отправка домой, потому что намного скучнее. А никаких других угроз у него в запасе быть не могло.

Он встал. Вытащил из своего пакета толстую тетрадь, положил ее мне на постель и отошел к окну. Выглянул в него и вернулся.

– Ничего не будет, – сказал он. – В любом случае, тебя завтра выпишут.

Я не понял, в чем здесь подвох. Звучало это совершенно не угрожающе.

– Тогда какой мне смысл стучать? – спросил я. – Из любви к искусству?

Он промолчал. Опять сел на стул. Взял тетрадь и пролистал ее. Тетрадь была совершенно чистая. Он сказал:

– Рассказчик из меня плохой. Но я все же попробую рассказать тебе кое-что о прошлом выпуске. И о позапрошлом. Если после этого ты откажешься мне помогать, я не стану настаивать. Ты просто вернешься в четвертую и постараешься забыть о нашем разговоре.

Он не спросил, согласен ли я его слушать. Просто начал рассказывать. Не вдаваясь в подробности, как будто нарочно неинтересно и сухо, но от этого то, о чем он говорил, звучало только жутче – как заметка в газете без лишних соплей.

– Это правда? – спросил я, когда он замолчал.

Спрашивая, уже знал, что да – правда. Я видел, как Слепой убил Помпея. Я видел Рыжего той ночью, когда его пытались зарезать. И как все спокойно это восприняли и в одном, и в другом случае. Я знал, что никто в Доме не называет Слепого убийцей даже про себя, потому что никто его убийцей не считает. Кроме меня. Никто не перестал общаться с ним, никого не напрягало его присутствие. Я выставил себя полным идиотом, не надев его рубашку в ночь убийства. Для них было нормально многое, что для меня – за гранью, и – да, я верил, что те, кто был здесь до них, немного на них похожие, могли поубивать друг друга в финале своей Большой игры. Я так и не отказался от этого слова, просто признал, что в Игре все всерьез, а не понарошку, а финал всерьез – это и есть что-то наподобие того, о чем рас-

сказал мне Ральф.

– Это правда, – сказал он. А потом спросил, веду ли я дневник.

В первой все вели дневники. Читать их, должно быть, было еще скучнее, чем заполнять.

Я сказал, что у меня сохранился старый дневник, но я давно в нем только рисую.

– Можешь рисовать и в этой тетради, – сказал он. – Но и писать придется. Никого не удивит, что ты заново стал вести дневник в Могильнике, здесь ведь довольно скучно.

– Но я пока еще не согласился, – сказал я.

– Разве нет? – он опять пощупал свой синяк. – А мне было показалось, что я тебя убедил.

И я взял у него тетрадь.

Я сижу на своем старом месте, между Табаки и Лордом. Свет выключен, магнитофон завывает в ногах кровати, все молчат. Длится это уже дольше двух часов. Может, это такая безмолвная Ночь Сказок. А может, они просто наслаждаются музыкой. Лучше не уточнять, потому что ты или дышишь в унисон со стаей и знаешь все обо всем, или не дышишь и не знаешь, и раздражаешь окружающих.

Поэтому честно слушаю музыку, любуюсь красными огоньками магнитофона и курю. За один этот вечер я уже выкурил больше, чем за все время пребывания в Могильнике.

Одна из сумеречных теней, слоняющихся вокруг кровати, подсаживается ко мне.

– Как ты себя чувствуешь, Курильщик?

Это Слепой. Непривычно любезный.

– Нормально. То есть хорошо, – отвечаю я.

– Что все-таки с тобой стряслось, если не секрет?

Вот именно, что секрет.

– Родители попросили досконально меня обследовать, – говорю я. – Раз уж все равно не будет экзаменов и уроки закончились. А у меня оказался понижен гемоглобин и…

В этот момент кто-то включает свет. Я зажмуриваюсь, а открыв глаза, начисто забываю, что собирался сказать.

Потому что впервые после Могильника вижу Слепого при свете, а выглядит он так, словно его от души потерли наждачной бумагой. Щеки, подбородок, шею. В общем, это, скорее, мне бы следовало спрашивать, как он поживает. Я, конечно, не спрашиваю. Кое-как собравшись с мыслями, начинаю опять про гемоглобин, но Слепой, не дослушав, встает и уходит. Вообще из спальни. Если его не интересовал ответ, зачем было спрашивать? Или он вдруг вспомнил, что заразен? Чтобы успокоиться, я опять закуриваю.

Лорд зевает, зажмурившись, и больше уже глаз не открывает. Зевок отлетает от него и начинает перемещаться по лицам. На мне размножается в целую серию. Должно быть, это нервное. Я зеваю и зеваю, пока глаза не начинают слезится. Плачущими глазами смотрю на Сфинкса. Он сидит на полу, опираясь спиной о дверцу шкафа. Нет чтобы поинтересоваться, как я себя чувствую. Он, правда, тоже глядит на меня. Но тем отрешенным взглядом, который Горбач обзывает «туманным». Под «туманным» испытываешь ощущение сквозняка. Ты лежишь себе, покуривая, а на тебя откуда-то немилосердно дует. И чтобы перестать, наконец, зевать и дрожать, я спрашиваю:

– У Слепого что, аллергия?

Табаки неторопливо откладывает вязальную спицу, кончиком которой ковырялся в ухе.

– Вообще-то это Болезнь Потерявшихся, – говорит он. – Но можно называть ее аллергией, если хочется.

Я молча жду.

Он тоже ждет. Моих вопросов.

Не дождавшись, опять берется за спицу.

– Б. П. – это такая штука, которая бывает только у нас, у людей Дома. Если мы вдруг оказываемся в Наружности и теряемся там. Говорят, это такая метка, которой Дом метит

своих. Тех, кому в Наружности делать нечего.

Я немедленно заглатываю наживку и уже готов выклянчивать у него подробности, но меня опережает Лорд.

– Это что-то новое, – говорит он, нахмурившись. Ему пришлось открыть глаза, и его это не радует. – Мне ты такого не говорил.

– А ты не спрашивал, – пожимает плечами Шакал. – Спросил бы, получил бы ответ.

Лорд хмурит брови и собирает на лбу паутинку морщин. Зловещий признак для любого, знакомого с его повадками, кроме Табаки.

– По-настоящему я видел Б. П. всего два раза, – не спеша начинает он свой рассказ. – В первый раз, когда Зубр погнался за каким-то наружным дразнильщиком, а потом не сразу нашел дорогу домой, а второй – когда у Волка случился приступ лунатизма, и он ушел из Дома, а потом его что-то где-то разбудило. Про остальные случаи я только слышал. У Пауков насчет Болезни свое мнение, если оно кого интересует, можно съездить и спросить, но я бы на это время не тратил. Вручат брошюрку, где будет написано: «Если у вас аллергия на кошек, держитесь от них подальше», а при чем здесь кошки и где они видели такую аллергию, можно не спрашивать, все равно не ответят.

– Погоди, – прерываю я монолог Табаки. – А Слепой как очутился в Наружности? У него что, тоже случился приступ лунатизма?

– У него случился Ральф, – фыркает Табаки. – Это самая душераздирающая история за последние полгода, уж поверь. Я даже песню не смог о ней сочинить, до того она меня напугала.

Он делает провокационно длинную паузу и продолжает:

– Представь себе, Курильщик, в один прекрасный день, вернее, вечер, старина Ральф, которого мы считали человеком достойным и выдержанным, вдруг хватает нашего вожака и увозит прочь из Дома. И где-то в Наружности подвергает допросу с пристрастием. Можно сказать, даже пыткам. Потому что Б. П. – это очень чесучая штука. А когда ты ее начинаешь чесать, очень кровавая.

Я оглядываюсь на Сфинкса. Верить Табаки или не верить? Сфинкс молча пожимает плечами. «Скорее да, чем нет», – так можно расшифровать этот жест, и я снова поворачиваюсь к Шакалу, которого уже не остановить, даже выстрелом в упор.

– Ты спросишь, чем было вызвано подобное надругательство над личностью нашего вожака, и я отвечу тебе – не знаю, потому что его истинные причины остались для нас загадкой. Предлогом стало увольнение воспитательницы Крестной. Была у девушек такая. Она уволилась и уехала, а Р Первый с чего-то вообразил, что мы как-то к этому причастны, хотя это просто смешно. Мы даже не знали ее толком.

– Тогда с чего он взял, что…

– Вот именно, – закивал Табаки. – С чего?!

– Она ведь только у девушек…

– Вот именно. О чем я и твержу!

– Но может быть…

– Не может!

– Ты дашь мне спросить? – взрываюсь я.

– Не дам! То есть спрашивай, конечно.

– Где-то в паре кварталов отсюда нашли ее брошенную машину, – вмешивается Сфинкс. – Потом выяснилось, что после ухода из Дома ее никто не видел. Так что она теперь считается пропавшей без вести.

– А при чем здесь Слепой?

– А это ты у Ральфа спроси.

– Псих, он и есть псих, – подводит итог этой истории Табаки. – Может, ему просто нужен был предлог, чтобы кого-то помучить. Психи непредсказуемы.

Я незаметно дотрагиваюсь до лежащей рядом сумки. Там – мой стукаческий дневник. Неужели я связался с психом? Или они на самом деле что-то сделали с той женщиной? Но мне никак не вообразить, зачем им это могло бы понадобиться. Табаки прав, какое Слепому дело до девчачьей воспитательницы. А может, с ней что-то сделали девушки?

Нашариваю в кармане сигареты. Опустив голову, чтобы никто не видел выражения моего лица. Закуриваю и разражаюсь кашлем, потому что курить уже давно пора перестать.

Вот он – Дом. Во всей красе. Сидишь и таращишься в стену или в потолок. Слушая музыку или не слушая. Помираешь от скуки и беспрерывно куришь, чтоб хоть чем-то себя занять. А в это время вокруг бродят зарастающие чешуей вожаки, Дом ставит или не ставит на тебя свою метку, единственный нормальный с виду воспитатель оказывается чокнутым, в воздухе витают вирусы неизвестных науке болезней, и все это в конечном итоге может оказаться выдумками Шакала, который обожает запугивать всех страшными историями.

– Это Слепой Ральфа так разукрасил? – спрашиваю я.

Лорд нехотя кивает.

– А ты думал? – немедленно включается Табаки. – Человека похищают. Подвергают допросам и пыткам. Понятное дело, он станет сопротивляться. Понятное дело, при этом кое-кто может и пострадать. Ральфа кстати, можно к суду притянуть за противозаконные действия. За преднамеренную порчу вожака накануне выпуска. На что это похоже, когда вожак все спит да спит, как какой-нибудь сурок, а когда просыпается, только чешется и даже толком рассказать ничего не может.

– Или не хочет, – поправляет Табаки Слепой из-за приоткрытой двери. – Может, он предоставляет это тем, у кого лучше получается.

– Спасибо, – Табаки, ничуть не смущенный присутствием Слепого при нашем разговоре, спрашивает, почему голос его дорогого вожака доносится откуда-то снизу.

– Потому что я лежу на полу, – отвечает Слепой. – Подстелил себе банное полотенце и лежу. А вы беседуйте, не стесняйтесь. Представьте, что меня здесь нет.

Македонский протягивает мне стакан с чем-то темным. Явно не с чаем.

– «Горная сосна», – предупреждает он шепотом. – Пей осторожнее.

И тут я опять вспоминаю о дневнике. Не пора ли начать его заполнять? Хотя бы историями Шакала. Пролистав в Могильнике дневники известных людей (Ральф взял для меня в библиотеке целую кучу таких книг), я понял, что те, кто вел дневники, часто пропускали дни. Иногда даже целые недели. Но мне такой вариант не подходит, потому что первый отчет я должен представить послезавтра. Значит, пора приучать стаю к своему дневнику. Чем раньше, тем лучше.

Несмотря на призыв Слепого продолжать беседу, все молчат, и я, поставив стакан с чем-то коричневым, пахнущим хвоей, на одну из тарелок Табаки, достаю из сумки заветную тетрадь. Открываю, записываю дату и впадаю в ступор. Фраза «вот я и вновь в четвертой» звучит просто пошло, но ничего другого в голову не приходит. Помучившись, я записываю ее, с горящими от стыда ушами, и добавляю: «Встретили меня без особого восторга».

Табаки читает написанное, сопя и вздыхая мне в ухо.

– О, ты стал вести дневник? Что, совсем нечего было делать?

– На самом деле это довольно интересно, – объясняю я. – Пройдет несколько лет, я открою его, прочту то, что написал сегодня, и все вспомнится. То есть, конечно, не все, но основные события дня.

– Например, что «встретили тебя без особого восторга», – кивает Табаки. – Очень важное событие, а главное, приятно будет вспомнить.

– Дневник должен быть честным. Если встретили без восторга, так и надо писать.

– А если восторг был, но спрятанный в душе? – интересуется Табаки.

– Я пишу о том, что вижу, а не о том, где от меня чего спрятали.

– Понятно. И мои теории будешь пересказывать? Насчет Болезни.

– Попробую.

– Ты не сумеешь как надо. Я уверен. Все переиначишь на свой лад. Все писуны так делают. Ни словечка как было, все, как им померещилось.

Пожимаю плечами.

– Я постараюсь писать, как было.

– Ерунда! – Табаки выхватывает у меня из-под носа тетрадь. – Не сможешь. Дай я лучше сам запишу, чтобы быть уверенным, что ты ничего не исказишь.

– Эй, погоди, дай хоть вступление закончить!

– Зачем? Разве ты не вспомнишь, что я брал его на заполнение? Или ты собираешься перечитывать свои записи в полном маразме?

Стукаческий дневник уволакивается в другой конец кровати, где Табаки, на всякий случай отгородившись от меня подушкой, приступает к изложению своих страшноватых теорий.

Вот и первая неожиданность для Ральфа.

Делаю глоток из стакана и замираю, поперхнувшись. Там что-то обжигающее губы, горькое как полынь, воняющее растерзанной елкой. Дыхание долго не восстанавливается.

Лорд эту хвойную смесь пьет, как воду, не меняясь в лице. Сфинкс пихнул в свой стакан соломинку толщиной с медицинский шланг. То ли они свои «Горные сосны» сильно разбавили, то ли уже притерпелись.

– А где Горбач? – спрашиваю я.

– Поселился на дубе, – отвечает Лорд. – Скоро неделя, как они с Нанеттой там живут. Его прозвали друидом, и к ним туда зачастили паломники.

– Оставляют под дубом всякие подношения, – добавляет Шакал. – Иногда вкусные. Корзиночки с зернами и все такое.

– С зернами? – переспрашиваю я. – Он питается зерном?

– Не он, дурачина, Нанетта. Хотя вообще-то и она предпочитает колбасу. Теперь у нас обе верхние кровати освободились, и там ночуют девчонки.

Мне делается грустно. Ничего не имею против Русалки, но вторая ночная гостья, наверняка Рыжая, которую я переношу с трудом. Я делаю еще глоток – действительно постепенно привыкая к «Сосне», и дополняю образ Дома очередным безумным штрихом. Горбачом в роли Тарзана.

За дверью тихая возня, стук, и входит Рыжая с серым котом под мышкой. Одним из тех трех, которых нипочем не отличишь друг от друга.

– Привет, – говорит она мне. – С возвращением.

Со стуком роняет кота на пол и садится рядом со Сфинксом.

– Что там Слепой делает перед дверью?

– Подслушивает, – объясняет Лорд. – Сообразил, что самые интересные разговоры имеют место в его отсутствие. Так что он вроде бы отсутствует.

– Ах, вот как? Тогда мне, наверное, не следовало его замечать.

– Не следовало, – соглашается Лорд.

Кот гуляет по одеялу, задрав толстый хвост, и обнюхивает наши ноги. Громадный котище цвета пепла и мышиных спинок. Под воздействием «Сосны» очертания сидящего напротив Лорда подозрительно расплываются, а кот начинает смахивать на гигантскую крысу. Коты эти – все трое – смущают меня. Мне в их присутствии всегда немного не по себе.

Дверь еще раз грохает, и в спальню вваливаются Стервятник с Красавицей.

У Стервятника в руках горшок с кактусом, у Красавицы – какой-то шест с обмотанной тряпкой верхушкой. Следом входит Слепой с полотенцем.

– А вот и мы! – игриво сообщает Стервятник. – Сегодня вчетвером.

Лорд сбрасывает на пол две подушки. Стервятник садится на одну из них, Красавица, прислонив к шкафу свой шест, остается на ногах. Стервятник так туго стянул свою косичку, что глаза его стали раскосыми. Подчеркивая эту раскосость, он еще подвел их карандашом до самых висков. Из-за этого он выглядит непривычно, как будто собрался на маскарад. А Красавица, наоборот, пришел по-домашнему, в тапочках.

Как только все рассаживаются и Македонский выключает свет, Табаки начинает вопить, что ему ни черта не видно и что он не может делать записи. Специально для него включают настенную лампу. Я и забыл, что он все еще строчит в моем дневнике. Бедняга Р Первый. Псих ты или не псих, а разбирать каракули Табаки радости мало.

Рыжая жалуется Сфинксу на Кошатницу – хозяйку трех высокомерных котов. Стервятник делится со Слепым планами организации своих похорон.

– Прошу поместить меня в стеклянный саркофаг и не оплакивать дольше суток.

– А как же бедные Птички? – спрашивает Слепой.

– Птичек можете замуровать рядом. Их и все мои кактусы. Процедура будет подробно описана в завещании, так что не беспокойся ни о чем.

– Как поживаешь, Курильщик? – застенчиво спрашивает Красавица.

Протягивает руку, чтобы поздороваться, и опрокидывает стакан с «Сосной». И жутко расстраивается. Просто ужасно. По одеялу растекается коричневая дорожка.

Македонский дает мне полотенце.

– Вытрись, Курильщик, ты облился.

Я вытираюсь, пожимаю руку Красавице, говорю ему: «Привет-привет! Не обращай внимания, это просто спирт», – и пытаюсь отползти от лужицы с еловым запахом, пропитывающей одеяло, но отползать мне некуда, слева – Лорд, справа – загородочная подушка Шакала.

– Как в старину погребали, с лошадьми и с челядью, – мечтательно говорит Стервятник. – Так и меня прошу схоронить среди кактусов. На каждое веко положите по серебряному ключику, а в руки – две скрещенные отмычки…

– Прости меня, пожалуйста, Курильщик, – просит Красавица. – Это я во всем виноват! Я всегда и во всем виноват! Всегда!

– Чушь какая! – возмущаюсь я и лезу в карман за платком, но вместо платка там тлеющий окурок, о который я обжигаю пальцы, и это очень больно.

– Кстати, как поживает моя родственница? – спрашивает Стервятник Слепого. – В добром ли она здравии? Не нуждается ли в чем?

Мне не слышно, что отвечает Слепой, но видно, как он зачем-то показывает Стервятнику ладонь.

– Ай-ай-ай! – качает головой Стервятник. – Ну до чего все-таки злобное создание!

Я решаю, что они обсуждают один из подаренных Стервятником кактусов, и переключаюсь на Рыжую.

– Кажется, ей мало осталось, – говорит она Сфинксу. – Все время спит и все чаще нас путает. Даже коты перестали на ней валяться.

Сфинкс говорит, что это печально.

– Как сказать, – пожимает плечами Рыжая. – Может, все даже к лучшему.

Я знал, что эта девчонка чудовище, и Сфинкс, наверное, тоже об этом знал, потому что не приходит в ужас от ее слов.

Чудовище достает из рюкзака потрепанного плюшевого мишку и сажает к себе на колени. Строит из себя невинного ребенка.

Мне делается худо от ее повадок и всех этих разговоров о смерти, похоронах и всем таком прочем. Я ложусь лицом к динамику магнитофона, чтобы никого больше не слышать.

Но здесь меня настигает не пойми откуда взявшийся Лэри.

– Даже если Пауки нашли у тебя что-то нехорошее, это еще не конец, парень, это еще не конец, – говорит он, протягивая мне пачку моих же сигарет.

– Спасибо, – говорю я. – Ты меня здорово утешил.

Будит меня Табаки.

В спальне никого, кроме нас двоих. Очень солнечно и жарко. Полкровати застелено, аккурат до того места, где лежу я. Табаки в трех майках разной длины, и никаких тебе пуговиц. Я вспоминаю, что и вчера их на нем не заметил. Должно быть, этот период в его жизни миновал.

Тру лицо, чешу голову, зеваю.

– Поехали! – требует Табаки нетерпеливо. – Сейчас самое время для визитов. Давай, одевайся скорее!

В голову мне летит неопрятный ком. Я его разворачиваю, и оказывается, что это моя рубашка. Мятая, в коричневых пятнах, с прожженным насквозь нагрудным карманом. Я просовываю в него палец, и он чернеет. Решаю остаться в майке, в которой спал. Она тоже

не очень чистая, но в ней я по крайней мере не буду выглядеть убийцей.

Табаки отползает к краю кровати и с грохотом падает на пол. Проделал бы он такой фокус в Могильнике, его на неделю запечатали бы в гипс. Ручной и ножной. Чтобы избавить от вредных привычек.

Визиты начинаются с заезда в Кофейник. Мы занимаем столик у окна, и Табаки заказывает два кофе и булочки. Народу в Кофейнике немного. Четыре зевающих Пса поедают омлет.

– Разве здесь подают такое? По-моему, раньше давали только булки, – говорю я, не совсем уверенный в своей правоте, потому что никогда не был завсегдатаем Кофейника.

– Теперь – подают. В столовой почти никто не завтракает, и Акула разрешил перебрасывать сюда кое-какие продукты. Здесь их разогревают, и получается жуткая гадость. Очень и очень не советую.

– А где все? Почему так мало народу?

Табаки достает из-за уха сигарету, нюхает ее и придвигает к себе пепельницу.

– Все – это кто? – придирчиво спрашивает он.

– Ну, наши все…

– Не знаю. Вот посидим, поболтаем и поедем в гости к Горбачу. И будет нас трое.

Мы допиваем кофе в гробовом молчании. Это так непохоже на Табаки, что я чувствую себя все неуютнее.

Псы доедают свой подогретый завтрак и уходят. Я вдруг вспоминаю, о чем хотел спросить Табаки.

– Слушай, а где мой дневник? Куда ты его дел вчера?

Он смотрит удивленно.

– Твой что? Ах, дневник! Где-то в спальне валяется, наверное. Я его к себе не клал.

Он хлопает по пухлому рюкзаку, притороченному к спинке Мустанга. Рюкзак этот так набит, что перевесил бы самого Шакала, если бы он не подвешивал к подножке специальные гирьки-утяжелители. Они звякают и брякают при езде, и вообще, наверное, ужасно мешают, но Табаки в восторге от своей идеи и не собирается с ними расставаться. Ему, кажется, даже нравится этот грохот и лязг.

Я зачем-то начинаю рассказывать о том, как одиноко и скучно мне было в Могильнике, и как я даже не мог поползать, чтобы не потерять форму. В Могильнике ползанье не приветствуется. И курение. И чтение по ночам.

Табаки слушает меня с интересом.

– Ужас какой! – говорит он, когда я, наконец, перестаю жаловаться. – Теперь я, наверное, даже есть не смогу. А если и смогу, то без аппетита. Страшное место Могильник, я всегда это знал.

Я говорю, что на самом деле все не так страшно, что там даже комфортнее, чем в Клетке, что дергают и мешают спать только в часы обходов, а все остальное время можно наслаждаться покоем и тишиной, но Табаки опять повторяет, что давно не слышал ничего ужаснее этих историй.

– Обходы… – бормочет он, – подумать только, какой кошмар!

– Неужели ты ни разу не бывал в Могильнике? – изумляюсь я.

– Не бывал. И теперь уже вряд ли успею. Только это, знаешь ли, утешает при мысли о выпуске.

Кто-то хлопает меня по спине и говорит, что рад нашей встрече. Это Черный. С пакетом молока, из которого торчит соломинка. Он садится на край нашего столика и спрашивает, как я поживаю.

– Отлично, – говорю я.

– Ужас, ужас, – возражает Табаки, раскачиваясь в Мустанге. – Не слушай его, Черный, он только что рассказал кошмарные вещи о Могильнике, я даже не стану их повторять.

Черный подмигивает мне тем глазом, который не виден Табаки.

– А что говорит об этом Сфинкс?

– А Сфинкс ничего и не слышал. Его здесь не было.

– Я говорю, что он говорит о его возвращении, а не о Могильнике.

– О возвращении Курильщика он пока не говорит, – охотно делится Табаки. – И уже, наверное, не скажет. Он говорит сразу или вообще ничего не говорит. И потом, говори не говори, если его вернули, что уж тут поделаешь.

– Ну… – Черный залпом допивает молоко, комкает картонный пакет и забрасывает его в урну. – Я к тому, что если он что-то все-таки скажет, я готов взять Курильщика к себе. В любой момент. Так и передай ему, когда увидишь.

Он встает со стола, расправляет за собой скатерть, говорит нам:

– Привет, – и уходит.

– Добрая душа, – бесится Табаки. – Готов прибавить еще одного Пса к уже имеющимся восемнадцати, если Сфинкс поведет себя как старая перечница и скажет что-то не то. Я сейчас заплачу от умиления!

– Слушай, ты обещал сводить меня к Горбачу, – напоминаю я. – Может, мы уже поедем?

– Может быть, – мрачно бормочет Табаки. – Если ты не считаешь, что я должен немедленно передать Сфинксу послание главного Пса, пока оно еще дымится.

– Я так не считаю. Послание подождет.

– Тогда поехали, – Табаки достает из рюкзака мятую бейсболку ядовито-зеленого цвета, расправляет и нахлобучивает на копну торчащих волос. – Я готов. Не забудь сигареты, а то их сразу сметут, чуть отъедем.

Во дворе теплее, чем в Доме. Группа Логов под стеной принимает солнечные ванны в одежде, распластавшись в живописных позах. Тихо приветствуют нас из-под фуражек, когда мы проезжаем мимо.

– Как после расстрела, – говорит Табаки. – Только крови не видно.

Дуб отбрасывает густую синюю тень. На корявом стволе пляшут солнечные зайчики. Табаки останавливается, въехав на газон, и долго копается в рюкзаке.

– Это целая система, – объясняет он. – У каждого визитера свой сигнал, и, желательно, причина для визита. Так он намекнул, чтобы не очень донимали. А то, знаешь, пошли слухи, что он якобы предсказывает будущее, и народ хлынул сюда стадами. Вытоптали весь газон. Вот ведь, как странно. Достаточно влезть на дерево, и тебя уже считают оракулом.

Не переставая болтать, он достает из рюкзака гармошку, обмахивает ее и, приложив к губам, начинает наигрывать «Дождевую песню».

Я смотрю на дуб. Снизу не разберешь, где там палатка Горбача и где сам Горбач, только маячит что-то матерчатое, полузаслоненное ветками. Я всматриваюсь в этот лоскут, щурясь от протыкающих листья солнечных лучиков, и фантазирую, что это сушатся на бельевой веревке подштанники Горбача, и что где-то там, в вышине, у него развешаны по сучьям котелки и плошки, и связки сушеных желудей, и что, может даже, он там готовит неведомые смеси из дубовых листьев, вороньего помета и майских жуков. Пока я представляю все это, он спускается сам, загорелый, как головешка, обросший и полуголый – настоящий отшельник, только белки глаз сверкают в зарослях волос, и на шее что-то позвякивает.

Садится в развилку двух толстых веток, скрестив голые ноги. Не высоко и не низко, нам не дотянуться, но ходячий бы смог, если бы постарался.

– Привет, – взмахивает гармошкой Табаки. – Видишь, что делается? Курильщик опять возвратился. И теперь уж останется до выпуска. Кто бы мог подумать, а?

– Действительно, – вежливо соглашается Горбач. – Кто бы…

Он в одних трусах, какой-то потертый ремешок стягивает волосы на лбу. Наверное, чтобы хоть что-то видеть. Нисколько не удивлен сообщением Шакала. Да и странно было бы, удивись он, меня-то он увидел до того, как ему все объяснили.

Сообщая последние новости, Табаки оглядывает дуб и сидящего над нами Горбача с видом гида, демонстрирующего заезжему туристу главную местную достопримечательность. Я – как турист, и Горбач – как достопримечательность, молчим. Он рассматривает газонную траву и валяющихся в отдалении Логов, я – ветки дуба и его босые ноги.

– Ну и что ты на все это скажешь? – требовательно спрашивает Табаки, покончив с новостями.

– Скажу? – Горбач рассеянно глядит вверх. – Скажу, что все, наверное, к лучшему. Что я еще могу сказать? Извините, но тут не очень удобно сидеть.

Он кивает нам, без тени улыбки, встает и скрывается среди веток. Шуршит там, поднимаясь выше, и больше мы его не видим.

– Слыхал? Куда там оракулам древности, – восхищенно вздыхает Табаки. – Потому его и не оставляют в покое. Что он швыряется такими избитыми сентенциями.

Мы катаемся по двору, поглядывая на дуб, в кроне которого скрывается ушедший от мира Горбач. Внезапно Табаки останавливается.

– Есть еще кое-что, на что тебе стоило бы взглянуть, – говорит он. – Погуляй минут пять и приезжай в класс. Я там пока все подготовлю.

– Что подготовишь?

Таинственно улыбнувшись, Шакал отъезжает.

Я с тревогой слежу, как он приближается к пандусу. При подъеме гирек будет явно недостаточно, чтобы удержать коляску. Рюкзак перевесит.

Но Табаки на ходу извлекает из кармашка на спинке Мустанга веревку с кошкой, разматывает ее и лихо забрасывает на крыльцо, с первой попытки зацепив крючьями за перила. Даже не дернув за веревку, чтобы убедится, что крюк не соскользнет, он взлетает по пандусу, перебирая по ней руками. Уже на крыльце не удерживается и оглядывается на меня. Видел ли я, оценил ли?

Я видел и оценил, и, смотав свое абордажное приспособление, довольный Табаки скрывается в дверях.

Между первым и вторым этажами я натыкаюсь на Лэри. Он тоже здорово загорел и отрастил клочковатую бородку. Вчера я его не разглядел, как следует.

– Привет, Курильщик, – говорит он. – Ты как, здоров теперь? Ничего не болит?

Я говорю, что все в порядке, и спрашиваю, не знает ли он, что за достопримечательность собирается показать мне Табаки в классе.

– Это его коллекция, – пренебрежительно машет рукой Лэри. – Ерунда всякая. Куча хлама, по правде говоря. Но не вздумай его так назвать. Табаки тебя просто убьет.

Я говорю:

– Спасибо, что предупредил.

Лэри говорит:

– Не за что, старик.

Он спускается загорать, а я поднимаюсь глядеть на коллекцию.

Коллекция действительно оказывается кучей хлама. Сваленной посреди класса. Столы отодвинуты к стенам, наверное, чтобы освободить ей место. На одном столе сидит Русалка, спрятавшись под волосами, так, что только кончики кед торчат. Табаки, застывший у подножья коллекционной горы, сам кажется ее фрагментом. Ожившим экспонатом.

– Ну? – спрашивает он. – Как тебе все это?

Придав лицу вдумчивое выражение, объезжаю коллекцию. Большого впечатления она не производит. Обычная барахолка. Пара картин, две огромные фотографии Перекрестка, наклеенные на деревянные щиты, ржавая птичья клетка, огромный сапог, потрепанный пуф, пыльная коробка с кассетами и разложенные на стульях мелочи – коробочки, книги, кулоны и тому подобная чепуха.

Делаю еще один круг.

Дальше ездить вокруг коллекции невозможно, и я говорю Табаки:

– Очень мило. И что все это означает?

– Как? Ты не помнишь? Я еще при тебе начал ее собирать! Это все ничейные вещи! Совсем-совсем ничьи. Никто их не признает своими. Никто их не помнит у других. Они вдруг всплывают где-нибудь, сами по себе, совершенно таинственным образом.

– Ага, – говорю я. – Понятно.

Ничего мне, конечно, не понятно. Как эти вещи могут быть ничьими? Ясно, что тех, кто ими пользовался, сейчас в Доме нет, ну и что? Дом пропустил через себя столько народу, кто может утверждать, что знает хозяина каждой вещи, которую здесь можно найти?

– Ну, скажи, скажи все это вслух, – ворчит Шакал. – Хватит прикидываться. Я же вижу, куда кренит твои мысли.

– Видишь, и молодец, – говорю я. – Желаю твоей коллекции удачного пополнения.

Русалка соскакивает со стола и подбегает ко мне, позвякивая колокольчиками в волосах.

– Ты не веришь? Но это правда совсем ничье.

Русалка мне нравится. Она похожа на котенка. Не открыточного пушистика, а бездомного, тощего, с невозможно красивыми глазами. Таких подбираешь, даже если они к тебе не лезут.

И я говорю – конечно, я верю, верю, что все, что вы здесь насобирали, совсем ничье, никому не принадлежит, и, конечно, это удивительно и странно находить такие вот вещи, я только не понимаю, зачем это нужно.

Табаки глядит на меня чуть ли не с жалостью.

– Понимаешь, – говорит он, – жизнь не течет по прямой. Она – как расходящиеся по воде круги. На каждом круге повторяются старые истории, чуть изменившись, но никто этого не замечает. Никто не узнает их. Принято думать, что время, в котором ты, – новенькое, с иголочки, только что вытканное. А в природе всегда повторяется один и тот же узор. Их на самом деле совсем не много, этих узоров.

– Но при чем здесь это старье?

Он обиженно вздыхает.

– При том, что море, например, всегда выбрасывает на берег одно и то же, и всегда разное. Если при тебе приплыл сучок, это еще не значит, что в прошлый раз не было ракушки. Поэтому умный соберет все в кучку, добавит в нее то, что собрано другими, а потом рассказы о том, что приплывало в старые времена. И будет знать, что приносит море.

Табаки не издевается. Он абсолютно серьезен. Но звучит все сказанное как бред сумасшедшего. Русалка слушает его, широко распахнув глаза, светясь от восторга. Я думаю о том, какой она, в сущности, ребенок, и о том, что сам Табаки – тоже порядочный младенец.

– Это ничьи вещи, – настойчиво повторяет Табаки. – У них нет хозяина. Но для чего-то же они пролежали по углам потерянными столько времени? Для чего-то вдруг нашлись? Может, в них спрятано какое-то волшебство. Вокруг нас разбросаны ответы на любые вопросы, надо только суметь отыскать их. Начавший искать становится охотником.

Солнце бьет в оконные стекла. Прищурившись, гляжу в окно. Будь Табаки один, мне было бы легче, но их, свихнувшихся охотников за старьем, двое, и второй – девчонка, которая любит сказки. Поэтому я говорю только:

– Все это ужасно интересно. Я не совсем понял, но, наверное, все так и есть, как ты говоришь.

На лбу у Русалки появляются две морщинки. Беленькие, почти незаметные. А Табаки съеживается.

– Вот только не надо нас жалеть, – говорит Русалка. – Мы ведь не для того тебя позвали, чтобы ты нас жалел.

Бросаю прощальный взгляд на охотничьи трофеи Шакала и выезжаю из класса. Кажется, мы поссорились.

Полчаса я трачу на поиски своего дневника. Тетради нигде не видно. Я проверяю ящики стола и книжные полки, заглядываю в тумбочки, слезаю на пол и заглядываю под кровати, но его нет и там. Наконец, спрашиваю Македонского.

– Такая толстая коричневая тетрадь? – уточняет он. – Вроде я ее где-то видел.

Он подходит к ящику Толстого, склоняется над ним, и говорит:

– Ну вот… опять запасается топливом. Отдай эту штуку, слышишь, эй! Она чужая.

Толстый отвечает невнятным гульканьем. Македонский поворачивается ко мне с дневником в руках, вытирает его и говорит виновато:

– Он его слегка ободрал, ничего? Это я не проследил. Надо было проверить, чем он

там шелестит.

Я принимаю изуродованный дневник. Переплет весь изжеван, половина страниц вырвана. К счастью, незаполненных. Толстый начал с конца.

– Спасибо, – говорю я. – Пожалуй, им еще можно пользоваться.

Македонский смущенно разводит руками.

Я листаю исписанные страницы. Которых что-то подозрительно много. Читаю первый попавшийся абзац: «Стебли кактусов также бывают поражены гнилью, вирусными болезнями, кактусной тлей или клещиками. Лечат их срезанием пораженных частей и препаратами, содержащими медь». Неужели Табаки незаметно для себя самого перешел от Слепого к кактусам?

– Ничего не понимаю, – говорю я. – Какие-то вирусные кактусы…

Македонский заглядывает в тетрадь.

– Это почерк Стервятника, – объясняет он. – Наверное, вчера ему твой дневник подвернулся, он и записал в него кое-что на память. Тебе это очень неприятно?

Я с ужасом перелистываю страницы. Одну, вторую, третью…

«Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о необъяснимой с точки зрения официальной медицины избирательности данного заболевания, поражающего в первую очередь лиц, не приспособленных к полноценному существованию в рамках социума, в данном конкретном случае обозначаемом спорным термином „Наружность“».

«Дорогой Курильщик, Табаки предложил мне записать что-нибудь в эту тетрадь тебе на память. Я не очень представляю, что именно пишут на память…»

«Глохидии легко обламываются и проникают под кожу, вызывая зуд. Нежные белые колючки некоторых маммилярий и серебристые волосы старичков цефалоцереусов…»

– Тут, по-моему, отметился каждый, – с горечью говорю я. – Теперь это не дневник, а памятный альбом.

Перелистываю тетрадь до чистых страниц и замечаю какие-то проколотости, похожие на тянущиеся друг за другом многоточия.

– А в конце его еще кто-то искусал, – говорю я. – Хотя, нет. В самом конце его жевал Толстый.

Македонский присматривается и проводит по дырочкам пальцем.

– Это шрифтом Брайля, – объясняет он. – Слепой что-то написал. У него есть такой тупой гвоздь…

– Ага, – киваю я. – Памятное письмо. Я прочту его на старости лет, когда совсем ослепну и научусь читать по Брайлю. Совсем здорово!

Македонский вздыхает.

– Слушай, давай я дам тебе другую тетрадь? Почти такую же. Все равно Толстый и переплет тоже попортил.

– Не надо мне другую тетрадь. Как-нибудь обойдусь, – говорю я. – Ты извини, что я разворчался. Ты-то здесь совершенно ни при чем.

Он пожимает плечами.

– Смотри. А то можно еще положить под стопку книг. Страницы немного расправятся.

Македонский приносит клей, и мы кое-как приводим в порядок ободранный переплет. Потом кладем на тетрадь все книги, сколько их имеется в спальне. Потом Македонский заваривает чай. Пить чай в такую жару не особенно приятно. В Могильнике приносили охлажденный, со льдом, но Могильные привычки пора уже забыть.

Македонский показывает мне мешочек Толстого. Это совсем детский рюкзачок, набитый катышками жеваной бумаги.

– Подкормка для костра, – говорит Македонский. – Он уже давно их собирает.

А потом он говорит, что мне, пожалуй, стоит вырвать из дневника ту страницу, на которой отметился Слепой.

– Зачем? – спрашиваю я. – Она не страшнее тех, где писал Табаки.

– Но ты же не знаешь, что именно он написал, – настаивает Македонский. – И для кого.

– Что значит – для кого?

Македонский смотрит сквозь меня. Куда-то в переносицу. Пожимает плечами.

– Мало ли…

От его намеков мне делается жарко.

– Разве кто-нибудь в Доме умеет читать по Брайлю?

Он опять пожимает плечами.

– Кое-кто умеет. Ральф, например, – и дипломатично отводит взгляд.

Я молчу. В спальне душно. Солнце плавит оконные стекла. Македонский не смотрит на меня, а я не смотрю на него. Я знаю, чего стыжусь я, но мне непонятно, чего стыдится он. Отчего выглядит таким виноватым.

– Спасибо, – говорю я. – Я так и сделаю. Вырву эти страницы.

Он молча кивает.

Выписки из дневника Курильщика

В Доме, на первый взгляд, ничего не изменилось. Подъемы и отбои как не соблюдались, так и не соблюдаются. Ночью стая увлеченно обсуждала каких-то «Иерихончиков», которые «возвестят конец», а под утро Табаки разбудил всех, крича: «Вот он, я его поймал!» Когда включили свет, он сидел под столом с фонариком, а вокруг валялись осколки цветочного горшка.

Русалка ткет ковер или что-то вроде ковра. По цвету он похож на шахматную доску. Перед сном это вязание вешается на стену, и Русалка спит под ним. По ее словам, такая паутина защищает от плохих снов, а по словам Сфинкса, она, наоборот, крадет сны и запутывает их в нерасплетаемые клубки.

Горбач по-прежнему живет на дубе. А Лэри ночует на первом. Логи создали на первом что-то вроде палаточного городка и «держатся наготове». То есть целыми днями обсуждают свои перочинные ножи и разрисовывают окрестные стены.

О выпуске никто не говорит, но часто упоминают какой-то автобус.

…«когда мы будем в автобусе», или «когда он приедет за нами», или что-нибудь про жизнь на колесах. Я так и не понял, что это за автобус и существует ли он на самом деле. Возможно, это такой оборот речи, чтобы не упоминать лишний раз Наружность.

С того времени, как я не оценил его коллекцию по достоинству, Табаки называет меня или «дитя», или «эта молодежь».

Иерихончики – это такие маленькие существа, которые не видны при электрическом свете, а солнца боятся, так что обнаружить их практически невозможно. С каждым днем в Доме их все больше, а перед самым выпуском они соберутся в огромном количестве и начнут вопить как резаные. Тут-то всем нам и конец придет – потому что Дом, понятное дело, рухнет.

Табаки. «Объяснения прописных истин любопытствующей молодежи».

Сегодня в Кофейнике я спросил висящего на стойке Рыжего, что означает его татуировка. Он был без майки, и я увидел у него на груди изображение человека с собачьей головой. Хотел завести то, что Табаки называет светской беседой, и как всегда влип. Он сказал, что это Бог мертвых Анубис. «Скажем прямо, покровитель покойничков».

Рыжий положил голову в сгиб локтя и отчего-то загрустил. Мне показалось, что он не совсем трезвый, хотя перед ним стоял только кофе. Все уставились на нас. Это было неприятно, и я поскорее отъехал от стойки. Но Рыжий вдруг встряхнулся, отлип от стойки и сцапал меня за рукав.

– А я его Ангел в Верхнем Мире! Его хренов посланник, ясно тебе! – завопил он, дергая меня за одежду. Когда вокруг начали собираться любопытные, он отпустил меня и сбежал. По-моему, у него депрессия от передозировки зеленого. От того, что он не снимает зеленые очки.

Прочел на стене:

«Братья и Сестры, не валяйте дурака. ОН уже близко». Умник.

«Ночью будет проведена очистная кампания. Тем, кто на третьем круге, явка необязательна». Свой Человек.

Македонский сложил у себя под кроватью груду кастрюлек и чашек. До этого он целый час мыл их и протирал.

– Пригодятся, – сказал он, когда я в третий раз заглянул под кровать.

– Где пригодятся? – спросил я.

– Да где угодно, – ответил Македонский и стянул одеяло пониже, прикрывая свой склад.

Хотя о выпуске не говорят (автобусы и Иерихончики не в счет), близость его ощущается. Девушки, например, часто плачут. Глаза у них красные и опухшие, во всяком случае, у тех троих, которых я вижу каждый день. Русалка живет в нашей спальне, Рыжая иногда приходит ночевать. Спица появляется по вечерам одолжить кофеварку для Логов. И все ужасно дерганые, так что с ними боишься заговаривать. Особенно Рыжая. Она везде таскает с собой древнего плюшевого медведя, у которого один глаз из стекла, а другой пуговичный. Если его щелкнуть, поднимется облачко душной, коричневой пыли и запахнет чем-то очень старым, так что сразу представится, что с ним играла еще ее прабабушка, и он уже тогда был не новый. Этого страшного мишку Рыжая вечно кладет рядом со мной, а если я прошу его убрать, глаза у нее делаются злыми и несчастными, как будто я смертельно ее обидел.

В Доме траур. Начался ремонт, которым так долго всех запугивали. Всюду понатыкали стремянок, и штукатурщики в комбинезонах соскребают со стен рисунки и надписи. Народ, не вынеся такого надругательства, разбежался по спальням. Чистить начали с лазаретной площадки и потихоньку продвигаются к Перекрестку. Я выбрался поглядеть, на что это похоже. Вообще-то на что угодно, только не на наш коридор. Стены грязные и какие-то обскобленные, сплошь в шрамах. Светлее не стало, стало как-то унылее.

«Крови! Я жажду крови!» – периодически вопит Табаки. Именно в тот момент, когда о чем-нибудь задумаешься и расслабишься.

Все пакуют рюкзаки. Носят их с собой в коридоры и обратно в спальни, распаковывают и опять собирают. Как на кого не взглянешь, он занят своим рюкзаком. Очень жарко.

«Война с девушками» – это когда Шакал въезжает с криком: «Они! Опять!» – и все вскакивают, а потом опять садятся, вернувшись к своим делам. В это время группки мрачных девиц вваливаются в Кофейник и занимают его часа на два, чтобы потом с тем же грозным видом удалиться. Не совсем понятно, почему это называется войной и почему парни прячутся по спальням, уступая девушкам коридор, но при этом делают вид, что у них этот коридор отняли силой. Подозреваю, что все это придумано от скуки, такими как Лэри и Шакал, которым надо чем-то себя будоражить и запугивать.

Штукатуры все замазали, подровняли и переместились на первый этаж. Стремянки и защитная пленка на полу остались. Говорят, завтра прибудут маляры.

Лагерь Логов на первом временно свернут. Лэри вернулся в спальню. Логи теперь весь день торчат во дворе, потому что от вида коридоров им не по себе, а находиться в спальнях они уже отвыкли.

– Я – на охоту, – говорит Табаки, выруливая утром из спальни. К подножке его Мустанга каждый день добавляется еще одна гирька, но рюкзак тяжелеет быстрее. Ездит Табаки, гремя и позвякивая, как скобяная лавка на колесах.

– Он уже как Белый Рыцарь, – говорит Лорд. – Падает через каждые два-три метра. В конце концов покалечится.

– Положимся на его везение, – говорит Сфинкс. – Не отнимать же у него рюкзак. Это будет похуже нашествия Иерихончиков.

– Нет, конечно, – пугается Лорд. – Лучше уж тогда сразу в автобус.

– Что за автобус такой? – спрашиваю я Лэри после завтрака. – Про который все кругом говорят.

Он зевает, как крокодил, и уныло таращится.

– Автобус? Да нет никакого автобуса, ты чего? Откуда бы он взялся? Просто болтают люди. Кто-то пошутил, а остальные подхватили.

– И ты подхватил? Ты тоже все время о нем болтаешь.

– Я? – он почему-то обижается. – Ничего я не подхватывал. Зачем мне это? У меня своих проблем хватает.

– То есть тебе это ни к чему. Тебе и так хорошо.

Лэри совсем мрачнеет.

– Конечно, мне хорошо. Я – что? Мне скажут – автобус, я и сяду в него.

– Сядешь в придуманный автобус? – не веря своим ушам, уточняю я.

– Надо будет сесть – сяду, – Лэри нервно оглядывается и нагибается ко мне. Левый глаз его жутко косит.

– Странные у тебя вопросы какие-то, Курильщик, – говорит он шепотом. – Не нравятся мне они, понятно? Ты лучше езжай своей дорогой, а то у меня дела. Не до тебя мне, понятно?

Прочел на стене: «Непрестанно размышляя, открыл Закон Непротивления. За справками обращаться в шестую с 3.00 до 3.05». Большой Брат.

Ко мне подходит Крысенок Белобрюх и, стесняясь, просит написать о нем в «той своей тетрадке».

– Зачем? – удивляюсь я.

– Чтоб я там тоже был.

Смотрит умоляюще, щеки вымазаны шоколадом, сам как будто лет на пять младше, чем все здешние.

– Слушай, а вообще-то сколько тебе лет? – спрашиваю я его.

– Шестнадцать, – говорит Белобрюх, сразу мрачнея. – Ну и что?

– Зачем тебе нужно быть в моем дневнике? Только честно.

– Это мой первый круг, – признается он убитым тоном. – Я должен фиксироваться, где только смогу, а не то вылечу.

– Куда? – я уже почти завываю. – Куда ты вылетишь?!

Белобрюх глядит на меня с ужасом и пятится. Я еду на него, а он, видно, не понимает, что только для того, чтобы извиниться, потому что разворачивается и улепетывает со всех ног, не оглядываясь, и никакие мои «постой!» и «эй!» на него не действуют.

Сфинкс говорит, что если я буду пугать малолеток, он надает мне по шее.

«Это он меня напугал, а не я его».

Утром просыпаюсь от какой-то возни у окна. Открываю глаза и вижу, что все сгрудились у подоконника. Что-то обсуждают, спорят и кричат.

– Говорю вам, это Соломон и Дон вернулись! – орет Шакал. – С отрядом мстите-

лей-единомышленников! Вот увидите, я угадал!

– А я вот считаю, что это люди из соседних домов, – высказывает предположение Лэри. – Явились требовать, чтобы Дом поскорее сносили. Устали уже ждать.

– Да нет же, это точно чьи-то родители! – волнуется Рыжая. – Только родители способны на такое.

– Ты думаешь, там могут быть наши бабушки? – с ужасом спрашивает Слепой. Он тоже торчит у подоконника, но наружу, конечно, не высовывается.

– Почему именно бабушки? – удивляется Рыжая.

– Что там такое? – кричу я. – Что случилось?

Ко мне оборачивается только Сфинкс.

– Там палатки. Возле самого Дома, – объясняет он. – Четыре штуки.

– Кемпинг! – орет Табаки, повисший на оконной решетке. – Целый кемпинг мстителей!

Я начинаю одеваться. Почему-то в страшной спешке. На подоконник мне не взобраться, даже если с него все слезут, но я все равно веду себя так, как будто сейчас встану, растолкаю всех и тоже посмотрю.

Единственный, кто остался на кровати, кроме меня, – Лорд. Курит и делает вид, что ему на все наплевать.

– Бабушки как раз вряд ли поселились бы в палатках, – говорит Рыжая. – Мне так кажется…

Рыжая стоит на подоконнике в полный рост, в куцей маечке на бретельках и в трусах. Майка не дотягивает до пупка, а трусики у нее ярко-красные, под цвет волос. Под мышкой зажат пыльный мишка. Я соображаю, что Лорду это вовсе не нравится. Что он потому сидит такой мрачный, что Рыжая торчит в окне полуголая, хотя ему бы лучше порадоваться, что не совсем голышом. Она и без майки бы там запросто встала, уж я-то знаю.

– У Слепого паранойя, – хихикает Табаки. – В последнее время ему везде мерещатся чьи-нибудь бабушки. Он просто потерял из-за них покой.

– А почему не дедушки? – спрашивает Русалка.

– Интересно, когда они вылезут наружу? – говорит Лэри.

Я уже одет и подползаю к краю кровати, поближе к ним. Не посмотреть, так послушать. Македонский, заметив мой интерес, подходит к кровати.

– Хочешь поглядеть? Ползи к окну, я тебя подсажу.

– Не надо, – говорю я.

Пока я ползу к окну, Русалка с него слезает. Она в мужской пижаме, которая велика ей размера на три. Рукава она подвернула, но штанины болтаются, как у клоуна. Рыжая, держась за решетку, протягивает мне руку и втаскивает наверх, почти без помощи подталкивающего снизу Македонского.

И вот я наконец их вижу. Четыре палатки. Две защитного цвета, одна оранжевая и одна тускло-синяя. Стоят они действительно вплотную к сетке, как будто Дом вырастил их на себе за ночь, как грибы.

– Мне кажется, это экстремалы из шестой, – задумчиво говорит Сфинкс. – Может, Черный решил начать приучать их к наружности. Поэтапно.

– Пойдем во двор? – кричит Рыжая. – Поглядим на них вблизи?

– А завтрак? – возмущается Шакал. – Вы все совсем уже перестали завтракать. Мне одному в столовой скучно!

Я смотрю на палатки дольше всех, потому что последним их увидел и потому что не могу слезть. Всем уже надоело обсуждать это явление, и через некоторое время я остаюсь на подоконнике один. Македонский, снимая меня, старательно отворачивается от окна.

– Ты чего? – спрашиваю я его.

Он пожимает плечами.

– Так. Неинтересно.

Почему-то я ему не верю.

В коридоре все дружно мрачнеют и надевают темные очки. Стены уже не страшные. Они теперь светло-кремовые, ровные и чистенькие. Вот только ужасно воняет краской.

– Мы теперь как продолжение Могильника, – сокрушается Лэри. – Как жить?

Остальные помалкивают.

Во дворе собралось уже пол-Дома. Многие в пижамах. Становится ясно, что Сфинкс, во всяком случае, ошибся. Псы шестой здесь не при чем. Им так же не терпится выяснить, кто прячется в палатках, как всем остальным. Даже Братья Поросята здесь, сидят рядком, сдвинув коляски, и глазеют, с одинаково приоткрытыми ртами. К сетке, правда, никто не рискует приблизиться.

Наконец, полог одной из палаток откидывается, выпуская троих. В мешковатых комбинезонах защитного цвета. Бритых наголо. С пустыми глазами, один в один, как у медведя Рыжей. Желания познакомиться с ними ни у кого не возникает. Наоборот, все, кто стоял ближе к сетке, отходят от нее подальше. Когда через пару минут я оглядываюсь, мне кажется, что во дворе нас стало намного меньше.

Один из палаточников прижимается к сетке, изобразив на лице улыбку. Я на предельной скорости откатываюсь к крыльцу и, только уперевшись колесами в лестницу, понимаю, что еще никогда в жизни еще не ездил задом наперед так быстро. Лэри обгоняет меня и взлетает вверх по ступенькам.

– Пустая шкура! – бормочет он на бегу. – Пустая шкура!

Логи один за другим скрываются в дверях.

Палаточник просовывает сквозь ячейки сетки пальцы и что-то говорит. Продолжая улыбаться. Лучше бы он этого не делал. Легче было бы смотреть, как это делает медведь Рыжей. Двор стремительно пустеет.

Мимо меня проезжают Братья Поросята, и каждый задевает мою коляску, потому что я торчу под самой лестницей. Потом пробегают Зебра и Мертвец, толкая перед собой зареванного Слона, и чуть не переворачивают. Одним из последних беглецов оказывается Шакал.

– Чего они хотят? – спрашиваю я его. – Кто они такие?

– Пустые шкуры, – отвечает он деловито, разматывая веревку с абордажным крюком. – Ищут того, кто, как им кажется, их заполнит.

– Я ничего не понял! – кричу я ему, но он уже на крыльце, яростно обсуждает что-то с Рыжим и не слышит меня.

СЛЕПОЙ

– В мирозданье есть три царства, – ответил старец. – Это царство без наваждений, царство наваждений и царство истины.

Дун Юэ. Новые приключения царя обезьян

Слепой пересекает двор, втянувший за день солнечный жар. Асфальт приятно греет ступни, щетинка газонной травы покалывает. Под дубом трава густеет и становится мягче. Он останавливается перед деревом, дает рукам войти в него, и на ладонях остаются ребристые отпечатки коры. Поднимается медленно, хотя мог бы взлететь как кошка, но это не его дерево, сегодня он гость на нем. Коридор направо от входа без дверей, там когда-то висели качели, которые Слон оборвал с криком «я лечу!», налево – узкий проход для мелких и худых, эта ветка прохладнее остальных, хранящих следы подъемов и спусков, и подниматься по ней приятнее. Слепой поднимается, насвистывая, чтобы предупредить о себе.

Горбач говорит: «Привет», – и шелестит веткой. В приветствии не слышно радости, но Слепой другого и не ждал, Горбач залез сюда, мечтая уединиться, а не для того, чтобы принимать гостей. Зато карканье Нанетты, продирающейся к нему сквозь листву выражает восторг. Крылья смазывают по щеке, на плече образуется желе из помета. Она стала тяжелее, и

пахнет от нее полноценной взрослой вороной, то есть не очень приятно. Пока они с Нанеттой гладят друг друга, Горбач спрашивает, что Слепому понадобилось на дереве.

– Да, в общем-то, ничего. – говорит Слепой. – Сыграешь для меня?

Горбач молчит.

Нанетта отлетает и таранит крону, распевая во все горло, пляшет у них над головами, шумит за троих, делая вид, что ее очень много. Слепой вытирает майку, ладонь становится липкой.

– Зачем? – спрашивает Горбач.

Голос его другой, не тот, что в спальне, уверенный голос, хотя и тихий.

Слепой делает шаг вперед – лицо, как бумажная маска, на ладонях извивы дерева и птичий помет, говорит:

– Просто так, – и садится в чашевидную развилку, единственное место здесь, где можно сидеть с удобствами. Он выбирал это место всегда, предпочитая его другим, сидящего здесь не видно ни снизу, ни из окон, это самое сердце дерева.

Горбач утомлен своим отшельничеством. Трудно оставаться одному, привыкнув жить среди многих, а то, чем он хотел успокоить себя, не принесет ему облегчения. Луна светит по ночам в полную силу, воздух пахнет беспокойством. Горбач – часть беспокойства, от которого он сбежал, он принес его с собой и разместил среди веток, надеясь, что тишина и древесная жизнь что-нибудь с этим сделают, что-нибудь, чего не может сделать он сам. Все ведут себя одинаково. Мечутся, стараясь спрятать все свое поглубже в себя, прячутся сами и прячут своих птиц, пятятся, пятятся и пахнут страхом; стараясь при этом улыбаться, острить, ссориться, кормиться и размножаться, а Горбач не умеет как все, его хватает только на первую, откровенную часть действий, и это делает его еще более несчастным.

Запах ванили и немытых волос. Первый он носит на шее в мешочке с трубочным табаком.

Они молчат, пока Горбач собирает слова для Слепого, пока Слепой ждет, что он их соберет, а потом Горбач уходит по трясучей ветке куда-то, возвращается, садится напротив и начинает играть. Очень тихо. Почти колыбельную, но колыбельную неправильную, в которой нет ни покоя, ни ласки; сквозь ее нарочитую нежность на Слепого веет холодом его одиночества. Слепой ждет, что это исчезнет, когда Горбач увлечется и забудет о его присутствии, о том, что играет не для себя, но он не забывает.

– Ты доволен?

Слепой протягивает руку.

– Дай. Я напомню тебе кое-что.

Флейта ложится на ладонь. Даже не теплая – горячая, как те участки стен, на которых только что писали что-то важное. Следы от рук всегда жарче и различимее. На ладонях Слепого струятся извивы дерева, мертвое дерево ложится в след живого, и он играет песню, услышанную когда-то, в ней ветер, летающие листья и человек в центре вихревого кольца из них, защищенный от всего и одновременно уязвимый. Слепой играет хорошо, потому что не в первый раз, ему нечего стыдиться, он ничего не испортил.

– Что это? – спрашивает Горбач.

– То, что ты играл когда-то во дворе. Не помнишь?

Горбач покачал головой. Они часто так отвечают Слепому, потом спохватываются и озвучивают свои гримасы, когда в этом обычно уже не бывает нужды.

– Не помню такого.

Слепой играет еще отрывок, слыша по отстраненному молчанию Горбача, что он так и не узнал свою песню.

– Слишком много повторов.

Слепой не говорит, что это его повторы, что это он чертил так вокруг себя защитную сеть, что магия монотонности в том и состоит, что сама себя замыкает в круг, повторяясь снова и снова, пока конец не сомкнется с началом, создав непроницаемую зону вокруг играющего. Вместо несказанных слов он возвращает флейту. Чужие песни с чужих пластинок испортили Горбача, и даже живя на дереве, он не может больше колдовать. Теперь ему кажется примитивным напевом то, что он делал когда-то так хорошо.

– Дерево не на пользу тебе, – говорит Слепой. – Одиночество тоже. Спускайся, поищи внизу то, что потерял. Может, найдешь больше, чем ожидаешь найти, сидя здесь.

– Откуда ты знаешь, что я хочу найти, сидя здесь? И что уже нашел? С чего ты взял, что знаешь, что творится у меня в голове?

Нанетта оперенным мешком падает на плечо Слепому и страстно клюет в мочку уха.

– А может, ты спустишься сам и перестанешь доставать меня? – спрашивает Горбач, снимая с него птицу. – Оставишь меня в покое?

Отстранившись от его слов, тона и карканья Нанетты, не угадывая их действия по произведенному шуму, Слепой вызывает в памяти плеск плавников большой рыбы, плавающей в тазу, и весь погружается в этот звук. Когда-то давно кто-то сделал это. Пустил рыбу в таз с водой и поставил его на пол в комнате, где он жил. Слепой просидел рядом с тем тазом столько часов, что теперь может вызвать эти звуки даже в самом шумном месте, вызвать и убаюкать себя ими. Он приносит свою большую рыбу, поселяет в ветках дуба, как чешуйчатую птицу, и оставляет плескаться и плавать среди листьев. Чем дольше она делает это, тем ему спокойнее. Он гасит все звуки, кроме тихого плеска, и держит мир под водой. Когда после он дотрагивается до ветки, возле которой сидит, кора не теплее его пальцев, ведь он смыл с дуба все следы прошлого, и какое-то время дерево будет стоять нетронутым, как первобытный дуб в первобытном лесу.

Горбач притихает, будто услышав сотворенное им.

Десятки тропинок над ними, утончающихся и обрывающихся в ничто, десятки разных путей, толще и у́же, и все кончаются одинаково, но лишь для невидящих. Самые высокие поднимают над кроной, проползя до их концов, можно почувствовать, как они прогибаются под твоей тяжестью, а если будет ветрено, услышать поскрипывание невидимой двери, и покачаться со своей веткой над пустотой, принюхиваясь к закрытому пути. Слепой влезает на этот дуб, когда скучает по Лесу. Рукам и ногам неспокойно, голова полна словами, и он утешается, посылая себя вверх по водосточным трубам, по кирпичной кладке, до крыши, по ячейкам дворовой сетки, по стволам деревьев до самых хрупких веток. Он нравится себе, когда делает такие вещи. На дубе он не был уже давно. Ему хорошо здесь, как в знакомом доме, и даже если Горбач сейчас прогонит его, он унесет с собой кое-что ценное. Его тревогу и страх. Давнюю песню, запах табака, радость Нанетты и плеск рыбьих плавников в дубовых ветвях. Образ маленькой девочки, сидящей на корточках и сосущей палец, девочки с тяжелым взглядом, в грязном платьице со следами яичного желтка и крови. В ободранных сандаликах. Пугающий Горбача. Он унесет его с собой.

– Что ты берешь у нас без спроса, Слепой? – резко спрашивает Горбач. – Что ты всегда берешь у нас без спроса?

Слепой, ошеломленный его чуткостью, почти напуганный, облокачивается о шероховатую ветку. «Всегда? У нас?» Что он всегда берет у них, в том числе у Горбача, не спросясь, и почему Горбач сказал об этом именно сейчас, когда он понял, что что-то взял? Он перемешивает и снова складывает сказанные Горбачом слова, внимательно вслушиваясь в них, и, наконец, понимает, что Горбач имел в виду не совсем то, о чем он подумал вначале. Не то, что Слепой взял у него сейчас.

– Все хватают, где могут, – говорит он. – Разве ты не таков? Все мы берем друг у друга что-то.

Ветка Горбача вздрагивает от его движения, может, он дернулся, а может быть, стукнул по ней.

– Все берут. Но ты особенно. Ты жадный, Слепой. Ты берешь, как вор, и это сразу заметно. Иногда мне кажется, что ты кормишься нашими мыслями, что самого тебя нет, а есть только то, что ты забрал у нас, и это украденное… оно ходит среди нас, разговаривает и принюхивается, и делает вид, что ничем не отличается от любого другого. Иногда я чувствую, как пустею от твоего присутствия, иногда я слышу свои слова от тебя, слова, которых при тебе не произносил. Логи называют тебя оборотнем. Говорят, что ты воруешь чужие сны. Над этим принято смеяться, как над всеми их глупостями, но это правда, я это знаю давно. А еще я знаю, что ты подделка. Наши осколки, собранные в одно целое.

– Которые стали вашим вожаком? – подсказывает Слепой. Без тени иронии или обиды.

В голосе Горбача он не расслышал убежденности. Только желание оскорбить.

– Можешь поверить мне на слово, Горбач, я существовал и за пределами Дома, без вашей помощи.

Возможно, Горбач улыбнулся. Слепому известно, на чем основано это суеверие. Больше всего на его привычке незаметно копировать интонации собеседника. Это происходит само собой, почти бессознательно. Приближает собеседника, помогает понять. Иногда это помогает угадывать чужие мысли. Но сама по себе такая привычка не могла бы внушить Горбачу желание обидеть его.

– У меня были мои сны, – говорит Горбач. – Только мои. Мое тайное место. Никто о нем не знал, кроме меня. А ты явился туда и все испоганил. Подсунул мне этого жуткого ребенка, который все время прячется, а потом выскакивает, когда не ждешь, кусается и царапается, как росомаха. Превратил мои сны в кошмар! Теперь я даже в спальне не могу находиться, все время кажется, что она вот-вот откуда-нибудь выскочит и вцепится в лицо. А уж спать не могу и подавно. Только на дереве и по чуть-чуть. И я знаю, зачем ты это сделал. Не можешь перенести, когда кто-то сбегает от тебя, да? Куда-то, где ты никто!

Слепой смеется.

– С чего ты взял, что это только твои сны? Что это вообще сны?

От Горбача начинает пахнуть опасностью. Запах настолько силен, что заставляет Слепого вцепиться в ближайшую ветку, хотя она недостаточно толста.

– Если сейчас я столкну тебя вниз, ты долетишь до земли? Или исчезнешь по дороге?

В голосе Горбача эхом отражается стук падения Слепого и хруст ломающихся веток. А может быть, костей.

– Я успею схватиться за тебя, и падать мы будем вместе.

– Это не ответ.

– Мне не понравился вопрос.

Горбач тяжело вздыхает.

– Это не сны, Горбач. Поверь мне. Это вовсе не сны, – говорит Слепой. – Ты ведь и сам догадываешься об этом.

Нанетта колотит по стволу клювом, играя в дятла. Слепой срывает щекочущий щеку лист и растирает его в руке. Ладонь делается липкой и начинает пахнуть Лесом. Это успокаивает. Всегда лучше пахнуть тем, что тебя окружает – одно из правил выживания в Лесу. Сделавшись его частью, отведешь беду. Немного похоже на копирование интонаций собеседника. Слепой верит в такой способ защиты издавна, с тех пор, как совсем маленьким поедал кусочки стен Дома.

– Что же это, если не сны? – спрашивает Горбач.

– Ты знаешь сам, – безразлично отвечает Слепой.

Горбач молчит. Поскребывая флейту. Солнечные пятна стали горячее, жгут отдельные участки на коже, эти укусы солнца блуждают, смещаясь от слабых порывов ветра, колышущих листву.

Когда-то, в той самой развилке, где Слепой сидит сейчас, его достала стрела, выпущенная из арбалета, не проткнула, а только зашибла. Он хорошо помнит, как испугался. Не удара и боли, а того, что сделавший это остался невидим. Он не мог угадать его, стоящего внизу, с самодельным оружием, модным тогда среди младших, не мог быть даже уверен, что это кто-то из сверстников, а не взрослый, и думать о том, что это может быть КТО УГОДНО, было страшнее, чем встретить десяток стрел от шумного, злорадствующего противника. Почему он вдруг вспомнил об этом? Только ли из-за места, где сидит? Или что-то похожее на оперенную стрелу всплыло в интонациях его собеседника? Почему человек иногда вновь переживает то или иное событие, посреди разговора, ничем с ним не связанного? Пальцы Слепого проскальзывают под майку и гладят живот, в месте, где когда-то давно образовался синяк.

– Сколько нужно времени, чтобы сменить стрелу на арбалете? – спрашивает он.

Молчание Горбача выразительнее, чем крик. Слепой удивлен своим открытием. Так это все-таки был Горбач, благородный и великодушный уже в пять лет. Защитник бездомных животных и угнетаемых новичков. Нет, не зря он тогда испугался. Под деревом стоял с

арбалетом тот, кто не мог и не должен был находиться в том месте и делать то, что делал. Отсюда молчание. Горбач стыдился своего поступка и молчал. Как молчал бы взрослый, совершив дурное.

– А сколько нужно времени, чтобы исчезнуть? – напряженно спрашивает Горбач. – Чтобы раствориться в воздухе, как будто тебя и не было?

– Ты не ответил на мой вопрос.

– А ты на мой.

Слепой выплевывает прядь волос, непонятным образом оказавшуюся у него во рту.

Можно ли объяснить нечто, что для тебя в порядке вещей, а для других невероятно и необъяснимо? Можно ли передать кому-то накопленный годами опыт, пользуясь одними словами? Последнее время ему приходиться заниматься этим все чаще, но легче от этого не становится.

– Мне было пять, когда я попал сюда, – говорит он, – и для меня все было просто. Дом был Домом Лося, а чудеса – делом его рук. Едва переступив порог, я понял, что знаю об этом месте больше, чем должен был знать, и что здесь я другой. Дом открыл передо мной все сны, двери, все пути, не имеющие конца, только самые мелкие предметы не пели мне о своем присутствии, когда я приближался к ним. Таким и должен был быть Дом Лося. Я ел по ночам кусочки его стен и верил, что приближаюсь к Лосю. Он был богом этого места, богом его лесов, болот и таинственных дорог. Когда он говорил мне: «Мир огромен, ему нет конца и края, когда-нибудь ты поймешь это, малыш…» – что я мог думать о его словах, кроме того, что мы говорим намеками о том, что известно лишь нам двоим?

Горбач молчит, затаив дыхание.

– Через много лет, – продолжает Слепой, – я пришел в ужас, когда понял, что он здесь вообще ни при чем. Что он не создатель этого места, не его бог, что все это существует помимо него, что то, что я считал нашей общей тайной, принадлежит только мне одному. Потом оказалось, что не только мне, но меня это уже не утешило. Ведь главным для меня был он. А он ничего не знал. Жил себе на Дневной Стороне, жил тут и умер, а Дом не защитил его, как защитил бы меня, потому что я был его частью, а Лось – нет. Дом не отвечает за тех, кого не пускает в себя. Он не отвечает даже за тех, кого впустил. Если они заблудились, не вовремя испугались или не испугались вовремя, а особенно за тех, кто думает, что видит сны, в которых можно умереть, а потом проснуться. За таких, как ты. Считающих его Ночную Сторону сказкой. Она вся усеяна их костями и черепами, их истлевшей одеждой. Каждый сновидец считает, что это место принадлежит ему одному. Что он сам его создал, что ничего плохого с ним здесь не случится. Чаще всего случается именно с ними. И они просто однажды не просыпаются.

Горбач громко сглатывает слюну.

– А ты? – спрашивает он. – Ты с самого начала знал, что это не сон?

– Я не видел снов до того, – сухо отвечает Слепой. – Я, если ты помнишь, незрячий.

Горбач копошится на своей ветке, меняя позу. Щелкает зажигалкой. Щелкает и щелкает, много раз, пока вокруг не расплываются сладковатые облачка с ванильным запахом.

– Так я Прыгун? – спрашивает Горбач невнятно. Ему мешает трубка, зажатая в зубах. Вытащив ее, он признается:

– Меня всегда смешило это слово.

Слепой пожимает плечами.

– Можешь называть себя иначе. Суть от этого не изменится.

– А то маленькое чудовище, которое…

– Это Крестная, – перебивает его Слепой. – Мне пришлось ее туда затащить, и не моя вина, что она превратилась в то, во что превратилась. Я оставил ее у тебя, чтобы ты, наконец, проснулся.

Горбач молчит так долго, что Слепому начинает казаться, он уже не заговорит никогда. Дыма больше нет, трубка, должно быть, погасла.

– Черт, – наконец говорит Горбач. – Я знаю, что ты не врешь, но поверить в это все равно не смогу. Это правда, то, что болтают про нее и Стервятника?

– По большей части, – отвечает Слепой, вставая.

– Она здорово меня искусала.

– Знаю.

Горбач тоже встает.

– И ты влез сюда, только чтобы мне все это объяснить? – недоверчиво спрашивает он.

– Нет. Я влез сюда, чтобы попросить тебя сыграть мне. Мне нужен флейтист в выпускную ночь. Кто-то, кто и Прыгун, и играет на флейте.

– Зачем? – судя по тону, Горбач догадывается зачем, и ему это вовсе не нравится.

– Чтобы увести Неразумных.

Слепой догадывается, что Горбач смотрит на него с ужасом.

– Дюжину, – говорит он. – Мне нужен кто-то, за кем они побегут и поедут. Кто-то, кто сумеет их всех перевести. Гаммельнский Крысолов. Он должен любить детей и животных. Он должен быть из тех, за кем увязываются бездомные щенки и голодные котята. Он должен суметь сыграть для них так, чтобы они знали – там, впереди – теплый дом и вкусная колбаса.

Горбач опять садится.

– Чушь какая-то, – бормочет он. – Полная чушь! Ты вообще понимаешь, что ты несешь, Слепой? Какой я тебе Крысолов? Он существует только в сказке! И я – не он! Я вообще в это не верю!

– Верить не обязательно.

Нанетта сбрасывает на голову Горбачу немного мусора и кокетливо каркает. Горбач стряхивает с волос мелкие веточки, которыми она его украсила.

– Уходи, – просит он. – Пожалуйста.

Слепой спускается на нижнюю ветку, но не успевает съехать по стволу до следующей развилки. Горбач хватает его за рукав.

– Ты не можешь знать обо мне такие вещи, – говорит он. – Ты просто предполагаешь, что я тот, кто тебе нужен.

Слепой освобождает рукав.

– Я иногда бываю оборотнем, – говорит он. – А это почти собака. Так что, извини, я знаю, за кем увязался бы, если бы был щенком. В этом вся разница между мной и тобой: в том, что во мне чуть больше собаки.

– В тебе до хрена чуть больше всего, – бормочет Горбач. – И чуть меньше человека, который уже не умещается там, где столько всего понапихано.

– Но ты же любишь собак.

– Они лучше людей.

– Значит, и я лучше.

– Тебя я не люблю.

– Потому что я не ем у тебя с рук и не виляю хвостом.

Горбач молчит. Слепому кажется, что он что-то жует.

Неужели тоже дубовый лист?

– Я не стал бы стрелять во второй раз, – говорит он нехотя. – Меня и после первого раза чуть не стошнило. Они сказали, что ты съел кролика. Того, что пропал из клетки. Того, которого мы искали по всему Дому. Рекс показал мне его кости и шкурку. Они сказали, что ты съел его сырым. Я хотел избить тебя, а потом взял арбалет и устроил охоту. Как в кино… как какой-нибудь мстящий киноиндеец… за кролика! – Горбач издает нервный смешок. – Защитник природы…

– Не ел я его. Неужели, убив кролика, я стал бы держать его кости у себя под кроватью?

– Откуда ты знаешь, где они были?

– Я их нашел. Подумал, что это крысиные. И выкинул.

– Может, ты и не врешь, – вздыхает Горбач. – Откуда мне знать. Прости, что наговорил тебе… всякого. Я и про ту песню соврал. На самом деле я хорошо ее помню. Просто не люблю, когда подслушивают, что я играю. Вообще не люблю, когда меня слушают, когда читают мои стихи, смотрят мои сны. Хочется иметь хоть что-то свое, куда бы никто не лез.

Он опять вздыхает.

– А как это, когда смотришь чужие сны?

Слепой задумывается.

Как? Печально. Мучительно. Сны никогда не расскажут о чем-то, что по-настоящему интересует. Ни один предмет не есть то, что он есть в чьем-то сне. Все слишком зыбко, превращения слишком быстры, присмотревшись к любому лицу, потеряешь его. Лишь по крохам, по еле заметному сходству, пройдя по знакомым следам через множество снов, можно сложить картину мира. Можно даже попытаться найти там себя. С какого-то дня собственное лицо, как белая бумажная маска, станет встречаться все чаще и чаще, пока однажды ты не заглянешь себе в глаза и не удивишься их прозрачности. «А я красивый!» – подумаешь ты с восторгом, твое самодовольство станет заметно окружающим и еще больше отвратит их от тебя, но тебе это будет безразлично. Ты проживешь некоторое время счастливым, и даже начнешь изредка причесываться, до следующей встречи с самим собой, на которой глаза у тебя будут белесыми и мертвыми, как у вареной рыбы, а лицо покрыто мерзкими прыщами. Это приведет тебя в ужас. Ты завесишь лицо волосами, спрячешь глаза под темные очки и заживешь изгоем, веря в то, что слишком отвратителен, чтобы приближаться к людям. До следующей встречи во сне, где глаз у тебя не будет вовсе. Ты обозлишься на тех, кто видел тебя безглазым и страшным, и перестанешь посещать их сны, пока однажды не поймешь, что все обман, как твое лицо – в любом сне любого чужого, и только одно имеет значение: что ты узнал, какими бывают сами сновидцы, когда их рядом с собой нет.

Он пытается объяснить это Горбачу, но чувствует, что получилось плохо. Горбач ничего не понял. Ему по-прежнему кажется, что смотреть чужой сон должно быть интересно. Слепой говорит себе, что это неважно. Не затем он залез сюда, чтобы в чем-то оправдываться. И даже не затем, чтобы уговаривать. Его удивляют вопросы Горбача. Неужели так важно, что ты видишь, когда смотришь чужой сон? Неужели Горбачу жаль делиться с ним обрывками своих сновидений?

– Ладно, – говорит он. – Я спущусь.

– Погоди! – в голосе Горбача паника. – Я о многом еще не спросил!

Слепой садится на ветку. Не на ту, удобную, как стул или твердое кресло. Эта, скорее, раздваивающийся порог, на котором задерживаются уходящие.

Горбач напряженно сопит. Ловит трудноуловимые вопросы. Он многое знает, но знания эти хранятся в виде песен, стихов, поговорок и детских считалок. Любое чудо Дома разжевано и проглочено им в том возрасте, когда чудеса воспринимаются частью обыденного, и на самом деле Горбачу известны ответы почти на все вопросы, которые он мог бы задать. Чем дольше он ищет их, тем лучше понимает это. Слепой ждет, мысленно перескакивая с Горбачом через ступеньки незаданных вопросов. Одна… вторая… третья…

– Что теперь с нею будет? – спрашивает Горбач. – С этой… с Крестной. Она останется там навсегда?

Слепой кивает.

– Останется. А что с ней будет, это не наша с тобой забота.

– Она слишком маленькая!

Слепой обшаривает карманы в поисках сигарет, но ничего не находит.

– Маленькая, зато живучая, – говорит он.

Горбач некоторое время молчит, переваривая этот довод.

– А где она спрятана? – спрашивает он с отвращением. – Ну… ты понял. Где она лежит? Взрослая…

Слепой знает, что Горбач сейчас себе представил. Как «окуклившуюся» Крестную извлекают откуда-нибудь из шкафчика в раздевалке при спортзале, и какое неизгладимое впечатление это производит на воспитателей.

– Ее нигде нет, кроме, как в Лесу, – отвечает он. – Я перетащил ее целиком, – он морщится, предвидя следующий вопрос. Потому что как раз об этом ничего не говорится ни в стихах, ни в песнях, ни в считалках.

– Разве это возможно? – спрашивает Горбач.

– Да. Но очень трудно. На самом деле такого делать нельзя, – признается Слепой. –

Дом этого не любит. Потом приходится расплачиваться.

Страхом, добавляет он про себя. Возможностью потерять все. Беспомощностью, изгнанием и даже смертью.

– Когда Ральф увез меня, – говорит он, передернувшись, – я думал, это конец. Он сказал, что не вернет меня в Дом, пока я не скажу, куда она пропала. Где мы ее спрятали. И знаешь… если бы я не перетащил ее всю, я бы, наверное, сказал. Никогда в жизни мне не было так страшно. Я превратился в полное ничтожество.

Слепой дрожит, не замечая этого, и запахивает на груди свой пиджак без пуговиц. Он не знает, насколько выразительна сейчас его фигура, и удивленно отшатывается от протянутой руки Горбача.

– Не говори об этом, – Горбач встряхивает его за плечо. – Я все понял. Я не стану просить, чтобы ты перевел меня целиком.

– Не проси, – качает головой Слепой. – Я сделал бы это только для одного человека. За него я готов так платить. Больше ни за кого.

– Успокойся, – говорит Горбач. – Просто не думай об этом, ладно?

Слепой кивает.

– Я найду тебя уже там. Найду и переведу. За наполовину ушедшего мне ничего не будет. Наверное. Я надеюсь. Но на это может уйти много времени.

– Не надо, – твердо говорит Горбач. – Мне это не нужно.

Слепой кивает и соскальзывает вниз по стволу. Чем ближе к земле, тем прохладнее, словно там не остывающий после дневного пекла асфальт и растрескавшаяся земля, а море высокой травы. С последней развилки Слепой спрыгивает на землю, и пальцы нащупывают в подсохшей траве квадратики картона. Их много, словно кто-то рассыпал под дубом крупный паззл. Вопросы оракулу. Слепой подбирает один кусочек и прячет его в карман.

– Эй! – окликает его сверху печальный голос. – А что, по-твоему, должен играть Крысолов?

– Мадригал Генриха Восьмого, – отвечает Слепой, не задумываясь.

ТАБАКИ

– Смешно, когда глядя, ты не находишь никаких кусков, чтоб подобрать, – обычно он говорит это своему неоседланному инструменту.

Боб Дилан. Тарантул

Дни пошли, как туго натянутые струны. Каждый следующий – туже и звонче предыдущего. Я ощущаю себя сидящим на такой струне, в ожидании, пока она лопнет. Когда это случится, меня забросит далеко-далеко, то есть намного дальше, чем можно представить, хотя при этом я останусь там же, где был.

Ожидание – вещь неприятная, особенно усугубленное жарой.

Небо – пронзительно голубое, и до самых спасительных ночей я нервничаю в его присутствии. Иногда мне кажется, что с такого неба должны сыпаться дохлые птицы. Переломанные и потерявшие цвет. Иногда мне даже мерещится их запах, и кажется, если как следует поискать, где-нибудь всплывет протухший воробей.

Я спасаюсь от жары, собирая ничейные вещи и рассылая письма.

Шестьдесят четыре письма уже отправлены известным личностям, письма с предложением взять Дом на содержание, со всеми нами, в нем находящимися. Милейшему человеку, решившемуся на такое, будут предоставлены мои советы в любых областях и по любому поводу, совершенно бесплатно. Я так же предложил использовать себя в качестве гадалки, астролога, секретаря, укротителя домашних животных, мастера на все руки, шамана, талисмана и оригинального настольного украшения. Пока никто не откликнулся. Я, собственно, на это и не рассчитывал. Писем всего шестьдесят четыре. Это немного. А вот то, что никто из адресатов не ответил даже шутливым посланием – настораживает. Возможно, я был недостаточно убедителен. Годы все же берут свое.

На выезде в коридор я пропускаю всех вперед и выезжаю последним, скромно опустив глаза. По сторонам не гляжу, хотя мне тоже интересно, как выглядит при свете дня то, над чем мы трудились ночью.

Восхищенные восклицания стаи вгоняют меня в краску.

– Ого! – кричат они. – Ого-го! Вот это да!

Как все-таки приятно делать сюрпризы. Как это волнительно, и как жаль, что нечасто выпадает такая возможность.

Нет больше чистых стен цвета жирных сливок.

Мы трудились на пределе человеческих возможностей, приводя их в соответствующий вид. Все – что писалось, писалось с размахом, но мы не халтурили – каждая надпись обработана очень тщательно. Рисунков, конечно, могло бы быть больше, но нельзя требовать одновременно и качества, и количества. Выше головы не прыгнешь.

– Ура! – кричит Русалка и убегает вперед, размахивая рюкзачком.

Курильщик переписывает в свой дневник какой-то лозунг. Разбухшие метровые буквы сверкают на полстены, как обсосанная карамель. Я и сам потрясен тем, как грандиозно это выглядит. Правда, не совсем понятно, о чем речь. Но это ерунда. Зато теперь просветами между надписями и рисунками займутся остальные, и через пару дней, нет, какое там, через несколько часов там уже будут и важные объявления, и новости, и договоры, и стихи, словом, все, без чего мы и наши стены не можем обойтись. Главное начать.

Русалка возвращается и возбужденно сообщает, что дальше все еще интереснее.

– Там шесть слонов бредут цепочкой… большие такие… один даже в шашечку. Что это означает, как вы думаете?

Курильщик не думает никак, а Сфинкс считает, что слоны, скорее всего, просто заполнили пространство.

– Должно быть, кто-то вырезал трафарет.

– А там, случайно, нет такой малюсенькой тли? – спрашивает Курильщик. – Рядом со слонами. Такой зеленой?

Тли там нет, зато есть симпатичный дремлющий лантозух с задранными кверху лапками, но не открывать же все секреты разом.

Русалка послушно ищет тлю. Все мы уже идем, и проезжаем мимо слонов, и все высматривают тлю.

– Ой, мертвый крокодил, – говорит Русалка огорченно.

Все соглашаются. Никто, как выяснилось, не в состоянии отличить спящего лантозуха от мертвого крокодила.

– Теперь понятно, почему Лорда не добудились, – говорит Рыжая. – И почему он воняет краской и растворителем, – она поправляет панамку на голове Толстого и увозит его вперед.

Мы настигаем их в районе третьей, где толпится народ. Все стоят, молча глядя на стену. Я проталкиваюсь ближе и переживаю потрясение наравне с остальными, потому что этот участок был слишком далеко от моего, ночью я его не посетил.

Здесь только пустые, обведенные черным, прямоугольники, с мелкими пояснениями в центре каждого: здесь была антилопа работы Леопарда. Мел, охра, бронза. Сохранившийся фрагмент диптиха «Охота».

Над пустыми траурными рамками змеится единственная крупная надпись: «ПРОХОЖИЙ, ОБНАЖИ ГОЛОВУ!»

Рыжая медленно стягивает с Толстого панамку.

Я надеваю темные очки и уезжаю. Я еду, грохоча Мустангом, распугивая спешащих в столовую и никуда не спешащих: и те, и другие отскакивают не зря, потому что Мустанг с каждым днем все тяжелее и неуклюжее, и им все труднее управлять, а темные очки мешают вовремя различать препятствия. Снять я их не могу, от солнечной погоды у меня портится настроение, а в очках эта солнечность не так заметна, в очках можно даже увидеть пасмурное небо вместо ярко-голубого, и я не снимаю их уже неделю, обманывая сам себя и попадая в аварии, но лучше две-три аварии, чем депрессия, которая обязательно начнется, если долго

жить под безоблачным небом.

Кто-то такой же нервный, как я, своротил сигнальный звонок, рассудив, наверное, что для звонков на уроки он уже не употребляется, а обед и так никто не пропустит. И ошибся. Многие пропускают. Опаздывают или приходят раньше времени. Завтраки особенно пострадали, теперь в столовой по утрам сплошные Фазаны, перемалывающие травяные салатики. Глазу не на чем отдохнуть. Я никогда не любил звонки, я вообще не люблю временные отметки. Но пока звонок работал, в столовой было веселее.

Я подъезжаю к столу и повязываю себе салфетку.

Напротив Курильщик цедит свой чай, как отраву. Рядом Лэри кромсает тупым ножом хлеб. И больше никого. За Крысиным столом – четверо, за Птичьим – трое, от Псов один представитель загружает рюкзак продуктами, и только Фазаны в полном составе, при желании можно послушать хруст, с которым они разгрызают свою утреннюю морковку.

Делаю бутерброд, чтобы показать Лэри, как их надо делать, но он не глядит в мою сторону. Пыхтит и мучает хлеб.

На втором бутерброде вбегает Македонский, катя перед собой Толстого. По жалобному виду Толстого заметно, что он не очень-то рвался сюда. Подогнав его коляску к столу, Македонский начинает загружать беднягу пищей, чему Толстый вовсе не рад, а Македонский, обычно внимательный, почему-то этого не замечает. Работай звонок, он бы уже сейчас звенел, но если он не зазвенит, зачем же спешить? Достаю из рюкзака походный котелок и перекатываю через стол Македонскому.

– Кидай все сюда, не мучай ребенка.

Македонский еле успевает поймать котелок, но все-таки ловит, хотя и роняет при этом ложку.

– Вот, – говорю я. – Сам еще толком не проснулся, а уже кого-то кормишь. А он, между прочим, угостился булкой с утра, так что может и задохнуться от такого отношения. Знаешь, сколько людей от таких вещей перемерло?

Толстый слизывает с подбородка майонез и как будто в подтверждение моих слов придушенно икает. Македонский вертит в руках котелок, должно быть, дивясь его вместительности. Уже хочет обратно под душ, ясное дело, он уже третий день не вылезает из душевой кабинки, как будто решил постепенно смыть с себя Македонского.

– Давай-давай, – говорю я ему. – Не теряй времени.

Лэри бубнит, что от меня слишком много шуму. Что от меня вообще много шуму, а по утрам особенно.

– Занеси это в свою тетрадь, – предлагаю я Курильщику. – «Он был шумен всегда, а по утрам особенно».

Гляжу, как Македонский заполняет котелок, складываю салфетку и уезжаю. В гробу я видел такие скучные завтраки.

В коридоре оказывается, что от меня действительно слишком много шуму. Дает о себе знать удаление из рюкзака такого крупного предмета, как котелок. Что-то там внутри сдвинулось и побрякивает, что-то, что котелок, по-видимому, прижимал. К тому же Мустанг начал поскрипывать, неприятно напоминая тележку-призрак, ту, что проезжает мимо Дома на рассвете, ближе к прошедшей ночи, чем к наступающему утру.

С этой тележкой вообще ничего не ясно. Может, это просто бомж, возвращающийся с ночной охоты за пустыми бутылками. А может, колясник, восставший из могилы, где его погребли вместе с коляской, заржавевшей под землей до полного непотребства. Или одинокая коляска, которая разъезжает вокруг Дома, как Летучий Голландец, погромыхивая косточками истлевшего седока.

Проверить, какая из этих версий соответствует действительности, невозможно. В узком промежутке между ночью и утром спится слишком сладко, чтобы вылезать из постели, да и вылези я, все равно бы ничего не разглядел, потому что проезжает ЭТО, когда еще темно. Так что я решил записать таинственный скрип и прослушать потом запись в бодром состоянии, но сколько ни ставил магнитофон на запись у распахнутого окна, ничего похожего на знакомое скрипение не услышал. Испорченные кассеты я сложил в коробку и спрятал среди ничьих вещей.

А теперь вот сам скриплю, как та неуловимая тележка, призрак колясника или коляска из-под призрака. Это означает, что Мустанга пора смазать и проверить, не расшатались ли его крепления. Муторное, малоинтересное занятие.

Все необычное в Доме так или иначе стягивается на Перекресток или в Кофейник. Если не ищешь что-то конкретное, лучше сидеть там и ждать, пока то, что тебе нужно, найдется само. Не я один охочусь там в определенное время суток. Территория Кофейника строго поделена между ловцами того и этого. Мы стараемся не мешать друг другу и не вторгаться в зоны чужих интересов, но это все же иногда случается, поэтому каждый из нас в курсе, что собирает другой. Время от времени в Кофейнике появляются девушки в поисках драк, тогда надо срочно уезжать, пока сам не сделался чьим-то трофеем.

Мы сидим за крайним столиком у стены, я и Русалка, и ждем. На мне солнечные очки, помогающие справляться с солнечной погодой, пиратская майка-предупреждение, флаг на Мустанге ядовито-желт и пахнет дохлыми воробьями. Русалкины волосы шатром укрывают ее и стул, и спускаются ниже сидения, на полруки не доставая до пола. В них струятся ленты, шнурки и цепочки из крохотных колокольчиков, а сквозь жилет прорезается ряд вопросительных знаков, одни вопросительные знаки, двадцать «почему», выстроившихся один за другим. Она тоже ждет, терпеливо и молча, по ее волосам что-то стекает, бисерно поблескивая, а вопросительные знаки на майке капают перевернутыми каплями.

Ради Русалки мне очень хочется удачи именно сейчас, пока она рядом. Последнее время мне везет все реже и реже, ведь я уже довольно много всего набрал, возможно, с каждым удачным днем я исчерпывал свой охотничий лимит, и он уже почти закончился. Поэтому я слегка нервничаю и, чтобы успокоиться, достаю из рюкзака папку с бумагой и начинаю писать шестьдесят пятое письмо из серии «В Поисках Сумасшедшего Благодетеля». Раньше я пользовался образцом, но после двадцатого письма в нем отпала надобность, и потом, переписанное всегда получается менее одушевленным, хотя и не отличается по содержанию от составленного по памяти.

Русалка пьет свой кофе и следит за дверью. Когда я прячу очередное послание в конверт, провожает его недоверчивым взглядом.

– Ты и вправду веришь, что из этого что-то получится?

– Ну, как тебе сказать, – убираю папку обратно в рюкзак и вытаскиваю оттуда конверт. – Вообще-то, не верю. Такие вещи случаются один раз, если вообще случаются. Вероятность повторения ничтожно мала. Но игнорировать даже самую малюсенькую вероятность все же не стоит.

– Хочешь сказать, что однажды такое уже было? Когда?

Я вздыхаю. Никто не знает историю собственного обиталища. И знать не желает. Для них это заплесневелое старье, они и минуты не потратят на то, чтобы его обнюхать. Определенно, никто из них не станет археологом – любителем раскапывать и приходить в восторг от выкопанного.

– Жил-был когда-то давно такой человек, – говорю я. – Очень богатый и очень уродливый. А может, и не очень уродливый, но очень больной. Теперь уж не узнать, потому что он никогда не фотографировался, а если его снимали тайком, тут же начинал судиться с тем, кто это сделал. Он прятался от всех в своем доме, собирал коллекцию старинных музыкальных инструментов и знать никого не желал. Рассылал в разные журналы статьи, подписанные псевдонимом Тарантул, но их почти никогда не печатали, потому что он в основном ругал правительство и все организации, с которыми ему доводилось сталкиваться, в общем, «брызгал ядом», как он сам это называл, а такое никто не станет печатать. У него, по-моему, лет за десять только и взяли, что одну статью о старинных музыкальных инструментах. Все его родственники дождаться не могли, когда он помрет, чтобы поживиться его деньгами. Он об этом, конечно, знал, поэтому отыскал сиротский приют, который собирались прикрыть, потому что здание, в котором он располагался, было слишком ветхим. И он профинансировал ремонт этого здания и создал фонд, который должен был этот приют поддерживать после его смерти.

Я замолкаю и рисую на скатерти невидимого паука. Черенком ложки.

По ходу рассказа к нашему столу подсело еще несколько слушателей, но я ничего не имею против, пусть себе слушают, если им интересно.

– Он составил список всяких правил и ограничений для тех, кому жить в его доме и на его деньги. Только с тех пор прошло так много лет, что многие из этих правил перестали соблюдаться.

– А какие были правила? – нетерпеливо спрашивает Русалка. – Ты точно знаешь их. Расскажи!

– Ну, там было что-то насчет ремонта не реже, чем раз в три года. И принимать стали в основном калек, это с тех пор началось. Слабоумных не принимали, потому что он сам составил учебную программу, а она была усложненной, слабоумному ее было не осилить. У него даже были неприятности из-за этого, его обвиняли в том, что он угрохал все деньги на один разваливающийся приют, хотя на них можно было построить двадцать таких приютов, а потом еще ограничил доступ в него самым богом обиженным.

– Табаки! – возмущенно говорит Дракон. – Откуда ты знаешь всякие такие штуки, да еще с такими подробностями? Признайся, ты все это выдумал!

– Признаюсь. Сидел и от нечего дела выдумывал. Разрабатывал фантазию.

Дракон бесцеремонно хватает мою чашку и отхлебывает из нее.

– Слишком все это романтично, – ворчит он, – в жизни так не бывает. Если и было что-то похожее, то ты все равно там от себя наукрашал.

– Зато тебя это взволновало. Вон как ты выхлестал чужой кофе от волнения.

Дракон возвращает мне чашку и глядит с укором.

– Так ты признаешь, что это были враки?

У него мохнатые брови, лоб зарос почти целиком, из ушей точат пучки жестких волос. Со всей этой шерстью он похож на черта из детских сказок. Так и мерещатся спрятанные рожки. За спиной у него томный извращенец Ангел к месту и не к месту закатывает глаза. А свободный стул оккупировал Гупи, с хроническим насморком и самыми большими в Доме, после моих, ушами. Думаю, если бы старик Тарантул мог нас видеть, он бы остался доволен.

– Это наверняка правда, – говорит Русалка убежденно. – Когда Табаки врет, он стоит на своем до последнего, а не признается, что все выдумал.

Дракон вертит кудлатой башкой.

– И кому из вас верить? Он говорит, что все выдумал, ты – что не выдумал.

– Архивы надо читать, дети мои, – вздыхаю я. – Историю надо знать. Насколько это в ваших силах.

Дракон, насупившись, молчит. Остальные тоже. С задумчивой Русалки капают вопросительные знаки, один за другим, и просачиваются сквозь паркет. В моей чашке пусто, и я незаметно придвигаю к себе Русалкину, хотя в ней маловато сахара.

Ангел возвращает застрявшие под веками зрачки на место.

– Предлагаю воздвигнуть на Перекрестке тотемный столб в честь нашего отца-благодетеля! – выпевает он хрустальным голоском. – Это просто позор, что личность, которой мы стольким обязаны, прозябает в забвении!

– А тебе только дай кого-нибудь почествовать, надо, не надо, – бурчит Дракон, не сводя с меня подозрительного взгляда. – Ни в каких архивах не могло быть того, что он тут нам развешал по ушам!

– Но ведь было же! – изумляется Ангел. – И согласись, что культ паука существует в Доме, восходя к давнейшим временам. Взять хотя бы всем известные стихи…

Негодующий рев Дракона заглушает всем известные стихи. Русалка затыкает уши, а Гупи почему-то закрывает глаза. Наверное, потому что его уши двумя пальцами не заткнешь. Поглядев на него, я тоже закрываю глаза. Потом открываю и вижу Коня.

Он что-то говорит, но его не слышно, пока Дракон не перестает реветь и не отъезжает от нашего стола.

–…и стал отцом другим зверям! – нежно заканчивает Ангел.

–.. сказал, что ты собираешь всякую такую пакость, – Конь кладет передо мной связку чего-то непонятного. – Тебе это годится?

Хватаю ее и вижу удивительную вещь. Крысиные черепки, нанизанные на ремешок-уздечку. Срываю очки, чтобы получше рассмотреть долгожданную добычу.

– Чье это, Конь?

– А хрен его знает, – отвечает Конь. – Валялось себе в обувном ящике. Я полез за сапожным кремом, смотрю, фигня какая-то…

Дрожащими руками распутываю узлы на ремешке. Черепков ровно семь, и только у одного обломаны клыки, в целом они в прекрасном состоянии. А ремешок украшен тусклыми медными бляшками и шипами, он сам по себе довольно красив. Если это не колдовской предмет, то уж и не знаю, что можно так назвать.

– Ужас какой! – восклицает Ангел. – Чьи это бедные обглоданные косточки?

– Крысиные, – ворчу я. – Что у тебя было по биологии, хотел бы я знать.

Конь доволен.

– Если тебе это нужно – бери. Мне эта штука ни к чему.

– Отвратительно! – причитает Ангел. – Это сколько же крыс сгубили ни за что! А может быть, кто-то так наводил порчу на вторую?

– Но-но, – Конь скрещивает пальцы, тревожно озираясь. – Ты, Ангел, придержи язык. Я их в нашем, между прочим, ящике нашел. Мы, что ли, по-твоему, порчу наводили?

Стучу ладонями по столу, чуть-чуть расплескав Русалкин кофе.

– Хватит! Уйдите все. Дайте спокойно рассмотреть добычу. Тебе, Конь, спасибо, я в долгу не останусь. Тебе, Ангел, тоже спасибо. За компанию.

Ангел обиженно закатывает глаза. Конь ухмыляется, салютует мне и откатывает коляску с временно ослепшим Ангелом в другой конец Кофейника. Гупи сидит неподвижно, изо всех сил прикидываясь, что его здесь нет.

Я достаю из рюкзака пакет с макетами, изображающими мою коллекцию в миниатюре, и раскладываю их на столе. Русалка подтаскивает стул поближе, и мы начинаем так и сяк переставлять макетики, учитывая появление крысиных черепков. Возимся мы долго. Гупи надоедает за нами следить, и он задремывает.

– Нет, – говорит Русалка. – Так ничего не получится. Надо хотя бы понять, что это такое.

Я вешаю ремешок с черепками на шею, потом обматываю им голову, потом пробую закрепить на талии.

– Это точно не на шее носилось. И не как пояс. Но вот здесь была раньше пряжка, видишь след?

– А может, это и правда порча? – спрашивает Русалка. – Тогда оно чье-то, но владелец ни за что не признается.

– Где ты видела такую порчу? Не проткнутые, не расколотые, целенькие черепушки в отличном состоянии!

– Откуда мне знать, какими они должны быть, я никогда ни на кого не наводила порчу.

– Тогда слушай тех, кто знает, не ошибешься.

Русалка подпирает голову ладонями и глядит на расставленные на столе макеты.

– Мне интересно только одно. Откуда берутся знатоки подобных вещей. Которые все на свете знают, ну буквально все.

– Не все, – скромно поправляю ее я. – Но многое. Они выковываются в кузницах жизненного опыта.

– Ага, – кивает Русалка. – Только для такого жизненного опыта нужно прожить лет сто и завести совершенно необъяснимые знакомства. Вот мне и интересно, откуда он берется, этот опыт?

– Вырастешь – узнаешь. Или не узнаешь. Как повезет.

– Только это и слышу со всех сторон, – кривится она. – От тех, кто прямо жуть насколько старше меня.

Я смешиваю картонные игрушки и убираю их обратно в рюкзак.

– Пошли. Сегодня уже ничего интересного не будет. Дважды в день не везет по-крупному. Так что можно съездить проверить, как это будет смотреться со всем осталь-

ным.

Русалка собирает чашки и несет их к стойке. Я вожусь с завязками рюкзака.

Время в Доме течет не так, как в Наружности. Об этом не говорят, но кое-кто успевает прожить две жизни и состариться, пока для другого проходит какой-нибудь жалкий месяц. Чем чаще ты проваливался во вневременные дыры, тем дольше жил, а делают это только те, кто здесь давно, поэтому разница между старожилами и новичками огромна, не надо быть очень умным, чтобы ее разглядеть. Самые жадные прыгают по нескольку раз в месяц, а потом тянут за собой по нескольку версий своего прошлого. Пожалуй, таких жадин, как я, в Доме больше нет, а значит, нет никого, кто прожил бы столько кругов, сколько прожил я. Гордиться тут нечем, но я все же горжусь, ведь выдающаяся жадность – это тоже в своем роде достижение.

Русалка возвращается и выжидающе глядит. Я говорю, что готов, и мы покидаем Кофейник, оставив Гупи дрыхнуть за опустевшим столиком.

Каждый раз, разбирая и собирая рюкзак, я понимаю, что занят чем-то абсолютно бессмысленным. Содержимое рюкзака почти не играет при этом роли, важен сам процесс. Вытащил, понюхал, отложил. Вытащил, поковырял, отложил. Потом пробуешь запихать все обратно, а оно не запихивается. Становится интересно, почему. И так далее. Почти медитация.

Когда-то такое называлось «синдромом одной сумки». Очень тяжелое заболевание. Наблюдая теперь у себя его признаки, я не совсем понимаю, чем оно вызвано. Размеры и вес багажа на выпуске никто не ограничивает. А я все равно ужасно расстраиваюсь из-за того, что в рюкзак ни в каком виде не влезает воздушный змей. Наверное, это такие игры ума. Отвлекающие маневры. Мучаешься, пыхтишь, пересчитываешь свое добро и незаметно забываешь, с чего, собственно, начал паковаться. Зато вспоминаешь много всего другого, потому что любой предмет – это времена, события и люди, спрессованные в твердую форму и подлежащие размещению среди прочих, себе подобных.

Рюкзаку моему лет сорок, сейчас таких прочных не шьют. На нем заплатки из настоящей кожи, тяжелые латунные пряжки, десять внутренних карманов, пять наружных и специальный чехольчик для ножа. Не рюкзак, а пещера Али-Бабы. У меня его крали два раза, но я оба раза его вернул, а сам украл так давно, что никто уже и не помнит, что он не был изначально моим.

Я рассказываю все это Лорду, выгружая содержимое рюкзака, похлопывая его по опавшим бокам и встряхивая.

– Вот здесь, смотри… в этом кармашке – бритва. Дергаешь змейку, она выскакивает, и – привет.

– Что привет?

– Без пальцев можно остаться. Так я вернул его оба раза после кражи. Смотришь, в столовой, у кого рука забинтована, подъезжаешь и говоришь: «Верни рюкзак, сука!» – и они отдают. А если не отдают, им же хуже.

Лорд с интересом заглядывает в рюкзак:

– Странно, что ты не намазал ее ядом. На тебя как-то непохоже – оставить вору шанс.

– Ну уж нет, – кладу обратно шерстяные носки и кружку со своими инициалами, – одним из похитителей был Лэри. Можешь себе представить его нытье, когда он порезался. А если бы там был яд…

На самое дно идет архивный альбом с наклейками и вырезками, в кружке размещаются глиняные свистульки. Походный котелок, бинокль, малиновая жилетка, коробка с бисером…

Лорд подтаскивает к моей кучке подушку, ложится на нее животом и глядит.

Хватает его минуты на полторы. Когда я в следующий раз отрываюсь от упаковки, он дрыхнет. Ощущение, сходное с тем, что бывает, когда вдруг захлопнут дверь перед самым твоим носом. Вот только что был собеседник, а вот его уже нет.

Со вздохом снимаю с Лорда очки-зеркальца. Конверт с наклейками еще не упакован. Перебираю хранящиеся в нем образцы. Нахожу два подходящих, отколупываю с бумажек и

приклеиваю на одно зеркальное стеклышко большую клубничину, а на другое – человечка со спущенными штанами. Вдеваю дужки обратно за Лордовы уши и опускаю очки ему на переносицу. Вид у Лорда сразу становится более праздничным.

– Душа моя просит музыки, – говорю я Курильщику. – Но ничего нового и не заслушанного у нас нет. Значит, надо оживить обстановку яркими красками.

– Можешь раскрасить меня, – уныло предлагает Курильщик. – Или устроить пожар.

Он лежит на спине и глядит в потолок, но иногда переводит взор на более низменные предметы. Как-то нехотя, словно на потолке в любую минуту может произойти что-то важное. Возможно, в детстве он мечтал стать летчиком. Складывается такое впечатление.

– Знаешь, – говорит он после долгой паузы, – я никогда в жизни не полезу в твой рюкзак. Никогда.

И замолкает. Очень категоричное, даже угрожающее заявление. Как будто я много лет подряд умолял его пошарить там, и вот сегодня, он, наконец, сказал мне свое твердое нет.

– Что же так? – спрашиваю.

Молчит. Многозначительно. Осуждая, надо полагать, мои противоугонные приспособления. Никто из моих знакомых не умеет так многословно молчать, как Курильщик. Так всесторонне охватывая тему.

Я пакуюсь дальше, с уважением вслушиваясь в перегруженную тишину. Лорд продолжает спать. Колода карт, лампочки для фонариков, компас, солонка, ушные затычки, перо на шляпу, подтяжки…

Да, я меркантилен, кровожаден, склонен к паранойе и вообще далек от совершенства. Но и у меня бывают светлые периоды, когда я становлюсь милым, а в прокурорском молчании Курильщика ничего этого нет. Наслушавшись его, я в конце концов теряю терпение и говорю ему, что он вопиюще несправедлив и пристрастен.

Курильщик лениво приподнимает голову.

– Да ну? Я так не считаю.

Собираюсь объяснить ему, почему это так, но тут входит Македонский, от вида которого все мои мысли и слова разлетаются с воем и стоном.

Македонский садится на кровать и улыбается нам с Курильщиком. Он в белоснежных брюках и в белой майке, а мокрые после душа волосы зачесаны назад. Впервые со дня моего знакомства с ним он оделся во что-то ярче половой тряпки. И открыл всегда завешенный волосами лоб.

– Ну что вы так смотрите? – нервно спрашивает он, ерзая по краю постели.

– Ты – как снежинка, Македонский, – говорю я. – Что с тобой стряслось, признавайся.

Вообще-то на снежинку он не похож. Скорее, на белую спицу. Потому что нынешняя одежда сидит на нем нормально, а раньше все всегда висело мешком. Это, по-своему, не менее странно. Как будто человек всю жизнь прятался по углам, и вдруг выскочил оттуда, завывая, облаченный в парадный смокинг. Но если он выскочил, значит, ему это позарез понадобилось, вот что важно.

– В принципе очень мило, – говорю я, – непривычно только. Обещаю привыкнуть.

Лорд уже проснулся и пережил свое потрясение молча. Как и клубнику с бесштанным отроком. Содрал отрока с очков и бросил в пепельницу.

– Поиграй на гармошке, – просит он меня.

Дураку понятно, зачем. Чтоб я замолчал. Но я на самом деле настоящий друг своим друзьям и не отказываю в просьбах, даже когда меня просто хотят заткнуть. Поэтому достаю гармошку и начинаю играть. Лорд отползает к спинке, распластывается там, подтаскивает к себе гитару и кладет ее на брюхо.

Легче гармошке вторить гитаре, чем наоборот, поэтому сначала мы сбиваемся и не можем подладиться друг к другу, шипим и переругиваемся, потом, с грехом пополам, что-то изображаем, и рады тому, хотя ничего особенного не звучит, но в этом деле главное процесс, как и в упаковке, так что мы погружаемся в него и основательно застреваем. Через какое-то время во мне начинает зарождаться вопилка. В Лорде, наверное, тоже. Он начинает подпевать и насвистывать. Я очень завожусь от таких вещей, и мои голоса-вопилки тоже. Честно давлю их, пока хватает сил, а когда силы кончаются, роняю мокрую гармошку, за-

жмуриваюсь и визжу: «Трап на воду! Фургоны в круг! Орудия к бою! Пли!» На чем наше с Лордом музицирование заканчивается.

В тикающей после вопилки тишине открываю глаза и вижу Сфинкса, сидящего на тумбочке.

– Опять, – говорит он.

– Опять, – обреченно соглашаюсь я.

Разного рода выкрики поселились во мне с недавних пор. Иногда, наездившись по Дому и насмотревшись того и этого, очень хочется мужественным голосом рявкнуть: «Женщины и дети, в укрытие!» Какие женщины? Какие дети? Подсознание не уточняет. Хочется согнать их всех в укрытие, и все тут. Наверное, срабатывает аварийная служба генетической памяти. Или скажем: «Орудия к бою!» И представляются какие-то дряхлые катапульты. С потрясающей навязчивостью. Вообще-то, когда мне хочется что-то проорать, я ору, не сдерживаюсь. Лучше крикнуть пару раз и успокоиться, чем все время хотеть это сделать. Вот только стаю мои вопли нервируют. Никак они к ним не привыкнут.

– Где такое видано, чтобы трап спускали на воду? – умирающим голосом спрашивает Лорд. Немного позеленевший от того, что сидел слишком близко, когда на меня накатило.

– Вот именно, где? – возмущаюсь я. – Подсознание совсем отбилось от рук. Вдруг позарез понадобилось его спустить. И фургоны поставить в круг. А то нам всем пришел бы конец.

– Ты его спустил? – интересуется Сфинкс.

– Да.

– Фургоны поставил, как надо?

– Да.

– Ну и слава богу. Расслабимся до следующего раза.

Я вытираю гармошку. Удивительно душный день. Совсем нечем дышать. Лорд лежит, обмякший, под гитарой. Человечка без штанов он содрал, но клубничину оставил, и она торчит у него на глазу, как красная клякса. Курильщик ждет новостей с потолка. Македонский испарился.

– Эй, – говорю я Сфинксу, – ты видел Македонского в белоснежных одеждах? Такого чистенького и белого-пребелого, как жасмин?

Он кивает.

– И как тебе его вид?

– По-моему, он похорошел.

– Он еще волосы прилизал. Такое поведение ему не свойственно. Не говоря уже о том, что он всегда ненавидел белый. Подчеркнуто не переносил. Так что не притворяйся, что не понимаешь, о чем я.

– Может, он дает понять, что ему осточертело убирать за всеми? – не отрываясь от лицезрения потолка, предполагает Курильщик.

Опять этот прокурорский тон, подразумевающий океан не затронутых тем. К нашему счастью, не затронутых.

– Никто его не заставляет убирать, – говорю я. – И никогда не заставлял.

Курильщик молча усмехается. Даже не глядя в мою сторону.

Во втором пункте я, конечно, соврал, но ведь не специально, а по забывчивости. Уже не в первый раз за сегодняшний день хочется придушить Курильщика. Скоро это желание войдет в привычку.

– Я его заставлял, – говорит Сфинкс. – И Лорда тоже. И Лэри, если уж на то пошло. Только тебя почему-то пропустил.

– Интересно, почему? – вежливо любопытствует Курильщик.

– Действительно, интересно. Может, в связи с изменением имиджа Македонского самое время попробовать? Как насчет сегодняшней уборки?

Курильщик наконец переворачивается и являет нам сумрачный лик. Вернее, не нам, а

Сфинксу. Смотрит на него с каким-то извращенным ожиданием, потом говорит:

– Если сможешь меня заставить. Как когда-то их. Чтобы потом даже Табаки говорил, что этого не было.

Потрясающе наглое заявление. У меня начинает чесаться нос, а в местах, отвечающих за мои действия и разговоры, выстукиваются новые вопилки: «Мародеров к стенке!» и «Пленных не брать!» Кое-как удается справиться с ними.

Сфинкс глядит на Курильщика с таким видом, что непонятно, то ли он сейчас убьет, то ли рассмеется. Просто смотрит. Он – на Курильщика, Курильщик – на него. Тишина капает тяжеленными каплями.

– Бог ты мой, – говорит Лорд уважительно. – Страсти какие.

Из меня выскакивает неуместное и подленькое хихиканье.

Сфинкс выключает фары, потом опять включает, переведя на нас. Ну, моргнул человек, обычное дело. Глаза веселые, даже хитрые. Так что, скорее всего, он засмеялся бы. Хотя в такой душный и жаркий день ни в чем нельзя быть уверенным.

Опять появляется Македонский. Садится на свою кровать.

– Эх ты, полярник, – говорю я ему. – Из-за тебя назревал конфликт. Жуть как не любим мы чего-то недопонимать. Так что если это такая форма протеста, ты так и скажи. А то Курильщик тут уже высказывается вместо тебя, и, между прочим, выяснилось, что у него аллергия на пыль.

Македонский выглядит очень честным. Его словам веришь еще до того, как он их произносит. Поэтому хорошо, что говорит он мало, ведь от по-настоящему честных слов как-то устаешь.

– Я ненавижу белый, – говорит он.

И я устаю сразу и очень сильно. От большого умственного напряжения.

Македонский смотрит с таким видом, словно мы обязаны были все понять, но, видно, на наших лицах понимание отсутствует, потому что добавляет:

– Я видел себя во сне драконом. Я летал над городом и опалял его улицы огнем своего дыхания. Тот город был пуст из-за меня. И я… испугался.

Дергаю себя за серьгу. Больно, зато отрезвляет. И когда пьяный, и когда что-то мерещится. Например, красные крылатые ящеры, летающие между обугленными многоэтажками. Похожие на костры. Македонский не сказал ничего о красном цвете, но я знаю и так. И еще я знаю, что когда твой подлинный цвет рвет тебя изнутри, можно завернуться в десять слоев белого или черного, ничего не поможет. Все равно что пытаться заткнуть водопад носовым платком.

– Белая майка тебя не спасет, Македонский, – озвучивает мои мысли Сфинкс.

Македонский глядит не мигая. Кажется, еще немного, и на его лице проступят все кости, можно будет пересчитать их и удавиться с горя. Они уже и сейчас видны. Кости, сероватая кожа и болотные лужицы глаз с точками головастиков.

– А вдруг спасет, – говорит он неуверенно. – Кто может знать?

Сфинкс не спорит, я – тем более. Лорд нырнул за журнал, Курильщик демонстративно зевает.

– Пора, пора тебе, Сфинкс, грохнуть для нас стекло. Видишь сам, что делается. Время улетать. Вон, человек уже встал на крыло, – киваю на Македонского, – об остальных я не говорю.

– Ну так грохни его сам, – предлагает Сфинкс. – Мне уже не десять, я разучился.

Почему-то от его слов я окончательно скисаю. Словно всю дорогу только на что-то такое и рассчитывал. Хотя когда начал говорить, это была всего лишь давняя, полузабытая шутка.

– А вот когда я однажды увидел страшный сон и рассказал его, Сфинкс пообещал укусить меня, если я не заткнусь, – как бы невзначай вспоминает Курильщик, справившись с зевотой. – Я это очень хорошо помню.

– Я тоже, – кивает Сфинкс. – Во всяком случае, помню, что обещал это не тебе, а Лорду. Твоя память избирательна, Курильщик. Коверкает события не в лучшую сторону.

– А если бы я увидел себя летающим гиппопотамом?

– Это означало бы, что ты съел на ужин какую-то дрянь.

– Почему же у Македонского это означает, что он должен нацепить на себя что-то белое?

– Не знаю, – Сфинкс слезает с тумбочки и садится на пол, прислонив к краю нашей кровати лысину. – Если ты заметил, я не счел это необходимым.

Курильщик смеется.

– Прекрасное объяснение. Исчерпывающее. Точное. Теперь-то я, конечно, все понял.

Смех у него не то чтобы нормальный, но и не совсем уж сумасшедший. Поровну того и другого. До Лорда в его лучший период ему еще смеяться и смеяться, но все равно это удручает. Срочно надо выбраться на свежий воздух, пока он еще где-то есть. Потому что потом его может и не быть.

Я надеваю очки, затеняя мир, и прошу Македонского помочь мне подвесить рюкзак к Мустангу.

Подъезжая к Перекрестку, вспоминаю:

«Amadan-na Breena, он каждые два дня меняет облик. То он идет, глянешь со стороны, ни дать ни взять молоденький парнишка, а то обернется тварью какой ужасной, и вот тогда-то берегись. Мне тут сказали не так давно, что, мол, кто-то его подстрелил, но я-то думаю – кто ж его такого застрелит?»[1]

Бормоча про себя этот канонический бред, я пересекаю Перекресток и у дальней его стены останавливаюсь. Между столиком с неработающим телевизором и стеной здесь стоит длинное зеркало, про которое многие думают, что оно стоит изнанкой наружу, до того оно пыльное. На нем иногда гадают девушки. Вытирают пальцем маленькие участки и смотрят, что в них отражается. На маленьком кусочке зеркала даже фрагмент собственного лица выглядит многозначительно.

В этом зеркале я протираю себе окошко. Я очень-очень давно не видел себя. Казалось бы, когда плохое настроение, не стоит проводить такие эксперименты. Но я вдруг подумал, что дни летят слишком быстро, вполне может случиться так, что я уже и не успею посмотреть на себя именно в гадальном зеркале.

Я протираю кружок чуть выше глаз, оттуда спускаюсь к носу, и в конце мой двойник выглядывает из аккуратного окошка, похожего на дырку в стене. Ничуть не повзрослевший. Та же рожа четырнадцатилетнего, с которой меня, надо полагать, похоронят. Я вымазываю себе ниши для ушей и освобождаю их из-под волос, чтобы они лучше отразились. Двойник превращается в Микки-Мауса. В зловещего Микки-Мауса. Я вдруг с ужасом понимаю, что постарел. В зеркале я тот же, что и пять лет назад, но вот внутри чего-то не хватает. И это заметно. Куда-то подевалась привычная наглость. И ведь, если вдуматься, я бог знает сколько времени не затевал ничего интересного. Не устраивал людям холеру. Давным-давно уже никто меня не бил.

– Эге, – говорю я двойнику, – ты что, взрослеешь? Не вздумай, а то я с тобой больше не дружу.

У отраженного Табаки глаза круглеют. Испугался. Или издевается.

– Друбби, хамара, скуй! – шепчу я. – Сттрокат премчадрр. Что написано на их рожах? Там написано: «Выпуск близко! Грядет вселенский швах! Готовьте гробы!» А у тебя? У тебя то же самое. Ты вообще кто, на самом-то деле?

Он моргает. В смысле что – а кто я?

– Ты – Ужас, Подкрадывающийся в Ночи! Ты – Хищник, жующий потрох врага! Ты – Стрелок по Мишени! Ты – Чума и Погибель!..

На двойника все это не очень действует. То есть он послушно перекашивается и принимает еще более зловещий вид, но все равно видно, какой он на самом деле маленький и трухлявый.

– Жаль, что у меня нет при себе гири, да, очень жаль, и нечего мне тут таращиться!

---

[1] Б. У. Йейтс. Королева и дурак. (Из сборника «Кельтские сумерки»). *Пер. В. Михайлина.*

Я вытаскиваю из-за уха фломастер и рисую на зеркале зубастую улыбку. Щетинистую, как расческа. И быстро откатываюсь назад, чтобы не увидеть, как двойник выпрыгнет из нее. Он и не успевает.

Я еду, думая о том, сколько же я всего не успел в жизни.

Я не научился играть на флейте и показывать карточные фокусы. И делать перечный коктейль. Я ни разу не был на крыше, не посидел там ни на какой трубе и ничего в эту трубу не бросил громыхающего. Я не влезал на дворовый дуб. Я не нашел ласточкино гнездо и не съел его. И не запустил самого большого и пугающего воздушного змея ранним утром перед Фазаньими окнами. Я даже до сих пор не прочел послание из давних времен, сложив все ничьи предметы, сколько их было в Доме.

Отягощенный такими мыслями, вкатываюсь в Кофейник, надев предварительно очки.

Пара Крыс, тройка Псов и в дальнем углу – Русалка с Рыжей. У них на столе три чашки, значит, кого-то ждут, а этого кого-то нет, так что вполне можно представить, что ждали они меня. Я рулю к ним, говорю: «Спасибо-спасибо», – и забираю чашку.

Кофе с молоком. Значит, ожидался Лорд, а не Сфинкс. Сдвигаю очки на лоб и пью. Никогда не удается проделать это без чавканья, даже в присутствии девушек.

– Табаки, ты подрался с кем-то? – спрашивает Рыжая, внимательно в меня всматриваясь.

– Зверски подрался, Даже вспомнить страшно. Скажу только, что у него появилась вторая улыбка, это все, что я могу вам рассказать, не вдаваясь в гнусные подробности.

Они переглядываются. Рыжая в рубашке с огурцами, которую я откопал для нее в позапрошлый меняльный вторник, Русалка в сером жилете, в прорезях которого все еще вопросительные знаки. Двадцать «почему», пугающе соответствующих обстановке и общему настрою.

– Бедняга, – говорит Русалка, подразумевая пострадавшего.

Тепло так говорит.

– Действительно, – умиляюсь я. – Бедный он, бедный, разнесчастный, пыльный…

– Это, наверное, про Перекресточный фикус, – предполагает Рыжая.

– Или про твоего медведя! – ахает Русалка.

Рыжая ощупывает рюкзак, висящий у нее за спиной на спинке стула.

– Медведь со мной. И вовсе он не пыльный, если уж на то пошло. Просто старенький.

Смотрю на окна. Кажется мне или действительно солнце ушло? В Кофейнике всегда зашторено, и потом, уже вечер, но все равно кажется, что погода меняется.

– Давай-давай, – шепчу я под нос. – Нагони тучек, пролейся дождем, напои деревья, искупай ворон…

– Колдует, – с уважением замечает Русалка. – Я тоже хочу уметь так. Вызывать грозу.

– Месяц уже всем Домом вызывают, – фыркает Рыжая. – Если бы хоть кто-то из них это умел, нас бы давно затопило по самую крышу.

– А где вы, между прочим, пропадаете? В спальне тоска и безлюдье. Все, чуть что – засыпают. Поговорить не с кем. Горбач на дубе, Лэри на первом, а теперь еще вы исчезли куда-то, – я вытираю подбородок и нос и размазываю пальцем кофейную лужицу по пластиковой салфетке. – Скучно.

– Спица шьет себе свадебное платье, – ошарашивает меня Русалка. – У нас в комнате, чтобы никто не видел. Они с Лэри решили пожениться, как только… когда смогут, в общем. Мне придется обшить его белым бисером, представь. Почти целиком.

– Лэри? – ужасаюсь я.

Рыжая хрюкает и, захлебнувшись кофе, громко стучит ногами под столом.

– Да нет же, платье, конечно. Она хочет, чтобы все было как у людей.

Представив Лэри у алтаря, в кожаном прикиде, подцепляющего отрощенным на мизинце ногтем обручальное кольцо, я чуть не падаю в обморок.

– Тьфу, какая гадость! Мещанство и мелкое «каколюдство», иначе не назовешь. Но я все же дам им свое благословение. И свадебный подарок. Прекрасно иллюстрированное издание «Кама Сутры».

Мне вдруг становиться ужасно грустно. Мало было Македонского с его осознанием своей сущности, теперь еще Лэри собирается жениться. Я понимаю, что надо бы выпить что-нибудь покрепче кофе и утопить в этом чем-то свою скорбь о происходящем, но Кофейник на то и Кофейник, что здесь не раздобудешь ничего успокаивающего нервы. Вдруг вспоминаю, что Рыжая всегда имеет при себе фляжку и говорю:

– Надо бы выпить по этому поводу. Не каждый день Лэри готовится совершить такой ответственный шаг.

– Он вовсе не сегодня это решил, – сопротивляется Рыжая, но я смотрю на нее с укором:

– Ты что, жадничаешь?

Мне оскорбленно вручается фляжка. Я отливаю из нее в чашку из-под кофе. Как я и подозревал, это «Погибель», лично мною изобретенный экстракт для поднятия тонуса. Конечно, вряд ли я что-то почувствую, употребив такую порцию, как та, что мне удалось урвать, но лучше маленькое что-то, чем вообще ничего. Я поднимаю чашку и, к собственному удивлению, говорю срывающимся от переживаний голосом:

– Друзья! Время, наш главный и основной враг, беспощадно. Годы летят и берут свое. Старики старятся, дети растут. Дракончики покидают материнскую скорлупу и устремляют туманные взоры в небеса! Недалекие Логи вступают в брак, не думая о последствиях! Милые мальчики превращаются в брюзгливых и злопамятных юношей со склонностью к стукачеству! Собственные отражения плюют на наши седины!

– Ух ты, – изумляется Рыжая, – а ведь он еще даже не отхлебнул.

Рука Лорда ложится на мое плечо, а его костыль со звоном стукает о Мустанговы гирьки для утяжеления.

– Это он от моего кофе. Воровские натуры всегда пьянеют, поимев чужое.

– Ну, не до такой же степени!

– Дряхлые кости ломит от близости могилы, – не успокаиваюсь я. – Гордые прежде мужи позволяют всякой мелюзге безнаказанно топтать свое самолюбие. От всего этого больно и страшно, друзья мои! Как и от сознания собственного неучастия во всех этих процессах… «Но лишь один Шакал не растет, и не женится он никогда! Проводит друзей, одного за другим, и тихо уйдет в никуда!»

Меня похлопывают с трех сторон, Рыжая баюкает мою зареванную голову, приговаривая:

– Ну, Табаки, ну что ты так, не плачь!

Лорд говорит:

– Да не утешайте вы его, а то он никогда не успокоится.

А за соседним столом Викинг вырывает у Гибрида бритву, на что Гибрид кричит сквозь слезы:

– Нет, нет! Пустите меня! Он прав во всем. Во всем!..

Одним словом, кавардак еще тот, но мое время застыло и сжалось в комочек. В хитрый и коварный комок, который, пока одна моя часть изображает скорбь, незаметно осязает сквозь тонкую ткань майки два теплых бугорка, так пугающе близко расположившихся. Твердых и одновременно мягких. И если скорбящий человек судорожно вздыхает, всхлипывая, никто ведь не подумает, что он изо всех сил во что-то внюхивается. У меня, может, никогда в жизни больше не будет возможности понюхать девушку вот так, в непосредственном контакте, и до слез жаль, что я забил себе нос соплями, но с другой стороны, не будь соплей, она не стала бы прижимать меня к груди.

Но что-то я, наверное, все же сделал не так, потому что Рыжая вдруг резко отстраняется, глядя на меня сверху с таким удивлением, будто я ее укусил. И краснеет, просто ужасно, как краснеют все рыжие, когда так и ждешь, что вот сейчас они загорятся. Я, наверное, краснею тоже. Рыжая прищуривается. Я закрываю глаза в ожидании заслуженной пощечины. Успев заметить, что наша пантомима не ускользнула от Лорда и совершенно ускользнула от расстроенной Русалки.

Пощечины все нет и нет. Даже обидно. Жалеет она меня, что ли? Открываю глаза. Рыжая уплыла куда-то в далекие от Кофейника места. Задумчиво теребит влажную рубашку

и смотрит хоть и на меня, но на самом деле меня не видит. Русалка сует мне платок.

Я громко сморкаюсь в него. Рыжую это выводит из транса. Она вздрагивает, говорит мне:

– Все нормально, Табаки.

И отходит к своему стулу. Вот и все. А приятнее было бы получить причитавшуюся затрещину. Это поставило бы меня в один ряд со всеми полноценными наглецами, нюхающими чужих девушек.

Русалка гладит меня по голове и шепчет, что я вовсе не стар и что никто не собирается покидать меня, один за другим.

– Глупый ребенок… наивное дитя. Таково их предназначение. А мое предназначение – глядеть им вслед и махать засморканным платком. Это жизнь…

Викинг разоружил Гибрида. Теперь Гибрид пялится на меня опухшими глазами и подает какие-то тайные знаки. Наверное, предлагает выехать в коридор и повеситься там с ним за компанию.

За Песьим столиком ругаются на тему: можно ли опьянеть с одного глотка или нельзя, а если можно, то что должно быть в чашке. Вот-вот подъедут проверять, поэтому я быстро отхлебываю «Погибели». От их проверок ничего хорошего ждать не приходится.

Сбежавший в самом начале моего приступа тоски Пес Рикша возвращается со Сфинксом, Македонским и Курильщиком. Если это акция по моему спасению, то он безобразно ее затянул.

Все еще белый, как полярная мышь, Македонский сразу от двери ныряет за стойку, а Сфинкс присоединяется к нам, подцепив по дороге ногой свободный стул и шваркнув его рядом с Мустангом.

– Вот, – говорит Лорд, – если я не ошибаюсь, один из «гордых мужей, что позволяют топтать свое самолюбие». Не позволяй больше такого, Сфинкс, это плохо действует на психику Шакала.

– Как-как ты сказал? Что позволяют топтать?

– Это не я сказал. Самолюбие. Всякая мелюзга его тебе пренебрежительно топчет, а ты это терпишь.

– Доносчик! – возмущаюсь я. – Грязный стукач!

Лорд безмятежно улыбается. Русалка краснеет вместо него. Курильщик, пристроившись в углу, с кислым выражением лица достает свой дневник.

– Время не на всех действует одинаково, – кричит Гном за Песьим столиком. – Только посмотришь, и видно… одни растут и меняются, другие нет. Спрашивается, почему?

– С ума сойти, – высказывается Лорд, нагло отхлебывая из моей чашки.

– Я нашел у тебя в тумбочке странную кассету, – сообщает мне Курильщик, поднимая голову от страниц своего ежедневника. – Там только хруст и какие-то похрюкивания. Это что-то означает?

Это означает, что он нашел одну из шести испорченных неуловимой тележкой-призраком кассет. Ту, которую я не унес в класс. Пробую объяснить это Курильщику. Он глядит с выражением «ты меня ни в чем не убедил и не убедишь», которое последнее время начало меня здорово доставать.

– Время – не твердая субстанция, чтобы воздействовать на кого-то выборочно, – менторским тоном вещает Филин. – Оно текуче, односторонне и не поддается влияниям извне.

– Это тебе оно не поддается, – Гном тычет пальцем в нашу сторону. – А кому поддается, тот про это молчит, вот и выходит, что такого не бывает.

– Какого люди о нас интересного мнения! – изумляюсь я. – Вы слышите их? Даже неловко.

– Сам виноват, – огрызается Лорд. – Нечего было всенародно намекать на свою исключительность.

– Я скорбел!

– Нечего было скорбеть так самозабвенно.

Краем глаз замечаю, что Сфинкс, сидевший до сих пор со скучающим видом, внезапно

скучать перестал. Замер, подобравшись, даже зрачки расширились. Кто другой, может, этого бы и не заметил, но я настораживаюсь и начинаю усиленно внюхиваться в атмосферу. Что в ней изменилось.

Вроде ничего. Не так душно, как раньше, или мне это кажется, оттого что уже привык к духоте. Занавески качнуло. Македонский, поставив чашки, вдруг цепляется за край стола, будто его кто-то куда-то тянет.

– Ты пропустил все самое интересное, – говорит Лорд Сфинксу.

– Я это уже понял.

– Он, между прочим, из-за тебя комплексует. Если покопаться как следует.

– Табаки не растет, потому что знает секрет, – делится с Филином Гном, достаточно громко, чтобы все могли расслышать. – Он сам только что сказал об этом. «Но лишь один Шакал…» и так далее…

Македонский смотрит в окно, напряженно вытянувшись под белой одеждой, как стрела, для которой выбрана цель, как что-то летучее, что упрятали в непрозрачную банку, где ему не сидится. Его обглоданные пальцы, вцепившиеся в плечи, у меня на глазах истончаются и темнеют, оборачиваясь драконьими когтями. Песочно-пустынные облака наружности плывут через его лицо, отражаясь в глазах непролившимся дождем.

– Ой-ой-ой, – бормочу я, таращась на них.

Утомленный, раздраженный, чем-то даже напуганный Курильщик, спрашивает, правильно ли он понял, что на моих кассетах записаны всякие ночные шумы.

– Там зафиксировано потустороннее явление, – терпеливо объясняю я ему.

– Вернее, не зафиксировано.

– Это одно и то же. Призраки не ловятся на пленку.

Ни одной вопилки из подсознания, словно их все смыло. Только какой-то беспомощный хрюк. Спертый от дыма воздух Кофейника начинает тихонько мерцать, размывая очертания сидящих вокруг. Русалка затаилась в волосах испуганной пичугой, Рыжая привстала. Македонский с жадным любопытством переводит взгляд на свои руки. То, что вокруг нас, расползается спиралями, как невидимые волны от брошенного камня. Задетый ими Рикша, хромоного подпрыгивая, перебегает Кофейник.

– И то, что ничего не записалось, доказывает существование призраков? – в голосе Курильщика почти отчаяние и почти полная уверенность в моей невменяемости.

Человека, говорящего так, надо спасать, но я еще не определился, кого надо спасать срочнее, Курильщика, который вот-вот завоет, или Македонского, который вот-вот улетит в окно, снеся и стекло, и решетку. И, конечно, я не поспеваю за обоими.

– Вы что, решили свести меня с ума, вы все! – пронзительно кричит Курильщик, выкатив побелевшие глаза, и едет прямо на меня с явным намерением раздавить. Одновременно раздается другой вскрик. Что-то огненно-пурпурное, ослепив нас, всполохом опаляет потолок и пролетает по комнате. Звуки глохнут.

Я визжу: «Полундра!» – отталкиваюсь от стола, и под расчлененно затухающее собственное «ра-ра-ра» переворачиваюсь вместе с Мустангом. Возмутительно медленно. Коляска Курильщика, судя по шуму, врезалась в Мустанга, со всеми его гирьками и прочими утяжелителями. Лежа на спине, я вижу хрустальный дождь, веером разлетающийся по полу. Стеклянные бисеринки повисают в воздухе и медленно падают, не поспев за более крупными осколками. Завороженно протягиваю руку, чтобы поймать одну из бусин, но промахиваюсь. Я понимаю, что Македонского я окончательно и бесповоротно упустил, что в первую очередь спасать надо было, конечно, его, а Курильщик мог и подождать, потому что одно дело, когда кто-то сходит с ума от одиночества, и совсем другое, когда кто-то превратился в дракона и умотал. Осознав все это, пробую вылезти из коляски, чтобы все же попытаться что-то сделать, и попадаю прямиком под Курильщиковы колеса. Темно, скучно и очень пахнет гарью.

Прихожу в себя под столом. Как я тут очутился, непонятно. Рядом сопит затаившийся Филин, а с края нашей с ним общей крыши тихо капает грязноватый кофейный дождик. На лбу у меня пухлая шишка, сползающая на глаз. Ощупав ее, вспоминаю стеклянный водопад

и испуганно ахаю.

– Знаешь, что, – сварливо говорит Филин, поблескивая стеклами очков, – ваша стая переходит всякие границы. Это уже просто неприлично, то, что вы вытворяете.

– Да. Случился приступ у человека. Что тут можно было поделать? С эпилептиками такое случается.

– Приступ? Эпилептик? – Филин разражается неприятным хохотом. – Вот, значит, как вы у себя в четвертой это называете!

Объясняю Филину, куда он может затолкать свое возмущение, изложенное письменно и обмотанное колючей проволокой.

– Хам, – бормочет Филин, вылезая из-под стола. Поредевшие кофейные капли шмякаются ему на загривок.

Дожидаюсь, пока он отползет подальше, и высовываюсь. Ноги, осколки, вода, пенные ошметки. Кто-то пытается убирать, остальные расхаживают и таращатся. Псы, Крысы и даже девушки. Забыли, наверное, что у нас война. Уцелевшая часть оконного стекла разрисована инеем. Тронь – и все осыплется. А посередине зияет дыра. Смахивающая на морскую звезду. Я смотрю на нее, когда меня подбирает Черный. Подбирает и уносит, деловито расталкивая не расступающихся перед нами. Я ни о чем не спрашиваю, он тоже. Хорошо, когда тебя целеустремленно куда-то несут. Можно не думать, а просто ехать. На выходе из Кофейника кучка любопытных провожает нас свистом и перешептыванием.

– Не реви, – только и говорит мне Черный.

– Я стараюсь.

Мерцания и вязкости больше нет. Мир вернулся в привычное состояние, звуки доносятся ясно и громко, но кое-что все же изменилось. То тут то там грохают оконные створки. По коридору гуляет ветер. Дверь спальни захлопывается за нами с такой силой, что Черный подпрыгивает, а я щелкаю зубами.

Спальня предураганно сумрачная и с высоты роста Папы Псов неожиданно маленькая. Сфинкс, Слепой и Русалка сидят рядком, подпирая шкаф, с довольно прибитым видом, а пылевая буря стучит в окна, закидывая их летающим мусором.

Черный опускает меня на пол. Ползу к своим, на ходу примеряя разные выражения лица, подходящие к обстановке, хотя не совсем понимаю, какая у нас обстановка. Осиротели ли мы сегодня на вечные времена? Потеряли ли последнего из драконов, которые и так давно не встречаются в природе? Подразумевает ли унылый вид собравшихся безмолвный траур и не следует ли мне немного пошуметь, чтобы вывести их из оцепенения?

Слепой отодвигается, освобождая мне место между собой и Сфинксом. Размером с кролика. Я туда каким-то чудом втискиваюсь и сразу решаю, что шуметь не буду. Слишком много я сегодня шумел. Пусть будет тихо, пусть ветер рвется и гудит в наружности, я устал, и шишка моя болит.

Черный садится на корточки у двери. На коленях Сфинкса – что-то длинное, завернутое в полотенце, воняющее горелой пластмассой. Я отворачиваю край полотенца, но еще до того, как увидеть, догадываюсь, что там грабли. Это они и есть. Отстегнутые, оплывшие на концах до потери пальцев, поблескивающие обнажившимся металлическим каркасом. Очень, очень уродливые.

– Оставь, – говорит Сфинкс. – Их теперь только в мусор.

Осторожно опускаю на место край полотенца, с неприятным ощущением, что дотронулся до чего-то, что умерло совсем недавно.

– Больно было? – глупо спрашиваю я.

– Представь себе.

– А Македонский?

– Македонский наверху. Спит.

Он говорит это быстро и сухо, и я понимаю, что уточнять не стоит. Наверху, значит, на кровати Горбача, а почему там и в каком виде, это уже мелочи, в которые не нужно вникать. Главное, он не улетел. Закрываю глаза и обвисаю, стиснутый с двух сторон ребрами Сфинкса и Слепого, уговаривая себя, что давно мечтал поспать в виде овоща, застрявшего между двумя терками. Не засыпаю, конечно, но впадаю в оцепенение, похожее на сон. У

меня достаточно мыслей, которые нужно обдумать, которые можно обдумывать в таком полудремлющем состоянии. И я их думаю.

Пространство, принадлежащее коллекции, я отгородил позолоченным шнуром. Получилась маленькая сцена. Роль задника играют фотографии древнего Перекрестка. Между ними оставлен зазор, в котором, как луна, висит большая бело-синяя тарелка. Не знаю, насколько это было правильно, поместить ее там, но для меня в таком расположении особая прелесть, ведь это как бы Дом и луна, два моих наилюбимейших природных явления.

Перед щитами с видами Перекрестка стоят табуретки разной величины. На самой высокой – птичья клетка. Длинная, узкая и, честно говоря, тесная даже для канарейки. На табуретке пониже какая-то покореженная штуковина, о которой никто не может сказать, что это такое. Больше всего она похожа на древесную болезнь, которую с дерева срезали, сплющили и впечатали в поднос. Непонятно, для каких целей. Назвать эту бугристую засохлость красивой никто бы не решился. Скорее, она уродливая. Во времена моего детства она лежала в комнате, которую тогдашние старшие называли баром. Не знаю, откуда взялась эта сказка, но среди самых младших ходили слухи, что если проткнуть ее пальцем, в образовавшуюся дырку хлынет вонючая, чавкающая трясина и поглотит все вокруг. Мир станет болотом. Поэтому, хотя нам было интересно, что у засохлости внутри, никто не решался взять на себя ответственность и проверить. Мы только трогали ее. Очень осторожно поглаживали шероховатую поверхность болота, прислушиваясь, не рвется ли оно наружу, взбудораженное нашими прикосновениями. Делали мы это в отсутствие старших, и хотя никто из нас ничего не протыкал, трогать болото было уже достаточно страшно, оно ведь могло только прикидываться твердым, чтобы усыпить наши подозрения, а само только и ждало неуклюжего, неосторожного пальца.

Теперь болото лежит в моей коллекции, с виду помельче и потемнее, чем было когда-то, и по-прежнему ждет. На случай появления поблизости беспечных посетителей над ним пришпилена бумажка с предупреждением: «Руками не трогать!»

Вся моя коллекция увешана воззваниями, стрелками и дорожными знаками. Особенно Перекресточные щиты. Посреди левого щита у меня еще висит лупа на унитазной цепочке. С ее помощью можно изучать надписи на фотографиях. Рядом стоит почтовый ящик-скворечник на деревянной ноге. Раскрашенный в розовый, зеленый и красный цвета. Нога у него попорчена крысами, но верхняя часть выглядит вполне пристойно.

Щиты, почтовый ящик, клетка, болото, тарелка-луна, синий фонарь с открывающейся дверцей, тоже на деревянной ноге, как и почтовый ящик, стул с приклеенным к спинке чучелом ворона, сидение его утыкано гвоздиками, а на груди чучела надпись: «Привет от Хичкока!», собачий ошейник с бубенцами (сводить собаку с ума?), коробка с засушенными жуками, бутылка с запиской неизвестного содержания, запечатанная сургучом, дырявый сапог на великанскую ногу, мешочек с гадальными бобами, дорожный знак «Стоп», весь покореженный, как будто его сшибло грузовиком, черная широкополая шляпа, три подковы, скрученный корень, на котором выцарапано «мандрагор мужской, обыкновенный», и зонтик из соломы, осыпающийся трухой при попытках его раскрыть.

Все предметы делятся на воздушные, колдовские и природные. К воздушным я отнес тарелку, зонт и птичью клетку. К колдовским: стул с вороном, жуков, «мандрагора обыкновенного» и мешочек с бобами. Все остальное земное, исключая болото. Объезжая коллекцию с гармошкой, я заметил, что вблизи знака «Стоп» мелодия становится жалобной, а рядом с почтовым ящиком чирикающей и посвистывающей. Это, скорее всего, означает, что ящик использовался как птичий домик, а дорожный знак пострадал в связи с какими-то печальными событиями.

Началось все с тарелки, которая теперь изображает луну. В тот день пришла девичья делегация и перерезала провода, ведущие на их сторону, прервав между нашими коридорами связь. После них на полу остались вязанки разноцветных проводов, о которые все спотыкались, так что пришлось развешать их по стенам, другого применения им я не нашел, а выкинуть было жалко.

Развешивая провода, я влез на шкаф и нашел там треснувшее блюдо, связку порыжевших мочалок и мумифицированного таракана. Находки эти меня расстроили. Я стал ду-

мать о всяком старом хламе, никому не нужном и абсолютно бесполезном, который не выкинули только оттого, что не дошли руки, а потом он просто затерялся, обо всех этих вещах, которыми человек обрастает со страшной скоростью, как только появляется где бы то ни было. Чем дольше ты где-то, тем больше вокруг всякого такого, что стоило бы выбросить, но когда ты переберешься на новое место, ты возьмешь с собой все что угодно, кроме этого самого мусора, а значит, он больше принадлежит месту, чем людям, потому что не переезжает никогда, и в любом новом месте человек найдет клочки кого-то другого, а его клочки останутся тому, кто придет на его прежнее место обитания, и так происходит всегда и везде.

Чем дольше я размышлял на эту тему, тем мне делалось страшнее, так что под конец я не нашел в себе сил для спуска и остался на шкафу в компании давно отошедшего в мир иной таракана и заскорузлых мочалок. Бесконечно дорогих моему сердцу именно в силу своей ненужности никому.

Когда Сфинкс спросил меня, в чем дело, а я объяснил ему весь ужас ситуации, он обозвал меня вещистом.

– Пойми, Сфинкс, – сказал я. – Они более здешние, чем когда-либо будем мы с тобой. Их отсюда никто никуда не заберет. В этом их преимущество перед нами.

– Ты бы хотел стать старой мочалкой, человек? – Сфинкс прислонился к шкафу, подставляя мне плечи для спуска, и я слез по нему, прихватив с собой треснувшее блюдо в качестве сувенира.

Лорд недобрым голосом спросил, что я собираюсь делать с этой раздолбанной тарелкой.

– Буду с ней спать, – сказал я. – Или класть в нее на ночь серьгу.

Лорд заявил, что мой вещизм давно уже перерос в чудовищный эгоизм, и что с этим надо как-то бороться, хоть он и не представляет, как. Что я предпочитаю вещи людям и готов завалить их всяким барахлом, до полной и окончательной неподвижности.

Пока он говорил, я обтер блюдо от пыли, навел на него блеск и пристроил на тумбочке. Оно оказалось еще красивее, чем я думал. Белоснежное, с сине-голубыми цветами и ягодами.

Все время, пока я с ним возился, Сфинкс не сводил с него глаз и хмурился, как будто тоже был настроен против бедной тарелки.

– Ну что такое? – не выдержал я. – Неужели непонятно, что для меня это символ.

– Мне непонятно другое, – задумчиво протянул Сфинкс. – Откуда он взялся. Кто-нибудь раньше видел это блюдо? Я нет. Не могу понять, как оно попало к нам на шкаф. Ты, например, его помнишь, Табаки?

Я не помнил блюда. Лорд, Горбач, Лэри и Слепой его не помнили тоже. Два дня я разъезжал по Дому, предъявляя каждому встречному бело-синюю треснувшую тарелку, и ни один человек не узнал ее. А потом оказалось, что в Доме есть много таких неожиданных и неопознаваемых предметов. Так начался мой личный поиск и моя охота, то, что стая радостно прозвала помешательством. На третий день охоты меня согнали с общей кровати вместе со всей добычей. На шестой день мою коллекцию перенесли в класс.

Просыпаюсь в душном и темном месте, трясясь от одолевших меня вопилок и от недостатка кислорода. Кто-то не очень умный соорудил «ночное гнездо» и засунул меня в него. Наверное, из лучших побуждений. Гнезда надо уметь строить, это в своем роде целая наука, сделаешь что-то не так – оно обрушится или придушит тебя невзначай. Тот, кто соорудил эту неумелую имитацию, о таких мелочах не задумывался. Поэтому на свет я вылезаю весь мокрый и полузадохшийся, и еще не успеваю вылезти целиком, как гнездо обваливается, придавив меня парой подушек.

Курильщик глядит в потолок. Будь он в моем гнезде, так бы там и помер, тихо и незаметно.

Лэри разливает чай. Рыжая соскребает что-то, присохшее к ее медведю. Спрашиваю, где Македонский.

– Ушел, – Рыжая поворачивает ко мне своего зверя с пуговичными глазками. – Стесняется.

Понятно. Застенчивый человек Македонский. А когда перестает им быть, лучше

находится по возможности далеко. Хотя на самом деле я так не думаю. И свою роль участника событий ни на что бы не променял. Влезаю на руины «гнезда». Так мне виден сидящий на полу Лорд. Сидит он, украшенный здоровенным фингалом, в обнимку с фляжкой Рыжей, и спивается себе под шумок.

– Говорят, ты бросил самодельную бомбу и разнес полкофейника, – доводит до моего сведения Лэри. – Сказал прощальную речь и швыранул ее. Я говорил, что нет у тебя никакой бомбы, но никто не верит. Говорят, я своих выгораживаю.

– Правильно, Лэри, всегда выгораживай своих. Так и надо. Как-никак – одна стая, это не шутки.

Он моргает.

– Но бомбы же не было?

Ощупываю шишку.

– Ты в этом уверен?

Он, конечно, не уверен. Сопит и скребет подбородок. Вернее, то место, где ему полагалось бы быть. Приготовлению чая эта задумчивость не на пользу, но внешность Лэри от нее выигрывает.

– А у Македонского со страху приключился приступ, – уже совсем расстроившись, продолжает Лэри.

– Ты спрашиваешь или утверждаешь? – уточняю я.

Он обиженно молчит.

Ложусь ничком и прищуриваюсь. Клетки пледа, как убегающее вдаль волнистое шахматное поле. Взлетная площадка для раскиданных по нему вещей. Футляр из-под очков – бронированный автомобиль, без дверей и окошек, расческа – плохо покрашенный, покосившийся забор, фуражка – летающая тарелка со значками-иллюминаторами. На редкость красивый и безлюдный мирок. Впрочем, не совсем безлюдный. Пускаю побегать по нему свои пальцы, чтобы немного оживить ландшафт. Одновременно с моей рукой на его поверхность снижается допотопная белая конструкция, из которой валит пар.

Голос Рыжей спрашивает, не болит ли у меня чего.

– Что-то ты вдруг очень распластался…

Сажусь и притягиваю к себе чашку.

– Я был в одеяльной стране. Такой тихой. Там обитают змеевидные гуманоиды. Розовые, слепые и довольно резвые. На каждый десяток приходится один коллективный разум. Среди змеевиков ходят легенды о том, что существует нижний ярус этого же мира, в котором у каждого змеюки есть свой двойник, только намного короче и почти неподвижный. Не все, конечно, верят этим слухам. Есть еще особо продвинутая секта. Ее члены считают, что общий разум объединяет не десять змеевиков, а двадцать, из которых десять – из нижнего мира. Но это уж совсем ересь. Члены этой секты, в целях расширения кругозора, употребляют запрещенные стимуляторы, так что в настоящее время они почти полностью истреблены, теми или иными способами.

Голова Лорда выныривает из-за кровати и водружает челюсть на ее край.

– Интересно, почему все твои сказки такие жуткие, Табаки?

– Потому что я сам жуткий. И разум мой порождает чудовищ. Кстати, если хочешь побыть «гласом божьим» для бедных «двадцатников», можешь попробовать к ним обратиться. Только учти, что они глухие.

Лорд, содрогнувшись, вперивается в свои пальцы, горсткой собранные под носом.

– Как же я к ним обращусь?

– Отстучи морзянку. Они поймут.

– Ну и разговорчики у вас, – возмущается Лэри, – Вы, что, опять меня морочите, да?

Лорд смотрит внезапно расширившимися глазами, в которых сплошь клубы «Погибели»:

– Ты сволочь, Табаки. Как я могу им что-то отстукивать, если я не разум для двадцати? Если я не соответствую их религии.

– Будешь ложным гласом. Что тут такого страшного?

– Ты! Это ты, лгун, вот ты кто! Измываешься над бедными…

– Ой, ой, ой, – стонет Рыжая, – как мне от вас худо! Ну можно ли быть такими чокнутыми?

– Это все Табаки, – оправдывается Лорд, указывая на мои пальцы, растопыренные на одеяле. – Он обманщик. И сотворил из себя кумира для этих…

– «Двадцатников», – подсказываю я.

– Вот именно.

– Это они надо мной издеваются, – настаивает Лэри. – Вечно так. Не знаю, за что. Меня тут сто лет не было. Пришел, и сразу…

– Вот, пусть Лэри к ним обратится, – осеняет Лорда. – Он вполне соответствует догмам их религии. Лэри, дружище, простучи послание, будь человеком. Скажи, что они близки к истине, если исключить недоделков, вроде нас с Табаки, и что мы разделяем их стремление к познанию тайн мироздания…

– Я уже верю в бомбу, – жалуется Лэри безразличному Курильщику. – Чем дальше, тем больше я в нее верю.

– Верь на здоровье, мне-то что, – Курильщик скашивает на Лога один недовольный глаз. – А азбуку Морзе ты знаешь?

– Какая, к черту, азбука!

– Тогда скажи об этом Лорду. Он от тебя отстанет.

– Стараешься, завариваешь им чай… А они…

– Они неблагодарные твари, – соглашается Курильщик. – Неблагодарные, нетрезвые и несимпатичные.

– Это он про нас, – переводит мне Лорд. – Все, что было сказано, сказано про нас. Ты ведь расслышал его слова, Табаки?

– Нетрезвые – это про тебя. И несимпатичные тоже. Вон какой у тебя фингал под глазом. Очень портит внешность, просто ужасно. Где ты его заполучил?

– Отбросило взрывной волной, – пьяно улыбается Лорд.

– Вруны, – продолжает Курильщик свой бесстрастный перечень. – Болтуны…

– А где Сфинкс? – спохватываюсь я. – Где он шляется, в то время как меня вовсю оскорбляют и порочат?

– Нас, Табаки, нас, – поправляет Лорд. – Сфинкс на похоронах. Думаю, это надолго. Если делать все по правилам… Они положили их в коробку, обернули черным бархатом…

Я соображаю, что речь идет о сгоревших граблях, и делается немного обидно за первоначальный испуг, а потом делается обидно, что не пригласили на похороны.

– Залили воском…

– А это еще зачем?

– Для надежности, – терпеливо объясняет Лорд. – Неужели непонятно? Слепой опасался, что их растащат на сувениры.

– И еще они все психи, – заканчивает список наших особенностей Курильщик.

От Курильщика отчетливо пахнет часами. Где-то на себе он их прячет после Могильника. Рано или поздно я до них доберусь. Например, когда он полезет купаться. Это немного утешает, но совсем слегка, ведь пока они живы-здоровы и незаметно сводят меня в могилу фактом своего существования. Мне нельзя жить вблизи от часов, это меня губит, но разве Курильщику объяснишь такую простую вещь? Он уверен, что я прикидываюсь. Я – прикидываюсь! Гляжу на него с укором, но он знай цедит свой чай и ухом не ведет. Наверное, чашка мешает ему различить мой укор.

Лорд тоскливо поскребывает пальцем по одеялу. Душа его рвется к общению с глухонемыми «двадцатниками».

– Старался для них и так, и эдак, – бормочет Лэри. – То принеси, это унеси…

Дракон появляется скромно и тихо. Ни тебе «пылканья огнем», ни других безобразий. Крадется по стеночке, как самая жалкая в мире мышь. И несет нам большое яйцо. Наверное, в виде выкупа за пережитые треволнения. Передает его мне и прячется у себя на кровати.

Я разворачиваю пакет, там неровно нарезанные куски пирога с капустой.

– Ух ты! Это с поминок?

Македонского передергивает.

– Не переживай, – советую я ему. – Было очень даже весело. Вон Лорд рухнул с костылей и теперь спивается под предлогом своей немощи. А не было бы предлога, и спиваться было бы стыдно. Так что дыши свободнее.

– Я не спиваюсь, – обижается Лорд. – Я лечусь.

– Вот видишь…

Македонский все равно несчастный и затаившийся. Страшнее нет, чем быть совестливым.

– Так это все же Македонский все устроил? – оживляется Лэри. Нетерпеливо шевелит губой, прижимая к груди банку с заваркой. – Бросил бомбу, или чего там в Кофейнике бросили…

– Нет, – говорю я. – Он ничего не бросал. Он попробовал улететь.

Ветер гудит между оконными рамами. Рыжая надевает синие очки.

– Погода меняется, – говорит она.

Ветер воет и стучит в окна весь вечер. Я меняю компрессы на лбу, ухаживаю за своей шишкой. У Сфинкса обгорели ресницы и щеки, он ходит, намазанный кремом от ожогов – непривычно красочный. Лорд продолжает спиваться. Девушки ушли заслонять от враждебных взглядов Спицу и ее свадебное платье.

Вместо них пришел Черный. Они с Курильщиком обсуждают своих любимых живописцев, и даже если не прислушиваться, ясно, что Черному эти темы даются с трудом. Он мучается, но не уходит. Боится, наверное, что стоит ему выйти, как мы тут же развалимся, добитые нехорошими болячками. А может, наоборот, опасается за психику Курильщика в нашем окружении.

Слепой изо всех сил пытается заменить нам Македонского. Вода у него выкипает, примочки теряются и находятся им же истоптанные, реанимируя Мустанга, он защемляет в нем палец, а меня заботливо укрывает записанным одеялком Толстого. Как выразился Сфинкс, «что бы мы без тебя делали?».

Ужинать я еду один, хотя Курильщик грозится присоединиться.

Возле Кофейника все еще толпятся любопытные. Останавливаюсь послушать, о чем они болтают и выясняю, что Македонский в знак протеста против выпуска облил себя бензином и поджег, после чего выпрыгнул в окно. Версия с бомбой была интереснее.

Возле столовой меня нагоняет Мартышка.

– Эй, а ты знаешь, что Лэри ушел в Наружность с Летунами? Ему там что-то срочно понадобилось.

Торможу, устрашенный этим известием. Лэри в наружности! Конец Света! Его там прибьют в первой попавшейся подворотне. Или он потеряется, залюбовавшись собственной тенью. И вернется с ног до головы в Болезни.

Я говорю Мартышке:

– Ну конечно. Мы в курсе. Спасибо.

И еду дальше.

В столовой под многочисленными заинтересованными взглядами я мажу и мажу бутерброды, которые придется взять с собой. Мажу их тем и этим, посыпаю солью и склеиваю. Ужасно нервничая из-за дурака Лэри. В его кожаном прикиде в Наружности полагается с ревом проноситься на мотоцикле, а не ходить пешком, разинув рот. Такой, какой он есть, Лэри вызовет страстное желание избить его у каждого встречного моложе сорока. И ведь наверняка весь риск из-за какого-нибудь свадебного галстука гнусной расцветки.

Потом приезжает Курильщик с Толстым на буксире. Пока я по ложке загружаю в Толстого кашу, ужин заканчивается. Бросаю недокормленного Толстого и пытаюсь наесться сам, пока все не унесли. Понемногу начинаю понимать Слепого. Трудно быть Македонским, если ты им никогда не был. Толстый душераздирающе моргает над нагрудной салфеткой, разевая рот в ожидании пищи. Я швыряю вилку и спрашиваю Курильщика, намерен ли он и дальше прохлаждаться, в то время как я давлюсь из-за угрызений совести, или все же попытается мне помочь. Курильщик против ожиданий не спорит и молча берет ложку Толстого.

Кормит он его из рук вон медленно, воробьиными порциями, но все-таки кормит, и я могу пожевать спокойно.

Постепенно вокруг нас собирается весь обслуживающий персонал столовой. Торчат над душой, поглядывая на часы. Я сгребаю бутерброды в пакет, хлопаю до ушей заполненного непроглоченной кашей Толстого по подбородку, говорю Курильщику: «Вперед!» – и со всей возможной скоростью рулю к выходу. Меньше всего я за себя отвечаю, когда вокруг начинают маячить невидимые циферблаты.

У нашей двери Курильщик мнется, как будто сомневаясь, хочет ли въезжать. На самом деле ему этого не хочется, но и деваться больше особенно некуда. Он берется за дверную ручку и говорит, не глядя на меня:

– А ведь я тоже был с вами в Кофейнике. В первый раз увидел что-то необычное сам, а не услышал, как ты об этом рассказываешь.

– Ну. И как? – спрашиваю с интересом. – Больше не скучаешь?

– Нет, – глаза у него прикрыты ресницами, не разобрать, что они выражают. – Не скучаю. Но ты мне вот что скажи. То, что я видел… это ведь было на самом деле?

– Смотря что ты видел.

– Мне почему-то не хочется об этом говорить. Я в себе пока не разобрался.

Я вздыхаю.

– Нам всем неохота об этом говорить. Я думал, тебя это бесит.

– Нет, – говорит он удивленно. – Совсем наоборот. Меня бы рассердило, если бы вы стали это обсуждать. Наверное. Не знаю. Но даже ты молчишь.

– И правильно делаю, – говорю я. – Македонский и так готов сквозь землю провалиться.

Курильщик кивает и наконец отворяет дверь.

Иногда мне кажется, что он уже совсем свой. Изредка.

Что вы, интересно, сделаете, если ваш сосед по комнате, кровати, столу и всему остальному, что вас окружает, разбудит вас среди ночи, с придушенным криком: «Вот он ты! Я наконец-то нашел тебя!»

В таких случаях в Наружности вызывают скорую помощь, но мы не в Наружности, поэтому я резво отползаю от него, отгораживаюсь подушкой и начинаю прикидывать, стоит ли кричать «караул!» сразу или немного подождать.

– Я нашел тебя! – повторяет Лорд, дергая подушку. – Не отпирайся, я теперь знаю, кто ты.

Вид как у законченного психа.

Я говорю, что и не думал ни от чего отпираться и что, слава богу, тоже знаю, кто я.

– А теперь, когда мы выяснили, кто мы такие, и оба все-все друг про друга знаем, давай спать дальше. Ночь на дворе. Посмотри, все спят. Баю-баюшки…

– Я хочу обратно, – говорит Лорд. – В сюда, раньше, и чтобы все было иначе. Или так же, но со мной.

– Ну и дурак, – говорю я.

– Это мой выбор.

Все они почему-то считают эти слова решающими. Вроде заклинания, против которого я якобы не смогу устоять. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

– Подумай, – говорю я со вздохом. – Подумай как следует и приходи опять.

Его пальцы стискивают мое запястье с такой силой, что, кажется, вот-вот сломают.

– Нет, пожалуйста! – просит он. – В другой раз я не найду тебя. Я и в этот еле-еле…

Совсем спятил человек.

– Стоп! – говорю я ему. – Опомнись, детка! Я здесь каждый божий день. Искать меня совершенно незачем.

Отодвигаю подушку, сажусь поудобнее и легонько щелкаю его по переносице, между бровями. Совсем слегка, еле дотронувшись, но Лорд отшатывается, как будто я стукнул его Мустанговой гирькой, и чуть не падает на спину. Зажмуривается. Открывает глаза. Таращится, словно видит впервые.

– Черт бы тебя побрал, – говорит он. – Ты сделал мне больно.

– А ты меня разбудил. Теперь мы друг с другом поквитались и можем спать с чистой совестью. Пока.

Взбиваю подушку и закрываю глаза, чуя, что мирный сон мне сегодня не светит.

Так и есть. Лорд не успокаивается.

– Ты – это он, – говорит Лорд. – Меня не обманешь.

Я опять сажусь.

– А вот и обманешь. Запросто. Достаточно захотеть.

В свете двух крохотных настенных ламп глаза его, как черные провалы. Бездонные окна черноты.

– Ты не можешь так со мной поступить. Я нашел тебя. Я попросил. Ты обязан помочь мне.

Удивительная самонадеянность!

Следующие полчаса я собираю в запасной рюкзак все необходимое.

Потом мы ползем. Долго, потому что по возможности тихо. Наконец, мы в прихожей, рядом с колясками, фонарики наготове. Я освобождаю Мустанга от гирь, чтобы он не звенел и не брякал. Сегодня я не беру с собой большой рюкзак, так что потеря равновесия ему не грозит. Мне уже расхотелось спать, я взбодрился, и сразу возникает желание перекусить, потому что первое, что меня настигает, как только я взбадриваюсь – голод, все остальное включается позже.

Лорд тих и любезен до ужаса. Всячески помогает и не лезет с вопросами. И хорошо, что не лезет, я не в том настроении, чтобы что-то ему объяснять.

Едем мы недалеко. Всего лишь в класс. Ночной визит к ненаглядной коллекции. В классе я расстегиваю запасной рюкзак и достаю из него три необходимых мне предмета. Цепь с подвешенными к ней часовыми колесиками. Такие водятся только в старых часах, не в тех, что работают на батарейках. Цепочку я надеваю на шею. Блокнот беру в руки. Карандаш в зубы. Теперь я готов.

Лорд кусает ногти, с затравленным видом рассматривая мою коллекцию. Можно подумать, это я его сюда заманил, а не он меня. Ощупывает висящий на птичьей клетке ремешок с крысиными черепками, снимает его и вертит в руках.

– Хрупкий экспонат, – предупреждаю я, вытащив изо рта карандаш. – Возможно, порча. Лучше не трогать.

Он вешает черепки на место. Мимолетно улыбнувшись, чем немедленно будит во мне охотничьи инстинкты.

– Эй, что ты про них понял? Признавайся! Я же увидел!

Лорд пожимает плечами. Свешивается с коляски, выуживает из кучи ничейных предметов широкополую черную шляпу и обматывает ее тулью ремешком. Черепки выстраиваются в круг, Лорд защелкивает медные бляшки, которые, оказывается, пристегивались именно к этой тулье именно этой шляпы, и осторожно кладет шляпу на сиденье стула с вороньим чучелом.

Меня хватает только на протяжное оханье.

Шляпа перестала быть просто шляпой, сразу сделавшись самым многозначительным экспонатом во всей коллекции.

– Вот это да! Спасибо, – говорю я. – Знаешь, а мне было показалось, что ты ее и наденешь.

Лорд смотрит отрешенно.

– Это не моя шляпа, – отвечает он после долгой паузы.

Смотрю на шляпу. Потом на него.

Говорю:

– Ну да, конечно.

Открываю блокнот и откашливаюсь.

– Итак. Ты сделал свой дурацкий выбор, и более думать над ним не намерен.

Он молча кивает.

– Ты знаешь, что твоя память – часть тебя? И немаленькая? Возвращающийся может стать совсем не тем, кем был раньше. Он может не испытать многое из того, что испытал на предыдущем круге, а значит, он будет другим.

– Я знаю, – говорит Лорд. – Не старайся зря. Я не передумаю.

– Ты – человек Леса, – говорю я ему. – Это у тебя в крови. Тебе не быть счастливым, пока ты не там.

– Я знаю, – говорит он. – Но ее там нет.

– Любовь съела тебя. Первое, что она пожирает – это мозги, учти. Кстати, о любви… ты уверен, что, став немножко другим, полюбишь того же человека, которого любишь сейчас? Уверен?

– Конечно.

Он улыбается. Как маньяк. Или влюбленный. Что, в общем-то, одно и то же. Он улыбается мне, наполовину съеденный, обглоданный до костей, и эта улыбка решает все. К черту традиции, ритуал и все остальное, в том числе собеседование. Я никогда раньше не пренебрегал собеседованием. Десять вопросов должны быть заданы, и я задавал их всем, но Лорду больше не задам ни одного. Он – как русалочка, что пришла обменять свой хвост на совершенно не нужные ей ноги, а заодно отдала и голос, а попроси у нее ведьма еще что-нибудь, отдала бы и это что-то, и другое, и третье. Влюбленным и маньякам море по колено, все они одинаковы и со всеми бессмысленно спорить.

Он понятия не имеет, о чем просит, тем хуже для него! Он уверен, что любовь его настолько сильна, что настигнет его на любом круге, пусть верит в это. Я не стану его разубеждать.

– Хорошо, – говорю я. – Ты убедил меня.

Отстегиваю от цепочки одно колесико и кладу ему на ладонь.

Он глядит «туманно», берет мою руку и целует ее. И я – как это ни ужасно – становлюсь Хозяином Времени. Стоящим на пороге смерти, что, в общем-то, уже привычно, потому что ЕМУ-мне уже черт знает сколько лет. Столько не живут. Только длят существование. Я это терпеть не могу, поэтому чертов старикашка так недосягаем, он вечно в спячке, растянутой до бесконечности. Хозяйский кивок – он не тратит время на слова – кивок – это даже больше, чем мы можем себе позволить, и я возвращаюсь в себя родимого-любимого-ненаглядного, не в силах сдержать мерзкое хихиканье.

Лорд вздрагивает, как от пощечины.

– Да ладно, – говорю я ему. – Не смущайся. Честное слово, я не стану тебе об этом слишком часто напоминать.

СФИНКС

Потом иди. Не прощаясь, иди
дальше, вперед – и вернись.
Кто в сентябре сентября не избегнет,
останется здесь на сто лет за решеткой.

Альфред Гонг. Боэдромион

Сфинксу снятся сны, в которых Дом идет трещинами, так что от него отваливаются обломки, самые крупные – размером с комнату. Обломки исчезают вместе с людьми, котами, надписями на стенах, огнетушителями, унитазами и запрещенными электроплитками. Он знает, что похожие сны видят многие. Вычислить их нетрудно. Они спят, не раздеваясь, подложив под головы набитые рюкзаки вместо подушек, стараются не заходить в пустые помещения и не разгуливать по Дому в одиночку.

Поэтому, обнаружив утром толстые кабели, оплетающие оконную решетку, тянущиеся одновременно в двух направлениях – к окнам третьей справа и к окнам шестой слева,

Сфинкс не удивлен. Просто чей-то сон повторил его собственный. Он уважительно осматривает затянутые на прутьях решетки узлы – каждый размером с кулак, и думает, можно ли считать это признаком паники, или это пока только страхи. Македонский у него за спиной рассматривает палатки бритоголовых и тоже думает о чем-то грустном.

Он уже не так бел, как накануне. На нем старая футболка Горбача в оранжево-серую полоску, с капюшоном, который Македонский натянул на голову. Своеобразный компромисс между обычной завешенностью волосами и вчерашним открытым лицом.

– А я в первый раз на них смотрю, – говорит он сидящему на подоконнике Сфинксу.

– Знаю, – отзывается Сфинкс, не оборачиваясь. – Ты почти не подходишь к окнам с тех пор, как они здесь. Боишься?

– Нет. Просто меняюсь от их присутствия.

Сфинкс оборачивается, пытаясь поймать взгляд Македонского.

– Да уж, – говорит он. – Кардинально меняешься.

Македонский затравленно улыбается.

В спальне душно и жарко. День пасмурный, небо необычного песочного цвета. Цвета пустыни, на которую движется смерч. Сфинкс прислоняется лбом к решетке. Внизу, у палаток, только одна фигура, сидящая на складном стульчике с натянутым на голову капюшоном.

Русалка бродит по комнате, в отфильтрованных занавесками сумерках, и собирает свою одежду. Со стульев и со спинок кроватей. Одежду и шесть колокольчиков. Зажав их в горсти, влезает на стол. На то, чтобы причесаться и вплести их в волосы, у нее уйдет не меньше часа, хотя она никогда не снимает все сразу, а всегда только половину – шесть из двенадцати. С кровати на нее, подперев ладонями щеки, смотрит Курильщик. Стая любит следить за тем, как Русалка причесывается. Это зрелище им не приедается.

Во дворе ветрено, но ничуть не прохладнее, чем в Доме. Сфинкс сидит на пеньке посреди выгоревшего газона и глядит на палатки. После того как их обитателей посетил Акула, они слегка отодвинулись. Ненамного, на пару метров. Это не мешает их обитателям сбредаться к дворовой сетке и повисать на ней, цепляясь за проволочные ячейки. Это не мешает им подзывать каждого выходящего из Дома и вымаливать встречу с Ангелом, который «ведь у вас здесь обретается, мы знаем…».

– Чуть было не перестал обретаться, – говорит Сфинкс молодому бритоголовому, которого посылают вести переговоры чаще остальных. Бритоголовый радостно машет ему рукой, подзывая. Сфинкс не двигается с места.

За ночь двор занесло мусором. Среди целлофановых пакетов, пластиковых бутылок и бумажных обрывков Сфинкс замечает пару аляповатых брошюр, отпечатанных на дешевой бумаге. На каждой – крылатый ангел, простирающий к читателю руки, сообщая, что «приобщение к благодати возможно в этой жизни, брат мой (сестра)!». Меньше всего это создание похоже на Македонского. Румяные щеки, золотые кудри и бессмысленная улыбка – он напоминает Сфинксу только Соломона в детстве – более мерзкого ребенка Сфинкс не встречал и надеется уже не встретить. Он рассматривает прижатую к асфальту носком кеда брошюру, жалея, что у него нет волшебной палочки.

К нему подходит Горбач с огромным рюкзаком. Похожий на странника, возвратившегося из далеких краев. Загорелый и грязный. В разросшихся вширь и вверх волосах – листья и мелкие веточки.

– Переезжаю, – сообщает он мрачно. – Невозможно спокойно жить, когда эти типы толкутся поблизости. Сегодня ночью они мне приснились, так что с меня, пожалуй, хватит.

Горбач садится рядом со Сфинксом, опираясь локтями о рюкзак, и подслеповато всматривается в окна Дома.

– Что это там за веревки намотаны?

– Это не веревки. Это кабели, – отвечает Сфинкс. – Не одному тебе снятся плохие сны.

Горбач хмурится, пытаясь уловить связь между дурными снами и намотанными на оконные решетки кабелями.

– А вон там чего? – спрашивает он, указывая на окно Кофейника. Пустую раму кото-

рого веером обрамляют полосы сажи.

Сфинкс с интересом глядит на Горбача.

– Это следы пожара, – объясняет он. – Ты где был вчера вечером? Неужели ничего не видел?

Горбач не отвечает. Молча набивает свою трубку.

– Вот скажи, кого тебе напоминает этот мальчик с крылышками? – спрашивает Сфинкс, подталкивая кедом измятую брошюру.

– Соломона, – отвечает Горбач, даже не приглядевшись толком. – Кого же еще? Когда он был еще Пышкой.

– Мне тоже. А они, – Сфинкс кивает на палатки, – считают, что это похоже на Македонского.

– Не смешно, – говорит Горбач.

– Мне тоже. А меньше всех эта шутка смешит Македонского.

Горбач поворачивается к воротам, возле которых кивают и любезно скалятся уже четверо бритоголовых.

– Так они за Македонским сюда явились?

– Они думают, что да. Но при этом носят с собой изображения Пышки, так что, боюсь, сами не знают, кто им на самом деле нужен.

Горбач надолго погружается в молчание. Пыхтит трубкой, искоса поглядывая на Сфинкса.

– А чего ты без грабель? – спрашивает он наконец.

– Грабли пострадали при пожаре. Мы их вчера похоронили под твоим дубом. Ты и этого не заметил?

– Я был в Не Здесь.

– Знаешь, я так и подумал.

Следующие десять минут они молчат. Бритоголовые, сгрудившись возле ворот, из кожи вон лезут, пытаясь привлечь их внимание. В воздухе пахнет грозой. Небо почти оранжевое, низко летают стрижи. Сфинкс убирает ногу с брошюры, и ее уносит порывом ветра. Сфинкс начинает насвистывать «Дождевую песню». Из-за обгоревших ресниц и красных пятен ожогов на щеках и на лбу он выглядит веселее. Как деревенский парень, зацелованный солнцем. У Горбача вид куда более мрачный.

– Как ты теперь будешь без них обходиться? – спрашивает он. – Новых тебе уже не закажут.

Сфинкс кивает, не открывая глаз.

– Не закажут. Но я пока обхожусь. Даже отчего-то легче стало. Как будто я снова маленький и беспомощный, ни за что не отвечающий. Как будто меня – такого – нельзя обижать. Я ведь до того, как попал сюда, был абсолютно в этом уверен. Что меня никто не посмеет обидеть. Никогда.

Горбач кашляет и смотрит на Сфинкса с недоумением.

– Ты что, в свое наружное детство вернулся, что ли?

Сфинкс смеется.

– Почти. У меня что-то вроде маразма. Человек не может все время со всем вокруг прощаться. Просыпаясь, и засыпая, и даже во сне. С каждым лицом, предметом и запахом. Это невозможно. В один прекрасный день от этого так устаешь, что перестаешь вообще что-либо чувствовать. И вдруг впридачу остаешься без протезов. Торжественно прощаешься с ними и понимаешь, что с тебя хватит. Что пора уже начать хоть с чем-то здороваться. А поскольку ничего не можешь делать сам, здороваешься с собой – давним и беспомощным. С тем, которому все помогали и кого никто не смел обидеть. Чем плохо?

Горбач качает головой.

– Что-то мне не нравится это твое настроение. Психушкой от него пахнет, вот что. По мне, так ты лучше переживай себе потихоньку, чем веселиться от каких-то невеселых вещей. Это будет более нормально.

Сфинкс смеется.

– В нашем положении ничего не будет нормально. А насчет веселья не беспокойся. Это ненадолго. Кстати, почему у тебя пальцы забинтованы? Ты забивал гвозди Отсюда в Не Сюда?

Горбач смотрит на свои руки. Большой палец на левой и указательный на правой забинтованы. Толсто и неряшливо. Черные от грязи бинты уже разматываются, может, только грязь их и удерживает на месте. Застеснявшись, Горбач начинает сдирать их.

– А-а-а, это так… покусала одна кроха…

Сняв бинты, он осматривает ранки. Сфинкс тоже наклоняется посмотреть, а когда поднимает голову, взгляд его заставляет Горбача отпрянуть.

– Ты сейчас пойдешь в Могильник, – говорит Сфинкс холодно. – Вернее, побежишь. Без душа и переодеваний. В спальню заходить не будешь, рюкзак оставишь в прихожей. Все.

Горбач вскакивает и прячет в карман трубку, чертыхнувшись, – она его обожгла. Путаясь в лямках рюкзака, взваливает его на плечо.

– Прямо так – босиком? – спрашивает он. Наткнувшись на взгляд Сфинкса, кивает и, бормоча что-то под нос, поспешно уходит.

Сфинкс сидит еще некоторое время неподвижно, потом встает и медленно бредет к Дому. Первая капля дождя клюет его в лоб, когда он поднимается по лестнице. Обернувшись взглянуть на бритоголовых, расходятся ли они, он с удивлением видит перед сеткой Рыжего. Крысиный вожак общается с бритоголовыми, улыбаясь от уха до уха, весь – очарование и непринужденность. В обрезанных джинсах, босой и без майки, но на шее – галстук-бабочка, а на голове – котелок. По своим – Крысиным – понятиям, он одет празднично, но бритоголовые, видимо, так не думают. Возможно, они принимают вожака Крыс за местного сумасшедшего. Сфинкс не различает выражений их лиц, но за три дня он привык к тому, что они не меняются. Эмоции палаточников скорее угадаешь по телодвижениям. Сейчас они слушают Рыжего, сбившись в кучку, и никто не липнет к сетке. Растеряны? Недоумевают?

Не переставая болтать и улыбаться, Рыжий снимает очки. Очарованных зомби тут же притягивает к сетке, а Сфинкс, раздираемый противоречивыми чувствами, спешит скрыться в доме. Он не осуждает Слепого, приславшего им совсем не того ангела, которого они искали, он сам недавно был готов на все, чтобы убрать их подальше, но ему отчего-то их немножечко жаль. Бедных, оболваненных, невесть чьим ядом отравленных чужаков.

На лестничной площадке между первым и вторым этажами кошачья сходка возле урны. Тут же сидит Курильщик. На стене рядом с ним – портрет, нарисованный углем. Гротескный, оскалившийся, уродливый, но вполне узнаваемый Стервятник. Сфинкс задерживается посмотреть на портрет, и пока он его рассматривает, группа Логов, грохоча сапогами, спускается со второго этажа, подгоняемая криками Шакала.

– Слушай мою команду! Группа А – обыскивает двор. Группа В – укрепляет обороноспособность двери!

Увидев потрет Стервятника, Табаки тормозит.

– Ох! – говорит он. – Какая мерзость!

Логи, толкаясь и стуча каблуками, тоже спешат посмотреть. Раздосадованный Курильщик затирает рисунок ладонью, размазывая его, но даже в очертаниях образовавшегося пятна угадывается Большая Птица.

– Ай-ай-ай, – вздыхает Табаки. – Какое неуважение к вожаку, вы только подумайте! Сфинкс, я надеюсь, ты ему все объяснишь, как полагается, потому что я сейчас страшно занят, – он указывает на Логов. – Вот. Добровольцы. Будем укреплять подступы к Дому. Запрем все так, что комар не пролетит!

Добровольцы вытягиваются по стойке смирно. В руках у Коня – огромный амбарный замок, у Мартышки – коробка с проводами, вероятно, сигнализация.

– Вольно, – говорит им Сфинкс. – Только там вот-вот начнется дождь.

Логи, радостно переглянувшись, с воем и топотом скатываются вниз по лестнице.

– Тишина! Соблюдать дистанцию! – верещит Табаки, съезжая за ними по скату.

На некоторое время воцаряется тишина, потом опять с грохотом распахивается и захлопывается дворовая дверь. Слонявшаяся вокруг урны Мона стрелой проносится мимо Сфинкса и ловит занесенный на лестницу сквозняком целлофановый пакет. Пока она с урчанием дерет его когтями, как что-то живое, что можно убить, мимо Курильщика и Сфинкса, насвистывая, проходит Рыжий, бросив на ходу Моне:

– Спасибо, детка!

В голосе его такая неподдельная благодарность, что глаза Курильщика становятся круглыми от изумления, а еще шире они раскрываются, когда Рыжий, не останавливаясь и вроде бы даже не поглядев на стену, снимает свой котелок и отвешивает поклон грязному пятну на месте портрета Стервятника.

– Я думал, здесь уединенное место, – говорит Курильщик уныло. – Думал, здесь можно посидеть спокойно.

– Посидеть, порисовать… – подхватывает Сфинкс. – Никогда больше не рисуй ничьих портретов на стенах, Курильщик, – добавляет он, отбросив шутливый тон. – Этого делать нельзя. Хочешь, чтобы пошли слухи, что ты наводишь порчу на Стервятника?

Побледневший Курильщик мотает головой.

– Тогда не делай больше такого. А если хочешь уединения, держись подальше от лестниц.

Сфинкс поднимается на второй этаж, слыша шорох поспешного и окончательного уничтожения портрета.

Живой оригинал портрета сидит у них в спальне, раскладывая пасьянс. На нем шикарный парчовый жилет с позолоченными пуговицами, в ухе золотая серьга, на пальцах столько колец и перстней, что они не сгибаются. Рядом на подушке – две плитки шоколада. Птица всякий свой визит старается превратить в событие с помощью разного рода мелких подношений. Для него вылазка из Гнезда на двадцать шагов по коридору – вполне достаточный повод для переодевания и вручения подарков.

– Прекрасная, судя по всему, намечается погода, – говорит Стервятник, сгребая с одеяла карты. Несмотря на праздничный наряд, вид у него невеселый.

Сфинкс садится напротив.

– Куда все подевались? Здесь что, совсем никого не было, когда ты пришел?

– Почти никого, – дипломатично отвечает Стервятник.

Сфинкс догадывается, что почти никто – это Курильщик, которого встреча с Птицей настолько вывела из равновесия, что он теперь отводит душу, изрисовывая стены Дома злобными шаржами. Ему грустно, что без граблей он не может приготовить им со Стервятником кофе, грустно, что Стервятник нервничает и, по-видимому, собирается его о чем-то попросить, но не решается, грустно, что Стервятник оделся, как на праздник, и принес шоколад, маскируя цель своего визита.

– Я хотел предупредить Слепого, – говорит Стервятник. – Мои Птички – двое из них – видели прошлой ночью Соломона. Думаю, Слепому следует об этом знать.

– Вернулся тайком? – удивляется Сфинкс.

Стервятник передергивает плечами.

– Не знаю. Может, и так. Рассказам Птичек нельзя доверять. Хотя они видели его по отдельности и сходятся в описании. Говорят, что вид у него был потрепанный.

Известие о том, что по Дому ночами шастает беглая потрепанная Крыса, Сфинкса не радует, но и не пугает.

– Грустная история, если вдуматься, – говорит он. – Спасибо, что предупредил.

Дождь постукивает по карнизу все чаще. В комнате быстро темнеет. Сфинкс встает с кровати и подходит к окну. Затянувшееся серыми тучами небо местами еще оранжевое. Двор залит потусторонним светом, в котором скачут под дождем ошалевшие от счастья Логи. Между ними кружит Мустанг с Шакалом. Сфинкс знает, что у Табаки сейчас самодовольный вид, внушающий Логам подозрение, что он как-то причастен к перемене погоды.

– А теперь скажи, с чем ты на самом деле пришел, – просит Сфинкс, оборачиваясь.

Птица прикрыл глаза и застыл, как умеют застывать только хищные птицы. Его ян-

тарного цвета жилет словно светится в сумерках.

– Ты – моя последняя надежда, Сфинкс, – говорит он спокойно и ровно.

От несоответствия его тона произнесенным словам Сфинксу делается не по себе.

– Что случилось? – спрашивает он.

– Случилось давно. Для меня как вчера, а для всех остальных – уже давно. Все мы хотим чудес, Сфинкс. Некоторые чудеса осуществимы, а некоторые нет, поэтому мы выбираем возможное. Но вот ты выбрал, и оказывается, что у тебя недостаточно сил, чтобы достигнуть хотя бы этого. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Сфинкс понимает, хотя предпочел бы не понимать.

– Шакал – близкой друг тебе, – говорит Стервятник тихо. Его слова почти заглушает дождь и доносящиеся со двора крики. – Попроси за меня. Тебе он не откажет.

Сфинкс возвращается к кровати и садится рядом со Стервятником, так, чтобы не видеть его лица.

– Он откажет, – говорит Сфинкс. – В такой просьбе он откажет, поверь. Он сделает вид, что не понимает, о чем я прошу. Он будет просто Шакалом, ему это не трудно. Это даже нельзя будет назвать отказом или притворством, потому что то, что раздает билеты в обратный конец, вовсе не Шакал. Он – оно – собаку съело на таких ситуациях, еще до нашего с тобой рождения. И… честное слово, поверь мне, отсюда, с этой стороны, к нему подхода нет. Только с изнанки.

Стервятник ссутуливается, уткнувшись подбородком в ладонь. Он уже смирился с поражением, но все же говорит:

– Тебе довольно трудно отказать, когда ты о чем-то просишь.

На самом деле больше всего ему хочется оборвать этот неприятный разговор, уйти подальше от Сфинкса и пережить свое горе в одиночестве. Больше всего ему хочется этого. Но он сдерживается.

– Тебе тоже, – грустно говорит Сфинкс. – Поэтому я сделаю то, о чем ты просишь.

– Но он откажет.

– Но он откажет.

Стервятник смотрит на Сфинкса желтыми сатанинскими глазами.

– Тогда, – говорит он с усилием. – Если ты так в этом уверен… можешь не тратить на это время. Я тебе верю. Если бы все было так просто, чудеса не были бы чудесами. Но знаешь… иногда мне кажется, вернее, казалось, что я именно тот, с кем это могло бы произойти. Я и Макс…

В этот момент в спальню въезжает Лорд, и Сфинкс готов убить его за несвоевременное появление, но Стервятник продолжает говорить, словно ничего не изменилось:

– Мы с ним были слишком одно, чтобы кто-то остался жить после того, как не стало другого. Мы были не просто близки, мы были одним целым, и после того, что с ним случилось, мне казалось, что раз половина меня осталась жить, и прожила так долго, в этом должен быть какой-то смысл. И он бы был, если бы не моя бездарность. Я всего лишь Прыгун, чем бы ни травился. На той стороне события управляют мной, а не я ими.

Лорд остановился, так и не отъехав от двери. Слушает Стервятника, глядя в пол. Мельком взглянув в его сторону, Сфинкс преисполняется сочувствия. Судя по виду Лорда, он вряд ли способен оценить тот факт, что Стервятник включил его в ближайший круг друзей, которым позволено выслушивать его откровения. Скорее, он думает, что Стервятник его не заметил.

– А самое обидное, – говорит Стервятник. – Самое обидное во всем этом то, что будь он на моем месте, он бы с этим справился. Ведь он был намного сильнее.

Дождь усиливается, заглушив доносящиеся со двора вопли. За окнами – сплошная серая завеса. Капли отскакивают от карниза, подоконник уже весь мокрый, на полу перед ним скоро образуется лужа. Сфинксу хочется просто смотреть на все это. Или высунуться из окна, под бешено секущую мокрость, и попробовать подышать ею. Смыть с себя чужую боль.

– И вот я все думаю, – вздыхает Стервятник. – Тот ли из нас умер, кто должен был умереть?

В столовой празднично. Весело, шумно и сыро. Пол весь в грязи и испещрен отпечатками шин. Побывавшие под дождем явились на обед обмотанные полотенцами или прямо со двора – мокрые. У Крыс орет включенный на полную громкость магнитофон, а посреди стола установлена вырезанная из плаката и наклеенная на картон фигурка Игги Попа. Своего рода тотем. Он же орет из динамиков магнитофона. Птицы щеголяют накинутыми на головы черными полотенцами и согреваются таинственными жидкостями из передаваемых друг другу под столом пузырьков.

За столом четвертой атмосфера скорее лирическая, чем праздничная. Лэри, в полосатом тюрбане из полотенца, хлебает суп, изящно оттопыривая мизинец. Курильщик строчит в своей знаменитой тетради, отгораживая ее от любопытных взглядов локтем. Толстый жует салфетку. Табаки, целиком закутанный в купальную простыню, сидит на стуле, а Мустанг его сохнет рядом, и сохнуть ему, судя по всему, предстоит еще долго.

Не успевает Сфинкс сесть, Табаки подползает к нему по краю стола.

– Я приготовил для Русалки отличное приворотное зелье, – сообщает он, перекрикивая Игги Попа. – Стопроцентный результат гарантирован.

– Зачем оно ей?

– Как зачем? – изумляется Табаки. – Для попугаихи!

Сфинкс тут же вспоминает, что кто-то на девичьей половине держит агрессивную птицу, научившуюся открывать свою клетку. Теперь там не пользуются довольно обширным участком коридора, а проживающие в непосредственной близости от логова попугаихи выходят из спален, прикрываясь раскрытыми зонтиками. Сфинкс давно не слышал от Русалки свежих подробностей о подвигах старой ара и думал, что проблема каким-то образом улажена.

– Вот увидишь, – уверяет его Табаки. – Распробовав зелье, эта птичка будет летать за Русалкой со страстными стонами!

– Я вовсе не хочу, чтобы за моей девушкой кто-то летал со страстными стонами!

– Хочешь не хочешь, теперь уже поздно. Механизм запущен, осталось дождаться результатов.

– Ты что, пытаешься ее у меня отбить? – удивляется Сфинкс. – То массажер-вычесыватель для кошек, то зонтик с подсветкой, то браслет с сиреной. Я уже не говорю о ваших совместных походах на охоту.

Внезапно музыка, грохочущая из динамиков, смолкает, а расшалившиеся Крысы перестают лупить друг друга.

Р Первый сумрачно оглядывает столовую, стоя в дверях. Появление воспитателя на обеде всегда к неприятностям, поэтому в зале воцаряется почти полная тишина, прерываемая только чавканьем Неразумных.

– Оставайтесь на местах.

Ральф захлопывает дверь и прислоняется к ней спиной, скрестив на груди руки.

– В спальнях и классах сейчас проводится обыск. Когда он закончится, вам разрешат покинуть столовую.

Крысы поднимают такой гвалт, что очкастый Фазаний вожак с трудом перекрикивает их.

– Простите! От лица первой группы хотелось бы уточнить. Обыск проводится во всех спальнях?

– Во всех, – холодно отвечает Ральф.

Фазаны выглядят до того оскорбленными, что у всех остальных тут же поднимается настроение. Кроме тех, кто явно чего-то опасается. Как, например, Лэри. Глядя на его посеревшее лицо, нетрудно представить, что при обыске его кровати оттуда будет извлечен чей-то окровавленный скальп.

– Что с тобой, Лэри? – спрашивает его Сфинкс. – Что ты припрятал, признавайся!

Лэри молчит и только вздыхает. Потом сует в рот нашейный болт, отводящий беду, и крепко зажмуривается. Сфинкс и Табаки переглядываются. Табаки пожимает плечами.

– Эй! – кричит он Ральфу. – А как насчет дополнительной еды, чтобы скоротать время с приятностью?

Ральф никак на это предложение не отзывается. Повернувшись спиной к находящимся в столовой, он ведет с кем-то переговоры через приоткрытую дверь, потом пропускает в столовую Горбача. Горбач входит, удивленно озираясь, и вздрагивает, когда его приветствуют радостными криками.

– Отшельник спустился со склона горы!

– Друид слез с куста! Ура!

Табаки самоотверженно рушится на пол и ползет к Горбачу через грязь, тот подхватывает его на руки и подходит к столу с висящим на шее и нежно воркующим Шакалом.

– Что тут у вас творится? – спрашивает он.

– Обыск, – объясняет Сфинкс. – И дождь. А у тебя?

Горбач демонстрирует ему свежезабинтованные пальцы.

– Все в порядке. Большой слегка загноился, но совсем слегка. Ничего серьезного, и зря ты так распсиховался.

– Я. Распсиховался. Не. Зря, – раздельно выговаривает Сфинкс.

– Ладно, не зря, – Горбач ссаживает на стол Табаки и придвигает к себе тарелку. – Я ведь все сделал, как ты велел, так что успокойся, ладно?

Курильщик собирает Горбачу остатки еды со всех тарелок. Лэри вяло машет рукой, запечатанный болтом.

Скоро всем надоедает сидеть перед опустевшими тарелками. Крысы разбрелись по углам с плеерами. Птицы, сгрузив со стола посуду, затеяли партию в покер. Табаки расстилает на полу белую тряпку и объявляет, что готов погадать всем желающим на бисере. К нему выстраивается небольшая очередь.

Ральф отходит от двери, пропуская двух Ящиков, каждый из которых тащит по заспанному Псу. К ним подскакивает Рыжий, безуспешно пытаясь что-то выяснить. Псы зевают и разводят руками.

Сфинкс сидит, откинувшись на спинку стула, и раскачивает его.

Обыски спален проводились и раньше. Никогда не давая желаемых результатов. В этот раз воспитатели наверняка опять ищут ножи. Или украденные из Могильной аптеки лекарства. Но это не имеет значения. Ничего они не найдут, кроме беглого Соломона, если он действительно прячется в Доме и случайно им попадется. Поэтому Сфинкса беспокоит только сидящий в ступоре Лэри с отводящим беду болтом во рту. Вид у него совершенно идиотский.

– У меня такое ощущение, – говорит Табаки, тряся стаканчиком с бисером, – что в этот раз они ищут не совсем то, о чем мы все думаем.

– То есть? – спрашивает Сфинкс.

Табаки с многозначительным видом поджимает губы:

– Лучше эту тему не обсуждать. На мой взгляд, так будет правильнее.

Лэри тихо стонет сквозь болт.

– Черт бы тебя побрал, Лэри! – не выдерживает Сфинкс. – Ты расскажешь нам, в чем дело, или так и будешь сидеть с этой железкой в зубах?

Лэри качает головой, глядя на Сфинкса с укором.

Опять появляются Ящики. На этот раз они приводят Лорда и Македонского. Рыжий повторяет свой забег в надежде получить нужную ему информацию и снова, разочарованный, отходит.

Македонский явно из душа. Лорд явно спал.

– Так что же мне теперь делать? – уныло спрашивает Табаки Гибрид. Он сидит на корточках перед гадальной тряпкой и ждет, когда ему скажут что-нибудь вразумительное, потому что ничего из сказанного Шакалом до сих пор он не понял.

– Лучше не делать вообще ничего, – советует Табаки. – С таким раскладом, как у тебя, старик, лучше жить, затаив дыхание.

Услышав этот прогноз, трое из ожидавших своей очереди на гадание поспешно отходят. Гибрид остается сидеть перед зловеще поблескивающим узором из бисерин, честно за-

таив дыхание.

Следующим в столовую приводят Слепого. Который, кажется, одновременно и спал, и принимал душ.

– Левее и прямо, – подсказывает ему Сфинкс, когда он подходит к столу. – Что там творится, Слепой? Нас собираются выпускать сегодня?

Слепой устанавливает стул под каким-то особым, устраивающим его углом, садится и говорит, что воспитатели, к сожалению, не делятся с ним своими планами.

– Я для них не авторитет.

– И мимо тебя не проводили никаких пленников? Кого-нибудь пахнущего беглым Соломоном?

Слепой принюхивается к опустошенным тарелкам и грустно качает головой.

– Ты слишком хорошего мнения обо мне, Сфинкс. Если думаешь, что я способен отличить запах Соломона от любой другой Крысы. Спроси лучше Лорда.

Лорд, демонстративно отгородившийся от мира книгой, не похож на человека, готового делиться с окружающими какой-либо информацией. Внезапно разбуженного Лорда вообще не стоит о чем-то спрашивать. Особенно если его будили Ящики.

– А почему кто-то должен пахнуть Соломоном? – спрашивает Табаки. – В чем дело, Сфинкс? Ты от нас что-то скрываешь?

Сфинкс пересказывает сообщение Стервятника. Табаки делается угрожающе красен. Лэри молча воздевает руки к потолку. Слепой между тем вынюхал припрятанную Горбачом для Нанетты еду, отобрал у него один пакетик из трех и с довольным видом уничтожает его содержимое.

– Да, – говорит он невнятно. – Сол поселился в подвале, а Рыжий его там подкармливает. Не знал только, что он начал делать вылазки. Должно быть, осмелел.

Сфинкс удивлен и обрадован информированностью Слепого. Табаки потрясен поведением Рыжего.

– Чертов убийца! – возмущается он. – И Рыжий его еще и кормит! Совсем все послетали с катушек! После всего, что между ними было! Странно, что Соломон его не дорезал. Хотя кто бы его тогда кормил? С другой стороны, смотря чем кормить. Если объедками, какие вот сейчас Слепой жрет, то можно и прирезать. Терять-то все равно нечего!

Слепой, отложив опустевший пакетик, расстегивает свой длиннополый пиджак, извлекает из-за пазухи встрепанную ворону и водружает ее на стол.

– Совсем забыл, что прихватил ее, – говорит он. – На всякий случай. Эти Ящики не внушают мне доверия.

Горбач хватает свою любимицу и оглаживает ей перья.

– Ты сдурел, Слепой? Держал птицу под одеждой столько времени! Она на ногах не стоит, бедняга!

– Извини. Я же говорю, совсем про нее забыл.

Стая удрученно рассматривает своего вожака, способного забыть о спрятанной на теле вороне.

– Он не настолько безнадежен, как иногда кажется, – утешает Сфинкса Табаки. – Он еще, поверь мне, способен на многое.

– О, в этом я не сомневаюсь.

Сфинкс встает.

– Пойду спрошу Рыжего, с чего он так нервничает. Надеюсь, у него во рту нет подковы, которая помешает ему говорить!

Сфинкс направляется к расположившемуся на подоконнике Рыжему, но не доходит, потому что из-за стола шестой навстречу ему поднимается Черный, чье желание пообщаться настолько очевидно, что все находящиеся поблизости Псы ретируются, оставляя их наедине. Насколько это возможно в переполненном людьми помещении.

– Можно тебя на минутку, Сфинкс?

Сфинкс обреченно ждет, пока Песий вожак, при всех регалиях, вплоть до необязательного ошейника, приблизится к нему.

– Хотел кое о чем тебе сообщить…

Подбородок Черного выдвигается вперед, бесцветные брови сходятся к переносице.

– Я все-таки сделал это!

Фраза звучит настолько зловеще, что Сфинксу страшно уточнить, что именно. Одолевает желание выкрикнуть: «Ну зачем, зачем ты это сделал, Черный!» – настолько сильное, что он еле сдерживается.

– Ты, может быть, будешь смеяться…

– Нет, – говорит Сфинкс твердо. – Не буду. Уж в этом можешь быть уверен.

Взгляд Черного стекленеет.

– Я таки достал автобус. Маленький.

Сфинкс кивает, говорит «ага» и вытирает плечом пот с лица. После чего спрашивает:

– Зачем? – тем самым жалобным тоном, каким чуть было не задал этот вопрос минутой раньше.

Черный оглядывается по сторонам и доверительно шепчет:

– Понимаешь, их надо было чем-то отвлечь. Немного подбодрить. Не мог я сидеть сложа руки и глядеть, как они помирают со страху. А тут еще эти разговоры про автобус. И я решил: добуду им этот их автобус, вожак я в конце концов или нет? Помнишь, я говорил тебе, что знаю, где его можно достать? Но я не там взял, а в другом месте. Короче, это неважно. Главное – он есть.

Сфинкс кивает.

– Да. Это главное. Все понятно, Черный. Это здорово и удивительно, но что ты будешь делать, если им вздумается на нем уехать?

– Вот об этом я и хотел с тобой посоветоваться, – задумчиво говорит Черный. – Потому что, сам понимаешь, не могу я им сказать, что все это просто так, только чтоб они не спятили. Автобус здесь припаркован, на свалке, я замаскировал его всяким мусором. Ты не поверишь, они бегали глядеть на него по три раза на дню, пока не появились те типы с палатками. Теперь-то, конечно, не бегают, но то, что он там, здорово их подбадривает, понимаешь?

Сфинкс смотрит на Черного так, словно видит его впервые. Голубые льдинки глаз в белесых ресницах. Пляшущие скелетики на черной пиратской повязке на лбу.

– Я понимаю, что ты влип, – говорит Сфинкс. – Вот что я понимаю.

Черный только вздыхает.

– Это я знаю и без тебя. Так что ты мне посоветуешь?

Сфинксу очень хочется дать совет в духе Шакала. Жить, затаив дыхание. Петь беззвучные песни. Умываться подсоленной водой. Но Черный – вожак, а с вожаками так не шутят. Поэтому он говорит:

– Скажи, что автобусу нужен водитель, а любому, садящемуся за руль, нужны водительские права. Они должны понять. Это общеизвестный факт.

Черный качает головой. Снова вздыхает. Сняв головную повязку, чешет в затылке. Неторопливость его движений вызывает у Сфинкса нервный зуд между лопатками.

– Помнишь, я говорил тебе, что научился водить? Не то чтобы очень здорово, но сносно. А теперь у меня и права тоже имеются. Правда, они фальшивые. Крыса раздобыла. Но они как бы есть.

– Черный? – Сфинкс заглядывает ему в глаза. – Ты же уже все решил. Какие тебе еще советы? Ты все организовал, осталось только посадить в этот твой автобус всех желающих и укатить неизвестно куда. От меня-то тебе чего нужно?

Черный переступает с ноги на ногу. Вытирает лицо скомканной банданой и говорит, глядя в пол:

– Я просто хотел предупредить. Что есть и такой вариант. Если кто из ваших вдруг захочет воспользоваться. С Лэри я уже договорился, они со Спицей точно едут, но вдруг еще кто-нибудь захочет.

Сфинкс смотрит на Черного, думая о том, что это, несомненно, тот самый Черный, которого он знает не первый год, и в то же время совершенно другой человек. Что должность

вожака довела его до пределов священного безумия, за гранью которого знакомые люди оборачиваются чужаками. Он думает о том, хорошо это или плохо, и не может прийти ни к какому определенному выводу. Наверное, для самого Черного так хуже, но Сфинксу этот непредсказуемый и странный человек нравится больше.

– Спасибо, Черный, – говорит он.

Черный пожимает плечами.

– Не за что. Просто хотелось, чтобы ты был в курсе. Ладно… увидимся…

Черный отходит. Вперевалочку, по-медвежьи. Бандана со скелетиками скомкана в кулаке, выражение лица сдержанно-героическое.

Лорд подъезжает к Сфинксу, глядящему ему вслед, и спрашивает:

– Чего он хотел?

– Знаешь, – говорит Сфинкс, не отвечая на вопрос, – кажется, я становлюсь философом.

Обыски, вероятно, завершены. У входа в столовую толпятся воспитатели во главе с Акулой и что-то горячо обсуждают. Посовещавшись, они перетаскивают к двери Фазаний стол, почти полностью перегородив ее, после чего Акула объявляет, что ввиду необнаружения в ходе обысков многих пропаж будет проведен также обыск рюкзаков всех находящихся в столовой. Дальше ничего не слышно. Акулу заглушает возмущенный рев и свист. Даже Фазаны кричат, наплевав на дисциплину. Некоторое время Акула пытается все же закончить свою речь, потом, пожав плечами, отходит к воспитателям. Выстроившись у стола, они ждут, пока стихнет общее возмущение, но шум в столовой скорее нарастает, чем ослабевает. Крысы начинают швырять в воспитателей посуду. Тарелки и чашки бьются в полуметре от их ног, не долетая до стола, так что, можно сказать, Крысы бросают не в воспитателей, а рядом, но выглядит это достаточно угрожающе, и первым не выдерживает Шериф. Выхватив из кармана спортивный пистолет, он палит в потолок, пока у всех вокруг не закладывает уши.

Крысы слегка притихают. Тем более, посуда у них закончилась. Лишенные стола Фазаны решают, что с них хватит, и выстраиваются в очередь на проверку рюкзаков, держа их наготове, уже расстегнутыми.

Курильщик достал свою тетрадь и лихорадочно строчит в ней с видом фанатика-журналиста, дорвавшегося до сенсационного материала. Потрясенная выстрелами Нанетта отлетела от стола, разукрасив скатерть зеленоватыми спиральками помета.

– Как-то они уж очень лютуют, – говорит Лорд задумчиво. – Может, что-то еще пропало, кроме того, о чем мы знаем?

Сфинкс оглядывается на Табаки, говорившего примерно то же самое, но тот, оглушенный собственными воплями, не расслышал Лорда и не замечает взгляда Сфинкса.

На стол перед воспитателями ложатся Фазаньи рюкзаки с пугающе однообразным содержимым. Салфетки, аптечки, дневники для заметок. Каждый рюкзак выворачивается наизнанку и неоднократно встряхивается. Карманы Фазанов обыскивают отдельно. Там только носовые платки и пронумерованные расчески.

– Боюсь, нам придется здесь заночевать, – говорит Лорд. – Не очень приятная перспектива. Может, пропустим вперед Табаки? У него нехороший рюкзак.

– Это их только раззадорит, – предполагает Горбач.

Сфинкс оглядывает столовую, которая чем дальше, тем больше напоминает разгромленный свинарник. Перед дверью осталась лежать груда осколков. Стянутая с Крысиного стола клеенка валяется на грязном полу. Несколько человек демонстративно улеглись спать, завернувшись в сорванные с окон шторы. В одном углу держат совет озабоченные Логи, в другом – Птицы сооружают ширму для временного туалета. Унылые выкрики Слона «Хочу пи-пи, хочу пи-пи» подгоняют их. Представив, что скоро к окружающей обстановке прибавится запах мочи, Сфинкс морщится от отвращения. А между тем вожак всего этого гадюшника пристроился подремать под кухонным окошком на собственном пиджаке. Глядя на него, Сфинксу хочется одновременно кричать, трясти, пинать и затаптывать. Переполненный этими эмоциями, он направляется к Слепому.

Мимо Табаки, заталкивающего в свой рюкзак что-то, что придаст ему смертоносности. Мимо кадки с чем-то пластмассовым, ядовито-зеленым и обкусанным. Мимо совещающихся Логов, угрюмо поглядывающих на дверь. И когда он уже почти у цели, Слепой говорит, не открывая глаз:

– Сфинкс, ты подкрадываешься ко мне, как голодный тигр к козленку. Если хочешь застать кого-то врасплох, сделай походку менее выразительной.

Поборов желание топтать и орать, Сфинкс садится рядом с ним.

– Давай поговорим. У меня накопилось много вопросов.

– Давай. С чего начнем?

Безмятежность Слепого не столько бесит Сфинкса, сколько лишает сил. И желания что бы то ни было с ним обсуждать.

– С автобуса Черного. Мне не нравится эта история с фальшивыми правами. Водить он толком не умеет. А если и учился, то явно недостаточно. У него нет опыта. Он угробит и себя, и тех, кто туда сядет.

Слепой садится прямее.

– Не думаю. Он человек ответственный. К тому же как я могу запретить ему что-то после выпуска. После выпуска я даже Лэри ничего не могу запретить.

– Ты не стал бы, даже если бы мог.

Слепой пожимает плечами.

– Верно. Не стал бы. Это его решение. Он вожак. С чего это я должен ему что-то запрещать?

– Ладно. Я знал, что толку от этого разговора не будет.

Слепой открывает глаза, запускает руку под майку и яростно чешется.

– Ты вроде бы говорил, что у тебя много вопросов, – напоминает он.

Сфинкс оценивающе глядит на него.

– Сказал. Только не знаю, стоит ли их задавать.

– Попробуй, – предлагает Слепой.

– Ты знаешь, из-за чего нас так дотошно обыскивают?

Слепой садится прямее.

– Знаю.

– И?

– Потому что боятся выпуска. Хотят убедиться, что никто не запасся взрывчаткой, ядами и так далее.

– Но почему именно сегодня? Ведь до выпуска…

– Остался один этот вечер и одна ночь. Ну и еще кусочек утра, который можно не считать.

К проверочному столу выстроилась Крысиная очередь. Фазанов уже выпустили. Их и Слона, который, возможно, успел добежать до унитаза.

– Откуда… – начинает Сфинкс, откашливаясь. – Откуда тебе это известно?

Он говорит тихо, он совершенно спокоен, или кажется спокойным, он не делает ни одного лишнего движения, но головы сидящих за их столом начинают поворачиваться в его сторону. Табаки… Лорд… Горбач…

Воспитатели горсть за горстью выуживают из рюкзака Рыжего пачки презервативов. Кажется, что весь рюкзак набит только ими. Меланхоличная усмешка Крысиного вожака расплывается, словно Сфинкс смотрит на него сквозь толщу воды.

– Завтра утром объявят еще одно общедомное собрание, – говорит Слепой. – Соберут всех в актовом зале и сообщат о роспуске. Примерно минут через десять начнут подъезжать родители.

Сфинкс молчит. Подсчитывая отнятые, украденные у них, у него… у всех них дни. Семь. Нет, шесть с половиной дней. Это мало. Они пролетели бы как один. Но сейчас, лишившись их, он потрясен настолько, что не в состоянии ни говорить, ни реагировать на слова Слепого.

Над ними загорается лампа под розовым абажуром. Стеклянный цветок с пересекаю-

щей прозрачную чашечку трещинкой. К его изогнутой ножке что-то прикручено скотчем. Присмотревшись, Сфинкс понимает, что это складной нож, припрятанный здесь кем-то на время обысков. Очень хитро припрятанный. Он видит этот нож и что-то еще поверх рамы над запертым кухонным окошком, там тоже что-то лежит. Он подозревает, что если встанет и осмотрится, увидит все спрятанное в столовой – множество предметов-невидимок – опасных и не очень, ценных и бесполезных, все, что так долго и безуспешно разыскивают воспитатели. На людей он старается не смотреть. Не смотреть так, как умел когда-то, как учил его Седой. Только не сейчас. Но когда же он перестал это делать? Просто смотреть. Просто видеть. Жить сегодня, а не вчера и не завтра. Когда начал сокращать дни и часы страхами и сожалениями?

– И давно ты знаешь?

– С тех пор, как они окончательно выбрали дату. С прошлого понедельника.

Розовые отражения лампы в глазах Слепого, два крохотных розовых абажурчика. Под ними кривится печальная усмешка, ногти скребут ладонь. Руки нервничают, лицо спокойно. Он разучился смотреть сначала на руки Слепого, и только потом на его лицо. Он очень многое перестал делать правильно.

– У нас сегодня Ночь Сказок, – говорит Слепой. – Она будет долгой. А потом наступит утро. Все однажды кончается.

Прислонившись к стене, Сфинкс закрывает глаза. С непривычки ему тяжело видеть сразу слишком многое. Любому, кто смотрит на него со стороны, он кажется задремавшим, но и с закрытыми глазами он ощущает на себе тревожные взгляды стаи. Кажется, даже Курильщика.

– Интересно, меня оставят в покое? – шепчет Сфинкс.

Открыв глаза, он видит, что столовая мерцает и расплывается. Ветер звенит в прутьях ограды, возле которой он сидит. Словно кто-то играет на ржавой арфе из арматуры. Разбитая, заросшая травой дорога, убегающие за горизонт телеграфные столбы и бордовое предзакатное небо раскидываются перед Сфинксом прозрачной голограммой, через которую проступают очертания столовой и слоняющихся по ней фигур. От наложения друг на друга двух миров – призрачного и настоящего – Сфинкса начинает подташнивать. Он знает, достаточно сосредоточится на одном из них, и второй исчезнет, но что-то мешает ему выбрать, и он старается удержать обе картинки, несмотря на усиливающееся головокружение и тошноту.

– Прекрати, Сфинкс! Что ты вытворяешь? Это не игрушки!

Привычка слушаться Слепого срабатывает, как рефлекс. Слишком давняя привычка. Столовая обретает яркость и объем, дорога и поля по обе стороны от нее исчезают.

– Извини, – говорит Сфинкс. – Как-то само собой получилось. Я не хотел.

– Вот именно, – вздыхает Слепой. – Надо или хотеть, или не хотеть. Сначала выбери направление, потом беги.

Сфинкс удивляется тому, что Слепой верно угадал его порыв. Он действительно хотел сбежать. Но не туда, куда мог бы завести его Дом.

– Мне просто невмоготу здесь торчать.

– Попросил бы меня. Чего проще?

Слепой решительно встает, увлекая за собой Сфинкса, и устремляется к проверочному столу, почти бежит, распугав своим стремительным перемещением совещающихся Логов. Сфинкс бежит за ним. Опасаясь, что Слепой сейчас врежется в кого-нибудь из воспитателей, и это сочтут диверсией. К счастью, Слепой тормозит в двух шагах от брюха Шерифа.

– Можем мы пройти без очереди? – вежливо спрашивает он пустое пространство над головой воспитателя. – У нас с собой нет рюкзаков.

Очередь не возражает, перенервничавший Шериф тоже. Их наскоро обыскивают и отпускают.

– Весь Дом в твоем распоряжении, – шепчет Слепой Сфинксу, как только они оказываются за дверью. – Кроме первой спальни. Но ты ведь туда и не рвешься, верно?

– Не рвусь, – мрачно отвечает Сфинкс. – Я никуда не рвусь, кроме как в постель. Мне нужно выспаться и собраться с мыслями. Ночь будет длинной.

Слепой замедляет шаг.

– Прости, – говорит он, – но у меня к тебе тоже есть вопросы. Отдых придется отложить. Мы можем зайти в Кофейник. А можем пойти в другое место, где ты выспишься, встретишь рассвет, позавтракаешь и соберешься с мыслями перед тем, как мы поговорим. Выбирай. Второй вариант сэкономит нам уйму времени.

Сфинкс останавливается и пристально смотрит на Слепого.

– Нет, – говорит он твердо. – Я предпочитаю Кофейник.

– Как скажешь.

В Кофейнике ни души. Слепой заходит за стойку и шарит под ней в поисках кофе. Сфинкс руководит его действиями. Получив в результате две чашки с черным кофе, они, не сговариваясь, выбирают столик у окна, которое никто так и не удосужился застеклить. Кто-то подстелил под ним тряпку, но стол не догадался отодвинуть, и теперь посреди клеенки красуется сероватая лужица дождевой воды. Слепой плюхает в нее пепельницу и удивленно отряхивается от брызг.

Сфинкс смотрит на пасмурное небо.

– Кажется, ночью опять будет дождь, – говорит он.

Слепой садится рядом со Сфинксом, закуривает и, пристроив зажженную сигарету на краю пепельницы, тут же закуривает еще одну. Вторую он оставляет в левой руке, первую берет правой и держит на излете, фильтром от себя. Сфинксу не приходится ни нагибаться, ни вытягивать шею, сигарета оказывается точно на уровне его губ. Чтобы выпить кофе, Слепой опускает в пепельницу обе сигареты и, поднимая свою чашку левой рукой, одновременно поднимает чашку Сфинкса правой. Проделывает он это механически, не испытывая ни малейших затруднений, а Сфинкс так же механически пьет свой кофе и курит синхронно с ним.

– Ну? – говорит Сфинкс, когда кофе в чашке остается меньше половины. – Спрашивай, не тяни.

– Ты знаешь, о чем я хочу спросить.

– Знаю, – кивает Сфинкс. – Остаюсь я или ухожу?

Слепой кивает.

– Я ухожу, Слепой. Прости.

Смотри на его руки, не на лицо – говорит себе Сфинкс, и смотрит на руки Слепого. А потом все-таки на лицо. На котором написано недоумение. Сфинкс спохватывается, что сказанное им могло прозвучать для Слепого как нечто прямо противоположное. Надо было сказать «я остаюсь» – тогда Слепой понял бы его правильно. Он и так все понял по интонации и извинению, но ему требуется несколько секунд на то, чтобы осознать смысл «оговорки» Сфинкса, и когда он его осознает, лицо его каменеет.

Сфинксу хочется еще раз извиниться, но он себя сдерживает. Это прозвучит хуже, чем молчание. Он понимает, что случайная оговорка сказала Слепому больше, чем любые объяснения. Может, это и к лучшему.

– Ты твердо решил?

– Да. Давай больше не будем это обсуждать.

Слепой хмурит брови.

– Нет, давай все же обсудим. Это из-за них, да? Из-за тех, кто не может уйти?

– Не из-за них. Из-за них тоже. Но я не остался бы, даже если бы остались все.

Скорее всего, ему не следовало этого говорить. Но он старается быть честным. Как Слепой старается оставаться спокойным.

– Почему? – спрашивает Слепой.

– Это моя жизнь, – говорит Сфинкс. – Я хочу прожить ее. Никто не виноват в том, что для тебя реальность там, а для меня здесь. Так уж получилось.

– Русалка знает?

– Нет.

Сфинкс отворачивается, чтобы не видеть, как лицо Слепого озарится надеждой.

– Это не имеет значения, – говорит он. – Она выберет то, что выберу я.

– С радостью?

Вкрадчивый вопрос Слепого остается безответным. Его это радует.

– Ты слишком самоуверен, – говорит он. – Я понимаю, любовь… в горе и в радости, в богатстве и в бедности… но что, если у нее нет выбора?

– Так не бывает.

– Поверь мне, бывает.

Сфинкс ощущает мимолетный укол страха. Холодную сосущую пустоту. Но, поймав тень торжествующей улыбки на губах Слепого, понимает, что им играют.

– Перестань, Слепой, – просит он. – Я не останусь. Не вымучивай из себя угрозы.

– Она не может остаться, – предупреждает его Слепой. – Она из другого мира. Ей не место здесь.

Сфинкс смотрит на него пристально и мрачно, оценивая степень искренности, и, как всегда, не может понять, врет Слепой или говорит правду.

– Что ж, – отвечает он. – Если так, значит, нам не суждено быть вместе. Но признайся, ты ведь сейчас это придумал.

Лицо Слепого спокойно. Только дыхание чуть перехватывает, словно его кто-то ударил.

– Да, – говорит он, помедлив. – Я придумал это сейчас. Чтобы напугать тебя. Конечно, она обычная девчонка, каких тысячи. Наружность кишит ими.

Мстительные нотки в его голосе настораживают Сфинкса.

– Ты что-то о ней знаешь? Знаешь, откуда она?

– От своих родителей, откуда же еще? – фальшиво изумляется Слепой. – Не из яйца же она вылупилась, согласись?

Сфинкс устало закрывает глаза.

– В последний раз прошу тебя, прекрати, – просит он. – Хватит. Мне надоело жить в тени Дома. Я не хочу ни его подарков, ни миров-ловушек, не хочу принадлежать ему, ничего не хочу! Мне не нужны другие жизни, которые проживаешь, как наяву, а потом обнаруживаешь, что успел состариться, что мышцы атрофировались, а окружающие смотрят на тебя, как на оживший труп, и радуются, если ты отличаешь левую руку от правой. Я ненавижу это, я этого боюсь, я не хочу подобной участи ни для кого из нас, даже для тебя, но я же не уговариваю тебя остаться здесь!

Они почти в темноте. Блеклая полоса предзакатного неба потухла, в голый проем окна задувает ветер. Слепой сидит, ссутулившись, обхватив голову руками.

– Поэтому ты отказался пойти туда сейчас? Испугался, что я затащу тебя куда-нибудь, откуда ты не сможешь выбраться? Что брошу тебя там и сбегу?

Сфинкс кивает.

– Что-то в этом роде. Ты угадал. А ты бы не сделал этого?

Слепой поднимает голову.

– Не знаю, – говорит он со злостью. – Может, и сделал бы. Только это непросто. Ты сильнее, чем думаешь. Ты бы выбрался. Все двери открыты перед тобой. Но ты останешься здесь, чтобы прожить свою дурацкую жизнь безруким калекой.

По последней фразе Сфинкс понимает, что Слепой на грани. Он никогда не употребляет этих слов. Никогда не произносит их вслух. Слепому все труднее сдерживать себя, а Сфинксу – видеть его таким.

– С этим можно жить, – говорит Сфинкс.

– Можно, – откликается Слепой. – Живи! Только не пожалей о своем выборе. Я мог бы перевести тебя целиком, ты знаешь. Даже Лорд мог бы это сделать. Подумай об этом.

– Лорду есть о ком позаботиться.

Сфинкс встает.

Дом смотрит на него прозрачными глазами Слепого. Дом не хочет его отпускать. На мгновение Сфинксу мерещится, что Слепого здесь нет. Есть кто-то, способный на все, чтобы удержать его. У него холодеют внутренности. Но это быстро проходит, и перед ним опять

Слепой, который никогда не причинит ему вреда.

– Уходи, – говорит он. – Слышать тебя не могу.

Будь у Сфинкса руки, он ударил бы кулаком по столу и, может, стало бы чуточку легче. Но рук нет. Единственное, что он может – уйти, потому что все, что должно было быть сказано, уже сказано.

Выйдя в коридор, он останавливается, услышав за захлопнувшейся дверью Кофейника грохот. Это Слепой сделал то, чего не смог сделать он. Разбил кулак о стол. Сфинкс зажмуривается и стоит еще некоторое время, прислушиваясь, но больше никаких звуков из Кофейника не доносится.

КУРИЛЬЩИК

И все-таки уйти – как из руки
Рука, уйти – и поминай как звали.
Уйти куда? В неведомые дали…

Р. М. Рильке. Уход блудного сына

Табаки велел мне записать в дневнике, что «грядет Ночь Сказок». Мы только что вернулись из столовой, проведя в ней в общей сложности больше четырех часов. Таким вымотанным я еще никогда себя не чувствовал.

В спальне не то чтобы все было разорено, наоборот, даже чище, чем обычно, но видно, что в вещах покопались, и все сразу ринулись осматривать свои тайники. У меня никаких тайников не было, поэтому я просто выгрузился на кровать и лежал, пока остальные носились со своими пропажами. Основной пропажей стала электроплитка. Ее-то уж точно унесли. А большая часть остальных вещей, о которых подумали, что их тоже нет, потом нашлись. И хотя Лэри уверял, что у него сперли какой-то бесценный предмет, никто ему не поверил, потому что, вернувшись из столовой и проверив свою кровать, он заметно повеселел и даже выплюнул железку, которую таскал в зубах с тех пор, как узнал про обыски.

Я был такой уставший, что думал – сразу же засну, чуть доберусь до кровати. Но полежал немного и понял, что спать не хочется. Я устал от столовой, а не сам по себе, и в спальне начал понемногу отходить. Но все-таки не ожидал, что после такого тяжелого дня станут затевать Ночь Сказок, мне казалось, что и остальным хочется отдохнуть.

– Пиши-пиши, – распорядился Табаки. – Отдыхать будем в перерывах.

– В каких еще таких перерывах? – спросил я.

– Эта Ночь будет с перерывами. Все знают, что она последняя, поэтому, скорее всего, дело затянется до утра. Кроме того, ожидаются гости, так что веди себя прилично.

Я не понял, что он имеет в виду. Когда это я вел себя неприлично в присутствии гостей?

Это был очень странный вечер. Чем-то похожий на все те вечера, ночи после которых я не любил вспоминать. На тот, после которого был убит Помпей, и на тот, после которого порезали Рыжего и нашли мертвого Краба.

Все вокруг взбудоражены, на кого ни посмотришь – глаза блестят и улыбка до ушей, а начнут говорить – замечаешь, что голос срывается и руки дрожат. Как будто все слегка навеселе.

Горбач сказал, что исполнит для нас ирландский танец.

– Соберусь с духом и станцую, – сказал он таким тоном, словно грозился повеситься. Потом он ободрал тетрадь со своими стихами, понаделал из них самолетиков и запустил их из окна. Один обронил. Я подобрал его, повертел в руках, попробовал прочесть, что на нем написано, и ринулся во двор собирать остальные, но пока съехал, половину уже растащили, а многие упали в грязь, размокли и перепачкались, так что написанное стало не разобрать.

Табаки пел не переставая. Он спел, по-моему, не меньше полусотни песен – одну жутче другой. Сплошные похороны и осколки разбитых сердец. А Лорд, единственный, кому в таких случаях удавалось его заткнуть, с чего-то решил быть терпимым и только улыбался.

Слепой появился часа через полтора после нашего возвращения из столовой. Кисть у него была обмотана полотенцем, и он был весь до того серый, что Табаки, едва взглянув на него, тут же замолчал и больше уже не пел. Слепой выглядел, как герои всех его песен одновременно. И про похороны, и про разбитые сердца, и про недоплетенные венки. Сказав, что чувствует себя не очень хорошо, он влез на кровать Лэри и затаился там.

Табаки помрачнел. Сделал несколько кругов по комнате и тоже вскарабкался наверх к Слепому. Чуть погодя он свесился, подозвал Македонского, велел спустить себя вниз, обследовал один из наисекретнейших тайников и опять скрылся на кровати Лэри с бутылкой коньяка. Табаки любые болезни лечил одним и тем же способом. Менялись только разновидности и градус напитков.

Не помню, в какой момент я начал догадываться, что выпуск состоится раньше, чем через неделю, и даже, скорее всего, завтра. Кажется, еще до появления Слепого, и уж точно после того, как увидел его. А когда пришла Рыжая, примерно с тем же выражением лица, что у Слепого, и начала со всеми подряд обниматься, я уверился в этом окончательно. Она и меня обняла. Запросто, как будто мы с ней чуть что обнимались. В этот момент я все понял и про завтрашний день, и про сегодняшний. Почему нас обыскивали, почему Лорд вытерпел нестерпимое количество похоронных песен, почему Слепой выглядит как покойник, а Горбач грозится сплясать. Про улыбки я тоже все понял. Отчего все вокруг улыбаются, как психи. В горле у меня застрял комок, мешающий разговаривать, так что я теперь тоже только улыбался и ничего больше делать не мог.

– Постереги, пожалуйста, моего медведя, – попросила Рыжая. – Я скоро вернусь.

Я взял у нее медведя.

– А-а-а, еще одна параноидальная улыбка, – сказал Сфинкс, входя в спальню. – Одним весельчаком больше стало.

Он внимательно посмотрел на меня, на медведя Рыжей, которого я крепко держал, потому что пообещал стеречь, хотя так и не сумел выговорить это вслух, посмотрел и отвернулся.

– В Кофейнике куча хлеба, – сказал он, ни к кому не обращаясь. – Из столовой. На ужин вообще никто не явился, Акула велел снести весь хлеб в Кофейник. Если хотим получить свою долю, надо спешить, а то Псы его уже растаскивают.

Табаки немедленно собрался и, прихватив Лэри, уехал за хлебом. Перед тем как уехать, ободряюще врезал мне по спине.

– Сам догадался? – спросил Сфинкс.

Я кивнул. И просипел, что это было нетрудно. Оба мы посмотрели на кровать Лэри. В этот момент я заметил, что из нагрудного кармана рубашки Сфинкса высовывается кончик бумажного самолетика. Ожоги у него на лице горели, из-за них он казался непривычно румяным.

Потом пришел Черный и спросил, требуется ли нам грубая мужская сила. Одет он был так, как будто собрался в поход. Здоровенные ботинки чуть ли не до колен, заправленные в них штаны с десятком карманов, две рубашки, одна на другую. Все землисто-травяного цвета. За плечами у него висела шляпа.

Сфинкс сказал, что грубая сила потребуется через полчаса. Черный сказал, что будет через полчаса, и ушел, оставив нам банку маслин.

Македонский притащил коробку с разномастными чашками и принялся расставлять их на столе. Табаки и Лэри вернулись, нагруженные пакетами. Кроме хлеба там оказались две банки с маринадом, круг сыра, батон колбасы и пучок зеленого лука.

– Это ужин, который можно будет назвать «Последний полет Летуна», – объяснил Табаки, присоединяя к лежащим на столе продуктам оставленные Черным маслины.

Вернулась Рыжая и забрала у меня медведя.

Потом началась суета и суматоха. Из гардероба вывалили всю одежду и все полотенца, в душ выстроилась очередь, тамбур завалили какими-то непонятными мешками. Я поглядел

на все это и решил немного погулять. Переодеваться мне было не во что, а на месте не сиделось. И я уехал.

В коридоре было пустынно. Даже на Перекрестке ни души. Иногда хлопали двери и кто-то суматошно перебегал из комнаты в комнату, но в основном шумели только в спальнях. Я посидел у Перекресточного окна. Дождь давно перестал. После него даже выглянуло солнце, но ненадолго. Сейчас оно уже заходило, только дворовые лужи красиво отливали желтым. Я решил, что обязательно нарисую такую картину. Когда-нибудь потом. Синий-пресиний вечер, только лужи желтые, и в небе тонкая желтая полоса. У меня под рукой не было блокнота, чтобы сделать набросок, и я набросал все это ручкой в дневнике, чтобы не забыть, хотя знал, что и так не забуду. Я так хорошо представил себе эту картину, что даже засомневался, получится ли на самом деле хоть что-нибудь. Все, что я подробно представлял до того, как начать рисовать, потом выходило намного хуже или выглядело совсем иначе.

Я немного покатался по коридору и вернулся в спальню.

Там двигали мебель, расчищая территорию для гостей. Центральную кровать растащили на три обычные, узкие. Одну придвинули к стене, другую к шкафу, третью кое-как втиснули между двухъярусной и столом. Теперь к окну было не пройти, а шкаф невозможно открыть, зато в центре комнаты образовалось свободное пространство. Замусоренное и пыльное. Лэри набросился на него с веником, Македонский прошелся шваброй, а потом туда пустили Толстого в нарядном красном комбинезончике ползать в свое удовольствие.

Толстый ползал по полу, Табаки на столе нарезал хлеб, Сфинкс и Черный совещались о чем-то на кровати Черного, Лорд выгружал пузырьки с лекарствами из хромоногой тумбочки, которую все приходившие к нам в гости умудрялись своротить. Я заметил, что все лекарства Лорд выбрасывает в мусорный мешок, а потом заметил, что под кроватью возле шкафа плотными рядами выстроены застегнутые рюкзаки. В прихожей тоже стояли рюкзаки. На некоторых лежали сложенные куртки. И я вдруг понял, что все, кроме меня, уже собрались. Возникло жутковатое ощущение. Как будто они в любую минуту могли вдруг куда-то исчезнуть, и мне пришлось бы остаться одному в пустой спальне дожидаться утра. Это было так неприятно, что я тоже поскорее собрал свои вещи в сумку. Вещей у меня было мало. Альбомы, блокноты, краски. Свитер, который связал для меня Горбач, и чашка – подарок Шакала.

Табаки крикнул мне, чтобы я лез на стол помогать ему с бутербродами.

Весь следующий час я был очень занят. Мазал маслом нарезанный хлеб, а так как хлеба он накромсал гору, работа казалась бесконечной. Намазанные куски Табаки украшал тем и этим, умудрившись сотворить из небольшого количества продуктов бутербродов на целый полк. Я даже засомневался, что мы сможем столько съесть за одну ночь. Готовые бутерброды мы разложили ярусами на четырех тарелках и воткнули в каждый по зубочистке.

– Все! – сказал Табаки. – Я на сегодня свое отработал. Пора и поразвлечься!

И уединился с Лордом в углу смешивать и дегустировать напитки. В этом деле я им был не помощник.

Пока я прикидывал, чем бы еще заняться полезным, пришли два Птицелога с матрасами, свалили их посреди комнаты и ушли.

Потом появился Лэри в белой рубашке Лорда. В такой обычно поет свою арию главный герой из оперы «Тоска». Вечно забываю, как его зовут. В общем, это была очень оперная рубашка. С кружевами по вороту и рукавами, похожими на паруса. Лэри в ней выглядел сногсшибательно. Особенно сапоги. На самом деле принарядились все, только не у всех это так бросалось в глаза, как у Лэри.

Я так и не слез со стола. Сидел возле подсыхающих бутербродов, отгонял от них Нанетту и рисовал в своем дневнике всех подряд. Фрагментами.

Опять появились Птицелоги. Втащили стремянку Стервятника. Русалка со Спицей внесли круглый поднос с пирогом, поставили его рядом со мной и начали нарезать. Я схватил нож и тоже стал нарезать вместе с ними. От запаха пирога во мне проснулся зверский аппетит. Пирог был мясной и еще горячий. Уж не знаю, как и на чем они его приготовили, но точно не на электроплитке. Нарезанные куски мы раскладывали на том же подносе.

– Давайте попробуем, что получилось, – предложила Русалка. – Потом-то он остынет.

И мы трое съели по куску, а один дали Толстому. Он так зачавкал, что к нам тут же сбежались другие любители пирогов. Когда от него осталась примерно половина, у нас хватило силы воли убрать ее с глаз долой, на шкаф. Горбач влез на стол, прикрыл поднос тазом, чтобы уберечь пирог от Нанетты, и спустился, весь какой-то мечтательный. Сказал, что женится на той, которая приготовила этот пирог. Русалка со Спицей переглянулись и захихикали.

– Это коллективное творчество, – призналась Русалка. – Тебе придется стать многоженцем.

Горбач сказал, что с удовольствием им станет. Причем сказал совершенно серьезно. Даже мрачно. Как будто вдруг пришел к мысли, что многоженство – то самое, чего ему не доставало в жизни. Я просто не узнавал его. Всегда тихий, неразговорчивый – и вдруг обещание танцев… самолетики… перешучивание с девушками. Очень странно действовал на него предстоящий выпуск.

– Ой, я не успею переодеться! – спохватилась Спица и убежала.

– А ты? – спросил я Русалку. – Ты не будешь переодеваться?

– Я – уже, – сказала она, покраснев, – уже переоделась, по правде говоря.

– Ох, да, конечно. Как я мог не заметить! Ты очень нарядная сегодня!

Я отчаянно искал, что бы похвалить. Что-то такое, чего я не видел на ней ежедневно. Не нашел.

Русалка кивнула. И, вытянув длинную прядь волос, показала мне рыбку. Совсем крохотную. Сделанную из полосатой косточки неизвестного мне плода. Она потрясла ее, и в рыбке что-то застучало. Не звон, но и не совсем стук, что-то среднее.

– Там внутри одно очень звонкое семечко, так что это и рыбка, и колокольчик, – объяснила Русалка.

– Здорово! – восхитился я. – А из чего он?

Она пожала плечами.

– Слепой подарил.

Я думал, придут Стервятник с Красавицей, Валет, Черный и, может, еще кто-нибудь из тех, кто обычно забегал по вечерам. Но гостей оказалось намного больше.

Стервятник пришел с Драконом, Ангелом, Красавицей и Конем. Рыжий – с Викингом, Мертвецом, Зеброй и Белобрюхом. С Черным приехал Филин, который у нас вообще не бывал, а чуть погодя явились и Валет с Кроликом. Они принесли с собой инструменты. Две гитары, две флейты и лютню. Стервятник принес две бутылки текилы собственного приготовления. Рыжий притащил кастрюльку с глинтвейном. Девушка с зелеными волосами и в длинном вечернем платье – мешок с пирожками.

На столе стало слишком тесно, и я спустился сначала на ближайшую приоконную кровать, а потом перебрался на кровать Черного.

Все коляски выставили в коридор, в спальне для них не осталось места. Слепого, должно быть, уже не было на кровати Лэри, потому что я увидел, как на нее влезают со своими рюкзаками Зебра и Мертвец.

Рыжий кричал, чтобы все садились, не то глинтвейн остынет.

Ко мне подсела Русалка, чему я очень обрадовался, потом Лэри, а в конце – запыхавшаяся Спица, увидев которую, я чуть не свалился с кровати. Она была в настоящем свадебном платье. С шлейфом, фатой и всем, что полагается невесте. В руках у нее был круглый букетик, перевязанный блестящими лентами. Они с Русалкой кое-как разместили пышную белую юбку между мной и Лэри. Ему пришлось забиться в дальний угол кровати, а мне вжаться в стену, чтобы этот шифоновый колокол получил нужное ему количество места. После того как его уложили и расправили, Русалка тоже села, просто накрывшись им, как снежным одеялом.

Должно быть, со стороны наша компания выглядела забавно. Белоснежка в подвенечном наряде и три гнома, смущенно выставившие из-под этого наряда носы. Все по очереди подходили и рассыпались в комплиментах платью Спицы, а она сидела, красная от смуще-

ния и непривычно красивая, кивала, говорила «спасибо», и я подумал – как это все-таки странно, что свадебное платье, оказывается, может и дурнушку сделать красавицей.

Не успел я прийти в себя от потрясения, вызванного нарядом Спицы, как случилась совсем уж удивительная вещь. Пришли двое из кемпинга. Мужчина – тощий, небритый, с виду даже голодный, и женщина – крупная, рукастая и широкоплечая. Привел их Македонский. Усадил на свою кровать и вручил по чашке кофе, с таким видом, словно это в порядке вещей. Словно эти двое каждый вечер забегают к нам на чашечку кофе.

Сами они явно не ощущали себя так, как хотел представить Македонский. Стеснялись и нервничали. Сидели рядышком, выпрямившись, тихие и напряженные, и даже глаз не поднимали. Что-то странное было в том, как они держались, странное и даже немного ненормальное. Многие удивились их появлению, не я один. Но никто не спросил, с чего это они вдруг пришли – гости есть гости, с гостями полагается быть вежливыми.

Минут через пять после их появления Табаки влез на стремянку, которую, как мне казалось, принесли для Стервятника, и прокричал, что приветствует всех собравшихся и рад сообщить, что будет ведущим на этой Ночи Сказок, «потому что нас многовато здесь сегодня собралось, и требуется координатор».

Все зааплодировали.

– Мы ждем еще нескольких гостей, после чего можно будет начать! Попрошу сидящих рядом со свечами приготовиться, вы зажжете их по моей команде!

Русалка тихо засмеялась, зазвенев колокольчиками.

– А кто еще придет? – спросила Спица.

И тут объявились последние гости. Вроде бы после палаточников удивляться уже было нечему, но я все-таки удивился. Это был Р Первый, и с ним какой-то кривоногий старик в фуражке.

– Сторож с третьего, – прошептал Лэри, свешиваясь с кровати, чтобы получше их рассмотреть. – Чтоб я сдох, а ему-то что здесь понадобилось?

Р Первый и старик сели на кровать у шкафа.

– Поприветствуем наших гостей! – завопил Табаки.

Все опять зааплодировали.

Старик немедленно вскочил, снял фуражку и церемонно поклонился.

Лэри издал странный звук, как будто поперхнулся, и сел прямо. Вид у него был такой, словно с ним что-то случилось, но я не успел спросить – что. Табаки объявил, что теперь все в сборе, и можно начинать.

Свет выключили. Ближайшую к нам свечу зажег Рыжий. Он сидел на полу, прямо подо мной, в обнимку с Толстым. Табаки в темноте слегка притих. Перестал орать и заговорил нормальным голосом.

– Сегодня времени у нас будет достаточно, но все же давайте начнем.

Сказка Лорда

Однажды он очутился на дороге, в месте, где никак не мог находиться. Отчего-то его это не беспокоило. Что-то странное приключилось с памятью, он ничего не помнил, но откуда-то знал, что попал сюда по доброй воле и должен найти что-то важное.

Он был одет в черное, в рюкзаке у него лежала книга на неизвестном ему языке, зубная щетка в футляре, смена белья, фотоаппарат и блокнот. Записи в блокноте делал он сам, хотя и не помнил, при каких обстоятельствах. Он сильно уставал и на ходу, и стоя, поэтому сидел на обочине дороги, вставая только при виде машин. Голосовал и снова садился, когда очередная машина проезжала мимо. Почему-то совсем не попадалось приличных машин. Прилично выглядящих. Он сидел и от нечего делать листал блокнот, пытаясь разобраться в собственных записях. Они были малопонятны и сопровождались чертежами с множеством стрелок, которые окончательно все запутывали.

Наконец, один из водителей сжалился и согласился подвезти его «только до

развилки». На развилке оказалась автобусная остановка, а при ней крохотный магазинчик с двумя столиками, превращавшими его в подобие кафе. Хозяйка магазина обозвала его «бедным, беспамятным прыгунчиком» и бесплатно угостила жареной на свином сале картошкой. Он никогда не ел ничего подобного. От запаха сала мутило, но он был голоден и не хотел огорчать добрую женщину. От нее он узнал, что автобусы отсюда ходят только в трех направлениях, но лишь одно из названий привлекло его внимание.

– Никчемный городишко, – предупредила хозяйка закусочной. – Работы ты там не найдешь, и не надейся.

Он вежливо улыбнулся. Чернолес – название никчемного городишки завораживало.

Городишко действительно оказался никчемным. Но что-то в нем было. Нечто таинственное, не имевшее ничего общего с действительностью. И он остался. Поселившись в ночлежке, перебиваясь случайными заработками и выжидая. Что-то должно было случиться.

Полгода он провел в этом месте, перезнакомился со всеми местными бродягами, со всеми старухами, торговавшими с лотков, и даже с приблудными котами, которыми кишела ночлежка. Жители «Клоповника» делились на постоянных и временных. Постоянных называли пришлыми, временных – перекати-поле. И те, и другие жили сегодняшним днем, никогда не упоминая прошлого и не строя планов на будущее. Прокормиться сегодня – других целей в «Клоповнике» не признавали.

Он подрабатывал во многих местах. Летом найти работу было легче. Он помогал фотографу на речном пляже устанавливать громоздкие конструкции из картона в виде парусников и дельфинов. Помогал двум сестрам, продающим там же всякие безделушки, плести браслеты из разноцветной проволоки и из бисера. По утрам помогал чистить пляж перед закусочной.

Осенью с первыми дождями река стала бурной и грязной, пляж занесло мусором, кафе и закусочные позакрывались. Оставались еще моечная и заправка, но желающих там подработать хватало и без него. Поэтому он заглядывал туда только изредка. В ремонтную мастерскую его не пускали. Ни его, ни кого бы то ни было из пришлых. Детали машин в Чернолесе ценились на вес золота, и в обычной ремонтной мастерской даже имелся свой охранник.

Поэтому он удивился, когда однажды в «Клоповник» явились двое из мастерской и попросили кого-нибудь помочь им с машиной. Удивила его и реакция жителей «Клоповника». Кто успел, спрятался, остальные прикинулись глухими, и, прежде чем он сообразил, что происходит, его уже увели.

Во дворе перед мастерской стояла черная машина. Первая приличная машина, увиденная им за полгода. Первая, не выглядевшая так, словно вот-вот развалится на запчасти. Без заплат, без следов ремонта, без наклеек, скрывающих проплешины осыпавшейся краски. Ему сказали, что он должен ее вымыть. Всего лишь. Шланг валялся здесь же, на земле. Шланг и ведро с двумя губками.

Он понял, что дела его плохи, еще до того, как заглянул в салон. Моечная была в двух шагах. Не имело смысла спрашивать, почему машину не отогнали туда. Это не имело смысла вначале, и еще меньше потом, после того, как он увидел, что творится в салоне. Ему помогли вытащить наружу сидения. И ничего больше. Найдя под резиновым ковриком отрезанный палец, он даже не попытался скрыть свою находку. Просто бросил его в ведро с грязной водой. Дольше четырех часов он отмывал машину от крови, уверенный, что его убьют, как только он закончит работу.

Ночью, в «Клоповнике», Грязнокрыл сказал, что все еще впереди. Что теперь он должен исчезнуть из города. Он и сам это понимал.

– Хочешь, заштопаю тебе рубашку? – спросила Черепашка Квази.

Он роздал свое имущество – электроплитку, чайник, выигранную в лотерею

зимнюю куртку, собрал оставшееся в рюкзак и покинул «Клоповник». Жители которого, как ему показалось, вздохнули с облегчением. Теперь им не доведется стать свидетелями его смерти и огорчиться.

Отойдя на приличное расстояние от ночлежки, он присел на низкую ограду возле какого-то дома и стал думать, что делать дальше. Ноги болели все сильнее. Пешком он далеко не уйдет. Голосовать – означало подвергнуть опасности ни в чем не повинных людей. Автобусы отпадали по той же причине. К тому же он был знаком с их возможностями. Передвигались они чуть быстрее бредущей лошади. Оставалось только ожидание. Ему обещали заплатить за мытье машины утром. Когда он не явится за своими деньгами, им не потребуется много времени на то, чтобы отыскать его.

Он знал, что если ему удастся выжить, скрывшись из города, то проведенные здесь месяцы он будет вспоминать как удивительное приключение. Хотя в его пребывании в «Клоповнике» ничего удивительного не было, а ежедневные поиски заработка нельзя было назвать приключением. Или можно? Он попытался вспомнить все, что удивляло его здесь, все, что казалось необычным.

Взять хоть разговоры о Лесе. Впервые он услышал о нем от болтливого алкоголика перекати-поле, который пробыл его соседом одну ночь, не дал поспать и четверти часа, а уходя, подарил электроплитку и компас.

– Это тебе пригодится, приятель, – сказал он. – В любой момент можно очутиться в Лесу, и что тогда? Так по крайней мере будешь знать, где север.

Плитку он оставил девушке, заштопавшей ему перед уходом рубашку, компас лежал где-то на дне рюкзака.

Шуточки о Лесе стали привычными уже через неделю жизни в «Клоповнике». Он научился не обращать на них внимания. Он на многое научился не обращать внимания. На грибы, выраставшие в закутках «Клоповника» за одну ночь, на местных крыс, насвистывавших на бегу, на дивной расцветки перья, которыми играли грустные клоповнические ребятишки. «Кто знает, когда вдруг очутится в Лесу?»

Он закрыл глаза и попробовал очутиться там. Вспомнился запах странных грибов, когда их отдирали от стен. Не так ли пахнет лес? Чернолес.

– Если ты где-то рядом, приди, пожалуйста, – попросил он.

– Не так его надо звать, – сказал ему кто-то.

Он открыл глаза и вскочил в панике.

Вокруг было черным-черно. Ни фонаря, ни освещенного окошка. Только шелест и шорох листьев. И прохлада. Какой не бывает, не может быть ни в одном городе, ни в маленьком, ни в большом. Овладевший им страх превратил ее в холод. Неужели он и вправду желал очутиться здесь? Он обнял свой рюкзак, тупо сожалея об оставленной в «Клоповнике», такой теплой, куртке. Взять компас и оставить куртку, как это глупо. На что ему сейчас знание о том, в какой стороне находится север?

Он начал рыться в рюкзаке, где не было ни куртки, ни фонарика, ни даже коробка спичек, прекрасно понимая, что ничего полезного в нем нет, просто пытаясь чем-то занять себя, чтобы не впасть в панику. Нащупав компас, поднес его к глазам, и с изумлением понял, что видит не только фосфорную стрелку. Он видел весь компас, со всеми делениями. Раскрыв блокнот, он пролистал его. Не так отчетливо, как при дневном свете, а по-другому, но он все-таки видел сделанные в нем записи и мог их прочесть. Лес светился. Не для каждого, но для умеющего видеть в темноте, а он, как оказалось, умел.

Чей-то смешок спугнул его. Оборачиваясь, он, неожиданно для себя самого, повалился в траву и поднялся на ноги в трех шагах от места, где упал, под защитой ближайшего дерева. Проделал он это стремительно и плавно, одним текучим движением. Совершенно неосознанно. А прислонившись к дереву, тут же забыл обо всем. Исходившее от дерева тепло охватило его. Он не просто попал в теп-

лое место, это больше походило на объятие. Дерево обняло его, как умело, успокаивая, защищая, наполняя силой. Забыв о неведомом противнике, он весь отдался этому чувству единения. Прижался к царапающей лицо твердой коре и заплакал.

– Добро пожаловать домой, – сказал кто-то.

Из-за другого дерева вышел человек в майке с надписью: «Йеллоунстонский заповедник» и остановился поодаль. Он улыбался. Или скалил зубы. И, кажется, даже был не совсем человеком. Глаза его отсвечивали в темноте зеленым, как у собаки.

– Здравствуй, Слепой, – сказал ему Лорд, вспомнив все, чего не мог вспомнить последние полгода. – Как ты нашел меня?

Слепой засмеялся.

– Я тебя? Это ты меня нашел, беспамятный!

Сказка Рыжей

Она тоже жила там. В Чернолесе. Но не все время в «Клоповнике», вот уж нет, в гробу она видела эту гнусную ночлежку. Это место для беспамятных Прыгунов и неудачников, а она, слава богу, ни то ни другое. Весь Чернолес – та еще дыра, но ясно, что где-то близко к границе, а то она ни за что бы туда не сунулась.

Ей нужен был проводник. Или поводырь, если угодно. Кто-то, кто помог бы ей уйти с концами, целиком, то есть как полагается. Она знала, что это возможно, и знала, что сама на это не способна. Кое-какие способности имелись, но не те.

Она нанялась в столовую, где довольно неплохо кормили. Нанялась мыть посуду, потому что когда моешь посуду, можно не бояться кому-нибудь нахамить. С предметами всегда легче. Так что она мыла посуду, а в свободное время рыскала по улицам в поисках проводника. Жаль только, плохо представляя, как он должен выглядеть.

И доискалась до Серолицых.

Так их называли. Полные отморозки. Они красили волосы в белый цвет, подводили глаза и рисовали на щеках какие-то узоры в виде листьев. Вообще-то зеленые. Или синие. Но издали их художества все одно смотрелись как грязь, за что их и прозвали Серолицыми. Они носили белоснежные рубахи, черные кожаные куртки и джинсы, жутко дорогие, чуть ли не с платиновыми пряжками, но при этом разгуливали босиком, с вечно грязными ногами, и называли себя лесным народом. Спятить можно, представив эдакое пугало в лесу!

Но она зря посмеялась над ними, такого Серолицые никому не прощали. Они отлупили ее и забрали с собой. Жили они в одном из старых особняков на окраине города. Подвал целиком занимал кегельбан. Где-то наверху была еще бильярдная, а выше, наверное, жилые помещения, но там она не бывала. Туда водили только подружек. Своих. Тоже крашеных в платину, с листочками-колючками на щеках.

Как ей жилось там, лучше не вспоминать. Очень скоро она сама перестала верить в то, что осмелилась фыркнуть кому-то из них в лицо. Серолицые отучили ее фыркать, ругаться и вообще разговаривать. Но самым страшным было то, что она разучилась Прыгать. Перестала быть Прыгуном. У нее отняли то единственное, чем она в своей жизни гордилась, потому что Прыгун, сохраняющий память, – большая редкость, и она была этой редкостью, пока не угодила к Серолицым, которые что-то в ней испортили. Такое раньше случалось и с другими. Она еще в детстве наслушалась страшных историй о невозвращенцах, которые не вернулись не потому, что не хотели, а потому, что не смогли, но перестала в них верить, сделавшись Прыгуном. Слишком это просто, когда уже умеешь. Легче поверить, что можно разучиться говорить на родном языке. Серолицые

сделали ее умнее. Она поняла, что и то и другое вполне возможно. Так что оставалось только терпеть и прибирать за ними блевотину. Их рвало постоянно, потому что они сидели на какой-то наркоте, от которой их желудки перестали принимать нормальную пищу. Скорее всего, она бы от такой жизни в конце концов умерла, потому что они и ее почти не кормили, но вышло так, что одна из их разрисованных подружек с чего-то решила подпалить дом вместе со всеми в нем находящимися. Пожар она устроила на одном из верхних этажей. Подвал при этом не пострадал, но Серолицые были в тот вечер заняты и утратили бдительность, так что ей удалось от них улизнуть.

Дней десять она пряталась, пока не зажило лицо. Потом украла одежду. В овчинном жилете, цветастой юбке и в дурацкой широкополой шляпе она выглядела, как собственная бабушка, но ей и нужно было выглядеть кем-то другим. Крашеные волосы и огромные солнечные очки дополнили маскарад. Теперь ей нужны были деньги, чтобы убраться из города.

И вот тогда-то она увидела его. Он разравнивал граблями песок на пляже перед закусочной. В семь часов утра. Увидев его, она лишилась дара речи. Не оттого, что он был невозможно красив, просто он напомнил ей Серолицых. Вернее, не так. Она просто мгновенно поняла, на кого они пытались походить. И до чего у них это плохо получалось. Это ее потрясло. То, что они надеялись воспроизвести *такое* при помощи туши и гримировального карандаша. С особым злорадством она отметила, что волосы у него вовсе не белые. И уж, конечно, никаких листьев и цветов на щеках. Но она поняла и то, чего они добивались, обесцвечивая волосы и рисуя эти листья. Впервые поняла. Увидев живого эльфа.

Она сидела на дощатом причале, веером разложив вокруг себя юбку, опустив ноги в воду. Он прошел мимо, подбирая с песка всякий мусор, оставленный пляжниками, и только один раз взглянул на нее. Нечеловеческими, василькового цвета глазами. Откуда-то она знала, что они способны менять свой цвет. От серого до темно-синего.

Она сидела неподвижно, боясь спугнуть его, сидела с бешено бьющимся сердцем, пока он не отошел достаточно далеко, чтобы не почувствовать ее взгляд. У него была странная походка. Как будто ему больно или неудобно ходить. Он был в шлепанцах, а пакет с мусором волочил за собой по песку.

«Вот он – проводник», – подумала она. И незаметно пошла следом, чтобы не потерять его из виду.

Через неделю жизни в «Клоповнике», по соседству с ним, выяснилось, что он не знает, кто он такой, не ведает никаких тайных путей и вообще понятия ни о чем не имеет. Он даже не замечал, что его сторонятся. Она следила за ним с неослабевающим вниманием, но совершенно безрезультатно.

В его комнате пахло лесом. Матрас, на котором он спал, был в пятнах от раздавленных ягод. В углах вместо пыли скапливались жухлые листья. Там, где он умывался, вырастали съедобные древесные грибы, подоконник был покрыт невиданным количеством птичьего помета. Весь «Клоповник» уже перешел на грибные супы, а он по-прежнему ничего не замечал.

Она улыбалась ему при встречах, он вежливо здоровался. Иногда улыбался в ответ. Зубы у него были чуть заостренные, но его это не портило. Она была некрасива и до того, как обрядилась в старушечьи тряпки, поэтому даже не пыталась заговорить с ним. Такие, как он, не смотрят на таких, как она. Это противоестественно.

Однажды она зашла к нему ночью, когда он спал. Спал он обычно один, хотя в «Клоповнике» на комнату приходилось не меньше шести жильцов. Она вошла очень тихо и долго сидела в углу, глядя на светлячков, окруживших его матрас светящимся прямоугольником. В эту ночь ее терпению пришел конец. Она готова была убить его, но сдержалась. И, устав от собственного негодования, там же, в углу, заснула. А проснулась уже в Лесу. Он помог ей попасть туда, сам о том

не подозревая, потому что Лес всегда был рядом с ним. Как же она его за это ненавидела!

В Лесу она пробыла не дольше десяти минут. Ей этого хватило, чтобы мечтать попасть туда весь остаток жизни. Но она по-прежнему оставалась Прыгуном. К тому же Прыгуном пугливым. За прошедшее с тех пор время она поняла, как сказочно ей повезло. На самом-то деле проводника почти невозможно найти. Тем более такого. Разве что он сам этого захочет. Но она гордится уже тем, что ни о чем его не просила ни тогда, ни потом. И просить не станет.

КУРИЛЬЩИК
Продолжение

Первую историю рассказал Стервятник. Его сказка было про ведьму. Старую, мерзкую ведьму, которая мечтала сплясать на могилах всех своих родных и близких. Только такой недолгий танец раз в несколько лет доставлял ей радость. Больше ничто в жизни ее не радовало. Но чтобы сплясать свой танец и хоть немного порадоваться, ведьме приходилось постараться, потому что люди не умирают просто так, ни с того ни с сего, и если им не помочь, вожделенной пляски можно и не дождаться. Со временем ведьма освоила столько замечательных способов отправки на тот свет ближайших родственников, что при желании могла бы издать пособие на эту тему. Годы шли, ведьма старела, родственников у нее оставалось все меньше, пока, наконец, не остался один-единственный внук. За ним ей пришлось очень долго охотиться. В конце концов он скрылся где-то под землей, в гномьих пещерах – это было опасное место, куда даже ведьмы не рисковали проникать. Но эта рискнула. Очень уж ей не терпелось станцевать в последний раз на свежей могиле. И вот она последовала за своим внуком в гномьи подземелья, но заблудилась, а гномы заманили ее под волшебный холм, где время потекло вспять, и злая старуха превратилась в маленькую девочку.

В этом месте Стервятник отвлекся свойствами волшебных холмов и долго описывал, что происходит с теми, кого угораздит под них попасть. Такие заплутавшие могли состариться в одно мгновенье, и даже рассыпаться в прах, могли омолодиться и похорошеть, обернуться каким-нибудь животным, растением, или вообще чем-то несуществующим в природе, но что бы с ними ни случилось, процесс необратим. Даже освободившись из-под чар волшебного холма, они не могли вернуть себе прежний облик.

Тут Стервятника перебил Р Первый, которому зачем-то понадобилось узнать, как выглядела старая ведьма.

Стервятник сказал, что она была уродиной.

– А потом? – спросил Р Первый. – То есть теперь?

Стервятник ответил, что понятия не имеет.

– Говорят, на вид ей года четыре, не больше.

– Кто говорит? – взвился Р Первый.

– Гномы, – ответил Стервятник таким ледяным тоном, что сразу стало ясно: больше он ни на какие вопросы отвечать не намерен.

Р Первый тоже это понял и замолчал. Зато старичок сторож отчего-то оживился и, хихикнув, спросил, есть ли среди присутствующих хоть один гном.

Никто не отозвался.

На этом сказка закончилась. То ли Стервятник обиделся, что его прервали, то ли ему больше нечего было добавить к сказанному.

Следующим рассказчиком оказался Черный. Я удивился, потому что при мне он еще ни разу не принимал участия в Ночах Сказок. Еще больше я удивился его сказке. Во-первых, это была вовсе не сказка, а во-вторых, похоже, что и не выдумка. Черный рассказал о Наружности. О своем походе туда. Рассказал, как в сопровождении Крысы и с ее помощью, вернее сказать, с помощью Черного, потому что основным действующим лицом в этом походе выступала Крыса, они угнали старенький автобус из гаража какой-то школы неподалеку. Теперь этот автобус находится на прилегающем к Дому пустыре, посреди мусорной

свалки, стоит там, замаскированный, и ждет. Чего именно он ждет, Черный не уточнил, но, в общем-то, это и так было понятно.

Пока я осмысливал эту информацию, Р Первый подошел к стремянке и спросил Черного, знает ли он, что для того, чтобы куда-то на чем-то уехать в Наружности, нужно как минимум иметь водительские права. А автобус, набитый молокососами без единого удостоверения личности, будет очень скоро остановлен.

Черный сказал, что ему все это известно.

А известно ли Черному, спросил Р Первый, что угнанное транспортное средство, несомненно, находится в розыске, и даже если его перекрасить, кто-нибудь может это транспортное средство опознать.

Черный сказал, что ему и это известно.

– Так какого черта ты все это затеял! – заорал Р Первый. – Хочешь начать знакомство с Наружностью с колонии?

Спица, обняв Русалку, начала тихо всхлипывать. В темноте не было видно обступивших Ральфа, но, судя по возгласам, его уговаривали сесть. Черный сказал, что он просто рассказывает сказку.

Р Первый крикнул, что нечего утюжить ему мозги.

Табаки попросил Ральфа сесть и вести себя, как полагается.

Я так и не понял, сел Ральф или остался торчать у стремянки.

– Ну вот… – Черный выдержал паузу, как будто боялся, что его опять перебьют –…в сказках иногда встречаются добрые феи, и все такое. У меня не бог весть какая интересная сказка, но фея тоже имеется. И не одна. Кажется, их две, и еще два, как бы поточнее выразиться… фея, что ли? В общем, у них имеются водительские права, и они предложили мне свою помощь…

Все зааплодировали, а я стал думать, кто такие эти четверо фей, откуда они взялись и зачем им помогать Черному, и чем дольше я обо всем этом думал, тем меньше мне это нравилось. Им неоткуда было взяться, кроме как из Наружности, а я точно знал, что в Наружности бескорыстные феи давно перевелись.

Захотелось срочно обсудить этот вопрос с Черным, но для этого надо было дождаться перерыва. Пока что Табаки влез на стремянку для объявления.

– Не все наши правила известны гостям, – заорал он. – Поэтому я, на всякий случай, их перечислю. Любой из присутствующих имеет право задать рассказчику один вопрос. Только один! Желательно, в конце, не прерывая рассказа. Реплики допустимы, но не приветствуются. Выкрики с мест запрещены! Перемещения тоже! Для них предусмотрены перерывы. Любой, нарушивший эти правила в дальнейшем, будет выставлен за дверь, невзирая на законы гостеприимства! Всем все понятно?

Произнося эту речь, Табаки вопил все громче и все сильнее раскачивал стремянку, так что под конец чуть не слетел с нее. Шуму от него было куда больше, чем от Ральфа, но никто не счел это нарушением правил.

Я не переставая думал об автобусе, о том, чем на самом деле обернулись шуточки о нем, и о том, как разъярился Р Первый – теперь он, чего доброго, решит, что я знал правду, но специально писал в дневнике всякую чепуху, чтобы запутать его. Я так погрузился в эти мысли, что пропустил начало сказки Лорда.

Она вообще-то тоже не была похожа на сказку. Лорд рассказывал о том, как жил в каком-то маленьком городке, чем там занимался и как зарабатывал себе на жизнь. Ясно было, что все в этой истории выдумано, но вместе с тем ощущение, что говорит он о чем-то, что происходило на самом деле, не оставляло. Только конец этой сказки оказался сказочным, и то как-то сразу и чересчур, как будто Лорду надоело напрягаться, придумывая, что там будет дальше, и выпутывать своего героя из неприятностей. Там даже Слепой объявился в конце, на мой взгляд, совершенно не к месту.

Дальше рассказывал Валет. Больше играл, чем рассказывал, и его сказка была совершенно в духе сказки Лорда. Тоже какой-то город и поиски заработка, только у него все выходило веселее, может, оттого, что он попутно переиграл весь свой репертуар. Вплел его в повествование.

После сказки Валета Табаки, наконец, объявил перерыв. Я думал, что на время перерыва зажгут настенные лампы, но ошибся. Мы остались сидеть в потемках, и я не рискнул слезть с кровати. Черный куда-то пересел, с моего места его больше не было видно. Табаки включил магнитофон. Вокруг гудели и шептались, обсуждая услышанное. Снизу нам передали тарелку с бутербродами, я взял себе один и передал тарелку Лэри.

– Отпад, полный отпад! – бормотал Лэри. – Нет, ну вы слыхали их, а? Это ж надо, вот так, напрямую…

Я сказал, что не знаю, как насчет напрямую, а мне лично истории прошлых Ночей Сказок нравились больше. Они были более сказочные.

– Вот именно, – пробубнил Лэри, вгрызаясь в бутерброд. – И я о том же толкую.

– Тогда почему сегодня отпад? – спросил я.

– Вот именно поэтому. По этой самой причине.

Я решил, что напрасно трачу с ним время, и спросил у Русалки со Спицей, что они обо всем этом думают.

– Я – ничего, – пискнула Спица. И повторила несколько раз, на случай, если я не понял: – Ничего, ничего, ничего…

– А мне понравилась сказка Лорда, – сказала Русалка мечтательно. – Очень красивая.

Я не видел выражения ее лица, но отчетливо представил.

– О Чернолесе…

– О чем? – переспросил я.

– Чернолес. Тот город так назывался. Ты забыл?

Может, Лорд об этом и упомянул. В самом начале, когда я слушал невнимательно. В любом случае, кроме названия, в том месте ничего красивого не было.

– Лос-Анджелес звучит еще круче! – вмешался Лэри.

– А как вам понравилась сказка Черного?

Я специально назвал сказкой то, что вовсе не было сказкой. Мне хотелось, чтобы кто-то из них сам об этом сказал. Но Русалка только вздохнула, Спица пробормотала, что это было мило, а Лэри зачавкал еще энергичнее.

– Мило? Ты считаешь, это было мило?

Спица прильнула к Лэри, и вместо ответа они начали целоваться, хотя Лэри вряд ли успел дожевать свой бутерброд.

– Не переживай, – шепнула мне Русалка. – На самом деле все не так страшно.

Я попробовал объяснить ей, что мне не нравится в этой истории с автобусом. Русалка кивала и слушала очень внимательно, но мне показалось, только для того, чтобы меня успокоить.

Табаки объявил, что перерыв окончен, и я тут же думать забыл об автобусе, потому что следующим рассказчиком оказалась женщина из кемпинга.

Она, должно быть, стеснялась. Говорила очень тихо и не стала влезать на стремянку. Сказкой ее рассказ не назвал бы даже человек, не слыхавший в детстве ни одной сказки.

Она рассказала о себе – пятьдесят семь лет, незамужняя, бездетная, без вредных привычек. О своей профессии – ветеринар, специализирующийся по крупному рогатому скоту. И о своих многочисленных болезнях, названий которых я не запомнил. Выглядела она крепкой, и я немного удивился, что у нее оказалось столько разных хворей. Потом она рассказала, как стала членом какой-то секты, группировавшейся вокруг Ангела, как ей там было хорошо, как она поняла, что нашла наконец свое место в жизни, и как Ангел, имевший вид нежного отрока, исцелил ее от всех болячек – «единым прикосновением своей ангельской длани».

Потом она начала рассказывать об общих воскресных молениях и прочих прелестях их жизни, и меня эта история начала понемногу доставать, потому что с этого места она заговорила певуче и как-то не по-человечески, как будто проповедуя, а меня от таких вещей воротит, если честно.

Ангела опекал Святой Старец, он же, как я понял, драл с «приобщившихся благодати» деньги. А потом вдруг помер, и на этом их радости закончились. Ангела тут же забрали не-

добрые люди, выдававшие себя за его родителей, и община распалась. Правда, не совсем, потому что многие до того жаждали приобщения, что решили отыскать и освободить своего Ангела. Им пришлось нелегко. Их преследовали, называли фанатиками, арестовывали и подвергали принудительному лечению.

Голос рассказчицы в этом месте задрожал и даже немножко сорвался, и я отчетливо представил, как мужик в камуфляже стискивает ей плечо, а она накрывает его руку своей и успокаивающе похлопывает, мол, «все в порядке, я с собой справлюсь». Иногда я совершенно не контролирую свое воображение, но в их случае мне даже стыдно не стало, уж очень они были ненастоящие. Как будто сами себя придумали.

В общем, они своего Ангела отыскали. Эти – самые фанатичные. Наградой за их мужество и стойкость стало явленное двоим из них откровение. Они своими глазами видели, как Ангел вознесся.

– Свидетельствую! – гулко вклинился в рассказ мужчина, и Русалка рядом со мной вздрогнула от неожиданности.

– Объятый светом и пламенем, меч Господень пронзил небеса и вернулся обратно падающей звездой! – сообщила нам женщина. – Не означает ли это, что его послали к нам, к тем, кто привык следовать за ним, с тем, чтобы он нас возглавил?

Она замолчала.

Все вокруг тоже помалкивали.

– Страх какой! – шепнула Спица.

Я ничего не ответил. Мне тоже было страшно. Я наконец сложил два и два и получил четыре. Понял, о каком ангеле шла речь. Понял, почему они встали лагерем вплотную к Дому и почему сидят сейчас на кровати Македонского.

«Он работал Ангелом, и это его достало», – прозвучал у меня в ушах голос Сфинкса.

Я спохватился, что весь дрожу. Я ведь был там, совсем рядом, когда он «вознесся, объятый светом и пламенем», знать бы еще тогда, что это «меч Господень пронзает небеса», может, я тоже побрился бы наголо и стал Приобщившимся. Я был довольно близок к чему-то такому. Странно, как все легко и быстро забылось, то есть не забылось, конечно, а куда-то запряталось. Куда-то, куда, наверное, все нормальные люди прячут необъяснимое, чтобы не спятить.

А еще я вдруг понял, что кое-кому из находящихся здесь сейчас намного хуже, чем мне, потому что если бы это за мной пришли Приобщившиеся, чтобы я их возглавил, я бы, наверное, сразу повесился. Даже если бы был ангелом.

На следующих рассказах я уже не мог сосредоточиться. Я их слушал, конечно, но не вникал в содержание, хотя и старался. Там много чего пряталось, в этих историях, они все были с секретом, даже самые сказочные, это я уже понял, но все равно не мог заставить себя слушать так, как слушали остальные. И дело было даже не в бритоголовых. Просто я слишком устал, а от темноты, духоты и запаха воска эта усталость превратилась в какое-то сонное оцепенение. Некоторые истории повторялись в деталях, в некоторых фигурировали одни и те же персонажи, а в некоторых было общим место действия. Наверное, отслеживать эти связи было бы интересно, если бы не сонная одурь, навалившаяся на меня.

В перерыв я решил пересесть куда-нибудь, где будет легче дышать и труднее дремать, и, как дурак, слез с кровати. На мое место тут же кто-то втиснулся, а я о своем решении тут же пожалел. Ползать по полу было невозможно. Там, где никто не сидел, кто-нибудь лежал, а там, где не сидели и не лежали, оказывались чьи-нибудь рюкзаки. Свечи почти догорели и больше чадили, чем давали свет. Я не прополз и двух шагов ходячего и угодил в тарелку с остатками бутербродов, стукнулся головой о ножку кровати и зашиб Белобрюха, который как раз с этой кровати слез. Потом на меня самого кто-то наступил. Я понял, что лучше побыстрее влезть на ближайшую кровать, пока меня не затоптали, но на ближайшей не оказалось места. Там сидел Валет со своей гитарой, кажется, Филин, и еще кто-то, спрятанный за рюкзаком. Этот кто-то сказал:

– Эй, куда? Здесь и так тесно!

И я пополз дальше.

В течение следующих трех минут на меня наступили, наверное, раз двадцать, так что к

концу перерыва на мне живого места не было – сплошные синяки. Зато когда Табаки объявил, что перерыв окончен, и все расселись, кто-то включил китайский фонарик – всего один, но для меня и это стало спасением. Я сразу нашел себе место. Потом, правда, оказалось, что рядом со Стервятником (к нему никто никогда не садился вплотную), но мне уже было все равно.

Ангел рассказал о заколдованном, перемещающемся домике. Рыжая рассказала о том же городке, о котором рассказывал Лорд, и о самом Лорде.

После этого я некоторое время вообще не слушал никого, потому что между мной и Стервятником втиснулся Лорд и зашептал что-то Стервятнику на ухо, а потом снял с себя какую-то нашейную висюльку и передал ему. А Стервятник – я просто глазам своим не поверил – вдруг расплакался. То есть глазам бы я не поверил в любом случае, но я сидел почти вплотную к нему, а он так трясся и всхлипывал, что ошибиться было невозможно. Я не знал, куда деваться. Потом стало еще хуже, потому что он вдруг обнял Лорда, продолжая плакать, а плакал он, словно задыхался, больно было слушать. Лорд тоже обнял его и крепко держал, пока Стервятник не успокоился, и, кажется, ему было наплевать, что о них подумают, хотя ясно, что можно подумать, когда видишь такое. Я, конечно, ничего такого не подумал, но страшно разнервничался из-за того, что другие подумают наверняка. Дракон и все сидевшие дальше, но все равно слишком близко. Особенно обидно было из-за того, что я сразу понял – между Стервятником и Лордом произошло что-то важное, грустное и одновременно радостное, что-то такое, о чем не говорится вслух, из-за чего можно только засмеяться или заплакать, как заплакал Стервятник.

Сказка Рыжего

В мире, о котором пойдет речь, Смерть приходила к людям в облике юноши или девушки.

Девушка была бледна и черноволоса. Юноша рыж. Девушка была печальна, юноша весел. Так повелось в том мире с давних пор.

Их боялись или ждали с нетерпением. Их поминали в молитвах, прося отсрочить или ускорить конец. Их изображения встречались на гадальных картах и старинных гравюрах. Мало кто задумывался над тем, сколько их на самом деле. Считалось, что Смерть одна, в двух обличьях. Ночь и день, свет и тень.

На самом деле их было много. Они были почти богами, обладали множеством чудесных способностей и были невыносимо одиноки. Иногда они сбегали в другие миры, чтобы встретить там свою смерть. Иногда они даже рождались в других мирах. Рождались всегда мертвыми и оживали спустя какое-то время. Если им это удавалось. Такие беглецы уже не были истинными посланниками смерти. Способности их притуплялись. Они становились безвредны или несли смерть лишь во сне.

Узнать среди прочих их можно вот как: у них красивые голоса, они хорошо танцуют и знают множество чужих секретов. Они слишком ленивы, ни одному делу не отдаются целиком, девушки не умеют смеяться, а юноши плакать. Они прячут глаза, подолгу спят и не едят яиц, потому что в своем мире вылуплялись из них.

Сказка Табаки

Живет-поживает на свете удивительный старичок. Живет он в тайном месте. Место это трудно найти, а еще труднее отыскать в нем старичка. У него множество домов, а может, один и тот же дом, меняющийся для каждого входящего. Иногда он окружен садом, иногда стоит в чистом поле, иногда на берегу реки, и выглядит по-разному, лишь изредка повторяя прежний облик. Бывает и так, что никакого домика нет, а старичок ютится в одной комнатушке многоквартирного дома. Бывало и так, что для жилья он выбирал дупло подгнившего дерева.

Поэтому найти его так нелегко. Никто из побывавших у него в гостях не сумеет описать его жилище кому-то другому, не сможет указать дорогу и объяснить, как туда попасть. Желающих много, но находят нужное место лишь ищущие без устали, умеющие ходить невидимыми путями, читать тайные знаки и видеть вещие сны. Но даже они, достигнув цели, часто уходят ни с чем, потому что старичок упрям, несговорчив и не любит делать подарки.

Все дома старичка разнятся снаружи, но очень похожи внутри. В них тесно от огромного количества предметов. Иногда их так много, что самому старичку почти негде пристроиться. Зато у него все всегда под рукой. Трудно выдумать что-либо, чего у него бы не было.

Музыку он прячет в ракушках, в черепах мелких животных и фруктовых косточках. Запахи – в бобовых стручках и ореховых скорлупках. Сны – в пустых тыквах-горлянках. Воспоминания – в шкатулках и флакончиках из-под духов. У него имеются крючки любой формы и веревки любой толщины, горшочки всех форм и размеров, кроме очень больших, и кувшины – тоже небольшие, но разнообразные. Свистульки, окарины и свирели, пуговицы и пряжки, коробочки с сюрпризами, драгоценные камни и камешки, цену которым знает только он сам, приправы, семена и клубни растений, потрепанные географические карты с отмеченными затонувшими кладами, фляжки, серьги, подковы, игральные карты, гадальные карты, фигурки из дерева, золота и слоновой кости, крошащиеся кусочки метеоритов, птичьи перья, браслеты и бубенчики, яйца, содержащиеся в тепле, насекомые в янтаре и немного игрушек. И почти каждый из этих предметов не только то, чем он кажется.

Приходящим к старичку не нужно ни пряностей, ни мирры, ни ладана, ни драгоценных камней. Всем им нужны лишь шестеренки от разбитых часов. То, с чем старичок расстается крайне неохотно.

Некоторые из гостей попадают в расставленные им возле дома ловушки. Другим он отказывает по самым разным причинам. У него имеется список вопросов, не ответив на которые не получишь подарка, таким он отказывает с особенным удовольствием.

Самые невезучие гости находят в доме лишь мумию старичка, давно отошедшего в мир иной. Он лежит в коробке из-под стереосистемы, окруженный высохшими букетиками, разрисованными ореховыми скорлупками и поблекшими открытками. Некоторые гости хоронят его перед тем, как уйти, другие вытряхивают из коробки и колотят, отводя душу, есть и такие, которые остаются ждать непонятно чего, может быть, другого старичка, сменщика, раз уж этот умер. Все они уходят ни с чем. Мумией старичок может оставаться сколь угодно долго, его это не стесняет.

О нем ходит множество легенд и слухов. В местах близких, далеких и очень далеких о нем рассказывают сказки. В самых старых он описывается сидящим на вершине горы, с двумя клубками – белым и черным. Один он сматывает, второй разматывает, сменяя день ночью, а ночь – днем. В более поздних сказках говорится, что он вечно вращает огромное колесо, одна половина которого летняя, а вторая зимняя. И что летняя часть колеса – красная, а зимняя – бела, как снег. Есть и другие истории, но все они заканчиваются одинаково – вручением даров. Тот, кто находит старичка, получает от него подарок, за этими подарками и охотятся все, кто его ищет.

Везучим гостям он дарит колесики от разбитых часов. Самым везучим – перо цапли. Первое означает одно, второе – совсем другое. Первое у него просят все, второе не просит никто, потому что о втором подарке никто не знает. Он не упоминается ни в одной легенде. Колесико от часов можно потерять, обменять или кому-нибудь подарить. Перо цапли исчезает, попадая в руки нового владельца, а следовательно, им можно только владеть.

Шестеренки старичок дарит нехотя, перо слишком редко, а других подарков у

него не просят почти никогда. Лишь один-единственный раз у него попросили сон. Очень хитрый сон – обучающий видеть чужие сны. Попросил его маленький мальчик и унес с собой одну из тыкв-горлянок с заткнутым дурман-травой горлышком. Через несколько лет этот же, уже подросший, мальчик пришел с еще более странной просьбой. Старичок был заинтригован. Он выбрал самое красивое из имевшихся у него яиц – зеленое с белыми крапинками.

– Они очень нежные, – предупредил он. – Будь осторожен. Грей его у сердца, а когда она вылупится, пусти в ручей, где нет хищных рыб. На сороковой день она созреет.

– А на двадцатый? – спросил мальчик.

Это был очень странный мальчик, и старичка немного встревожила судьба зародыша в яйце, но он любил дарить необычные вещи, а мальчик был единственным за много лет, кто просил не то, что просили все. С ним было нескучно.

Скуки старичок боится больше всего на свете. Иногда, утомленный однообразием своих подарков другим, он дарит что-нибудь самому себе. Выбирая самые простые предметы. Ничего ценного, ничего особенного, но приятно получить в подарок что-то необычное, особенно, если не помнить, что даришь себе это сам.

Горбач рассказал всем известную сказку о Крысолове из Гамельна. Немного измененную. Я не очень хорошо помнил эту сказку, но там точно не было того, что Крысолов увел только самых маленьких детей, до трех лет. «Чистых разумом и помыслами». Это прозвучало довольно странно. Потому что непонятно, как можно увести куда-то детей, которые, допустим, еще не умеют ходить.

Горбач этого объяснять не стал, и я напредставлял всяких забавных сценок. Как грудные младенцы, агукая и суча ножками, выплывают из своих колыбелек, кружат по комнатам, выпархивают из окон родительских домов и слетаются к человеку в красном камзоле, играющему на флейте.

И ладно еще это! Труднее было представить годовалых, которых не смогли бы удержать родители. А потом я подумал, что и в настоящей сказке это не объяснялось. Там просто сказано, что Крысолов увел всех детей. И точка. Но ведь среди них должны были быть и совсем маленькие. Как-то я раньше об этом не задумывался.

Лэри рассказал о заколдованной принцессе. Явно подразумевая Спицу. Рыжий рассказал о каких-то беглых смертях. Кажется, имея в виду себя.

Табаки рассказал о каком-то старикашке, который до того не любил делать гостям подарки, хотя почему-то должен был, что даже прикидывался мертвым, лишь бы его оставили в покое.

Филин и Мертвец пристроили свои истории к его и рассказали о своих встречах с этим старичком.

Стервятник и Лорд о чем-то шептались, Дракон вообще заснул. Я подумал, что ничего страшного не произойдет, если и я немного посплю, но из этой попытки ничего не вышло.

Потому что на стремянку влез Слепой, и вокруг воцарилась такая напряженная тишина, что с меня тут же слетела вся сонливость.

Слепой долго молчал. Свечи догорели, а фонарики почти не давали света, но видно было, что он босиком и одет как обычно, а рука перевязана бинтом вместо полотенца.

Наконец он заговорил. Сказал, что желает всем нам счастья. И уходящим, и остающимся. И тем, кто уйдет, думая, что остался, и тем, кто останется, думая, что ушел. И тем, кто решил вернуться. Слепой сказал, что каким бы ни был наш выбор, нам предстоит начать жить заново, потому что наша новая жизнь будет непохожа на старую. Что многие из нас ничего не будут помнить об этой старой жизни, но это не должно нас пугать. «Те, кто будут жить, не теряя веры в чудо, обретут его». Потом Слепой сказал, что не прощается с уходящими, а только с остающимися, и с теми, кто возвращается.

Я к этому моменту окончательно запутался и так и не понял, к кому же отношусь: к первым, вторым или третьим.

Дальше стало еще непонятнее.

Слепой сообщил, что ему требуются два добровольца. Опытный проводник для неопытного проводника и сторож.

– Последняя должность пожизненная, – закончил он и соскочил со стремянки.

Едва он с нее спустился, включились все настенные лампы, и все вокруг засобирались.

Я не сразу сообразил, что Ночь Сказок кончилась, уж очень внезапно это произошло..

На свету отовсюду повылезали грязные тарелки, объедки, оплывшие свечи и набитые пепельницы. Сделалось неуютно, как будто мы вдруг очутились на вокзале, и, как на вокзале, все вокруг обнимались, прощались и дарили друг другу всякие безделушки на память.

Рядом со мной присел Черный, хлопнул меня по плечу, сказал:

– Ну, пока, старик… еще увидимся! – и сразу куда-то ушел. Потом меня целовала опухшая, зареванная Спица, Конь подарил маленькую метелку на счастье, а Лэри так страстно обнял и залил слезами, что я, не удержавшись, тоже начал всхлипывать.

Нагореваться и как следует проникнуться прощальными настроениями мне не дали. Быстро и тихо несколько человек взвалили на себя рюкзаки и ушли, увлекая за собой длинный хвост провожающих.

Македонский помог мне влезть на подоконник, и оттуда мы смотрели, как они пересекают двор.

Было еще темно, но свадебное платье Спицы как будто светилось, и я отчетливо различал ее в толпе, ее и Лэри в белоснежной оперной рубашке. Почему-то из событий той ночи это мне запомнилось ярче всего, как все они шли через двор к воротам, с женихом и невестой во главе процессии. И кто-то тащил шлейф Спицы. Впереди, наверняка, шагал Черный, с сурово поджатыми губами и здоровенным рюкзаком, но его сверху было не различить, я только знал, что он тоже там. Он, и Конь, и Пузырь, и Прыщ, и Генофонд… и Рыжий, как выяснилось позже. И те двое из кемпинга.

На самом деле их немного уехало, но в темноте казалось, что намного больше, и я даже забеспокоился, влезут ли они в тот свой автобус, ведь Черный говорил, что он совсем небольшой.

Потом ворота закрыли, провожающие вернулись, и мы попытались еще немного уютно посидеть при свечах, но атмосфера была уже не та, все плакали, шептались, прощались и что-то друг другу дарили, но уже тише. Как-то спокойнее.

Оказалось, что у меня в руках и вокруг целая куча всяких подношений, а я не помню большую часть дарителей.

Горбач влез на одну из верхних кроватей и заиграл на флейте. Красавица и Кукла шепотом обсуждали подвенечный наряд Спицы.

Старик-сторож исчез. Тогда я еще не знал, что он уехал в автобусе, и подумал, что он просто ушел, как и те двое из кемпинга. Из необычных гостей у нас остался только Р Первый. Он сидел на придвинутой к шкафу кровати и пил текилу Стервятника прямо из бутылки.

Слепой подсел к нему и о чем-то спросил. А когда Ральф поперхнулся, постучал его по спине. Мне стало интересно, о чем они говорят, и я переместился поближе.

– Смотрите, – сказал Слепой, вставая. – Вам решать.

Р Первый схватил его за руку и рывком усадил обратно на кровать.

– Ты пошутил? – спросил он.

Слепой сказал, что и не думал шутить. Вытащил из кармана и передал Ральфу скомканный коричневый конверт.

– Если передумаете, откройте. Когда покончите со всеми другими делами.

Ральф тут же встал и осмотрелся, как будто Слепой напомнил ему о куче важных и неотложных дел.

– Ладно, – сказал он. – Сколько еще продлится эта ночь?

Слепой пожал плечами.

Как только Ральф ушел, он занял его место на кровати и схватил оставленную Валетом гитару. Попытался играть, но ему мешала перевязанная рука, и он размотал повязку.

Сфинкс сел на пол рядом с кроватью, на которой устроился Слепой, и Табаки тут же перестал ездить по комнате и тоже перелез к ним. А еще через какое-то время подсел Македонский.

Слепой еле слышно тренькал на гитаре, Табаки насвистывал, Сфинкс с Македонским сидели молча. Утро все не наступало.

Я, так и не дождавшись его, заснул. Уж не знаю, сколько еще терпели остальные.

Перед рассветом меня разбудили тихие звуки флейты, доносящиеся из коридора. Тоскливые и заунывные. Я открыл глаза, увидел, что за окнами проступает предутренняя синь, и опять заснул. Примерно в это же время кто-то погладил меня по голове. Взъерошил волосы и отошел. Я никогда не узнаю, кто это был.

Те, что ушли под утро, постарались сделать это незаметно.

Разбудил меня Сфинкс.

– Вставай, – сказал он. – Выпуск пропустишь!

Лучше бы он завел будильник у меня над ухом, честное слово. Я так и подскочил.

– Уже?!

В комнате царил полный разгром. Как после всех веселых ночей. Вполне ожидаемый разгром, но от этого не менее неприятный. И ни души, кроме нас со Сфинксом.

– Все уже ушли?

– Ушли, – подтвердил Сфинкс с кривоватой улыбкой. – И знаешь, – добавил он, – тебе придется помочь мне, потому что больше некому.

Синяки у него под глазами были жуткие. Чуть не в поллица. Он явно вообще не ложился, не то его одежда была бы такая же измятая, как у меня. Я заснул на одном из брошенных на пол матрасах, среди своих подарков. Маленький веник Коня отпечатался у меня на щеке, а фонарик, подаренный Горбачом, я раздавил во сне, и меня это ужасно расстроило.

– Потом склеишь, – сказал Сфинкс. – Спрячь его в сумку, тут скоро разнесут все по камешку.

– Почему? – спросил я. Мне очень плохо соображалось в то утро.

– Потому что, – ответил Сфинкс.

Я собрал все свои подарки и спрятал в сумку. Раздавленный фонарик завернул в отдельный пакет, чтобы как-нибудь потом склеить. А дальше мне пришлось варить нам кофе и делать уборку, чтобы не было противно его пить, все одному, потому что Сфинкс без протезов ничем не мог мне помочь, а Македонский так и не появился. Конечно, я не убирал по-настоящему, как убрал бы Македонский. Просто распихал основной мусор по черным мешкам, расправил смятые покрывала и вытряхнул пепельницы. И только когда мы допили кофе, спросил, куда все-таки подевались остальные. Я чуял что-то нехорошее в том, что мы со Сфинксом остались совсем одни, не то спросил бы раньше.

– Скоро узнаешь, – сказал он.

И я узнал. Довольно скоро. Это знание до сих пор преследует меня и мешает высыпаться по ночам. И еще то, что я никогда не узнаю, кто же из них взъерошил мне волосы, уходя, так что всякий раз, думая об этом, я представляю разных людей, и получается, как будто они все сделали это. Ну разве что Толстый бы не смог. В общем, я только утром узнал, что была и вторая группа ушедших. Бог знает, куда. Они и ушли, и остались, не живые и не мертвые. Позже их станут называть Спящими, но это уже потом, пару лет спустя, а тогда их еще никак не называли, просто не придумали подходящего слова. Почему-то они все собрались в третьей. Сфинкс сказал:

– Наверное, потому что из третьей их больше всего ушло. Шестеро.

Я тогда не обратил внимания на его слова.

Выпуск в тот день не состоялся. Родители приехали, но домой никого не отпустили. Кое-кто из родителей остался, чтобы поддержать нас и проследить, чтобы никого не замучили допросами до смерти. Спасибо им и Пауку Рону, не то от нас мало что бы оставили. Сфинкс верно сказал, что Дом разберут по кирпичику. Почти разобрали. Думаю, в нем не осталось ни одного предмета, который бы не ощупали, не обнюхали и не разобрали на части. Все лекарства – каждая склянка, каждый пузырек – отсылались на проверку, таблетки тоже. На второй день Дом прочесали с двумя овчарками и одним спаниелем и извлекли из

подвала беднягу Соломона. Я видел его только мельком, издали. Кого-то рыхлого и грязного провели по коридору первого в наручниках, погрузили в закрытый фургон и увезли. Потом в подвалах откопали чьи-то кости. Я думал, что нас после этого вообще съедят живьем, но, к счастью, довольно быстро выяснилось, что костям этим больше ста лет, и все сразу успокоились.

Нас не переставали допрашивать. По два-три часа в день, иногда дольше. И все время разные люди. Одних больше интересовали окуклившиеся, других исчезнувшие, но суть от этого не менялась, мы ничем не могли им помочь, потому что многого не знали сами, а о том, что знали, должны были молчать.

Мы очень сблизились за это время. По-моему, ничто так не сближает, как общая тайна. Дракон, Гупи, Дорогуша и Дронт переселились к нам со Сфинксом. Не считая нас, из третьей ушло больше всего народу, и выглядели они еще потерянее, чем мы. Спящих с первого же дня переместили в лазарет, но, видно, и Дракону, и остальным все равно было не по себе в третьей, они ездили туда только поливать цветы. Еще с нами ночевали мой отец и отец Гупи, и одну ночь из четырех – Ральф.

Дорогушу увезли первым, он был немного не в себе. Остальные Птицы уверяли, что это его обычное состояние, но, видно, оно достало не только нас, так что Дорогушу отправили домой на два дня раньше.

В какой-то момент, не помню точно, но, кажется, на третий день, до меня дошло, что за все время никто не задал ни одного вопроса о Табаки. И что за ним так никто и не приехал. Потом я отметил еще кое-какие странности. Я не видел Спящих и не хотел, если честно, на них глядеть, мне хватало разговоров на эту тему, но о том, что их двадцать шесть человек, по-моему, уже знал весь город. И мы знали, что среди них все Неразумные, сколько их было в Доме. Когда я посчитал наших Неразумных, вместе с девушками, получилось двенадцать. Слишком много. Остальных никак не могло быть всего четырнадцать, потому что только от нас и из третьей ушло тринадцать человек. Я немного поломал над этим голову и постарался забыть. Любой, кому я указал бы на эту странность, посоветовал бы наведаться к Спящим и самому их пересчитать. Нам не запрещалось их видеть, только обязательно с сопровождающим. А мое любопытство не настолько разыгралось, чтобы ездить смотреть на такое. Но однажды я все же не выдержал.

– Знаешь, – сказал я Сфинксу. – Кажется, из Дома исчезло больше людей, чем мы думаем. Вот, к примеру, Слепого и Лорда все время упоминают в числе пропавших. Значит, там… среди тех… их нет? Но ведь они не уехали в автобусе, мы-то об этом знаем.

Сфинкс вздохнул, посмотрел на меня с упреком, как будто все эти дни надеялся, что я не задам ему именно этот вопрос, и сказал:

– Ходоки уходят целиком.

После этого он мог уже не беспокоиться, что я стану донимать его вопросами. Есть такие фразы, против которых мозг вырабатывает защитные реакции, и первая из них – ни о чем больше не спрашивать. Я понял только, что ушедших и уехавших было не две группы, а три, и что эта третья, самая малочисленная, делилась на две – на тех, о ком знали, что они исчезли, и на тех, о ком забыли, едва они успели исчезнуть. Табаки явно относился ко второй. И это еще было не самое странное.

В спальне осталось много чего после уехавших, погрузившихся в беспробудный сон и исчезнувших. Много вещей, на которые нам со Сфинксом было больно смотреть. Но ничего, ни одной вещицы не осталось после Табаки. Даже пуговицы. Я искал их специально. Перекопал все. Ни носка, ни стоптанного тапка, ни английской булавки, ни засохшей половинки булочки. Вообще ничего. Я перестал искать следы Табаки, когда заметил, что с коридорных стен исчезли сделанные им надписи и рисунки. После них даже не осталось пустых мест. Что-то там было нарисовано, только не то, что было раньше. А потом я вдруг спохватился, что забыл его лицо. Я помнил его всего целиком, его кудлатость и сумасшедшие наряды, и где он любил сидеть, и громкое чавканье, но черты лица стерлись из памяти. Какого цвета у него были глаза? Какой был нос – курносый или с горбинкой? Я порылся в своих набросках. Миллион раз я рисовал Шакала, и карандашом, и пером, и пастелью. Но не нашел ни одного рисунка. Как будто кто-то перекопал мои бумаги и выкрал именно те, на которых был изоб-

ражен Шакал. Зато я нашел кучу набросков, которых не делал. Вернее, я не помнил, чтобы я их делал, хотя рука была моя – это точно.

Я рассказал об этом Гупи. К Сфинксу как-то не хотелось соваться.

– Табаки? – переспросил Гупи, наморщив лоб. И, честное слово, минуты две напрягал память, пока вспомнил, о ком идет речь.

После этого я даже удивился, обнаружив, что в дневнике сохранились сделанные Шакалом записи, а в сумке – подаренный им человечек из грецкого ореха.

– Подарок останется, – сказал мне Сфинкс. – Если запись в дневнике была, по его мнению, подарком, она тоже останется.

Я пролистал дневник и увидел, что из него исчезли только записи Стервятника о кактусах. На их месте оказались пробелы. Стало понятнее, отчего так худо Дорогуше и почему Гупи через раз называет Дракона вожаком.

Мои догадки, сомнения и страхи размазались по четырем дням нашей вахты в опустевшем Доме, притупились разговорами и ожиданием. Я чувствовал себя рыбкой в аквариуме, который забыли почистить, все было зыбко, неопределенно и необъяснимо, и, казалось, уже утрачена способность чему-то удивляться.

Погода стояла замечательная. Не жарко и не холодно, ни дождя, ни ветра, ни палящего зноя. Воздух был прозрачный и чистый. Дракон целыми днями, ворча себе под нос, раскладывал пасьянс или до одурения качал штангу, которую приволок с собой. Гупи с Дронтом играли в карты, а Дорогуша до того, как его забрали, только сидел в углу и злобно на всех таращился.

Когда я сказал, что мы – оставшиеся в Доме – сблизились, я не имел в виду Сфинкса. С ним все было наоборот, он как будто с каждым днем отъезжал все дальше, делался все отстраненнее и изможденнее, так что я стал бояться, что еще немного, и он тоже куда-нибудь исчезнет. Он спал в одежде и, по-моему, вообще не ел, не пил и не ходил в туалет. Русалка немного спасала положение, но когда ее не было с нами, я старался поменьше на него смотреть. Сразу хотелось чем-то помочь, а когда я пытался что-нибудь для него сделать, он заметно напрягался, благодарил и тут же уходил. То же самое с Гупи и с Дронтом, не говоря уже о Драконе, и только с моим отцом они, как ни странно, сдружились. Вели по ночам долгие беседы, и папа, который, как мне казалось, с любым существом моложе двадцати способен вести себя только одним образом – гикая и хлопая его по спине, показал себя и умным собеседником, и философом, и человеком с юмором, в общем, не переставал удивлять меня. Он даже умудрился загнать Сфинкса в душ и переодел его потом во все чистое, запросто, как будто всю жизнь только тем и занимался. Жаль, что он приходил только по вечерам, после работы.

Потом, наконец, объявили новый день выпуска, и наша подвешенная жизнь закончилась.

Было воскресенье, и отец никуда не уехал. Мы мирно позавтракали в столовой, привели себя в порядок и спустились с вещами на первый. В актовом зале толпились отъезжающие и их родители, родители сплошь мрачные и деловитые, спешащие поскорее уехать, на их фоне те родители, что вынесли с нами четырехдневную вахту, стали выглядеть бездельниками и разгильдяями, уж не знаю, отчего так получилось. Мать Викинга все убирала у него с глаз челку, хихикая как дурочка, очки матери Кролика показались вдруг нелепо большими, нос из-под них торчал, как кнопка, на отце Гупи костюм сидел мешковато, как с чужого плеча, а мой папа непостижимым образом сделался похож на старого хиппи и даже заговорил, тягуче растягивая слова. Некоторые мамаши начали коситься на него, как на какого-нибудь бродягу, а я чуть не провалился сквозь землю, мне было стыдно и за него, и за себя, что я его стыжусь.

Я так и не понял, кто приехал за Сфинксом, но точно не его родители. Может, это был личный шофер или кто-нибудь из родственников. Самого Сфинкса этот переносчик чемодана мало интересовал, он не отходил от Русалки. Ее родители оказались пожилыми. Маленькие, во всем черном, как будто занесенные в Дом волшебным ураганом из глухой деревни. Я заметил, что они старательно пишут что-то на тетрадных листках, вернее, отец писал, а мать подсказывала. Потом они передали эти листки Русалке, а она спрятала их

Сфинксу в нагрудный карман, и я понял, что у него не будет проблем с тем, чтобы отыскать Русалку в наружности. Моего адреса он не попросил, но отец ходил за его шофером (или родственником, похожим на шофера), пока не получил от него какую-то информацию, и только после этого сказал: «Можно ехать». И мы уехали. Никаких прощальных поцелуев и объятий, потому что все уже успели попрощаться не один раз.

ЭПИЛОГ

СКАЗКИ ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Человек с вороной

Никто не сказал бы, что ему приходилось легко. В кузове его грузовика было двенадцать матрасиков, короб с чистой детской одеждой и мешок с грязной, еще один – с пластмассовой посудой, магнитофон, прикрученный к борту проволокой, и одиннадцать детей, от года до трех лет. Повезло хотя бы с Крысиной феей. Она вела грузовик, пока он маялся в кузове с ребятишками, а иногда подменяла его в роли многодетной матери, давая поспать. Не слишком часто, потому что в такие моменты грузовик простаивал. Выглядела она скорее как злая фея, чем как добрая, но не была ни доброй, ни злой, она просто выполняла возложенную на нее миссию.

С детьми ему тоже повезло. Все они были умнее, чем им полагалось по возрасту, и почти все на редкость спокойны и терпеливы. Но их частенько укачивало, они хотели есть и пить, многие не умели пользоваться горшком, а умевшие иногда не могли проделать это в подпрыгивающем кузове, и, несмотря на все их старания, каждый следующий день давался ему все с большим трудом.

Тех, кто обращал внимание на это странное семейство, удивляло то, что многие дети были одногодками, не будучи близнецами, и то, что никто из них не походил на отца. Их удивляла и молодость отца, и ворона у него на плече, и черная широкополая шляпа, украшенная пожелтевшими черепками каких-то мелких зверьков.

– Должно быть, цыгане, – говорили они, морщась. – А дети, наверняка, краденые.

– Это не все мои, – объяснял он застенчиво, если его уж очень донимали вопросами. – Половина – сестрины, – и он указывал на чернобровую девушку в кабине, которая курила не переставая, выставив в окно острый локоть. На плече у нее красовалась татуировка: оскалившаяся крыса. Присмотревшись, даже самые любопытные предпочитали отойти, ни о чем не спрашивая.

Грузовик колесил вроде бы без цели, но на самом деле Крысиная фея постоянно сверялась с картой. Некоторые дома на которой были отмечены красными крестиками. К таким домам они старались подъезжать на рассвете, чтобы не потревожить соседей. Возле каждого из домов их уже ждали. Обычно мужчина и женщина, но иногда только женщины, и один единственный раз – только мужчина. После недолгих переговоров в кузове грузовика становилось одним ребенком меньше, и он уезжал так же незаметно, как приехал. Были и дома, отмеченные зелеными крестиками. К таким они подъезжали в любое время, не таясь, и забирали коробки с детским питанием.

И хотя детей становилось все меньше, с каждым днем они все больше уставали, и путешествие делалось тяжелее. Они начали путать дни, разговаривали все реже, все чаще забывали, кого из детей успели покормить, а кто остался голодным. Дважды Крысиная фея сбивалась с пути, и их дорога удлинялась на много часов.

И все-таки, отдавая последнего ребенка, он расплакался. Фея хлопнула его по

спине:
– Перестань. Своих заведешь.
Она не была по-настоящему злой, но многого не понимала.

История официантки

Каждый вечер, примерно в половине девятого, когда заканчивалась ее смена, она выходила на задний дворик кафе с объедками для кошек. Распределив их по двум одноразовым бумажным тарелкам, прислонялась спиной к перилам веранды и стояла так, отдыхая или погрузившись в грезы, пока не становилось совсем темно. Кошки разгуливали вокруг, серые – невидимками, черно-белые – видимые наполовину. Она стояла, тоже наполовину видимая – белый передник и наколка, – спрятав руки под мышки, и ждала чуда. «Сумерки – трещина между мирами». Эту фразу она вычитала в какой-то книге, когда у нее еще было время читать, и хотя уже не помнила ни содержания книги, ни ее автора, фраза – одна, единственная, запомнилась.
«Трещина между мирами, – думала она, вглядываясь в сгущающиеся вокруг синие сумерки. – Здесь. Сейчас». Как только становилось слишком темно, чтобы различать очертания сиреневого куста, растущего у забора в трех шагах от веранды, она уходила. Чувствуя себя отдохнувшей и полной сил, словно за полчаса ничегонеделанья из нее выветривались и усталость, и кухонный чад, и кухонные сплетни.
За эту привычку две другие девушки из кафе прозвали ее Принцессой. Иногда, возвращаясь на кухню за своей сумкой, она слышала, как они обсуждают ее.
– Вместо того, чтобы со всех ног мчаться к ребенку, торчит на заднем дворе чуть не по часу, каждый божий день. Хорошенькая из нее мать, ничего не скажешь. Да таких и близко к детям нельзя подпускать.
– По-моему, она оттого и торчит там, что ей неохота возиться с младенцем. Уж не знаю, на кого она его оставляет, бедняжку.
Иногда к обсуждению присоединялась сменщица.
– Ох, вы не видели этого младенца! Я бы к такому тоже не спешила. Башка огромная, и полный рот зубов. Это в восемь-то месяцев! Меня от него в дрожь бросает, честное слово. Она его даже по имени не зовет. Только Толстым. А он вовсе и не толстый.
– Может, папаша у него был толстый.
– Не знаю, как насчет толщины, но наверняка, урод, если малыш в него.
– Да уж не в мать. Она хоть и в крапинку, как перепелиное яйцо, но все же не страшилище.
Она не обращала внимания на подобные разговоры. Ей нельзя было ни с кем ссориться и терять работу. Да они и не задевали ее, эти злые сплетни. Толстый был чудным ребенком. Не красавец, зато умница, и уже выговаривает с полдесятка слов. Он терпеливо ждал ее с вечерней смены в своей кроватке, грызя оставленное на ужин печенье и играя с набитым опилками динозавром, и ни разу никто из соседей не пожаловался на плач. Ему не требовалась нянька. Он умел ждать. Они оба умели, потому что только это и делали. Вместе и поодиночке, играя, работая, готовя обед и съедая его, в кроватке и на заднем дворе кафе, даже во сне.
Их папа, он же Прекрасный Принц Не Отсюда, как ни странно, одновременно похожий на белого с пуговичными глазами динозавра (так считал Толстый) и на кустик жасмина, что рос у нее в горшке на подоконнике, должен был найти их рано или поздно, сегодня или завтра, им надо было только дождаться его, а дальше уже не понадобится мириться с нехваткой памперсов, злыми сплетнями и прочими мелкими неудобствами, потому что он заберет их в свою сказочную

страну, где наступит совсем другая жизнь.
И они ждали.

Трехпалый мужчина в черном

Он поселился в заброшенном трехэтажном доме, о котором ходили упорные слухи, что в нем водятся привидения. Узнали об этом не сразу. Дом стоял на отшибе, а новый жилец не зажигал в нем света и почти ничем не выдавал своего присутствия. Сначала его приняли за бродягу. Но бродяги не носят костюмы, не бреются и не закупают продукты на неделю вперед. Когда стало ясно, что человек этот поселился в доме надолго, к нему отправили делегацию из жителей близлежащих домов для выяснения всех обстоятельств. Городок был небольшим, и к чужакам здесь относились с недоверием.

Мужчина встретил гостей вежливо, на большую часть вопросов отвечать не стал, но кое-что им все же удалось выяснить.

Владелец дома – оказалось, что у него был владелец – поручил этому человеку присматривать за своим имуществом. Мужчина показал им соответствующие бумаги, и бумаги эти были в порядке, хотя никто не мог припомнить, чтобы домом с привидениями кто-то владел, а подпись владельца выглядела и вовсе странно, напоминая толстого паука. Один из соседей – бывший юрист – заверил остальных, что в этом нет ничего противозаконного. Человек в костюме сказал, что останется в доме за сторожа до получения дальнейших распоряжений от владельца. На это нечего было возразить, и делегация удалилась, неудовлетворенная, но с сознанием выполненного долга.

Дом всегда был странным местом, поэтому никого не удивило, что его владелец подписывается пауком и посылает людей сторожить свое имущество, когда это имущество уже почти развалилось.

Довольно долго новый обитатель старого дома не привлекал к себе внимания, пока однажды его не посетила мрачного вида татуированная девица на мотоцикле, распугавшая всех окрестных котов. Она привезла жильцу маленькую белобрысую девочку, и, ссадив ее с мотоцикла, тут же умчалась. Жильца с тех пор окончательно невзлюбили. Даже то, что он оказался отцом-одиночкой, не расположило к нему соседей. Да и ребенок был на редкость неприятным.

НА ГРАНИ МИРОВ

В студенческом общежитии, где поселится Сфинкс, ему предоставят отдельную комнату. Совсем крохотную. Он проведет в ней зиму, готовясь к экзаменам, и зима эта окажется самой холодной за последние пятнадцать лет. Он не найдет Русалку. Адрес, оставленный ее родителями, окажется ненастоящим. Сфинкс обойдет всех однофамильцев этой странной семьи, потом людей с похожими фамилиями, и спустя два месяца поисков и расспросов начнет сомневаться в том, не померещились ли они ему. Изредка будут приходить письма от матери. Он прочтет первые два. Остальные станет прятать на дно чемодана, не распечатывая. Кипы наспех просмотренных газет сложит стопкой за дверью, и стопка эта будет расти день ото дня. Некоторые из газет с интересующими его статьями тоже переместятся на дно чемодана. Соседи будут с ним вежливы и предупредительны. В какой-то момент он поймет, что живет замкнутой жизнью старика, и попытается стать общительнее. Начнет посещать студенческие вечеринки.

После одной из них, не заходя в свою выстуженную комнату, отправится на автобусную остановку и сядет в первый, еще пустой автобус. С двумя пересадками доберется до окраины города.

Дома как такового он уже не увидит. Только три уцелевшие стены, груды кирпичей и

строительного мусора. Все, занесенное снегом. Он пройдет вдоль огораживающего будущую строительную площадку забора, найдет в нем отстающий лист жести и проникнет на территорию бывшего Дома. Одна из сохранившихся стен будет исписана сверху до низу. Адресами, номерами телефонов и краткими пояснениями. Местами даже стихами. Он прочтет все, но не найдет того, что и так не надеется найти. Обойдет стену и сядет на груду припорошенного снегом щебня, ощущая, против всех законов природы, что постепенно согревается, хотя должен был совершенно окоченеть.

– Прости, – скажет он. – Ты казался мне чудовищем, сожравшим всех моих друзей. Мне казалось, что ты не отпустишь меня. Что я тебе зачем-то нужен. Что мне никогда не стать свободным, пока я не уйду от тебя, хотя я лгал Курильщику, что свобода в человеке, где бы он ни находился. Я боялся, что ты изменил меня, сделал своей игрушкой, я хотел доказать себе, что могу прожить без тебя. Я ставил тебе в вину и Лося, и Волка, и всех остальных, хотя Лося убили случайно, а Волка убил Македонский. Но легче было думать, что это твоя вина, чем что во всем виноват сам Волк. Что он не был ни настолько добр, ни настолько умен, как мне казалось. Что он не был безупречен. Что Лось не был безупречен. Легче во всем обвинить тебя, чем признать это. Легче сказать, что ты убил тридцать с лишним человек, чем признать, что они были трусливыми идиотами или заблудившимися детьми. Легче считать, что это ты желал смерти Помпея, чем что Слепому доставило удовольствие его убить. Легче думать, что ты заставил меня переделывать Лорда, чем что мне это нравилось… легче думать, что Слепой лгал про Русалку, чем что ее действительно нет в этом мире, как и ее странных родителей, и их адреса, который они так охотно мне вручили, намного легче верить в это, чем в то, что вы подарили мне ее, надеясь однажды этим удержать, только этим, а не хитростью и не силой…

Сфинкс будет говорить, пока не устанет, пока все сказанное не растает с облачками пара в морозном воздухе. Тогда он встанет и, неловко оскальзываясь, спустится с груды заледеневшего щебня. Обходя исписанную адресами стену, он не увидит на ней ни адресов, ни номеров телефонов. Она окажется грязно-белой, и изображены на ней будут разноцветные спирали, треугольники, солнца и луны… и удивительные уродцы, пасущиеся под ними. Топорные, острозубые, с ногами разной длины, с торчащими, как палки, хвостами…

Сфинкс осторожно приблизится к ним. Ему лучше, чем любому другому, известно, где была та стена, но она окажется здесь. Со всеми населяющими ее существами. Здесь будет волк с зубами-пилами, не умещающимися у него в пасти, желтый жираф, похожий на подъемный кран, зебра, похожая на верблюда, пятнистый гоблин, динозавр… блеклая пустотелая чайка… присмотревшись, он увидит, что среди хорошо знакомых изображений затесались другие, так же хорошо знакомые, но никогда не находившиеся рядом – белый бык на тонких ногах, дракон с голубоватым камешком вместо глаза… и знакомые, но не изображавшиеся никогда и нигде – еще один дракон, огненно-красный, и рыбка с привязанным к хвосту колокольчиком… колокольчик будет настоящим.

Сфинкс оторвет его от нарисованного рыбьего хвоста и спрячет в карман куртки. Потом прижмется лбом к стене. Постоит так некоторое время, вслушиваясь в окружающую тишину, пока не станет совсем тихо, потому что пойдет снег. Он повалит сразу, крупными, сплошными хлопьями, и ослепленному ими Сфинксу придется долго блуждать среди развалин в поисках лазейки в заборе, которая выведет его наружу.

По пути в общежитие – трясясь в автобусе, шагая по заснеженным улицам – он будет думать о спрятанном в кармане колокольчике, борясь с желанием вытащить его и удостовериться, что он существует. Почувствовав укол чего-то острого, он остановится и с изумлением вытащит из другого кармана длинное белое перо, которое невозможно будет спрятать обратно, не повредив, и останется только воткнуть его в вязаную шапку, надеясь, что это выглядит не слишком нелепо.

На лестнице он встретит соседку, мрачную девушку в очках, которая предупредит, что его ждут.

«Мелкая такая девчушка, с роскошными волосами», – скажет соседка, пристально рассматривая торчащее у него над ухом перо. Конечно, она чудовищно удивится, когда нелюдимый бирюк-недотрога-в-протезах вдруг набросится на нее и расцелует прямо на

лестнице, как какой-нибудь пьяный псих. «А в шапке перо! – будет подчеркивать она всякий раз, рассказывая об этом. – Нос красный, глаза сумасшедшие, а в шапке здоровенное перо!» Она никогда не признается, что сосед по этажу в тот момент показался ей самым красивым человеком на свете.

ГОЛОСА ИЗ НАРУЖНОСТИ

Курильщик

Меня все еще иногда расспрашивают о тех событиях. Сейчас, конечно, реже, чем двадцать или пятнадцать лет назад. Но многие помнят. Даже удивительно, насколько многие. Помнят о моей причастности к той истории, о том, что это якобы как-то отразилось на моей психике и на моих картинах.

После выпуска я встречал многих бывших жителей Дома. Кое-кто неплохо устроился, другие еле выкручиваются, наверное, есть и такие, кому совсем плохо, но их вряд ли встретишь на собственной выставке, так что я даже не могу с уверенностью утверждать, что они существуют. Из оставшихся в городе я знаю шестерых, регулярно встречающихся и предающихся воспоминаниям, но меня в их компанию никогда не тянуло. Среди них нет тех, кого я по-настоящему хотел бы видеть. Я вообще мало с кем встречаюсь, кроме Черного.

Одно время я собирал заметки о Спящих, потом перестал. Слишком это было тяжело, думать о них, представлять их, легче иметь дело с живыми или с действительно мертвыми.

Конь

Нет, никто из нас не ездил их проведывать. Какой смысл? Даже Рыжий этого не делал. Вначале потому что мы ото всех скрывались, а потом всегда было слишком много дел. Да и не хотелось, если честно. Мы знали о них, где кто, и так далее, но чтобы ездить туда, такого не было.

Черный

Честно? Мне нет дела до Спящих. Я даже не стану делать вид, что убиваюсь по ним. Это был их выбор и их решение, и меньше всего я расположен таскаться к ним с букетами хризантем, разводить вокруг покойников сантименты. Они ведь покойники, если смотреть правде в глаза. Живые трупы, которым наплевать на любые знаки внимания с моей стороны. Так чего ради ломать комедию?

Рыжий

Я иногда посещаю их. Конечно, без цветов. Почему бы нет? У меня даже имеется специальное разрешение. Раньше я этого не делал, потому что не хотел, чтобы через меня вышли на всех остальных, ведь за «сонями» велось постоянное наблюдение. Но теперь, когда всем на них наплевать, я делаю это с удовольствием. И никакой патологии в этом не нахожу. Ничего страшного в них нет. Они не усыхают, не съеживаются и не похожи на трупы. К тому же всегда интересно проведать старых друзей. Ребятам я об этом не рассказываю. Они могут решить, что обязаны меня сопровождать, или начнут терзаться из-за того, что им этого делать не хочется. Все это ни к чему

Курильщик

Лэри и Спица живут в пригороде. Он совладелец авторемонтной мастерской, где начинал когда-то с подручного, она – домохозяйка. У них двое детей, старшая дочь недавно

вышла замуж. Я был на свадьбе и подарил молодоженам картину. Правда, не свою. Мои редко кому нравятся. Забавно было наблюдать за личиком невесты, пока мой подарок разворачивали, и видеть отразившееся на нем облегчение, когда его, наконец, развернули.

Мы с Лэри никогда не говорим ни о Спящих, ни об исчезнувших. Мы со знанием дела и по-дружески молчим на эти темы, когда встречаемся. Зато часто говорим о других сонаружниках, и ему всегда есть, что мне сообщить, потому что он, по мере сил, старается не упускать их из виду. Они с Конем по-прежнему очень близки, хотя Конь так и остался в общине (секте, говоря откровенно), основанной уехавшими в автобусе и Приобщившимися. Добираться туда мука, но Лэри этот подвиг совершает ежемесячно. «Во имя дружбы», – как он говорит.

Спица

Я никогда не была против старых друзей. Никогда не запрещала мужу ни с кем видеться. Просто на него очень действуют такие встречи. Он потом неделями ходит сам не свой, как будто заболел, или как будто что-то случилось. А я мать, я должна думать о детях. Мне вовсе не хочется, чтобы о них болтали, что их отец жил в том самом месте… ну, вы понимаете, о чем я. Я сама оттуда и вовсе этого не стыжусь, но не считаю, что о таких вещах следует говорить с посторонними. Никто не скажет, что я не такая как все, я обыкновенная женщина, а это то самое, что нужно детям – обыкновенные, нормальные родители. А что касается общины… это не то место, куда я стала бы наведываться, если кого-то интересует мое мнение. И не те люди, с которыми стала бы общаться.

Гибрид

Да ради бога, никого мы не трогали! Просто Рыжий решил, что надо поддержать Спящих. Хотя бы тех, кто совсем бесхозный. У кого нет никакой родни. Потому что мало ли что? И мы собирали деньги. Дела у нас шли неплохо, мы могли бы обойтись своими силами, но подумали, что, может, и другие из бывших захотят присоединиться. Ничего дурного. А Спица повела себя так, будто мы явились их грабить. Отнимать последнее. А ведь живут они неплохо. И это мы помогли им в самом начале, когда они еще ничего не смыслили в Наружности, пара влюбленных дурачков! Ладно, не стоит об этом… Лэри приезжал потом извиняться, привозил какие-то гроши, но мы ничего у него брать не стали. Не хватало еще, чтоб следом заявилась Спица и потребовала все обратно!

Курильщик

Рыжего я встретил на открытии очередной выставки. Он живет в той же общине, что и Конь, и считается крупным авторитетом. Чем-то вроде старосты. На первых порах у них заправлял всем старик сторож, присоединившийся в выпускную ночь к беглецам, но он давно умер, оставив после себя музей испорченных часов, и теперь за главного там Рыжий.

Внешность у него, как у бывшей рок-звезды, потрепанная, но неотразимая. Волосы ниже лопаток, татуировка на лбу, бусы из чьих-то когтей… его разглядывали с куда большим интересом, чем мои картины. На всех репортажах о той выставке можно видеть Рыжего – с разных ракурсов, а картины прилагаются к нему постольку, поскольку он их разглядывает. Бедняги фотографы просто не могли отвести от него объективы, и их вполне можно понять.

У Рыжего восемь детей (он заверил, что от одной жены), четыре собаки, две лошади и стадо овец. Он показал мне фотографии всех, кроме последних, и все было бы замечательно, не сцепись они в тот день с моим менеджером. Скандал вышел чудовищный, а вокруг крутилось слишком много журналистов. Рыжий рвался в бой, обзывал Черного предателем и ренегатом, и его с трудом удалось утихомирить, а еще труднее было потом объяснить любопытным, что эти двое могут иметь друг с другом общего.

Черный

Многие считают меня предателем. Ради бога. Я просто не мог видеть, как этот проныра день за днем обустраивает свои делишки за наш счет. С самого начала следовало сообразить, чем это пахнет – два бывших вожака на новом месте. Но я был уверен, что держу ситуацию под контролем. На моей стороне был перевес. Шестеро моих против трех бывших Крыс. Мне казалось, этого достаточно. Потом кое-кто уехал, все изменилось, и пока я спохватился, что Рыжий многовато на себя берет, было уже поздно. Он ловко все обстряпал. Для общины это было тяжелое время, но мы бы выкарабкались и без его афер с деньгами, надо было просто не лениться и не впадать в панику.

Курильщик

Рыжий стал единственным, с кем мы говорили о Спящих. Уже после драки, уединившись в кафе напротив выставочного павильона. Прикладывая лед к заплывшему глазу, он с таинственной улыбкой сообщил, что Спящих стало намного меньше.

– То есть? – не понял я. – Кто-то проснулся?

– Нет. Кое-кто испарился. О первых двух случаях писали в газетах, про остальные пока помалкивают. А ты что же, не читаешь газет?

Я не читаю газет и не смотрю телевизор, но не стал об этом распространяться. Тема нашего разговора сама по себе не радовала, а хитрый вид Рыжего только усугубил положение. Он напомнил мне тот период моей жизни, когда я постоянно задавал вопросы, никогда не получая вразумительных ответов, и это чуть не свело меня с ума. Поэтому я не стал ни о чем спрашивать. Ни о том, кем были те исчезнувшие, ни о том, куда они могли подеваться. Рыжий ждал моих расспросов, а не дождавшись, поскучнел и довольно быстро ушел. С тех пор я его больше не видел.

Рыжий

Не знаю, по-моему, он обмэтрился. Со всеми этими выставками и журналистами. Славный, но уж очень нервный. «Человек искусства», – сказал бы Старик.

Я его, конечно, люблю, уважаю, ценю и т. д., но, думаю, ему не хватает свежего воздуха. У него его даже в картинах не хватает.

Курильщик

Я редко вижусь со Сфинксом. Он стал детским психологом и какое-то время работал в интернате для слепых и слабовидящих. Он очень странный человек. Ходит на мои выставки. Навещает Спящих. Таскается с моим отцом на рыбалку.

Появляется с загаром посреди зимы и дарит оранжево-синюю бабочку в стеклянном саркофаге. У него жена-невидимка – то она есть, то ее нет, и каждое исчезновение растягивается на годы. У него самая странная на свете собака – немецкая овчарка-поводырь, обучающая других собак-поводырей. Я специально спрашивал у знающих людей, такого явления просто не существует. Еще он держит филина. И собирает старинные музыкальные инструменты.

За последние десять лет он дважды получал наследства от каких-то совершенно незнакомых людей. Его это почему-то совершенно не удивляет. Он даже не пытался выяснить, кто эти люди. Не знаю, на что он потратил те деньги, но богаче он не стал. Они крепко дружат с моим отцом. Подозреваю, что это с его подачи Сфинкс посещает меня в самые застойные периоды жизни, чтобы порезвиться в роли психолога. Я делаю вид, что мне это помогает. А иногда не делаю.

Отец Курильщика

Я когда-то решил, что не оставлю этого парня, пока он не встанет на ноги. Мы познакомились в самое плохое для него время. Не скажу точно, через сколько лет после нашего знакомства я сообразил, что нуждаюсь в нем намного больше, чем он во мне. Мы обычно ездили на рыбалку. Или ходили в кино. Слушали музыку моей молодости, рассматривали фотографии моих подружек, говорили о моем сыне. Очень нескоро до меня дошло, кто из нас кого на самом деле развлекает и выгуливает. Не знаю, как у него это получилось. Он всегда отдавал больше, чем брал. Он понял, что мне надо о ком-то заботиться, и сделал то, чего не делал Эрик – позволил мне это. Я чувствовал себя с ним настоящим отцом. И другом. Я бросил пить, стал вегетарианцем, скинул пятнадцать кило лишнего веса и помолодел лет на двадцать. Вот и скажите мне после этого, кто из нас кого спасал?

Конь

Сфинкс был у нас три раза. В первый раз, когда нас только вычислили – «обнаружены бесследно пропавшие из школы интерната…» и т. д. Как будто это не мы позволили себя обнаружить, чтобы легализироваться. К тому времени все уже стали совершеннолетними, так что нашествие родственников нас не пугало. У нас тогда был всего один дом на всех, и один сарай, ели мы что попало и когда перепадет, спали одетые, чтоб не замерзнуть, и с утра до ночи работали, как проклятые. Он задержался всего на несколько часов. Перездоровался со всеми, пообедал и уехал. Кое-кто думал, что он останется, но я сразу понял – вряд ли. Он просто хотел убедиться, что у нас все в порядке. И Черного не хотел напрягать. Тот, хотя и не подал виду, но запаниковал. Второй раз Сфинкс приехал лет через шесть-семь – точно не скажу. И в тот свой приезд задержался подольше. Может, потому, что Черного с нами уже не было. Но и тогда было ясно, что он не останется. Я спросил его, так, вроде бы в шутку, не собирается ли он сюда переехать. «Фермерствовать с протезами вместо рук или сидеть у вас на шее?» – спросил он. А на третий раз было это самое…

Рыжий

Я всегда знал, что Сфинкс выкинет какой-нибудь финт. Что он не просто так остался. И помнил, что он получил от Шакала что-то, чего не имел никто ни до него, ни после. Может, многие не сообразили, кому Табаки вручил бы то, чего не перепадает простым смертным, но я ни минуты не сомневался, что Сфинксу. Ясно было, что рано или поздно он этим подарком воспользуется, и тогда-то, думалось мне, я, наконец, узнаю, что это было. Но до того, как это случилось, прошло столько времени, что я почти забыл, как меня это когда-то интересовало.

Курильщик

Прославила меня вторая выставка. Никогда после вокруг не поднимали столько шума. С одной стороны, обидно, что более поздние работы не встретили понимания, с другой – важнее знать, что они сильнее. Я не стыжусь своих ранних работ, но в двадцать два года слишком откровенно раскрываешь душу и делаешь это подчас неумело. Позже испытываешь неловкость. И за себя, и за то, что именно неумелое исполнение встречается с восторгом. Сейчас я поумнел, и мои картины тоже. Единственный фрагмент, кочующий из работы в работу, сохранившийся с давних пор – плюшевый мишка, я так и не сумел от него избавиться, хотя он все лучше маскируется. На последних полотнах он замазан. Его не видно, но он там, прячется под слоем краски. Может, однажды я сумею обойтись без него, хотя он давно уже стал чем-то вроде страшноватого талисмана, обеспечивающего моим картинам долгую жизнь.

Отец Курильщика

Ему нравились те картины Эрика, в которых я вообще ничего не понимал. Например,

вещи того периода, что я прозвал полосатым. Заключенные друг в друга круги, наползающие на них треугольники и прочая геометрия. Все черно-белое. Даже пресловутый медвежонок превращался на них в кучку треугольников. Возле одной такой картины Сфинкс простоял, клянусь, минут сорок.

Это было на следующий день после открытия. Мы ходили на выставки, когда там было поспокойнее и поменьше народу. Когда я, послонявшись по залам, в третий раз застал его возле той же картины, он сказал:

– Знаешь, а ведь Курильщик вынес из Дома намного больше, чем думает.

На картине были все те же поднадоевшие черно-белые круги. На весь холст. Больше всего это напоминало доску для игры в дартс. Даже воткнувшаяся стрелка присутствовала.

– Извини, – сказал я. – Ничего не понимаю в живописи. Особенно в такой.

– Время не течет, как река, в которую нельзя войти дважды, – сказал Сфинкс. – Оно как расходящиеся по воде круги. Это не я сказал, это цитата.

Он протянул искусственную руку в перчатке и указал на стрелку, воткнувшуюся в мишень.

– И если уронить в эти расходящиеся круги, скажем, перо, как нарисовано здесь, от него ведь тоже пойдут круги? Маленькие, почти незаметные… но они пересекут большие…

Я попробовал представить то, о чем он говорил. И ощутил себя Винни-Пухом с тонной опилок в голове. От меня, кажется, даже запахло опилками.

– Ты считаешь, что это оно и есть? – спросил я, уставившись на то, что упорно выглядело доской для игры в дартс.

Он кивнул. Глаза у него горели, как у какого-нибудь сумасшедшего пророка. В такие моменты я подозреваю, что меня гипнотизируют.

– Если бы ты был таким пером, куда бы ты упал в прошлом? Что бы изменил?

Мне стало тоскливо. Что бы я изменил в своем прошлом, если бы мог? Наверное, почти все. И вряд ли из этого вышло бы что-то путное.

– Слишком часто пришлось бы падать, – сказал я. – И в слишком много мест.

– У тебя одна попытка, – не успокаивался он. – Одна-единственная.

– Я бы не стал заморачиваться. Мою жизнь с одной попытки не изменишь.

Он наконец перестал меня гипнотизировать.

– Ты не понял, – сказал он, отворачиваясь. – Твою жизнь невозможно изменить. Она наполовину прожита. Можно попасть только на другой круг. Где будешь уже не совсем ты.

– Тогда зачем вообще что-то менять? – не понял я. – Если здесь ничего не изменится?

Проклятый галстук к тому времени так натер мне шею, что хотелось только поскорее уйти. Кажется, Сфинкс понял мое состояние.

– Пошли, – сказал он. – Ты весь красный.

И мы ушли. Эрика в тот день на выставке не было. Не то я спросил бы его кое о чем.

Конь

Когда мы их увидели, то не сразу сообразили, что к чему. То есть, мы, конечно, заметили, что мальчишка здорово смахивает на Слепого. Но нам и в голову не могло прийти, что это он и есть. То есть, я хочу сказать, ну кто бы на нашем месте в такое поверил?

Гибрид

И вот однажды Сфинкс заявляется не один. Вылезает из машины, а потом открывает заднюю дверцу и выуживает оттуда это пугало. Мальчишку лет шести. В черных очках. Тощего-претощего, и в какой-то мерзкой сыпи. Наши все ветрянкой переболели, поэтому мы не паримся и даже стараемся не обращать на него внимания. Сразу видно, на кого он похож. И мы чувствуем неловкость, будто подсмотрели, как кто-то носит при себе портрет покойной жены. Не станешь же о таком говорить вслух? Мы и не говорим. Но дети сразу начинают к нему лезть, потому что он в своих белых кедах и майке с наклейками такой ужасно го-

родской, что у них просто нервы не выдерживают. Они окружают его и начинают болтать про его одежду, сыпь и про то, что он, видать, не может и шагу ступить от страха, в общем, дразнят.

Совсем слегка. Я решаю надрать им уши, потому что с гостями себя так не ведут, и уже подхожу к ним, когда кто-то – вроде бы младшенькая Рыжего, дергает его за рукав. И начинается такое…

Конь

В драке очки с него слетели, и все стало ясно. Любой бы догадался. Я хочу сказать, кто хоть раз в жизни видел Слепого. Так мне показалось. Но я ошибся. Москит, к примеру, ничего не понял.

– Ой! – сказал он. – Сынишка Слепого! Нет, вы поглядите, какое сходство!

Я не стал его разубеждать. Он с тех пор любит потолковать о наследственности. О том, какая это сила.

Дети так расстроились, узнав, что дрались с незрячим, что мы их даже ругать не стали.

Но своего мальчишку Сфинкс увел за сарай и устроил ему там разнос. Я, сказать по правде, не удержался, сунулся туда к ним, поглядеть, что и как. И не я один. Рыжий меня обогнал. Глядим, Сфинкс стоит, разоряется, а ребенок его то ли слушает, то ли нет, спокойный-преспокойный.

– Бедняга Сфинкс, – шепчу я Рыжему.

– Это с какой стороны посмотреть! – отвечает Рыжий раздраженно. – Тебе в детстве не читали лекций о приличном поведении? Тебя от них не мутило?

– Ну а ты бы что делал на месте Сфинкса? – спрашиваю я.

– Похвалил за смелость, – отвечает Рыжий, не задумавшись. – За то, что умеет за себя постоять.

– Кто? Он-то? – изумляюсь я. – Его за такое хвалить? Вот его?

Рыжий смотрит на меня как-то странно. И спрашивает, действительно я дурак или прикидываюсь.

А что ответишь, когда тебе откровенно хамят? Я, конечно, сразу ушел оттуда.

Рыжий

После того как всех бандитов уложили спать, Конь слез с телефона, а я перестал нервничать, представляя счет от телефонной компании, который прибудет после его задушевного трепа с Лэри, словом, когда все стихло, и мы со Сфинксом остались на веранде одни, я спросил его, где он откопал этого мальчишку.

– Там, где его больше нет, – в лучших традициях четвертой ответил Сфинкс.

– Спасибо за вразумительный ответ, – сказал я ему. – Кому ты этим что-то доказываешь, хотелось бы знать?

Мы пили сидр, закинув ноги на перила веранды и не зажигая света, чтобы не налетело всякой живности.

– Всего лишь хочу исправить кое-какие ошибки одного хорошего человека, – объяснил он.

Прозвучало это… нормально. Как что-то обычное, чем всем нам время от времени не мешало бы заниматься. Потом он сказал, что я сделал бы то же самое. Если бы мне дали шанс.

Я много чего представил, после этих его слов. Запросто. У меня четыре дочери – три из них рыжие, и я знаю, кого из них люблю чуть-чуть сильнее и за что, хотя сходство скорее воображаемое. Я сказал:

– Может быть. Это совсем другое.

Он пожал плечами. В темноте не разглядишь, но мне показалось, что он улыбается.

– Каждому свое, – сказал он.

– Ага, – согласился я. – Но не у каждого такие связи.

Сфинкс дернулся и расплескал свой сидр.

– Тише! – сказал я. – Я никого не упрекаю. Это банальная зависть. Очень распространенное явление.

Мы немного помолчали, допили все, что оставалось в бутылках, и меня потянуло на мрачные пророчества.

– Ты с этим парнем еще наплачешься, – предупредил я.

– Знаю, – сказал он. – Я знаю. Просто хочется, чтобы он полюбил этот мир. Хоть немного. Насколько это будет в моих силах.

Может, это было жестоко, потому что он уже ничего не мог изменить, даже если бы захотел, но я сказал:

– Он полюбит тебя. Только тебя. И ты для него будешь весь чертов мир.

Он так долго молчал, что я понял: он и сам этого боится. Но он упрямый, и ясно было, что не отступится. Жизни не пожалеет, чтобы доказать что-то свое кое-кому, кто об этом даже не узнает. Смешно…

Я не стал спрашивать, что у мальчишки за сыпь, хотя ясно было, что это такое. Это Дом отметил его, теряя. Заранее. Еще до того, как ему довелось туда попасть. Но я не стал об этом говорить.

– Ладно. Удачи тебе, – сказал я вместо этого. – Если надумаешь, оставайся. У нас тут много детей. Все бешеные. Один маленький оборотень погоды не сделает.

Утром они уехали. Я смотрел, как они идут к машине, и, честное слово, не знал, кого из них больше жалею. Наверное, все-таки Сфинкса. Он всегда брался за непосильные задачи. И не всегда они ему оказывались по зубам.

Черный

Все это такая чушь, что просто зло берет слушать. Я взрослый человек, я давно вышел из возраста, когда мечтают прокатиться на машине времени и привезти себе маленького динозавра, чтобы жил под кроватью. И не считаю, что если у кого-то мозги набекрень или извращенное чувство юмора, остальные должны ему подыгрывать. Не знаю, откуда Сфинкс взял того мальчишку, и знать не хочу. Мало ли на свете слепых сирот, которых можно усыновить? Мало ли среди них тощих светлоглазых брюнетов? Может, это даже ребенок Слепого. Никто ведь не знает, где он и что с ним.

Он мог настрогать с десяток таких слепышей. А вот стать приличным отцом – вряд ли.

О Сфинксе могу сказать только, что он человек, который любую чепуху раздует в событие вселенского масштаба. Во что-нибудь таинственное и идиотское. Он и ребенком был такой. Находил какую-нибудь гадость, и сразу – «о, пришельцы оставили!». Не удивлюсь, если выяснится, что он этого своего мальчишку просто у кого-нибудь украл. Вполне в его духе. Он даже чужого отца умудрился украсть, а это куда труднее.

Отец Курильщика

Слышал я эти разговоры. Конечно, все это выдумки. Они там, у себя в общине, довольно мистически настроенные ребята. А насчет того, что Сфинкс сам распустил эти слухи, уж извините… никаких слухов он не распускал. Просто родители мальца поручили ему ребенка на лето, а потом то ли ребенок к нему привязался, то ли родителям так показалось удобнее, но они его пока не забирают. Всегда ведь легче, когда такими детьми занимается специалист. Про усыновление – ерунда, не так-то это просто в наше время усыновить кого-то, тем более такому, как Сфинкс. Тему киднеппинга я вообще обсуждать не намерен.

Эрик сказал, что парнишка совсем не похож на того, за кого его принимают. «Ничего общего», – так он сказал. И я конечно же ему верю.

Курильщик

Я мало с кем вижусь. У меня много вопросов, но я никогда никому их не задам. Иногда мне кажется, что Черный знает ответы, но всякий раз, когда я уже готов его о чем-то спросить, он смотрит исподлобья и так поспешно меняет тему, что я не решаюсь его беспокоить. Его уязвимость пугает. Мне не хотелось бы лишать его защитного панциря, который он нарастил с таким трудом и так тщательно оберегает.

Еще меньше хочется о чем-то спрашивать Сфинкса. В случае с ним меня пугает возможность получить ответы. Между нами все и так слишком шатко. Я люблю его, но мне не смириться с тем, что у него была возможность выбора. Которой не было у меня. И как бы дружески он ни держался, его мир всегда будет другим. Не совсем тем, в котором живем мы с Черным. И мы ему этого никогда не простим.

СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЬЧИК

В комнате, называемой Хламовником, ранним утром проснулся семилетний мальчик. Проснулся, как ему показалось, оттого, что увидел плохой сон. Он лежал, зажмурившись, пытаясь припомнить, что же ему снилось такое отвратительное, но сон ускользал, не давая поймать себя, пока мальчику не надоело за ним гоняться.

Открыв глаза, он удивился внезапной смене настроения. По утрам он бывал мрачен и раздражителен. Но только не сегодня. Это утро показалось ему чудесным. Он с необъяснимым восторгом оглядел спальню. Зарывшихся в подушки соседей по комнате, детские рисунки на стенах, розовое небо в распахнутых окнах, и в конце, сладко замерев – голову брата, лежащую на краю его подушки. Почти точную копию его собственной. Мальчик знал, что это прекрасное настроение скоро пройдет, и, в надежде задержаться в нем, растолкал спящего брата.

Тот открыл глаза. Круглые и выпуклые, не закрывающиеся полностью даже во сне. Поблескивающая полоса между ресницами, как будто он лишь притворяется спящим, раздражала всех, кроме имевшего ту же особенность брата.

– Что? – шепотом спросил проснувшийся.

– Не знаю точно, – так же шепотом ответил мальчик. – Но мне как-то странно чувствуется. Как-то все вокруг уж очень нравится, прямо плакать хочется. У тебя тоже так или еще нет?

Брат прислушался к себе.

– Нет, – сказал он, зевая. – У меня пока еще нет. Может, оттого, что я сплю.

И он поспешно закрыл глаза.

Мальчик опустил голову на свой край подушки и тоже попытался уснуть. Переполнявшая его радость никуда не делась. Он прижал ладонь к сердцу, словно ощупывая ее через кожу. Придерживая.

Он не знал, что это чувство останется с ним надолго. Оно потускнеет, сделавшись привычным, но иногда будет настигать его с неожиданной силой, похожей на удар, заставляя задыхаться от счастья, наполняя глаза слезами, а душу восторгом. Он не знал и того, что теперь они с братом отличаются друг от друга. Что он всегда будет казаться старше. «Порочнее», – так выразится Черный Ральф, и мальчик его услышит, но не обидится. Это станет новой чертой его характера – его будет очень трудно обидеть.

ВСТРЕЧА

В двадцать четвертой комнате с раннего утра царит террор. Это невеселая комната. В ней живут все не уехавшие на лето колясники, и старшие, и младшие. Их немного – шесть человек, но две оставшиеся в Доме нянечки сбиваются с ног, обслуживая эту компанию.

Старших мучают болезни, не позволившие им уехать, зависть к уехавшим, собственные капризы, то, что они лишены привычных им спален и отправлены в комнату с дурной славой (окна ее выходят на улицу, а не на двор, как у всех приличных комнат), и то, что они вынуждены делить это само по себе неприятное помещение с младшими. Присутствие

младших раздражает их сильнее всего. Особенно одного из них. Младших мучает все то же самое, но в отличие от старших они ни на ком не могут отвести душу.

Все шестеро – знатоки по части террора, но никому из них не дано сравниться с Вонючкой, ни сравниться, ни даже приблизиться к нему. Вонючка уникален. Он террорист от Бога, вундеркинд, способный убить за косой взгляд, не говоря уже о подзатыльнике. Убить так, что на него не падет и тени подозрения. С применением новейших и древнейших технологий. Собственных и чужих, с любовью воплощенных в жизнь изобретений. Не имеющего аналогов оружия. Опираясь на физику, химию и математику, а также историю и биологию, во всех этих науках Вонючка не имеет себе равных, но учится все равно плохо, потому что ему некогда блистать знаниями перед учителями, он слишком занятой человек. Вонючку не обижают старшие. Они не ругают его даже за глаза. Подслушивающие устройства Вонючке удаются особенно хорошо, и он работает над их усовершенствованием постоянно.

Ругать и наказывать Вонючку разрешается только нянечкам. «Что-то в этом есть материнское, – уверяет Вонючка. – Что-то такое родное, страшное и ностальгическое». Замечено, что чем старше и некрасивее ругающая его нянечка, тем чаще он произносит эту фразу. Таков Вонючка – страшный человек десяти лет от роду.

Поэтому, когда он одним злосчастным утром поднимает всех еще до рассвета и переворачивает комнату вверх дном, готовясь к Событию, никто не осмеливается ему перечить.

Вонючка не вдается в объяснения. Он строит смотровую площадку. Основой ей служит придвинутый к окну письменный стол. На столе укрепляются подушки и штатив для подзорной трубы, после чего Вонючка занимает позицию наблюдателя, обложившись печеньем, биноклями, хлопушками и носовыми платками. Двое младших послушно раскрашивают буквы на белом полотне, сшитом из разрезанной простыни. Вонючка поминутно свешивается со смотровой площадки, оценивая их работу, и ругает за медлительность. Старшие ретируются из спальни, чтобы немного от него отдохнуть.

Завтрак Вонючке подают на пост. Устрашенные его возрастающей нервозностью нянечки укрепляют на окне транспарант с надписью «Добро пожаловать!» и увозят младших, отмывать от краски.

Вонючка нервничает все сильнее. К полудню он делается устрашающе мрачен. Нянечки запасаются нашатырным спиртом и скрываются в недрах Дома с перепуганными младшими. Старшие возвращаются и следят за Вонючкой с возрастающим интересом. Он раздает им хлопушки и просит стрелять из окна по его команде. Старшие готовятся. Судя по убитому виду Вонючки, Событие не состоялось и вряд ли уже состоится, поэтому когда раздается его истошный визг: «Пли!» – двое из троих роняют хлопушки, и только один рефлекторно дергает за шнурок.

Размахивая подзорной трубой, Вонючка выкрикивает троекратное «Ура!», размазывает по лицу слезы, огрызается на старших: «Чего уставились? Счастья не видели?» – и выстреливает из запасной хлопушки, осыпав вскарабкавшегося на подоконник старшего разноцветным конфетти.

Они идут медленно. Мальчик – чуть отставая, женщина – ссутулившись под тяжестью чемодана. Оба в белом, оба светлоголовые, в рыжизну, оба выше, чем им полагается – мальчику по возрасту, женщине – чтобы казаться женственнее. Мальчик приволакивает ноги, шаркает кедами, прикрыв глаза от яркого солнца, так что ему виден только плавящийся от жары асфальт и дырчатые следы, оставленные на нем каблучками матери. Еще он видит рассыпанное конфетти. Яркие, сверкающие блестки на сером. И обходит их, стараясь не наступить, чтобы они не потускнели. Наткнувшись на мать, он останавливается.

– Кажется, это здесь.

Женщина ставит на землю чемодан. Дом возвышается перед ними приземистой серой брешью, попорченным зубом в белоснежных рядах соседних домов. Женщина приподнимает солнечные очки, рассматривая табличку над дверью.

– Это оно и есть. Видишь, как мы быстро дошли? Разве стоило из-за такой малости брать такси?

Мальчик равнодушно кивает. Здание кажется ему слишком мрачным.

– Смотри, мам… – начинает он, когда раздается далекий хлопок, и их с матерью осыпает разноцветным конфетти. Мальчик отступает на шаг, удивленно рассматривая очередную порцию радужных бляшек, усеявшую асфальт. Часть конфетти застряла у него в волосах и на одежде. Он отбегает на несколько шагов назад, чтобы видеть окна Дома, и ему отчетливо слышится, как кто-то в его недрах, невидимый снизу, несколько раз выкрикивает хриплое: «Ура!»